



И.А. ГОНЧАРОВ



Иван Александрович Гончаров

## **Том 8. Статьи, заметки, письма**

(Собрание сочинений в восьми томах #8)

Литературное наследие Ивана Александровича Гончарова не обширно. За 45 лет творчества он опубликовал три романа, книгу путевых очерков «Фрегат „Паллада“», несколько нравоописательных рассказов, критических статей и мемуары. Но писатель вносил значительный вклад в духовную жизнь России. Каждый его роман привлекал внимание читателей, возбуждал горячие обсуждения и споры, указывал на важнейшие проблемы и явления современности. В настоящее Собрание сочинений вошли все значительные художественные произведения писателя, а также литературно-критические статьи, рецензии, заметки.

В настоящем томе публикуются литературно-критические статьи и заметки, автобиографии и избранные письма, написанные И. А. Гончаровым в течение более чем четырех десятилетий

<https://traumlibrary.ru>

# Содержание

Статьи, заметки, рецензии, автобиографии	.0010
Статьи	.0010
Статьи (не опубликованные автором), заметки и рецензии	.0274
Автобиографии	.0440
Избранные письма	.0456
Письмо Майкову А. Н., 2 марта 1843 *	.0456
Письмо Белинскому В. Г. и др., <24 июня 1847> *	.0461
Письмо Ефремовой Ю. Д., 25 октября – 6 ноября 1847 *	.0462
Письмо Краевскому А. А., <12 мая 1848> *	.0470
Письмо Майкову Н. А. и его семье, 13 июля 1849 *	.0472
Письмо Краевскому А. А., <25 сентября 1849> *	.0482
Письмо Языковой Е. А. и др., 23 августа 1852 *	.0486
Письмо Майкову Н. А. и его семье, 17/29 марта 1853 *	.0491
Письмо Лъховскому И. И., июль 1853 *	.0503
Письмо Языковой Е. А. и др., 15/27 декабря 1853 *	.0514
Письмо Краевскому А. А., <между 14 и 20> сентября 1854 *	.0519

- Письмо Толстой Е. В., <19 сентября 1855> \* 0529  
Письмо Толстой Е. В., 25 октября 1855 \* . . . 0534  
Письмо Некрасову Н. А., <10 января 1856> \* . . . . .  
0543  
Письмо Некрасову Н. А., <30 января 1856> \* . . . . .  
0544  
Письмо Льховскому И. И., 25/13 июня 1857 \* . . . . .  
0545  
Письмо Льховскому И. И., 15/27 июля 1857 \* . . . . .  
0555  
Письмо Ефремовой Ю. Д., 29 июля/9 августа  
1857 \* . . . . . 0561  
Письмо Льховскому И. И., 2/14 августа 1857 \* . . . . .  
0572  
Письмо Льховскому И. И., 22/30 августа 1857 \* . . . . .  
0585  
Письмо Льховскому И. И., 5/17 ноября 1858 \* . . . . .  
0590  
Письмо Толстому Л. Н., <4 декабря 1858> \* 0601  
Письмо Анненкову П. В., <8 декабря 1858> \* . . . . .  
0603  
Письмо Боткину В. П., 30 января 1859 \* . . . 0605  
Письмо Тургеневу И. С., 28 марта 1859 \* . . . 0607  
Письмо Льховскому И. И., 2/14 апреля 1859 \* . . . . .  
0618  
Письмо Майкову А. Н., 11(23) апреля 1859 \* . . . . .  
0625  
Письмо Толстому Л. Н., 13 мая 1859 \* . . . . . 0634

Письмо Лъховскому И. И., 20 мая 1859 *	0637
Письмо Анненкову П. В., 20 мая 1859 *	0642
Письмо Писемскому А. Ф., 28 августа/9 сентября 1859 *	0646
Письмо Тургеневу И. С., 3 марта 1860 *	0652
Письмо Добролюбову Н. А., <26 апреля 1860> *	0654
Письмо Никитенко Е. А. и др., 3/15 июня 1860 *	0655
Письмо Никитенко С. А., 8/20 июня 1860 *	0662
Письмо Никитенко Е. А. и др., 14/26 июня 1860 *	0671
Письмо Никитенко Е. А. и др., 23 июня/4 июля 1860 *	0676
Письмо Никитенко С. А., 28 июня/10 июля 1860 *	0686
Письмо Никитенко Е. А. и др., 6/18 августа, 1860 *	0691
Письмо Майкову В. Н. и др., 9/21 августа <1860> *	0696
Письмо Никитенко Е. А. и др., 16/28 августа <1860> *	0703
Письмо неизвестному лицу, <11 ноября 1861> *	0713
Письмо Никитенко А. В., <21 января 1862> *	0714
Письмо Никитенко С. А., 28 июля/9 августа 1865 *	0715

Письмо Никитенко С. А., 21 августа/2 сентября 1866 *	0720
Письмо Тургеневу И. С., 15/29 сентября 1866 * . . .	0735
Письмо Тургеневу И. С., 10/22 февраль 1868 * . . .	0740
Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 мая 1868 * . . . . .	0746
Письмо Некрасову Н. А., <22 мая 1868> * . . .	0751
Письмо Стасюлевичу М. М., <30 мая 1868> * . . . . .	0755
Письмо Стасюлевичу М. М., 6/18 июня 1868 * . . .	0764
Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 июня 1868 * . . .	0769
Письмо Никитенко С. А., 4/16 июля – четверг <1868> *	0776
Письмо Стасюлевичу М. М., <4 декабря 1868> * . . . . .	0782
Письмо Стасюлевичу М. М., <31 января 1869> * . . . . .	0784
Письмо Майковой Е. П., <январь – февраль 1869> *	0793
Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869> * . . .	0797
Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869>2 * . . .	0801
Письмо Никитенко С. А., 15/27 мая 1869 * . . .	0807
Письмо Никитенко С. А., 25 мая/6 июня <1869> * . . . . .	0813

Письмо Никитенко С. А., 4/16 июня 1869 *	0819
Письмо Никитенко С. А., 26 июня/8 июля 1869 *	0833
.....	0833
Письмо Фету А. А., 6/18 августа <1869> *	0843
Письмо Стасюлевичу М. М., 5 ноября 1869 *	0846
Письмо Анненкову П. В., <начало января 1870> *	0855
.....	0855
Письмо Анненкову П. В., 19 января 1870 *	0857
Письмо Анненкову П. В., 1870 *	0861
Письмо Никитенко С. А., 26 августа/17 сентября 1870 *	0862
.....	0862
Письмо Толстой С. А., 11 ноября 1870 *	0870
.....	0870
Письмо Полонскому Я. П., 8 мая 1871 *	0886
.....	0886
Письмо Хвощинской Н. Д. (Заиончковской), <23 января 1872> *	0888
.....	0888
Письмо Писемскому А. Ф., 20 октября 1872 *	0892
.....	0892
Письмо Писемскому А. Ф., 4 декабря 1872 *	0895
.....	0895
Письмо Некрасову Н. А., <31 января 1873> *	0901
.....	0901
Письмо Писемскому А. Ф., 18 апреля 1873 *	0903
.....	0903
Письмо Гаевскому В. П., <16 декабря 1873> *	0911
.....	0911
Письмо Полонскому Я. П., 15 января 1874 *	0915
.....	0915

Письмо Достоевскому Ф. М., <11 февраля 1874> * .....	0918
Письмо Достоевскому Ф. М., 14 февраля 1874 * . 0923	
Письмо Кавелину К. Д., 25 марта 1874 * ...	0928
Письмо Пыпину А. Н., <10 мая 1874> * ....	0942
Письмо Семевскому М. И., 11 декабря 1874 * .... 0956	
Письмо Писемскому А. Ф., 5 февраля 1875 * ..... 0959	
Письмо Полонскому Я. П., <около 25 марта 1876> * .....	0965
Письмо Боборыкину П. Д., 7 октября 1876 * ..... 0969	
Письмо Салтыкову М. Е., 30 декабря 1876 * ..... 0987	
Письмо Островскому А. Н., <12 февраля 1882> * .....	0991
Письмо Толстому Л. Н., 22 июля 1887 * ...	0994
Письмо Толстому Л. Н., 2 августа 1887 * ...	0997
Письмо Толстому Л. Н., 27 декабря 1887 * .	1003
Письмо Толстому Л. Н., 9 марта 1888 * ....	1005
Письмо Майкову А. Н., 30 апреля 1888 * ...	1008
Письмо Стасову В. В., 27 октября 1888 * ...	1010
Комментарии .....	1015
Выходные данные .....	1151

**Иван Александрович  
Гончаров  
Собрание сочинений в  
восьми томах  
Том 8. Статьи, заметки,  
письма**

# Статьи, заметки, рецензии, автобиографии

## Статьи

### «Милльон терзаний»\* (Критический этюд)

**Г**оре от ума, Грибоедова. – Бенефис Монахова, ноябрь, 1871 г.

Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе и отличается молодостью, свежестью и более крепкой живучестью от других произведений слова. Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед.

Все знаменитости первой величины, конечно, недаром поступили в так называемый «храм бессмертия». У всех у них много, а у иных, как, например, у Пушкина, гораздо бо-

лее прав на долговечность, нежели у Грибоедова. Их нельзя близко и ставить одного с другим. Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников, – взял себе в эпоху все, кроме того, что успел взять Грибоедов и до чего не договорился Пушкин.

Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству, – сами становятся историей. Мы изучили «Онегина», его время и его среду, взвесили, определили значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым в литературе. Даже позднейшие герои века, например, лермонтовский Печорин, представляя, как и Онегин, свою эпоху, каменеют, однако, в неподвижности, как статуи на могилах. Не говорим о явившихся позднее их более или менее

ярких типах, которые при жизни авторов успели сойти в могилу, оставив по себе некоторые права на литературную память.

Называли *бессмертной* комедию «Недоросль» Фонвизина, и основательно, – ее живая, горячая пора продолжалась около полувека: это громадно для произведения слова. Но теперь нет ни одного намека в «Недоросле» на живую жизнь, и комедия, отслужив свою службу, обратилась в исторический памятник.

«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своею нетленною жизнью, переживает и еще много эпох и все не утратит своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе от ума»?

Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда ее поместить. Изустная оценка опередила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила ее фак-

тически. Сразу поняв ее красоты и не найдя недостатков, она разнесла рукопись на кусочки, на стихи, полустихия, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения.

Но пьеса выдержала и это испытание – и не только не опошлилась, но сделалась как будто дорожке для читателей, нашла себе в каждом из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь.

Печатная критика всегда относилась с большею или меньшею строгостью только к сценическому исполнению пьесы, мало касаясь самой комедии или высказываясь в отрывочных, неполных и разноречивых отзывах. Решено раз всеми навсегда, что комедия образцовое произведение, – и на том все помирились.

И мы здесь не претендуем произнести критический приговор в качестве присяжного

критика: решительно уклоняясь от этого, – мы, в качестве любителя, только высказываем свои размышления тоже по поводу одного из последних представлений «Горя от ума» на сцене. Мы хотим поделиться с читателем этими своими мнениями, или, лучше сказать, сомнениями о том, так ли играется пьеса, то есть с той ли точки зрения смотрят обыкновенно на ее исполнение и сами артисты, и зрители? А заговорив об этом, нельзя не высказать мнений и сомнений и о том, так ли должно понимать самую пьесу, как ее понимают некоторые исполнители, и может быть, и зрители. Не хотим опять сказать, что мы считаем наш способ понимания непогрешимым – мы предлагаем его только как один из способов понимания или как одну из точек зрения.

Что делать актеру, вдумывающемуся в свою роль в этой пьесе? Положиться на один собственный суд – не останется никакого самолюбия, а прислушаться за сорок лет к говору общественного мнения – нет возможности, не затерявшись в мелком анализе. Остается, из бесчисленного хора высказанных и высказыва-

вающихся мнений, остановиться на некоторых общих выводах, наичаще повторяемых, — и на них уже строить собственный план оценки.

Одни ценят в комедии картину московских нравов известной эпохи, создание живых типов и их искусную группировку. Вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц, и притом таким определенным и замкнутым, как колода карт. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другие врезались в память так же твердо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного — Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто пятьдесят третья какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разногласия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся еще долго.

Другие, отдавая справедливость картине нравов, верности типов, дорожат более эпи-

грамматической солью языка, живой сатирой – моралью, которою пьеса до сих пор, как неистощимый колодезь, снабжает всякого на каждый обиходный шаг жизни.

Но и те и другие ценители почти обходят молчанием самую «комедию», действие, и многие даже отказывают ей в условном сценическом движении.

Несмотря на то, всякий раз, однако, когда меняется персонал в ролях, и те и другие судьи идут в театр, и снова поднимаются оживленные толки об исполнении той или другой роли и о самых ролях, как будто в новой пьесе.

Все эти разнообразные впечатления и на них основанная своя точка зрения у всех и у каждого служат лучшим определением пьесы, то есть что комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и скажем сами за себя – больше всего комедия – какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех прочих высказанных условий. Как картина, она, без сомнения, громадна. Полотно ее за-

хватывает длинный период русской жизни – от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю.

В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука, – зритель и читатель чувствуют себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее и детали, все это не сочинено, а так целиком взято из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену, со всей теплотой и со всем «особым отпечатком» Москвы, – от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы неполна.

Однако для нас она еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтоб между ею и нашим временем легла непроходимая бездна. Колорит не сгладился совсем; век не отделился от нашего, как отре-

занный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов. Резкие черты отжили, конечно: никакой Фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример Максима Петровича, по крайней мере так положительно и явно. Молчалин, даже перед горничной, втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, которые завещал ему отец; такой Скалозуб, такой Загорецкий невозможны даже в далеком захолустье. Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угождать и «награждать братья и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни, — до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других, нужды нет, что с самой Москвы стерся тот «особый отпечаток», которым гордился Фамусов.

Общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда, хотя и те превращаются в

неузнаваемые от временных перемен типы, так что, на смену старому, художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего времени. Тартюф<sup>1</sup>, конечно, – вечный тип, Фальстаф<sup>2</sup> – вечный характер, но и тот и другой и многие еще знаменитые подобные им первообразы страстей, пороков и прочее, исчезая сами в тумане старины, почти утратили живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в нарицательное имя порока, и для нас служат уже не живым уроком, а портретом исторической галереи.

Это особенно можно отнести к грибоедовской комедии. В ней местный колорит слишком ярок, и обозначение самых характеров так строго очерчено и обставлено такую реальностью деталей, что общечеловеческие черты едва выделяются из-под общественных положений, рангов, костюмов и т. п.

Как картина современных нравов комедия «Горе от ума» была отчасти анахронизмом и

тогда<sup>3</sup>, когда в 30-х годах появилась на московской сцене. Уже Щепкин<sup>4</sup>, Мочалов<sup>5</sup>, Львова-Синецкая<sup>6</sup>, Ленский<sup>7</sup>, Орлов<sup>8</sup> и Сабуров<sup>9</sup> играли не с натуры, а по свежему преданию. И тогда стали исчезать резкие штрихи. Сам Чацкий гремит против «века минувшего», когда писалась комедия, а она писалась между 1815 и 1820 годами.<sup>10</sup>

*Как посмотреть да посмотреть<sup>11</sup>  
(говорит он).*

*Век нынешний и век минувший.  
Свежо предание, а верится с трудом, –*

а про свое время выражается так:

*Теперь вольнее всякий дышит. –*

или:

*Бранил ваш век я беспощадно, –  
говорит он Фамусову.*

Следовательно, теперь остается только немного от местного колорита: страсть к чинам, низкопоклонничество, пустота. Но с какими-нибудь реформами чины могут отойти, низкопоклонничество до степени лакейства

молчалинского уже прячется и теперь в темноту, а поэзия фрунта уступила место строгому и рациональному направлению в военном деле.

Но все же еще кое-какие живые следы есть, и они пока мешают обратиться картине в законченный исторический барельеф. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, никогда не умрут, как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем, кажется, чтобы их легче было удерживать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка. Этот язык так же дался автору, как далась группа этих лиц, как дался главный смысл комедии, как далось все вместе, будто вылилось разом, и все образовало

необыкновенную комедию – и в тесном смысле как сценическую пьесу, и в обширном – как комедию жизни. Другим ничем, как комедией, она и не могла бы быть.

Оставляя две капитальные стороны пьесе, которые так явно говорят за себя и потому имеют большинство почитателей, – то есть картину эпохи, с группой живых портретов, и соль языка, – обратимся сначала к комедии как к сценической пьесе, потом как к комедии вообще, к ее общему смыслу, к главному разуму ее в общественном и литературном значении, наконец скажем и об исполнении ее на сцене.

Давно привыкли говорить, что нет движения, то есть нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть – живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: «Карету мне, карету!»

Это – тонкая, умная, изящная и страстная комедия в тесном, техническом смысле, – верная в мелких психологических деталях, – но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места,

эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, то есть собственно интрига в ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным.

Только при разезде в сенях зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и то не надолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии.

Главная роль, конечно, – роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме.<sup>12</sup>

Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом –

это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен и весел, и остер». Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те – паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь «ум».

И Онегин и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили как тени с «тоскующею ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину франтить, «блестеть» и в теат-

ре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блеснуть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мери и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томилась, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нежной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и как-нибудь» – и им нечего было делать.

Чацкий, как видно, напротив, готовился серьезно к деятельности. Он «славно пишет, переводит», говорит о нем Фамусов, и все твердят о его высоком уме. Он, конечно, путешествовал не даром, учился, читал, принимался, как видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся – не трудно догадаться почему.

*Служить бы рад, – прислуживаться тошно, –*

намекает он сам. О «тоскующей лени, о праздной скуке» и помину нет, а еще менее о «страсти нежной», как о науке и о занятии. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену.

Между тем Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу – не найдя ни в ком «сочувствия живого», и уехать, увозя с собой только «милльон терзаний».

Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда в живых за эту свою «глупость».

Читатель помнит, конечно, все, что проделал Чацкий. Проследим слегка ход пьесы и постараемся выделить из нее драматический интерес комедии, то движение, которое идет через всю пьесу, как невидимая, но живая нить, связующая все части и лица комедии между собою.

Чацкий вбегает к Софье, прямо из дорожного экипажа, не заезжая к себе, горячо целует у ней руку, глядит ей в глаза, радуется сви-

данию, в надежде найти ответ прежнему чувству – и не находит. Его поразили две перемены: она необыкновенно похорошела и охладела к нему – тоже необыкновенно.

Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно он старается посыпать солью юмора свой разговор, частью играя этой своей силой, чем, конечно, прежде нравился Софье, когда она его любила, – частью под влиянием досады и разочарования. Всем достается, всех перебрал он – от отца Софьи до Молчалина – и какими меткими чертами рисует он Москву – и сколько из этих стихов ушло в живую речь! Но все напрасно: нежные воспоминания, остроты – ничто не помогает. Он *терпит от нее одни холодности*, пока, едко задев Молчалина, он не задел за живое и ее. Она уже с скрытой злостью спрашивает его, случилось ли ему хоть нечаянно «добро о ком-нибудь сказать», и исчезает при входе отца, выдав последнему почти головой Чацкого, то есть объявив его героем рассказанного перед тем отцу сна.

С этой минуты между ею и Чацким завязался горячий поединок, самое живое дей-

ствие, комедия в тесном смысле, в которой принимают близкое участие два лица, Молчалин и Лиза.

Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила мотивом, поводом к раздражениям, к тому «миллиону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия.

Чацкий почти не замечает Фамусова, холодно и рассеянно отвечает на его вопрос, где был? «Теперь мне до того ли?» – говорит он и, обещая приехать опять, уходит, проговаривая из того, что его поглощает:

*Как Софья Павловна у вас похорошела!*

Во втором посещении он начинает разговор опять о Софье Павловне: «Не больна ли

она? не приключилось ли ей печали?» – и до такой степени охвачен и подогретым ее расцветшей красотой чувством и ее холодно-стью к нему, что на вопрос отца, не хочет ли он на ней жениться, в рассеянности спрашивает: «А вам на что?» И потом равнодушно, только из приличия дополняет:

*Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?*

И почти не слушая ответа, вяло замечает на совет «послужить»:

*Служить бы рад, – прислуживаться тошно!*

Он и в Москву, и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной Софье. До других ему дела нет; ему и теперь досадно, что он вместо нее нашел одного Фамусова. «Как здесь бы ей не быть?» – задается он вопросом, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую в нем «ни даль не охладила, ни развлечение, ни перемена мест», – и мучается ее холодностью.

Ему скучно и говорить с Фамусовым – и только положительный вызов Фамусова на

спор выводит Чацкого из его сосредоточенности.

*Вот то-то, все вы гордецы:  
Смотрели бы, как делали отцы,  
Учились бы, на старших глядя! –*

говорит Фамусов и затем чертит такой грубый и уродливый рисунок раболепства, что Чацкий не вытерпел и в свою очередь сделал параллель века «минувшего» с веком «нынешним».

Но все еще раздражение его сдержанно: он как будто сожалеет за себя, что вздумал отрезвлять Фамусова от его понятий; он спешит вставить, что «не о дядюшке его говорит», которого привел в пример Фамусов, и даже предлагает последнему побороть и свой век, наконец, всячески старается замять разговор, видя, как Фамусов заткнул уши, – успокаивает его, почти извиняется.

*Длитель споры не мое желанье, –*

говорит он. Он готов опять войти в себя. Но его будит неожиданный намек Фамусова на слух о сватовстве Скалозуба.

*Вот будто женится на Софьюшке... и т. д.*

Чацкий наострил уши.

*Как суется, что за пруть!*

«А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого?» – говорит он, и хотя потом прибавляет:

*Ах – тот скажи любви конец,  
Кто на три года вдаль уедет! –*

но сам еще не верит этому, по примеру всех влюбленных, пока эта любовная аксиома не разыгралась над ним до конца.

Фамусов подтверждает свой намек о женитьбе Скалозуба, навязывая последнему мысль «о генеральше», и почти явно вызывает на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрения Чацкого о причинах перемены к нему Софьи. Он даже согласился было на просьбу Фамусова бросить «завиральные идеи» и помолчать при госте. Но раздражение уже шло crescendo[1], и он вмешался в разговор, пока небрежно, а потом, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова его уму и прочее, воз-

вышает тон и разрешается резким монологом:

«А судьи кто?» и т. д. Тут уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, целая битва. Здесь в нескольких словах раздается, как в увертюре опер, главный мотив, намекается на истинный смысл и цель комедии. Оба, Фамусов и Чацкий, бросили друг другу перчатку:

*Смотрели бы, как делали отцы,  
Учились бы, на старших глядя! –*

раздался военный клик Фамусова. А кто эти старшие и «судьи»?

*...За дряхлостью лет<sup>13</sup>  
К свободной жизни их вражда  
непримирима, –*

отвечает Чацкий и казнит –

*Прошедшего житья подлейшие  
черты.*

Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой – один пылкий и отважный боец, «враг исканий». Это борьба

на жизнь и смерть, борьба за существование, как новейшие натуралисты<sup>14</sup> определяют естественную смену поколений в животном мире. Фамусов хочет быть «тузом» – «есть на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и видеть детей богатыми, в чинах, в орденах и с ключом» – и так без конца, и все это только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного, «чтоб множество не накопилось их».

Чацкий рвется к «свободной жизни», «к занятиям» наукой и искусством и требует «службы делу, а не лицам» и т. д. На чьей стороне победа? Комедия дает Чацкому только «милльон терзаний» и оставляет, повидимому, в том же положении Фамусова и его братию, в каком они были, ничего не говоря о последствиях борьбы.

Теперь нам известны эти последствия. Они обнаружались с появлением комедии, еще в рукописи, в свет – и как эпидемия охватили всю Россию.

Между тем интрига любви идет своим чередом, правильно, с тонкою психологическою верностью, которая во всякой другой пьесе,

лишенной прочих колоссальных грибоедовских красот, могла бы сделать автору имя.

Обморок Софьи при падении с лошади Молчалина, ее участие к нему, так неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкого на Молчалина – все это усложнило действие и образовало тот главный пункт, который назывался в пиитиках завязкою. Тут сосредоточился драматический интерес. Чацкий почти угадал истину.

*Смятенье, обморок, поспешность, гнев испуга!*

(по случаю паденья с лошади Молчалина)

*Все это можно ощущать,  
Когда лишаешься единственного  
друга, –*

говорит он и уезжает в сильном волнении, в муках подозрений на двух соперников.

В третьем акте он раньше всех забирается на бал, с целью «вынудить признание» у Софьи – и с дрожью нетерпенья приступает делу прямо с вопросом: «Кого она любит?»

После уклончивого ответа она признается,

что ей милее его «иные». Кажется, ясно. Он и сам видит это и даже говорит:

*И я чего хочу, когда все решено?  
Мне в петлю лезть, а ей смешно!*

Однако лезет, как все влюбленные, несмотря на свой «ум», и уже слабеет перед ее равнодушием. Он бросает никуда негодное против счастливого соперника оружие – прямое нападение на него, и снисходит до притворства.

*Раз в жизни притворюсь, –*

решает он, чтоб «разгадать загадку», а собственно чтоб удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стреле, пущенной в Молчалина. Это не притворство, а уступка, которою он хочет выпросить то, чего нельзя выпросить, – любви, когда ее нет. В его речи уже слышится молящий тон, нежные упреки, жалобы:

*Но есть ли в нем та страсть, то  
чувство, пылкость та...  
Чтоб, кроме вас, ему мир целый  
Казался прах и суета?  
Чтоб сердца каждое биенье  
Любовью ускорялось к вам... –*

говорит он – и наконец:

*Чтоб равнодушнее мне понести  
утрату,  
Как человеку – вы, который с ва-  
ми взрос,  
Как другу вашему, как брату,  
Мне дайте убедиться в том...*

Это уже слезы. Он трогает серьезные стру-  
ны чувства –

*От сумасшествия могу я остере-  
чься,  
Пущусь подалее простыть, охоло-  
деть... –*

заключает он. Затем оставалось только  
упасть на колени и зарыдать. Остатки ума  
спасают его от бесполезного унижения.

Такую мастерскую сцену, высказанную та-  
кими стихами, едва ли представляет ка-  
кое-нибудь другое драматическое произведе-  
ние. Нельзя благороднее и трезвее высказать  
чувство, как оно высказалось у Чацкого, нель-  
зя тоньше и грациознее выпутаться из ло-  
вушки, как выпутывается Софья Павловна.  
Только пушкинские сцены Онегина с Татья-

ной напоминают эти тонкие черты умных натур.

Софье удалось было совершенно отделаться от новой подозрительности Чацкого, но она сама увлеклась своей любовью к Молчалину и чуть не испортила все дело, высказавшись почти открыто в любви. На вопрос Чацкого:

*Зачем же вы его (Молчалива) так коротко узнали? –*

она отвечает:

*Я не старалась! Бог нас свел.*

Этого довольно, чтоб открыть глаза слепому. Но ее спас сам Молчалин, то есть его ничтожество. Она в увлечении поспешила нарисовать его портрет во весь рост, может быть в надежде примирить с этой любовью не только себя, но и других, даже Чацкого, не замечая, как портрет выходит пошл:

*Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел.*

*При батюшке три года служит;  
Тот часто бестолку сердит,  
А он безмолвием его обезоружит,*

*От доброты души простит.  
А, между прочим,<sup>15</sup>  
Веселостей искать бы мог, –  
Ничуть, от старичков не ступит  
за порог!  
Мы резвимся, хохочем;  
Он с ними целый день засядет,  
рад не рад,  
Играет...*

Далее:

*Чудеснейшего свойства...  
Он наконец: уступчив, скромн,  
тих,  
И на душе проступков никаких<sup>16</sup>;  
Чужих и вкривь и вкось не рубит...  
Вот я за что его люблю!*

У Чацкого рассеялись все сомнения:

*Она его не уважает!  
Шалит, она его не любит.  
Она не ставит в грош его!<sup>17</sup> –*

утешает он себя при каждой ее похвале Молчалину и потом хватается за Скалозуба. Но ответ ее – что он «герой не ее романа» – уничтожил и эти сомнения. Он оставляет ее без ревности, но в раздумье, сказав:

## *Кто разгадает вас!*

Он и сам не верил в возможность таких соперников, а теперь убедился в этом. Но и его надежды на взаимность, до сих пор горячо волновавшие его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться с ним под предлогом, что «щипцы остынут», и потом, на просьбу его позволить зайти к ней в комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула от него и заперлась.

Он почувствовал, что главная цель возвращения в Москву ему изменила, и он отходит от Софьи с грустью. Он, как потом сознается в сениях, с этой минуты подозревает в ней только холодность ко всему – и после этой сцены самый обморок отнес не «к признакам живых страстей», как прежде, а «к причуде избалованных нерв».

Следующая сцена его с Молчалиным, вполне обрисовывающая характер последнего, утверждает Чацкого окончательно, что Софья не любит этого соперника.

*Обманщица смеялась надо мною!*

—  
*замечает он и идет навстречу но-*

## *вым лицам.*

Комедия между ним и Софьей оборвалась; жгучее раздражение ревности унялось, и холод безнадежности пахнул ему в душу.

Ему оставалось уехать; но на сцену вторгнется другая, живая, бойкая комедия, открывающаяся разом несколько новых перспектив московской жизни, которые не только вытесняют из памяти зрителя интригу Чацкого, но и сам Чацкий как будто забывает о ней и мешается в толпу. Около него группируются и играют, каждое свою роль, новые лица. Это бал, со всей московской обстановкой, с рядом живых сценических очерков, в которых каждая группа образует свою отдельную комедию, с полною обрисовкою характеров, успевших в нескольких словах разыграть в законченное действие.

Разве не полную комедию разыгрывают Горичевы? Этот муж, недавно еще бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облекшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин, «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого, — под башмаком приторной, жеманной,

светской супруги, московской дамы?

А эти шесть княжен и графиня-внучка, – весь этот контингент невест, «умеющих, по словам Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцем и дымкой», «поющих верхние нотки и льнущих к военным людям»?

Эта Хлестова, остаток екатерининского века, с моськой, с арапкой-девочкой, – эта княгиня и князь Петр Ильич – без слова, но такая говорящая руина прошлого; Загорецкий, явный мошенник, спасающийся от тюрьмы в лучших гостиных и откупающийся угодливостью, вроде собачьих поносок – и эти N. N., и все толки их, и все занимающее их содержание!

Наплыв этих лиц так обилен, портреты их так рельефны, что зритель хладеет к интриге, не успевая ловить эти быстрые очерки новых лиц и вслушиваться в их оригинальный говор.

Чацкого уже нет на сцене. Но он до ухода дал обильную пищу той главной комедии, которая началась у него с Фамусовым, в первом акте, потом с Молчалиным, – той битве со всей Москвой, куда он, по целям автора, за-

тем и приехал.

В кратких, даже мгновенных встречах с старыми знакомыми, он успел всех вооружить против себя едкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогивают всякие пустяки – и он дает волю языку. Рассердил старуху Хлестову, дал невпопад несколько советов Горичеву, резко оборвал графиню-внучку и опять задел Молчалина.

Но чаша переполнилась. Он выходит из задних комнат уже окончательно расстроенный, и по старой дружбе, в толпе опять идет к Софье, надеясь хоть на простое сочувствие. Он поверяет ей свое душевное состояние:

*Мильон терзаний! –*

говорит он.

*Груди от дружеских тисков,  
Ногам от шарканья, ушам от  
восклицаний,  
А пуще голове от всяких пустяков!  
Здесь у меня душа<sup>18</sup> каким-то го-  
рем сжата! –*

жалуется он ей, не подозревая, какой заго-

вор созрел против него в неприятельском лагере.

«Мильон терзаний» и «горе!» – вот что он пожал за все, что успел посеять. До сих пор он был непобедим: ум его беспощадно поражал больные места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его логики, и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает, княжны, графини – пятятся прочь от него, обожженные крапивой его смеха, и прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему главный удар втихомолку, объявив его, под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он, очевидно, ослабел от этого «миллиона терзаний», и расстройство обнаружилось в нем так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей.

Он не только грустен, но и желчен, придирчив. Он, как раненый, собирает все силы, делает вызов толпе – и наносит удар всем, –

но нехватило у него мощи против соединенного врага.

Он впадает в преувеличения, почти в нетрезвость речи, и подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии. Слышится уже не острый, ядовитый сарказм, в который вставлена верная, определенная идея, правда, а какая-то горькая жалоба, как будто на личную обиду, на пустую, или, по его же словам, «незначащую встречу с французиком из Бордо», которую он, в нормальном состоянии духа, едва ли бы заметил.

Он перестал владеть собой и даже не замечает, что он сам составляет спектакль на балу. Он ударяется и в патриотический пафос, договаривается до того, что находит фрак противным «рассудку и стихиям», сердится, что *madame* и *mademoiselle* не переведены на русский язык, – словом, «*il divague!*»[2] – заключили, вероятно, о нем все шесть княжен и графиня-внучка. Он чувствует это и сам, говоря, что «в многолюдстве он растерян, сам не свой!»

Он точно «сам не свой», начиная с моноло-

га «о французике из Бордо» – и таким остается до конца пьесы. Впереди пополняется только «милльон терзаний».

Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену 4-го акта, в сенях, при разъезде. Конечно, ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий. Те были слишком дрессированы «в науке страсти нежной», а Чацкий отличается и, между прочим, искренностью и простотой, и не умеет и не хочет рисоваться. Он не франт, не лев. Здесь изменяет ему не только ум, но и здравый смысл, даже простое приличие. Таких пустяков наделал он!

Отделавшись от болтовни Репетилова и спрятавшись в швейцарскую в ожидании кареты, он подглядел свидание Софьи с Молчалиным и разыграл роль Отелло, не имея на то никаких прав. Он упрекает ее, зачем она его «надеждой завлекла», зачем прямо не сказала, что прошлое забыто. Тут что ни слово – то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и делала, что уходила от него, едва говорила с ним, призналась в рав-

нодушии, назвала какой-то старый детский роман и прятанье по углам «ребячеством» и даже намекнула, что «бог ее свел с Молчали-НЫМ».

А он, потому только, что –

*...так страстно и так низко  
Был расточитель нежных слов, –*

в ярости за собственное свое бесполезное унижение, за напущенный на себя добровольно самим собой обман, казнит всех, а ей бросает жестокое и несправедливое слово:

*С вами я горжусь моим разрывом,*  
–

когда нечего было и разрывать! Наконец просто доходит до брани, изливая желчь:

*На дочь, и на отца,  
И на любовника глупца, –*

и кипит бешенством на всех, «на мучителей толпу, предателей, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих» и т. д. И уезжает из Москвы искать «уголка оскорбленному чувству», произнося всему беспощадный суд и приговор!

Если б у него явилась одна здоровая минута, если б не жег его «милльон терзаний», он бы, конечно, сам сделал себе вопрос: «Зачем и за что наделал я всю эту кутерьму?» И, конечно, не нашел бы ответа.

За него отвечает Грибоедов, который неспроста кончил пьесу этой катастрофой. В ней, не только для Софьи, но и для Фамусова и всех его гостей, «ум» Чацкого, сверкавший, как луч света в целой пьесе, разразился в конце в тот гром, при котором крестятся, по поговорке, мужики.

От грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самого появления Чацкого, когда Молчалин уже ползал у ног ее, все тою же бессознательною Софьей Павловною, с тою же ложью, в какой ее воспитал отец, в какой он прожил сам, весь его дом и весь круг. Еще не опомнившись от стыда и ужаса, когда маска упала с Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все узнала, что нет укоряющих свидетелей в глазах!»

А нет свидетелей, следовательно, все шито да крыто, можно забыть, выйти замуж, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотреть...

Да никак не смотреть. Свое нравственное чувство стерпит, Лиза не проговорится, Молчалин пикнуть не смеет. А муж? Но какой же московский муж, «из жениных пажей», станет озираться на прошлое!

Это и ее мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тем Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грешит грехом неведения, слепоты, в которой жила все,

*Свет не карает заблуждений,  
Но тайны требует для них!*

В этом двестишии Пушкина выражается общий смысл условной морали. Софья никогда не прозревала от нее и не прозрела бы без Чацкого никогда, за неимением случая. После катастрофы, с минуты появления Чацкого оставаться слепой уже невозможно. Его суда ни обойти забвением, ни подкупить ложью, ни успокоить – нельзя. Она не может не уважать его, и он будет вечным ее «укоряющим свидетелем», судьей ее прошлого. Он открыл ей глаза.

До него она не признавала слепоты своего

чувства к Молчалину и даже, разбирая последнего, в сцене с Чацким, по ниточке, сама собою не прозрела на него. Она не замечала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой он, дрожа от страха, и подумать не смел. Ее не смущали свидания наедине ночью, и она даже проговорила в благодарности к нему в последней сцене за то, что «в ночной тиши он держался больше робости во нраве!» Следовательно и тем, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себе самой, а ему!

Наконец, в самом начале, она проговаривается еще наивнее перед горничной.

*Подумаешь, как счастье своевольно, –*

говорит она, когда отец застал Молчалина рано утром у ней в комнате, –

*Бывает хуже – с рук сойдет!*

А Молчалин просидел у нее в комнате целую ночь. Что же разумела она под этим «хуже»? Можно подумать бог знает что: но honny soil qui mal у pense![3] Софья Павловна вовсе не так виновна, как кажется.

Это – смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота – все это не имеет в ней характера личных пороков, а является, как общие черты ее круга. В собственной, личной ее физиономии прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию.

Французские книжки, на которые сетует Фамусов, фортепиано (еще с аккомпанементом флейты), стихи, французский язык и танцы – вот что считалось классическим образованием барышни. А потом «Кузнецкий мост и вечные обновы», балы, такие, как этот бал у ее отца, и это общество – вот тот круг, где была заключена жизнь «барышни». Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали они из романов, повестей – и оттуда инстинкты развивались в уродливые, жалкие или глупые свойства: мечтательность, сентиментальность, искание идеала в любви, а иногда и хуже.

В снотворном застое, в безвыходном море лжи, у большинства женщин снаружи господствовала условная мораль – а втихомолку жизнь кишела, за отсутствием здоровых и серьезных интересов, вообще всякого содержания, теми романами, из которых и создалась «наука страсти нежной». Онегины и Печорины – вот представители целого класса, почти породы ловких кавалеров, *jeunes premiers*[4]. Эти передовые личности в *high life*[5] – такими являлись и в произведениях литературы, где и занимали почетное место со времен рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Сам Пушкин, не говоря о Лермонтове, дорожил этим внешним блеском, этою представительностью *du bon ton*[6], манерами высшего света, под которою крылось и «озлобление», и «тоскующая лень», и «интересная скука». Пушкин щадил Онегина, хотя касается легкой иронией его праздности и пустоты, но до мелочи и с удовольствием описывает модный костюм, безделки туалета, франтовство – и ту напущенную на себя небрежность и невнимание ни к чему, эту *fatuité*[7], позированье, которым щеголяли дэнди. Дух позднейшего вре-

мени снял заманчивую драпировку с его героя и всех подобных ему «кавалеров» и определил истинное значение таких господ, согнав их с первого плана.

Они и были героями и руководителями этих романов, и обе стороны дрессировались до брака, который поглощал все романы почти бесследно, разве попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сентиментальная – словом, дурочка, или героем оказывался такой искренний «сумасшедший», как Чацкий.

Но в Софье Павловне, спешим оговориться, то есть в чувстве ее к Молчалину, есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладет «московский отпечаток», потом бойкость, умение владеть собой, которое явилось в Татьяне при встрече с Онегиным уже после замужества, а до тех пор она не сумела солгать о любви даже няне. Но Татьяна – деревенская девушка, а Софья Павловна – московская, по-тогдашнему, развитая.

Между тем она в любви своей точно так же готова выдать себя, как Татьяна: обе, как в

лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой. И Софья, как Татьяна же, сама начинает роман, не находя в этом ничего предосудительного, даже не догадывается о том. Софья удивляется хохоту горничной при рассказе, как она с Молчалиным проводит всю ночь: «Ни слова вольного! – и так вся ночь проходит!» «Враг дерзости, всегда застенчивый, стыдливый!» Вот чем она восхищается в нем! Это смешно, но тут есть какая-то почти грация – и куда далеко до безнравственности, нужды нет, что она проговорила словом: хуже – это тоже наивность. Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онегиным и Молчалиным. Выбор Софьи, конечно, не рекомендует ее, но и выбор Татьяны тоже был случайный, даже едва ли ей и было из чего выбирать.

Вглядываясь глубже в характер и в обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность (но и не «бог», конечно) «свели ее» с Молчалиным. Прежде всего, влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на нее глаз, – возвысить его до себя, до своего круга,

дать ему семейные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба. Не ее вина, что из этого выходил будущий «муж-мальчик, муж-слуга – идеал московских мужей!» На другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова.

Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Не даром любил ее и Чацкий. После него она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой «милльон терзаний».

Чацкого роль – роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе, они

сеют только, а пожинаяют другие – и в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха.

Конечно, Павла Афанасьевича Фамусова он не образумил, не отрезвил и не исправил. Если б у Фамусова при разезде не было «укоряющих свидетелей», то есть толпы лакеев и швейцара, – он легко справился бы с своим горем: дал бы головомойку дочери, выдрал бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи с Скалозубом. Но теперь нельзя: наутро, благодаря сцене с Чацким, вся Москва узнает – и пуще всех «княгиня Марья Алексеевна». Покой его возмутится со всех сторон – и поневоле заставит кое о чем подумать, что ему в голову не приходило. Он едва ли даже кончит свою жизнь таким «тузом», как прежние. Толки, порожденные Чацким, не могли не всколыхать всего круга его родных и знакомых. Он уже и сам против горячих монологов Чацкого не находил оружия. Все слова Чацкого разносятся, повторяются всюду и произведут свою бурю.

Молчалин, после сцены в сенях – не может оставаться прежним Молчалиным. Маска

сдернута, его узнали, и ему, как пойманному вору, надо прятаться в угол. Горичевы, Загорецкий, княжны – все попали под град его выстрелов, и эти выстрелы не останутся бесследны. В этом до сих пор согласном хоре иные голоса, еще смелые вчера, смолкнут или раздадутся другие и за и против. Битва только разгоралась. Чацкого авторитет известен был и прежде, как авторитет ума, остроумия, конечно, знаний и прочего. У него есть уже и, единомышленники. Скалозуб жалуется, что брат его оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух ропщет, что племянник ее, князь Федор, занимается химией и ботаникой. Нужен был только взрыв, бой, и он завязался, упорный и горячий – в один день в одном доме, но последствия его, как мы выше сказали, отразились на всей Москве и России. Чацкий породил раскол, и если обманулся в своих личных целях, не нашел «прелести встреч, живого участия», то брызнул сам на заглохшую почву живой водой – увезя с собой «милion терзаний», этот терновый венец Чацких – терзаний от всего: от «ума», а еще более от «оскорб-

ленного чувства».

На эту роль не годились ни Онегин, ни Печорин, ни другие франты. Они и новизной идеей умели блистать, как новизной костюма, новых духов и прочее. Заехав в глушь, Онегин поражал всех тем, что к дамам «к ручке не подходит, стаканами, а не рюмками пил красное вино», говорил просто: «да и нет» вместо «да-с и нет-с». Он морщится от «брусничной воды», в разочаровании бранит луну «глупой» – и небосклон тоже. Он привез на гривенник нового и, вмешавшись «умно», а не как Чацкий «глупо», в любовь Ленского и Ольги и убив Ленского, увез с собой не «миллион», а на «гривенник» же и терзаний!

Теперь, в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрек, зачем он поставил свое «оскорбленное чувство» выше общественных вопросов, общего блага и т. д. и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль – выше и важнее роли отвергнутого жениха?

Да, теперь! А в то время, для большинства, понятия об общественных вопросах были бы то же, что для Репетилова толки «о камере и о

присяжных». Критика много погрешила тем, что в суде своем над знаменитыми покойниками сходила с исторической точки, забегала вперед и поражала их современным оружием. Не будем повторять ее ошибок – и не обвиним Чацкого за то, что в его горячих речах, обращенных к фамусовским гостям, нет помина об общем благе, когда уже и такой раскол от «исканий мест, от чинов», как «занятие науками и искусствами», считался «разбоем и пожаром».

Живучесть роли Чацкого состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий или даже истин en herbe:[8] у него нет отвлеченностей. Провозвестники новой зари, или фанатики, или просто вестовщики – все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются и – по естественному ходу общественного развития – должны являться, но их роли и физиономии до бесконечности разнообразны.

Роль и физиономия Чацких неизменна. Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную». Он знает, за что он воюет

и что должна принести ему эта жизнь. Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, пока он не облекся в плоть и кровь, не осмыслился разумом, правдой, – словом, не очеловечился.

Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты, он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры» в болтовне Репетилова, и скажет свое:

*Послушай, ври, да знай же меру!*

Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе, выработанной не им, а уже начатым веком. Он не гонит с юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться и клеймит позором низкопоклонство и шутство. Он требует «службы делу, а не лицам», не смешивает «веселья или дурачества

с делом», как Молчалин, – он тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, предателей, зловещих старух, вздорных стариков», отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чиновлюбия и прочего. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливанья в пирах и мотовстве» – явления умственной и нравственной слепоты и растления.

Его идеал «свободной жизни» определителей: это – свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода – «вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться «искусствам творческим, высоким и прекрасным», – свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать», не сльвя за то ни разбойником, ни зажигателем, и – ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе – от несвободы.

И Фамусов и другие знают это и, конечно, про себя все согласны с ним, но борьба за существование мешает им уступить.

От страха за себя, за свое безмятеж-

но-праздное существование Фамусов затыкает уши и клеветает на Чацкого, когда тот заявляет ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочим –

*Кто путешествует, в деревне  
кто живет, –*

говорит он, а тот с ужасом возражает:

*Да он властей не признает!*

Итак, лжет и он, потому что ему нечего сказать, и лжет все то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой – она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шаг вперед.

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и – всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене од-

ного века другим. Положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу.

Всеми ими управляет одно: раздражение при различных мотивах. У кого, как у Грибоедовского Чацкого, любовь, у других самолюбие или славолубие – но всем им достается в удел свой «миллион терзаний», и никакая высота положения не спасает от него. Очень немногим, просветленным Чацким, дается утешительное сознание, что они не даром бились – хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего, и за всех, и успели.

Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой – Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств, – все длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым, и все бьются в поединках, как Горации и Куриации

<sup>19</sup>, – миниатюрные Фамусовы и Чацкие.

Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого – и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела – будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне – ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к «свободной жизни» вперед и вперед – с другой.

Вот отчего не состарелся до сих пор и едва ли состареется когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее, и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантесовского Дон-Кихота и шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобию.

В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова – и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда.

И в этом бессмертие стихов Грибоедова! Много можно бы привести Чацких – являвшихся на очередной смене эпох и поколений – в борьбах за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда – громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хранится свежее предание, других мы видели и знали, а иные еще продолжают борьбу. Обратимся к литературе. Вспомним не повесть, не комедию, не художественное явление, а возьмем одного из позднейших бойцов с старым веком, например Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают его все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям – и в них звучат те же мотивы – и тот же тон, как у грибоедовского Чацкого. И так же он умер<sup>20</sup>, уничтоженный «миллионом терзаний», убитый лихорадкой

ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь – уже не грезы больше.

Оставя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого<sup>21</sup>, этого с головы до ног русского человека, – вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого.

И Герцен страдал от «милльона терзаний», может быть всего более от терзаний Репетиловых его же лагеря, которым у него при жизни не достало духа сказать: «Ври, да знай же меру!»

Но он не унес этого слова в могилу, сознавшись по смерти в «ложном стыде», помешавшем сказать его.

Наконец – последнее замечание о Чацком. Делают упрек Грибоедову в том, что будто Чацкий – не облечен так художественно, как другие лица комедии, в плоть и кровь, что в нем мало жизненности. Иные даже говорят, что это не живой человек, а абстракт, идея,

ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как, например, фигура Онегина и других, выхваченных из жизни типов.

Это несправедливо. Ставить рядом с Онегиным Чацкого нельзя: строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая. Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в легких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая сторона – а Грибоедов успел намекнуть и на многие другие.

Потом – если приглядеться вернее к людским типам в толпе – то едва ли не чаще других встречаются эти честные, горячие, иногда желчные личности, которые не прячутся покорно в сторону от встречной уродливости, а смело идут навстречу ей и вступают в борьбу, часто – неравную, всегда со вредом себе и без видимой пользы делу. Кто не знал или не знает, каждый в своем кругу, таких умных, горя-

чих, благородных сумасбродов, которые производят своего рода кутерьму в тех кругах, куда их занесет судьба, за правду, за честное убеждение?!

Нет, Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность и как человек и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли. Но повторяем, натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии.

\* \* \*

Наконец позволим себе высказать несколько замечаний об исполнении комедии на сцене в недавнее время, а именно в бенефис Монахова<sup>22</sup>, и о том, чего бы мог зритель пожелать от исполнителей.

Если читатель согласится, что в комедии, как мы сказали, движение горячо и непрерывно поддерживается от начала до конца, то из этого само собою должно следовать, что пьеса в высшей степени сценична. Она такова и есть. Две комедии как будто вложены одна в другую: одна, так сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацким, Софьей, Молчаливым и Лизой: это интрига любви, все-

дневный мотив всех комедий. Когда первая прерывается, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву и связывается в один узел.

Артисты, вдумывающиеся в общий смысл и ход пьесы и каждый в свою роль, найдут широкое поле для действия. Труда к одолению всякой, даже незначительной роли, немало, – тем более, чем добросовестнее и тоньше будет относиться к искусству артист.

Некоторые критики возлагают на обязанность артистов исполнять и историческую верность лиц, с колоритом времени во всех деталях, даже до костюмов, то есть до фасона платьев, причесок включительно.

Это трудно, если не совсем невозможно. Как исторические типы, эти лица, как сказано выше, еще бледны, а живых оригиналов теперь не найдешь: штудировать не с чего. Точно так же и с костюмами. Старомодные фраки, с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высоким лифом, высокие прически, старые чепцы – во всем этом действующие лица покажутся беглецами с

толкучего рынка. Другое дело, костюмы прошлого столетия, совершенно отжившие: камзолы, роброны, мушки, пудра и пр.

Но при исполнении «Горя от ума» дело не в костюмах.

Мы повторяем, что в игре вообще нельзя претендовать на историческую верность, так как живой след почти пропал, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибегать к творчеству, к созданию идеалов, по степени своего понимания эпохи и произведения Грибоедова.

Это первое, то есть главное сценическое условие.

Второе – это язык, то есть такое художественное исполнение языка, как и исполнение действия: без этого второго, конечно, невозможно и первое.

В таких высоких литературных произведениях, как «Горе от ума», как «Борис Годунов» Пушкина и некоторых других, исполнение должно быть не только сценическое, но наиболее литературное, как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где безошибочно должна быть сыграна каждая му-

зыкальная фраза и в ней каждая нота. Актер, как музыкант, обязан доиграться, то есть додуматься до того звука голоса и до той интонации, какими должен быть произнесен каждый стих: это значит додуматься до тонкого критического понимания всей поэзии пушкинского и грибоедовского языка. У Пушкина, например, в «Борисе Годунове», где нет почти действия, или по крайней мере единства, где действие распадается на отдельные, не связанные друг с другом сцены, иное исполнение, как строго и художественно-литературное, и невозможно. В ней всякое прочее действие, всякая сценичность, мимика должны служить только легкой приправой литературного исполнения, действия в слове.

За исключением некоторых ролей в значительной степени можно сказать то же и о «Горе от ума». И там больше всего игры в языке: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово с неверной интонацией будет резать ухо, как фальшивая нота.

Не надо забывать, что такие пьесы, как «Горе от ума», «Борис Годунов», публика знает наизусть и не только следит мыслью за каж-

дым словом, но чуёт, так сказать, нервами каждую ошибку в произношении. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша их. Эти пьесы исполнялись и исполняются нередко в частном быту, просто чтением между любителями литературы, когда в кругу найдется хороший чтец, умеющий тонко передавать эту своего рода литературную музыку.

Несколько лет тому назад, говорят, эта пьеса была представлена в лучшем петербургском кругу с образцовым искусством, которому, конечно, кроме тонкого критического понимания пьесы, много помогал и ансамбль в тоне, манерах, и особенно – умение отлично читать.

Исполняли ее в Москве в 30-х годах с полным успехом. До сих пор мы сохранили впечатление о той игре: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкого), Ленского (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успеху много содействовало поражавшее тогда новизною и смелостью открытое нападение со сцены на многое, что еще не успело отойти, до чего боялись дотрогиваться даже в печати. Потом Щепкин, Ор-

лов, Сабуров выражали типично еще живые подоби́я запоздавших Фамусовых, кое-где уцелевших Молчаливых или прятавшихся в партере за спину соседа Загорецких.

Все это бесспорно придавало огромный интерес пьесе, но и помимо этого, помимо даже высоких талантов этих артистов и истекавшей оттуда типичности исполнения каждым из них своей роли, в их игре, как в отличном хоре певцов, поражал необыкновенный ансамбль всего персонала лиц, до малейших ролей, а главное, они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно с тем «толком, чувством и расстановкой», какая для них необходима. Мочалов, Щепкин! Последнего, конечно, знает и теперь почти весь партер и помнит, как он, уже и в старости, читал свои роли и на сцене и в салонах!

Постановка была тоже образцовая – и должна была бы и теперь, и всегда превосходить тщательностью постановку всякого балета, потому что комедии этой век не сойти со сцены, даже и тогда, когда сойдут позднейшие образцовые пьесы.

Каждая из ролей, даже второстепенных в ней, сыгранная тонко и добросовестно, будет служить артисту дипломом на обширное амплуа.

К сожалению, давно уже исполнение пьесы на сцене далеко не соответствует ее высоким достоинствам, особенно не блещит оно ни гармоничностью в игре, ни тщательностью в постановке, хотя отдельно, в игре некоторых артистов, есть счастливые намеки на обещания на возможность более тонкого и тщательного исполнения. Но общее впечатление таково, что зритель, вместе с немногим хорошим, выносит из театра свой «миллион терзаний».

В постановке нельзя не замечать небрежности и скудости, которые как будто предупреждают зрителя, что будут играть слабо и небрежно, следовательно, не стоит и хлопотать о свежести и верности аксессуаров. Например, освещение на бале так слабо, что едва различаешь лица и костюмы, толпа гостей так жидка, что Загорецкому, вместо того чтоб «пропасть», по тексту комедии, то есть уклониться куда-нибудь в толпу, от брани Хлесто-

вой, приходится бежать через всю пустую залу, из углов которой, как будто из любопытства, выглядывают какие-то два-три лица. Вообще все смотрит как-то тускло, несвежо, бесцветно.

В игре вместо ансамбля господствует разладица, точно в хоре, не успевшем спеться. В новой пьесе и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедия была для кого-нибудь нова в труппе.

Половина пьесы проходит неслышно. Вырвутся два-три стиха явственно, другие два произносятся актером как будто только для себя – в сторону от зрителя. Действующие лица хотят играть грибоедовские стихи, как текст водевиля. В мимике у некоторых много лишней суеты, этой мнимой, фальшивой игры. Даже и те, кому приходится сказать два-три слова, сопровождают их или усиленными, ненужными на них ударениями, или лишними жестами, не то так какой-то игрой в походке, чтобы дать заметить о себе на сцене, хотя эти два-три слова, сказанные умно, с тактом, были бы замечены гораздо больше,

нежели все телесные упражнения.

Иные из артистов как будто забывают, что действие происходит в большом московском доме. Например, Молчалин, хотя и бедный маленький чиновник, но он живет в лучшем обществе, принят в первых домах, играет с знатными старухами в карты, следовательно, не лишен в манерах и тоне известных приличий. Он «вкрадчив, тих», говорится о нем в пьесе. Это домашний кот, мягкий, ласковый, который бродит везде по дому, и если блудит, то втихомолку и прилично. У него не может быть таких диких ухваток, даже когда он бро-сается к Лизе, оставшись с ней наедине, какие усвоил ему актер, играющий его роль.

Большинство артистов не может также похвастаться исполнением того важного условия, о котором сказано выше, именно вер-ным, художественным чтением. Давно жалу-ются, что будто бы с русской сцены все более и более удаляется это капитальное условие. Ужели вместе с декламацией старой школы изгнано и вообще уменье читать, произно-сить художественную речь, как будто это уме-нье стало лишнее или ненужно? Слышатся

даже частые жалобы на некоторых корифеев драмы и комедии, что они не дают себе труда учить ролей!

Что же затем осталось делать артистам? Что они разумеют под исполнением ролей? Гримировку? Мимику?

С которых же пор явилось это небрежение к искусству? Мы помним и петербургскую, и московскую сцены в блестящем периоде их деятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиных до Самойлова, Садовского<sup>24</sup>. Здесь держатся еще немногие ветераны старой петербургской сцены и между ними имена Самойлова, Каратыгина<sup>23</sup> напоминают золотое время, когда на сцене являлись Шекспир, Мольер, Шиллер – и тот же Грибоедов, которого мы приводим теперь, и все это давалось вместе с роем разных водевилей, переделок с французского и т. п. Но ни эти переделки, ни водевили не мешали отличному исполнению ни «Гамлета», ни «Лиры<sup>25</sup>», ни «Скупого<sup>26</sup>».

В ответ на это слышишь с одной стороны, что будто вкус публики испортился (какой публики?), обратился к фарсу и что последствием этого была и есть отвычка артистов от

серьезной сцены и серьезных, художественных ролей; а с другой, что и самые условия искусства изменились: от исторического рода, от трагедии, высокой комедии – общество ушло, как из-под тяжелой тучи, и обратилось к буржуазной, так называемой драме и комедии, наконец к жанру.

Разбор этой «порчи вкуса» или видоизменения старых условий искусства в новые отвлек бы нас от «Горя от ума» и, пожалуй, привел бы к какому-нибудь другому, более безвыходному горю. Лучше примем второе возражение (о первом не стоит говорить, так как оно говорит само за себя) за совершившийся факт и допустим эти видоизменения, хотя заметим мимоходом, что на сцене появляются еще Шекспир и новые исторические драмы, как «Смерть Иоанна Грозного»<sup>27</sup>, «Василиса Мелентьева»<sup>29</sup>, «Шуйский»<sup>28</sup> и др., требующие того самого умения читать, о котором мы говорим. Но ведь кроме этих драм, есть на сцене другие произведения нового времени, писанные прозой, и проза эта почти так же, как пушкинские и грибоедовские стихи, имеет свое типичное достоинство и требует такого

же ясного и отчетливого исполнения, как и чтение стихов. Каждая фраза Гоголя так же типична и так же заключает в себе свою особую комедию, независимо от общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих. И только глубоко верное, во всей зале слышимое, отчетливое исполнение, то есть сценическое произношение этих фраз, и может выразить то значение, какое дал им автор. Многие пьесы Островского тоже в значительной степени имеют эту типичную сторону языка, и часто фразы из его комедий слышатся в разговорной речи, в разных применениях к жизни.

Публика помнит, что Сосницкий<sup>30</sup>, Щепкин, Мартынов<sup>31</sup>, Максимов<sup>32</sup>, Самойлов в ролях этих авторов не только создавали типы на сцене, что, конечно, зависит от степени таланта, но и умным и рельефным произношением сохраняли всю силу и образцового языка, давая вес каждой фразе, каждому слову. Откуда же, как не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтение образцовых произведений?

Вот на утрату этого литературного, так сказать, исполнения художественных произведе-

ний, кажется, справедливо жалуются в последнее время в публике.

Кроме слабости исполнения в общем ходе, относительно верности понимания пьесы, недостатка в искусстве чтения и т. д., можно бы остановиться еще над некоторыми неверностями в деталях, но мы не хотим показаться придирчивыми, тем более что мелкие или частные неверности, происходящие от небрежности, исчезнут, если артисты отнесутся с более тщательным критическим анализом к пьесе.

Пожелаем же, чтобы артисты наши, из всей массы пьес, которыми они завалены по своим обязанностям, с любовью к искусству выделили художественные произведения, а их так немного у нас – и, между прочим, особенно «Горе от ума» – и, составив из них сами для себя избранный репертуар, исполняли бы их иначе, нежели как исполняется ими все прочее, что им приходится играть ежедневно, и они непременно будут исполнять как следует.

**Заметки о личности Белинского\***  
**Заметки о личности Белинского[9]**

На мой взгляд это была одна из тех горячих и восприимчивых натур, которые привыкли приписывать обыкновенно искренним и самобытным художникам.

Такие натуры встречаются нередко – я их наблюдал везде, где они попадались: и в своих товарищах по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдал и в самом себе – и во множестве экземпляров – и во всех находил неизбежные родовые сходственные черты, часто рядом с поразительными несходствами, составлявшими особенности видов или индивидуумов. Все эти наблюдения привели меня к фигуре Райского в романе «Обрыв», этой жертве своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цель фантазии. Последняя была в нем праздною, бесполезною силой и, без строгой его подготовки к какому бы то ни было делу, разрешалась у него только в бесплодных порывах к деятельности и уродовала самую его жизнь.

Но другие, богато одаренные натуры, став твердой ногой на почве своего призвания, подчиняют фантазию сознательной силе ума и создают целую сферу производительной де-

тельности. Так было и с Белинским.

Но напрасно приписывать избыток фантазии и восприимчивость только художническим натурам. Не одним художникам нужно творчество: это я говорю вопреки мнению Белинского или по крайней мере вопреки его словам, не раз слышанным мною от него, что «бог дал человеку быть творцом только в искусстве».

Тут есть нечто недосказанное. Совершенно справедливо, что в искусстве художник создает или изобретает сходства и подобия, то есть образы существующего или возможного в природе, а в сфере знания ученый только угадывает или открывает скрытые законы или готовые истины. Но, сколько мне кажется, в процессах самого этого угадывания или этих открытий действуют также изобретательные или творческие силы и приемы. Не один Ньютон наблюдал падающие с дерева яблоки и не один Фультон видел, как привскакивает крышка на чайнике от пара – однако не угадывали же другие законов тяготения или парового движения, – следовательно, и тот и другой были как бы творцы этих законов.

Таким образом нервозность, то есть тонкие и чуткие нервы, а вследствие этого впечатлительность и помощь фантазии присущи, как необходимый элемент, всякой работе, требующей инициативы мысли и изобретательной производительности, не говоря уже о науке, искусстве, но даже в ремеслах, чему мы видим немало примеров. Талантливый ремесленник, с помощью этой же фантазии, делает новые, смелые шаги в ремесле и иногда возводит его на степень искусства.

Чуткость нерв и фантазия в художниках (живописцах, поэтах, актерах) только разнообразнее и капризнее проявляется, по самому свойству и натуре их дела, по образу жизни и прочим условиям.

И Белинский в сфере своей деятельности также творил по-своему, то есть угадывал смысл явления, чуял в нем правду или ложь, определял характер его, и если явление представляло пищу увлечению, он доверчиво увлекался сам и увлекал других. Пережив впечатление в самом себе, истратив на него потоки более или менее горячих печатных или изустных импровизаций, он потом оста-

вался ему верен уже в той доле правды, не какую он видел в пылу увлечения, а какая действительно была в нем, – и относился к нему умереннее.

Наконец у него были постоянные увлечения или влечения, плоды не одной только фантазии или напряженной работы непрерывного умственного развития: они составляли основу его честной и прямой натуры. Это влечения к идеалам свободы, правды, добра, человечности, причем он нередко ссылался на евангелие – и не помню где – даже печатно. Этим идеалам он не изменял, конечно, никогда и на всякого, сколько-нибудь близкого ему человека, смотрел не иначе, как на своего единомышленника, иногда не давая себе труда всмотреться, действительно ли это было так. Никаких уклонений от этих путеводных своих начал он ни в ком не допускал и не простил бы никому иного исповедания в нравственных, политических или социальных взглядах, кроме тех, какие принимал и проповедовал сам, разумеется в теории, ибо на практике это было неприменимо в то время нигде, кроме робкого проговариванья или

намеков в статьях, да толков в тесном кругу друзей.

В стремлении или в порывах, повторяю бесплодных, тогда казавшихся даже безнадежными, к этим последним идеалам особенно высказывалось его горячее нетерпение, иногда до ребячества. В тумане новой какой-нибудь идеи, даже вроде идей Фурье, например (о чем могут больше меня сказать знавшие его смолоду), если в ней только искрился намек на истину, на прогресс, на что-нибудь, что казалось ему разумным или честным, перед ним возникал уже определенный образ ее; нарождавшаяся гипотеза становилась его религией; он веровал в идеал в пленках, не думая подозревать тут какого-нибудь обольщения, заблуждения или замаскированной лжи. Он видел только одну светлую сторону. Так, всматриваясь и вслушиваясь в неясный еще тогда и новый у нас слух и говор о коммунизме, он наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнес однажды: «Конечно, будь у меня тысяч сто, их не стоило бы жертвовать, – но будь у меня миллионы, я отдал бы их!» Кому, куда отдал бы? В комму-

ну, для коммуны, на коммуну? Любопытно было бы спросить, в какую кружку положил бы он эти миллионы, когда одно какое-то смутное понятие носилось в воздухе, кое-как перескочившее к нам через границу, и когда самое название «коммуны» было еще для многих ново. А он готов был класть в кружку миллионы – и положил бы, если б они были у него и если б была кружка! Он только слышал о коммунизме: книг негде было взять<sup>1</sup> – но, конечно, он скорее других почерпнул из рассказов одну мечту, манившую к соблазнительным благам.

Он мчался вперед и никогда не оглядывался. Прошое для него отживало почти без следа, лишь только оно кончалось. По свойственному его натуре чувству справедливости он, конечно, сумел бы найти и полюбить, например, в славянофильстве, что было в нем искреннего и правдивого, но довольно того, что славянофилы хотели создавать новый строй русской жизни на старом, хотя и хорошем фундаменте, чтобы уж безусловно разойтись с ними, смотреть на них если не враждебно, то недоверчиво. Он иногда не только терпел

около себя людей довольно ограниченных, но любил с ними беседовать, когда между ними ничего не было общего, кроме веры в одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую в даль, к отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чем они могли говорить с Белинским по долгу – понять было трудно. Это объяснялось, между прочим, трогательною, почти детскою снисходительностью Белинского к своим приятелям и ко всему, что их составляло, что им принадлежало. Возбудить его против себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться с ним, как сказано выше, в коренных убеждениях, и то, если б это обнаружилось как-нибудь на практике, в жизни – а затем, будь приятель его чем хочешь, но он не терял права на его дружелюбие, однажды приобретенное, особенно если еще это выкупалось чем-нибудь, например талантом или просто даже безмолвным сочувствием его идеям и идеалам.

Ни в ком никогда не замечал я, чтобы самолюбие проявлялось так тонко, скромно и

умно, как в Белинском. Он не мог не замечать действия своей силы в обществе – и, конечно, дорожил этим; но надо было пристально взглядываться в него, чтобы ловить и угадывать в нем слабые признаки сознания своей силы: так он чужд был всякого внешнего проявления этого сознания. Сам он никогда не упоминал о своем значении.

Когда я узнал Белинского в 1846 году, здоровье его было подорвано, хотя болезнь еще не развилась до той степени, как в последний год его жизни. Он был еще довольно бодр, посещал, однако, немногих и его посещали тоже немногие и не часто. Он начал, повидимому, утомляться и своею любимую деятельностью, мечтал иногда<sup>2</sup> вслух, впрочем редко, о независимом положении от подневольного срочного труда. Но этой мечте сбыться было не суждено. Он, с кружком близких приятелей, перешел от одного журнала к другому<sup>3</sup>, но это не принесло ему отдыха. Напротив, надо было употребить все силы, чтобы воскресить из праха этот умерший журнал и вдохнуть в него новую жизнь. Он, так сказать, умирая, дописывал последние свои статьи. Поездка на

лето в Крым с Щепкиным не помогла ему, и он вернулся в Петербург едва ли не слабее, чем был до этого.

Известно, как произошли все эти перемены: основание «Современника», переход всего кружка из «Отечественных записок» в новый журнал. Затем, вскоре развилась быстро болезнь – и Белинского не стало.

К вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазии, которая помогала Белинскому чутко проникать в истинный смысл явлений, нередко вводила его и в горькие заблуждения, отрезвление от которых обходилось ему дорого, на счет здоровья. Он точно горел в постоянном раздражении нерв: всякие пустяки, мелочь, все это с одинаковою силой, наравне с крупными явлениями, отражалось у него на печени, на легких. Часто, в спорах, от пустого противоречия, от вздорного фельетона Булгарина или его сотрудников у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него, как он разрешался грозой, злостью в какой-нибудь всегда блестящей, но много стоившей

ему импровизации. И это за то, например, если кто-нибудь отзовется сухо, с пренебрежением о тех или других сочувственных ему авторитетах в сфере мысли науки или искусства, не говоря уже о более серьезных поводах. Он загорался как-то вдруг (особенно если был подходящий слушатель – а не из близких, с которыми все переговорилось и нечего было ни давать, ни самому взять) – и в течение часа, двух являлась импровизация, вроде тех статей, какие появлялись в «Отечественных записках».

И вот эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура при слабости легких, и вообще хрупкости организма, – убила, сожгла этого человека. Я застал его, когда он, очевидно, догорал в борьбе со всем враждебным, чем обставлена была его жизнь, как и жизнь почти всех более или менее в то время и в том кругу. Но он не совладел с хаотическим состоянием собственных сил, в которых никогда не было равновесия, не только на какой-нибудь более или менее продолжительный период, на год, на полгода, например, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась

ли и такая неделя когда-нибудь, чтоб он не истерзался чем-нибудь до истощения и упадка сил!

Если ничего не приходило извне, он хватался за свои постоянные и любимые, большую частью недостижимые идеалы, общие и вечные вопросы о той или другой свободе, о низвержении тех или других старых кумиров, и никогда ни от чего не отдыхал, потому что покой вообще не свойствен натурам нервным, даже и не в его роли и не при его значении. Надо еще удивляться, как, при этой непрерывной напряженной работе умственных и душевных сил в таком скудельном сосуде, жизнь могла прогореть почти до сорока лет!

Поэтому сваливать преждевременный конец его на что-нибудь другое, кроме этих разрушительных и жгучих свойств его природы, непрерывного брожения и горения, которых не выдержал бы и другой, не такой хрупкий сосуд – и несправедливо и неверно! Как тогда старались, так и теперь все еще стараются сваливать вину то на одного, то на другого из журналистов, обременявших непосильною

работой Белинского. И сам он хотя жаловался иногда на утомление и мечтал, как я сказал выше, о независимом положении, о покое, но эти редкие мечты были, так сказать, общими местами жалоб, какие приходят на ум и на язык каждому из нас среди спешных или утомительных занятий.

Да и возможен ли отдыхающий Белинский? Без непрерывной работы, без этого кипения и брожения вопросов и мнений, вне литературной лихорадки, – я не умею представить себе его. Когда его повезли за границу – он был сам не свой. «Хорошо ли вам было там?» – спросил я его по возвращении. «Пленение вавилонское!» Вот как выразился он про свое лечение и отдых.

Нет, ему необходима была его спешная, лихорадочная работа, – нужен и дорог был и свой маленький кружок, в своей семье, у очага, среди пяти-шести близких лиц, где он бился и трепетал природною своею жизнью, изливал потоки силы, служа своему призванию – и этим удовлетворял себя, и сам чувствовал эту свою силу, и давал чувствовать ее другим – этим наслаждался, этим только и

жил, то есть горячим лихорадочным писанием статей и еще более горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными импровизациями в кругу близких лиц.

Это был не критик, не публицист, не литератор только – а трибун. Публичная его трибуна – в журнале; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, где он был нараспашку, – это домашняя трибуна, где он не только знал, но, так сказать, видел свою силу, поверял, измерял ее, любовался ею сам, глядя, как наслаждаются ею другие. От этого и были к нему ближе всех те, кто любил в нем больше всего его талант, даже больше, нежели его самого! Не допускать этого – значит не понимать хорошо натур этого рода. Самолюбие – иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многих и единственный двигатель деятельности, а часто и всей жизни. Я сказал уже выше, как умно и тонко высказывалось оно у Белинского – именно в благодарной симпатии к почитателям его силы.

Многолюдность, новых людей он не любил и избегал. Богатая натура его и чуткая впечат-

лительность не нуждались в количестве лиц и впечатлений. Свой внутренний мир и западающие туда редкие явления давали громадную пищу его неумолкающему и беспощадному анализу, и он едва справлялся с тем материалом, который попадался ему, так сказать, на лету, случайно или на который наводили его занятия по журналу. Он мало даже читал газеты, как-то одним ухом слушал внешние известия, которые занесет, бывало, то тот, то другой приятель, но во всем находилось всегда довольно материала на промежуточный какой-нибудь день или вечер между писанием статей. Все почти служило ему темой для более или менее тонкого, иногда бурного или злого, или, наоборот, восторженного словоизлияния. Он маялся и скучал, ходя из угла в угол, когда не было подходящего собеседника: ему приводили новое лицо, то есть недавнего, еще не привыкшего к нему знакомого, и когда, наконец, никого не было, кроме своих, устраивали партию в преферанс.

Если не было очередного, насущного материала, он из себя добудет пищу: придешь, бывало, а он вдруг заговорит, повидимому, ни с

того ни с сего (а, конечно, вследствие кипевшей в нем внутренней работы) о каком-нибудь, как помню однажды, например, «Прометее» Гете: и в эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдруг нападет на какой-нибудь авторитет, которому все привыкли слепо поклоняться, – и низвергнет его. Не то так возьмет текущую новость, крутую административную меру, – и польются потоки речей, полные тонкого анализа, метких определений, горячих осуждений. Особенно цензура подавала пищу его словесной критике. Чего тут не было! И в то же время он боялся шпионов, и сколько был доверчив к приятелям, даже ко всем входящим к нему лицам, к которым привык, столько же боялся новых людей, косился на них, подозревая предательство. Между тем не могло быть лучшего доказчика на него, как он сам. Он на ухо каждому приятелю доверял все, что было у него на душе, и ребячески думал, что это тут и умрет. Ему даже в голову не приходило, что те в свою очередь передавали это, также на ухо, своим друзьям, и что сказанное им, почти всегда веское и ценное, непременно дей-

дет и до других, уже не дружеских ушей.

Что же бы делал такой человек в покое, то есть в праздности, без своей трибуны в журнале и без этой маленькой аудитории около себя из десятка лиц, заменявших ему весь мир, признававших его и любивших, как человека и как силу? Все равно, где бы ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, – он всегда горел и сгорел бы: прежде всего в борьбе с ложью и грубостью около, вблизи, и потом в погоне за далекими, уходящими из всякого реального достижения идеалами. Вот его натура – вся!

Я не говорю, чтобы неприятности, потом нужды, теснота жизни, наконец страх, под которым жили и ходили все тогда, не имели своей доли разрушительного влияния на здоровье и жизнь его; но я положительно убежден, что без нравственной вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организм, он перенес бы все остальное, внешнее. Он был обычной жертвой в борьбе крайнего своего развития с целым океаном всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, несмотря на

его ум, многие опыты, лета и особенно беспощадно верный анализ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно он был одарен фантазией. Я не говорю уже о том, как юношески восторженно упивался он красотами известных капитальных, любимых им произведений, но он с любовью анализировал каждую мелочь в них, иногда впадая в ребячество до комизма! Стоит развернуть некоторые статьи о Гоголе, где он говорит, или, лучше сказать, трепещет под его живым влиянием. Например, в статье о «Горе от ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоедову, что он говорит о *гусак* Ивана Никифоровича: без смеха нельзя читать! «Великая, бесконечно великая черта художнического гения этот гусак!» – восклицает он с пафосом и пишет целую страницу о *гусак*[10].

Белинскому нередко приходилось стыдиться своих увлечений и краснеть за прежних идолов. Тогда он от хвалебных гимнов переходил в другой, противоположный тон – и не скупился на сарказмы, забыв прежнюю нежность к своим любимцам. Когда он в первые мои свидания с ним осыпал меня добры-

ми, ласковыми словами, «рисую» свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее, я остановил его однажды. «Я был бы очень рад, – сказал я, – если б вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книге („Обыкновенная история“) теперь». – «Отчего?» – спросил он с удивлением.

«А оттого, – продолжал я, – что я помню, что вы прежде писали о С.<sup>4</sup>, как лестно отзывались о его таланте, – а как вы теперь цените его!» (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем неоспоримой заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе.)

Мое справедливое замечание, сделанное мною, впрочем вскользь, шутливым, приятельским тоном, неожиданно тронуло и задело его за живое. Он задумчиво стал ходить по комнате. Потом прошло с полчаса. Я уже забыл и говорил с кем-то другим, а он подошел ко мне и посмотрел на меня с унылым упреком. «Каково же? – сказал он наконец, указывая кому-то на меня, – он считает меня флюге-

ром! Я меняю убеждения, это правда, но меняю их, как меняют копейку на рубль!» – И потом опять стал ходить задумчиво.

Он, конечно, верил в то, что говорил, потому что он никогда не лгал, – но это его объяснение было неверно. Он менял не убеждение, а у него менялись впечатления, и пока впечатление переживало в нем свой срок, оно поглощало его всего, он детски отдавался ему, употребляя на выражение его пером или словами всю свою силу, без пощады, до тех пор пока не наступит в духе его реакция, работа анализа и не охладит впечатления или пока – как я выше сказал – само впечатление своею ложью или грубостью внезапно не отрезвит его. Он спешил высказывать процесс действия самого впечатления в нем, не ожидая конца, – и от этого впадал в ошибки, разочарования и неизбежные противоречия. Собственно критический, более или менее стройный и проверенный взгляд являлся у него гораздо позже.

Он как Дон Жуан к своим красавицам – относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто

мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрерывно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же легко перешел к Достоевскому, потом пришел я – он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов, наконец Дружинин. Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно – и стал немного осторожнее. Но и тут, в первые недели знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду. На меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам все равно, попадетс мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, – всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!» И это скажет (и не раз гово-

рил) с какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шопотом: «А это хорошо, это и нужно, это признак художника!» – как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю. Он, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направлению, но отнюдь не весь и не во всем. Искусство, во всей его широте и силе, не потеряло бы своей власти над ним – и он отстоял бы его от тех чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнители утилитаризма<sup>5</sup>.

Про Кольцова я сам не слышал ничего от Белинского, но это было не нужно благодаря словоохотливости Панаева, который слышал отзывы Белинского и по нескольку дней разносил их с стенографическою верностью по домам, пока вслед за Белинским опять не увлекался чем-нибудь другим. Но боже мой! что это были за отзывы! Кроме Кольцова и вне Кольцова уже не было и не бывало в мире поэтов! Этот образ заслонил у него на вре-

мя и Пушкина и Лермонтова – словом, ни о ком не было и речи больше. Заикнись кто-нибудь, не то чтобы усомниться, а просто прибегнуть, например, к сравнению Кольцова с кем-нибудь или даже к простому и спокойно определению рода поэзии и таланта Кольцова – Белинский, а вслед за ним и Панаев, разгромили бы того вконец! И это на неделю, на две, а потом анализ, охлаждение, осадок, а в осадке – искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с донжуановскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников женской красоты, все прежние идолы бледнели перед последним, иногда невзрачным, но имеющим более всего прелести новизны. Истина же оценки высказывалась в большей или меньшей продолжительности впечатления, – и если последнее переживало последующих идолов, то значит – критика его была непогрешима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

К идолам же, обманувшим его ожидания или которыми он увлекался прежде, в молодости, ошибочно или больше, нежели следо-

вало, он был беспощаден впоследствии. Кажется, он восхищался еще в студенчестве Каратыгиным, когда тот приезжал из Петербурга в Москву, а Мочалов оттуда сюда, и когда происходил между обоими артистами сценический, а по поводу их, в журналах, и литературный турнир. Образовались два лагеря. Не знаю хорошенько, но подозреваю, что Белинский в юношестве платил, кажется, обоим артистам более дани удивления, нежели потом они (или собственно Каратыгин) в его глазах стоили, когда Белинский развился и созрел. О Мочалове он и после всегда отзывался сочувственно, ценя в нем верное и чуткое выражение тонких, нежных или высоких сторон шекспировских и шиллеровских ролей, особенно Гамлета, к чему совершенно признавал неспособным Каратыгина. Любимцу своему за некоторые истинно высокие минуты в тех или других ролях он прощал вялость, монотонность и небрежность исполнения, когда этот актер был не в ударе, а это случалось очень часто. В Каратыгине же он как-то нехотя признавал талант, хотя талант был большой и притом старательно выработанный

трудом в школе сценических и литературных условий и преданий. Белинский говорил о нем как о неуклюжей, ходульной фигуре, смеялся над его манерой и грубостью понимания тонких ролей.

Здесь он впадал в тот недостаток, который мешал ему быть вполне беспристрастным критиком. Уравновешивать строго и покойно достоинства и недостатки в талантах – было не в горячей натуре Белинского.

Между тем эта же самая горячность, то есть способность увлекаться, и поставила его во главе критики художественных<sup>6</sup> произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным Аполлон Григорьев. Ни до Белинского, ни после него не было у наших критиков в такой степени чуткой способности сознавать в самом себе впечатления от того или другого произведения, сближать и сличать его с впечатлением других, обобщать их и на этом основывать свой суд.

В этом собственно и состоял творческий прием его оценки. Ему помогало еще то, чего

недоставало другим критикам: это страстное сочувствие к художественным произведениям. Чем ярче и сильнее талант, тем страстнее было и впечатление. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазию и порождало эти горячие критические излияния, которые бросали столько свету и огня – на все, что производила литература замечательного. Эта самая страстность увлечений повергала его, как я заметил, и в те преувеличения, натяжки и ошибки, которые ставились ему, бывало, его противниками в вину, как умысел и обман. Точно так же производило в нем нервное раздражение и всякое бездарное, антиэстетичное явление в литературе и вело к горячим словоизлияниям в обратном смысле – и все с тем же блеском, остроумием, но с беспощадной иронией.

В области критики художественных произведений являлось и является немало более или менее замечательных умов и перьев, но очень немногие из них подходят к произведению по прямому и кратчайшему пути, то есть от непосредственного впечатления произведения на них самих: они обходят со стороны,

от холодного умственного воззрения пускаются в критические дебри и рассуждают там, где надо прежде чувствовать и огнем чувства освещать путь уму – к верному определению достоинств или недостатков произведения.

Но чуткость нерв, сила фантазии и впечатлительность, до степени страстности, даются природою, невидимому, не очень часто. Если сами художники встречаются не на каждом шагу, то и критики с такою сильною впечатлительностью, как у Белинского, при силе его ума и дарования, встречаются еще реже. Может быть, этим можно отчасти объяснить недостаток критики в нашей литературе, на который нередко раздаются жалобы в публике.

Недалеко то время, когда наступит черед самого Белинского предстать перед беспристрастным суд критики. Этот суд, не подкупленный привязанностью к его личности живых друзей – современников и его почитателей, настанет, когда охладится теперь пока еще горячее о нем воспоминание и предание: он отделит его общественно-литературную деятельность от всяких дружеских симпатий,

откинет все преувеличения и строго определит и оценит истинное его значение и заслугу перед обществом.

Даже и теперь еще люди второго поколения, не связанные никакими личными отношениями к Белинскому, просто по краткости периода, на который отодвинулись от него, затруднятся произнести строгий критический приговор его недостаткам.

Эти недостатки были, может быть, неизбежны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, как какому-то апостолу отрицания, пришлось разыграть в сфере критики и публицистики то же самое, что, другими способами и приемами, разыграл в искусстве Гоголь и что, иначе уже, конечно, продолжало потом и продолжает разыгрываться или доигрываться почти всеми литературными деятелями до сих пор.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, как его, и такие способы и приемы, какие с успехом были употреблены им: другие, более мягкие, покойные, строго обдуманые, не дали бы ему сделать и половины того,

что сделал он, образуя тогда собой, вместе с Гоголем, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все так прибрано, казисто; общество выделяло из себя замечательных, даже блестящих единиц в разных сферах деятельности, на вершинах его лежал очень тонкий слой общеевропейской культуры. Но масса общества покоилась в дремоте, жила рутиной и преданиями и не готовилась еще идти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших правительственных сферах и приближение<sup>7</sup> которых чуяли и предсказывали некоторые умы, в том числе и Белинского. Он стал – или талант и вся его натура поставили его во главе нового литературного движения. Беллетристы, изображавшие в повестях и очерках черты крепостного права, были, конечно, этим своим направлением более всего обязаны его горячей – и словесной и печатной проповеди.

Понятно, что, соединяя в себе роли публициста, эстетического критика и трибуна, провозвестника новых грядущих начал обще-

ственной жизни, он неизбежно должен был впадать в резкости, иногда крайности, в лихорадку торопливости, увлечений, разочарований, раздражений, эфемерных симпатий, несправедливых антипатий и недомолвок – словом, непрерывной борьбы, без оглядки назад и без остановок!

Кто не оправдает его, вспомня, с какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, в каком застое покоилась масса, перед которой он проповедовал? Крепостное право лежало не на одних крестьянах – и ему приходилось еще оспаривать право начальников – распоряжаться по своему произволу участью своих подчиненных, родителей – считать детей своей вещественной собственностью и т. д. – и тут же рядом объяснять тонкость и прелесть пушкинской и лермонтовской поэзии. Без него, смело можно сказать, и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой.

Обращаясь к его увлечениям и разочарованиям, припомню, между прочим, о его беспо-

щадных отзывах о Кукольнике и особенно о Бенедиктове.

Поражая направо и налево всякую рутинность, ходульность, ложь как в жизни, так и в искусстве, он и в том и в другом требовал простоты, естественности, и кто не удовлетворял этим условиям – тому пощады не было.

Кукольник и Бенедиктов, оба с значительными талантами<sup>8</sup>, явились на свою беду последними могиканами старой, «риторической», как прозвал ее Белинский, школы. Он и печатно и в разговорах не мог о них отзываться равнодушно. В Кукольнике он еще соглашался признать некоторые достоинства, именно в повестях из эпохи Петра Великого, и, ставя их в пример, тем тяжелее обрушивался на «Тасса», «Джулио Мости» и др. Но о Бенедиктове он и слышать не мог. Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова, как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял обилием фантазии натяжки и преувеличения

во многих стихотворениях, – указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего. Не помню, что он говорил печатно о его сочинениях, но в разговоре он постоянно раздражался против него, даже нападал (где-то в статье) на наружность Бенедиктова, в самом деле некрасивую. И Кукольник и Бенедиктов, оба, были его *bêtes noires*[11]. Первого он, кажется, знал лично, а второго нет, разве видел где-нибудь. Но антипатия к их сочинениям вполне переходила и на авторов.

В Кукольнике лично он мог еще преследовать и ту кичливость, которую носили с собой всюду многие из знаменитостей. Тогда был триумвират из Кукольника, Брюлова и Глинки (говорят, неразлучных между собой), который примировал в обществе. Может быть, и это *генеральство*, высказывавшееся особенно резко в Кукольнике (которого я сам видал только мельком), в его фигуре, речи и манерах, – много прибавляло уксусу к желчи Белинского.

Развенчивание от театрального, мишурного величия и самомнения разных знаменито-

стей и сведение их на степень обыкновенных смертных было тоже в числе его задач. Он не только отрезвлял от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возложенные на них слепым и превеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стесняясь исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдали законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требует прибавить, что он был пристрастен не в отрицательном только, но и в положительном смысле. Но последнее делалось у него не умышленно, а само собой. Его подкупали симпатии к близким или хорошим людям, к своему кружку – и он грешил не совестью, а мягкостью сердца. Упомяну о

некоторых примерах. Между прочим, он хвалил повести Панаева, и однажды только как-то нехотя, почти шопотом, сказал мне уныло: «Творчества у него ни капли нет».

Кудрявцев из московского кружка, большой приятель Белинского, написал недурную повесть<sup>9</sup>, но Белинский отозвался о ней почти восторженно. Он смешивал приятеля с его сочинением, что, повторяю, у него было грехом его сердца, а не совести и эстетического вкуса. Литературные противники упрекали его в этой слабости, но никогда не указывали, из какого чистого источника проистекала она.

Я сказал выше, что Белинский боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую или расширить старую свободу: от этого и запальчивость, и пристрастия, и натяжки, и противоречия – все то, что неизбежно бывает при усиленной ломке старого и завоевании нового. Приведу пример, в котором Белинский является ревнителем женской эмансипации, не в обширном смысле так называемого женского вопроса вообще, который тогда еще не поступал, в нынешнем его значении и объеме, на очередь, а просто только в вопросе о люб-

ви. В числе всяких свобод, конечно, он не обошел и женскую свободу, за которую поломал немало копьев и апостолом которой была тогда Жорж Занд. Он за одно уже это, помимо таланта, был ее восторженным поклонником.

Я пришел к нему однажды рано после обеда (он жил тогда у Аничкова моста); он ходил по комнате и был рад моему посещению. «Ну, что „Теверино“? – спросил он, – как вы находите?» – «Я не читал», – сказал я равнодушно. «Как не читали, вы?» – «Не читал», – повторил я. «Как так?» – «Не попалось книги под руку, я и не прочел». – «Что это такое!» – напустился он на меня и разразился сначала гонкой мне за лень и равнодушие, а потом дифирамбом «Теверино» и вообще Жорж Занду. Не читавши «Теверино», я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно он сказал об этой повести, помню только, что по мере того как приходили другие, человека два-три, после меня, он всякому указывал на меня и приговаривал с удивлением: «„Теверино“ не читал!»

О «Теверино» я упомянул теперь случайно, в виде предисловия к тому примеру, который

хочу привести по вопросу о женской эмансипации и о крайнем увлечении этим вопросом Белинского. Не помню теперь, в этот вечер или в другой, он приступил ко мне с вопросом о «Лукреции Флориани<sup>10</sup>», которая тогда появилась в переводе в «Современнике». Я и теперь помню то восторженное поднятие Белинским руки вверх, когда он, освещая фигуру Лукреции уже своим электрическим огнем похвал, ставил ее все выше, выше и, наконец, заключил почти с умилением, что это «богиня, перед которой весь мир должен стать на колени!»

Меня с начала знакомства с ним, как нового для него человека, часто звали к нему и туда, где он бывал, потому что он оживал с новым, не неприятным ему лицом, высказывался охотнее, был весел, доволен – словом, жил по-своему. О Жорж Занде тогда говорили беспрерывно, по мере появления ее книг, читали, переводили ее; некоторые женщины даже буквально примеряли на себе ее эмансипаторские заповеди, поставив себя в положение тех или других ее героинь, чего, конечно, без нее им бы и в голову не пришло или пришло

бы, как всегда, просто без участия головы. Так, говорят, то есть по рецепту Жорж Занда, даже женился и В. П. Б.<sup>11</sup> и сейчас же разошелся с женой – уже по собственному своему усмотрению.

Я с большим удовольствием прочел «Лукрецию Флориани», наслаждаясь там вовсе не ее тенденцией освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецию, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеров, этой нежностью очертаний лиц, особенно женских, ароматом ума, разлитым в каждой, даже мелкой заметке, и до сих пор смотрю так на Жорж Занд и наслаждаюсь всем этим в ней независимо от ее задач. Но Белинский, ценя в ней художественность исполнения, конечно по достоинству, выше всего, однако, ставил все-таки ее идеи. Я не раз спорил с ним, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорее равнодушно, чтоб только вызвать его высказаться, – и равнодушно же уступал. Без этого спор бы никогда не кончился или перешел бы в задор, на который, конечно, никто из знавших его никогда умышленно бы не вызвал. Я только, так сказать, затрогивал

его, или он, вернее, сам задира́л меня вопросом, ожидая возражения, и тогда разрешался любимым тезисом, кипятился и выкладывал все, что у него наготовилось за известный период, о том или другом предмете и что потом укладывалось или в статье, если к тому времени подвертывалась статья, или в словесную импровизацию, в спор. Как безмолвных, так и слишком горячих собеседников, каким он был сам, он, кажется, не любил, что и понятно.

Я помню, что, по поводу «Лукреции Флорини», я упрекал его слегка рабством авторитету, а самой Жорж Занд ставил в вину, как художнику, тесную исключительность ее сферы и ее парадоксы, доказывал, между прочим, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая настолько не владеет собой, что переходит из рук в руки пятерых любовников, не обойдя даже такого хлыща, как грубый, неразвитый актер, что это уже не любовь человеческая, осмысленная, свойственная, нравственной, развитой натуре, а так, «гнусность», что, наконец, любовь двух людей требует равенства в развитии, иначе это каприз

и т. д.

Он напал на меня: «Вы немец, филистер, а немцы, ведь это семинаристы человечества! – прибавил он. – Вы хотите, чтобы Лукреция Флориани, эта страстная, женственная фигура, превратилась в чиновницу!»

Он однажды выразился даже так, что и художник сам должен окунуться в омут распущенности нравов – и проговорил это довольно серьезным голосом, с важным выражением лица, с убеждением, как заповедь. Я уверен, что у Белинского, в этом грубом парадоксе, крылось то убеждение, что художник, не прикоснувшийся собственным опытом низших, грубых слабостей и падений, оставаясь в строгих пределах чистых нравов, не будет иметь многих красок на своей палитре для живописания всех людских страстей и страстишек. Иначе нельзя этого и объяснить. Белинский, конечно, вдавался в очевидную натяжку, допуская не только снисхождение, но присуждая, так сказать, венки женщине, которая смело оторвется от моральных и материальных уз, какими связана была, – и я полагаю, – во многом будет связана, – то есть са-

ма не позволит развязать себя, когда наступит отрезвление от горячки так называемого женского вопроса и когда последний вступит в фазис покойной и разумной обработки.

Белинский, без сомнения, лучше других понимал все, что есть крайнего в жизни этих Лукреций, и не смешивал про себя всех этих куч навоза, где толпились актеры, герцоги и прочие, сквозь фалангу которых прошла Флориани, в одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеал женской свободы, он рвался к нему, жертвуя подробностями, впадая в натяжки и противоречия даже с самим собою, лишь бы отстоять этот идеал, чтобы противные голоса не заглушили самого вопроса в зародыше.

О том, что собственно есть любовь, как человеческое чувство и как строго и зорко надо его отличать от одного животного побуждения, — он в ту минуту не думал, хотя нередко в печати выражал трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопрос, до которого, конечно, дойдет очередь, когда одержана и упрочена будет главная победа свободы, а детали придут потом, когда начнется воспита-

ние женщины в духе той свободы, – тогда и разберут, что и как. Особенно он боялся помехи со стороны пуритан и пуританок, которые косо поглядывали не только на эмансипационные попытки Жорж Занд, но и на чувственные проявления любви вообще. «Да, – задумчиво и серьезно сказал он однажды, уж не помню при каком случае, – конечно, не одно „это“ (то есть чувственность) соединяет любящихся, но без „этого“ ничего другого и не нужно!»

Между тем собственная его семейная жизнь совершенно противоречила тому, что проповедовал он на своей трибуне о женской свободе любить на манер Лукреции Флорентины. Всему, что говорилось и писалось о его безупречных отношениях к женщинам – надо верить. В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с бóльшим уважением обращался к жене, чем он. Во всем его обхождении с ней было то, что французы называют *déférence*: [12] это же свойство проглядывало и в отношениях его к прочим знакомым женщинам, к женам и вообще семействам всего кружка. Если у него в душе и были какие-ни-

будь семейные облака, то, вероятно, он никогда никому их не обнаруживал. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на деле он признавал «святость» семейных союзов, он, не любивший признавать вообще святостей.

Мне остается заметить кое-что еще о несправедливом поголовном и голословном упреке, который нередко обращали к Белинскому – в необразованности!

В относительной необразованности можно упрекнуть всякого, не исключая самых образованных. Но на него обрушивался этот упрек, как будто он был неуч, как будто невежество его в чем-нибудь резко обличало его и было заметным недостатком.

Но сочинения его перед нами: где же грешит он в них какими-нибудь промахами против того или другого знания или слабостью в понимании того или другого, о чем писал? А о чем он не писал и чего не касался? И нигде нет никаких резких обличений в незнании с догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Материальный повод к этому упреку, ко-

нечно, был тот, что он не кончил курса и не получил университетского диплома. За это прежде всего ухватились все завистливые посредственности, которых значение бледнело по мере того, как развивался и обнаруживался талант Белинского. У него, правда, не было ни официального значения, ни официальной учености, и за это его разжаловали в необразованные, в неучи, в недоучки!

Помнится, что и Полевого, в начале его появления, тоже упрекали неученостью и даже обзывали «купцом», потому что он не был в университете и не имел ученой степени.

Узнали, что Белинский не знает по-немецки, следовательно, он-де ни Гегеля, ни Гете, ни других в подлиннике не читал, а говорит о них так, как будто читал их сам: ну, значит, и неуч!

Но как далеко ниже его стояли многие из упрекавших его в своей мнимой учености, нужды нет, что они занимали ученые кафедры и положения или сотрудничали в журналах, говорили и писали о древних и новых литературах, не зная иногда ни одного или зная только французский язык!

Нет, Белинский был образованнее всех своих сотоварищей (не учение, а именно образование), за исключением разве одного Герцена, правильная подготовка которого возводила его образованность на степень учености.

Средства Белинского были скудные, пути образования почти случайные (однако в университете, только без диплома). Знания, приобретаемые в университетской аудитории, дополнялись в кругу товарищей, при совместном чтении и взаимном объяснении оригиналов или переводов с иностранных языков, наконец среди прений, разборов в юных кружках, в добывании с трудом и в взаимной передаче книг.

Разве это не школа, не академия, где гранились друг о друга юные умы, жадно передавая друг другу знания, наблюдения, взгляды – вся эта жажда и любовь к знанию? Какого же еще надо афинского портика, с Платоном в вицмундире и очках? Не так ли мы все приобрели то, что есть в нас лучшего и живого? Не там ли, в юношеских университетских кружках, и мы сортировали и осмысливали

то, что уносили от кафедры?

Представьте же в этой школе мальчика с светлой головой, с впечатлительным воображением, любознательного и талантливоего! Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и понимания до степени ясновидения: сколько сокровищ он вынесет из такой школы!

А та масса русских и французских книг, которую он прочел по обязанности сотрудника, от «Молвы» до «Современника», в течение двадцати лет: это тоже своего рода школа! Тут ему не нужен был профессор; у него был свой регулятор и руководитель, который ближе свел его и с Гегелем, и с Шиллером, и с Гете – путями, непроходимыми для других, но доступными ему.

Ссылаюсь на один из любимых авторитетов Белинского, Жорж Занд, которая, где-то говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключает так: «On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre»[13].

И Белинский действительно «понимал» все, не только к чему прикасался его сосредото-

точный анализ, но и то, что проносилось мимо его, на что он случайно обращал взгляд. Он жил, непрерывно учась за пером, в живых беседах с друзьями и почитателями и роясь в бездне книг, проходивших через его руки: и так до конца жизни!

В руках противников Белинского упрек в неучености, как известно, был Архимедов рычаг, которым они старались столкнуть его с места, но, конечно, безуспешно.

Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя.

Следовательно, говоря о его знаниях, необходимо обуславливать в точности, какой именно учености недоставало ему – и за этим ставить вопрос: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на долю, – именно для роли не эстетического критика собственно, не публициста только, а для того и другого вместе и еще для чего-то – третьего? Наконец надо еще спросить: отвечала или не отвечала степень его подготовки эпохе и моменту его деятельности и его среде – и определить, сколько он сделал для своего времени и современного ему поколения? И

только в совокупности на все эти вопросы и следует и можно давать по возможности покойный, то есть отрешенный и от вражды и от пристрастия к нему, ответ. Кстати, можно было бы спросить, много ли сделали те «ученые», которые громили его за неученость?

Известно, как Белинский был искренен и не хвастлив. С посторонним, мало знакомым лицом, он почти совсем не говорил или говорил мало, несвязно и не блистал ни умом, ни знанием. Только с близкими он был свободен в речи, не остерегался ошибок и давал волю своим силам. И в таких именно спорах он обнаруживал массу знаний, которых в покойном разговоре, вне всякого увлечения, нельзя было подозревать в нем. Он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те или другие авторитеты и т. п.

Следовательно, знания, хотя бы собранные медленно, иногда урывками, служили прямой его цели, его делу, то есть его перу. Он не держал на ученой конюшне оседланного готового коня, с нарядной сбруей, не выезжал в

цирк показывать езду haute école[14], а ловил из табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученых коней. Этот способ партизанских наездов именно и нужен был ему для его целей.

Познаниями мог превосходить его, как я выше сказал, например, Герцен. Но ведь и он не ученостью все сделал в литературе и в жизни, что сделал, хотя ученость или, лучше сказать, всестороннее образование было важным подспорьем его таланту и блестящему остроумию.

Можно, конечно, пожалеть, что и Белинский не совершил от начала до конца путь более обширного или, лучше сказать, более систематического образования, для исполнения, с большим авторитетом, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соответствующая его природным средствам подготовка помогла бы еще более его влиянию на литературное развитие в обществе и упрочила бы за ним значение его деятельности и заслуги – без всяких сомнений и споров.

**Лучше поздно, чем никогда\***  
**(Критические заметки)**

Я давно положил перо и не печатал ничего нового. Так думал я и закончить свою литературную деятельность, полагая, что мое время прошло, а вместе с ним «прошли» и мои сочинения, то есть прошла их пора.

Я решился возобновить только издание очерков кругосветного плавания «Фрегат „Паллада“» по причинам, о которых сказано в предисловии к этому изданию. Путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг. Всякое из них оставляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь. Кругосветным путешествиям еще далеко до того.

Другое дело – романы и вообще художественные произведения слова. Они живут для своего века и умирают вместе с ним; только произведения великих мастеров переживают свое время и обращаются в исторические памятники.

Прочие, отслужив свою службу в данный момент, поступают в архив и забываются.

Я ожидал этой участи и для своих сочине-

ний, после того как они выдержали – одни два, другие три издания, и не располагал, и теперь не имею в виду, печатать их вновь.

Но в публике, где еще много живых современников моей литературной деятельности, нередко вспоминают и о моих романах, иногда печатно, и очень часто в личных обращениях ко мне.

Одни осведомляются, отчего нет моих сочинений у книгопродавцов? Другие лестно упрекают меня, зачем я не пишу ничего нового, иногда даже предлагают написать о том или о другом предмете, на ту или другую тему, говоря, что от меня будто бы ожидают в публике еще какого-нибудь произведения. Третьи – и таких более всего – обращаются к собственному моему взгляду на то или другое из моих сочинений, требуют пояснений о том, что я разумел под тем, что хотел сказать этим; кого или что имел в виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышлены ли эти лица и события, или действительно они были и т. д. Этим вопросам нет конца!

При этом, как это случалось почти со всеми писателями, стараются меня самого подво-

дить под того или другого героя, отыскивая меня то там, то сям или угадывая те или другие личности в героях и героинях. Чаще всего меня видят в Обломове, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя. Иногда же, напротив, затруднялись, куда меня девать в каком-нибудь романе, например, в дядю или племянника в «Обыкновенной истории».

Иные откровенно выражают мне и порицание за то, за другое, за третье, указывают слабые места, находят неверности или преувеличения и за все зовут меня к ответу. Еще недавно где-то я видел в печати беглый критический очерк моих сочинений.

А я все думал, что если я уже замолчал в печати сам, то и другие поговорят-поговорят, да и забудут меня с моими сочинениями, и потому на обращаемые ко мне вопросы отвечал, что приходило в голову под влиянием минуты, личности вопрошателя и других случайностей.

Но вопросы, осведомления, требования разъяснений и прочее не только не прекратились, но, напротив, с появлением нового из-

дания «Фрегата „Паллада“», усилились. Поспешаю прибавить, что я не утомляюсь и не скуечаю этим, напротив, принимаю как выражения лестного внимания. Меня только иногда затрудняют ответы, которые я должен держать всегда, так сказать, наготове, на обращаемые ко мне вопросы, причем, конечно, неизбежно приходится впадать в постоянные повторения.

Чтобы выйти из этого положения ответчика перед теми или другими читателями за свои сочинения и ходячего критика последних и раз навсегда разъяснить свой собственный взгляд на мои авторские задачи, я решился напечатать давно праздно лежавшую в моем портфеле нижеследующую рукопись.

Этот критический анализ моих книг возник из предисловия, которое я готовил было к отдельному изданию «Обрыва» в 1870 году, но тогда, по сказанным в этом очерке причинам, не напечатал. Потом в 1875 году я опять возвратился к нему, кое-что прибавил и опять отложил в сторону.

Теперь, пробегая его вновь, я нахожу, что он может служить достаточным, с моей сто-

роны, разъяснением и ответом почти на все  
обращаемые ко мне с разных сторон, и лично  
и печатно, вопросы, иногда лестные, преувели-  
ченные похвалы, чаще – порицания, недо-  
разумения, упреки, – как относительно обще-  
го значения моих авторских задач, так отно-  
сительно и действующих лиц, подробностей  
и т. д.

Я отнюдь не выдаю этот анализ своих со-  
чинений за критический непреложный кри-  
терий, не навязываю его никому и даже пре-  
двигу, что во многом и многие читатели по  
разным причинам не разделят его. Сообщая  
его, я только желаю, чтоб они знали, как я  
смотрю на свои романы сам, и приняли бы  
его, как мой личный ответ на делаемые мне  
вопросы, так чтоб затем не оставалось уже о  
чем спрашивать меня самого.

Ежели читатели найдут этот мой ключ к  
моим сочинениям – неверным, то они вольны  
подбирать свой собственный. Если же бы,  
против моего ожидания, мне понадобилось  
издать вновь все мои сочинения, то этот же  
анализ может служить авторским предисло-  
вием к ним.

Я опоздал с этим предисловием, скажут мне: но если оно не покажется лишним и теперь – то «лучше поздно, чем никогда» – могу ответить на это.

\* \* \*

Со времени появления романа «Обрыв» в 1869 году мне пришлось прочитать немало суровых, даже раздражительных приговоров в печати; напротив того, в обществе лично я встречал много сочувствия, выражавшегося в горячих, иногда восторженных, конечно преувеличенных, похвалах.

Я получал и письма от некоторых любителей литературы, наполненные теми же похвалами, которые всего более относились к моей «живописи»: и в «Обрыве» и в других моих романах находили целые «галереи» картин, лиц, портретов, за которые хотели поставить меня на высокий пьедестал в литературе.

Но я, в ответах своих и письменно и устно, уклонялся от всяких, слишком лестных похвал. Эти похвалы имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей живописи, за которую меня особенно хвалили, найдены были

те идеи и вообще все то, что, сначала инстинктивно, потом, по мере того как подвигались мои авторские работы вперед, заметно для меня самого, укладывалось в написанные мною образы, картины и простые, несложные события.

Иные не находили или не хотели находить в моих образах и картинах ничего, кроме более или менее живо нарисованных портретов, пейзажей, может быть живых копий с нравов – и только.

За что же тут хвалить? Разве так трудно вообще для таланта, если он есть, нагромоздить в кучу лица провинциальных старух, учителей, женщин, девиц, дворовых людей и т. п.? Что за заслуга? Все бы это не заслуживало *ni excès d'honneur, ni excès d'indignité*[15], которыми, то есть последними, меня осыпали не скупю, особенно в печати.

Только когда я закончил свои работы, отошел от них на некоторое расстояние и время, – тогда стал понятен мне вполне и скрытый в них смысл, их значение – идея. Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками и, полюбив образы, свя-

жет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было.

Мог бы это сделать и сделал бы Белинский, но его не было. Потом, с наступлением реформ, на очередь стали другие вопросы, важней вопросов искусства, и оттеснили последнее на второй план. Все молодое и свежее поколение жадно отозвалось на зов времени и приложило свои дарования и силы к злобе и работе дня. Было не до эстетических критик. А тут еще вторгнулось в общество новое явление, так называемый *нигилизм*, явление сложное – и заглушило, на время конечно, чистый вкус, здравые понятия в искусстве, при­мешав к нему бог знает что. И критика, как и само искусство, от крупного, мыслящего и осмысливающего синтеза перешла к мелкому анализу.

И в огромной толпе моих лиц она также погрузилась в мелкий анализ их, не добираясь до синтеза. Читатели терялись в обширной рамке, останавливаясь то с одобрением, то с порицанием, кто перед *Бабушкой*, кто перед *Марфенькой*, другие перед *Верой*, и почти все пятились от *Волохова*, находя его «резким,

растрепанным», негодным и ненужным в романе. Многие видели в нем будто бы резкую карикатуру на молодое поколение, другие пожимали плечами, удивляясь, как я мог поставить такого уроды рядом с чистою, изящною *Верой!* Об этом скажу подробно ниже. И тем покончили, сдав дело в архив.

Больше ничего не видели – и замолчали. Молчал и я. Мне нечего было делать: нельзя было ходатайствовать за свое *детиче*, выводить его в публику, объявлять, что оно такое-сякое, словом рекомендовать. Я молчал потому, что если не заметили и не нашли того другие, что замечаю и нахожу я сам, значит, я – слабый художник, и образы и картины мои не говорят ничего, кроме того, что говорят висящие по стенам портреты, красивые или некрасивые, похожие или непохожие, с добрыми, злыми или гордыми лицами – и больше ничего!

Хорошо еще, что хвалили за колорит, за верность лиц, за живость пейзажей – и то слава богу!

Хотел было, однако, я, в 1870 году, сделать несколько возражений некоторым критикам,

собственно по поводу *Волохова* и *Веры*, защитить их и себя, но раздумал, чтобы не напрашиваться на новые, еще более раздражительные отзывы, нежели какие обращены были ко мне тогда, именно за то, что будто бы я в *Волохове* изображал представителя нового поколения! Эти возражения были предметом довольно обширного предисловия, которое я намеревался напечатать при отдельном издании «Обрыва», но отложил, говорю я, и возьму оттуда теперь сюда то, что покажется мне уместным.

Если молчал столько времени – зачем же теперь принимаюсь сам объяснять свою книгу или, лучше сказать, свои книги, потому что придется затронуть мимоходом и первые два мои романа, говоря о последнем, ибо скажу прежде всего, что они, особенно «*Обломов*» и «*Обрыв*», *тесно и последовательно связаны между собою*, как связаны отразившиеся в них, как в капле воды, периоды русской жизни.

Пишу прежде всего для тех не составляющих уже теперь большинства в обществе любителей художественной литературы, кото-

рые еще нередко продолжают в разговорах со мною обращаться к «Обрыву» и среди которых найдется более сочувствия и, следовательно, более чуткости, определительности и беспристрастия в оценке – и самых образов и того, что они выражают, если они выражают какой-нибудь другой смысл, кроме портретного сходства и яркости кисти. Если и они не найдут ничего, тогда я уже и сам, после опыта, перестану находить ключ к моим сочинениям.

Стало быть, прежде всего мне это нужно для поверки себя, прав я или нет – и если со мной согласятся и другие и найдут, что я в значительной степени прав, тогда, с объяснением внутреннего значения моих картин, объяснится само собой и то, в чем собственно состоит заслуга *романиста*, если он художник.

«Художник мыслит образами», – сказал Белинский, – и мы видим это на каждом шагу, во всех даровитых романистах.

Но как он мыслит – вот давнишний, мудреный, спорный вопрос! Одни говорят – сознательно, другие – бессознательно.

Я думаю, и так и этак: смотря по тому, что преобладает в художнике, ум или фантазия и так называемое сердце.

Он работает сознательно, если ум его тонок, наблюдателен и превозмогает фантазию и сердце. Тогда идея нередко высказывается помимо образа. И если талант не силен, она заслоняет образ и является тенденциею.

У таких сознательных писателей ум досказывает, чего не договаривает образ – и их создания бывают нередко сухи, бледны, неполны; они говорят уму читателя, мало говоря воображению и чувству. Они убеждают, учат, уверяют, так сказать, мало трогая.

И наоборот – при избытке фантазии и при – относительно меньшем против таланта – уме образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл – с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов.

Редко, в лице самого автора, соединяются и сильный объективный художник и вполне сознательный критик.

Да не подумают, что я беру такую роль на

себя. Единицы такой величины встречаются весьма редко, хотя большая часть известных литераторов, конечно, обладают и значительной степенью критического такта.

Почти все они более или менее в состоянии судить и других и самих себя, как ни труден вообще суд над собою.

Может быть, и у меня найдется некоторая доля критического такта – по крайней мере мне случается почти всегда верно определять значение литературных произведений других: почему же я не могу определить верно кое-что и в самом себе? Без сомнения, я рискую быть пристрастным – и, пожалуй, впасть в самообольщение и самовосхваление. Но те, которым я сообщу мои критические заметки о себе, конечно, укажут мне эту смешную черту и просветят меня на мой счет.

Обращаюсь к любопытному процессу сознательного и бессознательного творчества. Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) «своею способностью рисовать».

Рисую, я редко знаю в ту минуту, что зна-

чит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою – и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими – следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого. Я спешу, чтоб не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках – и иду вперед, как будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (как начало в *Обломове* и *Райском*), и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти. У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед – и по дороге я нечаянно захватываю, что попадет под руку, то есть что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа, между тем, идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров – и мне часто казалось, прости господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо

смотреть и вдумываться.

Мне, например, прежде всего бросался в глаза ленивый образ *Обломова* – в себе и в других – и все ярче и ярче выступал передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека – и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру.

Если б мне тогда сказали все, что Добролюбов и другие и, наконец, я сам потом нашли в нем – я бы поверил, а поверив, стал бы умышленно усиливать ту или другую черту – и, конечно, испортил бы.

Вышла бы тенденциозная фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю!

В «Обрыве» больше и прежде всего меня занимали три лица: *Райский*, *Бабушка* и *Вера*, но особенно Райский. Труднее всего было мне вдумываться в этот неопределенный, туманный еще тогда для меня образ, сложный, изменчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшийся постепенно, с ходом времени, которое отражало на нем все переливы света и красок, то есть видоизменения обществен-

ного развития. Я должен был его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктом, глядя то в себя, то вокруг, беспрестанно говоря о нем в кругу тогдашних литераторов, поверяя себя, допрашиваясь их мнения, читая им на выдержку отдельные главы, объясняя, что будет дальше, чтоб видеть, какое впечатление производит он, и бодрее идти вперед. И это началось с 1855 года (роман задуман был в 1849 году, когда я, после 14-летнего отсутствия, приехал повидаться с родственниками на Волгу). Тут толпой хлынули ко мне старые, знакомые лица, я увидел еще не отживший тогда патриархальный быт и вместе новые побегы, смесь молодого с старым. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства – все это залегло мне в голову и почти мешало кончать «Обломова», которого написана была первая часть, а остальные гнездились в голове. Я унес новый роман, возил его вокруг света в голове и в программе, небрежно написанной на клочках – и говорил, рассказывал, читал вслух всем, кому попало, радуясь своему запасу.

Кончил «Фрегат „Палладу“», кончил в 1857

году за границею на водах «Обломова» и тогда же, прямо из Мариенбада, поехал в Париж, где застал двух-трех приятелей из русских литераторов и прочел им только что написанные в уединении, на водах, три последние части «Обломова» за исключением последних глав, которые дописал в Петербурге, и опять прочел их уже там тем же лицам. После того весь отдался «Обрыву», который известен был тогда в кружке нашем просто под именем «Художника».

Приступаю теперь прямо к тому, что мне видится в моих трех романах, к общему их смыслу.

Я упомянул выше, что вижу *не три романа, а один*. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею – перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой – и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. д.

Прежде всего надо вспомнить и уяснить себе следующее положение искусства: если образы типичны, они непременно отражают на себе – крупнее или мельче – и эпоху, в ко-

торой живут, оттого они и типичны. То есть на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт. А если художник сам глубокий, то в них проявляется и психологическая сторона. На глубину я не претендую, поспешаю заметить: и современная критика уже замечала печатно, что я неглубок.

Я сам и среда, в которой я родился, воспитывался, жил – все это, помимо моего сознания, само собою отразилось силою рефлексии у меня в воображении, как отражается в зеркале пейзаж из окна, как отражается иногда в небольшом пруде громадная обстановка: и опрокинутое над прудом небо, с узором облаков, и деревья, и гора с какими-нибудь зданиями, и люди, и животные, и суета, и неподвижность – все в миниатюрных подобиях.

Так и надо мною и над моими романами совершался этот простой физический закон – почти незаметным для меня самого путем.

Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в виду и себя и многих подобных мне учившихся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом доб-

рых матерей, и потом – отрывавшихся от неги, от домашнего очага, со слезами, с проводами (как в первых главах «Обыкновенной истории») и являвшихся на главную арену деятельности, в Петербург.

И здесь – в встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей – выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания, необходимости *труда*, настоящего, не рутинного, а *живого дела* в борьбе с всероссийским застоением.

Это отразилось в моем маленьком зеркале в среднем чиновничьем кругу. Без сомнения то же – в таком же духе, тоне и характере, только в других размерах, разыгрывалось и в других, и в высших и низших, сферах русской жизни.

Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда, от 20-х до 40-х годов – это была смелая но-

визна, чуть не *унижение* (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно.

В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальности, карикатурного преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных, в сущности небывалых чувств (например, любви с *желтыми цветами* старой девы-тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. д.

Словом, вся праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов с обычными порывами юности – к высокому, великому, изящному, к эффектам, с жаждою высказать это в трескучей прозе, всего более в стихах.

Все это – отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого,

делового, нужного.

Первое, то есть старое, исчерпалось в фигуре племянника – и оттого он вышел рельефнее, яснее.

Второе – то есть трезвое сознание необходимости дела, труда, знания – выразилось в дяде, но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития – и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника.

*Наденька*, девушка, предмет любви Адуева, вышла также отражением своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь перед волей каких бы ни было родителей. Мать ее слаба перед ней и едва в состоянии сохранять только *decoгum*[16] авторитета матери, хотя и уверяет, что она *строга, даром что молчит* и что будто *Наденька ни шагу без нее не ступит*. Неправда, она сама чувствует, что слаба и слепа до того, что допускает отношения дочери и к Адуеву и к графу, не понимая, в чем дело.

Дочь несколькими шагами – впереди матери. Она без *спросу* полюбила Адуева и почти не скрывает этого от матери или молчит только для приличия, считая за собою право распоряжаться по-своему *своим внутренним миром* и самим Адуевым, которым, изучив его хорошо, овладела и командует. Это ее послушный раб, нежный, бесхарактерно-добрый, что-то обещающий, но мелко самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, каких везде – легион. И она приняла бы его, вышла бы замуж – и все пошло бы обычным ходом.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, с блеском. Наденька увидела, что Адуев не выдерживает сравнения с ним ни в уме, ни в характере, ни в воспитании. Наденька в своем быту не приобрела сознания ни о каких идеалах мужского достоинства, силы, и какой силы?

Тогда их и не было, этих идеалов, как не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онегины и подобные ему – вот кто были идеалы, то есть франты, львы, презиравшие мелкий труд и не знавшие, что с собой делать!

Ее достало разглядеть только, что, молодой Адуев – не сила, что в нем повторяется все, что она видела тысячу раз во всех других юношах, с которыми танцевала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась к его стихам. Писание стихов было тогда дипломом на интеллигенцию. Она ждала, что сила, талант кроются там. Но оказалось, что он только пишет сносные стихи, но о них никто не знает, да еще дуется про себя на графа за то, что этот прост, умен и держит себя с достоинством. Она перешла на сторону последнего: в этом пока и состоял *сознательный шаг русской девушки* – безмолвная эмансипация, протест против беспомощного для нее авторитета матери.

Но тут и кончилась эта эмансипация. Она *сознала*, но в *действие своего сознания не обратила*, остановилась в *неведении*, так как и самый момент эпохи был моментом *неведения*. Никто еще не знал, что с собой делать, куда идти, что начать? Онегин и подобные ему «идеалы» только тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела, а Татьяны не ведали.

«Что же из этого будет? – в страхе спрашивает Наденьку Адуев, – граф не женится?»

«Не знаю!» – отвечает она в тоске. И действительно, не знала русская девушка, как поступить сознательно и рационально в том или другом случае. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать против отдачи *ее* замуж *родителями*, и только могла, бессознательно конечно, как Наденька, заявить этот протест, забраковав одного и перейдя чувством к другому.

Тут я и оставил Наденьку. Мне она была больше не нужна как тип, а до нее, как до личности, мне не было дела.

И Белинский однажды заметил это. «Пока ему нужна она, до тех пор он с ней и возится! – сказал он кому-то при мне, – а там и бросит!»

А меня спрашивали многие, что же было с нею дальше? Почему я знаю? *Я рисовал не Наденьку, а русскую девушку известного круга той эпохи*, в известный момент. Сам я никакой одной Наденьки лично не знал или знал многих.

Мне скажут, что как ее, так и другие фигу-

ры бледны – и типов собою не образуют: очень может быть – об этом я спорить не могу. Я только говорю, что сам под ними разумел.

В начале 40-х годов, когда задумывался и писался этот роман, я еще не мог вполне ясно глядеть в следующий период, который не наступал, но предчувствия которого жили уже во мне, потому что вскоре после напечатания, в 1847 году в «Современнике», «Обыкновенной истории» – у меня уже в уме был готов план *Обломова*, а в 1848 году (или 1849 году – не помню) я поместил в «Иллюстрированном сборнике» при «Современнике» и «Сон Обломова» – эту увертюру всего романа, следовательно я переживал про себя в воображении и этот период и благодаря своей чуткости предчувствовал, что следует далее. Теперь могу отвечать, «что случилось с *Наденькой*».

Смотрите в «Обломове» – *Ольга* есть превращенная *Наденька* следующей эпохи. Но до этого дойдем ниже.

Адуев кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди,

принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом обделал свои дела. В этом и заключается «Обыкновенная история».

Она – в моих книгах – *первая галерея*, служащая преддверием к следующим двум *галереям* или *периодам* русской жизни, уже тесно связанным между собою, то есть к «Обломову» и «Обрыву», или к «Сну» и к «Пробуждению».

Мне могут заметить, что задолго перед этим намеки на подобные же отношения между лицами, как у меня в «Обломове» и «Обрыве», частью в «Обыкновенной истории», есть у нашего великого поэта Пушкина, например в Татьяне и Онегине, Ольге и Ленском и т. д.

На это я отвечу прежде всего, что от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем заве-

щанный ими материал. Даже Лермонтов, фигура колоссальная, весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы. Его «Пророк» и «Демон», поэзия Кавказа и Востока и его романы – все это развитие тех образцов поэзии и идеалов, какие дал Пушкин. Я сказал в критическом этюде о Грибоедове, «Мильон терзаний», что Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках, как в Аристотеле крылись семена, зародыши и намеки почти на все последовавшие ветви знания и науки. И у Пушкина и у Лермонтова вет один родственный дух, слышится один общий строй лиры, иногда являются будто одни образы, – у Лермонтова, может быть, более мощные и глубокие, но зато менее совершенные и блестящие по форме, чем у Пушкина. Вся разница в моменте времени. Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушки-

на глубиною мысли, смелостью и новизною идей и полета.

Пушкин, говорю, был наш учитель – и я воспитался, так сказать, его поэзией. Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше; я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща.

Сам Гоголь объективностью своих образов, конечно, обязан Пушкину же. Без этого образца и предтечи искусства Гоголь не был бы тем Гоголем, каким он есть. Прелесть, строгость и чистота формы – те же. Вся разница в быте, в обстановке и в сфере действия, а творческий дух один, у Гоголя весь перешедший в отрицание.

Поэтому неудивительно, что черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам.

Надо сказать, что у нас, в литературе (да, я думаю, и везде), особенно два главных образа женщин постоянно являются в произведениях слова параллельно, как две противоположности: характер положительный – пушкин-

ская *Ольга* и идеальный – его же *Татьяна*. Один – безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой – с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу (*Ольга* в «*Онегине*», *Варвара* в «*Грозе*»). Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения и формы, и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым. Есть они у наших учителей и образцов, есть и у Островского в «*Грозе*» – в другой сфере; они же, смею прибавить, явились и в моем «*Обрыве*». Это два господствующие характера, на которые в основных чертах, с разными оттенками, более или менее делятся почти все женщины.

Дело не в изобретении новых типов – да коренных общечеловеческих типов и немного, – а в том, как у кого они выразились, как связались с окружающей их жизнью и как последняя на них отразилась.

Пушкинские *Татьяна* и *Ольга* как нельзя более отвечали своему моменту. *Татьяна*, подавленная своей грубой и жалкой средой,

также бросилась к Онегину, но не нашла ответа и покорилась своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмиг забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитет родителей решил их судьбу. Пушкин как великий мастер этими двумя ударами своей кисти, да еще несколькими штрихами, дал нам вечные образцы, по которым мы и учимся бессознательно писать, как живописцы по античным статуям.

У меня (в дальнейшей противу Онегина эпохе) и Наденька и Ольга или, лучше сказать, Наденька-Ольга (потому что я утверждаю, что это одно лицо в разных моментах), поступила иначе, согласно с временем. От неведения Наденьки – естественный переход к *сознательному* замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания, энергии – словом, силы.

Я не останавлиюсь долго над «Обломовым». В свое время его разобрали, и значение его было оценено и критикой, особенно в лице Добролюбова, и публичною весьма сочувственно.

Воплощение сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни – *переползание* изо дня в день

– в одном лице и в его обстановке было всеми найдено верным – и я счастлив.

Я закончил свою *вторую* картину русской жизни, *Сна*, нигде не пробудив самого героя *Обломова*.

Только Штольц время от времени подставлял ему зеркало обломовской бездонной лени, апатии, сна. Он истощил, вместе с Ольгой, все силы к пробуждению его – и все напрасно.

В последнем свидании со Штольцем только вырывается у Обломова несколько сознательных слов – и напрасно я вставил их. Я поместил их в конце, когда один приятель, гонявшийся всегда в произведениях искусства за сознательною мыслью, но мало вообще доступный непосредственному действию образа, заметил мне: «Что же он, ужели не отзовется на призыв Штольца?»

Я и вставил несколько слов, из которых выглядывает сознание и самого Обломова.

И образ его немного, так сказать, тронулся от этого, немного потерял целостности характера: в портрете оказалось пятно. Но это, к счастью, в самом конце. Не надо было трогать вовсе. Недаром Белинский, в своей рецензии

об «Обыкновенной истории», упрекнул меня за то, что я там стал «на почву сознательной мысли»! Образы так образы: ими и надо говорить.

Штольц, уходя в последний раз, в слезах говорит: *«Прощай, старая Обломовка: ты отжила свой век!»*

И того бы не нужно было говорить. Обломов сам достаточно объясняет себя, прося Штольца *уйти, не трогать его*, говоря, что *он прирос одною больною половиною к старому, отдери – будет смерть!*

Этим бы и следовало закончить вторую картину Сон, то есть непробудимым сном, потому что далее, за *обломовским хребтом* (выражение Герцена где-то в «Колоколе»), мне открывалась дальнейшая, третья перспектива: это картина *Пробуждения*.

Я, повторяю, уже с 1849 года носил эту толпу лиц, сцен, пейзажей в памяти и в программе (то есть «Обрыв»), набросанной беспорядочно, как все это носилось у меня в голове. На первом плане являлась во весь рост *Бабушка*, потом *Вера*, *Райский*, после *Марфенька*, *Козлов* с женой (университетские воспомина-

ния товарищества), дворня, сад с обрывом. Все это теснилось в воображении и требовало только сосредоточенности, уединения и покоя, чтобы отлиться в форму романа.

А этого всего было у меня мало, да я все сомневался в своих силах, все не доверял себе, все справлялся с мнением и впечатлением других, рассказывал все до подробности<sup>1</sup> Боткину, Дудышкину, Дружинину и более всего одному, еще живому литератору, требуя мнения, совета, но советов ни от кого не получал и кончал тем, что приводил все медленно, после тщательной отделки, к концу. Я редко мог урываться за границу – между службою, светским и всяким другим бездельем – и работать. Всего более затрудняла меня архитектоника, сведение всей массы лиц и сцен в стройное целое, и вот, между прочим, причины медленности!

«Что другому стало бы на десять повестей, – заметил однажды Белинский про меня, еще по поводу „Обыкновенной истории“, – у него укладывается в одну рамку».

Да и периоды, уложившиеся в эти три рамки, растянулись лет на тридцать, следова-

тельно и романы – или отражения жизни – должны были тянуться параллельно долго.

У меня раскидывался и четвертый период, захватывавший и современную жизнь, но я оставил этот план, потому что творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизменяется не по дням, а по часам. Нынешние герои не похожи на завтрашних и могут отражаться только в зеркале сатиры, легкого очерка, а не в больших эпических произведениях.

Прежде чем перейти к «Обрыву», скажу несколько слов о *Штольце* в «Обломове».

Меня упрекали за это лицо – и с одной стороны справедливо. Он слаб, бледен – из него слишком голо выглядывает идея. Это я сам сознаю. Но меня упрекали, зачем я ввел его в роман? Отчего немца, а не русского поставил я в противоположность Обломову?

Я мог бы ответить на это, что, изображая лень и апатию во всей ее широте и закоренелости, как стихийную русскую черту, и толь-

ко одно это, я, выставив рядом русского же, как образец энергии, знания, труда, вообще всякой силы, впал бы в некоторое противоречие с самим собою, то есть с своей задачей – изображать застой, сон, неподвижность. Я разбавил бы целость одной, избранной мною для романа стороны русского характера.

Но я молча слушал тогда порицания, соглашаясь вполне с тем, что образ Штольца бледен, не реален, не живой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы – и за нелестный образ Обломова и всего более за немца – не хотели меня, так сказать, знать. Покойный Ф. И. Тютчев однажды ласково, с свойственной ему мягкостью, упрекая меня, спросил «зачем я взял Штольца!» Я повинился в ошибке, сказав, что сделал это случайно: под руку, мол, подвернулся!

Между тем, кажется, помимо моей воли – тут ошибки собственно не было, если принять во внимание ту роль, какую играли и играют до сих пор в русской жизни и немецкий элемент и немцы. Еще доселе они у нас учителя, профессора, механики, инженеры, техники по всем частям. Лучшие и богатые отрасли

промышленности, торговых и других предприятий в их руках.

Это, конечно, досадно, но справедливо – и причины этого порядка дел истекают все из той же *обломовщины* (между прочим, из крепостного права), главный мотив которой набросан мною в «Сне Обломова».

Я вижу, однако, что неспроста подвернулся мне немец под руку – и должно быть тогда (я теперь забыл) мне противно было брать чисто немецкого немца. Я взял родившегося здесь и обрусевшего немца и немецкую систему неизнеженного, бодрого и практического воспитания.

Обрусевшие немцы (например, остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, с русской жизнью – и, нет сомнения, сольются когда-нибудь совсем. Отрицать полезность этого притока постороннего элемента к русской жизни – и несправедливо и нельзя. Они вносят во все роды и виды деятельности прежде всего свое терпение, *persévérance*[17] своей расы, а затем и много других качеств, и где бы ни было – в армии, во флоте, в администрации, в науке, словом, всюду – они служат с

Россией и России и большею частью становятся ее детьми.

Отвергать их при этих условиях, как приток, сливающийся с общемою рекою, – было бы так же возмутительно несправедливо с нашей русской стороны, как возмутительно несправедливо со стороны некоторой партии остзейских немцев, живя в России, с русскими, находя в ней надежную опору своего политического существования и все условия благосостояния, считать ее чуждою себе, своему немецкому духу, пятиться от слияния с нею и стараться удержать *status quo*[18].

Все это, конечно, минует в будущем, хотя, может быть, и не очень близком. Закоснелость и упрямство наших доморощенных немцев уступят духу времени, когда они, с своею мнимою остзейскою цивилизациею, очутятся позади шагающей вперед России. И самое славянофильство, оставаясь тем, что оно есть, то есть выражением и охранением коренного славяно-русского духа, нравственной народной силы и исторического характера России, будет искреннее протягивать руку к всеобщей, то есть европейской, культуре:

ибо если чувства и убеждения национальны, то знание – одно для всех и у всех.

Обращаюсь к «Обрыву». Там на первом плане – *Райский* и *Бабушка*, потом Вера, Волохов, Марфенька и Викентьев, далее учитель Козлов с женою, большая дворня и, наконец, Тушин.

Что же представляет эта группа? Ужели ничего больше, кроме портретов, индивидуальных характеров, мало связанных с общезначимой жизнью известного момента?

Так иные и смотрели. Некоторые упрекали меня, зачем я так пложу и растягиваю те или другие сцены? зачем обременяю их подробностями? довольно бы-де одним намеком, несколькими словами, штрихом, маленькой сценой – выразить мысль...

Но я выражал прежде всего не мысль, а то лицо, тот образ, то действие, которое видел в фантазии. Поступи я по совету этой критики, у меня не вышло бы ни одной живой и полной фигуры, законченного портрета, а вышли бы сухие рисунки, силуэты, эскизы карандаша. Зачем же мне карандаш, если, как говорят, у меня есть кисть?

Теперь скажу, что я сам вижу в этих фигурах.

Что такое *Райский*? Да все *Обломов*, то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи *Пробуждения*.

*Обломов* был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне и застое. И критика и публика находили это: почти все мои знакомые на каждом шагу, смеясь, говорили мне, по выходе книги в свет, что они узнают в этом герое себя и своих знакомых.

*Райский* – герой следующей, то есть *переходной*, эпохи. Это проснувшийся *Обломов*: сильный, новый свет блеснул ему в глаза. Но он еще потягивается, озираясь вокруг и оглядываясь на свою обломовскую колыбель.

Что-то пронеслось новое и живое в воздухе, какие-то смутные предчувствия, потом прошли слухи о новых началах, преобразованиях; обнаружилось движение в науке, в искусстве; с профессорских кафедр послышались живые речи. В небольших кружках тогдашней интеллигенции смело выражалась передовыми людьми жажда перемен. Их на-

зывали «людьми сороковых годов». Райский – есть, конечно, один из них – и, может быть, что-нибудь и еще.

Райский – натура артистическая: он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарований, но он все-таки сын Обломова.

Он, умом и совестью, принял новые животворные семена, – но остатки еще не вымершей обломовщины мешают ему обратить усвоенные понятия в дело. Он совался туда, сюда – но он не был серьезно приготовлен наукой и практикой к какой-нибудь государственной, общественной или частной деятельности, потому что на всех этих сферах еще лежала обломовщина, тихое, монотонное течение сонных привычек, рутина. Живое дело только что просыпалось. Россия доживала век петровских реформ – и ждала новых.

Райский мечется и, наконец, благодаря природному таланту или талантам бросается к искусству: к живописи, к поэзии, к скульптуре. Но и тут, как гири на ногах, его тянет назад та же «обломовщина».

Нива искусства была так же пуста, не воз-

делана, и отдельные, хотя великие явления в ней – были случайности. В литературе почти то же.

Не было целой рати пишущих, рассадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по углам. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдельными яркими звездами, а кругом их почти никого. То же и в живописи и в ваянии: была и академия и школа классическая и классная. Не было почвы, кружков, общества, которые жили бы одним искусством и для искусства, без видов на карьеру и отличия. Не было частной инициативы; самобытная русская художественная сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу.

Так было до нашего времени, до нынешнего царствования. Гоголь, правда, явился прежде, но созданная им школа разрослась и утвердилась в свободной печати, так же как развилась и журналистика, образовались кружки, партии и большой круг замечательных писателей.

Но это все после, а *Райский* и *Бабушка* яви-

лись, повторяю, у меня в голове в 1849 году. Как только я приехал на Волгу, на меня, как будто сон, слетел весь план романа. Я уже разработал в голове «Обломова» до конца, и в то же время развивалась у меня в воображении следующая эпоха, и все – и действие и лица шли параллельно с развитием самой жизни. Это, повторяю, мне становилось заметно, когда я приходил к концу романа.

В Райского входили, сначала бессознательно для меня самого, и многие типические черты моих знакомых и товарищей. В обществе, в образованной среде, побегι новых, свежих стремлений мешались и путались еще с терниями и волчцами обломовщины разного рода – и вольной и невольной, с разными приманками праздного житья-бытья, и с трудностями упорной борьбы с старым. Застой, отсутствие специальных сфер деятельности, служба, захватывавшая и годных и негодных, и нужных и ненужных, и распложавшая бюрократию, все еще густыми тучами лежали на горизонте общественной жизни: группа новых людей устремилась к их рассеянию.

Искусство было все еще роскошью, заба-

вой для богатых, горькою нуждою для бедных: литература, за исключением крупных талантов, была делом подозрительным. За писателями признавалось их значение, когда они достигали видного положения в обществе путем службы.

И мы все работали как-то в одиночку, тихомолком, с оглядкой и опаской, и больше из нужды.

А кому не было нужды – те дилетантствовали. Например, один знал отлично технику музыки, был меценат и друг всех иностранных и своих знаменитостей, носил в себе планы музыкальных серьезных сочинений, опер, может быть ораторий, симфоний, говорил о них с жаром и знанием дела. Все ждали от него чего-нибудь серьезного, а он разрешился сочинением одного хорошенького романса (гр. Виельгорский), другой, обладая необыкновенною силою лирического пафоса, написал всего десятка два прекрасных стихотворений (Тютчев). И это лучшие люди известного круга. Третий, с многосторонним образованием, большою начитанностью – написал несколько легких рассказов, где кроются семена се-

рьезного таланта (кн. Одоевский). Можно много привести примеров в pendant[19] к этому.

Во всех родах искусства таланты таких Райских не были содержанием и целью жизни, а только средством приятно проводить время.

Райский талантлив – но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человека, и для него, выросшего еще в период обломовского сна, неодолима, – да и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослым. Он бросается к живописи, от живописи к скульптуре, пишет роман, не приготовленный техникой ни к тому, ни к другому из этих искусств.

Новые идеи кипят в нем: он предчувствует грядущие реформы, сознает правду нового и порывается ратовать за все те большие и малые свободы, приближение которых чуялось в воздухе. Но только порывается.

Он бьется с Софьей Беловодовой, стараясь сломать стену великосветской замкнутости, замурававшейся в фамильных преданиях рода, в завещанных предками границах недо-

ступной гордости, в приличиях тона – словом, в аристократически-обломовской, переходившей по наследству из рода в род неподвижности.

И не успевает, конечно, потому что его вызвала на борьбу корысть, поклонение живой красоте; ему хочется победить не эти застывшие предания, феодальную гордость и вызвать на живое, новое дело ум и дух Софьи; ему хочется победить только кузину-женщину – для себя. А дела, собственной силы, примера – он не вносит в эту борьбу и оттого не успевает.

Он, если не спит по-обломовски, то едва лишь *проснулся* – и пока знает, что делать, *но не делает*.

Он раздражался только в порывах к делу, а более всего поклонялся красоте – и с этой стороны, пожалуй, несколько и тронул Софью, но не в свою пользу. Она морщится при его настояниях о необходимости дела, труда, откупается от этого деньгами в пользу бедных, но задумывается над его горячечными речами о любви и о свободе располагать чувством и собой. Потребность этой свободы зашевели-

лась и в ней бессознательно, потому что он действовал не на сознание и убеждение ее, а только на нервы. Она вышла из своей роли величавой безупречности, выглянула, насколько могла, за высокие стены великосветского монастыря и сделала un faux pas...[20] наедине поговорила с итальянским графом, раз встретила с ним на прогулке и написала ему простую записку о присылке нот... Faux pas! – закричала вся клика, привыкшая видеть ее холодно-безупречною – и только.

В ней, при появлении графа, начал было таять лед строгого воспитания и приличия, но при первой тревоге теток, при шопоте света она сейчас же одолела игру нерв.

Здесь я должен сознаться в полной своей несостоятельности в изображении фигуры Софьи Беловодовой. Я не знал тогда вовсе, и теперь мало знаю, круг, где она жила, и тут критика вполне права. Это скучное начало, из которого вовсе нехудожественно выглядывает замысел – показать, как отразилось развитие новых идей на замкнутом круге большого света. И ничего, кроме претензии, не вышло из этой затеи.

Кроме того, меня соблазняла мысль выставить ряд женских портретов, № 1-й вышел неудачен; 2-й, – умирающей Наташи, писанный, как и Беловодова, в 50-х годах, – также бледен. Это, между прочим, оттого, что я торопился и смотрел дальше в глубину романа, не останавливаясь подолгу на этих аксессуарных явлениях. Меня влекли уже близкие мне лица и места, где я родился и вырос: и те лица, бабушки и внушек, всего провинциального люда и дворни – и вся обстановка, по отзываю всех, вышли у меня живее.

Там, в Софье и Наташе, было сочинение – тут я писал с живых лиц. К тому же в этот промежуток времени, от 1849–1862 годов<sup>2</sup> (когда я вторично посетил Волгу), и перо мое, конечно, значительно должно было созреть и укрепиться в работе. Кажется, в 1859 или в 1861 году я поместил два или три «эпизода из жизни Райского» в «Отечественных записках» и один эпизод «Бабушка» в «Современнике».

Если бы русская жизнь не раздвинула, от мановения мощной руки, своих рамок, – мы все остановились бы на той ступени, на кото-

рой остановился Райский. Под него подходили тогда многие наши интеллигентные люди, считавшиеся передовыми. Их называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались к новому, много говорили, ставили себе идеалы, бросались от одного дела к другому, искали деятельности: и туда, в этот период, ушло много растерявшихся втуне талантов, не имевших определенного пути, сознательных целей, и снедаемых и своею собственною, частною, и казенною обломовщиной. Мы все уперлись бы в стену – и продолжали бы писать бессодержательные звучные стихи или изображать одни и те же явления текущей, более естественной, животной жизни.

В Райском, вместе с влиянием на него хода времени и новых событий, я следил еще с большим интересом – любопытный, психологический или физиологический процесс проявления этой подвижной и впечатлительной природы в его личной жизни. Именно то, как сила фантазии в артистических натурах, не направленная на насущное дело, на художественные создания, бросалась в самую жизнь

и мелочные явления последней наряжала в свои цвета и краски, производя те чудачества, странности, часто безобразия, которыми нередко обильна бывает жизнь артистов везде.

Праздная фантазия в таких натурах чаще всего бросается в сферу чувств, во все виды и роды *любвей*, производя экзальтацию, творя идолы, порождая из всего этого какую-то горячку или шутиху, что-то жалкое и смешное.

Эти упражнения в чувствах, и особенно в любви, занимали, между прочим, также и значительный излюбленный уголок старой обломовщины!

К счастью, русское общество охранил от гибели застоя спасительный перелом. Из высших сфер правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились в массу публики сначала тихие, потом явственные слова о «свободе», предвестники конца крепостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открыла светлую перспективу будущего.

В литературе смелее стали раздаваться голоса представителей новых идей.

Конечно, и моя мысль и фантазия проник-

лись новым веянием. Я кончил «Обломова», и у меня стали шире раздвигаться рамы следующей картины, то есть «Пробуждения».

Двадцать лет тянулось писание этого романа, – иначе и быть не могло. Он писался, как тянулся период самой жизни.

В «Обрыве», на моих пигмеях, в крошечном озере, отразилось состояние брожения, борьба старого с новым.

Я следил за отражением этой борьбы на знакомом мне уголке, на знакомых лицах.

*Следил*, – говорю я, – надо бы сказать: смотрел и писал, даже не думая, что вбираю в себя впечатлительным воображением лица и явления, окрасившиеся в краски момента, и такими выдаю их назад, то есть кладу на бумагу. В этом весь процесс.

Я сам не могу смотреть на свои романы иначе, как в их последовательной связи. Я жил в трех эпохах, и они оттиснулись во мне и в моих сочинениях, в доступном мне быту, насколько хватило у меня сил и таланта.

Райский, на родине, объявил ту же войну старому, отжившему. Он воюет с *Бабушкой*, спорит, горячится, но любит ее, как мать;

схватывается и с Марфенькою и с Верою. Но воюет также из корыстных видов с двумя последними, как и с Беловодовой. Воображение, раздраженное их красотою, влечет его к победе над ними. Но одна обезоруживает его своей детской чистотой, другая – сознательною силою.

Бабушке он уступает, потому что и сам, хотя и воюет против изнеженности, барства и старого быта, но охотно спит на мягкой постели, хорошо ест и даже, как прямой сын Обломова, дает, ворча, снимать с себя Егору сапоги (*Обломов* требовал, чтобы *Захар* натягивал на него чулки).

Сам он живет под игом еще неотмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов и оттого воюет только на словах, а не на деле: советует бабушке отпустить мужиков на все четыре стороны и предоставить им делать, что они хотят; а сам в дело не вмешивается, хотя имение – его.

Это колебание и нерешительность весьма естественны: колебалось все общество русское и всякий его уголок. Крупные и крутые повороты не могут совершаться как перемена

платья, они совершаются постепенно, пока все атомы брожения не осият – сильные слабых – и не сольются в одно. Таковы все переходные эпохи.

Мелкая пресса смеялась когда-то над этой постепенностью и насмешливо прозвала *постепеновцами* всех партизанов этого мудрого закона, дающего старому отживать свою пору, а новому упрочиваться, без насилия, боя и крови.

Я без смеха не могу вспомнить теперь комического недоумения некоторых стариков при появлении довольно резких симптомов так называемого *нигилизма*. У этих стариков своего ничего не было, то есть того, что называется мыслью и убеждением, а между тем было самолюбие казаться современными, не отставать от прогресса: а как распознать, что прогресс, что нет – они не знали, не имея подготовки. Проникли в печать, несмотря на цензуру, некоторые смелые намеки социального характера, между молодежью произошло какое-то движение – и старики оторопели, не знали, что говорить об этих книгах, о молодежи: порицать или стоять за нее? ту-

да-сюда!

Райский успел сломать только одно ветхое, старое дупло, торчавшее втуне, всех царапанное и не дававшее места новым побегам, именно старого чиновника, генерала Тычкова.

Здесь и *Бабушка* соединилась с ним заодно, и оба одним ударом уничтожили это сгнившее полено. Она – за то, что он чин без заслуги хотел поставить выше значения древности рода. Райский казнил его как старого взяточника, самодура и деспота, всем навязывавшего грубо свой отживший авторитет.

И весь уголок, оглядевшись трезво, сознал правду в этом факте, прозрел от слепого уважения к прошлому, ненужному, вредному и аплодировал Райскому.

*Бабушка* была благосклонно принята всеми в публике. Никто ничего не говорил против ее изображения, и до меня доходили только похвалы ей.

Но что же такое в самом деле эта *Бабушка*? Сжатый смысл всего морального склада этой старухи высказан в самом романе, на 342 и 343 стр. (изд. 1870 г.). Вот этот очерк.

«Бабушка говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, но в новых каких-нибудь, неожиданных для нее случаях у ней выступали собственные силы, и она действовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость у ней пробивалась струя здравого смысла».

Только она «пугалась немного (нового) и беспокойно искала подкрепить его бывшими примерами» и т. д.

Весь смысл ее характера таков, что она старуха твердая, властная, упорная, уступать не любит, хотя про себя и сознает, что внук, Райский, часто прав. Но она велит ему и тогда молчать, «молод, чтобы перечить бабушке», – говорит она. Она любит, чтобы ей все повиновались – и Марфенька ей милее всех, потому что она из послушания бабушки не выйдет. Этот мотив о послушании проходит через весь роман в ее характере. На Веру она косится, что та удаляется, едва слушает ее советы, и она, поневоле, скрепя сердце, дает ей некоторую свободу.

И всех и все в доме она блюдет зорким оком и видит из одного окна – свою деревню,

поля, из другого – сад, огород и людские. Ничто не шевельнется в деревне и доме без ее спроса, воли и ведома. Она хозяйничает и в поле и в кладовых; с мужиками и с целым городом держит себя гордо и повелительно.

За эти черты и другие, все в том же тоне и духе, находили портрет старухи *типичным*.

Но почему же он типичен и кого напоминает? Я вижу в нем что-то близкое и знакомое не мне одному, а всем нам.

Я писал с русской старой хорошей *женщины*, или с русских старых женщин старого доброго времени – коллективно, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктивно гнездилась в моей голове, и когда я уже закончил фигуру, оглядел ее, – у меня в конце книги вырвались последние слова, которыми я и кончил роман. Вот они:

«За ним (Райским, когда он был в Италии) все стояли и горячо звали к себе его три фигуры: его Вера, его Марфенька и бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла к себе еще другая исполинская фигура, *другая великая бабушка – Россия!*»

Вот что отразилось или, если я слабый ху-

дожник и не одолел образа, то по крайней мере вот что просилось отразиться в моей старухе, как отражается солнце в капле воды: старая, консервативная русская жизнь!

Не жили ли старые наши поколения и старшие, господствовавшие и управлявшие нашими судьбами представители этих поколений или, лучше сказать, не спали ли они под навесом *старой мудрости*, пробавляясь *преданиями*, хотя и соглашались (как бабушка в спорах с внуком) *про себя*, что надо жить иначе, но *боялись, беспокоились*, как она, и *пятились* в страхе от всего *нового*, зажимая глаза, и, когда нельзя было уйти назад, уступали неохотно, и тогда сквозь обветшавшую, *негодную мудрость* пробивались *свежие русские силы здравого смысла?*..

Разве мы не пережили этих колебаний, страхов, беспокойств пробуждающегося организма, пока всемогущее «*быть по сему*» не указало, куда идти всем дружно, на свет, к новым и разумным благам?

А расплата за этот безусловный страх всего нового, за высокомерие неведения и за слепую веру в свою силу – за все старые *грехи*, –

разве не отразилось *это* в самоуверенности Бабушки, требовавшей повиновения только своей воле и зажимавшей глаза от нового, вместо того чтобы подвести Веру к этому новому исподволь и сознательно, чтобы она не обольстилась фальшивым блеском неведомой, будто «новой правды» и «нового дела и счастья» и знала, как встретить Волохова?

Разве не плакало старое поколение о своих «грехах», как *Бабушка* плачет над своим маленьким Севастополем, разрушенной беседкой на дне *обрыва*?

Оставим пока эту параллель, то есть Бабушки и старого русского общества: я возвращусь к ней ниже.

Обращусь от синтеза к анализу.

Что далее говорили о других моих лицах, между прочим о Вере и Волохове, особенно о последнем?

Голоса разделились на два хора. Хор старших поколений пел: «Как можно выводить в романе, претендующем на художественность, такую грубую, неряшливую фигуру и сводить ее с изящной, тонкой фигурой Веры?»

Другой хор – молодые голоса раздражи-

тельно твердили: «Это резкие крайности, карикатурный, преувеличенный образ, унижение, направленное на молодое поколение» и т. д. Таков был смысл упреков с двух сторон.

Беспристрастные люди говорили мне с участием, во-первых, о типичной правде этой фигуры, а позднее, во-вторых, о некотором влиянии будто бы этого типа кое-где в обществе. Этого слишком много, и я тотчас уклонился от такой заслуги, взяв себе только правдивость изображения.

Теперь мы несколько отодвинулись от этого явления и можно всем быть хладнокровнее и беспристрастнее. Теперь и я могу объяснить, что я сам видел и вижу в этой фигуре.

Тогда, повторяю, я хотел было объяснить этот тип в предисловии к отдельному изданию «Обрыва», но ввиду общего со всех сторон к нему неблаговоления я отложил эту мысль и все предисловие до более удобного времени.

Еще я должен сказать, что в первоначальном плане «Обрыва», набросанном в 1848 и 1850 годах, на место этого резкого типа, тогда еще не существовавшего, у меня был предпо-

ложен сосланный, по неблагонадежности, под присмотр полиции, выключенный из службы или из школы, либерал, за грубость, за неповиновение начальству, за то, наконец, что споет какую-нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Таких бывало немало лет тридцать тому назад.

Но как роман развивался вместе с временем и новыми явлениями, то и лица, конечно, принимали в себя черты и дух времени и событий. От этого и предположенный зародыш *неблагонадежного* превратился к концу романа уже в резкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-где в обществе. В 1862 году, когда я ездил вновь по Волге, прожил лето на родине, был в Москве, мне уже ясно определилось это лицо.

Меня крайне удивляло, как молодое поколение могло принять Волохова на свой счет, кроме разве самих Волоховых! Оно, может быть, вспоминая свои ранние утопии и увлечения, думало, вероятно, видеть их некоторое отражение в развитии мыслей Волохова. Напрасно!

Разве только потому оно могло видеть это,

что и Волохов говорит именем правды, разума и свободы: но в этом все сходны с ним: и старые и новые люди, и консерваторы, и либералы! И только в этом. Кто же отказывался от этого в своих убеждениях? Но дело в том, что Волохов заблуждается в значении этих понятий и с гордым самоослеплением вводит в заблуждение других, не имея под собою никакой почвы.

У всех, самых противоположных лагерей – всегда есть общие точки соприкосновения, все ратуют во имя разума, свободы и правды, все приводят это на словах, но все понимают слова по-своему и оттого употребляют различные, часто неверные пути.

Волохов – будто бы новое поколение! То поколение, которое бросилось навстречу реформ – и туда уложило все силы!

Даровитые деятели в крестьянской реформе, в земских делах, в новых судебных учреждениях, где успели приобрести громкие имена: неужели это Волоховы!

Поколение, которое – прежнюю, автоматическую военную массу – энергически помогло вождю ее, с чудесною быстротою, преобра-

зить в современную, осмысленную и грозную силу! Поколение, которое переполняет школы, жадно учится, познает, изобретает, творит во всех отраслях русского хозяйства, промышленности, науки, везде пробивая новые пути, вызывая новые силы! Поколение молодых умов и дарований в освобожденной прессе, сослужившее огромную службу России, угадывая, объясняя и проводя в массу идеи, виды и цели великого преобразователя!

И все это Волоховы! Кому могла притти такая мысль!

А самая масса общества сверху донизу, вся уходящая в муравьиную работу, в бездонные рудники труда, вызванного новой жизнью? Ужели и это Волоховы?

Нет, это не Волоховы, а представители новой «правды», воцарившейся с освобождением крестьян и с другими великими реформами, внесшими новую жизнь в русское общество!

Но в жизни, рядом с правдой, к несчастью, гнездится и ложь; и представителем этой новой лжи являются Волоховы! Ведь у меня в книге есть фигура бледная, неясная – намек,

так сказать, но намек на настоящее новое поколение, на лучшее его большинство: это Тушин или Тушины, начиная с вершин русской лестницы и донизу!

Общество уже выкинуло Волоховых из своей среды, как болезненное явление.

Пока явление не определилось и не закончилось – колебалось и общество, следило, изучало, наконец распознало его, и оно уже исчезает с лица русской жизни.

Перехожу к другому хору – старших поколений. «Как можно, говорили мне, выводить такую грубую, неприглядную фигуру – и ставить с ним рядом изящную, чистую Веру?»

Почему именно вышла резкая, грубая фигура?

Ужели я, нарисовав, как говорят, целую *галерею портретов*, не умел бы нарисовать портрет почище, поприличнее?

Но вышел ли бы он тогда верен и типичен? – спрошу я. Вобрал ли бы он в себя и выразил ли бы что-нибудь общее всему этому явлению, которое разыгралось у нас? Волохов – не социалист, не доктринер, не демократ. Он радикал и кандидат в демагоги: он с

почвы праздной теории безусловного отрицания готов перейти к действию – и перешел бы, если б у нас могла демагогия выразиться ярче и перейти к действию, то есть если бы у нас была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернациональная подземная работа и т. п.[21]. Он и пошел бы на это поле работать – искренно, потому что я взял не авантюриста, бросающегося в омут для выгоды ловить рыбу в мутной воде, а – с его точки зрения – честного, то есть искреннего человека, не глупого, с некоторой силой характера. И в этом условие успеха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблуждение только и могли вводить в заблуждение и Веру и других. Плути все узнали бы разом и отвернулись бы от него.

Прибавь я к этому авторское негодование, тогда был бы тип не Волохова, а изображение моего личного чувства, и все пропало бы. *Sine ira*[22] – закон объективного творчества.

Точно так же, смягчи я этот портрет в угоду молодым голосам, не вышло бы героя того явления, которое разыгралось у всех на глазах!

Он или верен, или нет – действительности. Если верен – то я прав, и в этом вся заслуга писателя, а там уже дело читателей выводить из образа свои заключения.

Теперь следует главный *corpus delicti*: [23] как могла влюбиться в него Вера, гордая, тонкая, изящная? Как из порядочного общества могла она уйти в обрыв, сблизиться с такою личностью?

Станный упрек!

А ведь стоило только оглянуться вокруг и слегка пробежать в памяти, что все видели и пережили в десятилетие с 1860 по 1870 год, чтобы решить, верно или не верно мое изображение.

Мне делали этот упрек именно *в то самое время*, когда это явление, как холера, как тифозная горячка, выхватывало из наших родных или знакомых семей жертву за жертвой и наводило почти панику на общество!

Упрекают за то, что я *записал явление*, явно совершавшееся, как будто небывальщину!

Разве женщины пренебрегали сближением с этими, оторвавшимися от порядка, от общества, от семейств, грубоватыми героями

«новой силы», «нового дела», идеала какого-то «громадного будущего»?

Разве многие изящные красавицы не пошли с ними на их чердаки, в их подвалы, бросив – одни родителей, другие мужей и – еще хуже – детей?

Сколько было слухов о каких-то фаланстериях, куда уходили гнездиться разные Веры!

Какие это женщины? – скажут мне. – Всякие! – отвечу я.

Не одни падшие или готовые к падению бросились в омут – нет.

Кто из нас не назовет примера таких эмиграции – из почтенных семейств, от образованного круга, – на поиски нового труда, нового счастья, с принесением в жертву лучших женских качеств, полученных от природы и воспитания, побегов от прямого, скромного дела и трудных семейных обязанностей?

Сюда не подходят, конечно, те серьезные женщины нового поколения, которые в самом деле хотят работать и которые путем строгого, систематического образования ищут усвоить себе ту или другую отрасль знания, профессию и создают для себя самостоя-

тельную деятельность и жизнь. Но тот путь долог и труден, и не все бросаются на него, и не все выдерживают его до конца. Те женщины не бегают тайком от своих семей: они открыто идут в открытые им двери учебных заведений, обществ, курсов, при общем участии и уважении. В руках этих женщин – прямое решение так называемого женского вопроса!

Все, конечно, знают и помнят примеры этих эмиграций – и я знал некоторых женщин, с которых до этого «падения» не задумался бы писать свою Веру!

Так где же, спрошу и я в свою очередь, выдумка на молодые поколения обоего пола?

Я взял лучшую из женщин, которая самостоятельно и гордо, не прибегнув к «старой мудрости» Бабушки и не подготовленная этою же Бабушкою, по неведению и также по гордости, к познанию настоящей «новой правды и новой жизни» – пошла сама на свет и едва не сторела.

«Зачем вводить это в роман?» – говорили, между прочим. «Зачем писать роман? – отвечу я, – если он не должен отражать жизни!»

Я писал не одного какого-нибудь *Волохова*

и не одну *Веру*.

«Вера пала! как можно, какая жалость!» – говорили мне в глаза.

И жаль всем было моей писанной Веры-портрета, но ужели менее жаль всех павших живых *Вер*?!

В IV главе *пятой* части (II тома, со стр. 482–483 – до VII главы) находится ключ к значению Веры и к тому, что подготовило ее падение.

Пала не Вера, не личность, пала русская девушка, русская женщина, – жертвой в борьбе старой жизни с новой: она не хотела жить слепо, по указке старших. Она сама знала, что отжило в старой, и давно тосковала, искала свежей, осмысленной жизни, хотела сознательно найти и принять новую *правду*, удержав и все прочное, коренное, лучшее в старой жизни. Она хотела не разрушения, а обновления. Но она «не знала», где и как искать. Бабушка берегла ее только от болезней, от явных и известных ей зол и бед и не приготовила ни к каким неведомым ей самой бедам.

В новом друге Вера думала найти опору, свет, правду, потому что почуяла в нем ка-

кую-то силу, смелость, огонь, – и нашла ложь, которой, по неведению и замкнутости, не распознала сначала, а распознав, гордо возмечтала силою любви изменить эту новую ложь на свою старую правду и обратить отщепенца в свою веру, любовь и в свои надежды.

И горько заплатила она за самовольное вкушение от этого древа познания зла!

Она воротилась, клоня голову от боли и стыда, и пошла к новой жизни уже другим, сознательным путем.

До этого я не дописался, оставляя это на долю другим, молодым и свежим силам.

Повторяю, я не выдумывал ничего: сама жизнь писалась у меня, как я переживал ее и видел, как переживают другие, так она и ложилась под перо. Не я, а происшедшие у всех на глазах явления обобщают мои образы.

Обе бабушки – и Татьяна Марковна и старое русское общество – оплакали свой «старый грех», разрушивший счастье покоя, тишины и дремоты, – грех недостатка прозорливости, живой заботливости о новых живых нуждах для свежих и молодых сил, грех своего упрямого и добровольного неведения, без-

заботности, неосновательных страхов! Они поняли, наконец, что жизнь не стоит, а вечно движется!

*Марфенька* и *Викентьев*, эта чета не дает Бабушке ни горя, ни тревог. Последняя знает, что ни тот, ни другой *из послушания ее не выйдут* и будут жить, как она укажет. Бабушка ценит это выше всего.

«*Оставь Марфеньку!*» – строго говорит она (в X главе 3-й части, стр. 118) Райскому, когда он вздумал, новыми идеалами жизни, смущать ясный мир ее ума и чувства. «Она не будет счастлива навязываемым тобою счастьем, и, стало быть, будешь деспотом ты, а не я».

И русские *Марфеньки* и *Викентьевы* никогда не слушаются бабушки!

Они всегда бодро, резво и послушно, под ее глазами, пойдут по пути, покоряясь переменам, одобренным бабушкой, не нуждаясь ни в каких идеалах «нового счастья», не думая о будущем, не скучая жизнью в своей среде!

Эта часть поколений, *толпа, большинство*, будет жить, плодиться и множиться, и населять Русь, посменно работая, веселясь, подчас

горюнясь и никогда не терзаясь неизвестными ей мучительными вопросами!

И бабушка награждает послушных и добрых детей материнскою заботою о них, наблюдая, чтоб им было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной привычный труд, получать места, делать карьеру и незаметно исчезать, сменяясь новыми Марфеньками и Викентьевыми!

Бабушка без опасения дает им свободу, отпустит за Волгу (или за границу), зная, что они придут опять под ее крыло такими же и не уйдут никогда.

Она, давая свободу, похвасталась, что она будто только, как *полицмейстер*, смотрит, чтобы *снаружи все шло своим порядком, а в дома не входит*, пока не позовут! (стр. 119, ч. 3-я, гл. X).

Даже Райский рукоплещет ей за эту свободу!

Неправда! преувеличила, похвасталась она: как она ни противилась, но время уже повеяло и на нее, и она наружно отступилась от прав на *слепое послушание* и дала свободу,

но вместе с этим усилила невидимый надзор, замечая каждый взгляд, слово, шаг, прибирая свои *ключи* ко всему. Как она тоскует и мечется, как допрашивает Райского о «новой беде», потому что не знала о ней! Если б в Вере повторился просто только старый женский «грех» Бабушки и особенно если бы героем был кто-нибудь ей знакомый, старуха догадалась бы. Она верила Вере, потому что знала ее и не боялась за нее; но она не знала, что такое Волохов. Она готовила ее против известных соблазнов, но не могла уберечь против неведомого и научить остерегаться! «Мой грех, мой грех!» – стонет она.:

Вот где смысл ошибки обеих женщин: в гордости и неведении! Бабушка знала только старую правду и старую ложь, но новой правды боялась, и, боясь, не узнала и новой лжи, и не приготовила к тому и другому и Веру. Она хотела отделаться неведением, умышленною слепотою, желала бы, чтобы около нее были все Марфеньки и Викентьевы: но так на свете не бывает. Рядом с Марфеньками рождаются Веры; об руку с Райскими, Викентьевыми являются и Волоховы. А она, не только Волохова,

она не хотела слушать и любившего ее внука – Райского, когда он заговаривал о новом.

Будущий художник когда-нибудь скажет, как встали после горьких опытов и до чего возросли русские Веры на пути разумной, сознательной жизни!

Райский, в посвящении к своему роману (в конце II тома, пятой части, стр. 650 и 651), делает легкий очерк отдаленной будущности русских женщин. Это его идеал женщины.

«Восхищаясь вашею красотою<sup>3</sup>, вашею исполинскою силою – *женскою любовью*, – пишет он, – я слабою рукою писал женщину; я надеялся, что вы увидите в ней отражение не одной красоты форм, но и всей прелести ваших лучших сил».

«Мы не равны: вы выше нас, вы – сила; мы – ваше орудие, мы сделаем всю черновую работу; а вы, рождая нас, берегите нас, как провидение, воспитывайте, учите труду, человечности, добру и той любви, которую творец вложил в ваши сердца, – и мы пойдем за вами туда, где все совершенно, где вечная красота!»

«То есть: *создайте нас вновь для жизни ду-*

*ха, как вы создали нас по плоти, вот где ваша задача!»*

«Мы – творцы в черной работе: в науке, в искусстве, в возделании внешней природы; мы – внешние деятели. Вы – создательницы и воспитательницы людей, вы – прямое, лучшее орудие бога» и т. д.

Райский верит этому великому будущему русской женщины, видя, какая сила, в роковой момент, встала из души сокрушенной старухи.

Если она была сильна своею гордою властью, то, под грозой, она нашла еще более силы «нести удары» и страдать с величием, «не падая во прах!»

За эти страницы (502, 503, II тома), где Бабушка со стоном ходит по крутому поволжью, по обрыву, по полям, в каком-то забытьи, в терзаниях за свой «грех», погубивший, по ее мнению, Веру, меня упрекали, как за какие-то, будто бы чуждые русской женщине, черты.

Черты величия души, чуждые русской женщине?!

У меня проведен целый ряд «женских те-

ней» в параллель этой старухе, великих страдалиц, живших в мирной, счастливой среде, прежде ничем особенным не заметных, как и бабушка, и вдруг проявлявших великие силы – в решительные и грозные минуты жизни. Новгородская Марфа, ссыльные русские царицы, жены декабристов и другие жертвы рока, которыми не бедна и старая и новая летопись русской жизни.

«Не похоже на деревенскую старуху!» – говорили мне, то есть не реально, натянуто, ходульно!

Может быть, отчасти я это и сам чувствовал, когда писал, и оттого вложил этот очерк в пеструю фантазию Райского. Впрочем, я не такой поклонник реализма, чтобы не допускать отступлений от него. В угоду реализму пришлось бы слишком ограничивать и даже совсем устранять фантазию, впадать, значит, в сухость, иногда в бесцветность, вместо живых образов писать силуэты, иногда вовсе отказываться от поэзии, и все во имя мнимой правды! Но ведь фантазия, а с нею и поэзия даны природой человеку и входят в его натуру, следовательно, и в жизнь: будет ли прав-

диво и реально миновать их?

Бабушка перемогла себя, видя страдания слабой Веры, спасла ее самоотверженным сознанием старого «греха», но, к горю своему, увидела, что и это не совсем извлекло ее из обрыва.

Она позвала на помощь Тушина, или, лучше сказать, он явился сам, без зова, окончательно спасти Веру.

Фигура Тушина обрисована у меня в двух-трех местах (II том, V глава, стр. 466, 479, далее в главах XVI и XVIII того же тома).

Это бессознательный новый человек, как его выкроила сама жизнь. Он прост, потому что создан таким, он работает, потому что иначе жизни не понимает, как не понимает и того, как можно, узнав Веру, не любить ее. Он мудро, то есть просто, здравым смыслом, решает вопросы и своей и чужой жизни, между прочим, Бабушки и Веры, когда они обратились к нему, и идет по своему пути твердым, сознательным шагом.

Он весь сложился из природных своих здоровых элементов и из обстоятельств своей жизни и своего дела, то есть долга и труда. Он

простой, честный, нормальный человек, понимает и любит свое дело, к которому поставила его жизнь. Природа дала ему талант быть человеком – и ему оставалось не портить этого, оставаться на своем месте. «Почувствовать и удержать в себе красоту природной простоты» – по словам Райского, в этом и вся его заслуга. Верить в эту простоту, быть искренним, понимать прелесть правды и жить ею, то есть иметь сердце и дорожить им, «если не выше, то наравне с умом». Тут весь очерк его.

Тушин давно уже хозяйничает у себя в имении на рациональных началах хозяйства и строгой справедливости, и он любит свое дело, и все новые идеи и преобразования застали его готовым.

На этом сильном, простом человеке основались надежды Бабушки окончательно извлечь Веру из бездны ее горя – и подать ей руку на остальной путь!

И он стал, «как каменная стена», и оградил ее от всяких обрывов.

«Дайте мне Веру, – говорит он в слезах отчаяния (II том, стр. 626 и 627), – я перенесу ее

через обрыв. Она укроется под моей защитой от всяких гроз и забудет обрывы. Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, моря переплывают и прорывают горы, и всё идут смелые люди вперед!»

Да, вперед, на настоящее *новое* дело: это не обломовский сон и не волоховское беспочвенное блуждание!

И Райский, взглядевшись в него, решил, что *Тушины* – наша настоящая *партия действия*, наше прочное *будущее*: когда настанет настоящее дело, явятся, вместо утопистов, *работники* – *Тушины* «на всей лестнице русского общества» (II т., гл. XVIII).

Нарисовав фигуру Тушина, насколько я мог наблюсти новых серьезных людей, я сознаюсь, что я не докончил как художник этот образ и остальное (именно в XVIII главе II тома) договорил о нем в намеках, как о представителе настоящей *новой силы и нового дела* уже обновленной тогда (в 1867 и 1868 годах, когда дописывались последние главы) России.

Рисовать, сказал я выше, трудно и, по-моему, просто нельзя с жизни, еще не сложив-

шейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы. Никто не знает, в какие формы деятельности и жизни отольются молодые силы юных поколений, так как сама новая жизнь окончательно не выработала новых окрепших направлений и форм. Можно в общих чертах намекать на идею, на будущий характер новых людей, что я и сделал в Тушине. Но писать самый процесс брожения нельзя: в нем личности видоизменяются почти каждый день – и будут неуловимы для пера.

Меня упрекали, зачем я написал отрицательный образ Волохова и не дал противоположного образца в новом поколении. На это можно сказать многое. Скажу прежде всего, что после Гоголя мы в искусстве не сошли с пути отрицания, между прочим, и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Сам Гоголь пробовал, во 2-й части «Мертвых душ», написать положительный образ и потерпел неудачу. А другие и подавно: в последнее время ни у кого не вышло в этом роде ничего художественного. Притом это старый упрек, который делали тому же Гоголю: зачем в «Ревизоре» или «Мертвых ду-

шах» не вывел он ни одного «хорошего человека»? На такие вопросы нечего сказать!

Если я отрицательно отнесся к Райскому, к Бабушке, даже к Марфеньке и Вере – то почему же я терял право на отрицательный прием в отношении Волохова! Но я и в нем нашел положительную черту – искренность, за что мне и досталось от старых поколений!

Этого Тушина, говорю я, позвала Бабушка на помощь – и он сослужит ей службу, как и все честные, здоровые члены новых поколений, все Тушины сослужат службу России, разработав, довершив и упрочив ее преобразование и обновление.

Нужно ли в заключение объяснять значение второстепенных лиц романа: Козлова с женой, мимоходом выглянувшего чиновника из семинаристов, Опенкина, тип старого русского маркиза, остаток прошлого века, Тита Никоньча, друга Бабушки, наконец, пеструю толпу русской крепостной дворни?

В учителе Козлове мелькнуло мне лицо русского ученого-труженика с намеком на участь русской науки в обломовском обществе. Не имея под ногами и вокруг никакой

почвы, около – никакой сферы, никакого кружка для плодотворного развития науки, он, забытый, загнанный в глушь, без книг, без денег, бьется и влачит жалкое, скудное существование – среди равнодушных к науке людей. В нем теплится искра любви к знанию, но – как в степи – нет ей пищи, ни посева, ни полива, некуда бросить семян – и они гложут в нем самом; а любящее сердце избрало кумиром ничтожество, идола, созданного бесхарактерностью среды, без образа. Это его жена. Весь ум его просился в науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подруге. Ни там ни сям – он не нашел ответа, сторел и угас одиноко, в чистом пламени своей любви!

В лице старого чиновника из семинаристов, Опенкина, подвернулся мне под руку один из бесчисленных образчиков пьянства, тип русского человека, утопившего в вине все свое и прошлое и будущее, всю жизнь, большую частью тирана своей семьи и бремя для целого круга, где он живет. А где он не живет! Этот штрих русской жизни почти неизбежен во всякой картине нравов! Легкою тенью прошел он и у меня в романе.

В дворне меня самого особенно занимала крепостная Мессалина-Марина и угрюмый, сосредоточенный ее муж. Это, как я припоминаю сам и другие, бывшие в 1849 году на Волге и близко знакомые с домом моих родных, – живые, действительные портреты тогдашней дворни, как и лакей Егор. Еще более в самой Бабушке и во внучках ее, как я увидел после, вкрались некоторые светлые, лучшие черты близких мне лиц, конечно, не целиком, а типично, при совершенном различии в событиях и смысле романа.

При обзоре отношений мужских характеров к женским – во всем романе я не могу не видеть, в каждом из них, особенного вида или рода, словом характеристики привязанностей. Например, преобладание фантазии, артистического и нервного влечения в склонностях Райского ко всем его идолам. В противоположность ему – в Тушине отношение к Вере носит чистый и глубокий, осмысленный и сознательный характер человеческой привязанности, не подавляемой ни чувственностью, ни мелким самолюбием; эта привязанность возникает в нем из самых капитальных

свойств его личности и личности Веры. Она сильна, несокрушима: он мужественно выносит «ошибку», «несчастье» Веры, как он называет ее падение, перед которым не устояла бы другая, менее глубокая и сознательная страсть.

Затем глубокая же, сосредоточенная, но чисто животная до жестокости, также неразрушимая страсть, в грубой, невозделанной натуре серьезного и тупого Савелья к его желтоглазой неверной жене.

Далее, взаимная, веселая и ясная, как весна, любовь Викентьева и Марфеньки, внушенная и лелеемая самою природою, как любовь птиц, осмысленная их светлым, естественным взглядом на жизнь и друг на друга.

Наконец кроткая, безусловная нежность болезненной, хрупкой Наташи, которую надломила и свела в могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыхание жизни. Это райская птица, которая и могла только жить в своем раю, под тропическим небом, под солнцем, без зим, без ветров, без хищных когтей.

Все то, что пишу теперь, – повторяю я, – не

представлялось мне так ясно и отчетливо, как я увидел после, закончив последний свой роман. Белинский справедливо придавал огромное значение художественному инстинкту. Образы, а вместе с ними и намеки на их значение в зародыше присутствовали во мне и инстинктивно руководили моим пером.

Таким образом, как ни скромна степень художественности моего дарования, но и во мне сказался необъяснимый процесс творчества, то есть невидимое для самого художника, инстинктивное воплощение пером-кистью тех или других эпох жизни, которых судьба поставила его участником или свидетелем. Всего страннее, необъяснимее кажется в этом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана отрывочно и отдельно, в лицах, сценах, невидимому не вяжущихся друг с другом, потом как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни! Точно как будто действуют тут, еще неуловленные наблюдением, тонкие, невидимые нити или, пожалуй, магнетические токи,

образующие морально-химическое соединение невещественных сил (какое происходит с вещественными силами)!

К этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явлению в области творчества можно отнести и духовное, наследственное сродство, какое замечается между творческими типами художников, начиная с гомеровских, эзоповских, потом сервантесовского героя, шекспировских, мольеровских, гетевских и прочих и прочих, до типов нашего Пушкина, Грибоедова и Гоголя включительно.

Этот мир творческих типов имеет как будто свою особую жизнь, свою историю, свою географию и этнографию, и когда-нибудь, вероятно, сделается предметом любопытных историко-философских критических исследований. Дон Кихот, Лир, Гамлет, леди Макбет, Фальстаф, Дон Жуан, Тартюф и другие уже породили, в созданиях позднейших талантов, целые родственные поколения подобий, раздробившихся на множество брызг и капель. И в новое время обнаружится, например, что множество современных типов вроде Чичи-

кова, Хлестакова, Собакевича, Ноздрева и т. д. окажутся разнородностями разветвившегося генеалогического дерева Митрофанов, Скотининых и в свою очередь расплодятся на множество других и т. д. И мало ли что открылось бы в этих богатых и нетронутых рудниках!

Но оставим это духовное сродство типов: я, с своими героями, не прошусь на Олимп. Я просто объясняю свой взгляд на собственные мои сочинения и жалею, если мне не удалось выразить того в них и другим, что вижу сам.

Может быть, и оттого, между прочим, мои лица не кажутся другим такими, какими я разумел их, что все эти портреты, типы – слишком местные, вышедшие из небольшого приволжского угла, и потому не всем, живущим на разбросанных пространствах России, близко известны, и, наконец, разве и потому еще, что в них сквозит много близкого и родного автору и заметно пробивается кровная его любовь к ним.

Да, может быть, и так: действительно много личного, интимного, то есть своего, и себя самого вложено автором туда!

Недаром в одной писанной за границу на

французском языке истории новой русской литературы сказано (сколько я помню, не имея книги под рукою), между прочим, обо мне, что я писал сердцем, а сознательный ум, идею автор приписывает другим и ставит это в искусстве выше образа, живописи и прочее. Словом, автор клонит свою критику в сторону реализма.

Конечно, реализм есть одна из капитальных основ искусства, но только не тот реализм, который проповедует новейшая школа за границу и отчасти у нас!

Кто же отвергает рекомендуемое ею стремление к правде – и в искусстве и в жизни. Сами же эти реалисты сознают, что Гомер, Сервантес, Шекспир, Гете и другие, а у нас, прибавим от себя, Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, стремились к правде, находили ее в природе, в жизни и вносили в свои произведения. Стало быть, это далеко не новое.

Надо следовать одной природе, не нужно вымыслов небывалого, преувеличений, ходуль, натяжек, словом никакой лжи! – провозглашают неореалисты. И, конечно, они правы, если под вымыслом разумеют выдум-

ки небывалого или невозможного в природе и в жизни. Но то же самое говорили и делали и до них, хотя бы в русской натуральной школе, опередившей появлением французскую.

Чего же еще хотят новые реалисты, присвоивая себе господство в искусстве и в этом и чуть ли не во все последующие века?

Они, сколько можно понять, кажется, претендуют на те же приемы и пути, какими исследует природу и идет к истине наука, и отрицают в художественных поисках правды такие пособия, как типичность, юмор, отрицают всякие идеалы, не признают нужною фантазию и т. д.

Вот до чего договорились!

Пиши одну природу и жизнь, как они есть! – говорят они. Но ведь стремление к идеалам, фантазия – это тоже органические свойства человеческой природы. Ведь правда в природе дается художнику только путем фантазии!

Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, то есть наблюдаемая им правда отражается в его фантазии и

он переносит эти отражения в свое произведение. Это и будет художественная правда.

Следовательно, художественная правда и правда действительности – не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественною правдою. Поставьте рядом два-три факта из жизни, как они случились, выйдет неверно, даже неправдоподобно.

Отчего же это? Именно оттого, что художник пишет не прямо с природы и с жизни, а создает правдоподобия их. В этом и заключается процесс творчества!

Ведь это все азбука эстетики, но переделать этой азбуки, как и самого искусства, нельзя.

Пособием художника всегда будет фантазия, а целью его, хотя и несознательною, пассивною или замаскированную, стремление к тем или другим идеалам, хоть бы, например, к усовершенствованию наблюдаемых им явлений, к замене худшего лучшим.

И это лучшее и будет идеалом, от которого не отделаться художнику, особенно когда у

него, кроме ума, есть и сердце.

Неореалисты пробуют приложить свою теорию к искусству и дают нам, иногда, и в живописи и в искусстве слова, свои снимки будто бы с природы и с жизни, сделанные «умом»: но эти попытки пока ограничились сухими, бледными и... скучными произведениями, пожалуй, ума, но никак не искусства, если не разуместь под искусством одну технику.

Эти снимки никогда не заменят картин, освещенных лучами фантазии, полных огня, трепета и горячего дыхания жизни. Писать художественные произведения только умом – все равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами – в воздухе, на деревьях, на водах, не давало бы тех красок, тонов и переливов света, которые сообщают красоту и блеск природе! Разве это реально?

И что такое ум в искусстве? Это умение создать образ. Следовательно, в художественном произведении один образ умен – и чем он строже, тем умнее. Одним умом в десяти томах не скажешь того, что сказано десятком

лиц в каком-нибудь «Ревизоре»!

Это правда, что роман захватывает все: в него прячется памфлет, иногда целый нравственный или научный трактат, простое наблюдение над жизнью или философское воззрение, но такие романы (или просто книги) ничего не имеют общего с искусством. Роман – как картина жизни – возможен только при вышеизложенных условиях, не во гнев будь сказано новейшим реалистам!

Гоголь бесспорно – реалист: у кого найдешь больше правды в образах? Но он, смешая и «смеясь, невидимо плакал»: оттого в его сатиры и улеглась вся бесконечная Русь своею отрицательною стороною, со своею плотью, кровью и дыханием.

Какой отрадной теплотой дышат его создания от этого юмора, под которым прячутся его «невидимые слезы» и которого нет у псевдореалистов, а есть холодная ирония, продукт, пожалуй, ума: они, кажется, ее только одну и допускают в искусстве! Но она никогда не заменит юмора.

Природа слишком сильна и своеобразна, чтобы взять ее, так сказать, целиком, поме-

ряться с нею ее же силами и непосредственно стать рядом; она не дастся. У нее свои слишком могучие средства. Из непосредственного снимка с нее выйдет жалкая, бессильная копия. Она позволяет приблизиться к ней только путем творческой фантазии.

Иначе было бы слишком просто быть художником. Стоило бы только, по совету одного лица в «Разъезде» Гоголя, сесть у окна да записывать, что делается на улице, и вышла бы комедия или повесть.

Замечательно, что некоторые из героев дня, ставших во главе новейшего реализма в искусстве, обязаны были лучшими своим произведениями именно тем могучим орудиям искусства: фантазии, юмору, типичности, словом – поэзии, от которых отрекаются теперь.

Кстати, о типичности. Новая реальная школа, сколько можно понять, кажется, отвергает и ее. Это уже значит – замахиваться не на одну так называемую «романтическую школу», а на Шекспира, Сервантеса, Мольера! Кому какое дело было бы, например, до полумных Лира и Дон Кихота, если б это были

портреты чудаков, а не типы, то есть зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобиya – в старом, новом и будущем человеческом обществе?

Нет, напрасно будет пророчить себе этот новый род реализма долгий век, если он откажется от пособия фантазии, юмора, типичности, живописи, вообще поэзии, и будет прибавляться одним умом, без участия сердца!

Написал ли бы без всего этого и, между прочим, без сердца Грибоедов свою горячо любимую им Москву, в «Горе от ума», Пушкин – своего «Онегина»? Гоголь, не говоря уже о его картинах малороссийской природы и жизни, даже в своих реальных «Мертвых душах» не создал бы этих дышащих жизнью Коробочек, Маниловых, Собакевичей? Не мог бы равнодушный человек писать такими живыми красками, говорить этими образами, так близко нам, как будто мы живем среди их!

Другой огромный талант – Островский, без любви к каждому камню Москвы, к каждому горбатуму переулку, к каждому москвичу, шевелящемуся в своей куче сора и хлама, создал ли бы весь этот чудный мир, с его духом, обы-

чаем, делами, страстями, – без этой любви, которая сквозит в его изображениях царей, Мининых, Брусковых, их жен, детей, свах и прочих? От этого в его бесконечных галереях и является вся Великая Россия «воочию», что она писалась фантазией, юмором и любовью, рассыпалась на бесчисленные разновидности типов, характерных, всем знакомых сцен, именно потому всем знакомых, что они воссоздавались художнической поэтической кистью, а не просто копировались с жизни.

И Тургенев, создавший в «Записках охотника» ряд живых миниатюр крепостного быта, конечно, не дал бы литературе тонких, мягких, полных классической простоты и истинно реальной правды, очерков мелкого барства, крестьянского люда и неподражаемых пейзажей русской природы, если б с детства не пропитался любовью к родной почве своих полей, лесов и не сохранил в душе образа страданий населяющего их люда!

Граф Лев Толстой – бесспорно великий реалист, в лучшем смысле слова, пишет, конечно, с натуры, особенно в последнем своем произведении. Он по-своему понял, о чем хло-

почут новые реалисты, и, обладая тем, чего им недостает, преподал манеру, как можно и нужно, творчески, силою фантазии, стать очень близко к природе и правде. Какою нежною теплотой окружает он некоторые свои лица, например своего героя Левина с женой, или эту мягкую, развалившуюся от забот житейских добрую Облонскую, бедную грешницу Каренину, детей, потом деревню, поля, охоты и все, что он любит, с чем сжился и чем пропитался! Все это не мешает строгой объективности в нем, как, например, теплый воздух и игра солнечных лучей не мешают верности рисунка в пейзаже.

Даже такие особые, не входящие в этот круг, своеобразные таланты, как Достоевский и Щедрин, не могли бы силою одного холодного анализа находить правды жизни – один в глубокой, никому, кроме его, недостигаемой пучине людских зол, другой в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий. Один содрогается и стонет сам – содрогается от ужаса и боли его читатель, точно так же, как этот читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь «современной идиллией» или

внезапно побледнеет перед образом «Иудушки».

Под этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого кипят свои «невидимые слезы», прячется своя любовь, которая, вместе с другими силами творчества, лежит в основе талантов всех этих звезд первой величины.

Не было бы ничего этого у них, если б они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Все эти вместе взятые силы только и ведут к истинной «правде» в искусстве!

Да, много хочет и далеко зашел новейший реализм! Там, куда он метит, одного ума мало: в искусстве ум должен быть в союзе с фантазией.

А без этого пусть разгораются негодованием на зло, пусть стремятся служить «злобам дня» – ничего, кроме претензии, то есть тенденций, не будет.

Поэтому пора бы оставить в покое ничего не выражающую фразу «искусство для искусства». Этим грехом, между прочим, еще не так давно упрекали почти всех наших писателей, даже, кажется, и Пушкина!

Что-нибудь одно: или у писателя нет таланта – и он пишет только для искусства писать, но тогда не было бы никакой живописи, никаких живых лиц и ничего бы не вышло.

А если признают талант, а с ним и живопись, тогда последняя что-нибудь да выражает. Живой, то есть правдивый, образ всегда говорит о жизни, все равно о какой.

«Нам до той или другой жизни дела нет: все в искусстве должно служить делу, моменту, „злобе дня“», – проповедают ультрареалисты.

Но ведь этак пришлось бы ограничить жизнь суетливым перебеганием от одной дневной заботы к другой. Куда же девать все другие, бесчисленные, и мрачные, и светлые стороны жизни, картины не одних политических, социальных, но и общечеловеческих, разнороднейших страстей, интересов, сует, волнений и горячек, скорбей и радостей? Ведь жизнь – это беспредельное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь в одно какое-нибудь узкое русло, а с ним и искусство, ее верное отражение!

Лучше бы уж называть – «искусство без искусства», как остроумно, и совершенно основательно, выразился однажды, кажется, «Вестник Европы», говоря по какому-то поводу о тенденциозных произведениях.

На скользкой почве крайнего реализма пробовали свои силы и серьезные таланты, но эти попытки оказались бесплодны и не прибавили (если только не убавили) ни одного листка к их лавровому венку.

Нет – будем держаться школы старых учителей и итти проложенным ими путем, не отказываясь, конечно, от истинных, законных развитий, новых шагов в искусстве, хотя бы от того же самого реализма, когда эти шаги не будут *pas de géants*[24] и когда он откажется от претензии колебать основные законы искусства!

В нашем веке нам дал образец художественного романа общий учитель романистов – это Диккенс. Не один наблюдательный ум, а фантазия, юмор, поэзия, любовь, которой он, по его выражению, «носил целый океан» в себе, – помогли ему написать всю Англию в живых, бессмертных типах и сценах.

От всех громких этих имен перехожу опять к себе и доскажу последние слова о своих сочинениях.

Некоторые старались доказывать, и в печати и даже мне самому лично, что роман «Обрыв» вообще будто бы слабее других моих сочинений, а последние его, 4-я и 5-я, части слабее первых трех.

Если б мне сказали просто – «роман слаб», я тотчас согласился бы с этим: я сам более нежели кто-нибудь питаю недоверие к своим силам. Притом и нельзя же самому доказать о себе, что то или другое сделано хорошо. Но всякому автору позволительно, не нарушая приличий скромности, выражать свое мнение о том, что он сделал *лучше* и что *хуже*. И я, на основании этого права, нахожу, что последние две части бесспорно лучше первых трех. Они писаны более созревшею и опытною в работе рукою, они сжатее, определеннее и яснее первых.

Притом они так органически связаны с целым романом, что без них первые три части не имели бы никакого значения – и я, долго отвлекаемый разными посторонними лите-

ратуре делами от доведения «Обрыва» до конца, хотел уже бросить всю первую половину романа. Весь смысл его, вся его «причина» и «суть» только и объясняются и доказываются двумя последними частями, в которых, между прочим, окончательно разыгрывается и драма Веры. Там закончилась и ее фигура и портреты Бабушки, Райского, Козлова с женою, Марфеньки и всех остальных.

Без этих двух частей была бы треть романа, разрубленное тело, без смысла, без значения, словом – урод.

Может быть, завершение этого огромного полотна, повторяю, сделано слабо и неудовлетворительно (не мне об этом судить), но отнюдь не слабее и хуже, а, напротив, положительно лучше всего, написанного мною прежде.

За это «лучше» я только и вправе стоять и стою на своем.

В заключение мне остается еще ответить на последние, обращаемые ко мне с разных сторон и до сих пор, вопросы. Именно: зачем я так долго, лет по десяти, писал свои романы? Потом – зачем я не пишу ничего другого?

Ответ на первый вопрос или упрек заключается отчасти в сказанном выше.

Прибавлю только, что если потрудятся вникнуть в смысл моих романов и найдут хотя малую долю того значения, которое я сам в них вижу, то и полагаю, не понадобится быть самому автором, чтобы рассудить и решить о том невидимом, но громадном труде, какого требует построение целого здания романа! Одной архитектоники, то есть постройки здания, довольно, чтобы поглотить всю умственную деятельность автора: соображать, обдумывать участие лиц в главной задаче, отношение их друг к другу, постановку и ход событий, роль лиц, с неусыпным контролем и критикою относительно верности или неверности, недостатков, излишества и т. д. Словом – *c'est une mer à boire!*[25]

Я не говорю о самых лицах, типах: они даются художнику даром, почти независимо от него, растут на почве его фантазии. Труд его – только обработка, отделка их, группировка, участие в действии. Нельзя одолеть всего этого одним умом: приходит на помощь не зависящая от автора сила – художественный ин-

стинкт. Ум разбивает, как парк или сад, главные линии, положения, придумывает необходимости, а приводит это в исполнение и помогает сказанный инстинкт.

Разумеется, он является при любви, при жажде автора к своей работе, то есть при известной степени нервного раздражения, называемого, на языке идеалистов, «вдохновением».

Тогда, среди намеченного умом главного хода или действия, при созданных фантазией лицах – под рукою, как будто сами собою, роятся и сцены и детали, перо, кисть едва успевает писать.

Сколько же времени уходит на всю эту, не видимую читателю, работу!

И всегда ли оно в распоряжении автора? Всегда ли он может сосредоточиться, особенно здесь, в Петербурге, где, по обстоятельствам; живет весь век, служа и участвуя, волей и неволей, в светской жизни и платя дань ее требованиям?

Об этом никто не подумает, читая легкие страницы романа и не зная, как нелегко достаются они автору!

Белинский сказал мне однажды, как упомянуто выше, «что другому стало бы на десять повестей, у него укладывается в одном романе!»

Это сказал он про самую краткую из моих книг – «Обыкновенную историю»!

Что сказал бы он об «Обломове», об «Обрыве», куда уложилась и вся моя, так сказать, собственная и много других жизней?

Худо ли, хорошо ли – это другой вопрос (не мне решать его!): но если в рамки моих романов укладывались продолжительные периоды, с 40-х до 70-х годов, то спрашивается, возможно ли писание таких картин, развивавшихся и писавшихся параллельно течению самой жизни, хотя бы в год-два? Конечно, нет!

Последний вопрос: зачем я не писал и не пишу ничего другого?

Не могу, не умею! То есть не могу и не умею ничего писать иначе, как образами, картинами, и притом большими, следовательно писать долго, медленно и трудно.

Для образов и картин требуется известная свежесть сил и охоты: всему есть своя пора. К

концу поприща человек устает от борьбы со всеми и со всем, что ему мешало, что не понимало его, что враждовало с ним.

Я не публицист, не присяжный критик, я жил и писал больше всего под влиянием фантазии – и вне последней перо мое мало имеет силы, не производит действия!

Напрасно просили моего сотрудничества в журналах в качестве рецензента или публициста; я пробовал – и ничего не выходило, кроме бледных статей, уступавших всякому бойкому перу привычных журнальных сотрудников.

Напрасно тоже некоторые предлагали мне задачи для романа. «Опишите такое-то событие, такую-то жизнь, возьмите тот или другой вопрос, такого-то героя или героиню!»

Не могу, не умею! *То, что не выросло и не созрело во мне самом*, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, – то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, – и я писал только то, *что переживал, что мыслил, чув-*

*ствовал, что любил, что близко видел и знал, – словом, писал и свою жизнь и то, что к ней прирастало.*

## **Нарушение воли\***

### **I**

**К**акое нарушение, чьей воли? – спросит читатель.

А может быть, и не спросит, если даст себе труд прочитать собрания писем Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданные Крамского и многие другие, то и дело появляющиеся в печати.

Он увидит, что над умершими известными, особенно знаменитыми писателями, учеными, художниками, вообще лицами с более или менее громким именем, и просто с именем, бесцеремонно совершается явное нарушение их воли.

Я бы не решился, особенно печатно, высказывать только свое мнение об этом, которое не авторитетно и ни для кого не обязательно: но я на каждом шагу встречаю в обществе подтверждение моего взгляда на обычай передавать через печать публичному оглашению частные, интимные письма, писанные

одним лицом к другому – *и только для одного этого лица.*

Это значит переводить на бумагу интимный разговор между собою двух близких лиц, который при свидании вели бы в кабинете, на прогулке, с глазу на глаз, не подозревая, конечно, никакой измены доверия с обеих сторон.

Но если одно из этих лиц или кто-нибудь, случайно подслушавший разговор, станет передавать его встречному и поперечному – породит толки, пересуды, – такого вестуна заклеямили бы нелестным именем сплетника. Общество не терпит сплетников: их остерегаются, запирают от них двери. Тем более осмотрительно, казалось бы, следовало поступать в печати, не упрочивая сплетни на весь мир.

Между тем это творится сплошь и рядом. Разных известных, – не говоря уже о знаменитых, – деятелей, писателей, ученых, художников, *заставляют самих, в их письмах, не назначавшихся ими для печати, рассказывать о себе и о других то, чего они, очевидно, вслух вовсе не желали рассказывать.*

Едва умерший закроет глаза, как его так называемые «друзья» пускаются на поиски его писем, собирают их, приводят в порядок, издают. Можно судить, какая молвь выступает наружу из сопоставленных на очную ставку между собою разнообразных, нередко разноречивых отзывов, мнений, против воли и желания писавшего.

Он говорил на ухо, так сказать, шопотом одному, другому, третьему, нередко про того, другого, про третьего – под влиянием минутного неудовольствия, мимолетного раздражения или, пожалуй, веселого настроения – и вдруг это находит эхо, передается, как по телефону, во всеуслышание, идет в потомство.

Такое нарушение воли авторов писем совершается бесцеремонно, bravement[26], и не только над умершими лицами, иногда даже и над живыми. До того дошло самовольное обращение с чужим добром и с чужой волей. А умершему как будто говорят эти нарушители воли: «Ты умер, мы и пропечатаем тебя до самой утробы; ты нам теперь не помеха; нраву нашему не препятствуй. Нам это приятно или полезно, то есть выгодно, и ты ничего не по-

делаешь».

Но по какому же праву совершается такое насилие воли? Кто его дал – и кому? Закон, сколько мне известно, определяет только право собственности: предоставляет владение письмом, как вещественным документом, тому лицу, к которому оно писано. Это и справедливо. Оглашение же в печати таких писем разрешается с согласия наследников их автора. Кажется, так сказано в законе. Здесь опять, очевидно, принимается во внимание право материальной собственности; письма подведены под одно значение с рукописями. А рукописи представляют известную материальную ценность, денежный капитал, который могут представлять и письма. Стало быть, закон определяет одну юридическую сторону вопроса: никакой другой он не касается. Он не обязан, да и не в силах этого сделать.

Я предоставляю решать этот нерешенный и, может быть, неразрешимый вопрос – даже с юридической стороны – компетентным людям, юристам, и обращаюсь к другой стороне, нравственной.

Если нет прямого закона в общем своде законов против нарушителей чужой воли и собственности, то не может ли и не должно ли само общество дополнить пробел в юридическом кодексе и преследовать своим судом, – судом общественного мнения, – за самовольное распоряжение чужим именем и чужим добром.

Законы грубы: они, как полицейские солдаты, хватающие за ворот явных и грубых нарушителей порядка, карают за злоупотребления по определенной статье уложения; но они бессильны там, где нарушение их принимает утонченный, вообще неуловимый для них, сложный характер.

Суд общественного мнения вообще беспощаднее законов уложения о наказаниях. Он проникает во все изгибы злоупотребления, редко допускает смягчающие и жадно хватается за отягчающие обстоятельства. Тысячеглазый его аргус производит следствие, и суд этот произносит безапелляционный приговор. Кто-то из английских парламентских ораторов, – помнится, Биконсфильд, – сказал, что нравы общества спасают англичан от их

законов, то есть что англичанин-джентльмен боится не кары закона по уложению, которая может и миновать виновного: он боится самого общества, которое за неблаговидный поступок выкинет его из своей среды, – и оттого он редко является на скамье подсудимых, не от добродетели, которой часто у него и нет, а от крайней осторожности сдерживает или прячет свои страсти.

## II

В прессе у нас иногда затрогивался вопрос о мании печатать письма, но говорилось об этом мало, равнодушно. Не так давно, кажется в прошлом году, в газетах упоминалось о том, как мало интересны и как ненужны бессодержательные письма, печатаемые потому только, что они писаны более или менее известным лицом. Вообще же при оглашении таких писем пресса остается равнодушной, как будто так оно и должно быть или входит в критический анализ самых писем, а о том, почему, по какому праву они напечатаны – не заботится. Да ей и трудно было бы протестовать, так как она сама орудие, участница в нарушении права, проводница контрабанд-

ных писем в свет – следовательно, первая ответчица за них перед судом общественного мнения.

Между тем в публике всякий раз поднимается говор, иногда ропот по поводу появления некоторых писем. Например, о письмах Пушкина, изданных под редакцией Тургенева, поднялся в свое время в обществе дружный ропот против появления многих писем поэта, очевидно не предназначенных в печать.

Удивлялись, что такие письма, через «умелые руки» (как выражались тогда) Тургенева, могли явиться в свет.

За кем же, спрашивается, следует признать право на издание посмертных писем писателя, художника и вообще деятеля с известным именем? По официальному закону отнюдь не за тем, как сказано выше, к кому писано письмо, а за наследниками умершего лица.

Но по законам нравственного права, по чувству справедливости, принадлежит ли и должно ли принадлежать такое право и близким лицам, законным наследникам умершего известного лица? Им принадлежит, я полагаю,

гаю, право протеста против диффамации, грубого оскорбления родственного им лица – им же должна, конечно, принадлежать вещественная стоимость всякой, между прочим, и литературной собственности на литературном рынке. Этим, я полагаю, только и обуславливается предоставление согласия наследников автора на издание его писем.

Право же издания писем должно оставаться навсегда за самим автором: надо знать его волю, назначал ли он сам, желал ли предавать гласности свои письма и какие именно?

А как же, спросят, это узнать, когда автора нет в живых и когда он не сделал никакого распоряжения насчет своей переписки при жизни?

Такой вопрос или детски наивен, или казуистически лукав.

Всякий разумный, добросовестный, не чуждый литературного развития читатель, пробегая письма Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданные письма Крамского и многих других, почти с математической точностью может определить, пожелал ли бы автор, чтобы то и другое письмо, писанное к

жене, к сыну, брату, вообще к близкому лицу, было оглашено на весь свет, чтобы всякий сор выносился из избы и раскидывался по ветру всюду и доходил далеко, в потомство.

Но ведь, например, Тургенева, заметят на это, просматривавшего письма Пушкина для печати, нельзя упрекнуть ни в недостатке такта и деликатности, еще больше – в неуважении к памяти Пушкина.

Конечно, нет, – особенно в неуважении. Напротив: Тургенев именно и погрешил благодаря страстному поклонению Пушкину. Мы все, сверстники Тургенева, питомцы школы великого поэта, вскормленные его поэзией, мы все сохранили в себе навсегда обаяние его гения; для нас дорог каждый штрих его пера. Тургенев религиозно собирал и подбирал, как перлы, всякие писанные поэтом строки, не бракуя, повидимому, ни одной, боясь проронить всякую мелочь. И все ближайшие современники и поклонники Пушкина были бы также в затруднении, как поступить, – в том числе, признаюсь, и я.

Для просмотра и редакции писем Пушкина нужен был другой или другие, менее

страстные и более беспристрастные почитатели великого поэта. Впрочем – я слышал, что многие неудобные письма исключены Тургеневым; зачем же не все, до публики не касающиеся?

Если признать, – а этого нельзя не признать, – что всякое неизданное литературное произведение умершего писателя, в том числе и письма, помимо указанных законом прав на материальное обладание последними, принадлежит всему обществу, то надо допустить, что и заботы об издании бумаг покойного и контроль над ним должны разделить с наследниками писателя или с корреспондентами его и другие сведущие в подобных делах люди, особенно когда сами наследники не имеют надлежащего знания и опытности в литературных и издательских вопросах. Конечно, найдется не один, не два, а многие лица, разумные, добросовестные и литературно-развитые, как Тургенев например, которые могут в интересах литературы коллегиально сослужить такую почетную службу – и публике, и умершему писателю, и наследникам его, не увлекаясь личным слепым

поклонением, очистить бумаги и письма его от лишнего, ненужного или слишком интимного, иногда даже бросающего тень и на характер самого автора, и также на затрогиваемых им в письмах посторонних лиц.

Стоит только пробежать письма Пушкина к жене, чтобы заключить, что нарушение воли совершилось и над его памятью.

Сам Пушкин намекает на то. В 45-м письме к жене есть следующие строки: «Пожалуйста, – пишет он, – не требуй от меня нежных; любовных писем. Мысль, что письма мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции и т. д., охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен».

Это доказывает, как Пушкин смотрел даже на немногих, предполагаемых им, случайных посторонних читателей того, что он пишет к жене, то есть что он говорит ей наедине. Что, если бы он мог предвидеть, что нежные, иногда ревнивые излияния его сердца будут вынесены на свет, перенесены из секретного письма на книжный прилавок и станут предметом любопытства всех и каждого?

Едва ли, можно смело заключить, написал

бы он эти письма, или, если бы написал, то сухо и сдержанно, как под глазами почтовых и полицейских чиновников. В письмах к князю Вяземскому, к Соболевскому и к другим у него нередко играет необузданная веселость, сыплется то крупная, то мелкая соль остроумия, беспрестанные эпиграммы в прозе и стихах – желчные отзывы о противниках и также нескромные намеки и неупотребительные в печати, кроющиеся под инициалами слова. Словом, ведется вольный, живой, несдержанный разговор, свойственный веселой беседе, иногда за трапезой и т. д.

Хотел ли бы автор предать всю эту шаловливую домашнюю беседу на услышание всему свету? Конечно, нет.

Отчего же, если так, спросят, он не уничтожил этой переписки? Оттого, можно с достоверностью заключить, что ему, конечно, и в голову не приходило, чтобы посторонние глаза видели его нежные, интимные письма, чтобы чужие руки прикасались к ним, копались в них, разбирали и распоряжались.

Можно жалеть только, – и в публике, повторяю, при выходе писем в свет жалели и

роптали, что интимные письма поэта сделались предметом любопытства всей читающей публики. Жалеть и роптать имеют право все искренние, глубокие почитатели поэта на то, что не оказано должного внимания к его памяти.

Стало быть, – спросят поклонники поэта и вообще почитатели умершего деятеля, – все, что написано и не назначено самим писателем для печати, то и должно пропадать для света? между тем в переписке блестит тот же талант. Посмотрите, как, например, письма Пушкина игривы, как сверкают искрами юмора, милыми капризами пера и т. д.

Талант остается талантом во всем, до чего коснется его перо. Юмор, игра фантазии, искры поэзии сверкают везде и даже иногда придают поэтический колорит фактам, то есть украшают их, и этим порой грешат против голы истины. Художник является художником везде, даже в мелочах. Немало потрачено поэтом таланта на его многие эпиграммы, совершенно недоступные печати. Нельзя же оглашать их, как нельзя выводить на показ хотя бы и умершего поэта во всей

неприглядной домашней обстановке, подслушивать и передавать его семейный, домашний, несдержанный разговор.

– Пропадать ли?

Конечно, пропадать, если автор сам обрек письма на забвение, ибо поступить вопреки, – значит, совершить грубое насилие его воли.

Если же он не выразил своей воли, то, кажется, есть средство, без насилия последней, удовлетворить поклонников таланта и приобрести вклад в литературу из крупиц, падающих от богатой трапезы такого таланта, как Пушкин. Это – печатать не все сплошь да рядом, целиком, а с строгим, добросовестным выбором того, что ценно, веско, что имеет общий интерес, значение, как мысль, как авторитетный взгляд писателя на те или другие вопросы науки, искусства, общественной жизни и т. д., словом, что достойно дополняет его сочинения. Немало, конечно, найдется примеров в печати ссылок на письма известных деятелей, извлечений, выписок для всех интересных, без примеси множества или ненужных, или интимных подробностей. Я не говорю уже о письмах, писанных целиком на

известную тему, как, например, недавно найденное в бумагах Жуковского письмо Гоголя, выражающее полный взгляд автора на искусство. Есть целая литература в форме писем двух лиц между собою, посвященная тем или другим вопросам. Эти письма прямо назначались авторами их для света и составляют чистый вклад в литературу.

Но то сочинения, назначенные для печати, а не частные, писанные к одному лицу и для одного лица. В одном черновом письме (к *неизвестной даме*), найденном в бумагах Пушкина, он говорит: «Не показывайте этого письма никому, кроме тех, кого я люблю и кто принимает во мне участие не из любопытства, а по дружбе». Он сам предостерегает от оглашения его переписки между равнодушными, посторонними ему, для праздной забавы, для удовлетворения их любопытства.

Против гласности мудрено восставать, как против Архимедова рычага, по-своему двигающего миром, но есть такие уголки в частной жизни, которых не должен касаться этот рычаг. Если в самой природе есть тайны, то в людской жизни есть свои наготы, где необхо-

димом покрывало; этого требует простая пристойность. Я разумею индивидуальную, частную жизнь, которая должна быть защищена, ограждена, *respectée*[27] (говоря непереводаемым в этом смысле французским словом); это основной закон общежития. Типично общественная жизнь доступна всякому наблюдателю, мыслителю, ученому, писателю, художнику, которые изучают, разрабатывают и изображают со всех сторон и во всех деталях, никого лично и индивидуально не оскорбляя, не задевая и не насилуя чужой воли и прав.

Как же, – заметят на это, – за границей сплошь да рядом печатаются письма от живых, писанные к одному лицу и для одного лица, и этот обычай не находят предосудительным. Там на частные письма нередко ссылаются как на улики в пререканиях, в борьбе разных политических партий, которых у нас нет, или письма приводятся как свидетельства при судебных процессах, что бывает и у нас и что иногда необходимо и неизбежно, например, в уголовном и других процессах. Про такие письма и говорить нечего. Есть исторические письма, есть целая уче-

ная литература писем; они к делу не идут. Оглашение же интимной, частной переписки просто для любопытства публики, нежела- тельное для автора, хотя бы и умершего, так же неблагоприятно за границей, как и у нас.

В Англии, если не ошибаюсь, есть закон, запрещающий касаться в печати подробностей домашней, семейной жизни частного лица, разумеется, без его согласия, хотя бы последние и не заключали в себе ничего предосудительного. Дом англичанина, его home – это святыня, недоступная для любопытства публики. Не худо бы перенять это хорошее правило и нам, таким охотникам перенимать все чужое!

Над самим Тургеневым, редактором пуш- киных писем, совершилось, по смерти его, хотя в слабой степени, то же самое, что допу- щено им в письмах поэта. Несмотря на то, что письма Тургенева прошли через руки нескольких лиц, под редакцией старого и опытного литератора В. П. Гаевского – и тут проскользнуло несколько писем (например, на стр. 133, 259, 307, 400 – письма 105, 203, 244, 339), которых Тургенев, конечно, не разрешил

бы печатать, и много других, где он делает резкие и иногда несправедливые отзывы о людях или сочинениях. В письме 339-м к Я. П. Полонскому Тургенев, по поводу выраженного им в одном частном письме мнения о Саре Бернар, проскользнувшего в печать, говорит: «Из всего этого вышла грязная сплетня, перебранка... Я не привык отказываться от своих мнений и могу только сожалеть о том, что *высказанные частным образом*, они (мнения) вдруг *являются в публике* благодаря некоторому отсутствию деликатности».

Вот как сам Тургенев выразил неудобство оглашения некоторых частных писем. Он объясняет это неделикатностью.

Когда он писал это, то, конечно, не предвидел, сколько высказанного им самим частным образом, так сказать, на ухо, приятелям, всплывет наружу перед всеми, не в далеком будущем, а вслед за его гробом.

Группа издателей его писем, вероятно, тоже увлекалась, из участия к автору и его перу, желанием поделиться неизданными произведениями этого пера с многочисленными его почитателями и, исключив, по слухам, очень

многое, оставила, однако, кое-что небольшое, не совсем удобное для оглашения. Кроме вышестотмеченных писем, много есть таких, которые лишены содержания, не имеют ничего общего с литературой; например, ласковые излияния к приятелям, шутливые краткие заметки, записки в деревню из-за границы или из деревни, мелкие заметки по хозяйству, с разными мелкими поручениями о получении денег, о присылке книг и т. п., ни для кого не интересные.

И таких писем масса. Они загромождали и засорили, так сказать, переписку, которая могла бы быть интереснее, если выкинуть лишнее. Вышла пухлая, объемистая книга, как битком набитый омнибус, которую не только читать, но тяжело в руках держать.

Набросанные, таким образом, в кучу, эти письма, так же как и письма Пушкина, при чтении *à la longue*, целиком, производят крайнее утомление, несмотря на мастерской язык, на искры остроумия, свойственные таким талантам. Письма эти читаются вовсе не так, как художественные произведения тех же авторов, не потому только, что они небрежны,

что автор является во многих нараспашку. Читая их, как будто едешь по нескончаемому парку, с длинными однообразными аллеями, где нет остановки, центра, не на чем успокоиться глазу. Можно возвратиться назад и начать с первых страниц или броситься в конец и читать обратно – все одно и одно. Точно льется непрерывный, однообразно журчащий каскад. Читатель пробегает письма, как равнодушный прохожий зевает на улице мимоходом в нижние этажи домов; там сидят за обедом, там играют в карты, тут занимаются музыкой и т. д. Кажется, разнообразно. Он мельком взглядывает в одно окно, другое, третье и идет дальше, и, выбравшись на простор, он забывает все это разнообразие, всю пестроту, не знает, на чем остановиться, все смешивается в бесцветное пятно, и он чувствует себя только крайне утомленным, не вынося никакого цельного впечатления.

### III

Теперь следует упомянуть еще о письмах Кавелина и Крамского. Издатель первых, помещая их в «Вестнике Европы» 1886–1887 годов под заглавием «Материалы для биогра-

фии Кавелина», оговорился, что печатает письма, между прочим, и к сестре Кавелина, своей матери, за исключением того, что имеет чисто семейный интерес.

И это сделано. Письма безупречны в этом отношении. Вне общеинтересных вопросов отведено только незначительное место нежной любви Кавелина к его дочери, в свою очередь бывшей известною в петербургском педагогическом мире.

Остальное же все в его письмах всецело просится в свет, в публику, в литературу: все писано будто не к одному кому-нибудь, а ко всем.

Это не письма, это беседы умного, даровитого профессора, так сказать лекции, занимательные, поучительные для всех, хотя тут нет ни блеска, ни острот, ни юмора, неожиданной игры пера и искр фантазии, как у Пушкина, Тургенева. Но зато все веско, ценно, авторитетно, о чем бы он ни писал: о политике, по социальным, экономическим, сельскохозяйственным вопросам. Сколько ума, глубоких философских афоризмов, верных практических замечаний о разных общественных явлениях.

ях, более всего об устройстве быта крестьян, да и обо всем!

И во всех этих вопросах светится душевная теплота и к людям вообще и к общему благу. Ею согреты все идеи автора, все стремления, весь его анализ ученой и общественной деятельности. Это будто не пером писано, сама кровь говорит; справедливо замечает его издатель, что в его натуре было даже больше любви к идеям, чем к людям. Это ученый идеалист, и главный идеал его – наука, прогресс и общее благо. О личности, об интимностях у него почти и помину нет.

Письма Крамского так же не излишни, как вклад в литературу. Это – целый свод мнений, взглядов, приговоров, анализа произведений живописи и старых, и новых, и новейших мастеров до его современников, сверстников, товарищей и учеников по кисти включительно. Сам старый мастер, он с любовью смотрит на нарождающиеся юные таланты, хвалит, одобряет, иногда порицает, словом – учит. Он столько же, если не больше, учитель искусства, сколько художник. Ум, логика, изложение – все есть на его литературной палитре.

Он философ, ценитель талантов и самой живописи.

Издатель этих писем, В. В. Стасов, оказал услугу собранием их и в предисловии довольно верно определил характер, значение и достоинства писем. Но... и тут есть *но* – и большое.

Меня упрекнут, пожалуй: «Вы находите же, что частные письма, писанные к одному лицу, имеют свою ценность, и сами не нахвалитесь письмами хоть бы Крамского: как же не следует издавать такие письма?!»

И теперь повторю, что не следует издавать лишнее в письмах, что мало интересно для всех. Письма Крамского могли бы составлять практическое руководство для художника, целый курс живописи – с умозрительной, эстетической и критической сторон, который благотворно действовал бы на развитие всякого интеллигентного, сознательного художника, не слепо мажущего кистью что попадет на глаза. Но в письмах Крамского много лишнего, имеющего мало прямого отношения к искусству. Все это, без вреда интересу книги, можно бы было исключить, от этого книга

только бы выиграла. Писем масса – это целый архив, где теряешься, утопаешь, как в волнах. И сам автор так разбросан в этом бесконечном анализе взглядов и мнений, в мелкой критической оценке, что почти не приходит к общим выводам. Не видишь точек опоры в его взглядах на искусство: все тонет в пучине отдельных афоризмов об искусстве, в определении школ, направлений, характера искусства за границей и у нас... Это лабиринт без всякой руководящей нити. Не знаешь, где, на чем сосредоточиться в хаотическом смешении, и получаешь вместо чего-то целого, сжатого, определенного, теоретического и практического руководства для художника – нечто вроде справочной книги, в которой и не добудешь нужной справки или, если добудешь, то случайно, невзначай...

Нельзя не пожалеть, что этот громадный архив писем не был подвергнут, в интересах самого Крамского, художников и читающей публики и искусства, более тщательному разбору и классификации писем. Но нельзя не пожалеть, конечно, и издателя, который, при собирании и издании писем, по словам его, «с

большим спехом» совершил поистине гигантскую работу.

Вот этот «спех» и был причиной повально-го издания писем. А тут мало опять-таки одного человека – нужна целая группа горячих любителей, и знатоков, и ценителей искусства.

Письма дышат такою наполняющею всю душу художника любовью к искусству и притом сознательною, разумною и горячею любовью, какой, по словам В. В. Стасова (в предисловии), «не выказывал в отношении к искусству своей страны ни один европейский критик».

Такая любовь, и так умно и горячо высказанная, есть полное и всецелое выражение и воплощение творческого призвания. Она способна заразить читателя-художника и довершить высшее и конечное развитие таланта.

«Все это так: но покороче бы, покороче!» – скажет читатель, утомленный чтением. Лишние письма, чуждые главным мотивам книги, являются, как чужие гости, в дружеский тесный кружок и охлаждают читателя, мешают сосредоточиться на разбросанных взгля-

дах автора на искусство, свести его отдельные, отрывочные мнения, критические замечания к какому-нибудь центру. Есть и такие письма, которые Крамской, конечно, не разрешил бы печатать, например некоторые, чисто семейного характера письма. Хотя издатель в предисловии и оговаривается, что таких немного и что те личности, которых Крамской неосторожно касался пером, сами «великодушно» разрешили печатать, но тут дело не в согласии и в великодушии затронутых лиц, а в том, не противоречит ли оглашение таких писем воле самого Крамского. Я стою на уважении к памяти и желанию умершего.

Мотивы собирания таких писем после умершего лица понятны: это прежде всего, я полагаю, боязнь, чтобы последние не затерялись от времени и небрежения. «Спех» же издания их друзьями покойного менее извинителен. Он не дает осмотреться и разобраться в архиве бумаг и писем, из которых, отчасти по этой причине, много и попадает не имеющих никакого значения – ни для биографии писателя или художника, ни для истории литера-

туры и искусства и, наконец, – слишком откровенные и неудобные как для памяти самого автора, так и для других затронутых лиц. Подобные письма или копии с них могли бы до поры до времени храниться под спудом, например, хоть в императорской публичной библиотеке или частных книгохранилищах, которые не отказали бы в гостеприимстве всяким важным или интересным бумагам.

Пробегая некоторые письма умерших, с едкими, насмешливыми или презрительными отзывами о разных лицах, читатель чего доброго заподозрит в авторе их писем злое сердце, человеконенавидение, дурной характер – или же двуличность, когда прочтет в этой куче противоположные мягкие отзывы о тех же лицах, – и ничего не бывало. Все эти отзывы суть минутные вспышки, чисто нервные движения, не имеющие ничего общего с основными чертами характера, но могут быть приняты за выражение последнего и ввести в заблуждение. Мало ли что говорится в минуту раздражения, временной легкомысленной досады, наедине, верному товарищу – о том, о другом, о третьем. И эти соломинки тщатель-

но подбираются и заносятся в формуляр его нрава. Поэтому и судят иногда всего человека, забывая, что язык дан, по известному афоризму, между прочим, и для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому всего легче заблуждаться, полагаясь на частную, интимную переписку писателя или художника, или кого бы то ни было, с разными лицами. Он часто говорит разное, выражая себя так или иначе, как бывает и в изустном разговоре, смотря по собеседнику. Дело не касается каких-нибудь капитальных сторон характера, убеждений, нравов и проч.; просто им нередко руководит личный взгляд на того, кому он говорит; кое-что он умалчивает или изменяет свою настоящую мысль так или иначе, применяясь к характеру человека. Ужели следует все сказанное летучим пером, так сказать, на ветер, принимать на веру, делать серьезные заключения о писавшем?

А литературные следователи делают это; они пойдут серьезно заключать: вот-де он в том случае об этом сказал то, а в другом другое, противоположное, из этого-де следует... Ничего из этого не следует... В одном случае

он был под одним впечатлением, а в другом – под другим, и мало ли что он сказал!

И выходит, что частная переписка общественного деятеля с разными лицами не всегда представляет «ценный автобиографический материал», как говорит предисловие, например, к письмам Тургенева.

И говоря правду, в обширном смысле, я не понимаю, а если и понимаю, то не сочувствую стремлению рыться глубоко в частной, интимной жизни писателя, художника, ученого: еще пусть допытывались бы, и это нетрудно, где он учился, что читал, как работал и т. п.; а то хотят знать все мелочи: что он ел, пил, какие имел привычки и прочее, во все к делу не идущее. К чему тут частная жизнь? Зачем, например, знать, что Байрон был не строгой нравственности, что Жорж Занд носила в молодости мужской костюм и отличалась разными капризами... а Руссо был просто – что называется – рукой махнуть! Поэт, ученый, живописец, ваятель выражают то или другое, что они хотели выразить так или иначе в своих творениях, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, до-

вольствоваться тем, что выражено в книгах, поэзии, картинах и изваяния этих деятелей, и подвергать последние суду критики за выраженное ими. Нет, начнут добираться, каков сам был деятель, разбирают связь писателя или художника с его произведениями, согласен ли его характер, нравственные свойства с тем, что им выражено, и почему, и как? И пойдут и пойдут – судить, трепать его, казнить или миловать. А потребно едино: как и чем он служил науке, искусству, какими произведениями или подвигами, – а все другое, закулисное в частной жизни, нужно, кажется, больше всего самим изыскателям, – чтобы себя показать, свой ум, стойкость и верность суда и т. п.

Даже и в литературных критических отзывах Пушкина, Тургенева, о тех или других произведениях литературы, не всегда звучит верность взгляда, прямота и искренность. К произведениям своего корреспондента, так сказать, в лицо, авторы писем большею частью относятся мягко, лестно, приятно; какую-нибудь литературную мелочь разбирают серьезно, важно, возводят чуть не в перл со-

здания. А «в сторону», как на сцене, иногда срывается эпиграмма. Следовательно, и критической оценке произведений литературы и живописи, рассеянной в письмах, придавать особенного веса нельзя. Издатель писем Крамского делает в предисловии также замечание о «неверности в иных случаях суждений последних о художниках и художественных произведениях» и упоминает, что Крамской иногда тоже бывал «несправедлив к людям». Очень мало, – говорит он, – но действительно бывал, как показывают письма.

#### IV

Я сказал выше о мотивах, побуждающих издателей, друзей автора, собирать письма от его корреспондентов: это – сохранить для современных читателей и для потомства полный образ писателя или художника. Цель, конечно, хорошая, но она, как я сейчас сказал, редко достигает желаемого, а скорее ведет к противоположному результату. Писатель по натуре своей словоохотлив, излиятелен; его тянет к перу там, где он (я говорю о письмах) не связан ни содержанием, ни планом, ни техникой. Он не стесняется. Мысль и воображение

играют, что хотят, как в разговоре наедине, он пишет вольно, с плеча, сверкая нечаянно то умом, то фантазией, то юмором. И этим удовлетворяет прежде всего самого себя, удовлетворяет потребности излиться, как музыкант, встречая под рукой инструмент, играет, живописец чертит на лежащей случайно на столе бумаге карандашом какой-нибудь эскиз.

Где же тут искать реальной верности с фактической стороной жизни? Это только своего рода художественные штрихи, наброски, которые, конечно, можно, если они интересны для всех, собрать и огласить под двумя непеременимыми условиями: во-первых, *могли ли бы желать авторы огласить их в печати;* и, во-вторых, *не задеты ли за живое другие личности.* Эти вопросы должны служить заповедью для умных и добросовестных издателей.

Прошу иметь в виду, что я отнюдь не ратую за умолчание писем *quand même*[28]; я только против выворачивания автора наизнанку, что не может не портить цельности его образа и характера, не разочаровывать

его почитателей и притом несправедливо. Потом я – против обременения прессы ненужным, лишним балластом, только утомляющим читателя, и особенно, конечно, против всяких злоупотреблений, нескромностей и беззастенчивых против автора писем поступков.

В одном моем письме (появившемся в печати, мимоходом скажу, неожиданно для меня самого, в альбоме: «Мои знакомые», изданном при «Русской старине»), писанном, кажется, давно, я выразил сожаление, что писатель по смерти является не в том виде, в каком он хотел являться в свет, что разные литературные гробокопатели разбирают его по мелочам и нарушают цельность его образа, каким он думал явить себя перед публикой и потомством. (Я не помню редакции этого письма, а книги у меня под рукой нет; но смысл верен.) *Les beaux esprits se rencontrent* [29], и я очень рад, что выраженное в этом моем письме мнение недавно нашло подтверждение в печати мнением о том же одного известного литератора; значит, в этом мнении есть правда. Я держусь этой мысли и те-

перь, и буду ее держаться. В самом деле, пусть судит читатель: писатель проявляет себя во всеоружии своего таланта, приносит зрелые, глубоко обдуманнные и тщательно обработанные создания, является цельным, полным, как монументальное изваяние, образом и хочет этим произвести ожидаемое им впечатление. В этом цель его деятельности, его гордость, его награда, его слава. А литературные археологи возьмут да и выкопают какой-нибудь набросок, стих, фразу, страницу, словом, все отброшенное, непригодное художнику, что в его черновой работе не сошло в дело, что выметается обыкновенно из мастерской. Зачем? Говорят – интересно, даже поучительно, как он работал у себя в мастерской, что предполагал первоначально и что отвергнул потом. Полезно-де изучать приемы творчества и т. д.

И все неправда. Пользы никакой; приемам творчества не научишься. У всякого творца есть свои приемы. Можно только подражать внешним приемам, но это ни к чему не ведет, а в работу творческого духа проникнуть нельзя. Между тем этими отбросами художника

нарушается цельность его художественного образа. Он хотел бы явиться в торжественных одеждах художественной зрелости, а тут рядом показывают его детские пеленки, курточку, каракули, которые он чертил ребенком, и говорят: «Вот он каким был младенцем, юношей!»

К чему это? Сколько ненужного делают люди, взрослые, умные, иногда как будто с виду и деловые, вымышляя это ненужное, выискивая его иногда в поте лица! Для чего, спросите: любопытно, говорят: такой замечательный деятель, следовательно – и все, что его касается, тоже замечательно... Нет, не следовательно и не все. Пусть бы отыскивали неизданные рукописи или ценные отрывки, свидетельствующие о полном таланте писателя, наконец, замечательные целые строфы, страницы, все-таки под условием, что автор хотел, да не успел огласить их – нет! иногда полустроки, выражения, даже намерения его, как он сначала задумывал и как отдумал и т. д. И все потому, что «любопытно», то есть для удовлетворения праздного любопытства толпы дробят писателя на куски и портят ве-

личавую целость его фигуры. «Ветренное племя!» – невольно скажешь с поэтом.

По какому праву это делается, не нужно и спрашивать. Чем руководствуется изыскатель оставленного наследства писателя или художника? Да тем же, чем и издатели посмертных писем, например, Пушкина, Тургенева и других, не предназначенных самими авторами для печати.

Как тело писателя делается добычею анатомического ножа, для определения болезни или для судебной медицины, и оно потом предается земле и истлевает, такому же процессу хотят подвергнуть и дух писателя, его бесплотный нравственный организм, свершают насилие над его умом, волей и сердцем!

Как будто это одно и то же! Любившие нежно, близкие покойному лица препятствуют, сколько могут, даже и тело подвергать анатомическому ножу. А тут рассекают его дух! Ты умер, думают его друзья, почитатели, поклонники его таланта, его издатели, следовательно, и твои мысли, твоя воля, твой дух – наше достояние. Мы заставим тебя *высказывать твоими же словами*, чего ты не сказал

бы сам; ты так же добыча могилы, как твое тело; ты более не принадлежишь себе, мы взроем всю твою жизнь – и все предадим любоведению и любопытству толпы. Это-де значит изучать жизнь.

Вероятно, так и думают равнодушные к умершему люди, поступая бесцеремонно с его волей и памятью после смерти. Пусть бы изучали его со стороны, если уж это необходимо, собирали сведения, факты, во зачем заставлять его самого обижать себя!

Как это противоречит всему тому, чем окружают и провожают гроб усопшего в могилу! Как прикажете разуметь после того проливаемые над могилой слезы, приносимые венки, речи, наконец воздвигаемые усопшим монументы? Ведь не телу же его посвящается это поклонение, а душе его, уму, таланту, словом – духу?

Еще упрекнут меня, пожалуй, что я чопорен, педантически смотрю на такое простое житейское дело, как бесцеремонное обращение с человеком, переставшим жить, что это похоже на китайское преувеличение почестей усопшим... Пусть упрекают, пусть назо-

вут недотрогой, но я буду утешаться тем, что очень многие в обществе разделяют эту мою «скрупулезность», и смею думать, большинство соглашается со мной. Но многие, конечно, и не согласятся, между прочим, более всего собиратели и издатели исторических материалов, журналов, посвященных прошлому.

Они наговорят много громких и чувствительных слов о науке, об истории, о необходимости реставрировать старую жизнь и вообще много приведут благовидных причин и предлогов. А причины, большею частью другие, проще. Издатели исторических сборников и журналов не всегда обеспечены постоянным серьезным историческим материалом, и оттого они добывают всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не исторических, и между прочим и частные письма, чтобы пополнять появляющиеся в определенный срок издания. Они ловят всякую мелочь, известие, анекдот – нередко не важного, иногда и недавно умершего лица, и все это сходит с рук за quasi-исторический материал. И сколько накапливается такого материала! Неволь-

но вспомнишь бывшего когда-то министром просвещения Уварова, который в одной брошюре своей поставил вопрос: «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?», то есть с тех пор, когда вместо одного ключа на поясе истории явились сотни ключиков, которые почти невозможно подбирать, и сотни дверей в темный лабиринт давно минувшего, которые не ведут к свету.

Корреспонденты известного лица, представляя охотно издателям имеющиеся у него письма, руководствуются разными побуждениями: одни – участием, дружбой к умершему, желанием поделиться рассыпанными в письмах перлами таланта, якобы затем, чтобы увековечить его память, да кстати и свою. Есть такие охотники до бессмертия. Другие побуждаются просто мелким самолюбием: «Пусть знают, что вот, мол, такое лицо было со мной в переписке, следовательно, я тоже особа!» Это жалко, мелко.

От всего этого и забирается в переписку писателя или художника много лишнего, что только вредит целостности впечатления и от чего

«истинным друзьям» и издателям переписки усопшего деятеля следует всячески очищать письма, мемуары, дневники и т. п.

Но нарушение воли совершается, как я упомянул вначале, не только над умершими, но и над живыми: печатают их письма без их согласия, не как улики какие-нибудь в препирательствах, в судебных процессах и т. п., а просто взятые из житейского быта и напечатанные для известного имени, в виде реклам, без согласия автора. Это уже ни на что не похоже. Я не придумаю, как назвать такие поступки.

Ратуя за соблюдение приличий в отношении к живым и к воле усопших, я не претендую на безусловное разделение моего взгляда, но искренно желаю (а со мной и очень многие, смею уверить), чтобы вопрос о печатании частной переписки был глубоко обдуман и решен в удовлетворительном для всех сторон смысле. Он стоит того. Заявляя об этом вопросе, я только привел немногие неудобства, происходящие от оглашения писем от одного лица к другому, писанные только для одного лица. Я указываю выше и средство не стано-

виться в щекотливое положение нарушителей их воли: это – не объявлять писем и бумаг преждевременно, по крайней мере пока еще живы современники автора и корреспонденты, и потом не всегда целиком, а печатать в извлечениях, выписках, те письма, которые, кроме общеинтересного, изобилуют интимными и семейными подробностями. Может быть, другие, более меня компетентные и авторитетные судьи в делах печати, разделяющие мой взгляд, придумают лучший рецепт: я и отдаю дело на их суд – а сам ставлю только вопрос на очередь.

«Изучать жизнь», конечно, интересно, но всякая человеческая жизнь всегда представляет своего рода интерес: почему же это совершается над писателем, художником, ученым? Потому, скажут, что он сам говорит о себе письмами или каким-нибудь дневником, что это-де надежнее средство, то есть собственные сообщения о себе писателя или художника. Выше я старался доказать противоположное

и позволю себе сослаться на великий авторитет Пушкина. Он в 31-м письме к князю Вя-

земскому (стр. 46 дешевого издания Суворина) вот что говорит по этому поводу: «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистоимый. Но трудно писать о себе. Не лгать можно; *быть искренним* – невозможность физическая. Перо иногда становится, как с разбега, перед пропастью, на том, что посторонний прочтет равнодушно».

Стало быть, едва ли можно полагаться на верность автобиографических данных в письмах, в мемуарах и т. п.

\* \* \*

Прочтя все написанное в защиту усопших деятелей от оглашения, против их воли, оставшихся после них рукописей, писем, чего бы то ни было, для печати ими не назначенного, могут подумать, что и я, близкий кандидат в покойники, защищаю вместе и самого себя против посягательств на издание каких-нибудь моих посмертных бумаг. Полагаю, что знающие меня сколько-нибудь близко этого не подумают: но другие, может быть, и заподозрят. Поэтому кстати, на всякий случай, я считаю необходимым и важным для се-

бя выразить здесь мое желание и мою волю.

Завещаю и прошу и прямых и не прямых моих наследников, и всех корреспондентов и корреспонденток, также издателей журналов и сборников всего старого и прошлого не печатать *ничего*, что я не напечатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом предадутся уничтожению.

Если бы я претендовал на оглашение их и других каких-нибудь своих бумаг, я собрал бы сам, пересмотрел и напечатал бы те из них, которые имеют какой-нибудь общий интерес.

Но в письмах моих нет ничего дельного, серьезного, глубокого, как, например, в письмах Кавелина, Крамского; не пеняется они и той игрой блеска, остроумия, таланта, как письма Пушкина, Тургенева, – словом, нет ничего олимпийского, и нет даже почти ничего касающегося литературы. Это бесцеремонная болтовня с приятелями, приятельницами, редко с литераторами, иногда, может быть,

живая, интересная для тех только, к кому писалась, и в то время, когда писалась. У меня есть своего рода pudeur[30] являться на позор свету с таким хламом. И я прошу пощады этому чувству, то есть pudeur.

Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнят последнюю волю писателя, служившего пером честно, – и не печатают, как я сказал выше, ничего, что я сам не напечатал при жизни и чего не назначал напечатать по смерти. У меня и нет в запасе никаких бумаг для печати.

Это исполнение моей воли и будет моею наградою за труды и лучшим венком на мою могилу.

## Статьи (не опубликованные автором), заметки и рецензии

### Отзыв о драме «Гроза» Островского\*

Вменив себе в особенную честь предложение императорской Академии наук, сообщенное мне Вашим превосходительством, в отношении от 2 минувшего февраля, рассмотреть препровожденную ко мне драму г. Островского. «Гроза» и сказать о ней свое мнение, я располагал сделать полный, отчетливый, по крайнему моему разумению, разбор этого произведения и ждал только облегчения от болезни, которою страдаю с осени. Но облегчения до сих пор нет, и я, опасаясь без пользы продлить время, спешу в нескольких словах изложить мое мнение о драме «Гроза».

Не опасаясь обвинения в преувеличении, могу сказать по совести, что подобного произведения, как драмы, в нашей литературе не было. Она бесспорно занимает и, вероятно, долго будет занимать первое место по высоким классическим красотам. С какой бы стороны она ни была взята, – со стороны ли плана создания, или драматического движения,

или, наконец, характеров, всюду запечатлена она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществом отделки.

Прежде всего она поражает смелостью создания плана: увлечение нервной, страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины, – все это исполнено живейшего драматического интереса и ведено с необычайным искусством и знанием сердца. Рядом с этим автор создал другое типическое лицо, девушку, падающую сознательно и без борьбы, на которую тупая строгость и абсолютный деспотизм того семейного и общественного быта, среди которого она родилась и выросла, подействовали, как и ожидать следует, превратно, то есть повели ее веселым путем порока, с единственным, извлеченным из данного воспитания, правилом: *лишь бы все было шито да крыто*. Мастерское сопоставление этих двух главных лиц в драме, развитие их натур, законченность характеров, – одни давали бы произведению *г. Островского* первое место в драматической литературе.

Но сила таланта повела автора дальше. В

той же драматической раме улеглась картина национального быта и нравов с беспримерною художественною полнотою и верностью. Всякое лицо в драме есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки, начиная с богатой вдовы Кабановой, в которой воплощен слепой, завещанный преданиями деспотизм, уродливое понимание долга и отсутствие всякой человечности, — до ханжи Феклуши. Автор дал целый, разнообразный мир живых, существующих на каждом шагу личностей.

Язык действующих лиц, как в этой драме, так и во всех произведениях г. *Островского*, давно всеми оценен по достоинству, как язык художественно верный, взятый из действительности, как и самые лица, им говорящие.

Не распространяясь далее в справедливых похвалах этому высокому, классическому произведению, в заключение долгом считаю присовокупить, что, по моему мнению, драма г. *Островского*, на основании § 9 пункта 4 Положения о наградах графа *Уварова*, заслуживает премии, независимо от всех прочих до-

стоинств, и потому, что в ней исчерпан и разработан богатый источник *русского современного народного быта*.

### **Заметка о поводе юбилея Карамзина\***

**В** газетах кое-где упомянуто было о предстоящем праздновании юбилея Карамзина, со дня рождения которого минет в декабре столетие. Судя по кратким, мимолетным известиям газет, празднование это ознаменуется довольно скромным и только приличным случаю торжеством. Один день посвящается собранию в Академии наук, другой – в университете и, наконец, Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым даст литературный вечер: в известиях упоминается, что в чтении на этом вечере будут участвовать гг. Костомаров и Майков. Вот и вся известная публике программа торжества. Между тем юбилей в память Ломоносова отпразднован громко, великолепно, достойно родоначальника русского просвещения. Праздник обошел всю Россию, повторился, более или менее торжественно, в разных пунктах нашего отечества, где только мысль, наука и слово находят почитателей и последователей.

Скажут, что Карамзин не Ломоносов: он не начинатель великого дела просвещения в России, не гений-самородок, открывший собственными силами русскому духу и уму доступ в область знания и мысли и т. д. Так; но кому же, после Ломоносова, принадлежит бóльшая доля деятельности в совершении подвига, начатого Ломоносовым, как не Карамзину, проводнику знания, возвышенных идей, благородных, нравственных, гуманных начал в массу общества, ближайшему, непосредственно действовавшему еще на живущие поколения двигателю просвещения? Воспоминания о нем как о писателе и как о благородной, светлой личности еще живут в современном обществе, ему принадлежат наши живые симпатии – и общество, толпою стекавшееся на торжество в память Ломоносова, конечно, поспешило бы и на этот более близкий сердцам нашим праздник.

Пусть Академия наук и университет почтят в стенах своих память ученых заслуг знаменитого историографа, сохраняя обычный, строгий характер ученого торжества. Этот праздник и по официальности характера

и по тесноте помещения созовет относительно немногочисленных почитателей ученых заслуг Карамзина; но где же и когда соберется образованная масса публики, обязанная благотворному влиянию на нее Карамзина не только как ученого, но вообще как всестороннего писателя, как человека, многим еще лично памятного, как общего нашего наставника?

Вся надежда на такой праздник могла бы сосредоточиться на предполагаемом вечере Литературного фонда.

Мы не знаем, будет ли этот вечер ознаменован чем-нибудь особенным, что сделало бы его непохожим на обыкновенные литературные вечера, какие даются всякую зиму несколько раз и вскоре забываются. Пока из газет известно только, что будет дан вечер с участием гг. Костомарова и Майкова. Участие этих заслуженных литературных деятелей, конечно, необходимо и дорого в подобном торжестве, но нельзя не сознаться, что этого слишком мало. На празднике в память Карамзину должна присутствовать вся наша наличная литература, и если физически невозмож-

но участвовать чтением всем лучшим деятелям, то могли бы участвовать многие, хотя бы понемногу. Нет надобности читать большие отрывки или целые поэмы; но значение и характер праздника требовали бы, чтоб большинство писателей, начиная с старейших до новейших, публично принесли каждый свою лепту в память нашего просветителя.

Казалось бы справедливым, чтоб и на этом вечере, как на празднике Ломоносова, все присутствующие в городе литераторы столпились единодушно, забыв разность литературных эпох, направлений и оттенков, около увенчанного бюста юбиляра, начиная с ветеранов литературы с ближайшим сподвижником и другом Карамзина, князем Вяземским во главе, с Ф. Н. Глинкою, И. И. Лажечниковым, Н. И. Гречем, Тютчевым, нашими известными историками, журналистами и прочими писателями и кончая недавно выступившими на литературное поприще.

Желательно было бы также слышать с эстрады чтение из сочинений Карамзина устами его сына, который не отказался почтить участием своего знаменитого имени память Ло-

моносова. Может быть, к этому литературному торжеству, так же как на ломоносовском юбилее, присоединилась бы музыка: ни в стихах по этому случаю, ни в переложении их на музыку, ни в исполнении препятствия, вероятно, не встретилось бы. Дворянское собрание, конечно, опять гостеприимно открыло бы залы своего дома, смело можно сказать, бесчисленным гостям, которым дорого имя Карамзина.

Но может быть, распорядители карамзинского юбилея, пока мы пишем эти строки, уже нашли способ ознаменовать предполагаемый вечер чем-нибудь выходящим из ряда обыкновенных литературных вечеров. В добрый час!

На все сказанное здесь могут возразить, что для приготовления к празднику в память Ломоносова было больше времени, а именно целая зима, когда вся литература и общество были в сборе и была возможность подготовиться исподволь, а до карамзинского торжества остается неделя с небольшим.

На это можно заметить, что вечер с участием по возможности бóльшего числа на-

личных писателей и не потребовал бы таких приготовлений, как литературно-музыкальное торжество с банкетом в огромных размерах, данным в память Ломоносова. Что же касается краткости срока, то, кажется, нет причины стесняться непременно днем рождения Карамзина: если вечер будет отсрочен еще на неделю или более и последует в течение месяца, в котором родился историограф, то от этого торжество только выиграет.

Любитель литературы.

### **Предисловие к роману «Обрыв»\***

**П**оявление в «Вестнике Европы» моего романа «Обрыв» произвело, сколько я заметил, благоприятное впечатление на публику и возбудило неблагоприятные печатные отзывы в журналах. Сам я взглянул мельком только на некоторые из этих отзывов, потому что читавшие их предупреждали меня, что отзывы написаны большею частию в крайне раздражительном тоне.

Я не имею целью отстаивать литературную сторону моей книги: это не мое дело. В этом я должен довериться суду публики – и доверяюсь. Мне хотелось бы только прибавить

вить к ней несколько замечаний, чтобы объяснить некоторые цели моей литературной задачи, а главным образом отклонить по возможности от себя упрек в враждебном будто бы отношении моем к новому поколению, выраженном в лице одного из действующих лиц романа, именно Марка Волохова, которого поняли как представителя нового поколения, новой жизни, новых идей и т. д.

Упрек формулируется различно. Одни вообще не признают действительности такой личности, как Волохов, другие упрекают, что я изобразил в нем одни отрицательные свойства, или «крайности», молодых людей, или что, наконец, я не понял стремлений нового времени, и потому отнесся к ним враждебно. И много других упреков, по поводу этого лица, передано мне с разных сторон.

Нет ни возможности, ни надобности категорически опровергать все более или менее неприязненные отзывы, которые ни порознь, ни вместе взятые не составляют того, что привыкли разуметь под словом «критика».

Трибуна критики, в прежнем значении этого понятия, давно пустеет не по одной

только причине отсутствия замечательных критических талантов, но потому более всего, что критические трибуны, в сознательном и значительно развитом обществе, не могут играть роли руководителей вкуса и мнений в приговорах произведениям беллетристики. Всякий теперь почти в образованном большинстве отчетливо сознает свое впечатление и регулирует приговор, не ожидая тона из какого-нибудь критического foyer[31]. Поэтому печатные отзывы выражают уже не мнения образованного большинства публики, а только того или другого кружка и даже того или другого личного пера. Следовательно, не нужно и бесполезно входить в состязание с некоторыми кружками или некоторыми личностями, стараясь оспорить их мнение и навязать им свое. Но нельзя равнодушно и молча подвергать ее упреку, от кого бы он ни исходил, в том, чего нет, например, в недоброжелательстве к молодому поколению.

Для опровержения этого упрека я постараюсь объяснить, как я сам понимаю и личность, которую разумел под Волоховым, и как понимаю самое молодое поколение. Читатели

увидят из этого объяснения, отношусь ли я к молодому поколению враждебно, или же, напротив, с должною справедливостью.

Что касается до Марка Волохова, то замечу прежде всего, что если он есть сочиненное мною и несуществующее лицо, как говорят иные, тогда и упрек в враждебном отношении к новому поколению падает сам собою, так как Марк Волохов летами не подходит к самому новому поколению.

Если же в нем, напротив, выразились крайности нового времени или поколения, как некоторые полагают, и притом выразились верно, то опять-таки упрек в враждебном отношении к новому поколению не может иметь места, так как изображение крайностей вовсе не выражает недоброжелательства.

В романе, где автор относится с объективным отрицанием почти ко всем действующим лицам, было бы несправедливо требовать какого-то исключения для одного лица потому только, что оно будто бы представляет новое поколение. Если я, по мнению печатных отзывов, отнесся с беспощадным, но

справедливым отрицанием к другому, главному действующему лицу, которого принимают за представителя старого поколения, именно к Райскому, то, следовательно, я отнесся «враждебно» и к старому поколению. Это мне позволяют, даже одобряют меня за то. Отчего же такая нетерпимость и раздражение по поводу Волохова? Почему я терял право отрицательного приема в отношении к нему?

Русская беллетристика, со времени Гоголя, все еще следует по пути отрицания в своих приемах изображения жизни, – и неизвестно, когда сойдет с него, сойдет ли когда-нибудь и нужно ли сходить?

Обращаюсь к вопросу о том, как я понимаю новое поколение. Не я, а те, которые видят в Волохове представителя нового поколения, кидают на последнее какую-то странную, неблагоприятную тень. Марк Волохов с теми чертами, какие приданы ему в романе, принадлежит к новому времени вообще, это правда, но это новое время начинается не с последнего поколения, а задолго прежде. Что же такое Марк Волохов у меня в романе? Это –

Один из недоучек, отвязавшихся от семьи, от школьной скамьи, от дела и всякого общественного труда; один из беспокойных умов, иногда очень живых и бойких, без подготовки науки и опыта, только с раздражительным самолюбием, с притязаниями на роль и значение, но без всяких прав и способов, добываемых обыкновенно дарованием, знанием и трудом. Это самозванец «новой жизни», мнимой «новой силы», не признанный никем апостол, понесший проповедь свою в непочатые углы мирно текущей в затишьях жизни.

В толпе разумной, основательно образованной молодежи ему нет места: он обличился бы тотчас и оказался бы несостоятельным и лишним. Ни опытом своим, ни знанием, ни характером он не мог подтвердить занесенных им его «истин», которые даже не вполне понял (что доказывает злоупотребление прудоновского афоризма<sup>1</sup>), не продумал и вовсе не прочувствовал, спеша приложить к жизни гипотезы, о большей части которых не только не было высказано ни наукой, ни общественным мнением последнего слова, но которые даже не приняты были в серьезный круг ра-

зумного, мыслящего большинства. Он обольстился одною декорациею духа времени, не вникнув ни в смысл новых идей и понятий, ни в пути и способы, даже ни в наружные приемы, какими водворяется в общество какое-нибудь новое, прочное и верное начало и новая основа жизни.

От этого у него не было ясного и отчетливого представления о том зле, с которым он хотел бороться в старом времени, нет и живого чутья действительности, сознания возможности или невозможности борьбы с теми или другими препятствиями, и еще менее ясно ему самому представление о том, что должно призвать взамен отживающего, чему симпатизировать, на каких столпах строить здание новой жизни.

Поэтому он уклоняется от положительных ответов на положительные вопросы Веры. Он подкреплял свои положения своим «разумом», своим «убеждением» да некоторыми спорными или сомнительными авторитетами – и только. Ни опыт, ни прошлое, ни наука – не подтверждали его. Ей этого было мало. Она противопоставила ему свой «разум» и

свои, уже признанные всеми авторитеты – спор остался нерешенным, как он остается во многом нерешенным – и не между Верой и Волоховым, а между двумя аренами и двумя лагерями.

Путеводною нитью его деятельности – если только это деятельность – служат ему его самоуверенность прежде всего, да платоническая ненависть ко всяким сильным и прочным авторитетам, дерзкий, враждебный тон ко всему, что не разделяет сбора его мыслей и выражений, в которых он сам бродит ощупью, да холодный смех, зубоскальство над «мертвецами», «тупыми людьми», которые тихо поддаются пропаганде и стоят на своем. Это зубоскальство служит ему чем-то вроде того, что французы называют *contenance*[32], это ширма, за которую большею частью и нечего прятать, кроме своего бессилия.

Вот что такое Марк Волохов: будто это – новое поколение? Будто он представитель последнего!

После того и те из наших обманутых крестьян, которые поняли волю по «золотым грамотам»<sup>2</sup>, – представляют народ?

Кто это думает? Кто так уродливо понимает и народ и новое поколение!

В предисловии к первой части романа я оговорился в несовременности появления этого лица в том виде, как он у меня изображен, и в ту эпоху, когда задумывался роман. В 1849 году я был на тех местах, куда отношу действие романа, и тогда же у меня родился план его, набросаны были в программе многие характеры и большая часть сцен, как они потом написаны. В начале пятидесятых годов, как я объяснил в предисловии, сообщал я содержание романа близким мне лицам.

Вместо этого Марка Волохова, сколько я помню, в плане у меня предполагалась тогда менее яркая, нежели он, личность, но также заявляющая слепой протест против всего, что есть, без отчетливого понятия о том, что должно быть. Такие личности были и будут всегда. Тогдашний Волохов, то есть относящийся к концу сороковых и к началу пятидесятых годов, высказался бы в том же духе, но менее определительно, нежели позднейший Волохов, то есть лет десять спустя. Вот в чем состоит анахронизм, в котором я повинился.

От той же эпохи и от этого романа удалили меня другие занятия: кругосветное путешествие, потом на очереди стояло окончание и издание романа «Обломов», задуманного прежде «Обрыва», потом другие обстоятельства: все это изгладило из памяти подробности фигуры, которая была в первоначальном плане на месте Волохова.

Эта фигура не входила собственно в задачу романа и не составляла вовсе заметного в программе лица, а оставалась на третьем плане, в тени. Она нужна была, как вводное лицо, для полной обрисовки личности Веры. Посетив вторично провинцию в 1862 году, я уже не мог не заметить яркие, характеристические черты в некоторых личностях, бросившиеся всем в глаза, производившие толки в обществе. Под влиянием этого наблюдения, конечно, черты эти сложились под пером моим в личность Волохова.

Затем я обхожу молчанием другой упрек, или, точнее, вопрос, нередко обращаемый ко мне, о том, каким образом Вера, с такими задатками наблюдательности и верного понимания действительности, могла влюбиться в

Марка? В вопросах о том, можно ли влюбиться, или нет, в того или другого, критические и логические приемы не приведут ровно ни к чему. Довольно сказать, что он застал ее в положении собственной ее борьбы с окружающей грубостью и мраком, допрашивающуюся всюду ответа на многие вопросы, чтобы выйти из потемок и грубости окружавшей ее среды. Это сблизило их: он затронул сначала ее пытливость своими тайнами, «истинами» и намеками на «новую силу», потом внушил участие к своему личному положению, а остальное пришло, как сказывает роман.

Очевидно, что ни Волохов, ни Райский — ни тот, ни другой не могут представлять собственно собою ни нового, ни старого поколения, а только некоторую фракцию, в самом незначительном размере. И Райские и Волоховы будут являться среди всех поколений, с свойственными каждому поколению отличиями, настолько, насколько лень, безделье, нетрезвое понимание действительности и другие, свойственные обоим недостатки будут уделом самого общества.

Нельзя не отдать им небольшой доли спра-

ведливости в том, что оба они сознавали это безделье, томились им и оба носили в себе недовольство; оба даже хотели и порывались, каждый по-своему, выйти из него, но испорченные воспитанием, без подготовки к деятельности, они не могли совладать с своей волей, пробудить в себе энергию – и не хотели создать себе никакого круга специального, практического труда, не умели найти дела около себя. Райский, при несомненных признаках таланта, не потрудился овладеть техникой какого-нибудь искусства: не выучился рисовать, сочинять музыку, не приготовился серьезно для литературы, даже не умел решить, к какой отрасли искусства он способен. Чрезмерное самолюбие, лень, недостаток серьезной подготовки и отсутствие понимания действительности мешают Волохову видеть очередные шаги того самого дела, которому он взялся служить, и приложить к ним трудовые руки. Он бросается к самым ярким крайностям, где роль его заметнее, а дела и труда меньше. Он не работает, не пишет, не проводит рациональным, хотя и медленным и более прочным путем своей мысли и убежде-

ния, потому что прочного ничего у него и нет: если б было, он не поспешил бы внести в жизнь захваченные на лету, едва очертавшиеся гипотезы, которым быстро дает веру и торопится агитировать в каком-нибудь углу, возвещая поразительные «истины», распространяя запрещенные книги и гордясь своим мученичеством, то есть переменною пересылкою из места в место, под надзором полиции.

Такие вожди появляются по временам и в другой среде, именно в народе: одни из них фанатики, другие плуты. Не поняв или искажив умышленно смысл священного писания, они создают какой-нибудь уродливый догмат и несут свою проповедь в темные углы – первые, руководствуясь горячечным порождением своей фантазии, а вторые – для эксплуатации народной простоты – и часто успевают.

Волохов не лжет умышленно у меня в романе, а сам грубо обманывается на свой счет, считая себя борцом, жертвою, важным агитатором, намекая таинственно на какое-то «дело», на какой-то «легион новой силы», которого не было, и искренно воображая, что за

ним, вослед его пропаганде, идут целые толпы, тогда как за ним кроется два-три таких же, как и он, отставших от школы товарища, прослышавшие, подобно ему, про новые идеи, новое направление, доставшие Фурье и тому подобные авторитеты, не понявшие их или на слово поверившие и слепо им подчинившиеся. Смелостью своей они озадачивают какой-нибудь робкий кружок товарищей или приводят в смущение и испуг свою семью и наслаждаются этими легко добываемыми лаврами.

Иногда агитации этого рода принимали комический характер. В свое время (и очень давно) ходили анекдоты о том, как агитаторы напевали в трактирах нечто вроде русской марсельезы, вымещали злобу на бюстах, портретах, дразнили власть в лице квартальных надзирателей. Не то так профанировали церковные праздники, посты, стараясь при постниках нарочно есть скоромное. *Tempi passati!*[33] Это Волоховы давно минувшего времени.

Марк Волохов в романе «Обрыв», как я заметил, конечно, успел устареть в последнее

десятилетие, и едва ли в современном поколении найдется такое резкое выражение крайностей.

Если старые поколения, как справедливо замечают новые, утопая в привычках барства, безделья, бесцельного существования, лишенного всякого содержания, не отличались трезвым отношением к жизни, то дальнейшие поколения заметят, конечно, то, о чем я сейчас говорил, и отнесут все черты, собранные в образе Волохова, также к нетрезвому пониманию труда, прогресса и вообще жизни.

Если не нужны художники, артисты, подобные Райскому (и, конечно, не нужны, как таланты, ничего не производящие: нужны только всегда и всюду истинные, совершающие свое призвание художники), то Волоховы нужны еще менее. Первые только бесполезны, вторые положительно вредны. Первые никого не увлекали своею эксцентрическою праздностью, тогда как последние старались действовать не на одних женщин, но отвлекали молодых людей обоего пола от науки, труда, извращая их понятия, коверкая им

жизнь, портя их будущее.

Что же общего у этого Волохова, как он изображен у меня и как я его понимаю, с тем новым поколением, которое посвящает себя общественному служению и которое действительно вносит много трезвости в жизнь и в самое дело, признав основой жизни необходимость труда и поставив сознание об этом и стремление к труду на первом плане – где и как, сейчас выскажу об этом свое мнение.

Из среды некоторых молодых, современных людей раздаются иногда упреки, обращаемые к писателям тридцатых и сороковых годов, между прочим в том, что эти последние, питая честные и благородные идеи и понятия, сами делали очень мало, чтоб выйти из круга своего бездействия, и что эти благородные понятия и идеи оставались у них только в теории и что самые теории возникали почти бессознательно, то есть что они не знали, так сказать, сами, что сеют, и потом, когда взошли богатые, не ожидаемые ими всходы, они испугались и отреклись от своих идей и понятий, стали враждебны молодому поколению, вполне удовольствовались тем, что

«некоторые» из их стремлений перешли в жизнь, сочли, что все, что должно быть сделано, уже достигнуто, и успокоились. В этом смысле, между прочим, проповедовал молодой и бойкий публицист в «Вестнике Европы» (Евг. Утин).

Это не так. В этих упреках слишком легко и поверхностно оценены: во-первых, деятельность людей тридцатых и сороковых годов, и во-вторых, результаты, к которым они стремились и осуществления которых им посчастливилось дожидаться.

Некоторые из публицистов сами беспристрастно решают, что сеять семена двадцать и более лет тому назад было нелегко. Но это «сеяние» совершалось, однако, и путем живого, изустного слова в обществе, и с кафедры, и, наконец, в тех многих томах сочинений, которые остались от той эпохи. А затем и в самой жизни большинства тех людей не оказывалось разлада с тем, что они говорили, преподавали и писали.

Московский и петербургский круги умов, талантов – в писателях, профессорах, в людях разных званий и занятий, группировавшихся

около фигур Чаадаева, Надеждина, Станкевича, Белинского, Грановского, их товарищей, сотрудников, друзей – были обширны. Эти люди, рассеянные всюду, сеяли свои семена, борясь с лишениями, принося жертвы, живя трудно, и проповедовали потребность новых перемен взамен изветшавших пружин старого механизма. Там история, вообще наука, опыт, таланты, зрелость мысли и труда призваны были на помощь делу.

Они деятельно подготовляли ту действительно «новую силу», которая изумила всех внезапным появлением, вооруженная, готовая к восприятию новых начал русской жизни: это общественное мнение, готовые умы, готовое знание и сочувствие ко всему тому, что недавно вошло в русскую жизнь. Отдаленные углы России, дальние жители – приняли новую жизнь сочувственно; даже и те, кому выпало принести неизбежные жертвы, встретили новый порядок покорно, стыдясь роптать. Немногие страны могут похвастаться этим: пример – Америка, где жестокая война не могла согласить идей свободы и человечности с материальными интересами

плантаторов. У нас идея рабства отжила уже до наступления реформы, его отменившей, и немногие голоса не сочувствовавших последней боязливо смолкли в общем клике торжеств. Отчего же это?

Между прочими крупными причинами, как, например, расширение круга общественной деятельности, свободное путешествие, живое общение с Европой и знакомство с ее учреждениями и жизнью, нельзя умолчать и о том умственном и нравственном уважении, которое исходило из указанных выше светлых кругов тогдашних деятелей. Белинскому, Грановскому и прочим вокруг них приходилось рассеивать мрак не одного эстетического неведения, а бороться еще с непробудной помещичьей, общественной, народной тьмой, будить умы от непробудного сна. Всем им, из-за ширм отвлеченного мышления, частью также науки, частью беллетристики, выпадало ратовать против многообразного зла, косневшего еще в принципах, вроде, например, того, что помещики не имеют права грабить и засекают крестьян, родители считать детей, а начальники подчиненных своею собствен-

НОСТЬЮ И Т. П.

Крепостное право, телесное наказание, гнет начальства, ложь предрассудков общественной и семейной жизни, грубость, дикость нравов в массе – вот что стояло на очереди в борьбе и на что были устремлены главные силы русской интеллигенции тридцатых и сороковых годов. Нужно было с критической трибуны, с профессорской кафедры, в кругу любителей науки и литературы, под лад художественной критики взывать к первым, вопиющим принципам человечности, напоминать о правах личности, собственности и т. п.

Если б все это было только наносное, случайно порожденное зло, легко уносимое следующим, благоприятным оборотом времени, тогда легко было бы преодолеть его. Но когда эти геологические слои нарастали веками в одну сплошную массу, тогда уже заслуга людей, способствовавших поворотить эти глыбы и добраться до живой почвы, должна быть оценена иначе, серьезнее, нежели как она ценится в настоящее время, и, конечно, история русской цивилизации отнесется не так легко

к этим «отвлеченным мыслителям».

Может быть, будущий историк прибавит и то, что в настоящее время, в эпоху возрождения России, новое поколение не внесло еще никаких новых начал в жизнь, а продолжало развивать уже все, надолго вынесенное и завещанное людьми тридцатых и сороковых годов, и что новые писатели не открыли никаких новых путей, не выставили основателей новых школ, а примкнулись к довольно обширной семье писателей, начиная с Гоголя, именем которого и назван период, продолжающийся поныне до гг. Слепцова, Успенского, Решетникова и других – в беллетристике, с Белинского до Добролюбова – в критике и публицистике, и т. д.

В сущности можно притти к такому заключению, что с тридцатых и сороковых годов продолжается все один и тот же период развития и что в этом периоде уже сменилось не одно племя молодых людей другим. В этом смысле современное молодое поколение началось давно.

«Они дождались, – говорят люди нового поколения (будем так называть молодых людей,

публицистов и проч.) про своих предшественников, – осуществления некоторых результатов и удовлетворились, успокоились, как будто все нужное уже сделано».

Да, удовлетворились многим, хотя и не успокоились и не думают, что все уже сделано, не легли на бок, а продолжают, насколько есть сил, действовать. И было чем удовлетвориться.

Молодое поколение не застало и не видало прежнего быта, старой жизни, следовательно, не знает старой скорби, того «недовольства», как оно называет безнадежную тоску, из которой не предвиделось выхода.

Выход явился, хлынул обильный свет в потемки старого времени – и на нашем веку настал новый век, осуществилось то, за что боролись, чего добивались, за что терпели.

Это все дано – и в этом торжество чувства старых поколений полнее и глубже, нежели нового.

Нужно ли перечислять все, что совершилось с 1855 года, когда правительство стало во главе прогресса, твердо пошло и идет по новому пути?

Что скажут потомство и история об этих пятнадцати годах? Конечно, что в них уложилось то, чего не было сто пятьдесят лет, то есть с Петра. Позавидуют потомки нам, что мы переживаем величайшую эпоху русской жизни и что от этой эпохи потянулась необозримая перспектива всей громадной будущности России, теряясь в недоступном пространстве.

Если это справедливо – и, кажется, сомневаться в этом нельзя: это говорит не только современная Россия, но и весь современный мир; а нам не сказать этого – значит отдать эту заслугу потомству, которое упрекнет нас в детском несознании важности переживаемых событий, если, повторяю, это справедливо, если действительно таково значение нового положения, в которое стала Россия, то этим положением определяется участь, роль и характер нового поколения.

Оно уже и вступает на путь своей строгой, серьезной судьбы, принося свои молодые силы, жажду дела и трезвое понимание жизни.

Ошибочно полагать, что всякому новому племени молодых людей выпадает на долю

произвести крутой поворот в круге государственной, общественной и частной жизни. Как ни соблазнителен шопот личного самолюбия и отвага молодых сил, но та самая трезвость понимания жизни, о которой я сказал, и живая потребность не призрачного, а прямого дела, укажут то направление, по какому пойдут молодые силы: открывать ли новые пути и ходы жизни, искать шестую часть света, или устремить напор сил на начатые уже громадные работы, на установление открытых путей?

Эта последняя, законная очередь еще не наступила для нового поколения, то есть очередная смена старых сил новыми и свежими. Молодое поколение не вошло в фазис полной своей деятельности. Великие реформы только что водворяются, и все поколения, которые они застали, равно и дружно участвуют в неисчерпаемых работах.

От редакционной комиссии, от преклонного летами министра (Ланского), первого и ближайшего исполнителя царской воли об отмене крепостного права, до мировых посредников, явился ряд деятелей, и старых и

молодых, в крестьянской реформе, с одинаковой ревностью и любовью к делу. Точно так же и в других реформах все живущие поколения смешались в работе над решением общих и трудных задач. Рядом с громкими уже именами молодых деятелей на нашем паркете мы видим старших летами юристов прежнего порядка, сочувственно ставших во главе судебной реформы. В реформе духовных дел, в новой организации военной части, в новых земских и мировых порядках – всюду прежние поколения идут об руку с новым, проявляя изумительные задатки знания, дарований и как будто уже и опыта. Между тем самая главная из реформ не выжила еще десяти, а другие семи и даже пяти лет. Все они почти разом снизошли на Россию, никого не застали врасплох и совершаются мирным, согласным и дружным путем.

Наконец самая молодая по времени и самая хлопотливая по характеру реформа – законов печати и переход к свободе слова – показала значительное развитие и трезвость общества к восприятию ее вопреки опасениям и дурным предвещаниям алармистов<sup>3</sup>.

Она сделала более пользы, чем можно бы было ожидать, по новости дела: она явилась пособницею прочих реформ, выяснив их значение, результаты и облегчив пути их совершения. Она также выставила контингент деятелей, старых и молодых, приготовленных к делу публицистов, специалистов, техников по всем общим и частным вопросам реформ, оказав услуги и правительству и обществу и вступив в открытую и успешную борьбу с явными и тайными недоброжелателями России во всех концах Европы. Свободная, хотя и молодая пресса помогла нам взвесить свои силы, определить положение России относительно Европы, указала вражду к нам, причины ее и самых врагов и, наконец, разоблачила и продолжает разоблачать внутренние недуги, недостатки и средства к искоренению первых и к восполнению последних.

Но старые поколения сходят и скоро сойдут со сцены: лучшие надежды России покоятся, конечно, на новом племени молодых людей. Они станут в свою очередь во главе общей русской работы, с завидною привилегиею перед отживающими людьми – упрочить

и обеспечить навсегда новый порядок в России, выведя окончательно из хаоса и приведя в одно стройное гармоническое целое эти обильными волнами вторгшиеся в русскую жизнь новые стихии.

Если позволено мечтать, может быть, им в самом деле, как выражались в намеках некоторые серьезные органы прессы, выпадает на долю достраивать здание русской жизни по какому-нибудь, еще теперь невидному плану в самобытном русском, а не другом, чуждом нашей жизни стиле.

Вот где главная и самая завидная роль нового поколения: это итти сознательным и уже открытым путем развития и упрочения новых форм русской жизни.

Есть чем, повторяю, удовлетвориться прежнему поколению деятелей, но не успокаиваться и не ложиться на бок, полагая, что все уже сделано. Дела, о котором я сейчас сказал, так много, что его не исчерпать детям и внукам современного поколения. Не надо забывать, что развитием и упрочением реформ обуславливается не одно материальное благосостояние, но и нравственное воспитание и

совершенствование народа, задача, к которой так усердно стремится новое поколение.

Смущаться перед мелким анализом дела, пугаться деталей работ, раздражительной разладицы, кажущегося разномыслия и временных, неизбежных беспорядков, словом, сомневаться в единстве одной, общей всем цели и класть оружие в отчаянии перед трудностью и неудобоисполнимостью задачи – значит, конечно, итти назад.

Но и отворачиваться от сложного, часто невидного, не льстящего самолюбию процесса работы, не приложить своих рук к общему делу и, бросая его неупроченным, забегать вперед, дальше, обольщаясь призраком отдаленного, никому не видимого будущего, – значит тоже не итти вперед, а делать поворотный шаг, губить дело, измерять события по своим карманным часам, а не по циферблату истории.

Что же еще остается затем? А вот что.

Молодые люди иногда ставят новейшему времени в заслугу, между прочим, некоторые, не входящие в круг новых реформ, вопросы, которые, как будто бы новые, внесены или

вносятся в жизнь молодым поколением.

Говоря беспристрастно, едва ли найдется один из этих вопросов, который так или иначе не был бы затронут в свое время прежними деятелями; притом последние строго взвешивали их значение и трезво относились к ним, проводя их из сферы мысли в слово или дело, понимая действительную возможность применить к делу одни и оставляя в теории другие вопросы, как не только незрелые плоды, но как такие зародыши, всход и плод которых более нежели сомнителен и во всяком случае неизвестен самим деятелям. Некоторые из этих зародышей не дают и доселе никаких всходов, и может быть, никогда не дадут или дадут когда-нибудь, да не те, каких от них ожидают.

Вопросы о религии, о семейном союзе, о новом устройстве социальных начал, об эмансипации женщины и т. п. – не суть частные, подлежащие решению той или другой эпохи, той или другой нации, того или другого поколения вопросы. Это общие, мировые, спорные вопросы, идущие параллельно с общим развитием человечества, над решением

которых трудились и трудится всякая эпоха, все нации; за них ведется постоянная борьба в науке, в недрах церкви, на политической арене, всюду. И ни одна эпоха, ни одна нация не может похвастаться окончательным одолением ни одного из них и еще менее применением того или другого целиком к жизни.

Только Марк Волохов, схватив крайние, воображаемые результаты этих вопросов, понес их прямо в какую-нибудь Малиновку как уже готовые, воображая, что за ним, как за фараоном, идет все египетское воинство, а не несколько таких же «вождей», дилетантов-мечтателей, искателей роли, как он сам, которые спешат приложить, что они услышали нового, к жизни и дают обществу несколько комических или трагических примеров эксцентричности, остающихся без подражания.

Такие скороспелые увлечения свойственны не самостоятельным натурам, а таким, которые рабски отдаются в распоряжение чужой воли и заходят большею частью не туда или дальше, нежели эта чужая воля предполагала. Примером этому можно припомнить

увлечение молодых людей талантом Жорж Занд лет двадцать пять и более тому назад, когда этот талант был в полном цвету. Было несколько примеров и в нашем обществе молодых пар обоего пола, «внесших в жизнь» увлекательные теории автора «Лелии<sup>4</sup>» об отношениях молодых людей обоего пола друг к другу. Примеры эти возбудили внимание, говор в обществе, но не нашли последователей, тем более что идеалы союзов, созданные пером блестящей писательницы, оказывались несостоятельны в практике жизни и примеры увлекшихся ее воззрениями вовсе не представили примеров счастливых союзов, а напротив, далеко, напротив!

Странно бы было оспаривать у всякого молодого поколения право и возможность участвовать в обработке этих теоретических вопросов, касающихся всего человеческого общества. Это значило бы закрыть для него поприще мыслительной и ученой деятельности и обречь его только на трудовую работу в сфере практических занятий в кругу той или другой реформы. Напротив, на этом поприще умам должна быть открыта широкая дорога и

полнейшая свобода деятельности, даже должно быть оказано горячее содействие к расширению ученого поприща, что, впрочем, надо сказать, значительно и совершается в последнее десятилетие. Академии наук и университетам дарованы льготы, усилены их средства; за границу для приготовления к профессуре отправлен целый полк молодых людей, отменены строгости к свободному обращению ученых пособий и т. д. Это не пропадет даром: наука пустит, наконец, глубже корни на почве русской жизни и сообщит ту зрелость и самостоятельность обществу, при которых немислимо влияние на большинство никаких политических и социальных заблуждений, никаких счужа навеянных доктрин, так же как невозможно появление Волоховых.

Нельзя жертвовать серьезными практическими науками малодушным опасениям незначительной части вреда, какая может произойти от свободы и широты ученой деятельности. Пусть между молодыми учеными нашлись бы такие, которых изучение естественных или точных наук привело бы к выводам крайнего материализма, отрицания и

т. п. Убеждения их останутся их личным делом, а учеными усилиями их обогатится наука, как некогда исследованиями алхимиков и астрологов, добивавшихся открытия философского камня и тайн читать будущее по звездам, обогатились химия и астрология.

Уяснение религии, даже самое отрицание ее началось вместе с религией и идет параллельно. Только пылкой юности позволительно мечтать, что эти два параллельные потока уже сошлись у ней под ногами. В спорах об этом выясняются истины, выигрывает наука, мысли, философия, а религия не теряет своей власти над большинством.

Источник знания неистоим: какие успехи ни приобретай человечество на этом пути, впереди все будет бездна неведения – все людям будет оставаться искать, открывать и познавать. Но напрасно Бокль и подобные ему мыслители<sup>5</sup> хотят измерить человеческий прогресс только мериллом знания – и в нем одном слить совершенствование человечества! Нравственное несовершенство, конечно, частью зависит от неведения – но большею частью и от дурной и злой воли. А победа по-

следней достижима – не одним ведением, но и силою воли! Поэтому заповеди и евангелие будут на этом пути единственными руководителями!

Мыслители говорят, что ни заповеди, ни евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания. Если путь последнего неистощим и бесконечен, то и высота человеческого совершенства по евангелию так же недостижима, хотя и не невозможна! Следовательно – и тот и другой пути параллельны и бесконечны! И то и другое одинаково трудно одолимы.

Основы семейного союза кажутся неудовлетворительны: попытки устроить новый образ семейных уз не привели к какому-нибудь положительному выводу самый вопрос: практика жизни не выработала ничего лучшего, более прочного. Но самые стремления и

совокупные труды серьезных умов, разъясняя вопрос, бросили яркий свет на неравноправность обеих брачующихся сторон и пришли к практическим решениям и определениям относительно имущественных и других прав и привилегий, к возможному уравниванию их для той и другой стороны.

Отсюда сам собой выяснился очередной шаг в этом вопросе и в нашем обществе: это восполнение недостаточности образования, получаемого женщинами, сравнительно с образованием мужчин. Энергические и настоятельные старания нового поколения привели к некоторому успеху. Очередной шаг сделан – открытием женских гимназий и публичных лекций высших курсов. Это пока начало, зародыш, но нет сомнения, что он поведет к дальнейшему развитию этого дела.

За этим достижением первого шага, став твердо на путь основательного и глубокого образования, женщины, вооруженные серьезными знаниями, поблагодарят за участие своих руководителей и бывших владык, сами уже будут решать, какое участие, сверх своих прямых, природных, то есть семейных и до-

машинных, обязанностей, возмогут и пожелают они принять в общественных делах совокупно с мужчинами.

А построение новой формы семейного союза опять отдалится на дальний план и будет опять манить за собой труды, изыскания, анализ, который, может быть, докажет, что не столько виноваты существующие формы союза, сколько грешат сами люди, не умея доиспытаться до некоторых прочных и практических истин жизни, лежащих, между прочим, и в нынешней основе семейных союзов.

Марк Волохов иначе думал о правах и свободе женщин и домогался иного шага, или «опыта», от Веры. Работать над женским вопросом мыслью, наукой, добросовестным изучением вопроса, беспристрастно и бескорыстно отнестись к нему – на это его не станет. Это делают те честные и умные деятели, то разумное, мыслящее большинство нового поколения, которое составляет истинную, прямую, призванную, а не самозванную его силу.

То же самое можно сказать и о всех других, экономических, социальных и прочих, входящих в круг общечеловеческой деятель-

ности вопросах. Все они идут путем медленного, но глубокого развития. Они манят за собой крайними, увлекательными целями к упорному труду и завоеваниям, большею частью не тем, о которых мечтают бойцы, а к другим, более верным, практическим и на-сущно необходимым для общего блага.

Если затем современные молодые люди называют «внесением в жизнь» то, что они открыто исповедуют свои личные убеждения в некоторых из этих вопросов, а прежние деятели о них прималчивали, так ведь заслуга в этом принадлежит современному расширению прав<sup>6</sup>, значительной степени терпимости, свободы личных мнений в настоящее время, как скоро эти убеждения и мнения не принимают характер злого и грубого до фанатизма навязывания этих мнений другим, особенно готовящемуся еще к жизни юношеству.

Обращаясь к роману «Обрыв», перехожу теперь к другому упреку, который падает на роман: именно, что автор обходит новую жизнь, за исключением нелестного образчика в Марке Волохове, и продолжает рисовать все ту же «старую жизнь», которую рисовал в

«Обломове».

Прежде всего напомним, что я, в предисловии к первой части романа, сам назвал его «опоздавшим трудом». Без лестных запросов, обращаемых по временам к автору со стороны публики об участии этого, давно начатого романа, может быть, последний остался бы навсегда в портфеле: следовательно, автор сам сомневался в том, что отчасти содержание, отчасти, может быть, манера его писать устарела, и готов был пожертвовать своим трудом. Однако настоящая критика, то есть критика общественного мнения, выражением положительного сочувствия доказала ему противное, то есть что роман не «опоздал».

Что значит «старая» жизнь, что значит «новая жизнь»? – можно бы спросить в ответ на этот упрек. Если под этим разуместь человеческую жизнь вообще, то она имеет неисчерпаемую глубину и неизменные основы – и в старом и в новом времени, которые всегда будут интересовать людей – и никогда не устареют.

Если же под старой жизнью разуместь историю, то опять можно спросить: почему следу-

ет отрываться от прошлого, разрывать всякое преемство с тем, откуда пришла современная жизнь, то есть внешнее ее движение? Художник не всегда следует своему произволу. Иногда инстинкт наводит и удерживает его на тех явлениях и на той или другой поро и эпохе, изображения которых отвечают его дарованию или вкусу.

Затем надо спросить еще: будто изображаемая в романе жизнь – в самом деле старая, отшедшая жизнь? Не кажется ли оно так отсюда, из наших столичных кабинетов, что свет лампы авторов статей, разливающих большой круг света в комнате, разливает его и по всей пространной России, озаряя все отдаленные, темные углы и все спавшие в дремоте умы? Если справиться с действительностью, не окажется ли, что эта старая жизнь вовсе не отошла, что быт и нравы, описанные в этом и в других рисующих старую жизнь романах, до сих пор составляют господствующий фон жизни, что, наконец, в этих самых нравах есть нечто, что, может быть, останется навсегда в основе русской коренной жизни, как племенные ее черты, как физиологиче-

ские особенности, которые будут лежать в жизни и последующих поколений и которых, может быть, не снимет никакая цивилизация и дальнейшее развитие, как с физической природы и климата России не снимет ничто ее естественного клейма.

Одна подвижная картина внешних условий жизни, так называемые нравоописательные, бытовые очерки никогда не произведут глубокого впечатления на читателя, если они не затрагивают вместе и самого человека, его психологической стороны. Я не претендую на то, что исполнил эту высшую задачу искусства, но сознаюсь, что она прежде всего входила в мои виды. Не одно баловство, лень, отсутствие сознания необходимости долга к обществу и тому подобное занимало меня, например, в лице Райского. Еще более поглощал меня анализ натуры художника, с преобладанием над всеми органическими силами человеческой природы силы творческой фантазии. Этот этюд, может быть, мало удался мне по невозможности уследить за неуловимыми и капризными проявлениями этой силы – вне самого искусства. Это все равно, что следить

за действием электричества вне применения к делу. Но я все-таки упорно предавался своему анализу, не смущаясь попыток над подобными натурами знаменитых писателей, как, например, Гете: меня уполномочивал на эту попытку и удалял всякое подражание знаменитостям склад и характер русского типа.

Для этого этюда мне особенно послужил тип «неудачника»-художника, у которого фантазия, не примененная строго к художественному творчеству, беспорядочно выражалась в самой жизни, освещая бенгальскими огнями явления, встречные личности, страх в миражах страсти, уродуя правильный ход жизни и увлекая в разладицу самого человека, который днями и часами проживает по несколько раз в своих мимолетных ощущениях то, что другие проживают годами.

У серьезных художников все это бешенство и вакханалия творческой силы укладывается в строгие произведения искусства. Но и затем остается еще у людей, щедро наделенных фантазией, как мы видим из биографий большей части художников, этот избыток ее, который кидается в жизнь, производя в ней

капризные, будто искусственные явления, кажущиеся для простого наблюдателя нелепою эксцентричностью.

Задача эта, повторяю; была мне, может быть, не по силам, и вообще она мало доступна для художника: от этого Райский, вероятно, представляет читателю не столько этюд психологического наблюдения, сколько тип художника-дилетанта, бежавшего от строгой, трудовой школы искусства.

В лице старухи, Бабушки, конечно, мне прежде всего рисовался идеал женщины вообще, сложившийся при известных условиях русской жизни в тот портрет, который написало мое перо. Точно то же, более или менее, могу я сказать и о других лицах романа.

Если задачи мои не вышли тем, чем они были для меня самого, – тем хуже для меня.

Я имею еще и другие причины не отторгаться от изображения старой жизни, кроме той, что не считаю эту жизнь конченной и отшедшей. Одну из этих причин приводят и сами молодые публицисты: именно ту, что новая жизнь очень нова и молода. Она сложилась, и еще не сложилась, а складывается под

условием новых реформ общей русской жизни, и, следовательно, ей всего каких-нибудь пятнадцать лет от роду, да и того нет, считая по началу реформ. Люди не успели повториться во стольких экземплярах одного направления, воспитания, идей, понятий, чтобы образовать группу так называемых типов, они тоже живут, так сказать, «в теории» и в «области мышления», следовательно, около них не успела устояться известная сфера нравов, быта, которые бы представляли определенную форму, рисунок новой жизни, новых людей, за исключением разве тех ярких крайностей, которые бросаются всем в глаза.

От этого же и молодая литература, формируясь, еще идет колеблющимися шагами и не выражает собою никакой определенной физиономии, несмотря на замечательные таланты. Я говорю собственно про беллетристику, она не дотрагивается до молодой, не устоявшейся жизни, медлит черпать сюжеты из своего круга и ищет пока их в народном быту, также еще не окрепшем в новых условиях жизни. Образцы и в этом роде, данные новыми талантами, замечательны, но также не но-

вы. Их опередили и тут люди тридцатых и сороковых годов: Тургенев в «Записках охотника», Григорович в «Бобыле» и «Антоне Горемыке», позднее Писемский в «Плотничной артели» и «Горькой судьбине». Почин правдивого воспроизведения народной жизни в искусстве принадлежит этим художникам, и данные ими образцы останутся навсегда в истории литературы.

Зазывать искусство в свежие ряды молодого поколения, с несложившимися и неокрепшими чертами жизни – напрасный труд. Серьезное искусство – не диорама: оно откажется озарять своим светом новорожденные черты, не узнаваемые завтра, отражать в своем зеркале туманные пятна, неясные очерки, как тени, проходящие по стене под освещением волшебного фонаря. Искусство объективно смотрит на жизнь, не терпит никакой лжи и натяжек.

«Искусство для искусства» – бессмысленная фраза, если в ней выражается упрек, обращаемый к художникам, строго и объективно относящимся к искусству. Он справедлив единственно в отношении к бездарным ху-

дожникам, то есть не художникам, а тем личностям, которые, под влиянием «раздражения пленной мысли», творят то, в чем нет ни «правды», ни «жизни», упражняясь из любви к процессу собственного своего искусства.<sup>7</sup>

Принудить искусство сосредоточивать свои лучи над «злостью дня» и служить пленками вчера родившемуся ребенку – значит лишить его обаятельной силы и обрекать на мелкую роль, в которой оно окажется бессильно и несостоятельно, как это и подтверждается на каждом шагу так называемыми тенденциозными произведениями, живущими эфемерною жизнью за отсутствием объективной, творческой силы.

Мне грустно и больно и то еще, что во всех трех моих романах публика и критика не увидели ничего более, как только одни – картины и типы старой жизни, другие – карикатуру на новую – и только.

А никто не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: «Обыкновенной историей», «Обломовым» и «Обрывом»! Белинский, Добролю-

бов – конечно, увидели бы, что в сущности это – одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи – старой жизни, сна и пробуждения, и что все лица – *Адуев, Обломов, Райский* и другие составляют одно лицо, наследственно перерождающееся – и в *Бабушке* отразилась вся старая русская жизнь с едва зеленеющими свежими побегамии – Верой, Марфенькой – и тогда когда-нибудь я сам укажу эту связь, а теперь я жалею только, что я в свое время не поставил сам точек над *и*.

Крайне утилитарное направление публицистики хотело бы не дать и этого места искусству, а устранить его совсем из круга жизни. Оно пыталось уничтожить эту стихийную силу и сбросить с пьедестала даже великих творцов искусства, начиная с Рафаэлей и других. Этому причиной, между прочим, молодость, новизна дела и свойственная молодости ревнивость ко всему тому, что по ее преувеличенным опасениям может отвлекать от нее общее внимание. Когда публицистика заручится подобающим ей успехом, займет свое место и почувствует за собою законное право

и неоспоримую силу, она, как это происходит в других местах, будет покойнее и справедливее относиться к успехам других сил литературной деятельности. Сила публицистики громадна в Англии: и она, в серьезных органах своих, уважает право других сил, между прочим и силы искусства над обществом, не гоня со света ни картин, ни звуков, ни стихов, ни романов.

Если невозможны Рафаэли и Корреджио и подобные им, как хотели уверить некоторые публицисты, так это не потому, что они будто бы не нужны более, а потому, что их нет. Такие художники повторяются веками, иные вовсе не повторяются.

Пусть недоступно в них для кисти то, что некоторые из них домогались изобразить, чего нет в жизни, чего никто не видал и не знает: «божественность», например. Но все ведомое и доступное человеку в них: радости, страдания, красота и т. д., переведенные на человеческий, понятный всем язык и краски, будут всегда находить себе симпатии в людской толпе.

Картина такого крупного таланта, как Ива-

нов<sup>8</sup>, не имела успеха по недоступности сюжета для кисти. Он хотел нарисовать встречу двух миров, двух цивилизаций, отжившей и возрождающейся, и не успел, нарисовав группу купающихся людей, и то неудачно, потому что пренебрег прямым и законным эффектом живописи.

Картина г. Ге<sup>9</sup>, напротив, имела успех во все не по причине той тенденции, которую ей приписывают и которой так же, как божественности, нарисовать нельзя, а по той смелости, с которой художник отрешился от рутинного изображения евангельского события, и по резкой жизненной правде изображенных фигур.

Талант везде найдет, угадает и выразит правду, в какую бы жизнь, близкую или отдаленную от настоящего времени, она ни запряталась, лишь бы то была жизнь, а не выдумка. А правдивое воспроизведение жизни в том или другом искусстве будет служить лучшим и благородным отдыхом развитого общества, несмотря на суровую проповедь литературных Савонарол<sup>10</sup>.

Пренебрегаемый ими Пушкин умел «звучать»

ками и картинами» будить в людях человечность, а в каких-нибудь «Цыганах», «Галубе», в «Онегине» преподал глубокие уроки правды, понятий свободы, нравственности, добра – словом, учил жить: и эти уроки не устарели еще теперь.

Белинский умел толковать их. Он, несмотря на всеобъемлемость своей полемики, в которой приходилось ему горячо карать многообразные уродливости современных нравов, общего застоя и т. д., забывал роль литературного Марата: у него был чуткий нерв к искусству, никогда не засыпавший и всегда сочувственно отзывавшийся на всякий голос, звук правды и жизни в искусстве. Он умел отдавать справедливость и тем, к кому в другом случае, именно в случае измены тому же искусству, бывал беспощаден. Припоминаю на выдержку пример Кукольника, которого он немилосердно карал за его драматические фантазии и к которому обращал ласковое слово одобрения за простоту и правдивость повестей из быта Петра Великого. Был он также беспощаден к ходульности в исполнении героических ролей актера Каратыгина в роли

Людовика XI, в драме «Заколдованный дом». И везде, во всех томах Белинского, рассеяны эти примеры живого, иногда трогательного сочувствия к правдивым явлениям искусства, на которые так чутко отзывалась его нервная, тонкая, страстная натура.

Эта самая страстность и нервозность его натуры, и притом свойство выпавшей ему роли, как я сказал выше, мешали ему выдерживать значение вполне объективного, беспристрастного критика. Не наступило еще время для вполне справедливой оценки его деятельности, характера и громадного значения в литературе, между прочим, потому, что влияние его еще горячо чувствуется и продолжается доныне. Его продолжали, то есть пользовались им и пользуются доселе, почерпают многое из него более или менее удачно, но никто не заменил. Белинский иногда небрежно относился к деятельности отживших, прошлых авторитетов и их влияний и вообще небрежно глядел в прошлое, как будто не любил истории. Но ему выпала на долю не роль ученого, объективного критика, а роль трибуна, гонителя и карателя, строго, упорно дер-

жавшегося вреда, всяких зол, предрассудков, темных нравов и обычаев, рутины и т. д. – во всем, и в жизни и в искусстве. Не будь этого раздражения, задора, ему не удалось бы пробудить спящие умы и равнодушные большинства. В этом огне битвы часто доставалось всем и каждому – иногда и правому. Силою обстоятельств он выхвачен был из среды учащегося юношества и случайно брошен на трибуну критика и публициста. И притом не в страстной, раздражительной натуре его была сдержанная сосредоточенность на известных эпохах, на личностях, в покойном, холодном созерцании и размышлении. Это был и поэт, и художник, и критик, и трибун, и оратор. Увлечение и удары пера – вот образ его действия, его сила и успех. Он понимал и сознавал это сам.

Автор этих строк припоминает, что однажды ему довелось полушутя сделать упрек Белинскому в переменчивости его литературных взглядов и отзывов насчет тех или других авторитетов. Я привел ему в пример несколько его отзывов об одном авторе, которого он за несколько лет перед тем осыпал

похвалами, к которому впоследствии охладел. Я нечаянно затронул его живо этим упреком. Он глубоко задумался и долго не принимал участия в продолжавшемся разговоре. Потом часа через два, к удивлению моему, он обратился к этому упреку и, показывая на меня, с грустью сказал одному из присутствовавших: «Он считает меня флюгером! за что? Ведь я меняю свои убеждения, как меняют копейку на рубль!» Я засмеялся тому, что он так серьезно принял мой упрек, но он продолжал задумываться и, конечно, яснее меня сознавал в эту минуту в себе способность быстро увлекаться, из которой почти не выходил и которая составляла основу его натуры и литературной деятельности.

Будущий биограф его, конечно, в своем анализе этой необыкновенной личности примет в основание своего суда эту способность и ею объяснит и оправдает в нем отсутствие того беспристрастия и спокойствия, которое составляет его капитальный и, может быть — единственный недостаток.

Созданная им школа критики, даже в таком даровитом деятеле, как Добролюбов, все-

цело приняла от своего учителя и этот огромный недостаток и донныне продолжает, употреблять свойственный этому недостатку тон, не только как критический прием, но почти как принцип. Нельзя, конечно, оспаривать того, что знаменитые авторитеты, за исключением, может быть, двух-трех, вроде Гомера, Шекспира, не могут иметь того обаятельного влияния на потомков, какое имели на своих современников. Нынешние поколения, не заставшие Пушкина и его громадного влияния, разумеется, не могут относиться к нему с тем страстным сочувствием, как его современники. Да этого никто и не требует. Но не отнестись с глубоким уважением к этому авторитету, обусловившему в сильной степени и современное развитие общества, не оказать веры к свидетельству его современников – значит не уметь ценить вообще заслуги в области высокого, гуманного развития, грешить совершенным отсутствием исторического чутья и первых, элементарных начал критики, или уже бесцеремонно жертвовать всеми интересами мысли и искусства другим целям, стараться свести обществен-

ную жизнь на одно утилитарное и тому подобное направление.

Но это невозможно: общество, конечно, не пойдет вослед этой пропаганде, и из него выделится только такой процент, какой нужен для той или другой из этих целей, когда они составят насущную потребность.

Конечно, в голод, эпидемию, среди народных бедствий – не до искусства: запретят музеи и театры. Но едва вздохнет свободно народ и общество: первый вместе с хлебом запросит «зрелищ», а второе – будет искать отдыха в области творческого искусства.

Все, чего можно и должно добиваться и утилитарному и всякому разумному направлению – это, чтобы общество не предавалось постоянному «отдыху», как это бывало и как есть отчасти и теперь, потому что, упорно повторяю, старая жизнь не кончилась. Да и само общество не вознуждается в насильственном побуждении к труду и утилитарным целям, лишь только в нем водворятся начала самостоятельности и самоуправления. А заставить его работать безустанно над утилитарными целями – это все равно, что заставить

живую рабочую силу двигаться день и ночь, отняв у него покой. Искусство составляет такую же потребность духа, как физический покой для организмов.

С точки зрения такой легкой критики, конечно, ничего не стоит определить одним словом характер карамзинской эпохи, например «сентиментальным», как будто Карамзин ничего другого, кроме сентиментальности, не дал русской цивилизации! Еще легче извлечь какого-нибудь старика Державина из его эпохи, окрасить его в современный колорит, без исторического отношения к его времени: тогда останется только его освистать и осмеять. Но эта насмешка правнуков была бы безнравственна и невежественна. Это все равно, если б нумизмат выбросил в окно старую медаль, найдя, что в ней золото низкой пробы, а чеканка и резьба лишены современной тонкости и искусства. Так сделает золотых дел мастер, ремесленник, а не антикварий.

Не так в старых литературах относятся критики к своим предшественникам. Не так, конечно, отнесется и к нашему прошлому и его деятелям будущий добросовестный, при-

готовленный к своему делу историк.

Мы слишком молоды, история нашей умственной жизни еще не двинулась настолько вперед, чтобы мы могли уже из своей эпохи видеть очерк будущего ее здания, оттого критики и не признают этих «камней, легших во главу угла», и измеряют пока наше молодое прошлое не возмужалым, историческим пером, а легкомысленным и бессильным задором. Сила сказывается иначе: уважением к другим, предшествовавшим ей, породившим ее и почившим силам.

Не знаю, нужно ли мне опровергать еще два раздающиеся из двух противоположных лагерей упрека по поводу романа «Обрыв». Одни, ригористы, упрекают меня<sup>11</sup> за то, что я простер роман двух главных героинь, Бабушки и Веры, до так называемого «падения», которое возмущает, кажется, нравственное чувство строгих блюстителей нравов. Некоторые из них пробовали сослаться на английские романы, в которых будто бы описания нравов не выходят из круга принятых ограничений.

Не знаю, как отвечать на этот упрек, на это несколько рутинное понимание чистоты нра-

вов, с одной стороны, и ограничение прав писателя – с другой. В ответ я могу сослаться также на некоторые образцовые английские романы и, между прочим, одного из лучших новых авторов, это *Джордж Эллиота*, и именно на роман «Адам Бид» – и больше ничего не прибавлю.

Из другого лагеря, напротив, слышится упрек в том, что я не отступил от узкой морали и покарал в романе и Бабушку и Веру за падение, или за «грех», как называет это Бабушка.

Романист – не моралист, не законодатель – скажу я в свое оправдание: он только живописец нравов. Я взял на себя задачу поставить вопрос: «определяется ли „падение“ женщины тем фактом, каким привыкли определять его, или натурою „падающих“ женщин. Нравственные, чистые натуры, как Бабушка и Вера, обе виноваты в факте, но пали ли они?»

Относясь объективно к этому вопросу, я должен был тоже добросовестно-объективно изобразить и то, как отразились последствия факта на таких натурах, как обе героини, и на

тех нравах в той среде, в которой обе они жили, и притом двадцать, тридцать лет тому назад.

Грустно, повторю сказанное выше, мне как художнику, что и в этой *Бабушке*, и в *Вере*, и в падении их, и, наконец, в *Волохове* – современная публика и критика видели только портреты, кисти, краски и прочее.

Некоторые говорят – это *типы*: а если *типы*, замечу я, то ведь они, значит, изображают коллективные черты целых слоев общества, а слои, в свою очередь, изображают жизнь уже не индивидуумов, а целых групп общества – на группах же отражается и современная им жизнь! Проследите же – как у меня, начиная с «Обыкновенной истории», отражалась русская жизнь в трех ее моментах, и тогда, может быть, увидят и ту связь между всеми тремя романами, какую я сам вижу, и найдут на *Бабушке*, слабое, конечно, отражение старой русской жизни, в *Адуеве*, *Обломове* и *Райском* увидят то же отражение, как и в *Волохове*, и в падениях обеих женщин прочтут, может быть, *грехи* не двух женщин только, а ошибки старого и молодого поколения и их расплату –

и т. д. и т. д. Но об этом когда-нибудь после. А может быть – и никогда, если ничто меня не вызовет на это!

Вот все, что я хотел высказать, выпуская отдельным изданием свой роман в свет. Я несколько колебался, повторять ли мне издание: печатные отзывы так были против него, что книга казалась как будто лишнею. Но суд общественного мнения высказывается сочувственно к ней, о чем мне заявлено со всех сторон: принимаю это сочувствие как награду и как вызов повторить издание – и повторяю.

*Ноябрь*

*1869.*

*С.-Петербург.*

P. S. Долгом считаю с благодарностью заявить, что превосходный перевод стихотворения Гейне, помещенного в 5-й части в виде эпитафии к роману Райского, принадлежит графу А. К. Толстому, автору драм «Смерть Иоанна Грозного» и «Феодор Иоаннович».

**Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском\***

Последние пьесы Островского встречаются и в печати и на сцене довольно холодно.

Между тем пьесы эти, как справедливо было замечено кем-то, не хуже прежних. А две последние, именно – «Не все коту масленица» и самая последняя – «Поздняя любовь» – можно отнести, к группе лучших его произведений.

Следовательно, автор не изменил себе: мы видим прежнего Островского, того же тонкого наблюдателя, часто поэта, живописца, юмориста, каким знали его двадцать лет, только с бóльшим самообладанием – в развитии идеи и в художественном воплощении ее в образе – словом, созревшего и опытного мастера.

Между тем в публике пробежала холодная струя – и появление новой пьесы не производит прежнего впечатления, не ведет за собою толков, споров.

Что за причина этому?

Причина не одна. Прежде всего Островский разделяет в этом отношении участь всех беллетристов новейшего времени. К ним ко всем более или менее стали холоднее прежнего.

Беллетристика переставала быть центром и знаменем интеллигенции, по мере того как развивалось и созревало общественное сознание о необходимости образования в массе.

Круг образованных и серьезно подготовленных для общественной деятельности людей расширился – и беллетристы выделились из этого круга, как выделяются специалисты всякого дела, и составили особый, всегда почетный, но уже не во главе всей интеллигенции стоящий кружок. Иначе и быть не может. Осудить толпу смотреть на мир и образы сквозь призму искусства и отдаваться послушно в команду художникам, хотя бы и творцам, значит обрекать общество на вечное юношество. Наука взяла если не высшие, то равные права, новые условия дали общественной *жизни* и новые, неожиданные и ускоренные направления, среди которых и искусству пришлось вступить на путь обновления, путь новых веяний, взглядов, коренных реформ, отказываться от некоторых заветных своих традиций и приемов и идти рука об руку с веком, пока еще неведомо куда, к новым, незнакомым идеалам.

Чаще всего услышишь, что «Островский исписался»: «пишет-де все одно и то же; беспрестанно повторяется. Купцы да купцы, безобразие самодурства, пьянства, нравы захоlustьев. Прескучно!» И это еще более основательный отзыв: в нем есть маленькая доля относительной правды. Только первая посылка, то есть что «Островский исписался», несправедлива. Драматург еще в цвете лет и в полном развитии сил.

Его, сколько мы знаем, не постигло ни моральное, ни физическое зло, которое бы могло вредно повлиять на талант. Куда же девался внезапно последний – без всякой причины?

Говорят это чаще всего люди, ищущие в произведениях Островского только сценического спектакля и мало вникающие или не вникающие вовсе в силу их литературного значения. А требуют они от спектакля безусловно удовольствия, основанного большею частью на разнообразии. Они с одинаковой степенью восприимчивости и критического понимания переходят из Михайловского театра в Александрийский, отсюда в Мариин-

ский, потом в оперу, и даже балет.

Для них вопрос – в употреблении их вечера: насколько тот или другой театр займет их, насколько та или другая пьеса жива, забавна, пожалуй трогательна, и всего более – насколько тот или другой артист или артистка успели заинтересовать их внимание. Актер для них на первом, автор на втором плане. Кого из них удовлетворяют m-meс Делапорт, кого Паска, сегодня Патти, завтра Нильсон. Из наших кто кланяется Самойлову, кто любит Васильева, кто Монахова. Там есть свои лагери и у каждого свои симпатии, обнимающие все сценическое искусство от Итальянской оперы до театров Bouff[34] и Берга.

Мы не последуем за ними всюду, а остановимся в этом очерке на одном представлении комедии «Поздняя любовь» в Александрийском театре, и если успеем, то упомянем о сценическом выполнении. Но более всего мы имеем в виду литературную сторону этой пьесы – и с этой стороны и займемся ею.

При этом, конечно, придется нам коснуться и прочих пьес, может быть, всех и всей деятельности Островского, разумеется, в немно-

гих словах, как оно будет уместно.

Не беда, если не скажем ничего нового, лишь бы то, что скажем, послужило вернее определить значение новой комедии, ибо трудно сказать новое после всего, что говорили об Островском. И вперед, что будут говорить о нем, а будут говорить много, тоже окажется не ново, а только будет дополнять сказанное и все вернее и вернее определять его значение в литературе.

Прежде всего надо сказать, что публика относится к Островскому различно: это, конечно, участь почти каждого писателя, но его – в особенности. Различие взглядов публики обусловливается различием развития и образования слоев ее. Но в отношении к Островскому она еще делится у нас на три большие, можно сказать сословные группы – высшего, среднего класса, так называемое общество – и, наконец, низшую ее часть, не барскую и не чиновную, начиная с купцов и до простонародья.

Это деление в вопросе критического взгляда на писателя смешно, но справедливо.

Высший класс, или beau monde, не знает

Островского почти вовсе, с некоторыми немногими исключениями, и, следовательно, вовсе не ценит его. Как винить его в этом и за что? Нельзя – так точно, как нельзя винить и Островского, что он не угодил вкусу и пониманию этого класса.

Высший класс живет вдали от мира, изображенного Островским: как требовать, чтобы он сближался с ним, когда *до сих пор* ничто не сближало оба круга, кроме таких далеких и поверхностных отношений, которые не ставят их почти ни в какое непосредственное соприкосновение друг с другом, как, например, крупных землевладельцев с крестьянами или продавцов с покупателями и т. д., причем не бывает почти никаких личных сношений, сближений и знакомств.

Еще можно бы спросить: этот «высший круг», стоящий иерархически действительно выше других кругов, – в самом ли деле есть «высший круг» относительно русской литературы и русского искусства?

Мы не говорим о развитии прочих сторон русской мысли, науки, прогресса по разным отраслям деятельности русского общества,

где все классы равно приносят свои силы, способности и участие, мы говорим собственно об искусстве – во всех его проявлениях: в слове, в живописи, в скульптуре, на сцене, – особенно в слове. Мы знаем, что много есть в высших сферах людей просвещенных, европейски образованных, умственно и нравственно развитых и т. д. и т. д., но в то же время холодных ко всему периоду русской литературы, начиная с Гоголя, и не только с Гоголя, но и раньше.

Выражение «высший круг» – довольно неопределенное выражение (или по крайней мере стало таким уже довольно давно). Круг этот очень обширен, многоэтажен и распадается сам на многие круги, часто имеющие мало общего между собою. Аристократ по рождению – часто далеко не аристократ по положению или по воспитанию. В высшие круги ведет огромное богатство, заслуги в службе и т. д. Мы остановимся на том круге, который и известными традициями, и своеобразием воспитания, тона может и вообще отделкою старается выделиться – отойти дальше от других кругов. У этого круга своеобразный взгляд и

на литературу, подчиняющийся известной традиции, туго поддающийся новизне и не изменяющий консервативному характеру, пока весь круг, побежденный или убежденный временем, не согласится, наконец, медленно двинуться вперед и признать, например, Пушкина, потом даже Гоголя – неохотно. В этом кругу есть люди самого старшего, исчезающего поколения, еще не забыли Вольтера и либеральничают по нем и вообще по энциклопедистам – и век Людовика XIV знают до сих пор и цитируют наизусть Расина, Мольера, другие – моложе, воспитались уже на Ламартине, Бальзаке и современной ему эпохе, строго отделив ее от их школы, прозванной «неистовой», и остались верны легитимистическим традициям.

Они как будто остановились в росте, застыли на старых авторитетах, в живописи остались на преданиях о великих мастерах итальянских школ, Рафаэле, Корреджио или «Корреж», – редко нисходят до Рубенса – и отворачиваются от фламандцев. В новой живописи и вообще в искусстве удостоивают покровительственной улыбки то, что пытается

рабски подползти в бледных копиях к знаменитым авторитетам, нужды нет, что Вольтер и энциклопедисты плохо ладят с Рафаэлями.

Все это составляет пестрый и любопытный музей – любителей, ценителей и знатоков искусства и литературы. Там встречаются иногда люди с тонко изощренным вкусом и критически развитым пониманием и знанием какой-нибудь эпохи, школы или школ живописи, положим итальянских: они остаются верны этим образцам – и как бы эстетическое чутье ни наводило их на красоты, рассеянные в других школах и образцах, они, легитимисты в искусстве, упорно отказываются признавать, даже замечать эти красоты. Одни – по принципу, другие, менее развитые, по самолюбию, боясь ошибиться. То же и в литературе. Кроме классических авторитетов века Людовика (XIV), они чтут все, что подходит к ним более или менее близко, потом то, что на Западе успело приобрести авторитет, признанный до последних двух революций, между прочим Ламартина и Бальзака. По-русски они мало читают: до Пушкина и Жуковского, со времени Екатерины, не читали ничего.

Державин, Дмитриев и другие им современные устарели, а новым не верили, пока оценка им в молодом, свободном и интеллигентном поколении не слилась в одно господствующее эхо – и тогда и этот класс послушно подчинился этому эху и стал читать. Многие и тогда еще угораздились остаться позади, раз навсегда создав себе манеру высокомерного недоверия к русской литературе. Это – маска, своего рода *contenance*, за которую прячется бессилие уяснить и усвоить значение литературы и боязнь компрометировать себя, объявив себя искренно на ее стороне. Долго эти ценители или эта группа *beau monde* считала Пушкина и Лермонтова – молодежью, какими-то шалунами, непослушными детьми олимпийских муз, не слушающимися стариков, и т. д. Но когда подросли дети и внесли имя Пушкина в классический пантеон – эта группа опять стала застывать на Пушкине – и признавала литературой только то, что рабски подходило к нему. И теперь – напишет ли посредственность поэму, в роде Пушкина, или элегию (в тоне Жуковского), вы увидите стереотипную улыбку восторга на устах этих

ценителей, книжка красуется на красивых столиках, у каминов устраиваются чтения, которые поступают в длинный и монотонный ряд «удовольствий» зимнего сезона. «Читали вы элегию Ж.? – Поэму Б.?» – слышится беспрестанно, и никогда не слышите в этой группе: «Читали ли вы новую пьесу Островского?» И бельэтажи театра во время представлений его пьес большею частью заняты людьми «незначительными», в сенях не толпятся, как, например, в опере или Михайловском театре, лакеи с гербами на ливрее.

Вот еще какие есть у нас! Как же подступиться к ним с Гоголем и Островским! Здесь не место разбирать, что причиной этой розни в понимании и признании искусства. Разбирательство это могло бы повести далеко за пределы этого критического этюда.

Пожалуй, найдутся тут такие иомуды, которые угораздятся видеть какую-то политическую рознь принципов, аристократического и демократического – и бог знает что! Вся демократия Островского и подобных ему писателей состоит в том, что они родились, воспитались и развились среди того круга, который

естественно и отражается в их произведениях. И это делает им честь, что они не пытаются заглядывать поэтическим оком туда, где нет им повода быть. И те из них, которые пытались трогать «высший круг», «beau monde», как хотите назовите, не зная его, смешили своими попытками. Не стоит называть примеров: их было немало. Точно так же и те из этого «beau monde», которые пробовали трогать «меньшую братию», производили неудачные пародии на нее. Итак «высший круг», в понимании русского искусства и в симпатии к нему, сходит уже на второй план, уступая первенство тем из русских людей, которые воспитались и прочно образовались не только в духе русских политических, общественных и других интересов, которых обязан держаться и «beau monde», но и в русских нравах, среди русского быта, преимущественно и *больше* всего владеют и русским складом ума и коренным русским языком. В этом во всем и заключается истинная и великая разница между «beau monde» и средним русским классом, то есть в цельности, чистоте и прочности русского образования и воспитания.

Таков сам Островский, и таковы его истинные, естественные и тонкие почитатели и единственные компетентные критики, то есть все образованные и развитые люди среднего класса, смежного с простым людом и знающие этот люда, как знает его сам Островский.

Это составляет огромную, надежную, лучшую опору нашего драматурга – самую разумную группу его публики. Остальная часть его публики, громадное большинство и грамотных и неграмотных простых людей, знают Островского только по сцене и любят его слепо, инстинктивно, не входя в критическую литературную оценку, ценят чутьем, которое наводит их на некоторые темные соображения о правдивости изображаемых на сцене их нравов, обычаев, слабостей и хороших, симпатичных сторон. И тут есть свои развитые и неразвитые ценители: первые – именно те, которые, видя свои нравы и быт на сцене, инстинктивно ценят правду. Последние, напротив, тоже холодны, как и аристократы – *les extrêmes se touchent*: [35] они, конечно, узнают себя – и именно поэтому холодны и

скупают. «Мы это видим и дома», – говорят они и требуют на сцене необыкновенных сражений, убийств, пожаров или героев вроде Велисария<sup>1</sup>, и т. д. – словом, публика балаганов. Выше этих двух групп критика почти не восходит или восходит, как эхо, к которому холодно и недоверчиво прислушивается первая высшая группа, не знающая ни этих «уродливых» нравов, не понимающая ни этого характеристического языка, ни типичного юмора – ничего. Для нее Островский почти не существует, между тем как Островский бесспорно самый крупный талант в современной литературе!

Чтобы покончить с «beau monde», скажем, что он и прежде в серьезном решении вопроса об искусстве не имел инициативы, и, пока решался вопрос о значении литературной эпохи, писателя, создавшего его – «beau monde» оставался назади, в выжидательном положении. Так по крайней мере было после Карамзина и до Карамзина – можно указать на Новикова, Радищева. О них и почти о всех последующих писателях авторитет устанавливался прежде в среднем классе, где интел-

лигенция была не случайность, не роскошь, как в «beau monde», а совокупность умов и талантов – в сильной, производительной работе, добывающейся авторитета в борьбе с нуждой и всякими враждами, пуще всего с окружающим невежеством.

Тогда уже, когда эхо о новом авторитете науки или искусства восходило выше – прислушивался к нему и «beau monde» и примыкал, часто после сильной и всегда тщетной борьбы за свои отживающие традиционные идеалы, мало-помалу к толпе ценителей нового деятеля. Так было с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым, Белинским, особенно с Гоголем – и так будет всегда со всяким смелым умом или талантом, который внезапно и неожиданно внесет новый свет в полумрак, вдвинет новую силу, пришедшую на смену старого, особенно если он придет с новыми и оригинальными приемами, с своеобразным, не похожим на прежний обычаем. Но, однако, здесь следует сделать крупную оговорку – о безучастии высших классов к произведениям Островского. Безучастие это более всего обнаруживается в отношении именно к Остров-

скому: нам известно, например, что многое, особенно за последнее время, взятое из жизни русской другими писателями, читается в высшем классе с большим интересом. Сочинение Мельникова, например, из русско-раскольничьего быта («В лесах»), «Соборяне» – Лескова, «Земцы» – графа Сальяса обошли и обходят весь «beau monde» и встречают живое участие. Следовательно – причины холодности надо искать не в содержании, а в драматическом способе передачи быта и нравов мира Островского. Он ставит читателя лицом к лицу с своими персонажами, заставляя последних думать, говорить и поступать, как они думают, говорят и поступают сами. И читатели, не знакомые с этим миром, без всякой интерпретации автора, в недоумении слушают эти чудные речи, видят дикий образ жизни – и пожимают плечами.

Напротив, несильные таланты, принарядившиеся, подладившиеся под господствующий вкус и нравы – будут сразу встречены без борьбы, спора, с лаской.

Теперь и «beau monde» приводит цитаты из Гоголя, с уважением начинает произно-

сильное имя Белинского, а Пушкин сделался уже классическим авторитетом. Дойдет ли эта очередь до Островского? Она уже дошла, насколько могла дойти – но все в пределах той же интеллигентной, тонко и критически развитой группы, о которой мы сказали выше.

Далее и выше она не пойдет, так точно, как не распространится более и его популярность: некуда более распространяться ей, ни в литературной критике, ни в народе, который толпами перевидал все многочисленные типы русских людей Островского.

Того всеобщего обаяния, какое во всей интеллигентной массе производили имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, даже Грибоедова – имя Островского не производит и производить не будет по вышесказанной причине – недоступности всей массе образованных людей нравов круга, в котором он замкнулся – следовательно, по причине тесной объективности, которой он, по исключительности своих героев, ограничил себя, как в заколдованном кругу. Нужды нет, что в этой бездне «темного царства», как назвал его Добролюбов, отразились все человеческие стороны, начиная с

ужасающих своим мраком преступности, безобразия, уродства до тонких и нежных мотивов души и сердца – образованное большинство не разглядит или не поймет этого в этих странных, каких-то изломанных чертах нравов и в неестественном складе ума, в искажении всего смысла жизни и в непостижимо изуродованной речи, всего того, что понятно только тем, которые нагляделись и наслушались этого, живя в самой среде или вблизи ее.

Но если популярность Островского не громка, то есть далеко звенящее эхо не разносит по всем концам России его имени, как оно разносило имена Пушкина и Гоголя, хотя в Москве оно так же популярно, как имя папы в Риме – то, с другой стороны, в удел ему достается другое, более прочное благо – это долговечность.

Не «исписался» Островский, а исписал всю московскую жизнь, не города Москвы, а жизнь московского, то есть великороссийского государства – как оно было – с Ганзы и до Петра, пожалуй, до нашествия «двунадесяти язык» – и в этом причина охлаждения к нему. Он пишет все одну картину – одну и одну:

зритель начинает утомляться. Картина громадна, писать больше нечего: приходится продолжать ее, одну ее. Другого Островский писать не может. Картина эта – «Тысячелетний памятник России». Одним концом она упирается в доисторическое время («Снегурочка»), другим – останавливается у первой станции железной дороги, с самодурами, поникшими головой перед гласным судом, перед нагрубившим ему строкулистом-племянником.

Пали затворы замоскворецких замков купеческой олигархии, куда не проникал закон, а полиция «не препятствовала нравам» бородатых баронов. Но все прошло или проходит – и почва уходит из-под ног писателя.

Скажут, что задача всех писателей – черпать в океане русской народной жизни, в котором черпал и Пушкин, и Гоголь, и все нынешние писатели, и будут черпать вперед и никогда не исчерпают неиссякающего моря, которое все более раздвигает свои берега. Но Островский – писатель исторический, то есть писатель нравов и быта, а история исчерпывается огромным талантом: по части искус-

ства слова – Островский исчерпал его, как Шекспир и Вальтер Скотт исчерпали историю Англии. После них осталось немного последующим художникам. Не говоря уже о Шекспире, можно указать на Диккенса, талант, может быть, сильнее Вальтера Скотта, но не ставший рядом с ним в своем историческом романе. Вообще в нашей истории драматургу немного простора.

Наша Илиада, то есть так называемый в других историях героический период – тянулся до Петра – и никакой Одиссеи. Одиссеев, пожалуй, было много, но Пенелопы почти ни одной. От этого все наши драматурги (и не одни наши, Шиллер например) кидаются в два места – или к Иоанну Грозному, или Самозванцу, Шуйскому и Борису Годунову, где есть что-то похожее не на медвежью травлю, не на дом сумасшедших, а на жизнь – с борьбой, с движением страстей, с некоторым смыслом.

А то все содержание сводилось к немногим данным: жил да был такой-то князь, пришел другой, прогнал: целовали крест ему, он казнил противников, пожаловал друзей. Первый воротился, прогнал второго: целовали крест

ему; он казнил противников, жаловал верных. Там пришли тевтоны, там татары, дрались – целовали крест и т. д. Все это миновало: мы пережили и тевтонов, и татар, и уделы, и ляхов, и двенадцать язык – и сквозь все это Русь пронесла и вынесла доднесь свои старые, родовые черты, крепкие нравы, свой коренной быт, разбавленный и приправленный и Ганзой, и тевтонами, и татарами, и, наконец, французами. (Эти последние нравы, привитые французами, не имеют ничего общего с общеевропейскими чертами, прививаемыми всем цивилизацией и всем сообщающие в известной степени отпечаток европейца. Нет, та офранцуженная группа, которая долго господствовала в нашем обществе, была, с немногими светлыми исключениями, так же далека от общеевропейского гуманитарного развития, как и их предки, допетровские бояре. Екатерининские вельможи, забравшиеся в глушь – с французскими библиотеками, поварами, с расшитыми золотом мундирами, и, наконец, до помещиков времен Аракчеева и позже – до 50-х годов – выкидывали «такие чудные коленца», какие не

снились самодурам Островского.)

И все эти черты, образующие великорусскую физиономию, все вошли в творческую сферу Островского. Ничто *до нового времени* не ускользнуло от его зоркого ока. И там, где тесно трагику, романисту – там раздолье и простор комику. Но он комик по своей натуре, по натуре своего материала, комик по внешней поверхностной форме – а в сущности он писатель эпический. Сочинение действия – не его задача: да после вышесказанного о русской жизни *она* и не задача этой жизни. Ему как будто не хочется прибегать к фавеле – эта искусственность ниже его: он должен жертвовать ей частью правдивости, целостью характеров, драгоценными штрихами нравов, деталями быта – и он охотнее удлиняет действие, охлаждает зрителя, лишь бы сохранить тщательно то, что он видит и чувствует живого и верного в природе.

Отодвинутый на крайний угол земли, в холодную и темную сторону – русский человек, русский народ жил пассивно, в дремоте, переживал про себя свои драмы – и апатично принимал жизнь, какую ему навязывали обстоя-

тельства. Островский писал эту жизнь с натуры – и у него вышел бесконечный ряд живых картин или одна бесконечная картина – от «Снегурочки», «Воеводы», – до «Поздней любви» и «Не все коту масленица».

Он нашел и изобразил нашу Одиссею – отмежевав себе огромное пространство и взяв в нем все, что брали по частям и другие. До него – *Гоголь*, который и указал ему путь – и тут же рядом сильные, хотя и меньшие против обоих таланты – Тургенева, Писемского, – все эти живописцы русской жизни.

Тысячу лет прожила старая Россия – и Островский воздвигнул ей тысячелетний памятник. Он не пошел и не пойдет за новой Россией – в обновленных детях ее нет уже более героев Островского.

Нравы, быт – все не то, следовательно, и все другое – не то! Островского обыкновенно называют писателем быта, нравов, но ведь это не исключает психической стороны: при неверностях психической стороны не могли бы быть верны быт и нравы. У Островского, конечно, не сложен психический процесс – он отвечает степени развития его героев и также

ограничивается условиями драматической формы. Но у него нет ни одной пьесы, где бы не был затронут тот или другой чисто человеческий интерес, чувство, жизненная правда. Рядом с самодурством, в такой же грубой форме, сквозит человечность (например, в Любиме Торцове).

Автор, даже вопреки строгим условиям критики, почти никогда не оставляет самодура кончить самодурством – он старается осмыслить и отрезвить его под конец действия – например, того же Торцова (брата) или Брускова, – не слушая голоса логической правды и увлекаясь симпатией ко всему этому своему люду. Нередко у него в какой-нибудь горничной Глаше проявляется такое тонкое и нежное чувство, какое – казалось бы – могло быть только уделом высокого развития: но дело в том, что часто умственное и нравственное развитие не идут об руку или, лучше сказать, есть и умственное бессознательное развитие, дающееся как-то самою природой, в виде готового дара.

Эту тысячу лет как будто прожил сам Островский с своими героями – и сам... охладел?

Нет, он слишком горячо любит народ и страну, но он пресытился и как будто останавливается, делается ленивее, устает, как устает отец – или учитель – когда дети или ученики выросли, созрели, когда в них все реже и реже являются те черты и нравы, которые вызвали его энергическую заботливость. *Темное царство*, как назвал его Добролюбов, падает, краски линяют, нравы отходят – а если еще и утаились где-нибудь по углам, то они уже указаны, названы им по имени. Островский проникает и в эти углы: последние пьесы он называет *сценами в захолустьях*. Он знает, что главное он сделал – осталось немного.

У него как будто опускаются руки. Впереди у него ничего нет: новая Россия – не его дело. Он бросился назад и создал «Снегурочку», преддверие к своим историческим галереям, как будто вспомнил, что у него не было начала.

Он сам усердно разрушал свой темный мир, в котором видел так ясно – этот свой Карфаген – и остается на разрушенных остатках – с праздною кистью.

Конечно, он ясно смотрел на все, что вершится в его глазах, в его время – взгляда, и силы его мысли, и образов, и красок достало бы на все, но где он возьмет симпатии ко всему другому, что – не Москва, то есть не Великая Русь – с любимыми, родными ему чертами, физиономиями, с этим теплым колоритом, с этой оригинальною красотой хорошего и необычайною уродливостью дурного? От религиозного культа бороды, постов, от выпивки водки, от принудительного почитания старших посредством потасовок, от рабского страха детей и домашних, от ухарства, воровства и шутовства приказчиков и купеческих сынков – до уродливостей русской франтихи-мотовки в «Бешеных деньгах» и полуживого офранцуженного полутатарина и супруги его с сынком в «Не сошлись характерами» – среди всего этого родился и жил Островский, пропитался воздухом этой жизни и любил ее, как любят родной дом, берег, поле. И никакая другая жизнь и другие герои не заменят Островскому этого его царства – растянувшегося от Гостомысла<sup>2</sup> до Крымской кампании и Положения 19 февраля.

## «Христос в пустыне». Картина г. Крамского\*

На 3-й «передвижной» так называемой выставке, в Академии художеств, среди сорока более или менее замечательных картин, посетитель находит в глубине залы, в углу, почти в темноте, капитальное произведение кисти г. Крамского «Христос в пустыне».

Кроме темноты, для картины невыгодно и то, что зритель подходит к ней, развлеченный впечатлениями предшествующих – пейзажей, портретов, жанра, этюдов. Между тем картина и по сюжету и по исполнению должна иметь важное значение в современном искусстве. В новое время в попытки художников к изображению лиц и событий священного писания, по мнению многих, проникли то же отрицание, скептицизм, какие вторглись всюду, в науку, во все искусства, в жизнь. Под влиянием этих разъедающих начал художники будто бы дают нам лица и события религиозного содержания, лишенные их священного характера. Так, многие, по этой только причине, отказались признать за картинами г. Ге из священного писания их несомненные худо-

жественные достоинства. Даже некоторые произведения кисти были, говорят, не допущены, по этим же причинам, напоказ публике и подверглись строгим порицаниям не одной цензурной власти, но и общественного мнения. Мы не беремся решать – правы ли художники, права ли цензура или общественное мнение, обвиняющее их... (excusez du peu [36]) в безверии!

Из уважения к искусству и к его лучшим представителям мы не решились бы никогда посягнуть на такое капитальное обвинение, между прочим, и по совершенной невозможности стать в положение судьи чужой совести и ее сокровенных убеждений, если эти убеждения не высказываются иначе, как в картинах. Не решились бы мы обвинить и художников в желании посягнуть на религиозные убеждения других, не по одной только причине уважения со стороны их к чужой совести, но и по совершенному разумению ими условий своего искусства, которое не располагает никакими к тому способами.

Мы со своей стороны склоняемся видеть в новых опытах изображений из священного

писания г. Ге и других – желание приложить к этим изображениям начала художественной разумной критики, уйти из-под ферулы условных приемов исторической школы и внести в последние свою долю реализма – конечно, не в область разума и чувство веры, а в чувственные проявления ее в символах – лиц, (исторических) событий, быта, то есть того, что может быть только доступно пластическому искусству, к чему были уже попытки и у старых мастеров.

Где же тут ужасное преступление в атеистических покушениях на чувство и разум веры? Художественная правда есть прямая цель искусства, как правда историческая есть цель историка археологии. Как бы счастлив был археолог, отыскавши, например, след дома, где жил спаситель или апостолы, утварь и все, что служило им? Почему же художнику не проникать ясновидящим оком творчества в глубину веков и не воскрешать из прошлого вещественные черты лица, характер события или предметов, как они должны быть или совершаться, не жертвуя, конечно, правде художественной исторической правдой. Религиоз-

ное, не формальное благоговение от художественной правды не смутится. Но предположим даже в художнике-живописце атеиста или не христианина и допустим в нем желание поколебать веру в зрителе. Как он это делает? Пусть он попытается изменить смысл события, осветить его каким-нибудь другим светом, не тем, в каком оно является в евангельских сказаниях. В его ли власти сделать это? Никаким образом. У него выйдет не то событие, не те лица, а что-нибудь другое, не то, что он хотел нарисовать, и сокровенного своего замысла он не нарисует. Говорят, что одна картина названа «Воскресение Христо-во», а между тем в ней только раздаются деньги, по сказанию евангелия, стерегшим гроб иудеям, чтобы они сказали, что Христос не воскрес, а был похищен учениками. Но здесь лжет не картина, а название. Она должна быть названа не «Воскресением Христовым», а «Подкупом стражи» или, как называли ее после, – «Первые вестники христианства», и если типы евреев, обстановка и прочее верны, то картина и достигает своей цели. Судить еще при этом живописца, верует ли он

сам, или не верует в богочеловека, совершенно лишнее, ненужное, не идущее к делу художественной критики обстоятельство.

Зритель вправе только решать о том, как художник изобразил лицо или событие в избранный им момент, и только один момент! Ибо живопись ограничена временем – она воплощает один момент лица, чувства, страсти, события или просто неподвижное состояние физической природы, как, например, в пейзаже. У картины нет прошлого, нет и будущего, рама ее может быть обширна, почти безгранична, но время сосредоточено на одной избранной точке. Чтоб двинуть точку вперед, надо другую картину или другое искусство. Можно ли при таких ограниченных условиях выразить, то есть нарисовать «тенденцию»?

Под каким углом зрения ни представь художник свой предмет, он изобразит только неверно, то есть дурно, минутное выражение лица или момент события, что и случается с художниками на каждом шагу.

Мы слышали много нападений на картину г. Ге «Тайная вечеря» – за что же? Прежде всего за то, что она не выражает той «Тайной ве-

чери», как она предлагается евангелием, и того образа Иисуса Христа, который – что? Никто не даст себе труда договориться до ясного (представления) понятия об образе И. Х. Но никакая картина никогда и не изображала и не изобразит всей «Тайной вечери», то есть целого вечера и всей трапезы спасителя с учениками, с начала до конца. Так точно, как никакая кисть не изобразит всего Христа, как богочеловека, божественность которого доступна только нашему понятию и чувству веры – истекающим не из вещественного его образа, а из целой жизни и учения.

Леонардо да Винчи изобразил Христа и всех учеников за столом, в момент преломления и предложения хлеба и вина, как главный момент. Другие художники более или менее приближались к тому же моменту, с которого начался Новый завет. Г-н Ге изобразил последний момент трапезы, ее конечный, предсказанный спасителем исход и именно обнаружившийся замысел Иуды, самый благодарный для художника момент. Как часто совершаются незаметные для толпы, но потрясающие сердца драмы в частном быту. Все

знают, например, о предстоящей кончине любимого человека, все ждут его с скорбью, а когда он настанет – момент, как электрический удар пробежит по сердцам, лица изменятся, побледнеют. И. Х., сказавший и совершивший все, что ему предлежало сказать и совершить за трапезой, углубился в свою скорбь перед неизбежностью предстоящего подвига. Но вот Иуда поднялся, и все апостолы смутились еще неясным предчувствием; впереди всех открытая, живая, говорящая фигура Петра освещена вполне – она дышит негодованием. Сам Иуда слился и ушел в какое-то мрачное, зловещее пятно и в нем скрыл свое лицо и всю фигуру. Не знаем, достало ли бы у г. Ге и у всех первоклассных художников силы изобразить отчетливо – не эскизно, а освещенным полным светом – такое лицо и в такую минуту! Может быть, та же трудность – в противоположном смысле – удержала художника дать тонкую и окончательную оценку и лицу Христа в эту первую начальную минуту смертного подвига! Художник схватил один луч, блеснувший на всю группу в этот драматический момент, и осветил ее, как освещает

обыкновенно молния, когда зритель едва успеет при быстром блеске схватить поверхностные признаки освещенных предметов. Одна фигура Петра, стоящая на первом плане, осветилась сполна. Штудировать этот предмет глубже, уследить силу действия, какое произвел электрический удар на каждое лицо, прочесть эти лица, вдуматься в душу каждого и перенести на полотно – выше сил всякого таланта!

Г-н Ге сделал очень много, намекнув кистью на этот момент. Только невозможно требовательная или придирчивая критика может ожидать от такого сюжета покойной и более полной и законченной обработки деталей, выразительности лиц целой группы.

Противники этой картины делают еще два упрека художнику – первое, за скудость и убожество праздничной комнаты: может быть, они и правы – и художник действительно погрешил против евангельского текста, изобразив вместо «большой, готовой, уготованной» комнаты темное и тесное помещение. У Христа было много богатых поклонников – и, конечно, они и озаботились приготовить ему

прилично убранную комнату. Другой упрек относится к образу самого Христа. Одни говорят, что это не Христос, а какой-то простой человек, что нет в нем того благолепия, какое присвоивается образу спасителя в живописи, нужды нет, что художник не имел в виду на первом плане самого Христа, а хотел только отразить на всей группе, как мы сказали, мгновенный отблеск общего ей чувства... Эти одни образуют первую группу зрителей и судей, которых вообще можно разделить на три группы. Первая образует громадное большинство, почти всех. Они не позволяют себе глубоко вникать во внутренний смысл события, лишь бы строго, хотя, пожалуй, и грубо, соблюдены были внешние формы предания с присутствием принятых атрибутов. Они не могут не видеть в картине в то же время и иконы – и отвращаются от «светской», по их выражению, или суетной манеры писать Христа и его историю. Неразвитые из них даже не хотят видеть в И. Х. иудея и недовольны, когда художник придает Христу еврейские черты. Сектанты наши, как известно, всякую другую иконопись, кроме византийской, старин-

ного стиля, признают ересь. С большинством этой группы, стало быть, об искусстве рассуждать нельзя. Но и развитые в этой группе боязливо и недоверчиво смотрят на всякую попытку изобразить Христа иначе, как в усвоенном официальной живописью на иконах изящном образе, с открытым, никуда не смотрящим равнодушным взглядом, с покойно сложенными устами, с сиянием вокруг головы и с симметрическим распадением волос на обе стороны, нужды нет, что движение, или драма, или состояние события требуют и соответствующего выражения. У большинства верующих зрителей сложилось с детства известное весьма спокойное представление об образе И. Х., как окаменевшее историческое воспоминание, переданное текстом евангелия или иконописью, и установилось такое же спокойное, хотя и благоговейное чувство, с которым они привычно слушают чтение евангелия – и с этим же чувством подступают и к каждому сюжету на картине, почерпнутому из жизни спасителя. Буква преданий в живописи долго соблюдалась в исторической школе, особенно при деспотизме като-

лицизма, когда и знаменитые художники боялись Рима. Не говорим о Рафаэле, который вместе с другими должен был строго исполнять заказы монастырей, изображая, например, церковь рядом с головой божией матери или другие, указываемые преданием атрибуты. Но, например, Поль Веронез, такой сильный реалист в обстановке евангельских событий, не изменил, однако, нигде лица спасителя, придавая ему на всех своих картинах одинаково покойное выражение. Если легко художнику удовлетворить эту первую группу, дав им покойный, так сказать, церковный образ Христа, то требование другой группы удовлетворить совсем нельзя. Группа эта, конечно, немногочисленна, и зрители из нее почти составляют исключение. Они требуют, они убеждены, что в лице, в фигуре, словом, во всей личности И. Х. «должно было быть» что-нибудь особенное. Что же? На это ответа не получите, разве иногда последует неопределенный жест рукой. Надо разуместь, по их словам, под этим «особенным» что-то сверхъестественное, не человеческое, божественное. Легко сказать! как его вообразить и изобра-

зить – они не говорят: это дело художника – а нам дай человека и бога!

Но было ли божественное в земном образе Христа – и кто видел это? Не было, иначе бы мир знал о том.

Если б И. Х., приняв образ человеческий, придал ему черты своего божественного естества, тогда не только все иудеи, но все люди, весь мир сразу пали бы ниц и признали в нем бога, следовательно не было бы ни борьбы, ни подвига, ни страданий, ни тайны искупления. Где была бы заслуга веры, которой одной требует учение Христово? В своем особенном, необыкновенном или божественном виде явился он только трем ученикам в преображении на горе – и они смутились и пали ниц – и потом, по запрещению его, ничего о том не говорили другим, и до нас не дошло, что они видели – кроме только того, что лицо его блистало, как солнце, и одежды были белы, как снег. К остальной группе уже можно отнести всех тех, которые допускают свободу, свойственную искусству, в изображении сюжетов, св. писания, предоставляя художнику проникать творчеством в смысл событий и

лиц и изображать их реально, то есть как оно было и происходило.

Слава богу, если художник и своим чувством приблизился к лицу или событию так, что они говорят и чувству веры в зрителе, но цель искусства достигнута, когда он изобразил одну художественную правду, не искажая исторической. Следовательно, в образе Христа можно и должно представлять себе все совершенства – но выразившиеся в чистейших и тончайших человеческих чертах! Конечно, это и будет то, что отличают в человеке как искру божества. Как же будет идеализировать художник черты высшей мудрости, высшей благости и кротости, чистоты душевной и высоких помыслов – он должен искать, как они выражаются, у высших и лучших, пожалуй особенных, но все же человеческих натур! Другого образа художнику нет, и если бы в грезах творчества и явился образ, то все-таки образ известного ему – того, что видал он и другие люди. Поэтому все попытки изобразить божество, то есть его сущность, а не условную форму атрибутов, останутся всегда бессильными попытками – у самых искрен-

них и пламенных христиан, начиная с самого Рафаэля. И не только всегда окажутся бессильны человеческие попытки изобразить божественность Христа кистью, но даже и некоторые чудесные, по свойству своему, события иногда не поддадутся пластическому искусству – и тут самый религиозный художник рискует ввести в соблазн набожного зрителя. Например – в таких событиях, как вознесение, отделившаяся от земли и возносящаяся фигура И. Х. всегда будет представлять неодолимые трудности для художника в постановке фигуры, позы ног и рук в должном, приличном виде: привычный глаз христианина, конечно, угадает в этом событии Христа, но взгляд иноверца может дать событию другое, вовсе не религиозное значение – доказательство, как бессильно становится искусство, когда оно вздумает из человеческих границ выступить в сферу чудесного и сверхъестественного! Мы упомянули сейчас о Рафаэле. Кажется, его нельзя заподозрить в атеизме – за одну Сикстинскую мадонну, если б вся его художественная деятельность и не была посвящена религиозным сюжетам. Да, такой

картины скептик не написал бы на этот сюжет. Только из верующей души великого художника мог изойти на полотно этот идеал матери богочеловека, и притом девы. Здесь не было никакой лжи, никакой бездны между чувством человека и творца художника, никакого сомнения. Рафаэль верил, что эта чистая дева родила младенца бога – и воплотил ее образ в искусстве, как он виделся ему в живом творческом сне. Ее непорочность, смирение и таинственный трепет великого счастья – вся душа необыкновенной девы, рассказанная евангелием, говорит ее лицом, в ее глазах, в смиренной, обожательной позе, в какой она держит младенца. Но зритель не вдруг увидит все эти черты – прежде всего при первом взгляде его поражает эта живая, как бы выступающая из рамки женщина, с такими теплыми, чистыми, нежными, девственными чертами лица, так ясно, но телесно глядящая на вас – что как будто робеешь ее взгляда. Потом уже зритель вглядывается и вдумывается в душу и помыслы этого лица – и тогда найдет, что Рафаэль инстинктом художника угадал и воплотил евангельский

идеал девы Марии – все же не божество, а идеал женщины, под наитием чистой думы, с кроткими лучами высокого блаженства в глазах. То же самое прочел бы в этом кротком лице и развитой мусульманин, и брамин, и даже атеист. Только верующий христианин, зная источник этих чувств, признает в ней Божию мать. Следовательно, чувство веры должен приносить и зритель, чтоб увидеть в картине спасителя или девы Марии не просто человека, а богочеловека, а в деве Марии – мать бога, чего неверующий никогда не увидит, с какою бы верой и с каким бы гениальным талантом ни писал живописец. Но тот же Рафаэль на той же картине посягнул на изображение бога в лице младенца и остался бессильным, придав ему зрелое, почти старческое выражение, желая, конечно, сделать мудрым – божеским, – и сделал мудреную, неправдоподобную, неестественную для туловища ребенка голову. И там же, на том же полотне, два ангела запечатлены тою классической красотой детства, которую Рафаэль воплотил в своих младенцах Иисусах. И все его попытки нарисовать божество везде разреша-

лись таким же воплощением того, что есть самого чистого и нежного и совершенного в человеческой натуре. В других его мадоннах – например Мадонна с цветами (в Луврской – и прочих знаменитых), везде в лице божией матери является тип чистейшей и нежнейшей матери во всей ее материнской – и только материнской красоте, без примеси всякой другой любви, всякого другого земного чувства. Улыбка, взгляд – объятие, поза ее, поза младенца, поза каждого пальца обнимающей руки или взгляд ее и его взгляд, когда он не у ней на руках, – вся эта самая тонкая, самая грациозная и нежнейшая идеализация лучшего из человеческих чувств. Какою гармонией линий, красок и поз в фигурах и гармонией смысла или лучей их лиц выражена таинственная и неразрывная связь этих двух существ между собою. Красота матери отражается на ребенке и красота ребенка на ней! Никакая профанация неспособна отыскать другую красоту в этих, уже иногда созревших, женских полных формах плеч, бюста и рук матери. Той общей красоты, в том смысле, как мы требуем ее от женщин, у рафаэлев-

ских мадонн нет нигде, как нигде и не бывает ее в матерях над колыбелью, даже полураздетых, с обнаженной питающей грудью. Красота матери перешла в красоту младенца. Ни у кого, нигде светлее, прозрачнее, так сказать, и чище не отражалась и красота младенческая, как в картинах Рафаэля. Его младенцы-Иисусы всегда как будто облиты лучами солнца – так мягки, нежны, младенчески пухлы и теплы их формы под его кистью, что как будто нет у них контуров. Красота его матерей и младенцев всеобщая, всемирная красота, не имеющая национальностей. Она во взгляде непорочности и неведения, чуждом всякой порчи и тени, она в улыбке, она в слезах – она, наконец, в этой младенческой грации движений, которой не в силах нарушить ребенок, как он ни кривляйся! Во всякой молодой матери, которая дышит одним чувством – любовью к ребенку, – скользит этот луч красоты мадонны – и все младенцы нежного возраста – более или менее рафаэлевские младенцы, если природа или судьба не обидела их случайною уродливостью или болезнью.

И вот в чем заслуга Рафаэля – это в воплощении в божией матери, и в младенце Иисусе не божества, а нежнейшей и тончайшей красоты матери, высказанной в любви к младенцу и в грации и непорочности вечной детской красоты!

Стало быть, спросят, изображение религиозных сюжетов доступно всякому художнику – и вера или безверие не имеют никакого влияния на творческое исполнение картины? Нет, христианская вера имеет огромное и единственное влияние. Если она способна развиваться до фанатизма и давать героев и мучеников, то она, как стимул, имела всемогущее влияние на творческую фантазию художника. Все почти гении искусства принадлежат христианству. Одно оно, поглотив древнюю цивилизацию и открыв человечеству бесконечную область духа – на фундаменте древней пластики, воздвигло новые и вечные идеалы, к которым стремится и всегда будет стремиться человечество. Что ни делай разрушители, скептики, философы, но они не уничтожат в человечестве религии и с ней стремления к идеалам, а чище и выше ре-

лигии христианской – нет: это признал сам Ренан, противник божественности Христа – и нет другой цивилизации, кроме христианской, все прочие религии не дают человечеству ничего, кроме мрака, темноты, невежества и путаницы. Повторяем, только под влиянием такого сильного стимула, как вера – фантазия художника могла произвести Сикстинскую мадонну и другие чудеса искусства – конечно, при гениальном таланте. Одна вера без таланта или с малым талантом произвела и производит бесконечное множество усердных, но слабых попыток искусства, которыми наполнены старые и новые музеи. Может быть, и сильный талант, не имея такого могучего стимула, как вера, нарисовав верно то или другое в картине, не дорисуется до тех живых и осязательных образов, какими они являются верующему зрителю в евангелии.

Мы повторим, что подобное Сикстинской мадонне произведение могло быть совершенно только верующим гениальным талантом: здесь одно помогало другому – вера таланту. Но для изображения правдивости явления – повторим также – нет надобности знать, веру-

ет или не верует художник.

Обратимся к картине г. Крамского и к его изображению Христа.

Здесь мы встречаем немалое затруднение к выражению категорического мнения – ввиду тех воззрений, которые возникли в публике по поводу попыток художников внести отчасти реализм в сюжеты из св. писания: критику почти приходится решать, вместе с вопросом о достоинствах и недостатках картины – вопрос и о том, верует ли художник, или не верует. Зачем бы, казалось, критике общественного мнения мешаться не в свое дело и вносить догматику веры туда, где ее не может быть, как, например, в картину? Все те, которые требуют видеть в живописном виде спасителя, мысленно представляют его или в образе полуобнаженного страдания, с терновым венцом на голове, как у Гвидо Рени, или в победительном образе богочеловека, с благообразным лицом, светлым фосфорическим взглядом, в повелительной позе и с выражением славы, совокупности всех совершенств в чертах. В воображении все можно представлять себе, тем более что эта живая и подвиж-

ная способность в секунду, незаметно для сознания, дает три, четыре или более оттиска различных лиц и множество выражений, которым немудрено слиться в впечатлении в одно лицо. Не надо забывать ограниченных условий живописи, о которых сказано выше: о времени, о моменте и о невозможности слить на холсте чувственные проявления мысли, чувства, воли в одно совокупное выражение, которое передавало бы понятие в целом Христе как боге.

У всех, самых знаменитых художников Христос является везде человеком, нигде богом, так как божественность его выразилась, как выше я напомнил, не в одном моменте, а в целой его жизни, в его учении, подвигах и страдании. В Христе Гвидо Рени является одна черта во взоре, обращенном к небу, – это сила страдания и того, для чего нет русского слова, *résignation*[37].

У Тицианова Христа – *Christ à la monnaie* [38] – на прекрасном, исхудалом бледном лице пронизательный, тонкий взгляд обличает лукавого иудея – и вместе теплится кротостью и благостью, свойственной натуре этого

лица. Другого ничего нет, ничего особенного, но эти живые черты ума и благости – живой человеческой фигуры – и составляют красоту картины и напоминают Христа. Следовательно, художнику необходимо остановиться на какой-нибудь минуте: Христос прощает в храме грешницу, Христос обличает жестокосердие или лицемерие иудеев, Христос предстает суду Пилата и т. д. Для живописи образ спасителя разлагается на детали, на моменты, на те или другие его помыслы, чувства или деяния, и каждой кисти может быть доступен тот или другой момент – и каким бы блеском ни сиял образ Христа в фантазии художника, последний должен всмотреться, вдуматься в этот образ и взять у него одну мысль, одно чувство, то есть один момент его жизни, и чем глубже и искреннее верит художник во Христа, как в богочеловека, тем, конечно, тоньше и яснее и совершеннее должны являться ему в творческой фантазии тот луч и свет, который он ищет для картины. Г-н Крамской избрал не момент, а целый период – пост, молитву и пребывание в пустыне. Таких моментов в сорокадневной пустыне-

ной молитве, конечно, было много. Это состояние. На всей картине лежит будто тень и с этой тенью сливается и фигура Христа, с первого раза, в нескольких шагах, мало заметная, едва отличающаяся от камней, от тона воздуха и фона дали. В двух-трех шагах только картина, когда взгляд погрузился в целую перспективу пустыни – и потом, оглядев ее, остановится на лице, фигура отделится от полотна и вперит в зрителя такой живой и пристальный взгляд. И тогда каждая черта станет яснее и яснее – и чем более вы вглядываетесь, тем глубже картина втягивает вас в себя.

Художник глубоко уводит вас в свою творческую бездну, где вы постепенно разгадываете, что он сам думал, когда писал это лицо, измученное постом, многотрудной молитвой, выстрадавшее, омывшее слезами и муками грехи мира – но добывшее себе силу на подвиг.

Вся фигура как будто немного уменьшилась против натуральной величины, сжалась – не от голода, жажды и непогоды, а от внутренней, нечеловеческой работы над своей мыслью и волей – в борьбе сил духа и плоти.

ти – и, наконец, в добытом и готовом одолении. Здесь нет праздничного, геройского, победительного величия – будущая судьба мира и всего живущего кроются в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, под рубищем – в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и силой.

Если б зритель не на картине, а в действительности неожиданно, в прогулке, набрел на этот уголок и на это явление, кто бы он ни был – он без истории, без предания, без евангелия – поразился бы страхом перед этим измученным лицом и задумчиво сильным, решительным и неодолимым взглядом. Вот впечатление, которое произвело на нас это творческое изображение Христа в его смиренном, убогом виде, в уголке пустыни, на голых камнях Палестины. Никакой обстановки, никакой выдумки и никого кругом – вдали в тумане едва виден смешанный пейзаж долины, в полутоне ночи Христос наедине с собой – с сжатыми друг в друга на колени руками и сильно опирающимися о землю ногами.

Думу, чувство высказывает и острый, болящий взор, и осунувшиеся черты, и эти сжатые

руки и ноги. Вглядитесь в окрестность, как красноречива эта темнота и все и в Христе и кругом. Здесь, кажется, вопиют и самые камни! Компетентные знатоки лучше нас доскажут о техническом исполнении: о достоинстве рисунка Христа – и об окружающем пейзаже. Стало быть, скажут, если нельзя изображать божественности – то и нет надежды, чтобы в искусстве возможно было повторение достоинств «Сикстинской мадонны» или «Снятия с креста» Рубенса в картинах религиозного содержания. Почему же нет? Вера в Христа, как в богочеловека, и гениальные таланты не выродились и, конечно, не выродятся в человеке, следовательно, явятся и художники, которые будут писать предмет и освещать его своим чувством веры. Художник пишет не один свой сюжет, а и тот тон, которым освещается этот сюжет в его фантазии. Реализм, правду сказать, посягает отделаться от этого, но это ему не удастся. Он хочет добиться какой-то абсолютной, почти математической правды, но такой правды в искусстве не существует. В искусстве предмет является не сам собой, а в отражении фантазии, которая и

придает ему тот образ, краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия. Художник и пишет не с самого предмета, которого уже нет, а с этого отражения. Потому он и обязан подчиниться этому взгляду, если хочет быть верен, а если не подчинится, то он изменит исторической правде, то есть своему же реализму, давая свою собственную, выдуманную правду. От этого и выходит, что верующие в божественность Христа художники были ближе к настоящей правде, нежели неверующие. К сожалению – не у всех было столько силы таланта, как у *Рафаэля*, *Рубенса*, *Тициана* и *Рембранта*. Современным реалистам остается придерживаться одной исторической правды и ее одну освещать своею художественною фантазиею, что они и делают, без примеси чувства веры – и от этого образы их будут, может быть, верны, выражая событие, но сухи и холодны, без тех лучей и тепла, которые дает чувство. От этого им лучше бы воздержаться от изображения священных сюжетов, которые у них всегда выйдут нереальны, то есть неверны.

После этой картины мы вправе очень много ожидать от г. Крамского. На выставке есть несколько других достойных произведений, но сюжеты их имеют свое значение, не имеющее связи с этой картиной, о которой мы только и хотели сказать несколько слов.

## **Опять «Гамлет» на русской сцене\*** **Набросок статьи о понимании и исполнении на сцене «Гамлета»**

Такие художественные праздники, как появление пьес Шекспира, Мольера, Шиллера и кое-кого еще из классиков, становятся давно уже все реже и реже. Это можно отчасти объяснить, но отнюдь не оправдать обилием нового репертуара и новыми путями, проложенными в искусстве и захватившими весь сценический простор. Как одни старые драматурги не в состоянии были только собою постоянно пополнять сцену и удовлетворять огромную и разнообразную толпу, так и новые деятели не в состоянии удовлетворять собою все умы, образования и вкусы толпы. Как бы ни были обильны и увлекательны вновь пробиваемые пути юными и смелыми талантами, но безоглядный разрыв со ста-

рыми великими авторитетами, с их школами и преданиями – не увеличит силы новых, а только лишит их произведения той крови и тех соков жизни, которые наследственно переходят от старых поколений к новым.

Это понимают старые общества в Европе, – и в Париже, например, каждый год, в известный сезон, являются на сцене Корнель, Расин, Мольер, а другие в Вене восстанавливают в их древней обстановке и греческих трагиков, – что вместе взятое образует собою своего рода драматическую академию, где публика знакомится с отцами искусства, а драматические артисты изучают великие образцы.

Во всех музеях живописи и скульптуры произведениям старых школ отведены первые лучшие галереи, – и новые школы и мастера продолжают дополнять исторический ход искусства, не вытесняя старых деятелей. Так должно быть и в других искусствах.

Русское образованное общество разрослось в значительную толпу, для которой является настоятельно такая же потребность в разделении сцен и артистов на подлежащие отделы по репертуарам драматической литерату-

ры и по родам дарований артистов.

Одна и та же труппа, подчиняясь господствующему репертуару, по необходимости обязана подчинять таланты своих артистов известным специальностям одного рода или жанра пьес, часто не соответствующим их природным дарованиям. Это обязательное насилие над своим талантом вредит общим интересам искусства, стесняя его сферу в известные, хотя бы и очень характерные границы.

Господствующим репертуаром у нас теперь служит школа Островского. В последнее время сделано только несколько попыток выйти из этого очарованного круга народно-русского быта, нравов, манер, костюмов, жаргона и прочего. Но попытки эти, не заключая в себе не только силы таланта Островского, но не равняясь с его последователями, не могли образовать собою особого от этой школы репертуара – и артисты остаются доселе верными исполнителями ролей, не выходящих из уровня купеческой, крестьянской и мелкочиновнической среды. Нравы высшего по образованию, европейско-русского общества остаются почти неприкосновен-

ными, ожидающими своего комика и трагика.

Поэтому большинство артистов в русских труппах на наших театрах образовались под влиянием этой школы и остаются ей верными. Из этого выходит, что некоторые из артистов, выйдя на сцену во фраке в роли, выходящей из круга типичных народно-русских бытовых ролей, не знают, что делать с собой.

Мы отнюдь не хотим упрекнуть их в верности господствующему направлению, напротив, мы видим в том только свидетельство силы нашего знаменитого драматурга, создавшего целую школу, и, следовательно, законности существования этой школы, для которой потребен свой особый театр. Театр Островского занял и будет всегда занимать огромное место в литературе и на сцене.

Мы хотим сказать, что и теперь уже этого одного театра и одной труппы все-таки не довольно, чтобы удовлетворять разнообразию вкусов любителей драматического искусства, которое не может и не должно, конечно, сосредоточиваться на одних только интересах русского нравоописательного жанра.

Труппа, получившая одно исключительное нравоописательное направление, не дает уже артистов почти ни для какого другого репертуара. В ней нет даже исполнителей, например, для драм того же самого Островского. Где актеры для Шуйского, Самозванца, Марины, Минина? Их всех втянул в себя юмор типичных ролей купцов, мещан и т. д. обыденного великорусского быта.

На сцене отвыкли говорить обыкновенным языком образованного общества.

Явилась превосходная пьеса «Смерть Иоанна Грозного» графа Толстого – и талантливым артистам не удалось стать на высоту характеров героев и возвышенного тона характерного и в то же время реального языка этой блистательной драмы-хроники.

От этого смешения родов, видов и жанра в труппе некоторые из артистов ее до сих пор находятся в каком-то фальшивом положении. Они – как будто лишние в труппе. Играют они в случайно появляющихся – не бытовых, большею частью крайне посредственных, нравоописательных комедиях – и потом исчезают опять надолго. Даже такой сильный та-

лант, как г. Самойлов, появляется редко и будто случайно и только благодаря этой силе создает роли в бледных произведениях малоизвестных писателей. Он не подчинился исключительно школе Островского не по одной только силе таланта, но и потому еще, что он предшествовал ей, что принадлежит к прежней школе, ко времени Щепкина, Каратыгина, Мартынова и Сосницкого, и был уже готовым, законченным артистом до господства нравоописательной комедии – и таким же своеобразным остался и после нее.

Есть и еще немногие, опередившие эту школу на русской сцене, как, например, гг. Каратыгин, Степанов, Леонидов и, может быть, кто-нибудь еще, принадлежащие к прежнему времени. К числу таких же артистов принадлежит позже первых пришедший из молодых артистов, это – г. Нильский, герой дня и этой заметки. Поэтому скажем несколько слов о нем.

Г-н Нильский<sup>1</sup> стоит также особняком в этой труппе, единственно благодаря смешанности в исполнении всяких репертуаров. Преобладание репертуара нравоописательных

пьес над другими образовало не только большинство русской труппы, но и привлекло большинство симпатий в публике. Вкус последней законно увлекся силой таланта драматурга в известную сторону – и любимцами публики сделались талантливые исполнители его ролей. Здесь Садовский, Васильев и прочие стали первыми сюжетами. Но эти же таланты также не могли занимать почти никаких амплуа во всяком другом репертуаре, кроме Островского и его последователей.

В настоящем господствующем репертуаре и направлении у г. Нильского мало было ролей – и в те он никогда не вносил того кидающегося в глаза реализма, той мелкой наблюдательности и живописной подражательности внешней характерности лиц купцов, мелких чиновников и т. п. Ни под их приемы, ни под физиономии, жаргон, – словом, под эти нравы он подделаться никогда не мог – это не его жанр. У него ни фигура, ни лицо, ни манеры не годились для характерно-комических, иногда карикатурных ролей. Роли его, например, в пьесах Островского, сравнительно с прочими были неблагодарные, довольно

бледные (в «Доходном месте», «На бойком месте») – это роли *jeune premier*[39] или удалца-франта и т. п.

Но и эти роли г. Нильский играл с большим умом, умением и тактом, которые, однако, благодаря увлекательной типичности прочих ярких и характерных ролей в тех же пьесах, проходили малозаметно или замечались немногими. Он играет как следует, хорошо, верно – ну, и прекрасно. Но в его роли нет рисунка, иногда карикатуры, нет живописных деталей, нет копии с чудака-купца или подьячего, или мастерового, которого видишь как живого – и, конечно, трепещешь от удовольствия при мастерстве актера схватывать и представлять живо эти нравы. Нильский – барин, среди этой кучи, как все господа – и только!

И только ли? Публика понимает, однако, что *не только одно* это, но и что в г. Нильском есть много достоинств.

Она видит, что в каждом слове, произносимом г. Нильским, виден ум, понимание, образование, привычка тона и манер порядочного человека – может быть, она судит также, что

в характерных бытовых пьесах он иногда, может быть он, например, в «Доходном месте», и берет, пожалуй, тон несколько выше окружающих его людей – и что он как будто не на своем месте, он слишком выше всех в этой смешанной толпе – своим воспитанием и манерами.

Может быть – это правда – и не сам артист, а род его амплуа мало дает ему повода высказывать в вышеупомянутых пьесах тонкие стороны его дарования. Публика, кажется, видит все это и оттого – помимо постоянного и непонятного нерасположения, обнаруживаемого печатною критикою к г. Нильскому, ценит по-своему талант и заслуги артиста не с восторженными, но всегда благосклонными и благодарными рукоплесканиями и частыми вызовами. И на каждой сцене всякого театра за границей г. Нильский нашел бы еще большую оценку и едва ли бы встретил такую постоянную вражду в печати.

Ряд ролей, исполненных им не только в пьесах г. Островского, но и в других – довольно неблагодарны вообще: это роли *jeunes premiers, des hommes distingués*[40] или роли

щеголей, хватов и т. п. – самые трудные, почти бесколоритные, так сказать, отрицательные роли – особенно если они лишены драматического пафоса, где для актера вся задача – не выходить из тона приличия, известных манер и тона.

Что эти роли очень трудны, – это известно всем, и потому на них редко встречаются удачные исполнители. Но как везде дорожат и ценят артистами на эти амплуа, хотя от них не заливается слезами, ни смехом театр – и как мало находят сюжетов на них, то есть артистов, умеющих сохранять на сцене приличный тон и манеры порядочного общества.

И если б у нас был особый отдельный репертуар от нравоописательных народных комедий – конечно, значение г. Нильского обнаружилось бы яснее и значительно бы возвысилась.

Но г. Нильский нашел случай обнаружить это значение – неожиданным, смелым и весьма удачным шагом. Он исполняет Гамлета!

Печать, еще до появления его в этой роли, отнеслась к нему беспощадно. Мы не берем на себя защищать г. Нильского от жестоких

строк, но не можем не удивиться и не пожалеть, что такие строки печатно обращены к артисту, который давно служит обществу и, как сказано выше и как знают все, пользуется уважением и благосклонностью публики.

Где же уважение если не к заслуге, то к званию и артиста вообще и артистического поприща вообще, когда из печатного органа раздаются упреки в таких выражениях, которых нельзя обратить лично в обществе от одного порядочного человека к другому? Ужели «бумага действительно должна терпеть все», по известной поговорке? И один голос из публики, конечно, может выражать одобрение или порицание, но если он выражает его не наедине, не на ухо артисту, а публично, то, конечно, для него обязательно приличие выражений. И притом еще – заблаговременное порицание, до спектакля.

Но оставим это печальное событие – предсказание неуспеха. – и обратимся к г. Нильскому в «Гамлете».

Гамлет – не типичная роль – ее никто не сыграет, и не было никогда актера, который бы сыграл ее. Можно сыграть Лира, Отелло и

многие другие шекспировские роли, где как содержание, так и очертание характеров ясны, определены до резкости, как, например, в Лире – и где, несмотря на силу, на напряженность пафоса – психологические фазисы развиваются и истекают постепенно одно из другого и в строгой последовательности открываются зрителю.

Сильному артисту есть возможность построить себя на тот тон чувств и положений, которые в Лире и Отелло идут ровным, цельным и нерушимым шагом – *crescendo* и разрешаются дружными гармоническими аккордами. Не то в Гамлете.

Гамлета сыграть нельзя – или надо им быть вполне таким, каким он создан Шекспиром. Но можно более или менее, слабее или сильнее, напоминать кое-что из него. Тонкие натуры, наделенные гибельным избытком сердца, неумолимою логикою и чуткими нервами, более или менее носят в себе частицы гамлетовской страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры.

Как исполнить все это на сцене, одному артисту, в один, так сказать, прием, в один ве-

чер, все, что переживает, думает, чувствует и говорит Гамлет? Где взять сил живому Гамлету, чтоб дойти до последней сцены, не истощившись на одной, до дна души прочувствованной какой-нибудь сцене, не упасть от нервной дрожи и рыданий и не кончить тут всякую игру – как, например, в сцене Гамлета с матерью или после представления комедии? А ему ни падать, ни медлить нельзя, за стоном сердца у него следует порыв злобы и сознание роковой своей задачи – он должен в ней истощиться, как вечный жид! Не выдержал бы человек – никакой актер, если б он мог искренно, душевно пройти через всю пьесу – через все перипетии переживаемых им мыслей, чувств, замыслов, падений, терзаний. Невозможно!

Итак артисту, играющему Гамлета, надо быть им в душе, чтобы даже напомнить отчасти шекспировского Гамлета. Требование с первого раза кажется неисполнимое, а между тем Гамлеты не так редки, как с первого раза кажется, глядя на великий образец шекспировского Гамлета. Все дело в размерах – лиц и событий. Кто потрудится вдуматься поглуб-

же в это лицо – тот найдет, может быть, и в самом себе и во многих других родственные с Гамлетом свойства. Не говорим «черты» – ибо очертаний, признаков, по которым можно узнавать Гамлетов – нет. Оттого и говорим смело, что Гамлет – не тип. Все те психологические движения, какие играют в душе Гамлета, не могут наслаиваться, как обычные проявления характеров в обычной среде жизни и образовать вседневное, повторяющееся на глазах всякого явление или тип. Какой Гамлет знает, как он поступит и как надо поступить – в той или другой схватке здоровой и четкой логики с той или другой ложью, кому и как нанесет он удары в этой, для него еще мало освещенной толпе лиц и дел. На одних не поднимается рука, другие ускользают – так он ослеплен обманом или сомнением – и он идет часто наудачу, а когда осветилось все зло перед ним – он изнемог и пал первый. Свойства Гамлета – это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления. Их нет тогда в состоянии покоя: они рождаются от прикосновения бури, под ударами, в борьбе. В нормальном положении Гамлет ни-

чем не отличается от других. Он не лев, не герой, не грозен, он строго честен, благороден, добр – словом, джентльмен, как был его отец, как был он сам, если б остался жив. Он светло и славно прожил бы свой век, если бы в мире все было светло и славно, но он столкнулся сначала с горькою (потеря отца и вторичный поспешный брак матери), потом с страшной действительностью. Ему выпал жребий вдруг из светлого облака правды и любви, которыми он жил и в которые так верил, – вдруг всеми глазами взглянуть во все ужасы жизненной бездны – и, мало того, стать по роковому вызову судьбы, которому он не может еще верить, стать борцом со злом, судьей, мстителем – и главной искупительной жертвой!

Он, влекомый роковой силой, идет – потому что должен идти, хотя лучше, как он сам говорит, хотел бы умереть, даже у него бродит в душе параллель о том, «быть или не быть» – слабая, то есть менее честная и строгая натура не усумнилась бы нанести себе «удар кинжала», о котором он мечтает, и кончить все. Другая, еще слабее – просто не вынесла бы борьбы и пала сама собой, предоста-

вив простор массе накопившегося зла, и оно разыграло бы свое дело. Но закон судьбы требовал возмездия – и указал роль мстителя Гамлету – вся драма его в том, что он – человек, не машина, не воплощение правосудия, которому бы было так легко произвести кровавую расплату и успокоиться. Нет, он весь – человек, тот человек, каким он называет отца. Ему надо идти вперед, куда зовет его долг, в виде призрака отца, но идти нельзя – там первая жертва – его мать. И отступить нельзя – сзади опять призрак отца, царство зла должно пасть – он это знает, но он предчувствует, что падет и он сам, что организм не устоит под таким ударом, какие обрушились на него. От этого сомнения – падение духа. Он слабеет, мечется, впадает в тоску и отчаяние. Но все идет вперед и дойдет: такие натуры не падают вконец и не сворачивают в сторону.

Не выдерживает его организм и падает, потому что в нем нет не больного, не отравленного места – но он так же не способен бы был отступить, как не способен бы был холодно, как судья и палач, сильно и равнодушно наносить эти удары. Он дойдет до цели – и сам

падет там: он это знает. Чтобы остановиться, ему надо – или умереть на пути, или увериться каким-нибудь чудом, что все это зло – химера.

Он даже хочет сомневаться, но страшная действительность с каждым шагом вперед уверяет его в противном.

Легко сказать: быть Гамлетом!

Да, надо быть им, чтобы исполнить шекспировского Гамлета или носить в себе часть гамлетовских свойств, чтобы хоть напоминать великий шекспировский образ Гамлета! Это последнее, конечно, только и могли сделать артисты, прославившиеся исполнением Гамлета.

И это не шутка: быть отчасти Гамлетом! – скажут многие. Какая шутка: боже сохрани всякого от тех явлений, которые ставят в положение Гамлетов! Что такое Гамлет? Это не тип, сказано выше – и он не может быть типом. Типы образуются и плодятся в обыденной среде текущих явлений жизни: повторения этих явлений наслаиваются и образуют многие экземпляры или виды, всеми отличающиеся в толпе по обычным чертам, призна-

кам, формам. Типичные черты или капитальные свойства Гамлета – это его доброта, честность, благородство и строгая логика. Свойства слишком общие, свойственные человеческой натуре вообще и не кладущие никакой особой видимой печати на характер. Это совершенный джентельмен – или «человек», каким был его отец, по его словам. Он светло и славно прожил бы свой век, если б в мире было все славно и светло и если б не постиг его роковой вызов судьбы. Он одолел бы всякое обычное зло, победоносно рассеивал бы обиденный, свойственный людским делам мрак лжи и всяких зол. Но его силам суждено было померяться не с обычной сферой зла, а с бедами чрезвычайных размеров, – победить их и пасть. И вот где, среди необычайных обстоятельств, только и могла выразиться вполне личность Гамлета.

Типичен Лир, типичен Отелло – их черты и признаки более или менее рассеяны в людской толпе. Надо было только руку Шекспира, чтобы отлить в громадные фигуры бесчисленные типы и типики, являющиеся там и сям среди людей.

Типичен даже Макбет – этот случайный злодей, наведенный на зло посторонней женской волей – и потом малодушный, жалкий, уже падший задолго до наступления кары, расплаты. Такая личность в разнообразных размерах нередко мелькает в уголовных процессах. Лир – в котором сан короля «от головы до пяток» подавил человека. Гордость власти заела душу, сердце – и он хотел обратить ее в религию самому себе и всему, что ему повинуется – к самому себе.

Ею он заглушил в себе любовь к близким. Дочери давно перестали быть его дочерьми – они его подданные. Он требует любви от них не как отец, а как король. Но здесь власть оказалась ограниченнее, нежели он думал. Она же его увлекла в гибельную ошибку: в доверие к тем сердцам, где был только страх его власти и где не было любви к нему.

А та любовь, которая была в одной из них, он не узнал ее – она являлась в своей природной простоте перед *отцом*, и без трепета перед королем. И ослепленный король, не чувствуя в себе отца, казнил ее, как взбунтовавшуюся подданную. С потерей власти – он по-

терял все.

Как часто повторяется этот пример ослепленного и обманутого доверия. Вся драма Лира и всех его типов и типиков, до купца Большова, у Островского, – сосредоточена на расплате, повидимому, за обманутое доверие, как будто не по их вине, а собственно за преступное свое самообольщение и самообожание, за слепую веру в себя и в свою силу. Горестен и тяжел путь возврата Лира к утраченному им человеческому подобию, к этому медленному превращению короля опять в человека. Только на пороге гроба, после безумия становится он опять человеком при светлой и нежной улыбке существа, любви которого он не узнал в ее трогательной простоте. Потеряв и это и почувствовав в себе человека, он уже не мог и не для чего ему было жить.

А Отелло? Как цельно сжалась и как сильно разыгралась ревность, эта жгучая спутница любви в страстной душе негра! У него не было никаких подготовительных пособий развития для анализа и одоления страсти. Как самородок – цельный, не истеричный в борьбе с житейской мелкой суетой – он не

мог разбавить ничем крупных органических элементов своей прямой, честной, но пылководной натурой.

Один рассудок оказался бессилён, а опыт тонкой игры страстей и страстишек, злости, лжи, зависти – были ему чужды. Ревность ворвалась, как река, и разорвала все плотины и увлекла с собой и его и с ним все, что попало в этот поток.

И везде одинаково, с различием в размерах, и отзовется эта вечная, типичная человеческая драма! (См выше о Макбете.)

И в Лире, и в Макбете, и в Отелло можно предсказать, как поступят они в данном событии, потому что Лир был бы Лиром и без школы несчастий, так как у него характер был готов.

## **Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»\***

**П**лан романа «Обрыв» родился у меня в 1849 году на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провин-

циальной жизни – все это расшевелило мою фантазию, – и я тогда же начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался обработкой у меня в голове другой роман – «Обломов». Но и тот и другой приостановлены были кругосветным плаванием в 1852, 1853 и 1854 годах, по окончании которого и по издании «Фрегата „Паллада“», я обратился к забытым романам, и в 1857–1858 годах кончил и издал «Обломова», а затем уже исключительно посвятил себя обработке «Обрыва», из которого отрывки читал приятелям и иные в 1860–1861 годах печатал в журналах.

В «Обрыве» сначала занимали меня более всего три лица: *Бабушка, Райский и Вера*. По мере того как роман развивался, обрабатывался в голове, расширялись и его пределы, усложнялась задача и возрастало число действующих лиц. Прежде всего я сосредоточился на Вере, на образе ее честной, женской любви, обратившейся по несчастным обстоятельствам в гибельную страсть. Меня увлекали проявления страсти в чистой и гордой натуре женщины и борьба ее с ней. Вообще меня всюду поражал процесс разнообразного

проявления страсти, то есть любви, который, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу – и людей и людских дел. Я наблюдал игру этой страсти всюду, где видел ее признаки, и всегда порывался изобразить их, может быть, потому, что игра страстей дает художнику богатый материал живых эффектов, драматических положений, и сообщает больше жизни его созданиям.

Работая над серьезной и пылкой страстью Веры, я невольно расшевелил и исчерпал в романе почти все образы страстей. Явилась страсть Райского к Вере, особый вид страсти, свойственный его характеру, потом страсть Тушина к ней же, глубокая, разумно человеческая, основанная на сознании и убеждении в нравственных совершенствах Веры; далее бессознательная, почти слепая страсть учителя Козлова к своей неверной жене; наконец дикая, животная, но упорная и сосредоточенная страсть простого мужика Савелья к жене его Марине, этой крепостной Мессалине.

Я не соображал и не рассчитывал этого, как алгебраическую выкладку: нет, все эти параллели страстей явились сами собою, как

сами же собой, будто для противоположности этим страстям, явились две женские фигуры – без всякого признака страстей: это – Софья Беловодова, петербургская дама, и Марфенька, сестра Веры.

Первую из них укрыло от страстей заботливое воспитание большого, знатного дома, где хотели уберечь ее от всяких опасных увлечений, от всякого faux pas[41], и так успели в этом, что заглушили в ней почти все женские инстинкты чувства, принеся ее в жертву свету, гордости рода и всяким convenances[42]. Она – красивая фигура, машинально исполняющая все, что указал ей неумолимый долг ее круга и воспитания. Райский, как ни бился, не успел пробудить в ней ни одной искры чувства; успел немного граф Милари, – но и то обнаружилось слабо.

В Марфеньке, напротив того, страсть отсутствует по другим причинам: по ее простой, здоровой натуре, которую не страх и не предрассудки, а любовь Бабушки уберегла от страстей, как она же уберегла и ее здоровый организм от всякой болезни. Любовь Бабушки зорко следит за ней, но не мешает развитию в

ней простого и естественного чувства к жениху. Марфенька не горда, как Вера, – она проста, как сама природа, среди которой она родилась и выросла, и потому, любя Бабушку, веря ее житейской опытности и мудрости и доверяя ее любви к себе, она вверила ее руководству все интересы своей жизни, и между прочим, и свою любовь. Она верна своему долгу, то есть своей любви к Бабушке, – и долг этот не есть гнет, а счастье. Она без Бабушки боится жить на свете, но со временем, конечно, с опытом и летами, сама будет, в свою очередь, такой же *Бабушкой*.

Таким образом, на первом плане в романе являются неизбежные отношения обоих полов между собою – и в своем простом, естественном виде, как у Марфеньки с Викентьевым, и в извращенном виде, в образе несчастных или безобразных страстей, этих болезней, поражающих тело и душу разом. Болезни эти развиваются от разных причин: от препятствий, от неправильного понимания и злоупотребления чувства любви, потом от дурного, небрежного воспитания, как у жены учителя Козлова, и, наконец, от отсутствия

всякого человеческого осмысления, как, например, в дворовой женщине Марине.

Весь ряд этих личностей представляет некоторую градацию, где на высоте стоят безупречные – *Беловодова* и *Марфенька*, потом *Бабушка* и *Вера*, и, наконец, нисходит до крайнего злоупотребления человеческой природы – в жене Козлова и в Марине. Последняя уже представляет окончательное падение человека до животного.

Нередко слышишь упреки: зачем художник избирает такие сюжеты, как, например, болезни-страсти, их уродливости, безобразные явления, и такие лица, как Вера, Бабушка, с их *падениями*, и, наконец (*quelle horreur!* [43]), жена Козлова и Марина?

Как скоро эти лица – люди, так и нельзя обходить их и нельзя отворачиваться от их пороков и слабостей. Лучше бы изображать только чистых и безупречных героев и героинь, но тогда искусство было бы, как в прежнее *bon vieux temps*[44], только забавой, развлечением досуга. Между тем в наше время, когда человеческое общество выходит из детства и заметно зреет, когда наука, ремесла,

промышленность – делают серьезные шаги, искусство отставать от них не может. Оно имеет тоже серьезную задачу – это довершать воспитание и совершенствовать человека. Оно так же, как наука, учит чему-нибудь, остерегает, убеждает, изображает *истину*, но только у него другие пути и приемы: эти пути – чувство и фантазия. Художник – тот же мыслитель, но он мыслит не посредственно, а образами. Верная сцена или удачный портрет действуют сильнее всякой морали, изложенной в сентенции.

Европейские литературы вышли из детства – и теперь ни на кого не подействует не только какая-нибудь идиллия, сонет, гимн, картинка или лирическое излияние чувства в стихах, но даже и басни мало, чтобы дать урок читателю. Это все уходит в роман, в рамки которого укладываются большие эпизоды жизни, иногда целая жизнь, в которой, как в большой картине, всякий читатель найдет что-нибудь близкое и знакомое ему.

Поэтому роман и стал почти единственной формой беллетристики, куда не только укладываются произведения творческого искус-

ства, как, например, *Вальтера Скотта*, *Диккенса*, *Теккерея*, *Пушкина* и *Гоголя*, но и не художники избирают эту форму, доступную массе публики, чтоб провести удобнее в большинство читателей разные вопросы дня или свои любимые задачи: политические, социальные, экономические; даже рабочий вопрос и тот нашел место в романе Шпильгагена «Один в поле не воин».

Но я не буду говорить об этих последних писателях: это не художники, и романы их без поэзии – произведения искусства, а памфлеты, фельетоны или журнальные статьи, изображающие «злобу дня».

Кроме названных выше первоклассных писателей, следует фаланга писателей 2-го и 3-го разрядов, имя которым – *легион*. Мы все (и я тут же) работаем умом и фантазией добросовестно – и успеваем, насколько есть у нас и того и другого.

И всякий из нас, насколько есть таланта, стремится к верному и по возможности полному изображению жизни. Талант имеет то драгоценное свойство, что он не может лгать, искажать истину; художник перестает быть

художником, как скоро он станет защищать софизм, а еще менее, если он вздумает изображать сознательно ложь. Перестанет он также быть художником и в таком случае, если удалится от образа и станет на почву мыслителя, умника или моралиста и проповедника. Его дело изображать и изображать.

Таким образом, изображать одно хорошее, светлое, отрадное в человеческой природе – значит *скрадывать правду*, то есть изображать неполно и потому неверно. А это будет монотонно, приторно и сладко. Света без тени изобразить нельзя. Мрак без света изобразить легко, и искусство давно уже стало на отрицательный путь, то есть перестало льстить людям, отыскивая в них одни хорошие стороны и забывая мрачные. Гоголь справедливо сказал, что если бы он в «Ревизоре» допустил хоть одно безупречное лицо, все зрители непременно подвели бы себя под него, и ни один, даже про себя, не взял бы на свою долю ни одной дурной черты порочных лиц.

Как скоро допустим, что на искусстве лежит серьезный долг – смягчать и улучшать

человека, то мы должны допустить, что прежде всего оно должно представлять ему нельстивое зеркало его глупостей, уродливостей, страстей, со всеми последствиями, словом – осветить все глубины жизни, обнажить ее скрытые основы и весь механизм, – тогда с сознанием явится и знание, как остеречься.

Извиняюсь в этом длинном отступлении и обращаюсь к «Обрыву». Но прежде замечу мимоходом, что я отнюдь не согласен с теми эстетиками из новых поколений, которые ограничивают цель искусства одними крайне утилитарными целями, требуя, чтобы оно отражало только жизнь, кишашую заботами нынешнего дня, изображало вчера родившихся и завтра умирающих героев и героинь, и чтобы несло в свои пределы всякую мелочь, все подробные черты, не успевшие сложиться в какой-нибудь более или менее определенный порядок, то есть образ. Искусство серьезное и строгое не может изображать хаоса, разложения, всех микроскопических явлений жизни; это дело низшего рода искусства: карикатуры, эпиграммы, летучей сатиры. Истинное произведение искусства может изоб-

ражать только устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, в физиономии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах под влиянием тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-нибудь постоянный и определенный образ формы жизни и чтобы люди этой формы явились в множестве видов или экземпляров с известными правилами, привычками. А для этого нужно, конечно, время. Только то, что оставляет заметную черту в жизни, что поступает, так сказать, в ее капитал, будущую основу, то и входит в художественное произведение, оставляющее прочный след в литературе.

Это можно пояснить недалеким примером. Россия переживает теперь великую эпоху реформ: такой эпохи, такой великой работы всего царства не было с Петра. Старые люди, как старые порядки, доживают свой срок, новые пути еще не установились; все поглощено напряженным трудом и ожиданием благих результатов. Искусству не над чем остановиться пока. Старые художники дописывают старую жизнь и прежних людей. Новых еще нет:

сама новая жизнь не вложилась в определенную физиономию, и люди не имеют определенного лица и характера. *Тургенев* (в «Записках охотника»), *Писемский*, *Григорович* – обесмертили нравы русского крепостного крестьянина, *Писемский* сверх того наплодил множество типов мелкого провинциального чиновничества. *Островский* исчерпал весь купеческий быт, и все это до реформ. Старые люди еще не перевелись, а новые не созрели и не представляют никаких определенных физиономий, с которых художник мог бы писать портреты. Реформам всего пятнадцать, а иным – десять лет от роду, – и только тогда, когда они установят жизнь и когда жизнь эта окрепнет в прочной форме и даст общий широкий образ, тогда в среде ее определятся бесчисленные образы людей. Явится уже другой крестьянин, не похожий на крепостного, другие чиновники и купцы, не прежние, а как их образует дух реформ, – и тогда явится и обильная жатва для будущих *Тургеневых*, *Писемских* и *Островских*. А до тех пор нельзя и обвинять нас, стариков, что мы изображаем только старую жизнь, как печатно упрекали

меня. Новая жизнь и новые люди не вылупились еще из яйца. Я в свою очередь спрошу: отчего же в молодом поколении не являются такие писатели, как Островский, Тургенев, Писемский? Все по той же причине: не с кого и не с чего им писать, оттого они и пишут мелочи, пустяки или придираются к старикам.

Тут бы кстати можно было упомянуть о разнице во взгляде на искусство старого и молодого поколений, но это завело бы слишком далеко, а я и без того утонул в отступлениях и отбился от «Обрыва», который взялся защищать.

Три главные фигуры, сказал я выше, занимали меня в «Обрыве»: Бабушка, Вера и Райский, особенно Райский, и Вера тоже особенно.

Райский – художник от природы; по крайней мере он наделен избытком фантазии и тонкою нервной организацией. Природа, очевидно, назначила ему кисть, резец, смычок или перо – словом, искусство, чтобы вносить в него из жизни все, что так быстро и легко воспринималось его впечатлительною и раздражительною натурой. Но недостаток арти-

стического воспитания, а потом праздная жизнь почти целого общества пятьдесят лет тому назад и обеспеченное существование не сделали из него ни художника, ни писателя, — и избыток творческой фантазии кидался в его жизнь и на каждом шагу делал ему из нее то рай, то пытку. Он живет нервами, управляемый фантазией, и страдает и блаженствует под влиянием приятных или неприятных ощущений, которым покоряется и его ум и чувства: отсюда такая подвижность и изменчивость в его натуре.

У *Тушина*, например, страсть к *Вере* сильна, разумна и сознательна, потому что, кроме красоты, она основана на убеждении в ее нравственных совершенствах. Он, вероятно, любил бы ее и не красавицей. От этого и страдания его по ней не вознаградимы, зато и счастье, если б она отвечала ему, было бы полное, совершенное и прочное на всю жизнь.

*Райский*, напротив, любит ее только фантазией и в своей фантазии. За ее наружную красоту он без всяких данных видел в ней и красоту внутреннюю, как воображал себе последнюю, и видит упорно то, что ему хочется

видеть, не допуская, что она может быть другою. Зато он и охладел к ней в один вечер и тотчас утешился, когда узнал, что она принадлежит другому, тогда как Тушин не утешился бы никогда.

Райский собственно по натуре своей есть безличное лицо, форма, непрерывно отражающая мимоидущие явления и ощущения жизни и окрашивающаяся в колорит того или другого момента.

По природе своей он честен, добр, благороден: может возвышаться сердцем и умом по развитию своему до великодушия и самопожертвования; но до сердца и ума редко доходит решение его жизненных интересов. Фантазия и нервы на каждом шагу разбивают в прах его добрые намерения. Так, к Вере он был в один момент великодушен, а в следующий – раздражительное ощущение заставило его совершить злой поступок, который завтра же он готов искупить смертью. Он сам помог ей сойти с крутизны обрыва на свидание, а потом, поглядев на это свидание, бросил ей в окно букет померанцевых цветов. А вслед за тем потухла и самая страсть к ней, – и когда

утихли раздражения, тогда только заговорили его ум и сердце, и он стал ей добрым братом и другом.

Таких людей, как Райский, наделенных избытком фантазии, много. Художники почти все такие, с тою разницей, что они трудом и муками готовились к своему делу, – и у них фантазия ушла в творческие произведения, а у Райского тратилась на пустяки: часть на любовь, на собственные романы его жизни, частью на намерения и попытки рисовать, сочинять музыку, заниматься литературой; но небрежное воспитание и отсутствие нужды и необходимости труда помешали ему овладеть техникой того или другого искусства или серьезно приготовиться к литературе, чего даром не дается.

Таких *неудачников-артистов* была бездна, особенно в прежнее время, когда верили в талант без труда и хотели отделяться от последнего, увлекаясь только успехами и наслаждениями искусства. Но серьезное искусство, как и всякое серьезное дело, требует всей жизни.

Многие из таких художников, остались в

тени, других знал и знает и теперь петербургский круг. Например, *М. Ю. В.*<sup>1</sup> всю жизнь, кажется, посвятил музыке: друг, меценат артистов, он окружал себя ими, задавался сюжетами опер, и вся деятельность его разрешилась сочинением одного романа. Между тем он был даровитый человек. Другой кн. *О.*<sup>2</sup>, серьезно образованный, все читавший и тоже талантливый литератор, написал маленькую книжку фантастических повестей. *Боткин* (Василий) тонко разумел и любил искусство, всю жизнь собирал материалы, чтобы составить артистический и критический указатель итальянского искусства, – и умер, оставив десяток разбросанных в журналах умных и тонких рецензий. Это все потому, что искусство входило в их жизнь, как легкая забава от нечего делать, а остальное время тратилось на другие увлечения и развлечения.

В противоположность таким дилетантам-артистам, у меня в первой части является силуэт художника-аскета, *Кирилова*, который хотел уйти от жизни и впал в другую крайность, отдался монашеству, ушел в артистическую келью и проповедовал сухое и строгое

поклонение искусству – словом, культ. Такие художники улетают на высоты, на небо, забывая землю и людей, а земля и люди забывают их. Таких художников нет теперь. Таков отчасти был наш знаменитый *Иванов*, который истощился в бесплодных усилиях нарисовать то, чего нельзя нарисовать – встречу мира языческого с миром христианским, и который нарисовал так мало. Он удалился от прямой цели пластического искусства – изображать – и впал в догматизм.

После упомянутых двух главных задач «Обрыва», то есть изображения игры страстей и попытки анализировать, в лице Райского, натуру художника и проследить проявления ее в искусстве и в жизни, – меня давно, с молодости, занимал один из важных, вопиющих, по своей несправедливости, вопросов: это вопрос о так называемом *падении* женщин. Меня всегда поражали: во-первых – грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых – несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось, – тогда как о падении муж-

чин вовсе не существует никакого вопроса. (В последнем случае все ссылаются на разницу, которую вложила сама природа в женский организм, на назначение, указанное женщине, и на некоторые особые условия и свойства женской натуры. В этой ссылке есть очень маленькая доза правды, а больше лукавство. Но я не касаюсь этого вопроса: это не мое дело.)

*Падение* женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествовавшими обстоятельствами: ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбой виновной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры – ничто не извиняет жертву, и она теряет все женские права на всю жизнь, и нередко, в безнадежности и отчаянии, скользит дальше по тому же пути.

Между тем общество битком набито такими женщинами, которых решетка тюрьмы, то есть страх, строгость узды, а иногда еще хуже – расчет на выгоды, – уберегали *от факта*, но которые тысячу раз падали и до замуже-

ства, и в замужестве, тратя все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной игре кокетства, легкомыслия, праздного тасканья, притворных нежностей, взглядов и т. п., куда уходит все, что есть умного, тонкого, честного и правдивого в женщине.

Мужчины тоже со своей стороны поддерживают это и топят молодость в чаду разгула страстей и всякой нетрезвости, а потом гордо являются к брачному венцу, с болезненным или изношенным организмом, последствиями которого награждают девственную подругу и свое потомство, – как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе не обязательна.

Смешно вооружаться и греметь против этого, слишком укоренившегося зла, – я и, не вооружаясь (всякий почти из нас попал бы камнем в первого себя), я вооружаюсь только против тяжелой ответственности, которой слепо и без разбора подвергают женщин. Я и в романе взял защиту этого дела; но напомним опять, что романист – не моралист, следовательно, и я не мог взять на себя решение вопроса о падениях женщин, а старался изобра-

зить – двух виновных в факте, но не падших женщин. Затем уже пусть читатель сам решает вопрос о том, что такое падение женщины.

Вера случайно встретилась с Волоховым при особенных обстоятельствах: все его чуждались, преследовали, и никто в городе не знал хорошенько, что он такое. Она взгляделась и вслушалась в него случайно – и сначала изумилась его крайним, совершенно новым и дерзким взглядам и понятиям, его доктрине о какой-то новой жизни, которая должна возникнуть на развалинах старой. Она сама в старой жизни многое находила отжившим, и ее смелый ум всюду допрашивался о том, что должно прийти на смену прежнего. Она жадно слушала его, добиваясь узнать, что новая жизнь даст более разумного, честного и верного взамен того, что не годится из прошлого. Но кроме разрушения и отрицания всего, чем жили прежние люди, она не находила в его проповеди ничего и вступила с ним в борьбу в надежде силой своего ума и женского сердца вывести его смелый ум и отвагу на настоящий свет, на прямую дорогу.

К несчастью, борьба не осталась в преде-

лах умственных препирательств. Он сделал на нее впечатление живым умом и задатками блестящих дарований. Заговорило сердце, явилось участие, желание отвлечь его с ложного пути, – и кончилось тем, что она и сама потеряла этот путь, на одну минуту правда, но эта минута была роковая, хотя она в борьбе своего характера с его характером осталась победительницей, не пожертвовав ему основными убеждениями в деле религии, в понятиях чести, честности, добра. Она морально устояла.

Вера увлеклась в фальшивое положение своею самостоятельною и гордою волей. Она не вверяла, как *Марфенька*, своих секретов никому, даже *Бабушке*. Любя последнюю, как мать, она преклонялась перед ее нравственным величием, но в сфере мысли, развития и знаний считала себя неизмеримо выше и была выше ее, не подозревая, что *Бабушка* в свою очередь стояла неизмеримо выше ее в деле житейской мудрости и что нравственная сила, энергия характера и простой, но глубокий ум *Бабушки* могли лучше и вернее всяких книг и знаний решать вопросы жизни – не

только свои и Марфенькины, но и ее самой. Она узнала это, но поздно, – и в конце своей драмы, в исповеди своей перед *Бабушкой*, сознается, что она страдает от своей гордой воли и находит спасение от отчаяния только в объятиях и на груди *Бабушки*.

В первоначальном плане романа на месте Волохова у меня предполагалась другая личность – также сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным идеям в службе и в петербургском обществе, и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов. Вера также, вопреки воле *Бабушки* и целого общества, увлеклась страстью к нему и потом, вышедши за него замуж, уехала с ним в Сибирь, куда послали его на житье за его политические убеждения.

Но посетив в 1862 году провинцию, я встретил и там и в Москве несколько экземпляров типа, подобного Волохову. Тогда уже признаки отрицания или нигилизма стали являться чаще и чаще; в обществе обнаружались практические последствия, слышались истории увлечений девиц, женщин, из

которых последние нередко почти публично объявляли себя за новое «учение», как они это называли; говорили даже под рукой, что преследовались какие-то фаланстерии и т. п., и т. п., – словом, общество серьезно было встревожено несомненными явлениями глубокой порчи, закравшейся в общественные и семейные связи и дела.

Тогда под пером моим прежний, частью забытый, герой преобразился в современное лицо, расплодившееся в разных видах и теперь, слава богу, исчезающее или изменяющееся во всяком случае к лучшему, ибо хуже Волоховых быть ничего не могло. Все, даже порядочные люди, из новых поколений, найдя в портрете Волохова сходство, напали на меня, – конечно, потому, что не желали на него походить. Они жаловались, зачем я изобразил такого урода, не найдя в нем ничего хорошего. Но если б я нашел хоть одну черту хорошую, Волохов был бы уже не Волохов, а другое лицо. Я же хотел изобразить именно такое.

От этого меня, может быть, отчасти справедливо упрекают в том, что я заставил Веру

влюбиться в такого нееряху, хотя скажу в оправдание себя, что в жизни сплошь да рядом бывают подобного рода увлечения, и пока нет теории, в кого и во что надо влюбляться, будут влюбляться и в физическое и в моральное безобразие. Если знают, за что любят, то никакой влюбленный не сможет решить, за что он влюблен. Сердце потом горько расплачивается за воображение, как случилось и с Верой.

Итак, и *Бабушка*, и *Вера* обе увлеклись; но кто и ту и другую назовет падшими? И пали ли они? Не в сто ли раз более падшая женщина *Полина Карповна Крицкая*, которую я, к сожалению, изобразил в карикатуре и которая ни разу не провинилась в *факте*? Она глупа, но есть множество с блестящим умом женщин, которые и этот ум и все женские чувства, начиная с чувства стыда, истратили еще в девичестве по мелочи, и развращены и умом, и сердцем, и воображением и которые стараются только *sauver les apparences*[45]. Разве можно пасть в одну минуту и на одну минуту? Падение подготавливается издали: оно есть только итог всего дрянного, вредного, ис-

порченного, что забралось в натуру женщины и что потом разрешается рядом последующих падений во всех их видах – лжи, обмана, коварства, злости или сухости сердца, – и между всеми этими падениями увлечения чувственности занимают не первое место.

За *Бабушку* меня особенно казнят: зачем я «не пощадил ее святые седины», как выразился один красноречивый критик.

Пожалуй, для романа, как для картины, оно было бы трогательнее и эффектнее, если бы я обошел ее, но тогда не вполне была бы достигнута цель моего романа, которому я хотел придать более значения, нежели послужить развлечением на несколько часов.

## Автобиографии

### «По желанию редакции „Художественного листка“...»\*

По желанию редакции «Художественного листка», собраны здесь в беспорядке и изложены кое-какие биографические сведения, какие удалось вспомнить о себе самом. Перехожу молчанием некоторые подробности детского и юношеского возрастов, которые имею в виду употребить в дело в одном из своих будущих сочинений, если ему суждено состояться.

Иван Александрович Гончаров родился в 1813 или 1814 году<sup>1</sup>, не помню в точности года, в Симбирской губернии. Первоначальное образование в науках и языках, французском и немецком, получил в небольшом пансионе, который содержал в имении княгини Хованской, за Волгой, сельский священник, весьма умный и ученый человек, женатый на иностранке. Там первые книги, попавшиеся Гончарову в руку вне классов, были сочинения Державина, которые он и переписывал и учил наизусть, потом Фонвизина «Недо-

росль» («Бригадира» не давали), Озерова и Хераскова (последнего и тогда он одолеть не мог, несмотря на детскую неразборчивость), далее несколько детских книжек естественной истории, наконец путешествия Кука вокруг света и Крашенинникова в Камчатку. Тут же находя в лакейской дома у себя сказки о Еруслане Лазаревиче, Бове Королевиче и другие, читал и их. И так чтение продолжалось без системы, без указания, с поглощением всего более романов (Коттен, Жанлис, Радклиф в чудовищных переводах), путешествий, описаний неслыханных происшествий, всего, что более действует на воображение.

Все это продолжалось до вступления в 1831 году в Московский университет по словесному факультету, где знакомство с греческим и римским миром, историческое и критическое изучение отечественной и иностранной литературы сообщило страсть к чтению и надлежащее направление. Юношеское сердце искало между писателями симпатии и отдавалось тогда Карамзину по горячим его следам, может быть не как историку, особенно потому,

что кафедре истории занимал тогда Карамзин, и не как поэту, потому что Карамзин не был художник, но как гуманнейшему из писателей. Учреждение новых кафедр тогда эстетики, археологии (профессор Надеждин) и истории иностранных, древних и новых литератур (Шевырев) и их увлекательные чтения не только расширяли круг литературного и эстетического воззрения молодых слушателей, но и формировали им перо: то есть необходимость вести перечни правильно и красноречиво излагаемых лекций действовала, конечно, благотворно на обработку языка. Между тем независимо от критических разборов с кафедр древних и новых поэтов и историков, когда в виду слушателей проходили от индейских эпоей и драм, от священной поэзии, Гомер, Виргилий, Тацит, Дант, Сервантес, Шекспир и проч., чтение сверх этого шло своим непрерывным чередом. Долго пленял Гончарова Тасс в своем «Иерусалиме», потом он перешел через ряд многих, между прочим Клопштока, Оссиана, с критическим повторением наших эпиков, к новейшей эпопее Вальтера Скотта и изучил его пристально. Путеше-

ствия и все доступно изложенные (без строгих научных форм) сочинения по части естественной истории занимали его внимание; его любимым чтением были все-таки произведения поэзии.

Живее и глубже всех поэтов поражен и увлечен был Гончаров поэзией Пушкина в самую свежую и блистательную пору силы и развития великого поэта и в поклонении своем остался верен ему навсегда, несмотря на позднейшее тесное знакомства с корифеями французской, немецкой и английской литератур.

По окончании курса наук в университете Гончаров приехал в 1835 году в Петербург и, следуя общему примеру, определился на службу. Он получил место переводчика по министерству финансов, потом столоначальника и оставался там до 1852 года, а в этом году, вызвавшись по предложению бывшего министра народного просвещения, А. С. Норова участвовать в экспедиции, снаряженной для открытия торговых сношений с Японией, был откомандирован, по высочайшему повелению, в качестве секретаря при начальнике

экспедиции, вице-адмирале (ныне адмирале и графе) Е. В. Путятине, и отправился на фрегате «Паллада» в это плавание, из которого воротился в начале 1855 года, поступил было опять на прежнее место, но вскоре перешел в министерство народного просвещения, в должность цензора.

Все свободное от службы время посвящал литературе. Гончаров много переводил из Шиллера, Гете (прозаические сочинения), также из Винкельмана, отрывки некоторых английских романистов, а потом уничтожал. Сблизившись коротко с семейством артиста-живописца Н. А. Майкова (отца известного поэта), Гончаров участвовал с ними в домашних, так сказать, то есть не публичных, занятиях литературою. Потом это участие перешло, хотя мало и незаметно, уже в журналы, в которых участвовали некоторые из друзей Майковых. И Гончаров перевел и переделал с иностранных языков несколько разного содержания статей и поместил в журналах без подписи имени. Он писал, в этом домашнем кругу, и повести, также домашнего содержания, то есть такие, которые относились к

частным случаям или лицам, больше шуточного содержания и ничем не замечательные.

В 1845 и 1846 годах он написал роман «Обыкновенная история»<sup>2</sup>, который был помещен в февральской и мартовской книжках «Современника» 1847 года. В 1848 году задумал план большого романа «Обломов» и написал в 1849 году первую часть, поместив главу («Сон Обломова») в альманахах, изданных при «Современнике» того же года. В промежутке написал юмористический очерк нравов из чиновничьего круга (тогда это было в ходу) под заглавием «Иван Савич Поджабрин», помещенный в январской книжке «Современника» 1848 года. Продолжение романа оставлено было до более удобного времени. По возвращении из путешествия в Японии Гончаров поместил в течение трех лет почти все главы путевых своих записок по разным журналам: «Морской сборник», «Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения» и «Русский вестник», а в нынешнем году московский книгопродавец Глазунов собрал их все и издал под заглавием «Фрегат „Паллада“» (со включением одной но-

вой главы Гон-Конг) в двух томах.

В 1857 году Гончаров ездил лечиться от последствий усиленной работы и сидячей жизни за границу на Мариенбадские воды и там продолжал «Обломова», а в нынешнем году окончил его. Роман в настоящее время печатается в «Отечественных записках» и должен быть кончен в апрельской книжке.

### **«Родился в Симбирске в 1812 году»\***

**Р**одился в Симбирске в 1812 году, первоначальное образование в детстве получил в небольших частных пансионах и, между прочим, у одного священника, за Волгой, в помещичьем селе. Здесь, у жены священника, немки, принявшей православие, он положил основание изучению французского и немецкого языков, а найденные в библиотеке священника сочинения Ломоносова, Державина и других, также описания некоторых путешествий заронили в нем первые – охоту к чтению, а последние – желание, конечно тогда еще неясное и бессознательное, видеть описанные в путешествиях дальние страны. До поступления в Московский университет, не руководимый почти никем в выборе чтения, он

читал все, что попадалось под руку, между прочим, произведения французских беллетристов господствовавшей тогда школы, и переводил на русский язык роман «Атар Гюль», отрывок из которого был помещен в журнале «Телескоп» за 1832 год. Но скоро, однако, он отрезвился от влияния современной французской литературы как чтением образцов английской и немецкой литератур, так и знакомством с древними историками и поэтами в университете, в словесном отделении, слушая с жадностью увлекательные лекции истории иностранных литератур, истории изящных искусств и археологии – профессоров Шевырева и Надеждина; римских и греческих древностей – Снегирева и Ивашковского, и истории всеобщей и русской – Каченовского и Погодина, русской словесности – профессора Давыдова. Продолжая изучать новейшие языки, между прочим английский, а также древние – латинский и отчасти греческий, и руководясь лекциями ученых и даровитых профессоров, Гончаров систематически, с помощью критического анализа, изучил образцовые произведения иностранных

и отечественных писателей. Между тем, с другой стороны, живое непосредственное влияние на общество Карамзина и Пушкина, бывшего тогда в зените своей славы, не могло не подействовать благотворно и на круг молодых студентов Московского университета, в том числе и на него.

Кончив курс, Гончаров в 1835 году перешел на службу в Петербург, в министерство финансов, где вскоре занял должность переводчика иностранной переписки и продолжал заниматься литературой, то есть читать и переводить, делать извлечения, преимущественно из немецких и английских писателей, для себя, в виде упражнений, пока без намерения печатать. Он сблизился с некоторыми домами, любившими литературу, и пробовал силы в домашних сборниках, составляемых из сочинений небольшого круга друзей. Около двух тогдашних журналов, «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок», группировалось все, что было даровитого в литературе. Гончаров познакомился с некоторыми из литераторов, сначала просто в качестве любителя, а потом отдал на суд

Белинскому первый свой роман «Обыкновенная история», который был помещен в возобновленном, после смерти Пушкина, под редакциею Панаева и Некрасова журнале «Современник» в 1847 году. В следующем году он поместил в том же журнале легкий юмористический очерк «Иван Савич Поджабрин». В 1849 году в изданном под редакциею «Современника» литературном сборнике напечатан был отрывок из романа «Обломов» под заглавием «Сон Обломова».

В 1852 году бывшим тогда г. министром народного просвещения неожиданно предложено было Гончарову место секретаря при начальнике экспедиции, снаряженной правительством для обозрения российских колоний в Северной Америке и для заключения торгового трактата с Японией. Он с радостью принял предложение, которое вдруг пробудило его заветную, почти покинутую мечту о дальнем путешествии. По возвращении, после двух с половиной лет плавания по морям и путешествия от Охотского моря через Сибирь, Гончаров в 1855 и 1856 годах напечатал описание этого путешествия по частям в

«Морском сборнике», «Современнике», «Отечественных записках» и «Русском вестнике», а в 1857 году издал отдельную книгою в двух томах, под заглавием «Фрегат „Паллада“», которое в 1862 году вышло вторым изданием всего в числе шести тысяч экземпляров.

Между тем он перешел на службу в министерство народного просвещения, в должность цензора, в 1856 году, которая почти не оставляла ему свободного времени для прочих занятий. Усидчивая работа вместе с петербургским климатом вредно подействовала на его здоровье и принудили прибегнуть к пособию минеральных вод. Во время четырехмесячных каникул за границу он успел докончить давно начатый роман «Обломов», который появился в печати в «Отечественных записках» в 1859 году и в том же году отдельной книгой, а потом в 1862 году вторым изданием.

В 1862 году Гончаров назначен был главным редактором газеты министерства внутренних дел «Северная почта», а в следующем перешел на должность члена совета того же министерства по делам печати. После рома-

на «Обломов» он напечатал три отрывка из неоконченного и неизданного им романа «Райский» в «Отечественных записках» и «Современнике» под заглавием «Софья Николаевна Беловодова», «Портрет» и «Бабушка».

### «И. А. Гончаров родился в 1814 году»\*

**И.** А. Гончаров родился в 1814 году<sup>1</sup> в Симбирске, учился сначала дома, потом в одном домашнем пансионе, где под рукой была разрозненная небольшая библиотека, состоявшая из путешествий (Кука, Крашенинникова в Камчатку, Мунго-Парка в Африку и др.), исторических книг, Милота, Карамзина, Голицова, поэтов Державина, потом Карамзина, Ломоносова, Жуковского, тут же и Нахимова, потом Фонвизина, Расина, Тасса, разрозненных Вольтера, Руссо – детские – Vergin, например – а потом вдруг Стерна, – там «Телемак», тут же и Радклиф, и «Саксонский разбойник», и «Малек-Адель» и вдруг один томик Экартсгаузена – словом, невообразимая смесь, прилежно читавшаяся, почти выученная наизусть.

Это повальное чтение, без присмотра, без руководства и без всякой, конечно, критики и

даже порядка в последовательности, открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы. Все это бесконтрольно продолжалось до вступления в 1831 году в университет, где он застал еще Лермонтова (на первом курсе, откуда он и удалился в Петербург), потом Станкевича с его кружком, с которым, впрочем, Гончаров, сидя в другом конце обширной аудитории, не был знаком, Белинского, Герцена уже не было тогда; продолжалось до вступления в 1831 году в Московский университет по филологическому факультету, где новые тогда профессора *Шевырев*, *Надеждин* и *Давыдов* – производили огромное влияние на студентов, один – лекциями *истории русской литературы* (Давыдов), Надеждин – *теорией изящных искусств и археологии* – и Шевырев – *истории древних и западных литератур*. Кроме того, сверх программы Давыдов и Надеждин делали очерк истории философии вообще – и философии в искусстве (Надеждин). Лекции эти были благотворны для слушателей по новости, смелости идей, языка –

они сближали науку и искусство с жизнью, изломали рутину, прогнали схоластику и освежили умы слушателей – внесли здоровый критический взгляд на литературу. Кроме того, производили и другое нравственное влияние, ставя идеалы добра, правды, красоты, совершенствования, прогресса и т. д. Все это совпадало с возникавшею и в тогдашней современной литературе жизнью, внесенною, после застоя, Пушкиным и его плеядою, критическим переворотом – после старой риторической школы, в журналистике тем же Надеждиным, Полевым и т. д.

Под влияние этих счастливых обстоятельств попали многие, которым потом выпало на долю, в свою очередь, выступить деятелями, например Лермонтов, Белинский, К. Аксаков, Герцен, Станкевич и другие.

По окончании в 1834 году курса Гончаров провел несколько месяцев на родине, потом в 1835 году приехал в Петербург, определился на службу – и продолжал все свободное время заниматься и русскою и иностранными литературами. Он читал все по-русски, по-немецки, по-французски и по-английски – и допол-

нял свое образование, переводил, иногда писал сам и, наконец, в 1845 и 1846 годах написал роман в двух томах «Обыкновенная история», послав первый том для прочтения Белинскому, когда еще не был кончен второй.

Напечатан этот роман в 1847 году в журнале «Современник», потом вышел в «Иллюстрированном альманахе» (при «Современнике») в 1848 (или 1849) году «Сон Обломова». В 1852 году Гончаров поехал вокруг света в качестве секретаря при адмирале Путятине для заключения торгового трактата с Японией – и по возвращении печатал сначала в разных журналах отрывки из своего путешествия, а потом отдельно издал и все путешествие в двух больших томах под заглавием «Фрегат „Паллада“» (1856 или 1857 году).

В 1857 году (не имея здесь по службе времени) Гончаров отправился на воды за границу и окончил «Обломова», которого готова была только первая часть. «Обломов» напечатан был весь в «Отечественных записках» (1858 или 1859 года).

Затем он приступил к окончанию задуманного им еще в 1849 году большого романа

«Обрыв», от которого отрывали его другие занятия и другие обстоятельства петербургской жизни. Он писал его урывками, по главам, оставлял надолго – возвращался опять к нему – и, наконец, поспешил закончить в 1868 году, а в 1868 или 1869-м поместил в «Вестнике Европы» и отдельно издал в 1870 году. Кроме того, еще прежде (в 1848 (?) году) – он напечатал в «Современнике» очерк петербургских нравов под заглавием «Иван Савич Поджабрин», а в 1870 (или 1871) напечатал в «Вестнике Европы» критический очерк о «Горе от ума» под заглавием «Мильон терзаний»<sup>2</sup>.

# Избранные письма

## Письмо Майкову А. Н., 2 марта 1843\*

**1** А. Н. МАЙКОВУ<sup>1</sup>  
2 марта <1843 г. Петербург>

Несколько дней тому назад Владимир Андреевич Солоницын получил Ваше письмо<sup>2</sup>, любезный Аполлон Николаевич, и как это было в департаменте, то он дал его прочесть и мне. С жадностью читал я Ваши и папенькины строки. Ваши беглые замечания, краткие известия о чужих местах и людях, наконец о самих себе, до крайности любопытны. Может быть, такие письма неудобно бы было напечатать, потому что они писаны без всяких литературных затей и претензий, но зато они трепещут частною, мелкою занимательностию, драгоценною для Вашей семьи и друзей. Ватикан, Колизей, Рафаэлева мадонна – и потом среди всего этого Вы с Николаем Аполлоновичем<sup>3</sup> да русский купец из Флоренции с гречневой крупой – все это составляет прелюбопытную смесь, нечто вроде итальянских

макарон с русской кашей. Но зато что за отрада читать это, и с каким нетерпением ожидаешь приезда Николая Аполлоновича! Вероятно, он, по своему обещанию, теперь уже в пути<sup>4</sup> – оттого я и не обращаюсь к нему. Я не думаю, чтобы кто-нибудь вернее его мог передать все виденное и слышанное: так он зорек и наблюдателен. Послушаем, послушаем! А теперь скажу несколько слов о присланных Вами стихах, хотя Вы и не требовали моего мнения, но – старая привычка! Притом же, прочитавши Ваше письмо, я пошел к Евгении Петровне<sup>5</sup>, и мы опять вместе прочли стихи – и тут же учинили им разбор в нескольких словах, которые она просила записать и отослать к Вам, что и исполняю.

Все три стихотворения<sup>6</sup> очень хороши, как и все то (так у нас пишут в официальных рецензиях в газетах), что выходит из-под Вашего пера. Но между ними, однакож, есть большая разница как в достоинстве изображения, так и исполнения. Первое стихотворение<sup>7</sup> «Колизей» мне показалось слабее прочих. Эта развалина перед глазами Вашими, освещенная месяцем, под итальянским небом, с роем

исторических воспоминаний, должна бы была, кажется, внушить что-нибудь полнее, глубже, отчетистее – нежели то, что Вы написали. Пестрый тигр, рыкающий лев одни еще не характеризуют Колизея. Это можно назвать почти общим местом в подобном предмете. Люди тут главное – их чувства, их взгляд на это, их восторги при виде зрелища, вот что. На них у Вас обращено менее внимания, нежели сколько бы хотелось. Между тем Вы бросили луч на главное лицо этих кровавых драм – на тирана, которого превосходно назвали *малодушным*, – только луч слишком слабый. А ведь по его мановению проливалась кровь, рыкали львы. И полно, *равнодушно* ли смотрел он? Не думаю: точно так же, как и весь римский народ. Будь они равнодушны – Колизея бы не существовало: тут были ощущения – но какие! Каких не дай бог нам испытать с Вами. Вы скажете, что разумели *равнодушие* к гибели христиан и преступников – словом, жертв. Нет! Они очень хорошо понимали, чему подвергали несчастных, и приходили в Колизей искать сильных ощущений – ужаса, сострадания и т. п., а не про-

сто из любопытства посмотреть жребий борьбы; тогда бы они ограничились травлей зверей или, пожалуй, даже петухов между собой. Испанцы теперь могли бы тоже травить своих быков собаками, а они пускают на них людей и, поверьте, не *равнодушно* смотрят на гибель последних. Это, конечно, немножко дико и грубовато; да что ж прикажете делать? Зато новейшие люди, *огуманизированные*, и не занимаются этим, а в необработанной натуре человека есть страстишка к подобным забавам. Стоит только вспомнить свое детство: с каким, бывало, наслаждением раздавишь или даже эдак методически помучаешь какое-нибудь насекомое!

Обработка этого стихотворения, как и всегда у Вас, – мастерская. Стих прекрасный – особенно в картинах, жаль только, что тут Вы почти ими только и ограничились и мало развили идею Колизея. Впрочем, и в исполнении есть грешки – *плéща* и *блéща* с этим ударением и особенно на конце нехорошо. Сравнение *волос с мехом* мне показалось утрированным. Вы затрудняетесь в употреблении слова *помавать*, как глагола действительно-

го, это бы ничего, да сам глагол по себе как-то некрасив. Не помню, кто-то его употребил из наших классиков и вышло нехорошо! Второе стихотворение зато прекрасно вполне. Это невольное, безотчетное чувство наслаждения и природою и руинами уловлено верно. Всякий испытывает его, то есть *порядочный человек*, но не всякому суждено так выразить, как у Вас. В 1-м стихотворении Вы поэт живописующий, во 2-м – по преимуществу чувствующий и, наконец, в 3-м<sup>8</sup>, которое мне более прочих нравится, – поэт сатирический, мыслящий, ополчившийся умом и желчию на уклонения современного общества от пути здравого смысла и неиспорченного чувства. Тут Вы прекрасно свели мнения нового, самонадежного поколения о наших знаменитостях и больно уязвили праздность, скуку и лень нашего века, в том числе и мою, прикрывающуюся гордым плащом какой-то странной философии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие лохмотья. Вот и все. Не сердитесь и пишите, пишите до конца. Прощайте. Весь Ваш

Иван Гончаров.

Бибикову<sup>9</sup> дружеский привет!

Напрасно Вы думаете, что я влюблен: фи! нисколько! Валериан<sup>10</sup> даже нарочно водил меня в Институт развивать во мне чувства, а я там всем и нагрубил.

## **Письмо Белинскому В. Г. и др., <24 июня 1847>\***

**2** В. Г. БЕЛИНСКОМУ и И. С. ТУРГЕНЕВУ  
<24 июня 1847 г. Петербург>

Все почитатели Ваши, Виссарион Григорьевич, с радостью, и я в том числе разумеется, услышали об улучшении Вашего здоровья, и все хором взываем к Вам: возвращайтесь скорей. Ваша последняя статья, Иван Сергеевич<sup>1</sup>, произвела благородный furor, только не между читающею чернью, а между порядочными людьми: что за прелесть!

Скоро ли вернетесь?

И. Гончаров.

## Письмо Ефремовой Ю. Д., 25 октября – 6 ноября 1847\*

**З** Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ<sup>1</sup>  
25 октября – 6 ноября <1847 г. Петербург>  
Долго намеревался я медлить ответом на Ваше письмо, Юния Дмитриевна, в отмщение (если это только отмщение) за продолжительное молчание. Но сегодня получил огромную работу по службе и сегодня же прощаюсь с своею ленью и свободой по крайней мере на месяц. Молчать еще месяц – это значило бы слишком далеко простирать свое мщение: да за что же наказывать и себя? Итак, мои последние свободные минуты принадлежат Вам, и я нахожу, что лучше употребить их нельзя. Смотрите, сколько комплиментов в одном только вступлении! о, я знаю, что Вы любите. Присовокупляю еще один: я любовался Вашими письмами и особенно последним, вот этим, на которое отвечаю, но чем любовался? Нежностью и легкостью пера, что ли, или чувствительностию, которая сквозит даже в обыкновенных фразах и всегда обличает женщину, или, наконец, игривою и кокетли-

вою болтовнею: вовсе нет! А любовался я Вашим навыком писать письма, Вашею дипломатическою манерою, потом господствующею в них консеквентностью[46] и степенностью. Право, так: не сочтите этого, ради бога, за насмешку. Так и представляю Вас себе с пером в руке за этими письмами, с задумчивою миною, немигающими глазами, сидящею прямо (отчасти и по причине тесной шнуровки: станете ли Вы делать такое важное дело в парессёдке?[47]), словом, воображаю Вас в каком-то *строгом чине*, пишущею к бесчисленным, разбросанным по всей России тетушкам, бабушкам, в том числе еще и к Ивану Александровичу. При такой практике по тетушкам и бабушкам как и не приобрести навыка! А Вы еще скромничали – как писать. Впрочем, среди этих стройных и строгих фраз есть одна, которая много смягчает серьезный тон письма: она уверяет, что Вы «не забываете друзей», а самолюбие внушает мне смелость принять это отчасти и на свой счет. А *ργωρος*[48] о друзьях и т. п.: почему Вы считаете меня до такой степени бесчувственным, что я позволяю даже тревожиться о братьях,

когда в тех местах, где они живут, холера! – Помилуйте, в Симбирске и холера и беспре-  
станные пожары, а там у меня у самого живут  
мать, брат и две сестры: как не потревожить-  
ся?

Лучшее место, однакож, Вашего письма  
есть то, где Вы обещаете приехать в декабре.  
Но зачем так долго! Нельзя ли в ноябре? По  
крайней мере сдержите слово хоть в декабре.  
Я как отъявленный эгоист не стыжусь при-  
знаться, для чего я очень усердно желаю это-  
го. У меня, за отъездом Вашим, один вечер  
пропадает совсем; как он настанет, то есть та-  
кой вечер, когда я, по моему предположению,  
был бы у Вас на креслах у окна или на ма-  
леньком диване, курить папироску, и то спо-  
рить с Вами и сердить Вас, то тревожить Вас  
и даже нагонять на Вас минутную тоску пре-  
подаванием своей печальной теории жизни –  
и вдруг этого ничего нет! Как я ни старался  
забыть эти вечера и делать в то время что-ни-  
будь другое – невозможно. Я и играл, и читал,  
и ходил к так называемым *друзьям*, прибегал  
даже к решительным мерам, как-то – к креп-  
ким напиткам, – нет, один вечер остался неза-

меним в неделю (вот уж, кажется, пятый комплимент в письме и какой комплимент: почти весь построен на правде, а если и есть ложь, так разве самая малость). Приезжайте же поскорее.

Отчего же это Вы не читаете «Современника»? А здесь-то хлопчут посылать его к Вам. Рекомендую Вам там в октябрьской книжке письмо Герцена из Парижа<sup>2</sup>, из *Avenue Marigny* – потом в «Смеси» помещается всегда résumé[49] всего, что творится замечательно-го на белом свете, и у нас и за границей, следовательно, Вы узнаете, что было здесь без Вас.

На вопрос Ваш, что делается в литературном мире – ответ немудреный, то есть все то же: капля меду и бочка дегтю. Мы ожидаем теперь много хорошего от Белинского<sup>3</sup>: он воротился здоровее и бодрее – только на долго ли, бог весть. Но ведь и прогулки за границу, между прочим в Париж, много помогли ему. Он уж что-то пишет к следующей книжке.

Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть из-

вестный Вам небольшой рассказ<sup>4</sup>, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется в шестой раз, и все никак не могу избрать восклицательных знаков, наставленных переписчиком, чорт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останется. Вот чем пока ограничивается моя литературная деятельность. А то хожу повеся нос, что не мешает мне, однакоже, исправно кушать и почивать, ношу с собой везде томящую меня скуку ко всякому труду, особенно литературному, чувствую холод, близкий к отращению, и только вот в эту минуту, то есть за этим письмом, тружусь с особенным удовольствием, не знаю почему (шестой комплимент и уж этот весь чистая правда, иначе письмо не было бы так длинно). Вы говорите, что у нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много; и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же самое, а талантливым людям все нейдет: не пишут, бестии! Я тоже немало ругаю их. Степан Семенович Дудышкин начинает входить в моду<sup>5</sup>: умные и дельные его статьи в «Отечественных записках» и частию в

«Современнике» замечены и расхвалены всеми умными и дельными людьми...

Над Майковыми время оказывает свое благодетельное влияние, то есть острота страдания притупилась, хотя они ни за что не сознаются в этом, особенно Евгения Петровна. Она считает это, кажется, оскорблением памяти умершего<sup>6</sup>, бог знает почему. Она сердилась на меня и на Степана Семеновича и обвиняла нас в забвении Валерияна, потому что мы с ней не говорим о нем, утверждая, что ей от этого легче. Но едва заговоришь, она начинает рыдать. Рана растрavляется, а с ней и боль; молчим – смеется: кажется, это лучше, а подите, уверьте ее, что забыть умершего – для живого есть благодеяние, – нет, в ее глазах это преступленье. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, чтоб они уж и утешились, нет, до этого еще далеко; но по крайней мере плач и рыдания сменились тихою, хотя еще и глубокою горестию. Николай Аполлонович<sup>7</sup>, как более твердый человек, более всех и страдает, хотя и молчит. О молодежи нечего и говорить: весело бежит вперед и не оглядывается.

Заключу это длинное письмо (дочитаете

ли до конца? Не замолчите ли еще месяца на два, чтоб не получать таких длинных ответов?) утешительными для Вас известиями: радуйтесь и веселитесь. Брессан... не воротится<sup>9</sup>, но вместо него явился Монжоз<sup>10</sup> (Monjauz). Я не видал его, но говорят, что он естественно-стию и благородною простотою игры затмит Брессана, а другие прибавляют, что даже и наружностью; притом ему 21 год. Злые языки прибавляют еще, что все барыни не преминут, по обычаю, перевлюбитья в него, а злейшие говорят, что и Вы сочтете обязанностью сделать то же; приезжайте же поскорее. Фреццолини принята хорошо, но не с безумием, как у нас водится – и слава богу! что за жалкое и смешное ребячество выражать восторг до унижения! И уж пусть бы было свое, а то ведь и это переняли у итальянцев; что за краса северному жителю корчить страстную, южную натуру? Еще певица Анжи<sup>11</sup>: публика еще не разберет, что она – контральто или сопрано. Прочие известны: плешивый Сальви, который лучше танцует, нежели поет на сцене. Борси<sup>13</sup>, которой не изменили, несмотря на Фреццолини<sup>12</sup>, остается все той же... какой

бы? ну хоть вдохновенной Нормой<sup>8</sup>, пожалуй. Etc., etc. Впрочем, я еще никого не слышал: это я так только.

Надеюсь получить от Вас хоть одно письмо до Вашего приезда; если нет – буду и я взаимно молчать. Я плачу взаимностью во всем, начиная с любви до переписки: знайте же об этом наперед, если захотите влюбиться в меня или если будете продолжать переписываться. Прощайте – или лучше до следующего письма и до личного свидания. Остаюсь все тот же, неизменно холодный, скучный и дружески почтительный

Гончаров.

# Письмо Краевскому А. А., <12 мая 1848><sup>\*</sup>

4 А. А. КРАЕВСКОМУ<sup>1</sup>  
<12 мая 1848 г. Петербург>

Милостивый государь Андрей Александрович,

Вчера я случайно узнал, что Вы хотите назвать роман мисс Инчбальд<sup>2</sup>, переводимый в «Отечественных записках», *Обыкновенной историей*. Такое заглавие мне кажется неудобным как для меня, так и для Вашего журнала: для меня потому, что довольно и одинаких заглавий, чтоб подать повод к нелепому сравнению обоих романов, причем вывод окажется, конечно, не в мою пользу: роман мисс Инчбальд несравненно выше моего. Для чего же давать возможность ставить на одну доску два сочинения, совершенно различные по достоинству и содержанию, во вред одного из них, когда можно избежать этого? И так уже при выходе моего романа некоторые, основываясь только на сходстве заглавий, говорили, что я перевел свое сочинение с английского: чего же нельзя ожидать от таких судей? Для

Вас может быть невыгодно бы было назвать *Обыкновенной Простую историю*, потому что Вас стали бы еще, пожалуй, печатно упрекать в присвоении, из каких-нибудь особенных видов, печатаемому у Вас роману заглавия другого сочинения, которое имело успех. Наконец могут упрекнуть Вас, и весьма основательно, еще и в неверности перевода заглавия: по-английски эта книга называется «Simply story» – простая история, то есть история не сложная, не запутанная, без эффектов и нечаянностей, какова она и есть, но отнюдь не без особенностей, как в идее и в характере действующих лиц, следовательно уже и *не обыкновенная*; тогда как *обыкновенная история* значит история – так по большей части *случающаяся*, как написано.

По всем этим уважениям, я бы покорнейше просил Вас заменить заглавие «Обыкновенная история»<sup>3</sup> тем, которое принадлежит роману мисс Инчбальд, в подлиннике, то есть «Простая история». Будучи уверен, что Вы не приписываете никакой важности тому или другому заглавию, я надеюсь, что исполнение моей просьбы не будет для Вас затруднитель-

но.

Прошу Вас принять уверение в моем постоянном уважении и преданности.

Гончаров

12 мая 1848.

## **Письмо Майкову Н. А. и его семье, 13 июля 1849\***

**5** Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ

Симбирск, 13 июля 1849.

Здравствуйте, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, и вы здравствуйте, дети мои, но не мои дети!

Вот скоро месяц, как я оставил Вас<sup>1</sup>, а *благословенного богом уголка*<sup>2</sup> достигнул только с неделю тому назад. Где и как ни странствовал я? Заносила меня нелегкая в Нижний, проволокла даже до татарского царства, в самую Казань, где я прожил двое суток. Затерялся я совсем между чуваш, татар и черемис, сворачивал в сторону, в их жалкие гнезда, распивал с ними чай, и везде-то сливки лучше ваших, хотелось даже попробовать мне лошадиного мяса, да сказал один татарин, что неживую лошадку сварили: «сам умер: не ста-

нешь, бачка, ашать» (есть). И так не стал. В Москве прожил неделю; меня все тянуло домой. От Петербурга до Москвы – не езда: это прекрасная, двухдневная прогулка, от которой нет боли в боках и голове; чувствуешь только приятный зуд в теле да сладострастно потягиваешься и жалеешь, что она кончилась. Зато дальнейшее путешествие, от Москвы в глубь России – есть ряд мелких, мучительных терзаний. От Москвы до Казани я ехал пятеро суток и чего не натерпелся, а более всего скуки. Одну станцию ехали целую ночь. Отправился я из Москвы в дилижансе (большой тарантас). Судьба послала мне спутницу, которую Демидова выписала в Сибирь на свои заводы, для учреждения там женских или детских приютов. Хорошая и простая баба, надоевшая мне смертельно в первые пять минут, а мне предстояло провести с ней пятеро суток: мудрено ли, что я озлобился? Она всячески старалась расположить меня к себе и найти во мне словоохотливого спутника: и чай разливала на станциях и мух отмахивала от меня, когда я спал; я даже поприучил ее наведываться о лошадях, когда их долго не дава-

ли, и, сидя среди ее подушек в экипаже, не без удовольствия посматривал, как она, приподняв подол, шлепала по грязи и заглядывала по крестьянским дворам. Ничто не помогло. Я целую дорогу упорно молчал, глядя в противную от нее сторону, и скрытно бесился, зачем она тут. Бесило меня и то, что она боялась всего: боялась опрокинуться, боялась грозы, темного леса и еще чего-то. А тут как на смех случилось, что тарантас со всей находящейся в ней публикой (кроме меня: я выскочил) оборвался в овраг. Крику, шуму, но беды не случилось особенной, только помяло их всех. Вслед за этим началась гроза, а к довершению всего мы въехали в лес. Спутница моя сначала кричала, потом начала плакать навзрыд. Я, вместо того чтоб успокоить ее, осыпал упреками. Дико поступил и теперь немного раскаиваюсь. Мне даже со злости показалось, что она в первую ночь нашего странствия умышляет на мою добродетель и хочет ночью в тарантасе учредить тоже какой-нибудь приют, уж, конечно, не детский. Я готовился было поступить с ней, как Иосиф с Пентефриевой женой, и для этого, с свойственным мне в по-

добных случаях снисхождением, в темноте-то немножко поддался ее авансам, чтоб узнать окончательно ее намерения. Но теперь, когда уж ее нет, а с ней нет и злости у меня, когда мысли мои покойны, я готов от всего сердца признать ее добродетельной Сусанной и подумать, что сонная рука ее так, бессознательно бродила где ни попало и ошибкой наткнулась на одну из моих рельефных форм... От Казани до Симбирска я хотел ехать Волгой, да мне сказали, что если поднимется противный ветер, так и в две недели не сделаешь этих двухсот верст. Нечего делать: я пустился один, *на тележке, на перекладных*. И тут-то, на этом коротеньком переезде, вкусил все дорожные мучения. Жары сожгли траву и хлеб; земля растрескалась, кожа у меня на лице и губы тоже, а я все ехал да ехал, и утром, и в полдень, и ночью, да чуть было не слег; от жару сделался прилив крови к голове; в три, четыре часа я так изменился, что сам себя не узнавал. Ночью в лесу застала меня другая гроза; такой я не видывал никогда, читывал бывало; и здешние все перепугались. Но и она не освежила воздуха: наутро тот же жар,

только солнце уж не палило, а обдавало каким-то мокрым и горячим паром; влажный зной мне показался еще хуже. А я все ехал, все торопился домой. И вы, Николай Аполлонович, несмотря на вашу слабость к жарам, невзлюбили бы этого зною. – Чашу дорожных страданий я выпил до дна, а наслаждений не испытал. Погибла навсегда для меня, как я вижу, поэзия тройки, ямщика, колокольчика и т. п. Гораздо больше ее нашел я в английской почтовой карете, в которой ехал из Петербурга. Лес, вода, пейзажи тоже что-то маловато действовали на меня: больше надоедали комары да оводы. Только понравилось мне, как я въехал под Казанью в дубовые леса: они напомнили мне детство: я игрывал в таких лесах; на-днях надеюсь быть за Волгой и посмотрю их; хорош тоже сплошной лес из шиповника, осыпанный весь розовыми цветами; наконец правый берег Волги, ну да сама Волга, а больше, кажется, и ничего.

В Казани я отстоял какую-то татарскую обедню в мечети. При входе меня поразило величественное зрелище: все лежали ничком и сотни две татарских задов были устремле-

ны прямо на меня. Я смутился, но, к счастью, вспомнил стих Пушкина из поэмы *Езерский*: как один из предков героя был раздавлен

*Задами тяжкими татар.*

Вспомнил и Михаила Тверского, который умер такую же смертью. Тут уж я обратил особенное внимание на эти лежащие передо мною многочисленные зады; уж они приобрели в глазах моих историческую важность. Я занялся поверкою их с эпитетом, данным им Пушкиным. Да нет! куда! знать, извелось древнее рослое и воинственное племя татар! Что это за *тяжкие* зады? Так себе: дрянь задишки! Только у одного, муллы и есть порядочный: меня даже, по поводу этих задов, осенила классическая грусть. «Вот, дескать, как мельчают, а потом и исчезают совсем коренные, многочисленные племена» и т. п.

Что вам сказать о Москве? Тихо дремлет она, матушка. Движения почти нет. Меня поразила страшная отсталость во всем, да рыбный запах в жары. Мне стало и грустно и гнусно. Поэзия же воспоминаний, мест исчезла. Хладнокровно, даже с некоторым уныни-

ем посматривал я на знакомые улицы, закоулки, университет, но не без удовольствия шатался целый вечер по Девичьему полю с приятелями, по берегам Москвы-реки; поглядел на Воробьевы горы и едва узнал. Густой лес, венчавший их вершину, стал теперь, ни дать ни взять, как мои волосы. Москва-река показалась лужей: и на той туда же острова показались, только, кажется, из глины да из соломы. Одним упивался и упиваюсь теперь: это погодой, и там и здесь. Ах, какая свежесть, какая тишина, ясность и какая продолжительность в этой тихой дремоте чуть-чуть струящегося воздуха; кажется, я вижу, как эти струи переливаются и играют в высоте. И целые недели – ни ветра, ни облачка, ни дождя.

Московские друзья мои несколько постарели, но не изменились ко мне, ни я к ним. Во мне и Вы заметили это свойство. Сошлись мы с ними так, как будто вчера расстались. Я говорю о немногих, о двух, трех. Про родных, про радость их, про встречу – нечего и говорить. Дело-то обошлось без слез и обмороков. Маменька меня встретила просто, без эффектов, так, почти с немой радостью и, следова-

тельно, очень умно. Славная, чудесная женщина. Она постарела менее, нежели я ожидал. Зато сколько перемен в брате и сестре. Сестра из восемнадцатилетней, худенькой девушки, какую я ее оставил, превратилась в толстую, тридцатилетнюю барыню, но только милую, чудесную барыню; ни ум, ни понятия ее не заросли в глуши: попрежнему бойкая, умная и насмешливая. Другой сестры еще не видал; она постоянно живет в деревне. Жду ее надолго сюда. У братца моего брюшко лезет на лоб, а на лице постоянно господствует выражение комической важности. Я бы не вдруг решился показать его своим петербургским приятелям: очень толст и иногда странен. Но как все это любит меня, как радуется моему приезду. Я по возможности ценю это: вот уже более недели, как я здесь, но еще не соскучился. А где удавалось мне пробыть хоть день, не скучая? Если и соскучусь, постараюсь скрыть.

Был я здесь в клубе, который, кроме английского разве, лучше всех столичных. И помещение прекрасное и люди порядочные. Первое лицо, которое попало мне, был Анненков.<sup>3</sup> Мы обрадовались друг другу; на дру-

гой день он был у меня; ели стерляжью уху, осетрину. Зимой и осенью, говорят, здесь много порядочных людей собирается. Ах, если б мне не дожидаться их. Я еще нигде почти не был, да никуда и не хочется. Был в здешнем театре: *это было бы смешно<sup>4</sup>, если б не было очень скучно*. Симбиряки похлопывают, хотя ни в ком нет и признака дарования. Но я рад за Симбирск, что в нем есть театр, какой бы то ни было. Глупо бы было мне, приехавши из Петербурга, глумиться над здешними актерами, и оттого я сохранил приличную важность, позевывая исподтишка.

Не был я еще на рыбной ловле, ни в окрестностях; лежу, отдыхаю, не выходя из халата. Около меня бегают два шалуна, раздаётся непривычный для моего слуха призыв: дяденька, дяденька! Это братнины дети. Сестра привезет с собой еще шестерых. – Встретил кое-кого из старых знакомых, весьма порядочных людей, но встретил без всякого удовольствия; некоторые из новых лиц пожелали познакомиться со мной, я нейду и этим страшно смущаю и компрометирую брата, который обещал познакомить меня с этими ли-

цами, сказал им даже, что я за честь поставлю и т. д. – Вообще, как мне кажется, придется сделать заключение, что все издали гораздо лучше и что отсутствие красит и места и людей, что не всегда надо поддаваться этому миру и т. п. Впрочем, мне грешно бы было сказать это теперь: мне еще хорошо, а вот что-то будет подалее, как всюду преследующий меня бич – скука – вступит в свои права и настигнет меня здесь: куда-то я скроюсь? А уж предчувствие-то скуки есть. О господи, господи! Спаси и помилуй. – Ужасаются нехождения моего в церковь и на-днях умышляют, кажется, вести меня к обедне. Здесь есть одно отверженное и проклятое семейство в городе, все за нехождение. – Подарки произвели большой эффект: кланяюсь усердно Марье Федоровне<sup>5</sup> и благодарю еще раз за ее удачные хлопоты. – Прощайте – не знаю, надолго ли. Крепко целую Ваши ручки, Евгения Петровна, кланяюсь Вам, любезнейший Николай Аполлонович, и вам, друзья мои – Аполлон<sup>6</sup>, Старик<sup>7</sup> и Бурька<sup>8</sup>. Поклонитесь всем, всем, Юнии Дмитриевне преимущественно: в течение лета я ей напишу. Не за-

будьте Юлию Петровну, Любовь Ивановну; наконец Лъховскому<sup>9</sup> и Дудышкину, Константину Аполлоновичу: я был у него перед отъездом.

Весь Ваш *Гончаров*.

Адрес ко мне: *И. А. Гончарову*, в Симбирск, у Вознесенья, в собственном доме.

Часто писать не обещаю, но отвечать непременно буду.

## Письмо Краевскому А. А., <25 сентября 1849><sup>\*</sup>

**6** А. А. КРАЕВСКОМУ  
<25 сентября 1849 г. Симбирск>

Милостивый государь Андрей Александрович,

Вы, вероятно, до сих пор считали меня пропавшим без вести: шлю теперь позднюю весть о себе, но, к несчастью, только *весть*, а *не повесть*. Чувствую, как я виноват перед Вами, тем более что причины, которые могу привести в свое оправдание, всякому другому, кроме меня, покажутся, пожалуй, неважными. Кому нужна знать, что я не могу воспользоваться всяким свободным днем и

часом, что у меня вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с годами, реже и реже приходит охота писать и что без этой охоты никогда ничего не напишешь? Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжать начатый и известный<sup>1</sup> Вам труд. Оно бы, вероятно, так и было, если бы можно было продолжать. Но прочитавши внимательно написанное, я увидал, что все это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится. Моя поездка и все приобретенные в ней впечатления<sup>2</sup> дали мне много материала на другой рассказ: но все это пока материал, который еще не убродился в голове – и что из него выйдет, я хорошенько и сам не знаю.

Вот в каком печальном положении нахожусь я теперь.<sup>3</sup> Я бы давно написал Вам об этом, но все надеялся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей комнате, садился каждое утро за работу, но все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде матери-

ала. А дни все шли да шли и, наконец, пришли к тому, что послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, кроме сомнительной надежды на будущие труды, сомнительной потому, что в Петербурге опять не буду свободен по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в самом деле от старости всякую способность писать.

Впрочем, чтоб сколько-нибудь очистить свою совесть перед Вами, я готов, если Вы пожелаете, пожертвовать к Новому году началом своего романа, как оно ни дурно; но в таком случае продолжать его уже не стану, потому что для продолжения нужно и начало другое.

Во всяком случае, помня взятое на себя против Вас обязательство – представить к Новому году или рукопись, или обратно мзду, я продал часть своей небольшой собственности и не замедлю по приезде вручить Вам долг. Я даже думал послать деньги вперед себя, чтобы пощадить себя от неизбежного при свидании с Вами смущения. и потом явиться не иначе как с рукописью или вовсе не явиться. Может быть, так и сделаю. А в наказание за

трехмесячную продержку денег наложите на меня сообразную с божескими и человеческими законами эпитимию, и да буду пред Вами чист и неповинен.

Завтра я выезжаю в деревню к сестре, где пробуду суток двое, да дня три или четыре в Москве, а к 15 октября надеюсь быть в Петербурге.

Будьте уверены в моем искреннем уважении, преданности и желании быть Вам полезным.

Иван Гончаров.

Симбирск, 25 сентября 1849.

Возьмите на себя труд передать мой усердный поклон Лизавете Яковлевне<sup>4</sup> и Дудышкину: последнему я бы написал давно, да не знал, куда адресовать. В Москве один молодой автор<sup>5</sup> читал мне прекрасную комедию; я хлопотал о ней для Вашего журнала, а он хочет отдать ее на тамошний театр. Как приеду в Москву, буду опять хлопотать.

## Письмо Языковой Е. А. и др., 23 августа 1852\*

7 Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ<sup>1</sup>  
23 августа <1852 г.>

Напрасно Вы, матушка Екатерина Александровна<sup>2</sup>, упрекаете меня, что я Вас забыл: в то время когда Вы писали мне это письмо, я тоже писал к Вам и надеюсь, что мое послание уже получено Вами, Следовательно, наши письма расходятся в пути. Я очень доволен, что Вы хорошо проводите время в деревне и что откровенно сознаетесь в этом: по большей части со всех сторон слышишь жалобы на несчастья да неудачи; это большая редкость, когда кто скажет, что ему хорошо. Благодарю и за то, что вспоминаете обо мне. Только напрасно желаете, чтоб я пожил в деревне у Вас, полагая, что моя хандра должна там пройти: Анненков правду сказал Элликониде Александровне, что я никогда, нигде и ничем бы не был доволен, что мне ни дай. Это в самом деле так. Хандра моя, как я Вам, кажется, уже писал, есть не что иное, как болезненное состояние, которому причиной нер-

вы. Вы посмотрите на всех нервозных людей: у них ум, воля и все ее проявления подчинены нервам. Оттого эти люди вдруг делаются скучны, мрачны или внезапно переходят к веселью, бог знает отчего. Это очень неудобно не только для себя, но и для других. От этого я и стараюсь и прятаться и, кроме Майковых да Вас, ни к кому не хожу.

А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! А все нервы: к чему было они меня повели! Послушайте-ко: один из наших военных кораблей идет вокруг света на два года. Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что, между прочим, нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне. Я принялся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на ноги и получил письмо к начальнику экспедиции.<sup>4</sup> Но вот мое несчастье: на-днях этот начальник выехал на некоторое время в Москву и, воротясь оттуда, тотчас отправится в море, так что едва ли я успею видеть его; потом, как я узнал после, нужен человек собственно не для рус-

ского, но более для переписки на иностранных языках; а этого я на себя не приму. Впрочем, во всяком случае мне советовали пови-даться с начальником экспедиции и узнать от него подробнее, что нужно. Стало быть, надежда не утасла еще совсем.

Вы, конечно, спросите, зачем это я делаю? Но если не поеду, ведь можно, пожалуй, спро-сить и так: зачем я остался? Поехал бы затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. Я по-лагаю, что если б я запасся всеми впечатлени-ями такого путешествия, то, может быть, про-жил бы остаток жизни повеселее. Потом, ве-роятно, написал бы книгу, которая во всяком случае была бы занимательна, если б я даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу. Наконец это очень выгодно по службе. Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь – я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой харак-тер, я никогда не бываю одинаков двух недель сряду, а если наружно и кажусь посто-

янен и верен своим привычкам и склонностям, так это от неподвижности форм, в которых заключена моя жизнь.

Свойство нервических людей – впечатлительность и раздражительность, а следовательно, и изменяемость. Может быть, я бы скоро и соскучился там, что и вероятно, мучился бы всем – и холодом, и жаром, и морем, и глушью, дичью, куда бы заехал, но тогда бы поздно было каяться и поневоле пришлось бы искать спасения – в труде.

Что скажете Вы, матушка Катерина Александровна, и вы, мой милый и добрый друг Михайло Александрович, одобрили ли бы Вы эти мои намерения?

Евгения Петровна уж плакала, что я не ворочусь, погибну или от бури, или дикие съедят, не то змея укусит.

Но, к сожалению, это все мечты, приятный сон, который вот и кончился. Вчера я рыскал и по Васильевскому острову и в Петергофе был, – словом, объехал почти вокруг света, все отыскивая моряка, да нет, и рекомендательное письмо товарища министра лежит у меня в кармане, уже значительно там поза-

маслившись. – Если же бы каким-нибудь чудом я поехал, то это должно так скоро сделаться, что Вы едва ли бы и застали меня. Но, кажется, мне придется не воевать с дикими, а мирно попивать чаек в тихой пристани среди добрых друзей, под Невским монастырем, на заводе<sup>5</sup>. Так уж пусть эти друзья едут скорее, а то, право, скучно.

Весь и всегда Ваш

И. Г.

Поклонитесь Элликониде Александровне<sup>3</sup> и поцелуйте детей. – Старик Щепкин здесь играет, но я в театре не был, а слышал, как он у Корша<sup>6</sup> читал «Разъезд» Гоголя; кому-то хочет читать еще.

## Письмо Майкову Н. А. и его семье, 17/29 марта 1853\*

8 Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ  
17/29 марта 1853.

Мыс Доброй Надежды  
Saretown, Капштат тож.

Получили ли Вы мое письмо со. Мадеры от 18 января? Я, кажется, писал оттуда в одном письме с Языковыми. А теперь вот уже где мы, или *вот еще* где мы! Это первая станция нашего огромного путешествия. Я не считаю за станцию Мадеры, где мы пробыли один день, ни островов Зеленого Мыса, куда тоже забежали освежиться и оправиться на одни сутки, и именно на о. Сант-Яго, в Порто-Прайя. Тут я видел первый, но полный образец африканской природы и климата. Зной, песчаные холмы, гранитные скалы, а между ними в долинах роскошнейшая тропическая растительность: банановые, кокосовые, фиговые и другие рощи, а рядом опять жгучий песок, голь, нищета в природе и людях. Весь переход от мыса Лизарда до Мыса Доброй Надежды мы сделали в 63 дня, то есть

выехали от английских берегов 11 января, а сюда пришли 10 марта. Плавание в тропиках обворожительная прогулка. Больших жаров мы не испытали: вообразите дней пятьдесят сряду отличной погоды где-нибудь в деревне среди садов и полей, где небо ни разу не поморщится. Над палубой ставили тент, и лучи до нас и не доставали. Впрочем, жар ни в северном, ни в южном тропике не превышал 23 градусов, в тени разумеется. Экватор мы пересекли 3 февраля в 5 часов утра. Все почивали, и я тоже. Но мы еще накануне собрались у капитана и, не переходя экватора, поздравили друг друга теплым шампанским. Что делать? Где взять холоду в тропиках?

Один из нас, старший штурман<sup>1</sup>, пересек его в одиннадцатый раз. Видели мы и акул, и летучую рыбу, и прочие тропические особенности. Всего удивительнее тамошние вечерние зори и колорит неба вечером. Ни красками, ни пером этого неба и облаков не опишешь. Так вот прошел я тропики, *удара избежав*: не знаю, что будет дальше. Нам обещают страшную жару в Китайском море, которое лежит в северном тропике, а мы предполага-

ем быть там летом – то есть в июне или июле месяцах. Это самое жаркое, да и самое ураганистое время там. Теперь мы пока приходим всюду к осени. На Мадере и островах Зеленого Мыса были в январе, стало быть зимой; лето было тогда в южном полушарии, а когда мы перевалились в южное полушарие, солнце перешло назад, и мы пришли сюда к началу осени. Вы, Аполлон, перед моим отъездом говорили, что магнитная стрелка переворачивается, слышь, на экваторе вдруг от севера к югу. Нет, душа моя, такого фокуса не бывает – один конец все-таки продолжает показывать к северу, а другой к югу – зане оба конца намагничены и каждый, верно показывает свой полюс. Только чем ближе вы к полюсу, тем более конец стрелки наклоняется к своему полюсу, так что на самом полюсе стрелка должна стать вертикально. Есть, однако, перемена, но не такая, как вы думаете: стрелка ложится только горизонтально на экваторе, и то не на общем, а на магнитном экваторе, который лежит тремя градусами южнее настоящего. Да еще, кажется, Филиппов<sup>2</sup> говорил, что штилевая полоса лежит на 3 градуса по

обеим сторонам экватора; неправда: она начинается и кончается в северном полушарии, начинается иногда в шестом, иногда в пятом градусе и кончается в третьем или втором, различно. Тут же, в северном полушарии, встречается и южный пассат.

Шестьдесят три дня в море! «Верно соскучился», – скажете Вы: нет, время проходит с невероятной быстротой, особенно если призаймешься. У меня было немало дела. Я вел и веду общий журнал<sup>3</sup>, прохожу словесность с гардемаринами по просьбе адмирала; пробова вести и свои записки, но сделал очень мало. Причиной этому моя несчастная слабость выработать донельзя.

Материалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и справиться, времени недостает, а если откладывать – пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал Вам огромные письма из Англии: лучше бы с того времени начать вести записки и потом, все это прочесть Вам вместе, а теперь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени немного, да потом большую часть событий я обязан вносить в общий журнал – так и не знаю, выйдет ли

что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написана – это собственно о море и о качке. Читал – смеялись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще не дотрогивался. Мне как-то совестно и начинать говорить об этом. Я все воображаю на своем месте более тонкое и умное перо, например Боткина, Анненкова<sup>4</sup> и других, – и страшно делается. Зачем-де я поехал? Другой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люблю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-нибудь в Европе, а не вокруг света!

Миль за 300 до Капа нас прихватил опять свежий ветер и качка. Что это за скука! Мы в тропиках отвыкли было от этих-удовольствий; а тут опять. К счастью, это продолжалось дней пять. Но ведь пять дней ни читать, ни писать, ни есть, ни спать порядочно нельзя. Мы остановились не в Столовой бухте, а в Сеймонсбей (Simons-bay), в которой безопаснее стоять судам. *Сеймонсбей* составляет маленький уголок большого залива, называемого Falsebay. Та слишком открыта ветрам. В Сеймонсбей всего десятка три домов, есть английское адмиралтейство и красный солдат

на часах – Англия везде и всюду, куда ни сунешься. На островах Зеленого Мыса, на Мадеyre, здесь – все негры, мулаты, готтентоты и малайцы (этих много навезли сюда еще голландцы), все говорят по-английски, хотя острова Зеленого Мыса принадлежат португальцам. Учитесь, друзья мои, по-английски, учитесь, чтоб ехать путешествовать, скоро надо будет учиться и для того по-английски, чтоб с большим удобством дома сидеть. Я благословляю судьбу, что учился, а теперь от беспрестанной практики наострился хоть куда. Иначе путешествие – не путешествие.

Фрегат наш теперь *разоружили*: он очень безобразен. Его расснастили, спустили реи, весь такелаж. Это будет продолжаться еще недели две или больше, а мы неделю здесь живем. Все попеременно ездят в Капштат, дня на два, на три. Капштат от Сеймонсбей всего 18 миль (30 верст). Дорога чудесная: сначала идет между страшных утесов по морскому берегу, а потом по аллее между дачами и фермами. Я вглядываюсь в траву, в песок, в камни, в деревья, в птиц – и нет уже ничего, ни былинки, которая бы напомнила о севере.

Все другое. Рыбы, Николай Аполлонович, ловится бездна, просто пустят толстый крючок и кусок говядины, сала, чего хотите, и вытаскивают огромных и вкусных рыб, похожих немножко на наших лещей. Удят всё матросы. Попадается ядовитая рыба, прекрасная, но есть нельзя. Если съесть, то умрешь через 5 минут. Было несколько примеров тому. Теперь, когда является чужое судно, капитан над портом посылает печатную программу, как вести себя в порте, и в этой программе упоминается и о рыбе, чтобы матросы ошибкой не ели ее. Ее иногда выбрасывает на берег, и если свинья съест, то закружится и тут же околевает. – Ну вот, любезный Льховский, я и в стране змей. Берег и горы в Сеймонсбей покрыты мелким кустарником: в полдень просят не ходить близко к кустам, выползают змеи. Но я и барон Крюднер<sup>5</sup> ходили; однако не видали их. По дороге в Капштат жгут траву и кусты, чтобы расчищать места для поселений и выгнать змей.

Завтра семеро нас отправляемся на семь дней далее вовнутрь. Адмирал был так внимателен и любезен, что спросил, как бы же-

лал я путешествовать. Я объяснил ему, что путешествие по берегам не очень занимательно, что надо стараться как можно дальше проникать внутрь, а без знакомых-де этого сделать трудно. Он вчера же отправился с нами в Капштат и устроил нам презанимательную поездку. Взял у здешних банкиров рекомендательных писем к разным лицам по колонии. Один банкир сыскал нам экипаж, проводника и даже распределил порядок дней, станций и предметов, которые нужно осмотреть. Между прочим, есть у нас письмо к английскому инженеру, который делает дорогу. Он нам покажет замечательные места, между прочим горячие источники, потом тюрьмы, где содержатся преступники из всех племен Южной Африки. Предположено ехать одной, а воротиться другой дорогой. На возвратном пути хотим осмотреть Констанскую гору и знаменитые виноградники. Всюду у нас есть письма. На этой горе содержится теперь один из предводителей кафров с женой. И его хотят показать нам. Вы по газетам знаете, что война с кафрами кончена и заключен мир — только надолго ли, бог знает. План

очень хорош: каково-то будет исполнение. Нас едет семь человек. Адмирал всем дал занятия на все путешествие. Одному, Гошкевичу (чиновнику М. И. Д.), поручена геологическая часть, доктор со шкуны, ученый немец, займется ботаникой. Посьет, которого Юния Дмитриевна видела (рыжий офицер), изучает голландский язык. Едет еще молодой мичман в помощь Гошкевичу. С нами едет и фотографический прибор для снимания местности и типов жителей также. Вы видите, что это целая экспедиция. Мне надо будет внести все подробности в журнал. – Ехать завтра, ранехонько, часов в 6 утра, в огромной повозке на шести и восьми лошадях, как здесь вообще путешествуют.

Странно это Вам слышать от меня – в экспедицию – в Африке – внутрь края – ранехонько. Я ли это? Да, я – Иван Александрович – без Филиппа, без кейфа – один-одинехонек с *sac-de-voyage*[50] едет в Африку, как будто в Парголово. У меня трость с кинжалом, да и ту, я думаю, брошу – мешает; у барона пара пистолетов за поясом, вот и всё. У прочих не знаю что. Я полагаю, что мы это всё оставим, а

возьмем лучше побольше сигар.

Вчера мы сделали огромную прогулку по всему Капштату, к подошве Столовой горы, рядом с ней Чортова, слева, а справа Львиная гора.

Львиная гора в самом деле похожа на лежащего льва, а вот Столовая, не знаю почему Столовая гора. Это просто плоскость, круто обрубленная отвесно. Как хотите, так и назовите: фортепиано, стол, стена какой-то громадной крепости или площадь. Вчера она *накрывалась скатертью*, то есть облаками, которые спускаются по обрыву. Это очень оригинально. Впрочем, это уже не ново для нас: в первый день приезда один из утесов в Сеймонсбей накрылся туманом, как париком. Я не понимаю, как ходят на Столовую гору: с вида она неприступна. Нам показывали тропинку, но ее трудно простым глазом видеть. Наши, то есть адмирал, и капитан<sup>6</sup> и некоторые офицеры, хотели было итти сегодня на гору, да невыносимо жарко, отдумали. Я объявил, что ни за что не пойду ни на какую гору, если она выше трех сажен, так же точно как без крайней необходимости не поеду верхом. Если

уже нельзя иначе, так нечего делать. А то вот сегодня наши приехали сюда верхом, да теперь и не могут ходить.

(Сию минуту ворочусь: звонили завтракать – это уж в третий раз сегодня, а теперь всего два часа. Будет в 6½ часов обед, а там еще что-то.)

Нас человек 10 завтракало: мне досталось хозяйничать, то есть разливать и разрезать. Всё перепортил. Я бросил и передал нож слуге-малайцу. Мы обедаем виноградом. Вкуса и букета ни с чем сравнить нельзя. Никто нигде не ел такого. Еще продолговатые арбузы в три четверти длиной, но неважные, груши и прочее тоже хорошо, свежие фиги и т. п. Но главные плоды уже прошли. Когда опять перейдем экватор и вступим в северное полушарие летом, там надеемся вознаградить себя. Констанское, или Капское, вино – так себе: мадера, красное – изрядны, а сладкое прилично и напоминает малагу.

Я надеялся получить здесь письма от Вас, но обманулся, и мне стало скучно. Видно, Вы не получили моего письма, где я просил Вас адресовать письма через Азиатский департа-

мент на Мыс Доброй Надежды, или поленились поскорее отвечать. Другой пароход должен привезти письма, но мы его, я думаю, не дождемся, и бог знает, где они застанут нас. Вы все-таки пишите через Азиатский департамент – где-нибудь да настигнет.

До свидания, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, Юния Дмитриевна, Аполлон, Владимир, Катерина Павловна, Бурька и все и все: всем кланяюсь. Прочтите письмо Языкову. Ему я тоже напишу, но коротенькое; Льховский, капитан, Александр Павлович<sup>7</sup>, верно, прочтут у вас.

Весь Ваш *И. Г.*

Если вернусь, подробности путешествия перескажу, а если запишу их – то прочту.

Кланяйтесь Бенедиктову: скажите, что Южный Крест – так себе<sup>8</sup>. Из Китая я сам напишу к нему. Я писал еще<sup>9</sup> Языкову и Кореневу.

## Письмо Льховскому И. И., июль 1853\*

9 И. И. ЛЬХОВСКОМУ<sup>1</sup>

Двадцать которое-то июля 1853.

Острова Бонин-Сима, Порт Ллойда

27° с. ш. 142° в. д.

Здравствуйте, милый друг Льховский!

Сегодня мы только ввалились, сказал бы я, если б странствовал по сушу, но *служба во флоте*, должен сказать – бросили якорь в выше-показанном порте. Вот дней пять, как я лежу больной: у меня нарыв, отчасти с рожей на ноге, все от жаров. Сам я здоров, но нога не дает ступить шагу, и я лежу. От этого я довольно равнодушно вслушивался в суматоху, какую обыкновенно сопровождается вход в порт и бросанье якоря; все в это время наверху, я один только не мог видеть хотя необитаемого, незанимательного, но все-таки нового берега. Зато как я был награжден за свою болезнь, скуку и за томительный переход от Гон-Конга сюда: через час после нашего прихода мне вдруг привезли, до десяти писем от всех Вас, от Языковых, Коренева и еще кое от кого. Добрый Михаил Парфенович<sup>2</sup> (которого

да благословит аллах до десятого колена) запечатал их в один пакет, отчего все письма более или менее слиплись, как слипаются в моем сердце самые авторы этих писем.

Письма привезены одним из судов, составляющих нашу эскадру (я служу теперь в эскадре). Но что Вам до всего этого за дело? Не стану Вам говорить ничего о нашем плавании, о новых, виденных мною местах, ни об урагане, или тайфуне (тифоне), который мы испытали при выходе из Китайского моря в Тихий океан, – все это отчасти прочтете Вы в общем письме к Майковым. А теперь обращусь скорее к Вашему письму, которое так мило, так тепло и так напоминает мне Вас, что оно разбудило мою дремоту, лень, хандру, и я спешу отвечать Вам сегодня же, хотя Вы, может быть, получите это письмо разве через многие месяцы, если только получите. Мне хочется отвечать поскорее и потому, что спустя некоторое время я, может быть, охладею к некоторым из Ваших замечаний, которые в эту минуту шевелят меня. Начну с начала. Мне очень жаль, что Вы так решительно отказались говорить о себе, сообщать мне кое-

что из того заветного мира, который так тщательно закрывали почти от всех, а вот теперь и от меня. Я говорю про Ваше сердце: до сих пор Вы держали дверь туда назаперти, вдруг отперли на минуту, да как будто и раскаялись. Конечно, этому виноват я сам. Вас пугает разврат или холод моего анализа: но Вы предполагаете его во мне иногда больше, нежели его есть; есть вещи, до того нежные, чистые и вместе искренние, что я умиляюсь перед ними, как пушкинский дьявол, увидавший у райского порога ангела. Или, может быть, я неуклюже и грубо озадачил и оскорбил Вашу стыдливую, поэтическую печаль поспешным желанием утолить ее хоть немного. Зная тонкость Вашего анализа, я хотел только это вышибенное внезапным ударом из рук Ваших оружие поднять и дать Вам опять в руки, надеясь, что Вы, владея им, мастерски справитесь посредством его со всяким горем. Но я, надеясь на ваш ум, позабыл в Вас юношу (знаю, что слово смешно, да, право, не умею заменить). Я думал, что Вы разложите Ваше горе так же тонко, как все, что попадалось Вам в руки, что ум Ваш и прошед-

шее будут Вам руководителями, но я забыл, что у Вас нет прошедшего и что в этом отношении я ставил себя на Ваше место. Грубая ошибка! Потом – отчего Вы так ухватились за слово *высшее*? Суля Вам высшее впереди, я никак не думал потешить Вас ни большим жалованьем, ни чином, ни даже каким-нибудь не столько материальным благом. Нет, я не хотел сворачивать Вас с того же пути, то есть с пути любви и наслаждений. Я там Вам и сулил это высшее (ужели я так глупо выразился?) или это лучшее? Тот же плод, но созревший и прекрасный. Как Вы ни будьте тонки, умны и образованны со всех сторон, но в ранней молодости, какова Ваша, Вы никогда не в состоянии будете дать любви, или, вернее, любовь не в силах явиться к Вам со всею глубиною своею, со всею определенной строгостью и достоинством своих качеств, с их разнообразием, – словом, со своею всеобъемлемостию, за недостатком многих начал к ее восприятию, чтоб заманить к себе эти начала, надо немножко побольше жизни, побольше опытности. Иногда я с удовольствием, а иногда с каким-то страхом прислушивался, как

тонко, а вместе как мучительно Вы бились посредством одного анализа разложить какой-нибудь случай, для которого требовалось не более трехдневного опыта, т. е. просто надо было пережить его, а Вы тратили бездну гипотез, даже целых теорий, одна другой остроумнее, и ошибались иногда. Положим, даже я уверен, что Ваша любовь была и та любовь, которую я разумею, но я также уверен, что низведенная с поэтической точки зрения любовника в будничную жизнь мужа и хозяина, она вскоре отодвинулась бы на второй план и уступила бы место – чему? А тому, что должно предшествовать ей, – опыту. Хотелось бы испытать других обольщений (смотря у кого что) – одному опьянелости самолюбия, голоса славы, другому чина и т. п. Положим, после придешь к сознанию, что то все хуже, да часто поздно возвращаться к тому единственному чистому источнику увядшего и неоцененного счастья. Не лучше ли же оставить все то назади и знать, встретя *высшее*, что лучше, глубже впереди нет ничего? Вот то разумное и высшее благо, которое я осмелился сулить Вам, зная Ваш тонкий ум и дав-

но чую глубоко симпатичное сердце, которое, может быть, ценю больше еще, нежели ум. Сердце Ваше теперь облилось кровью, но ни на волос не лишилось жизненной силы и способности вновь сосредоточить в себе всю роскошь тех ощущений, на которых созидалось здание Вашего потерянного счастья. — Вы спрашиваете меня, а знал ли я сам это *высшее*? Нетути. Так как же, мол... и т. д.? Как же могу сулить его другому? Во-первых, я сулю не другому, а Вам, во-вторых, Вам потому, что сознаю в Вас множество преимуществ пред собою, в-третьих, я не знал этого *лучшего*, но чувствовал в себе способность к нему, теперь уже утраченную. Или если не так, то сильно чуял эту способность в других. Преимущества Ваши состоят, между прочим, и в том, что Вы сознательно воспитывались и сохранили в себе, по прекрасной ли своей аристократической натуре, или по обстоятельствам, первоначальную чистоту, этот аромат души и сердца, а я, если б Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей на-

туре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтоб выкарабкаться и на ту стезю, на которой Вы видели меня, все еще грубого, нечистого, неуклюжего и все вздыхающего по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень. Я должен был с невероятными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие: у меня не было даже естественных материалов, из которых я мог бы построить что-нибудь, так они испорчены были недостатком раннего, заботливого воспитания.

Вот еще: Вы говорите, что я не так отжил, как кажусь, что роскошная природа, океаны, все чудеса, которые я вижу, не воскресили бы меня, а я, слышь, обновляюсь, глядя на Мадеру и т. п. Говоря об этом способе воскресения, Вы тут же и изрекли мне смертный приговор. Представьте, что, ведь это меня не занимает и не обновляет. Мадера на минуту разбудила меня: мы пробыли на ней всего часов два-

дцать и пришли туда прямо из незанимательного Портсмута, после постоянного холода, жестокой, непрерывной в течение семи дней бури – и вдруг там тепло, тихо, южно, да еще и хорошо пахнет – и это было первое место, не похожее на все то, что я прежде видел и знал, я точно немного ожил, но вот уже с тех пор до сей минуты и не оживал больше, а между тем я видел и мыс Доброй Надежды, и Яву, Сингапур, уголок Китая Гон-Конг, но видел холодно. Это, между прочим, и оттого, что я болен. Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит: геморой ли это, печень ли, не знаю, знаю только, что по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни – словом – жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли. Я совсем не хочу оправдаться в минутном проявлении жизни, напротив, я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а мне уже о сю пору скучно. Увидав, например, крутые живописные скалы на Мадере, потом в Африке, по-

бывав в пальмовых рощах на острове Зеленого Мыса и поглядев с некоторым вниманием и любопытством, я потом уже холодно смотрел на все утесы и на все пальмовые леса и в других местах, потому что соскучился и одряхлел, а внешняя природа может двигать только здоровый, живой дух. Если же в письме моем и выразилось будто живое впечатление, так это потому, что я, при некоторой настроенности, вследствие весьма известного Вам воззрения, забочусь более о зрителях и слушателях, нежели о себе: как же я постоянно буду звучать им в уши на тот тон, который раздается в моей душе. Притом я писал второпях, как почти все свои письма, и желал, разумеется, высказать как можно больше, спешил и высказывал неполно, не отчетливо одни резкие черты – вот отчего письма мои и нелепы. О себе все говорить не позволено, а другое не так интересуется меня (то есть что вижу), чтобы могло выйти интересно в письме. Впрочем, я уже писал к Майковым из Сингапура о том, отчего письма мои выходят и глупы и неполны: я все надеюсь вести записки и даже написал главу о плавании от Англии

до Мадеры и о Сингапуре, а писать письма также подробно и отчетливо, как записки, некогда, одно вредит другому. Служба и здесь занимает почти все мое время, а чего не отнимает она, отнимают жары, качка.

К Вам я писал из Гон-Конга через Языкова. Там же и к Юнии Дмитриевне – особо, а к Майковым из Сингапура. Дошли ли мои письма?

До свидания. Не заключаю письма, которое, верно, пролежит в моем бюро несколько месяцев. На Бонин-Сима почты нет: там живет человек тридцать беглых матросов; в Японии, куда мы идем на-днях, тоже нет. Впрочем, если оттуда пойдет какое-нибудь судно в место, где есть почта, с ним и пошлю. Ну вот мы касаемся, наконец, предела нашего плаванья – что-то будет?

20 августа

Нагасаки, Япония.

А ничего пока не было. *Взяли да и приехали* – пока только; хорошо, если б *приехали да взяли*. Впрочем, с японцев взятки гладки. Вот они, с своими косичками, бритые, в юбках без

штанов, в мягких туфлях, приседающие, похожие на женщин до того, что до некоторой степени возбуждают фальшивую похоть к себе – а что в них толку? они так и высматривают, чтоб мы убирались, откуда приехали. Мы сидим пока на фрегате: губернатор не смеет без спросу ни пустить нас на берег, ни принять, ни сам приехать, ни дать нам есть – обо всем послал спросить в столицу. Узнав, что у нас есть письмо к властям, он спросил: зачем же мы одно письмо привезли на четырех судах? О бестия! Что-то будет! До свиданья, милый друг.

Прочитывая письмо, я уж и совещусь послать: мне уж хочется совсем другое сказать, но посылаю как есть, потому что послезавтра захочется сказать опять третье, а там четвертое. Не взыщите: так всю жизнь было со мной. Ах, Льховский: если я умру, растолкуйте, пожалуйста, другим, что́ я был за явление. Вы только и можете это сделать. Вам я завещаю мысль свою о художнике:<sup>3</sup> если не сумеете изобразить, расскажите – и будет прекрасно.

**Письмо Языковой Е. А. и др., 15/27  
декабря 1853\***

**1<sup>0</sup>** Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ  
15/27 декабря 1853. Saddle-Islands.

Я сегодня получил Ваше письмо, любезный друг Михайло Александрович. Нечего и говорить, какое утешение доставило оно мне: все равно, как будто я просидел у Вас целый вечер и пришел домой покойный и довольный – до следующего вечера. Вы удивляетесь, что я не получил Ваших писем: когда я писал к Вам с Бутаковым<sup>1</sup>, то у меня писем Ваших еще не было – я их получил ровно через два месяца после того, то есть отъезда Бутакова; их привезли нам курьеры Кроун и Бодиско<sup>2</sup>. Министерство иностранных дел так распоряжается, как я вижу теперь, что собирает все письма и, скупясь отправлять их с депешами по почте, ждет случая послать с курьером. Но теперь курьера долго не предвидится, и потому я долго не дождусь и писем от Вас, если только Вы давали их туда. Вы отлично распорядились, что послали с почтой через Гон-

Конг: сделайте и опять так же. Несмотря на то, что мы долго не посылали в Гон-Конг и письмо Ваше много времени лежало там, я получил его через три месяца, а это очень сносный срок для такого расстояния. – О кончине Андрея Андреевича Колзакова<sup>3</sup> Вы, должно быть, или вовсе не писали ко мне, или письмо Ваше в самом деле затеряно. О переменах в конторе я получил от Вас известие в письме, присланном с курьерами, но там ничего об этом нет. Во всяком случае я как нельзя более благодарен и за письмо и за все, что сообщаете нового о знакомых лицах, о Петербурге etc. От Майковых я после писем, привезенных в августе курьерами, других не получал: они или ленятся, или пишут через Министерство иностранных дел, а то держат у себя. Если бы они поленились (что непростительно грешно), то написала бы Ю. Д. Ефремова или Лъховский. Научите и их написать по почте: я могу получить письмо через два, много три месяца. Адрес тот же, т. е. China, Gong-Kong M-rs Williams, Anthon et C ie To be forwarded on board of the russian frigate Pallas. А внизу по-русски: такому-то.

В заглавии письма Вы видите Saddle-Islands: это группа маленьких островов, у которых стоит наша эскадра на якорю. Дальше, в реке Янгтсекиянг суда по мелководью итти не могут, то есть фрегат. Мы здесь уже другой месяц стоим: я дней пять, как воротился из Шанхая, куда вместе с адмиралом и другими спутниками нашими ездил и по службе и так – посмотреть Китай. Шанхай – это один из пяти открытых для европейцев портов. Ходя по улицам европейского квартала, среди великолепных домов, или сидя в роскошной гостиной какого-нибудь консула, не веришь, что это – недавно еще неприступный азиатский берег; по улицам кипит толпа народа, с бритыми головами, с косами, но все почти говорят по-английски. С зарей по улицам начинают таскать тюки товаров, всё к англичанам или американцам. Чай таскают ящиками, оставляя по следам дорожку этой травки, которую у нас подобрали бы не одни нищие, – как у нас иногда оставляют от кулей дорожки муки. Китайские дома, рынки, базары, лавки, говор, крик, харчевни – все это так напоминает мне – знаете что? – наш простонародный

русский быт! Обо всем этом я иногда, на досуге, набрасываю заметки в тетрадь, не зная, пригодится ли на что-нибудь. Но досуга немного: я никак не воображал, чтобы так много было дела. А если и дела нет, то под парусами в море не много распишешься: холодно, как теперь, например, или качает так, что столы и шкафы срываются с мест.

Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь о присылке журналов к нам. Этого я даже всего и не приму на свой счет, потому что мне самому едва ли придется прочесть все. Но это будет благодеяние для всей нашей эскадры; охотников читать много, и все поблагодарят Вас. Только меня приводит в смущение выноска, сделанная в Вашем письме: что редакторы ожидают от меня статейки.<sup>4</sup> Вот это-то и беда. Поверите ли, что у меня набросано на бумагу в виде писем всего три-четыре статейки? Одну какую-нибудь я, может быть, и послал бы Андрею Александровичу, исполняя давнишнее обещание, да мне не пришло в голову о возможности напечатать без себя: лучше уж вместе все, если только наберется побольше. Но все это такие пустяки, что совест-

но и показать. А потом неудобно еще печатать заранее и потому, что о нашей экспедиции печатно, помнится мне, ни разу не говорилось. Иногда мне бывает просто лень писать, тогда я беру – как вы думаете что? – книжку Ивана Сергеевича<sup>5</sup>: она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать. Но тут другая беда: я зачитаюсь книги, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера, случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля и – что всего приятнее – среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском, и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я – все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг – так и ходят около. Кланяйтесь ему и скажите это от меня. И Павлу Васильевичу кланяйтесь<sup>6</sup>: так он издает Пушкина! Как я рад, я, жаркий и неизменный поклонник Александра Сергеича. Он с детства, был моим идолом, и только один он. Я было навязывался на подарок экземпляра, да Павел Васильич,

уклончивый вообще, в этом случае уклонился с особенным старанием. Коршу мой поклон и семейству тоже. Я рад, если он наследует Надеждину, но мне жаль Николая Ивановича<sup>7</sup>.

## **Письмо Краевскому А. А., <между 14 и 20> сентября 1854\***

**1**<sup>1</sup> А. А. КРАЕВСКОМУ

Якутск <между 14 и 20> сентября 1854.

Любезнейший и почтеннейший Андрей Александрович. По-настоящему мне бы не следовало писать туда, куда еду сам, а скорее назад, где был, в Китай или Индию, но возвращение мое восвояси, ко всему отечественному, между прочим и к Запискам, совершается с медленностью, истинно одиссеевскою, и между началом и концом этого возвращения лежит треть года, две трети полушария и половина царства. Стало быть, написать можно, тем более из Якутска, откуда Вы едва ли от кого-нибудь и когда-нибудь получали письма. Медленность странствия моего происходит: частью от употребительного здесь и тоже достойного гомеровской эпохи способа езды, то

верхом, то на лодке, а инде пешком, где нет ни земли, ни воды под ногами, а есть своего рода пятая стихия, тундры, то есть мох, прикрывающий тину, воду, переплетшиеся корни деревьев и еще многое другое, о чем, может быть, «не грезились нашим геологам», частью же от опухоли в ногах, приобретенной мной не то в лодке, не то на лошади, среди болот, при легких утренних морозцах, которые так полезны для рябины и других плодов здешнего климата и совсем бесполезны для ног. Все эти обстоятельства заставляют меня пробыть в столице якутского царства долее, нежели нужно вообще и нежели я желал в особенности. Если опухоль скоро не опадет, то, пожалуй, придется сидеть у берега и ждать буквально погоды, зимней, когда станет Лена, а это может случиться месяца через полтора. Берегом, или, как здесь говорят, *горой*, можно ехать, только все-таки верхом, другого способа нет, и не при одних только утренних морозцах. От нечего делать я осматривал здешнюю столицу. В ней много замечательного, есть и древности, например остатки деревянной крепостной стены с башнями

и гостиный двор. Крепость построена казаками, за 200 лет, для защиты от набегов якутов, которых казаки сами же и притесняли. Твердыня очень тверда, топор не берет дерева, отчего оно и предпочитается здешними мещанами, при постройке домов, всякому новому еловому и сосновому дереву, за которым еще надо ездить в лес, тогда как это лежит готовое на площади. Губернатор<sup>1</sup> велел, однако, огородить эту древность забором, не против набегов мещан и не из антикварских побуждений, а потому, что стены и башни клонятся все на сторону, между тем якутки ходят садиться в тень ее, затем ли, чтоб оплакивать свой Иерихон, или с другою, более практическою целью, это я, в своих ученых исследованиях, добиться не мог. Гостиный двор – здание превеличественное, облезлое, выцветшее, заплеванное, засморканное и зачиханное, что все придает ему зеленовато-античный вид. Его засморкало время, больше некому, купцов нет, они все сидят дома, и лавки отпираются, когда являются покупатели. Затем следуют допотопные древности, гребни и коробочки из мамонтовой кости, с древними надписями

на русском языке, видимыми еще и поныне на фарфоровых чашках: «В знак любви» и т. п. Гребня я себе не купил: плохо сделаны, никак не расчешешь волос... Есть еще здесь шесть церквей и сотни три-четыре домов, всё деревянные, кроме одного, и все похожие на дом Бабы-Яги, не исключая и губернаторского. Вот и Якутск. Лена, говорят, прекрасна и широка, даже, говорят мне, я живу на самом ее берегу. Не знаю, может быть, я ее не видал, хотя даже переправился через нее. Я вижу из окошек огромные луга, пески, болота и озера, но под этим всем мне велят разуместь Лену. – Путешествие мое по Якутской области, то есть от Охотского моря до сих древних стен, представило мне несколько замечательных фактов. Майковы, если при свидании спросите их, подробнее расскажут обо всем, между прочим и о том, как, вступив на наши берега, я из путешественника вдруг обратился<sup>2</sup> только и *проезжего*, потом как мы (с товарищи) втроем совершили этот переезд с патриархальной трезвостью, достойной самого патера Mathew, по милости наших слуг, которые *пролили* весь запас господского вина и водки на Джукджу-

ре, Якутском Монблане<sup>3</sup>, а достать его было нельзя, и от Аяна до Якутска пьяных – хоть шаром покати, не встретишь ни одного; как далее вязли в болотах, карабкались над пропастями, терялись в лесах и т. д. Всего замечательнее мне показалось, что здесь якуты не учатся по-русски, а русские по-якутски говорят до nepозволительной степени. В одной юрте вижу хорошенькую, беленькую девочку лет одиннадцати, у которой скулы не похожи на оглобли и нет медвежьей шерсти на голове вместо волос, – словом, русскую. Спрашиваю, как ее зовут: «Она не говорит по-русски», – отвечает Егор Петров Бушков, мещанин, содержатель почтовых лошадей, ее отец. «Что так? Мать у ней якутка?» – «Никак нет, русская». – «Отчего ж она не говорит по-русски?» Молчание. Далее Егор Петрович, везя меня, встретил в одной слободе с лица русского человека и заговорил с ним по-якутски. «Кто это?» – спросил я. «Брат мой». – «Да он говорит по-русски?» – «Как же, он природный русский!» – «Зачем же вы говорите по-якутски?» Молчание. И всю дорогу везде подобные случаи. Станционные смотрители, все

русские, говорят с ямщиками по-якутски. Мало того: на одной станции съехался я с двумя чиновниками, такими же, как мы все, в вицмундирах. Мы разменялись поклонами и молча глядели друг на друга. Один из них обратился к ямщикам и на чистейшем якутском диалекте отдал приказание, за ним другой тоже. Я так и ждал, что вдруг они спросят меня: «Parlez vous yacouth?»[51] и чувствовал, что, краснея от смущения, ответил бы, как бывало в детстве: «Non, monsieur»[52], когда спрашивали: «Parlez vous français?»[53] Здесь есть целая русская слобода, Амгинская, на р. Амге, где почти ни один русский не говорит, то есть не знает, по-русски, а все по-якутски. Чего! недавно только дамы в Якутске, жены и дочери чиновников, перестали в публичных собраниях говорить этим языком. Вы, может быть, подумаете, что все это так, анекдоты, литературный прием à la Dumas: клянусь Вашей сединой, все правда. Последний случай я почерпнул из верных рук. Не только язык, даже начали перенимать обычаи у якутов, отдавали детей на воспитание якуткам, которые прививали им свои нравы и многое другое,

между прочим сифилис. Но теперь зло остановлено.

Вы, конечно, спросите, что я делаю. Да теперь пока вот что: вчера и сегодня, например. Лежу, а не сижу, как Манилов на балконе, лежу в полумраке, ноги натерты спиртом и зудят до смерти. У меня нет желаний ни ехать вперед 9500 верст, ни назад 20000 миль опять по морям. Закроешь глаза, мерещится крупная надпись: *Очерк истории Якутской области. Исторический опыт* в двух частях И. Г.; с приложениями, картами, литографическими снимками замечательнейших рукописей, хранящихся в Якутском архиве, 1855 г., СПб. В типогр. Э. Праца. Цена 5 р. сер. Ведь завлекательно! В перспективе рисуется академический венок, Демидовская премия, потом отличный разбор Дудышкина в «Отечественных записках», где я поместил прежде большой отрывок и взял с Вас невероятное количество денег. – Я уж говорил с преосвященным Иннокентием<sup>4</sup> и думал не шутя выманить что-нибудь для Вас, но он человек такого, как говорит немецкий булочник Каратыгина<sup>5</sup>, *здорового ума*, что у него не выманишь.

Сам он, как видно, трудится и над историей и над языком якутов, но если будет издавать, то осторожно, «потому что я в этом случае буду единственным авторитетом, говорит его преосвященство, которому, конечно, поверят, следовательно надо говорить верно, а верно-го мало». Есть еще здесь любитель древностей, купец Москвин, с которым увижусь. Ну, как они да на беду мою дадут мне сведения, источники: что я стану с ними делать? хуже, чем Манилов с своим мостом. Я целиком отошлю или отвезу к Вам, а Вы делайте, что хотите. Иногда я просматриваю свои путевые тетради – какая нагая пустота! никакой учености, нет даже статистических данных, цифр – ничего. Ну, как пошлешь что-нибудь к Вам и что? Вот на выдержку вынул *Шанхай*: нет, нельзя: тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже о. Иоакимфа, а уж он ли не весело пишет? *Сингапур* – тут много восторгов: не по летам. Ищу *Мадеры* (острова), но напрасно шарю рукой, я вспомнил, что она еще в проекте, как *Очерк истории Якутской области; Мыс Доброй Надежды*

– это целая книга, с претензиями на исторический взгляд: надо повыкрасть кое-каких данных из других путешествий; *Анжер* на Яве – годится, да всего три страницы. *Манилла...* вот Маниллу бы хорошо, она готова почти, да того... не переписана, а здесь писарей не видать. Да и кто пойдет сюда в писаря, когда вина так мало, а какое и есть, так то проливается на горах? Вот к Майковым, если не поленюсь, так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу<sup>6</sup>, единственно потому, что они рыболовы. Если эта страница будет годиться в печать, то тисните ее, пожалуй, куда-нибудь подальше в «Смесь», где тискаются разные подобного рода анекдоты из иностранных журналов, но только *без подписи имени*, *conditio sine qua non*[54]. Совестно, слишком ничтожно, да и в «Смеси» под статьями не подписываются. О помещении же чего-нибудь побольше в «Отечественных записках» из моих записок мы потолкуем при свидании, если только пожелаете Вы. Благодарю Вас за присылку выканюченного у Вас Языковым экземпляра «Отечественных записок», но я их вместе с своими книгами отдал

одному из наших новых поселений в Татарском проливе, где еще нет никаких записок. Приношение принято с благодарностью.

Будьте здоровы и не забудьте искренно преданного

Гончарова.

С. С. Дудышкину зело кланяюсь: не пишу потому, что полагаю, когда он будет у Вас, Вы дадите ему прочесть это письмо, из которого он и узрит, что́ я, где и как. Домашним Вашим, то есть Елизавете Яковлевне<sup>7</sup>, мое почтение, чадам тоже; на них советую положить метки, как на белье, чтоб гости, в том числе и я, могли узнавать, который Евгений, который Александр<sup>8</sup>. – Если у Вас попрежнему бывают Заблоцкие, Милютины, Арапетов<sup>9</sup>, Никитенко, всем им при случае прошу напомнить обо мне и кланяться. Если увидите с кн. Одоевским – и ему, подвернется Соллогуб, и тому поклонитесь, наконец даже и Алексею Григорьевичу Теплякову<sup>10</sup>. Уж если будете кланяться Теплякову, так почему ж не поклониться и Элькану<sup>11</sup>.

# Письмо Толстой Е. В., <19 сентября 1855><sup>\*</sup>

1<sup>2</sup> Е. В. ТОЛСТОЙ<sup>1</sup>

<19 сентября 1855 г. Петербург>

С благодарностью возвращаю печать m-me Якубинской<sup>2</sup> и Ваш карандаш – тоже. Я им не воспользовался, не делал отметок на Вашей тетрадке, потому, во-первых, что негде, так все исписано, а во-вторых, не имею ни права, ни возможности быть цензором таких верных, безыскусственных выражений Вашего сердца. Но чтение Ваших confidences[55] мне доставило несколько приятных минут. Все написанное Вами есть верное отражение господствующего в Вас чувства – не больше. Вы, конечно, этого и достигали, принимаясь за перо, в противном случае, то есть если б у Вас была другая претензия, она бы непременно высказалась в тонкостях ума. Вы впали бы в частности, в подробности, старались бы об отделке, и тогда вышло бы литературнее, но не было бы искренности. А тут примета ее заключается, между прочим, в том, что Вы, по

примеру всех, так или иначе выразивших свое чувство, считали его исключением. Тоска, мечты, слезы – все это симптомы известной болезни. Зачем бы, кажется, это писать? А нужно, я знаю, – помню, то есть я сам никогда не писал, а помню, что непрочь бы, если б меня заперли в деревне. Вам, как и всем в этом положении, жадно хочется прислушиваться к голосу собственного чувства, так что трудно заглушить в себе эту потребность высказываться. Его не было, говорить с ним нельзя, писать по почте об этом неудобно, особенно в такие места, где письма поступают в карантин, прежде нежели дойдут по адресу – и вот Вы (и другой в таком состоянии) начинаете говорить с неодушевленными предметами, сначала с письменным столом, потом с печкой и т. д. Татьяна говорила и с одушевленными, с няней<sup>3</sup>: хорошо у кого есть няня, а у кого нет – можно слова два перемолвить хоть с мухой. Но все это у Вас грациозно, естественно грациозно, как Вы сами и Ваш ум, потом свежо и молодо, так что особенно мучительная сторона страсти, даже и мне напомнило что-то бывалое, уж давно угасшее и

забытое во мне. Позволю себе сделать одно капитальное замечание: Вы все обращаетесь к внешней *его* стороне, едва вскользь упоминая об уме, душе *etc*, а то все «красивая поза», «опершись на руку» – да тут же непременно и «конь». Я все думал, что у Вас это должно быть полнее. Впрочем, Вы и сами сознаетесь в своем дневнике, что Вы «влюблены», следовательно это еще не решенный вопрос, наступила ли бы за пылом страсти настоящая, глубокая любовь, чувство прочное и более спокойное? Во всех Ваших выражениях мелькает только страсть в виде болезни, а не сознательное и неизменное чувство. Вы смело можете показать эту тетрадку Вашему будущему жениху: он найдет, что не все для него погибло, и отроет тут много залогов на излечение. Я нахожу, что это и естественно – страсть и любовь (про которую я говорю) что-то не одинаков, или по крайней мере бывает иногда не одинаков.

В двух местах только я вижу небольшие натяжки: это в выражениях *тоска змея*, да *погодушка-верховая*: мне это показалось умышленным украшением, риторикой. По-

том я не мог не засмеяться от души, читая, как Вы с *ним* мечтаете женить Ваших будущих детей. Да, да, все это верно, искренно: тут весь очаровательный мир, *со всею милой глупостью* любви<sup>4</sup>, как называет это Аполлон Майков где-то, кажется в Машеньке.

Я позволил себе сделать этот общий вывод о Вашей тетрадке, предвидя изустный Ваш вопрос о моем мнении: но изустно не выскажешь в порядке, и я предпочел написать. Но довольно, а то, пожалуй, не кончишь на листе, дай только волю себе. С Вами я особенно разговорчив: чувствую, однакож, что апатия и тяжесть возвращаются понемногу ко мне, а Вы было своим умом и старой дружбой расшевелили во мне болтливость. – Еще раз благодарю за доверие, но тетрадки не возвращаю, по Вашему желанию, до личного свидания. Надеюсь, что в сказанном мною, несмотря на Вашу обидчивость, Вы не найдете ничего обидного: я счел дружескою обязанностию сказать откровенно, как и что мне кажется.

Поздравляю Вас: сегодня спектакль, говорят, великолепный и живо должен напомнить итальянскую оперу. Один отчаянный

меломан сказывал мне, что, после Рубини<sup>5</sup>, подобного певца не слышали. Не знаю, насколько тут правды; этот меломан лжет на каждом шагу. Он знаком с Майковыми и будет в театре, конечно подойдет к ним: избегайте отвечать ему, если он заговорит как-нибудь и с Вами: он очень неприличен, и порядочные женщины неохотно говорят с ним. Вы сейчас его узнаете: это обезьяна лет семидесяти, в очках.

Так как Вы принимаете во мне участие до того, что иногда *намереваетесь* спросить о здоровье, то я *спешу* уведомить, что я очень нездоров: у меня, сверх головной боли, явился кашель, и если это не кончится к вечеру, я лишусь удовольствия видеть Вас и слушать Люцию<sup>6</sup>. Иду на службу.

Что здоровье m-me Богдановой.

Mes compliments à m-me[56] Якубинской.

Tout à Vous[57] Гончаров.

19 сент.

55.

Вот еще Вы не уехали, а какая корреспонденция началась, какие длинные письма: за чем это, скажите ради бога, добро бы я днев-

ник вел! Впрочем, это написано по поводу дневника.

Посылаю еще китайского изделия безделку: печати Вам не посылаю: жаль стало; Вы вчера не изъявили особенного желания иметь ее.

## **Письмо Толстой Е. В., 25 октября 1855\***

**1<sup>3</sup>** Е. В. ТОЛСТОЙ

25 октября 1855. Вторник. <Петербург>

Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе? Кинуться Вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а буде можно, то и обе – Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение, взять одну из Ваших рук и почтительно-страстно приложиться к ней: пальцы закованы в броню колец, которые охлаждают пыл поцелуя. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я. Но Вы поймете и без всего этого, как я рад: faut-il encore mettre les

points sur les i?[58] Но не думайте, однакож, что Вы первая вспомнили обо мне, а не я о Вас, что Вы первая написали ко мне, а не я первый к Вам: доказательство должно быть давно в Ваших руках – это мое письмо, другое доказательство на Ваших плечах – это салоп, третье – в Ваших глазах: это книги. Вы не подозревали, конечно, что навстречу Вашему письму неслось уже мое, не чувствовали, что за Вами помчалась моя неотступная мысль, летала, как докучливая муха, около поезда, врывалась нескромно в семейный вагон, тревожно отыскивала Вас среди узлов, мешков, ребят, старых и молодых княгинь, успокоивалась подле Вас час, два, потом, усталая, измученная, летела в столь любимый Вами Петербург и теперь ревниво допытывается, к кому направлены Ваши наиболее горькие сожаления, о ком были Ваши слезы?.. Нет, не догнать, не предупредить и не опередить Вашей дружбе мою, не переспорить меня в этом. Ваша дружба – как легкий, прохладный ветерок в летний день, нежит, щекочет нервы, приятно шевелит их, как струны, и производит музыку во всем организме. Моя – как воздух про-

никает всюду, всего касается, заходит в легкие: надо уйти на дно морское, чтоб защититься от него. Хорошо, если б она сделалась такою же необходимостью для Вас, как воздух, чтоб Вы не пожелали, в защиту от него, обратиться в рыбу. «Вы плакали», – пишете Вы, а о чем? Может быть, с досады, что я, по эгоизму, не достал билета на спектакль в прошлый понедельник?.. *Des choses les plus sûrs etc.*[59]. Нет, прочь этот скептический девиз, по крайней мере теперь, когда мне весело. Знаете, как мне жаль, что я не видал Ваших слез никогда: мне недостает их для полноты очерка всей Вашей физиономии. Если б Вы были здесь, я готов бы был разобидеть Вас, чтоб Вы заплакали, чтоб поглядеть, как из Ваших глаз «сыплются эти перлы», сказал бы поэт, и то восточный. Особенно хотелось бы видеть эти слезы, о которых Вы пишете, сосчитать, сколько их пролито вообще, досталось ли на мою долю, и если досталось, то сколько именно. Смекните на досуге и уведомьте об итоге поаккуратнее. Вы отвечаете на это всегда, что «слезы портят лицо, глаза красны» etc. Да боже мой: разве только хоро-

ши сухие и ясные глаза? Рисовать – так, но чтоб не забывать никогда таких глаз, как Ваши, нужно изредка видеть их плачущими. Вы знаете – к чему проводник – слезы, но Вы не хлопотали о том, чтоб я не забывал Ваших глаз, оттого, конечно, никогда и не показывали слез.

Не подозревали Вы и того, что Вы едва успели миновать Тверь, а у меня в голове, неправда – в душе, созрел уже план прилагаемой при этом главы романа. Вы еще не огляделись в Москве, а план был уже набросан на бумагу, теперь переписывается и завтра посылается к Вам, – не того романа, который должен быть готов через полтора года<sup>1</sup> во имя Ваше, а того, который начался в душе героя и бог весть когда кончится. Это одна из больших, жалких страниц романа: за что на Вас ляжет печальная обязанность читать ее. Дружба героя тяжела. Я даже в сомнении, посылать ли эту исповедь героя, довольно безобразную, как рана, которую человек решается показать другу только потому, что надеется возбудить ею не отвращение, а участие. У героини много власти – во взгляде, в голосе, в

слове: за отсутствием двух первых, благотворно может действовать последнее и уже подействовало. Посылаю еще и потому, что Вас это может позабавить, заставить не раз улыбнуться, а местами Вы не без участия увидите, как мучительно герой допытывается узнать героиню до самой маленькой веснушки на лице, до крошечного пятнышка на совести, чтобы любить ее или без сомнений, или прояснить их, и любить со всеми пятнышками и веснушками. Ужели Вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение им героини, или ее горячее участие. Я тоже принимаю участие в герое: мне жаль его. Того участия, которого ему недоставало в жизни, он уж не найдет, и ему предстоит одинокая и печальная старость. Позади у него мало доброго: он увлекался иногда без пути и толку и часто страдал оттого, что чересчур добросовестно смотрел бог знает на что. Вот источник его сомнений.

Прежде нежели скажете что-нибудь о самом отрывке, не скажете ли, если можно поскорее, о том, что Вы его получили. Сегодня я

взял Ваш браслет и булавку: отдам их Николаю Аполлоновичу, который будет отправлять портреты. Я уж писал, что я насильно взял один из них, но его на время отнимают у меня, чтоб сделать новую фотографию. Я возьму себе еще оттиск с последнего портрета, он хорош, и все это спрячу в глубину бюро.

Записку Вашу я получил не в пятницу, 21-го, как Вы думали, а сегодня, 24-го; пришла она 22-го, но вчера и третьего дня по случаю праздников я не был на службе, и письмо ждало меня. Напрасно говорите, чтоб я не показывал ее, я не покажу ни второй, ни третьей, ни сотой, если она будет. Поступайте так и с моими письмами. За верный адрес благодарю, но верен ли он: прихода не означено. Мой адрес, как я вижу, Вы, по обыкновению своему, потеряли, да я бы и удивился, если б он уцелел, а на-память Вы бог знает чего написали, много лишнего. Ни министерства, ни титула моего не нужно. Прилагаю особо на бумажке, как надо писать.

Пришла моя очередь удивляться и восхищаться Вашими записками. Грация ли Вашего ума, или некоторая, редко проявляющаяся

В Вас теплота чувства подкупают меня, только я не начитаюсь письма. Не избалуйтесь моим отзывом и пишите с тою же искренностью и простотой, с какой Вы вообще держите себя в отношении к друзьям Вашим.

Зачем это Вы уехали отсюда? Или бы Вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда. Это напомнит Вам немного уроки Степана Семеновича, римскую историю и отзыв римлян об Августе, то есть известную дилемму. – Вы обещаете мне письмо – сколько надежд и радостей! Потом, может быть, ответите на отрывок – отрывком же? Да? Буду ждать.

Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до Вас: да что в ней? Никуда и ничего не хочется. Я уж уклонился от нескольких вечеров и обедов. Теперь вечер: я не выходил, пишу и не скучаю. Этого со мной давно, да, кажется, никогда не случалось.

У Майковых все то же. Вчера, в воскресенье, особенно живо вспомнили Вас. Были Кошевский и Михайлов<sup>2</sup>. Пели, между прочим, *Птичку*, даже двух, старую и новую. Михайлов пел известный Вам романс из Риголетто.

Ко мне время от времени подходили Евгения Петровна, Старушка с вопросом: отчего я мрачен, апатичен, неподвижен, а другие замечали просто, что я «толст». У меня вертелся на языке каламбур, что я «*отолстел*» совсем, но я умолчал. Хотел быть Тургенев, да обманул, были Льховский, Константин Аполлонович, Дудышкин, Солоницын и больше никого. Перед ужином я поссорился с Евгенией Петровной, а за ужином со Старушкой. Евгения Петровна спросила меня, «о чем она думает». «Об ужине, не перегорело ли жаркое», – сказал я, потому что в это время накрывали на стол. «Что я, кухарка, что ли», – возразила она. «Гостеприимная хозяйка», – отвечал я и поспешил испросить прощения, с поцелованием руки. А со Старушкой мы тихонько заспорили о том, где Вы сидели за ужином: она говорила, что по левую руку Евгении Петровны, а я утверждал, что по правую. Обратились к Евгении Петровне. «Маменька забыла», – сказала Старушка и вместо того, чтоб спросить, где сидела Елизавета Васильевна, спросила: «Не правда ли, татап[60], она здесь сидела?» Евгения Петровна согласилась с ней. Такой во-

прос показался мне недобросовестным, и я назвал это «кошачьим поступком». А Старушка упрекнула меня, что в моем характере исчезла мягкость и доброта с некоторых пор, что я был очень хорош, а теперь нет. И человек мой то же говорит. Но с утра сегодня я опять подбрее. Вчера был еще Бенедиктов. Аполлон опять читал *Подражание Данту*<sup>3</sup> и опять произвел большой эффект. В самом деле это очень хорошо.

Что за погода: дождь льет, слякоть. Это, право, оттого, что Вы уехали. Воспоминание о конфектах преследует меня до сих пор: ложный стыд появиться с коробочкой и навлечь несколько насмешек удержал меня от удовольствия угодить Вам. Нет, видно еще я мало люблю Вас. Теперь не могу мимо кондитерской равнодушно пройти. Как-нибудь постараюсь прислать – да как? С Кладбищевым<sup>4</sup> не пошлю – съест; зачем это он туда едет. Это все Вы виноваты.

Дайте ручку, обе – и прощайте пока. Ваш верный, верный и преданный друг  
Гончаров.

Глупо письмо: где ж взять ума? Ведь Вас

уж нет. При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь.

## Письмо Некрасову Н. А., <10 января 1856>\*

1<sup>4</sup> Н. А. НЕКРАСОВУ

<10 января 1856 г. Петербург>

Покорно Вас благодарю за «Современник»: я не располагал сегодня обедать у Вас, а приду, чтоб лично поблагодарить, да и повидаться хочется. Статью о себе я третьего дня проглядел<sup>1</sup> у Тургенева: поджигающая к дальнейшему труду, притом в ней так много угадано и объяснено сокровеннейших моих стремлений и надежд!

Вы пишете, что посылаете корректуру<sup>2</sup>, а ее нет: все равно, ужо сам возьму.

До свидания,  
Ваш *Гончаров*.

# Письмо Некрасову Н. А., <30 января 1856><sup>\*</sup>

1<sup>5</sup>

Н. А. НЕКРАСОВУ

<30 января 1856 г. Петербург>

Рассказ сам по себе ничего бы<sup>1</sup>, да заключение их оттолкнет: – с аристократической точки зрения: «остановился, скажут, у кабака и хмельной»; тем, вероятно, все и покончится: впрочем, я узнаю, показал ли Ковалевский<sup>2</sup>, или сам покажу. Другое стихотворение, мне кажется, удобнее первого: чище.

Завтра наверное не знаю, буду ли: доле половины 5-го не ждите.

До свидания,  
Ваш *Гончаров*.

30 января  
1856

# Письмо Льховскому И. И., 25/13 июня 1857\*

1<sup>6</sup> И. И. ЛЬХОВСКОМУ

Варшава, 25/13 июня 1857.

Вчера вечером пржиехал я сюда, но в каком положении – боже мой! Когда я выходил из кареты, случившийся тут жид взглянул, кажется, на меня с состраданием и спросил, не хочу ли я «оголиться». Пять дней – небритый, немыйтый – я-то! Подвиг путешествия начался, а сил нет: не знаю, как это я поеду дальше! В карете я страдал от бессонницы, от дурной пищи и от скуки, с примесью боли. Вспомните Ваше очень удачное сравнение, Льховский, насчет Прометея и ворона. И тот и другой (то есть сам я) были в одном и том же ящике, и не было выхода из клетки. С одной стороны, жестокие нападения, с другой – терзания, правда, двух или даже одного рода, но зато каких гадких и глупых. Два призрака неразлучно были со мной: один гнался сзади, и, если я переставал слушать его, другой или, пожалуй, он же самый забегал вперед, грозил

и насмешливо говорил: помни, я жду, жду, ты еще не ушел, ты только уехал. Никакой палкой не отделаешься от кулака судьбы. Когда, наконец, это затихало, мною овладевал такой хохот, что я должен был выдумывать для товарища своего предлог. Кстати о товарище. Я удивил его, кажется, на всю его остальную жизнь, то есть он никак не мог понять, отчего человек все молчит, когда есть с кем говорить, и ни слова на его замечания, рассуждения и даже вопросы не отвечает, который ни капли ни вина, ни пива не пьет и вообще мало признаков жизни оказывает. А знаете ли, кто этот рябой толстяк, что сел со мною? Он назвал себя Радецким<sup>1</sup>, служащим у Паскевич: мы долго ломали себе голову, как это один фельдмаршал, который живет не здесь, а в Италии, угораздился служить у другого фельдмаршала, который вовсе уж нигде не живет? А дело оказалось просто: он точно Радецкий и точно служит у Паскевич, у вдовы героя, и притом метр д'отелем. И вот он-то думал занять меня, затрогивая разговор о торговле, о политике и вдруг, о ужас, о литературе. Он очень смышлен и читал кое-что, между

прочим сочинил книгу «Альманах гастронома»<sup>2</sup>, которую ценсуровал Елагин и чуть ли не там нашел много «вольного духа». Поезжайте по Варшавскому тракту только в таком случае, когда Вы будете очень счастливы, то есть не одни, – да нет, и тогда это безлюдие, бесплодие – утомят и наведут уныние. Зато есть и своего рода польза: нигде нельзя так глубоко уединиться, как в почтовой карете, даже имея вздорного спутника рядом, нигде нельзя так мучительно погружаться в себя и разбирать всякую дрянь, хлам, которым наполнен человек за много, много лет. Иные домоводки копят хлам в старых сундуках с юности и потом любят разбирать; то попадется изъеденный червями кусочек меху, то полинялая материя от подвенечного платья, то игольник и вдруг иногда так наткнется на какой-нибудь старый убор, почерневший, пожелтевший, но с брильянтом. Так, кажется, всякий по временам должен делать это, и я предлагаю тому, кто захочет, делать в почтовой карете. Кажется, пропасть дурного – бездонна в человеке, но чуть ли источник хорошего еще не глубже и неиссякаемее. Надо дойти до

невероятной и едва ли существующей крайности, чтобы сказать: все пропало, кончено, человек заблудился и не воротится. Надо для этого разве быть у ворот кабака, во фризовой шинели с разбитым носом: да и там есть Торцовы<sup>3</sup>, которым лежит удобный путь к возврату. Я хочу сказать, что глубина дурного не превышает глубину хорошего в человеке и что дно у хорошего даже... да у него просто нет дна, тогда как у зла есть – все это, разумеется, обусловлено многим. Вот к каким истинам *пришел* я, сидя одиноко в карете, и о многом, что мы легко извиняем себе, особенно если приправим юмором крепко задумался, сознавая, что если отнять юмор да разложить на первоначальные элементы, то чорт знает что выйдет. Но все это глупости, и если *второй призрак* перестанет забегать вперед и грозить мне дурным будущим, то я бы почти был доволен собою и Варшаваю, о которой мне напел так много наш спутник, что я вообразил себе бог знает что. Кстати о спутнике скажу, что я умел извлечь и из него некоторую, хотя малую, пользу: он мне приносил сигары, если я забывал их в карете или на станции, он за-

пасался и для меня хлебом и постоянно надевал мне на плечи свалившуюся шинель. Жаловался он мне на двух молодых спутников, говоря, что они так дурно говорят по-русски, что с них смеяться можно, что их надо учить существенным предметам и что в Варшаве много *деяния*, то есть деятельности.

Но *деяния* здесь не много, это большой провинциальный город, с его тишиной, со сном, с малолюдьем, с лентяями, которые не знают, куда деть себя, и проч. и проч. Скука так и выглядывает отсюда, зато тут же отсюда выглядывают тополи, зато вечерний сумрак тепел здесь и звезды блестят по-южному. Вчера я ночью в одном пальто воротился из холодной ванны и, не заметив, что открыто окно, проспал всю ночь, хотел простудиться и не мог. Живу я в великолепной, но прескучной и предорогой отели, вместе с тем худощавым полковником, который ехал с нами. Завтра еду вон, в Дрезден, и там, вероятно, будет не веселее. Так я и кругом света ездил, только тогда я мог писать, а теперь не могу и этого и если напишу, то, может быть, только программу для Старика<sup>4</sup>. Более литера-

туры не будет. Сегодня взял я лон-лакея и целый день таскался по городу, после обеда поеду с полковником за город в Лазенковский дворец и жду не дождусь завтра, чтоб отправиться на железную дорогу в Мысловичи.

Вы, вероятно, получили мою телеграфическую депешу из Динабурга: я там просил Вас не отправлять фотографии А. А.<sup>5</sup> к ней и теперь прошу запереть ее, как она есть, запечатанная, в стол и оставить до моего приезда. А причина этому та, что я не хочу изменять там дела, то есть хочу оставить его так, как оно осталось при мне, чтоб и не напоминать больше о себе.

Не знаю, просил ли я Вас при отъезде: 1, взять у Федора<sup>6</sup> ключи и от шкафа с платьем и спрятать в стол, а то он, пожалуй, будет таскать платье; 2, при уплате за квартиру взять с дворецкого расписку на особой бумаге, потому что он, кажется, не имеет права расписаться на копии контракта, где расписывается сам хозяин. Еще, кажется, я забыл заплатить прачке за оставшееся невытое белье: если я не оставил денег, то отдайте, пожалуйста, там немного. Это все осел Федор забыл напомнить

мне.

Ну, что Вы? Всё любите *горестно* и *трудно*? Одно практическое замечание, весьма полезное для вас: когда мучения ревности и вообще любовной тоски дойдут до нестерпимости, наешьте хорошенько (не напейтесь, нет, это скверно), – и вдруг почувствуете в верхнем слое организма большое облегчение. Это совсем не грубая шутка, это так. По крайней мере, бывало, я испытывал это. Впрочем, спрашивать нечего: может быть, плачете втихомолку или бьетесь головой об стену, а мне скажете, что ничего, что не видите, занимаетесь делом etc, etc. Боже мой! Из чего иногда бьется и убивается человек! А все от недостатка каких-нибудь 300 рублей, чтоб выйти из грубейшего магического круга, перенестись куда-нибудь в Ковно. А как бы хватило Вам Варшавы! Даже было бы много. Я сам в первый раз улыбнулся здесь, глядя, как хорошенькая варшавянка, заметившая, что весь наш дилижанс обратил на нее глаза, проворно начала приподнимать газовую косынку, чтоб открыть побольше горла и часть груди, точно Соф. Ос. Комизм тут заключался в то-

ропливости, с какою она сделала это, боясь, чтоб не проехали, не заметив. – Ваш совет не худеть больше не исполняется: я худею и худею и буду худеть. Даже полагаю, что мне в Мариенбад нечего и ездить; если поеду, то просто из приличия. А потом прямо – в Париж, мимо Швейцарии, то есть минуя ее и Рейн. Если кусок в душу нейдет, то зачем же неволиться? Мой недуг не то, что Ваш: на будущий год Вашего – и признака не будет, а мое худенье – знаете, что значит? Давнишняя и постепенная потеря всяких надежд на что-нибудь в будущем и, следовательно, постепенный упадок сил, апатия и угрюмость. А женщины, говорят мне, а путешествие, а литературные занятия, как будто все это такие лекарства, о которых я до них и не слыхивал. Все это хорошо, и помогает на короткое время, а потом? Да вот теперь навязалось преглутое чувство еще беспокойства... Но, знаете, какая странность? Скука пересиливает и его. А что, думаю, если ничего не будет, если все это так, мираж, терзания моего же вóрона, или, как говорил Аввакум: бегают нечестивый, не единому же ему гонящу, то есть когда

никто за ним не гонится, ведь скучно. Скандал – ведь это все-таки событие, все шевелит, как клавиши, то одно, то другое чувство, и машина играет. Но довольно. Сохрани, впрочем, бог от таких событий.

Когда поедете путешествовать, берите больше денег с собой, особенно если ехать через Варшаву: такого дранья за всех и за все, кажется, нигде нет. Вчера я часа два сидел перед своим чемоданом немытый и небритый, при одной только мысли, что это надо развязать, все достать самому, все разложить, а послезавтра опять сложить, да помнить, сколько отдано прачке белья, да думать, чтоб не осталось здешних денег... нет, нет: это требует бодрости и энергии. Скорей, скорей в Париж и больше никуда! Прощайте, мой милый Иван Иванович: кланяйтесь всем, но письма этого не давайте, а бросьте. Откуда-нибудь подалее напишу и к другим, а к Вам из Дрездена. Не пишите мне пока никуда: я не знаю, останусь ли я в Мариенбаде, или уеду в другое место. Если скука будет меня шевелить, то воды не помогут, нечего там и сидеть. Ответьте уже на мое письмо из Мариенбада, а до

тех пор подождите.

Здесь есть отличные сигары, но только не в магазине, а в великолепной гостинице «Европа», и продаются почти не дороже петербургских. Однако я эти роскоши пока должен буду бросить.

Кланяйтесь Старикам и Юниньке, скажите, как я благодарен ей за ничем не удержимое стремление проводить меня и как я всех их непрестанно содержу в памяти и сердце. А Вы, друг мой, терпите мои письма, будьте в этом случае козлом отпущения, потому что писанье для меня составляет такой же необходимый процесс, как процесс мышления, и поглощать все в себе, не выбрасываться – значит испытывать моральное удушье. Поэтому если буду писать часто и много, терпите, пожалуйста, и помните, что я делаю это не по прихоти, не по щегольству какому-нибудь (особенно в нынешнем письме), а потому только, почему поет птица или стрекошет кузнечик в траве. Затем до свидания, бог весть когда. Кланяйтесь Барышеву: рекомендую Вашему вниманию корректуры<sup>9</sup> «Обыкновенной истории» и очерков.

Весь Ваш  
И. Гончаров.

## Письмо Льховскому И. И., 15/27 июля 1857\*

1<sup>7</sup> И. И. ЛЬХОВСКОМУ

15/27 июля 1857, Мариенбад.

Насилу-то дождался я от Вас письма, любезнейший Иван Иванович: судя по тому, как оно коротко и голо, я догадываюсь, что с Вами делается. Но это во мне глубокомысленного смеха не производит, а скорей таковую же печаль. Я думал, что подобные безобразные проявления страсти, каково Ваше, на мне и кончились, то есть на современном мне поколении и воспитании, и что при анализе она невозможна. Вы согласились, что Вы – донкихот: а рассмотрели ли, *определили* ли Вы, какой Вы грубый эгоист в этом деле? Вас трое: она, Вы и он – ее роль лучше всех, выгоднее: *она* страстно любит одного и любима другим; он не любит и любим – ему хуже всех. Вдруг пристаёте Вы, гремите проклятием против так называемого «падения» и падаете сами с

нею по девяти раз в сутки. Что это такое! Он ее бьет, говорите Вы: да и Вы, кажется, обращаетесь с ней (относительно, сколько допускает Ваше воспитание) так же грубо. Вы даже замахнулись на нее или толкнули ногой... Отчего же это? Что же это все значит? Мне это все напоминает анекдот<sup>1</sup>, рассказанный Пушкиным в его статье об американцах, что один дикий вошел в шалаш, увидал, что двое других диких дерутся между собой; не вникнув в причину ссоры, он бросился в драку и откусил одному нос, а другой откусил ему... Ах, дай бог мне застать Вас с носом! Желаю даже, чтобы Вам скорей натянули нос... и т. д. (следует множество языковских каламбуров).

Зачем Глазунова<sup>2</sup> приказчик приходит в недоумение по поводу моего текста: вот работа! Пусть недоумеваает лучше по поводу типографских ошибок. Велите оставить Фаддеева<sup>3</sup> в покое: ведь в начале письма сказано, что оно написано после всех других, следовательно и Фаддеев был на сцене. Жаль, что они возятся со шрифтом и не послушались меня: у меня не меньше их смысла и вкуса. Жаль также, что Вы хотите посылать корректуры к

Ефрему Ефремовичу<sup>8</sup>: не хотелось бы мне этого по разным причинам, между прочим и потому, что едва ли это было бы не бесполезно: дело для него совсем новое. Притом Вы говорите, что Глазунов хочет взять еще корректора; тогда бы Вам оставалось только пробежать листы слегка. Из этого я заключаю, что драма в ходу... Если это так, сделайте, как вздумаете, то есть *если Вам вовсе нельзя прочитывать ни разу*, то, конечно, лучше в таком случае посылать к Барышову. О *предисловии* Вы не пишете ничего: я опять вывожу заключение... Не забудьте по крайней мере, если не будет его, дать вместо предисловия мою выноску, напечатанную при Ликейских островах.

Вот, кажется, о деле все. О *другом* я мало тревожусь, а впрочем, если услышите что-нибудь, напишите. Мне не до того: узнайте, что я занят... не ошибетесь, если скажете женщиной: да, ей: нужды нет, что мне 45 лет, а сильно занят Ольгой Ильинской<sup>4</sup> (только не графиней). Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с шести до девяти часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару – и к ней: сижу в ее комнате, иду в парк, за-

бираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник<sup>5</sup>: он хотя и моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда уеду с ней во Франкфурт, потом в Швейцарию или прямо в Париж, не знаю: все будет зависеть от того, овладею я ею или нет. Если овладею, то в одно время приедем и в Петербург: Вы увидите ее и решите, стоит ли она того страстного внимания, с каким я вожусь с нею, или это так, бесцветная, бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину ее. Но теперь, теперь волнение мое доходит до бешенства: так и в молодости не было со мной. Я едва могу сидеть на месте, меряю комнату большими шагами, голова кипит: я бы даже, кажется, мог сочинить что-нибудь, если б не запрещали доктора. Волнения вредны, а я волнуюсь, но это surcroît[61] волнения происходит от свойства здешних вод. Я не знал этого и тревожился: доктор растолковал мне и сказал, чтоб я успокоился, что он знает, сколько давать мне пить воды, и больше трех кружек не дает. Вы покачаете голо-

вой и опять глубокомысленно засмеетесь; может быть, даже пожалеете: не жалейте, я счастлив – от девяти часов до трех – чего же больше. Женщина эта – мое же создание, писанное конечно, – ну, теперь угадали, недוגадливые, что я сижу за пером? А там пусть будет – что будет или *advienne se qui rouira* [62] в переводе. В три часа я беру ванну из минеральных вод для укрепления печени и расслабляемого водою желудка, потом обедаю и иду гулять – один или с другой женщиной, тоже русской, очень любезной и осторожной, что лишнего слова не скажет. По моей способности к ходьбе, мне мало Мариенбада, и я сегодня ушел в лес, зашел бог знает куда и раскаялся, потому что вдруг ворочаться сделалось лень, а надо было идти верст пять по жару. – Здесь все тихо, только доктора задорно спорят, и изустно, и печатно, о том, отчего больные от мариенбадской воды испражняются зеленым веществом: одни говорят, что это желчь, другие – что натр, землянистые начала и т. д. – словом, здесь г... возбуждает идеи и даже страсти. А в самом деле зеленое.

Отчего моя телеграфическая депеша возбу-

дила в Вас смех, да еще глубокомысленный? Не перехитрили ли Вы? дело просто: в тогдашней тревоге моей мне не хотелось тогда подбавлять масла к огню, просто хотелось, чтоб дело улеглось поскорее, а отсылка портрета могла возбудить какой-нибудь новый вопрос, повести к новым соображениям и намерениям. Я же хотел предоставить все времени, четырехмесячному сроку... Вот и все. Это вовсе не глубокомысленно.

Что Вы мне не скажете ничего о наших общих друзьях? Прочитали ли они мои письма, или им не до того? Да я и писал больше для себя. Тогда еще для меня все пусто было, я праздну и уныло проводил время; теперь, теперь другое дело: день мой полон, ночь покойна (я не считаю волнение за беспокойство: я не помню себя без волнения).

Я пробуду еще недели три здесь, но не наверное, и потому ответ на это письмо, может быть, меня уже и не застанет. Из Франкфурта я напишу, куда адресовать письма: в Швейцарию или в Париж. У меня мелькает мысль, если понравится где-нибудь на Рейне, в уголке, остаться там и пробыть до сентября; но это

все будет зависеть от Ольги Сергеевны и ее неуклюжего спутника. До свидания. Недавно я послал Вам еще письмо отсюда. Если Иван Сергеич воротится<sup>6</sup>, как слышно, прежде меня, не забудьте дать ему прочесть мое письмо к нему: может быть, оно хоть немножко оживит его.

Ай, ай: 10 часов – спать пора, опоздал: здесь ложатся в 9.

Ваш *Гончаров*.

Не забудьте заплатить с квартирою *седьмого* августа и взять расписку.

## **Письмо Ефремовой Ю. Д., 29 июля/9 августа 1857\***

**1<sup>8</sup>** Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ

Marienbad, 29 июля / 9 августа <1857 г.>

Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юния Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде, и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне все равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о лечении. Каждое утро встаю я в половине ше-

стого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от трех до четырех больших кружек воды и хожу два, а иногда два с половиной и даже до трех часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние – в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу: кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру – один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, все от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото. Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая оттуда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются *везде*, да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете. Можно утвердительно сказать, что Задиг<sup>1</sup> и Элькан вместе во всю жизнь не переносили столько грязи на себе,

сколько у меня бывает в один раз за одним ногтем. Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил Мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и – подивитесь – я тоже, да ведь как: на-днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. Невидимому, все бы это должно было помочь, и помогает, я это чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы с лесами – все, что Вы видите здесь на виньетке, воздух – лучше даже Безбородкинской дачи – и при всем том лечение мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу... почти до обморока. Встаю из-за работы бледный, едва

от усталости шевелю рукой... следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что – помните – как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый – etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас: какими пустяками казалось Ваше пророчество. «Здоров, напишу роман: какая бестолковая! – думал я, – разве это возможно, разве не прошло это все, и здоровье и романы!» И что же: Вы чуть не правы! Да как Вы смеете быть правой, как Вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как на прощанье Вы робко и торопливо перекрестили меня, но, видно, от чистого сердца, и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки – писанья. Представьте же, мой друг, что все это вполовину, нет, больше нежели вполовину, уже исполнилось, и я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом Вам. Да что Вы молитесь, что ли, за меня, продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно, так. Так слу-

шайте же: я приехал сюда 21-го июня нашего  
стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена  
первая часть *Обломова*, написана вся вторая  
часть и довольно много *третьей*, так что лес  
уже редеет, и я вижу вдали... конец. Странно  
покажется, что в месяц мог быть написан по-  
чти весь роман: не только странно, даже  
невозможно, но надо вспомнить, что он со-  
зрел у меня в голове в течение многих лет и  
что мне оставалось почти только записать  
его; во-вторых, он еще не весь, в-третьих, он  
требует значительной выработки, в-четвер-  
тых, наконец, может быть, я написал кучу  
вздору, который только годится бросить в  
огонь. Авось бог даст, годится на что-нибудь и  
другое, погожу бросать. Я бы охотно остался  
месяц еще здесь, потому что дальше, знаю,  
мне не удастся уже заняться писаньем; но не  
остаюсь потому, что недописанное нетрудно  
будет, несмотря на занятия, докончить и в Пе-  
тербурге. Главное, что требовало спокой-  
ствия, уединения и некоторого раздражения,  
именно главная задача романа, его душа –  
женщина – уже написана, поэма любви Обло-  
мова кончена: удачно ли, нет ли – не мое дело

решать, пусть решают Тургенев, Дудышкин, Боткин, Дружинин, Анненков и публика, а я сделал, что мог. Но зато теперь уже кончено, больше никогда ничего не стану писать, не смейте предсказывать: типун сядет на язык. Я и то измучился. А хотелось бы сказать еще одно заветное, последнее сказанье... Но не могу, кончено. Если теперь и написал *что-нибудь*, так это, должно быть, мариенбадская вода помогла. Это *что-нибудь* составляет сорок пять моих писанных листов, а Вы знаете, что значит мой писанный лист. Надо считать сорок пять листов, написанных здесь, да первой части сколько! Будет ли три части, или конец я сокращу – еще не знаю сам, я занимаюсь настоящим и не спешу заглядывать в будущее, не знаю также, когда можно его печатать, где – ничего не знаю. Посудите же, мой друг, как слепы и жалки крики и обвинения тех, которые обвиняют меня в лени, и скажите по совести, заслуживаю ли я эти упреки до такой степени, до какой меня ими осыпают? Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу<sup>2</sup>, выдался теперь свободный месяц, и лишь только ядохнул све-

жим воздухом, я написал книгу! Нет, хотят, чтоб человек пилил дрова, носил воду, да еще романы сочинял, романы, то есть где не только нужен труд умственный, соображения, но и поэзия, участие фантазии! Если б это говорил Краевский, для которого это – дело темное, я бы не жаловался, а то и другие говорят! варвары!

Вот о чем я хотел известить Вас первую, зная, что Вам весело будет от этого, вот отчего вспоминаю «о бестолковой предсказательнице» с удовольствием, нужды нет, если б даже из этого ничего не вышло, все-таки месяц я был раздражен, занят и не чувствовал скуки, не замечал времени.

Скажите Дудышкину, при поклоне от меня с женой, что, несмотря на то, что к его обыкновенной лени присоединилась еще лень женатого человека, я все-таки надеюсь, что он, если не в нынешнем, так в будущем году пошевелит свое перо, чтоб хоть задать мне журнальную потасовку.

В память удачного предсказания я послал Вам, милая моя Кассандра, две крошечные фарфоровые вазочки с живописью с богом-

ских фабрик – для цветов. Это не подарок, потому что – для подарка – слабо, но в память Вашего дружеского провожания. Их привезет Александра Михайловна Яковлева (вдова купца), премилая, преобразованная, без претензий и без кокетства женщина, за которой я не волочился, а между тем не скучал, видясь ежедневно у источника и на прогулках. Это чуть ли не в первый раз случилось со мной – не скучать с женщиной без волокитства, и если случилось, так, право, не по моей, а по ее воле: она нисколько не кокетка и нравиться не желает. Она же привезет и отдаст Вам *судок для сливочного масла* из богемского стекла; вручите это от меня Евгении Петровне, как стариннейшему другу и как любительнице масла. Я дал m-те Яковлевой и письмо на имя Александра Павловича: она приедет в Петербург 6-го августа на пароходе, а Вам нельзя ли послать к ней между 10 и 15 августом хоть Константина с прилагаемой запиской на ее имя, по которой она отдаст и вещи. Если же Вы не пошлете сами и она до 15 августа не дождется человека, то обещала прислать сама на железную дорогу или на Безбородкину да-

чу, где живет ее cousin[63]. Только я забыл вашу дачу и на адресе написал дача *Дамке* или *Тейха*, или, наконец, на железной дороге. Но мне бы хотелось избавить ее от хлопот, и лучше, если Вы пошлете к ней, а если будете в той стороне сами, то заезжайте, она очень проста, даже и мила, от нее узнаете много подробностей о моем житье-бытье. Живет она (ох, далеко) за *Измайловским мостом*, по *Фонтанке*, близ *Троицы*, в собственном доме. Посланные безделки не стоят хлопот, и только моя дерзость так велика, что решается задавать Вам хлопоты. За подарки их прошу не считать. Тут же в вазочку вложил я шесть стеклянных игольников: раздайте их соседкам по даче *в виде только поклонов* от меня, потому что они стоят по гривеннику и ими дарить нельзя. Один отдайте Вашей Ляле, чтоб она начала шить, два – Наталье и Юлии Сергеевне, да три остальные – *Александре Ивановне Срединой*<sup>3</sup>, *Анне Ивановне Маркеловой*<sup>4</sup> и *м-те Яновской*<sup>5</sup>, если увидите с ней. Если же, впрочем, это покажется Вам смешно и нелепо, так не делайте этого ничего, а бросьте их. *Козловскому* и *Средину* – мои по-

клоны: спросите у них, могут ли они попросить в почтамте оставить для меня в почтовой карете место через Варшаву или Тауроген в начале октября, если я в сентябре напишу им, и дайте мне поаккуратнее знать об этом, когда я напишу Вам из Парижа, а то, пожалуй, придется в Варшаве ждать.

Скажите Льховскому, что я вчера получил от него письмо, но отвечать буду из Франкфурта, куда намерен отсюда отправиться, а там уже в гостинице спрошу у лакеев, куда бы лучше поехать: они всё знают и так обстоятельно рассказывают, где веселее, куда больше ездят Herrschaft (господа) и как удобнее проехать. Мне самому думается отправиться сначала из Франкфурта до Майнца, а там по Рейну до Кобленца и назад во Франкфурт, оттуда по железной дороге через Карлсруэ в Фрейбург, а там уже с почтой до Рейнского водопада в Шафгаузен, далее в Берн и в Женевское озеро, наконец чрез Базель в Страсбург и Париж. Но боюсь, что лень одолеет. Может быть, сяду где-нибудь и, если станет охоты, поработаю еще. Денег у меня еще осталось тысяч пять франков.

Поклонитесь Евгении Петровне и Николаю Аполлоновичу, Аполлону и Старику с женами. Александру Павловичу жму руку, а Лялю<sup>6</sup> целую. В том письме, которое получите от т-те Яковлевой, прописано все то же, только я думал, что оно придет прежде.

Я написал Льховскому в последнем письме, что я сильно занят здесь одной женщиной, Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею: вероятно, он будет сначала секретничать, а Вы сначала спросите его о ней, скажите, что я и Вам писал, и заметьте, пожалуйста, поддался ли он мистификации, и после скажите мне. Эта – *Ильинская* не кто другая, как любовь Обломова, то есть писаная женщина.

Теперь Вы мне не пишите, потому что я не знаю, куда поеду и где остановлюсь: посмотрю, что лакеи скажут.

Что, если б доктор Франкль узнал, что я и вечером сегодня пишу это письмо? Он уж и за утро ворчит на меня! У меня щека болит от сырости, вчера простудился, да еще шмель укусил мне палец, боюсь, как бы завтра писать не помешал: этого нынче пуще всего бо-

Юсь.

Прощайте, милый друг, не показывайте моих безобразных писем никому, или весьма немногим, например, Майковым, Льховскому, если они захотят, да только у себя дома.

Ваш друг

*И. Гончаров.*

## **Письмо Льховскому И. И., 2/14 августа 1857\***

**1<sup>9</sup>** И. И. ЛЬХОВСКОМУ

Мариенбад, 2/14 августа 1857 г.

Третьего дня я получил и второе Ваше письмо, любезнейший Льховский: горничная моя Луиза с радостью вбежала и подала мне, крича: «Ein Brief von ihrer Frau Gemahlin!»[64] Она думает, что я женат, что приеду на будущий год сюда с женой и возьму ее в Россию, с жалованьем по 15 гульденов в месяц, и верит так серьезно, что мне даже жалко. В первый раз я так бессовестно поступаю с женщиной. Вы пишете, что свергли с себя иго и изнываете уже целый месяц – одни. Виноват, сомневаюсь: Вам стыдно меня, даже себя, и Вы скры-

ваете истину; да ежели б и расстались в самом деле, так уж теперь опять не один. Я утупал в такой же лжи, и не раз, и признаюсь, никак не ожидал, чтоб Вы, не зараженные романтизмом, вооруженные юмором и анализом, позднейший человек, заразились таким злом и погрязли в нем до потери сил, до утраты бодрости. Вы заступили место другого, делаете все то же, что он, и клянете ее, зачем она делала это с другим по страсти, что делает с Вами по привычке или за деньги: где логика? Уныние Ваше подозрительно: если б Вы освободились действительно, Вы бы не унывали, а радовались, занялись бы и были бы бодры и веселы. – Кобылин этот должен быть дурак: зачем он рассылает шрифт к хозяину? Когда же выйдет путешествие в свет?<sup>1</sup> В январе – когда пройдет благоприятное время для продажи. Мне жаль, что оно остановилось. Что касается до предисловия, то если у Вас выдастся в *самом деле* свободная минута, *moment lucide*[65], пользуйтесь и пишите скорей, не надеясь на то, что еще долго не понадобится и время будет впереди: того и гляди обманетесь. А мне самому, признаюсь, не хо-

телось бы возиться с этим. Отправив ко мне свое письмо, Вы должны были тотчас получить от меня письмо (третье из Мариенбада), в котором я объяснил, чтобы о Фаддееве оставили фразу в покое и чтоб Кобылин<sup>2</sup> не смущался ею: до текста ему дела нет, или же распорядитесь Вы – исключите или оставьте, как вздумаете.

Я обещал в одном из писем объяснить Вам, что я делаю здесь. Теперь, может быть, Вы об этом уже знаете от Юнии Дмитриевны, к которой я писал на-днях, но заплатил за письмо в здешней почтовой конторе и потому боюсь, дойдет ли оно. Кроме того, я послал ей некоторые пустяки, и именно две маленькие фарфоровые вазочки, а Евгении Петровне судок для сливочного масла на память. Все это очень дурно, но напомнит им меня, а Юнишке принесет, я знаю, непритворное удовольствие. Отсюда поехала в Россию одна барыня, А. М. Яковлева, вдова купца, очень милая женщина, и взялась, с женским великодушием, отвезти эти безделушки.

Да, сын мой Горацио: есть вещи, о которых не снилось нашим журналистам. Представь-

те себе, если можете, что я приехал сюда 21 июня нашего стиля, и мне было так скучно, что я через три дня хотел уехать, дня три-четыре писал письма к Вам, к Языкову, в Симбирск – не знал, что делать, а числа эдак 25 или 26 нечаянно развернул Обломова, вспыхнул – и 31 июля у меня написано было моей рукой 47 листов! *Я закончил первую часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть.* Доктор мой Франкль видел, как сначала мне было скучно и потом как я успокоился, он был рад, заставляя меня за работой. Но когда он заставлял меня и в десятом, и в первом, и в третьем часу у письменного стола, он начал жаловаться, унимать, и теперь бегают везде по русским больным и рассказывает, что я не вылечусь, потому что все сижу и занимаюсь – *статистикой!* Безобразов<sup>3</sup> сказал ему сначала о себе, что он литератор, а потом и обо мне, он смешал нас, и из этого всего вышла *статистика*. Кроме того, Франкль дал мне свои книги о Мариенбаде и думает, что я делаю описание о Мариенбаде для России и пишу также о нем. Пусть его думает! – Безобразов уехал. Я познакомился с

его женой<sup>4</sup>: оно бы ничего, да как-то разговорились о Луи Блане etc. Она прочла его историю в восьми томах и часа три говорила о ней, хоть бы самому Безобразову впору: не правда ли, что это немножко... безобразно?

Не знаю, вылечился ли я, я только знаю, что мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания Обломова. *Локти* уже давно на сцене. Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места. Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что если б не было годов, не написалось бы в месяц ничего. В том и дело, что роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его. Я писал как будто по диктовке. И, право, многое явилось бессознательно; подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Например, в программе у меня женщина намечена была страстная, а карандаш сделал первую черту совсем другую и пошел дорисовывать остальное уже согласно этой черте, и вышла иная фигура. При этой фигуре мне не приходили в голову ни Елиза-

вета Васильевна, ни А. А. – решительно никто, да и ни в одном из действующих лиц тоже. Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы: годится ли это? Между тем для выражения моей идеи мне типов не нужно, они бы вели меня в сторону от цели. Или, наконец, надобен огромный, гоголевский талант, чтоб овладеть и тем и другим. – Меня перестала пугать мысль, что я слишком прост в речи, что не умею говорить по-тургеневски, когда вся картина обломовской жизни начала заканчиваться: я видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и оконченности целого здания. Мне явился как будто целый большой город и зритель поставлен так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, середина, отвечают ли предместия целому, как расположены башни и сады, а не вникает, камень или кирпич служили материалом, гладки ли кровли, фигурны ли окна etc. etc. Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить. Герой может быть неполон: недостает той или другой стороны, не досказано, не выражено многое: но я и с этой сторо-

ны успокоился: а читатель на что? Разве он олух какой-нибудь, что воображением не сумеет по данной автором идее дополнить остальное? Разве Печорины, Онегины, Бельтовы etc. etc. досказаны до мелочей? Задача автора – господствующий элемент характера, а остальное дело читателя. Может быть, из всех – великих и малых талантов – один Сервантес успел досказать во всей подробности своего героя, зато местами и скучновато. Зотов тоже досказывает чрезвычайно подробно свои лица, Достоевский уже до *nes plus ultra* [66] подробно, но я не лезу ни в Сервантесы, ни в Зотовы<sup>5</sup> и Достоевские – тоже. – Я, однакоже, не хлопаю крыльями, как петух, не кричу о своей победе, потому что не знаю, куда я вскочил: может быть, на навозную кучу. Поэтому скажите Юниньке, которой я писал о своей работе, чтоб она не трещала очень о ней. Чего доброго? пожалуй, придется спрятать ее со стыдом под спуд. Например, женщина, любовь героя, Ольга Сергеевна Ильинская – может быть, такое уродливое порождение вялой и обессиленной фантазии, что ее надо бросить или изменить совсем: я не знаю

сам, что это такое. Выходил из нее сначала будто образ простоты и естественности, а потом, кажется, он нарушился и разложился. Да, может быть, это все очень глупо. Я в недоумении: между тем мне скорей хочется уехать отсюда в Лозанну, в Берн, в Веве, куда-нибудь и запереться еще на месяц и приехать назад и сказать: я кончил, кончил. Мне уже слышится Ваша сдержанная речь, как Вы по чайной ложечке лакомите меня ласковой похвалой, мне снятся широкие объятия Тургенева или молчаливая, затаенная досада тех, которые не любят чужого успеха. Но на всю эту смеющуюся перспективу я смотрю, как на сон, едва сбыточный. Времена не те, и свежесть во мне не та – и все не то. – А сколько еще выработки предстоит – ужасно подумать: одно только отрадно, что выработка – не труд, а наслаждение. – Как же это случилось, что я, человек мертвый, утомленный, равнодушный ко всему, даже к собственному успеху, вдруг принялся за труд, в котором было отчаялся? И как принялся, если б Вы видели! Я едва сдерживал волнение, мне ударяло в голову, Луиза заставляла меня в слезах, я шагал по комнате,

как сумасшедший, и бегал по горам и лесам, не чувствуя под собой ног. Этого ничего не бывало и в молодости. Увы, все объясняется очень просто. Мариенбадская вода производит страшное волнение, так что полнокровным дают ее пить очень осторожно и немного. Иные пьют по шести кружек, а мне доктор велел пить по три. Недавно в книге Франкля я прочел, что здешняя вода, между прочими последствиями, производит «расположение к умственной и духовной деятельности». Вот и секрет. К этому прибавьте чудный воздух, движение по пяти часов в день, известную диету и отсутствие всякого признака вина и водки – и тогда станет понятно, как могла в месяц написать вещь, не написавшаяся в восемь лет. Теперь чемодан мой возымел для меня больше значения: я равнодушно смотрел, как кидали его из вагона в вагон, а теперь буду беспокойно смотреть на эту операцию. Я известил Юниньку первую о том, что время мое не пропадает здесь даром, потому что она больше всех, даже больше меня, желала этого и так от души простилась со мной и даже перекрестила. Если б я знал, что кончу

все остальное, то не поехал бы в Париж, а остался бы где-нибудь в уголке Швейцарии, да боюсь, не кончу, ведь мариенбадской воды не будет более, и после буду жалеть. Действие уже происходит на Выборгской стороне: надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его. Может быть, все это уляжется в нескольких сценах – и тогда хвала, хвала тебе, герой! Меня тут радует не столько надежда на новый успех, сколько мысль, что я сбуду с души бремя и с плеч обязанность и долг, который считал за собой. Дай бог! Тогда года через два, если будет возможность, можно приехать вторично<sup>6</sup> сюда, с художником подмышкой и исполнить надежды Луизы хоть вполовину.

Я еду послезавтра отсюда во Франкфурт, там хотелось бы в Майнц и по Рейну проехать до Кобленца и опять во Франкфурт, чтобы ехать по железной дороге чрез Карлсруэ до Фрейбурга к Шафгаузену и к Рейнскому водопаду, и потом в Берн, в Веве, Лозанну, Женеву, Базель, а от Базеля три часа до Страсбурга, от Страсбурга 10 часов до Парижа. Впрочем, во

Франкфурте поговорю с лакеями в гостинице: они лучше всего знают, как и куда ехать. Я здесь с ними обедаю в отели: то есть они за большим столом, а я рядом один за маленьким. Едим одно и то же. Кто-нибудь из них вскочит, подаст мне блюдо, потом сядет на свое место и продолжает обедать. Это происходит оттого, что я один обедаю в 4 часа, весь Мариенбад – в час. Я все наыворот делаю, к великому соблазну доктора. Однако припадков не чувствую, печень покойна, только когда встаю, после четырех-пятичасовой работы из-за пера, бываю бледен и как бы избит, а после разбегаюсь по лесам – и пройдет. Мариенбад понемногу пустеет: здесь жила и недавно уехала Гессе-Кассельская Курфирстерша, с дочерью и ее женихом: в первый раз видел немца-джентльмена, с изящными манерами, и то владетельного герцога. Есть еще англичанка, девушка лет двадцати: это такое изящество, такое благородство, что я в первый раз в жизни бескорыстно издали наслаждаюсь созерцанием женщины. Когда она утром приходит к овчей купели пить воду в своей утренней большой круглой шляпке с синим пером –

она может быть поставлена выше Елизаветы Васильевны, в обыкновенной шляпке – ниже ее, а без шляпки – наравне. Есть еще две неаполитанки, красавицы, и муж одной из них герцог ди Рока – такой фат, что даже Кошкарров скромнее. Я познакомился с одним черниговским помещиком Волжиным, то есть он узнал обо мне через Франкля и познакомился на променаде: у него жена красавица и сигары из Тенкате: *regalia dos amigos*: [67] он меня потчует... только сигарами. И за то какое спасибо!

Познакомился я с адмиралом Панфиловым<sup>7</sup>: он знает меня по морскому сборнику<sup>8</sup>, и мы ходим с ним по горам. Вот русский характер во всей простоте и доброте! – Я раза три ходил на горы с А. М. Яковлевой и потом перестал, нельзя: Юния Дмитриевна, конечно, очень боится лягушек, мать Огаревой – еще больше, а эта при виде ящериц, которых здесь множество, пришла в такой ужас, что я перепугался. Ее начало трясти и подергивать: я не знал, что мне делать. А я было одну ящерицу придержал тростью и хотел еще взять да поближе показать ей, – какая, дескать, она краси-

вая.

Напишите, что Старушка: оправилась ли от холерного припадка? Как бы хотелось теперь поиграть с Женечкой: не знаю, что бы такое привезти ей в гостинец, что бы Старушка не присвоила себе. В Париже выдумаю. Денег у меня осталось около пяти тысяч франков. Если от Швейцарии останется три тысячи, так поеду в Париж, а то так и нет. Рублей триста надо привезти в Варшаву, чтоб было там прожить чем в ожидании места в почтовом экипаже. Не увидите ли Маркелова<sup>9</sup>: спросите, можно ли, тогда я извещу из Парижа о времени прибытия в Варшаву, написать туда, чтобы мне оставили место? Теперь пока не пишите мне: я не знаю, где остановлюсь и куда адресовать письма; не знаю также, когда я буду в Париже!

Поклонитесь Николаю Аполлоновичу и Евгении Петровне, скажите, что я извиняюсь перед ней, что подарок мой дрянен, но это и не подарок, а знак памяти. Николаю Аполлоновичу скажите, что если он кончил для меня головку, которую начал, то и я надеюсь заплатить ему чтением тоже нарисованной мной,

конечно плохо, головки. Он любит слушать меня. Тургеневу скажите, когда приедет, что я умер, да не совсем и что, когда я писал, мне слышались его понуждения, слова и что я мечтаю о его широких объятиях. Кланяйтесь Дудышкину, Кошкарову, Барышову, Федору Ивановичу<sup>10</sup> и Бурьке, Аполлону с женой и проч. и проч. Весь Ваш  
Гончаров.

## **Письмо Льховскому И. И., 22/30 августа 1857\***

**2<sup>0</sup>** И. И. ЛЬХОВСКОМУ

Париж, 22/30 августа<sup>1</sup> 1857.

Я не лгал, когда писал к Вам, любезнейший Льховский, из Франкфурта, что не знаю, что я буду делать, не поручусь ни за один свой шаг. Так и вышло. Я сказал, что еду прямо в Париж, а, отправивши письмо, поехал в Майнц и оттуда до Кёльна сделал великолепнейшую прогулку по Рейну. Это было 15-го нашего августа. После тропической погоды я не помню лучше дня. Рейн неподражаем в своем роде. Крутые берега усеяны развалинами одна дру-

гой живописнее и виноградниками. Жаль только, что я ехал один, то есть с тремястами немцев, и неистово скучал в их обществе, которому предпочел бы одного плохого француза. В Кёльне я бросил в номере гостиницы свой чемодан и побежал смотреть собор. Я выбежал на него из-за какой-то лавчонки и почти лег на спину, чтоб увидеть одну башню, которая готова только вполовину; и еще должно прибавиться столько же, даже больше гораздо, а в ней уж и так 130 фут. Купив склянку одеколоню, я на другой день ранехонько с шнельцугом поехал в Париж, куда и прибыл, очертя голову, но благополучно в тот же вечер, то есть 16-го нашего августа в 9 часов, а в половине десятого, бросив опять чемодан, rue du Helder, hôtel du Brésil, – в дорожном своем сереньком сюртучке сидел уже на Итальянском бульваре, за одним из бесчисленных выставленных на улице мраморных столиков у Тортони и ел весьма посредственное мороженое. В это время парижские бульвары кипят неведомою у нас жизнью толкотни, шума, праздного сидения, зеванья, фланерства – словом, жизнью наруже. Воротясь в

11 часов к себе, я узнал от гарсона, что в этой же гостинице du Brésil живет много русских, и между прочим Фет, который в тот день женился на сестре Боткина, наконец сам Боткин<sup>2</sup>. Я увиделся с ними на другой день, а на третий день и с Тургеневым, третьего дня читал им свой роман<sup>3</sup>, необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякой дрянью. Несмотря на то, Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие с яростью пищал: «Длинно, длинно; а к такой-то сцене холодно подошел» – и тому подобное. На другой день мы все обедали у одного Шеншина (брата Фета, от другого отца) в отличном ресторане и отлично наелись и выпили немного; вечером я читал, но у меня не двигался язык, Боткин задремал, но при одной страстной сцене очнулся. «Перл! Перл!» – кричал он, но читать было невмочь. На другой день Тургенев уехал в поместье Виардо<sup>4</sup> и через пять дней будет опять. Я сам в первый раз прочел то, что написал, и узрел, увы! что за обработкой хлопот – несть числа.

На другой день приезда пробираюсь к Па-

ле-Роялю и вдруг сталкиваюсь с Кореневым. Он и сегодня был у меня: мы живем в двух шагах друг от друга, но видимся редко. Он спешит осматривать окрестности, а я все пока смотрю в Париже. Меншиков<sup>5</sup> здесь, и Никитенко тоже, но я его не видал. Объехал и обегал я разные части Парижа, чуть не влез на колокола Notre dame de Paris[68], но и снизу можно видеть, что Quasimodo было где отражать осаду. Был в Jardin des Plantes, в Hôtel des Invalides etc. etc. etc. Был в театрах, двух, и по обыкновению не мог высидивать пьесы до конца. В театре ново для меня только то, что для каждой, самой маленькой роли есть своя специальность, да еще разве шум, гам, вообще поведение публики, особенно верхней, во время антрактов. Мальчишки, блузники кричат, показывают с одной стороны на другую кулаки etc. etc., сущий базар. Меншиков подзывает меня в Марсель и оттуда в Венецию, я обещал, но, кажется, не поеду. Устал от всего на свете и особенно от любопытства. Может быть, недельки через полторы уеду через Брюссель, Берлин и Гамбург в Дрезден. Там тихо, могу окончить последние две главы

и, может быть, пробегу начало романа, которого ни разу не прочел. А Вас прошу пови-  
даться с Дм. Дм. Маркеловым и попросить, не  
может ли он устроить, чтобы, когда я приеду в  
*Варшаву или Тауроген, в начале октября, на-  
чиная с первого по седьмое число, мне тотчас  
дали место в почтовой карете.* Я потому на-  
значаю два места, что, может быть, Тургенев  
поедет к тому же времени в Россию, и мы сго-  
вариваемся вместе, хотя мне нужно собствен-  
но ехать через Варшаву, потому что там у ме-  
ня оставлена теплая шинель, и оттого вернее,  
*что я поеду через Варшаву,* если даже отпра-  
влюсь в Венецию: там через Вену мне еще бли-  
же.

Кланяйтесь Майковым, Юниньке etc. Сей-  
час Коренев показывал мне письмо от Стари-  
ка и очень доволен.

Прощайте, милый сын, через недельку  
справлюсь на почте, нет ли от Вас письма, пе-  
ред выездом отсюда справлюсь опять, а потом  
и уеду: не моя вина, если без меня придет. До  
свидания.

Ваш Гончаров.

Здесь персики с кулак и по гривеннику: доктор мне позволил есть их, но до груш и до винограда я еще не касаюсь.

Париж сделал на меня меньше впечатления, нежели Лондон: меньше шума, меньше блеска и роскоши. Но все-таки поразительно. Вчера был в Лувре и с полчаса в удивлении просидел перед Венерой Милосской.

## **Письмо Льховскому И. И., 5/17 ноября 1858\***

**2<sup>1</sup>** И. И. ЛЬХОВСКОМУ

5/17 ноября 1858 года. <Петербург.>

Пишу почти без надежды, что до Вас дойдут эти строки, любезный друг Иван Иванович, потому что наставление Ваше писать к Вам сначала в Бразилию, потом на Мыс Доброй Надежды кажется мне сомнительным. Впрочем, чем же я рискую? Листком бумаги да полтинником, а между тем все-таки греюсь маленькой надеждой, что авось Вы и получите письмо. Сказать Вам что-нибудь новое обо всем, что может Вас интересовать, вот первоначальная мысль, с которою я сел за

письмо, но, подумав, вижу, что нового ничего не случилось: и это самое лучшее, что могу сказать. Молите бога об одном, чтоб не было перемен к Вашему возвращению: я так желал, когда ездил, и был очень счастлив, что желание мое исполнилось. Ведь Вы довольны тем, что было, и не предвидите приятной перемены, а неприятной не захотите. Следовательно, за неимением нового мне приходится просто поговорить с Вами, как бы поговорил я, сидя на балконе у меня или на диване. Майковы, слава богу, здоровы: Николай Аполлонович сильно прихворнул, но выздоровел. Старушка, обреченная на двухмесячное лежачье, несет довольно терпеливо эту пытку: правда, около нее постоянно, почти неотходно присутствует Старик, заменяемый по утрам Анною Романовною<sup>1</sup>, да по крайней мере через день хожу я и пою соловьем (не ругаюсь, потому что доктор положительно запретил раздражать ее), и она называет меня единственной отрадой, забывая в эту минуту о двух первых, то есть Старике и Анне Романовне. – Кроме того, около нее разложены все журналы, да сзади, за спиной, всегда спрята-

на корзина с грушами, с виноградом или конфетами, приношениями от Старика или от меня. При этой обстановке она довольно терпеливо сносит лежащее положение. Глядя теперь на нее, я убедился в одном и счастливым этим убеждением, именно, что в ней нет органического повреждения и что все испытываемые ею боли суть временные боли и притом переходные из места в место от неправильного действия крови, от этого и приливы и застои, и что она может выздороветь, если захочет.

Она была сильно обижена Вами, не получая от Вас долго ответа из Франции: явилась натянутая холодность, с внутренним раздражением; тут она в блестящем виде выставила мою дружбу, мои письма из-за границы, и, пройди еще неделя, над Вашей головой грянула бы анафема. Но Вы в письме к Старику объяснили, что готовите ей длинный ответ издалека, и мгновенно воротилась дружба, а присылка портретов отодвинула вдруг меня на второй план. Пишу Вам это, чтоб Вы и впредь принимали надлежащие меры к поддержанию Вашего кредита в ее живом и пыл-

ком, следовательно изменчивом, характере. Так она теперь Дружинина, который после меня и Тургенева стоял третьим в ее понятии по нравственным качествам отодвинула за Панаева, вместе с Писемским, зато, что он не исправил штуку, сыгранную с Стариком, то есть не только не лез из кожи, чтобы Владимира принять опять в «Библиотеку для чтения», как она ожидала, но помирился с этой проделкой довольно холодно. Я, разумеется, вследствие этого не упускаю случая доказывать ей, что, напротив, это два лучшие у нас литератора и человека: она при этом порывается с подушек царапать мне глаза, пока на нее не закричат, что волноваться запрещено. Она, еще до лежанья, была у Вашей маменьки, а последняя навестила два раза ее. – Я, без Вашего разрешения, взял, однако, себе Ваш один портрет, и вот он в рамке у меня – почти под носом. Если б, уезжая отсюда, Вы не сказали, что и Панаев мог бы сделать то же, что я, то я носил бы этот портрет на груди: так он миниатюрен. Да, à propos, Вы сдали в архив дело о *непризнавании моих прав на Вашу дружбу и о прочем*: пожалуй, и я сдам, но

прежде сделаю два недосказанные замечания, как ни совестно преследовать Вас этим под тропические небеса. Вы все твердите, что ухаживали за мной: да будто я за Вами не ухаживал? Вам только принадлежит инициатива, потому что я опередил Вас летами и развитием. Начало моего ухаживания теряется в глубокой древности, а кончается последними днями Вашего пребывания; помните желание пробыть с Вами всякий свободный час, поездки на острова, к Юнии Дмитриевне на дачу и проч. Вы скажете, что я делал это для себя, следовательно из эгоизма: да разве где-нибудь его нет? А Вы отчего ухаживали? Чтоб сблизиться, обратить на себя своими достоинствами, которые сознавали, внимание и т. д. Ведь и в самопожертвовании даже лежит глубокий эгоизм: это есть сладострастие души или воображения, следовательно неправда и то, что будто я стал холоден, когда кончилось Ваше ухаживанье. Нет, нет, нет! После известного разговора я изменился: да теперь и то прошло, а если бы не прошло, так значит я ужко всему стал холоден, но по другим совсем причинам.

Объясняя все это, я опять рискую подвергнуться обвинению в дружеском крючкотворстве (*Ты сердишься, следовательно, неправ*, сказал кто-то кому-то в глубокой древности); но я думаю, что сдавать в архив дело можно тогда, когда все сглажено, объяснено и когда кто-нибудь останется прав, а другой виноват: это легче уладить, нежели недоразумение. Так говорит мне «крючкотворство», или – по-прежнему – ясная логика.

Что касается до *цинического ко всему равнодушия*, то будьте на этот счет осторожны: Вы сами будете такие, потому что тоже обладаете теми же, подчас выгодными, а подчас ядовитыми свойствами – пытливости и наблюдательности. Это обоюдоострый меч, поражающий вперед и назад. Анализ рассекает ложь, мрак, прогоняет туман и (так как все условно на свете) освещает за туманом – бездну. Да если к этому хоть немного преобладает воображение над философией, то является неутолимое стремление к идеалам, которое и ведет к абсолютизму, потом к отчаянию, зане между действительностью и идеалом лежит тоже бездна, через которую еще не найден

мост, да едва и построятся когда. Отсюда та скука, которая беспрестанно проглядывает из каждого промежутка между двух наслаждений, то есть всякий раз, когда воображение устало и безмолвствует. А так как с годами оно устает чаще и чаще, а анализ показывает вещи все голее и все дальше от идеала, то человек и доходит до цинического равнодушия, теряет ко всему вкус, разлюбит друзей и т. д. *Avis au lecteur!*[69] Но довольно!

*Вечером того же числа.* Сейчас просидел вечер у Старушки: она взволновалась при известии, что я пишу к Вам. Подай ей читать письмо, да и только. Но не удалось прочесть: его со мной не было, а завтра Виктор Михайлович<sup>2</sup> отнесет его, идучи в Сенат, на почту. (Виктор Михайлович получил место помощника секретаря и кланяется Вам: он понемногу начинает приобретать Ваши привычки, то есть раза два в неделю не ходит в Сенат – словом, достойно идет по стопам Вашим.) Вчера у Старушки с Юнинькой произошел неприличный спор за Ваши портреты. Юния Дмитриевна давно уже объявила за собой почему-то монополию на Вашу дружбу, Старушка

в холодном негодовании на Ваше молчание готова уже была уступить, как вдруг присылка портретов на ее имя перевернула все дело на другой лад. Старушка раздает Ваши портреты, как ордена, и если б подписка на «Подснежник»<sup>3</sup> была такая же, как, например, на «Отечественные записки», то она раздавала бы портреты эти с бриллиантами для ношения на шее. Юния Дмитриевна в досаде стала предполагать в присылке портретов не на ее имя какую-нибудь роковую ошибку и с горечью смирилась и получила портрет не из лучших. Старушка удержала себе портрета четыре и только Вашей маменьке дала два. – Дети очаровательны; выступает на сцену Валериан<sup>4</sup>: его одели кучером и носят гулять. Он лепечет очень мило, и мне уж скоро можно будет начать с ним: подходя к кладбищу, встречаю я нищу, без носищу и т. д. Есть надежда на успех.

Юния Дмитриевна за недостатком свежего случая доказывать свою дружбу, то есть встречать, провожать, посещать детей родных в учебных заведениях, больницах и тюрьмах, утешает все еще тоскующую Юлию

Петровну и сучает от праздности. Недавно она перепугала всех нас: мы собрались у Николая Аполлоновича читать мой роман, как вдруг она удалилась за ширмы и от боли в груди начала испускать такие вопли и стоны, что все мы разбежались и привели с разных сторон троих докторов, а я сверх того Александра Павловича и Катю. У нее было что-то вроде «сухой холеры» со спазмами. Теперь прошло. У Старушки загорелась мысль, что она может выздороветь только за границей, и она, кажется, посоветовала доктору отправить себя в теплый климат. Но подумав и порассчитав, она, кажется, отказывается от этой мысли. Евгения Петровна «нехотя и с отвращением» приглашает в следующее воскресенье Толстых, Штакеншнейдеров и других. Аполлон в Ницце соединился с Анной Ивановной<sup>5</sup>.

Вчера я с Боткиным и Анненковым обедал у Дружинина: все справлились о Вас, и Анненков, подпрыгивая, объявил, что Вы напишете отличную книгу. Я верю этому. — О «Фрегате „Паллада“» сейчас прочел я в Атенее весьма благоприятный отзыв<sup>6</sup>, где автор доказывает,

что глупо созидать детскую литературу, что она заключается уже готовая в недетской литературе и что образцовые вещи в этом роде: «Записки внука Багрова», «Бежин луг», «Сон Обломова», «Фрегат „Паллада“» и кое-что из Григоровича. Пишу это на случай, что, может быть, и Вы примете это в соображение. Все это признает он классическими произведениями педагогической литературы, по языку и скромности.

На будущий год снаряжаются еще три морские экспедиции и вызывают вновь троих литераторов. Языков хлопочет о Н. Н. Филиппове<sup>7</sup>, да, кажется, чуть ли и Анненков не поползнется ехать, но не иначе как в Америку.

Не забудьте поклониться<sup>8</sup> от меня усердно А. П. Попову: подчас я почти завидую Вам, хотя, впрочем, Вы не наслаждаетесь теперь так, как я наслаждаюсь: воспоминания в таком деле лучше действительности, потому что из них выплывает на поверхность одно прекрасное, а горечь улетучивается. Когда я вспомню, где Вы и то, что я был там, пробегу памятью по этим местам, вспомню небо, леса, воздух, ночи и то ощущение беспечного счастья по-

чти младенческой тогдашней радости, готов плакать от умиления: я делаюсь счастлив. Не забудьте, когда будете писать ко мне, поклониться в письме к Любоцинскому<sup>9</sup>: он при встрече спросил о Вас, о том, получаю ли я вести; я отдал ему от Вас поклон – и покраснел.

Теперь последний месяц я пользуюсь свободой: в декабре начнут носить корректуры новых журналов (их множество) и сверх того корректуру первой части Обломова: недавно я сел перечитать ее и пришел в ужас. За десять лет хуже, слабее, бледнее я ничего не читал первой половины первой части: это ужасно! Я несколько дней сряду лопатами выгребал навоз и все еще много! Прочитывая сцену последнюю барина и слуги, я был сам поражен тою же мыслию, как и Вы. Ах, если б и другие так поняли ее! Прощайте, авось бог даст увидимся.

Ваш *И. Гончаров*.

Пишите адрес толковее и вернее, и я буду писать к Вам, хотя, правду сказать, Вы скупостью своею на письма мало возбуждаете энергию поддерживать корреспонденцию с

Вами: не забуду, что в Мариенбад Вы написали ко мне в четыре месяца всего два письма.

## Письмо Толстому Л. Н., <4 декабря 1858><sup>\*</sup>

2<sup>2</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

<4 декабря 1858 г. Петербург>

Я пришел к Майкову, любезнейший и почтеннейший гр. Лев Николаевич, в то время, когда он кончал это письмо, и просил у него местечка, чтоб напомнить о себе, о Вашем обещании приехать сюда и привезти что-нибудь новенькое. Вас и от Вас ждут многого, между прочим Кавказского романа<sup>1</sup> (нескромность друзей!). Все здесь, Вас недостает, и в каждом собрании Ваше имя произносится, как на перекличке. Ожидается много нового, по литературе и ценсуре: не скажу, авось поскорее двинетесь приехать. Мы теперь ходим каждый день к Тургеневу: у него «бронхит» – и не шутя. Он кашляет и хранит невольное молчание, чтоб не першило в горле. – Ах, Лев Николаевич, как нужно, чтоб в настоящую литературную пору и Вы подали

голос! Нужно чего-нибудь звучного и свежего. Тургенев тоже нарушает молчание. 1859 год обещает некоторое возрождение чистого вкуса: дай бог, чтоб это была светлая година не для одних только крестьян. Газет и журналов много, но ждать от них пока нечего. У меня две просьбы к Вам:

1. Исполните, если можно, просьбу моего приятеля Майкова и

2. Не читайте первой части «Обломова», а если удосужитесь, то почитайте вторую часть и третью: они писаны после, а та в 1849 году и не годится.

В надежде скоро видеть Вас остаюсь искренно преданный

И. Гончаров.

# Письмо Анненкову П. В., <8 декабря 1858><sup>\*</sup>

2<sup>3</sup> П. В. АННЕНКОВУ

<8 декабря 1858 г. Петербург>

Третьего дня, за ужином у Писемского, по совершенном уже окончании спора о Фрейганге<sup>1</sup>, Вы сделали общую характеристику ценсора: «Ценсор – это чиновник, который позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее», – словом, не польстили. Все это сказано было желчно, с озлоблением и было замечено всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли и не самими Вами, как мне казалось, то есть впечатление произвела не столько сама выходка против ценсора, сколько то, что она сделана была в присутствии ценсора. В другой раз, с месяц тому назад, Вы пошутили за обедом у Некрасова уже прямо надо мной, что было тоже замечено другими.

Я не сомневаюсь, любезнейший Павел Васильевич, что в первом случае Вы не хотели сделать мне что-нибудь неприятное и сказан-

ных слов, конечно, ко мне не относили, и что во втором случае, у Некрасова, неосторожное слово тоже сказано было в виде приятельской шутки. Но и в тот и в этот раз, особенно у Писемского, были совершенно посторонние нам обоим люди, которые ни о наших приятельских отношениях, ни о нежелании Вашем сказать мне что-нибудь грубое и резкое не знают и, следовательно, могут принять факт, как они его видели, как он случился, то есть что ругают наповал звание цензора в присутствии цензора, а последний молчит, как будто заслуживает того. Если б даже последнее было справедливо, то и в таком случае, я убежден, Вы, не имея лично повода, наконец из приязни и по многим другим причинам, не взяли бы на себя право доказывать мне это, почти публично, и притом так резко, как и не принято говорить в глаза.

По всему этому, я уверен, Вам ничего не стоит исполнить дружескую просьбу: в случае, если о подобном предмете зайдет речь не в кругу общих наших коротких приятелей, а при посторонних людях, обратить внимание на то, что последние, не зная наших взаим-

ных с Вами отношений, могут резкий отзыв считать направленным на мой счет и что это ставит меня в затруднительное положение.

Выходя вчера от Тургенева, я хотел сказать Вам об этом сам, да не мог улучшить удобной минуты.

Дружески Вам кланяюсь.

Ваш *И. Гончаров*.

8 декабря 1858.

## **Письмо Боткину В. П., 30 января 1859**

**2<sup>4</sup>** В. П. БОТКИНУ<sup>1</sup>

30 января <1859 г. Петербург>

Сейчас только получил я Ваше письмо, сладчайший Василий Петрович, и сейчас же посылаю Вам рекомендательное письмо к директору Кяхтинской таможни для Владимира<sup>2</sup> Петровича. Я прилагаю и пакетик, чтобы Вы прежде прочитали, годится ли письмо; и если годится, то вложите в пакет, на котором есть и клей, чтоб закрыть его наглухо, без всякой печати. А если не годится, то напишите поскорей, что надо сказать в письме, и я при-

плю другое (адрес мой в доме *Устинова*, а не Щербатова).

Видите, как мерзко пишу, не назовете «сладкопевцем», что делать: некогда! Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки и взамен дают геморой. А Вы-таки не можете не читать *Обломова*: что бы подождал до апреля<sup>3</sup>! Тогда бы зорким оком обозрели все разом и излили бы на меня – или яд, или мед – смотря по заслугам.

*Тургеневская* повесть делает фурор<sup>4</sup>, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно. – Я все непокоен, пока не кончится последняя часть в апреле, только тогда вздохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттискивают. Неожиданно выходит вместо 3-х, четыре части, несмотря на убористый шрифт «Отечественных записок».

Сегодня мы обедали у *Тургенева* и наелись ужасно по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он все по княгиням до по графиням, то есть *Тургенев*: если не побывает в один вечер в трех домах, то печален.

Нового ничего нет.

В ожидании скоро видеть Вас прощайте.  
Жму Вашу руку.

И. Гончаров.

В письме к Мессу я немного распространился о Вас: это ничего, лучше поможет.

## Письмо Тургеневу И. С., 28 марта 1859\*

2<sup>5</sup> И. С. ТУРГЕНЕВУ

28 марта 1859. <Петербург>

...А прогос – о дипломатах и дипломатии. Садясь в вагон у Знаменья на станции и прощаясь со мной, Вы мне сказали: «Надеюсь, теперь Вы убедились (по поводу нашего разговора накануне), что Вы не правы», и потом прибавили Ваш обыкновенный refrain: «Спросите у NN: когда я говорил ему о том-то и о том-то». Вы могли говорить об этом очень давно, и все это ничего не значит, у меня и в бумагах есть коротенькая отметка о деде, отце и матери героя. Но говорить о четырех портретах предков (из письма) Вы не могли. Впрочем, все это ничего не значит: я знаю,

что внутренне Вы совершенно согласны со мной.

С большой досадой пошел я домой. «За кого же он меня считает? – думал я. – За ребенка, за женщину или за *юношу*, как назвал меня вечером в тот день Анненков!» Мне и хочется теперь сказать Вам: нет, я убежден в том, в чем сам убедился, что вижу и знаю, что меня удивляет, волнует и заставляет поздно раскаиваться, и мне свидетельства свидетелей не нужно. Наш спор был тонок, деликатен и подлежал только суду наших двух совестей, а не NN, не ПП. Ужели вы, явясь на этот спор с блестящей свитой, могли бы быть покойны и довольны собой потому только, что NN или ПП сказали бы: «Вы не правы. Как это можно: Тургенев не прав! Кто смеет подумать? Это ложь», и т. д. и т. д. А между тем вы в самом деле были бы не правы? Я не понимаю этого. Если б весь мир назвал меня убийцей и лгуном, а я бы не был убийцей и лгуном, я бы не смутился; точно так же, если б весь мир сделал меня своим идолом, да если бы во мне завелся маленький червячок, – кончено дело: я бы пропал. Нет! Если я нака-

нуне спорил осторожно и оставил арену, не дойдя до конца, не высказавшись весь, так это потому, что есть предметы слишком нежные, до которых трудно касаться, – оттого, что у меня, у «жесточого человека», есть мягкость там, где у других ее не бывает... Мне было неловко, я конфузился, – только не от своей неправоты... Правда Ваша после этого, что Ваши хитрости «сшиты на живую нитку», когда Вы мою мягкость и неловкость приняли за «убеждение в неправом споре». Нет, не поверил я Вам и в том, когда Вы так «натурально» уверяли меня, что будто литературное Ваше значение вовсе не занимает Вас, что Вы касаетесь его так, мимоходом, а что живет в Вас «старая мечта, старая любовь», и по ней тоскуете вы, по неосуществлению ее. Простите, мне слышались в этих словах стихи:

*И знает бог, и видит свет<sup>1</sup>:  
Он, бедный гетман, двадцать  
лет...*

Дипломат, дипломат! Нет! Давно и страстно стремились Вы – скажу к чести Вашей – к Вашему призванию и к Вашему значению: не

сознаваться в этом было бы или постыдным равнодушием, или fatuité[70]. Скажу более: Вы смотрите еще выше и, конечно, подымитесь очень высоко, если пойдете своим путем, если окончательно уясните, определите сами себе свои свойства, силы и средства. Вы скользите по жизни поверхностно, это – правда; но по литературной стезе Вы скользите менее поверхностно, нежели по другому. Я, например, рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание. Но оба мы любим искусство, оба – смею сказать – понимаем его, оба тщеславны, а Вы сверх того не чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей... которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще... не знаю почему, – по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе Вас, тронут был жизнью и оттого затрогиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а Вы хотите добывать призы, как на Course au clocher[71].

Если смею выразить Вам взгляд мой на Ваш талант искренно, то скажу, что Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму. Свое свободное, безгранично отведенное Вам пространство хотите Вы сами насильственно ограничить тесными рамками. Вам, как орлу, суждено нестись над горами, областями, городами, а Вы кружитесь над селом и хотите сосредоточиться над прудом, над невидимыми для Вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной драмы. Хотите спокойно и глубоко повествовать о лице, о чувстве, которых по быстроте полета не успели разглядеть, изучить и окунуться сами в его грусть и радость. В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько Вы ни пишете еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей «Илиады», Ваших «Записок охотника»: там нет ошибок; там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музыки: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А «Фауст», а «Дворянское гнездо», а «Ася» и т. д.? И

там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное, зато создание – его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обзрение и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно и в таланте. «Дворянское гнездо»... Про него я сам ничего не скажу, но вот мнение одного господина, на-днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и, между прочим, сказал, что, когда впечатление минует, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), потому что, очевидно, автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни; но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей – совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой

большой рамке, а в очерке, и действовали бы живее, не охлаждая промежутками... Сообщаю Вам эту рецензию учителя<sup>2</sup> (он – учитель) не потому, чтоб она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на Ваши произведения. Летучие быстрые порывы, как известный лирический порыв Мицкевича, населенные так же быстро мелькающими лицами, событиями отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в «Гнезде»), лицами жалкими и скорбными звуками или радостными кликами, – вот где Ваша непобедимая и неподражаемая сила. А чуть эта же Лиза начала шевелиться, обертываться всеми сторонами, она и побледнела. «Но Варвара Павловна, скажут, полный, законченный образ». Да, пожалуй, но какой внешний! У каких писателей не встречается он! Вы простите, если напомним роман Paul de Kock «Le Cосу»[72], где такой же образ выведен, но еще трогательный: там он извлекает слезы. Вам, кажется, дано (по крайней мере так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на новую дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окраши-

вать фантазию действительною жизнью, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна. Лира и лира – вот Ваш инструмент. Поэтому я было обрадовался, когда вы сказали, что предметом задумываемого Вами произведения избираете *восторженную* девушку, но вспомнил, что Вы – ведь дипломат: не хотите ли обойти, или прикрыть этим эпитетом другой (нет ли тут еще *гнезда*<sup>3</sup>, продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром; если я ошибаюсь, если это – не то, то мне придется поверить Вам в том, что Вы, по Вашим словам, может быть, *невольно*, а не сознательно *впечатлительны*, и я приму это как *данное*, не достававшее мне для решения одного важного вопроса на счет Вашего характера). Если это – действительно *восторженная*, то такой женщины ни описывать, ни драматизировать нельзя: ее надо спеть и сыграть теми звуками, какие только есть у Вас и ни у кого более. Я понимаю *восторженную*, как *fleuriste*[73] в «André» у Ж. Занд. Но такие женщины чисты; они едва касаются земли, любят не мужчину, а идеал,

призрак, а Ваша убегает за любовником в Венецию (отчего не в Одессу? там ближе от Болгарии); да еще есть другая сестра: «Та – так себе», – сказали вы... Тут и все, что вы мне сказали.

Вечер длинен и скучен, и письмо вышло таково же, но что делать! Я откровенно люблю литературу, и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием, – и говорю это также откровенно. То же упорство, какое лежит у меня в характере, переносится и в мою литературную деятельность, да и во все, даже в это письмо. Решите, пожалуйста (самому мне это трудно сделать и неловко): не есть ли эта кажущаяся жестокость во мне – только упорное преследование до конца, до последних целей, всякой мысли, всякого чувства, всякого явления в жизни, преследование, разводимое по временам (от старости и обстоятельств) желчью и оттого иногда несносное и мне самому, тем более – другим, особенно людям мягким, неупорным, не навязывающим жизнь ни на что, не оборачивающимся назад и не глядящим вдаль. Им я покажусь всегда темен и тяжел и жесток. Иногда говорят «ка-

кой это неприятный господин» про такого господина, который имеет убеждения и правила, верен им и последователен и упорен в своих намерениях, чувствах и целях. Но таков ли я в самом деле? Нет ли во мне мягкости, но бережливо издерживаемой на что-нибудь путное?.. Впрочем, не знаю. Только знаю, что если меня что-нибудь приятно или неприятно взволнует, поразит etc., я глубоко проникаюсь мыслью или чувством, враждой ли (не ненавистью только: я не могу ненавидеть, тут у меня и упорства нет), намерением ли, и будто против воли несу свою ношу, упорно и непреклонно иду до цели, хотя бы пришлось и потерпеть. Ох, не раздражьте меня когда-нибудь и чем-нибудь. Вот с эдаким же упорством принялся я теперь составлять программу давно задуманного романа, о котором – помните? – говорил Вам, что если умру или совсем перестану писать, то завещаю материал Вам, и тогда рассказал весь. Теперь произошли значительные перемены в плане, много прибавилось и даже написалось картин, сцен, новых лиц, и все прибавляется. Тем, что сделано, я доволен: бог даст и прочее

пойдет на лад. Разбор и переписку моих ветхих лоскутков<sup>4</sup> программы взяла на себя милая больная. «Это займет меня», – говорит она. Она до слез была тронута тою сценою бабушки с внучкой, сценой, в пользу которой Вы так дружески и великодушно пожертвовали похотим на эту сцену, но довольно слабым местом Вашей повести, чтоб избежать сходства. Чтоб посмотреть, благоприятно ли действует мысль, ход романа, судьба двух женщин (и у меня их две: Вы, конечно, помните; Вы так горячо одобрили тогда роман), я читал все Дудышкину, сегодня рассказал только, но не успел прочесть всего Никитенке, может быть, покажу Писемскому и Дружинину, и если им мысль и характер героя не покажутся дики и неудобноисполнимы, а картины и сцены сухими или неестественными, я, благословясь, примусь за дело, если вдохновение не покинуло меня, если так же легко будет за границей, как было в 1857 году, если... сколько если! В самом деле я «юноша», как меня насмех назвал Павел Васильевич (не вследствие ли сообщенного ему Вами нашего разговора? Ох, Вы, две могилы секретов

!) Ведь не десять тысяч (на них мне мало надежды осталось) манят меня к труду, а стыдно признаться, я прошу, жду, надеюсь нескольких дней или «снов поэзии святой», надежды «облиться слезами над вымыслом». Ну, тот ли век теперь, те ли мои лета? А может быть, ничего и не выйдет, не будет; с печалью думаю и о том: ведь только это одно и осталось, если только осталось, – как же не печалиться! Прощайте! Жму Вашу руку.

## Письмо Льховскому И. И., 2/14 апреля 1859\*

2<sup>6</sup> И. И. ЛЬХОВСКОМУ

2/14 апреля 1859 года. <Петербург>

Милый, милый друг Иван Иванович! Неделю тому назад мы были обрадованы получением Ваших писем. Я понес свое к Старикку и Старушке, думая удивить их, а они приготовили мне тот же сюрприз. Я думал, что я уже вовсе не способен к поэзии воспоминаний, а между тем одно имя *Стелленбош*<sup>1</sup> расшевелило во мне так много приятного: я как будто вижу неизмеримую улицу, обсаженную дере-

вьями, упирающуюся в церковь, вижу за ней живописную гору, и голландское семейство, приютившее нас, все, все. Точно так же известие о смерти Каролины<sup>2</sup> произвело кратковременное чувство тупой и бесплодной тоски. Восхождение Ваше на Столовую гору – подвиг, на который я никогда бы не отважился. Не знаю почему, но мне невообразимо приятно знать, что Вы увидели и, может быть, увидите и еще места, которые видел и я. Меня даже пленяет эта разница во взгляде Вашем с моим: Вы смотрите умно и самостоятельно, не увлекаясь, не ставя себе в обязанность подводить свое впечатление под готовые и воспетые красоты. Это мне очень нравится: хорошо, если б Вы провели этот тон в Ваших записках и осветили все взглядом простого, не настроенного на известный лад ума и воображения и если б еще вдобавок уловили и постарались свести все виденное Вами в один образ и одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так чтоб каждый, иной много, другой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое. Это значит – взгля-

нуть прямо, верно и тонко и не заразиться ни фанфаронством, ни насильственными восторгами: именно как Вы в немногих словах отозвались о Бразилии и Мысе Доброй Надежды.

Между прочим, этот тон отнюдь не исключает возможности выражать и горячие впечатления и останавливаться над избранной, не опошленной красотой. Если я не сделал ничего этого, так это отчасти потому, что я, по своему настроению вообще, был искренен, и, кроме того, потому, что этим настроением только и мог действовать на читателя, потому что в языке и красках я сильнее, нежели другим путем. А у Вас настоящий взгляд, направленный юмором, умным и умеренным поклонением красоте, и тонкая и оригинальная наблюдательность дадут новый колорит Вашим запискам. Но давайте полную свободу шутке, простор болтовне даже в серьезных предметах и ради бога избегайте определенных и важничанья. Под лучами Вашего юмора китайцы, японцы, гиляки, наши матросы – все заблещет ново, тепло и занимательно. Пишите, как пишете к Старикку и ко мне. Даже не худо, если б Вы воображали нас постоянно

перед собою. Abandon[74], полная свобода – вот что будут читать и поглощать. А rgoros, чтоб не забыть. Я сказал Краевскому, что получил от Вас письмо, и он, не дав мне договорить, спросил быстро: «А что ж, придет ли он что-нибудь в „Отечественные записки“?» – «Ничего не пишет об этом», – был мой ответ. «Так попросите его, пожалуйста, от меня!» – заключил он. Передаю Вам с математической точностью его слова и ничего к этой просьбе не прибавлю. Вы сами знаете, как полезно поместить что-нибудь в журнале, но советую также дать в то же время статью и в «Современник»: эти два журнала обеспечивают репутацию Ваших записок. В «Библиотеку для чтения», само собою разумеется, тоже дадите, ибо редактор<sup>3</sup>, только что примирившийся с Вами, не простил бы этого. На что хуже записок Лакиера<sup>4</sup>, а и те были замечены, чему были обязаны единственно тем, что появлялись в этих журналах. Прежде всего, конечно, Вам следует послать в Морской сборник, и не одну статью, даже все морские, касающиеся плаванья статьи, а сухопутными можете располагать по произволу: так тогда и великий князь

Константин Николаевич разрешил. Вы можете через морское министерство адресовать статьи в журналы на мое имя, а я стану наблюдать за их печатанием и, пожалуй, копить деньги. Назначьте и цену: не знаю, дадут ли только более 60 рублей. А впрочем, напишите, что Вы хотите. Да кстати, когда будете посылать статьи в морское министерство, напишите письмо к Н. К. Краббе<sup>5</sup>: я встретил его в опере, мы разговорились про Вас. Я упомянул, как Вы ему благодарны, и он заметил сам: «Да, правда, мне удалось кое-что для него сделать». Поблагодарите его и издалека. «Об ухаживаньи, о благодарности» и о прочем Вы наговорили много тонких пустяков. Я, кажется, доказал Вам, что и я не меньше ухаживал за Вами, а Вы только начали, и если б было справедливо все, что Вы пишете, то мы недолго были бы в ладу. Я уже решил, что я никуда не гожусь, устарел, бегаю от людей, прячусь, и все мне надоедает. Если кротчайший Старик, милая Старушка и даже друг мой Женечка подчас тяготят меня, то, конечно, должна была отразиться эта брюзгливость и на Вас. Но что мне прискорбно было, так это то, что и

Ваш характер начал как будто рано портиться, Вы стали нетерпеливы, иногда желчны и резки, следствие мелких ожесточений, развитие ума и вкуса и ограниченность средств и проистекающее из этого шипение постоянно подавляемой и оскорбляемой гордости и самолюбия. У меня сначала было то же, то есть те же причины, а когда они прошли, явилось противоположное: пресыщение всем этим и вместе притупление воображения, этого господствующего в моей особе начала. Странствуйте же с уверенностью, что за Вами с участием следят тепло и сильно за Вас бьющиеся сердца и ждут с величайшим нетерпением минуты возвращения. Надо Вам сказать, что Старик, Старушка и я – шалим, именно, ни больше, ни меньше, как едем за границу. Я желал бы, чтоб Вы подслушали тот голос, каким сказаны были вырвавшиеся у меня слова: «Ах, если б с нами был Лъховский!», желал бы и для Вас и для себя! Вас удивит это известие: Екатерина Павловна собирается писать Вам об этом подробнее, а я только прибавлю, что они едут в Киссинген, а я на прежнее место, в Мариенбад, и потом желал бы соеди-

ниться с ними на Рейне и в Париже. Мне хочется повторить лечение и, ах, если б можно было, и писанье нового романа... Но... но... много *но*: сейчас скажу все, прежде кончу о путешествии. Старушку уложили в постель года на два; у ней повторялись воспаления, теперь нет, и она стала пободрее с тех пор, как явилась надежда ехать за границу. Дело, конечно, без натяжек не обошлось. Вы знаете Старушку, как она умеет склонить на свою сторону всякого, даже и доктора. Спора нет, что воды могут быть ей полезны, но как она вынесет дорогу, особенно до Варшавы, я не понимаю. Желание ее ехать возросло до лихорадки и если ее не пустить, то, кажется, это повредит ей пуще дороги. Довольно того, что она реша...[75]

# Письмо Майкову А. Н., 11(23) апреля 1859\*

2<sup>7</sup> А. Н. МАЙКОВУ

11(23) апреля 1859 г. <Петербург>

Любезнейший друг Аполлон Николаевич. – Увидев Ваш почерк на адресе, я с унынием развернул письмо: «Не разберу ни слова!» – думал я. Каково же было мое удовольствие и удивление, когда я – не прочитал, а пробежал письмо в пять минут. Давно бы Вам вспомнить меня на письме, и Вы получили бы не одно известие о том, о другом и о третьем. Ведь я на пароходе, прощаясь, ясно сказал Вам, «что всякий отъезжающий обязан напоминать о себе кругу, из которого выбывает, ибо один всегда нуждается в памяти целого круга»: так и поступал всегда и так обязываю каждого поступать. Это не... не... как бы это сказать... не кичливость, а упрямство, упорство, то есть соблюдение некоторых форм, неизбежных даже в нравственной жизни. Одному целый круг дорог, но редко, даже почти никогда, один дорог целому кругу не бывает,

а если когда и показывают кому-нибудь это, то есть оставленное им грустит о нем день и ночь, постоянно стремится к нему и не находит ни в чем ему замены – так притворяются; это обыкновенно делается с богатыми, сильными и тому подобными лицами, которых хотят обманывать. Вас никто так не обидит, хотя скажу Вам по-восточному, что «Ваше место не занято». Недавно давали Мартынову обед<sup>1</sup> литераторы, и при этом сказано было, что, за исключением Майкова, вся литература – налицо. В самом деле были все. О Григоровиче не поминали: видно, он не очень нужен.

Ваше напоминание «не забывать стариков» напрасно: часто вижу я их то у них, то у Старика – и сегодня обедал у Вас, у Юсупова сада. Сегодня страстная среда, и маменька дала постненького пирога, грибков, одной рыбки, другой рыбки, третьей рыбки, одного варенья, другого варенья, третьего варенья, одной наливки, другой наливки и третьей наливки и так без конца. Я радуюсь, как Ваш родной брат, что у нашего общего – так сказать – идола, старца, лицо свежо, что он бодр

и на-днях он отделал выигранную мною у них на лотерее (в пользу Марковецкой) головку так, как не писал и в лучшие годы.

Вы хотите, чтоб я сказал о Вашей поэме правду, да Вы ее слышали от меня и прежде. Я, собственно я – не шутя слышу в ней Данта, то есть форма, образ, речь, склад – мне снится Дант, как я его понимаю, не зная итальянского языка. Но говорят о нем – скажу откровенно – мало, даже не помню, говорили ли что-нибудь печатно. Причина этому, конечно, Вам понятна: поэма не вся напечатана, из нее вырезано сердце, разрушена ее симметричность, словом, она искажена и со стороны архитектуры, и со стороны мысли, а ведь она вся построена на двух столпах, на двух, так сказать, основаниях, и вдруг один столп отсутствует; от этого целое производит такое же впечатление, как Кёльнский собор: будет или было бы что-то грандиозное, да все это осталось в замыслах или в рисунках зодчего. Поэтому, ничто так сильно не доказывает Вашего искреннего и горячего служения искусству, как эта поэма: Вы создавали, не заботясь о ценсуре, о печати, Вы были истинный поэт в

ней<sup>2</sup> – и по исполнению, столько же и по намерению.

Жалею очень, что Вы не пишете записок вояжа<sup>3</sup>, а надо. Читая теперь Ваше письмо, с этим свободно играющим настроением, приправленным юмором, мыслью и легким изложением, я с досадой думаю: «Да отчего ж он не пишет так о морг, о моряках, о корвете, о берегах, о встречах, о самых этих видах, которые он ругает?» Ведь это и нужно; порой навернулось бы серьезное замечание, трогательный звук, игривый мотив, потом округлять бы эти письма – вот и статьи! Пусть бы писали Вы письма к нам ко всем вдруг или по очереди – и не тратили бы в частных письмах драгоценных заметок, например вроде описания бегавшего от Вас аббата в Палермо и т. п. А сколько бы, в промежутках этих заметок, мелькнуло у Вас видов, силуэтов разных лиц, наши моряки в чужой стране – все, все! Мало ли! Посмотрите, мертвый зять Плетнева, Лакиер выписал все из Банкрофта<sup>4</sup> – и тот успел! Так жаждут у нас путешествий! Помните, что моя «Паллада» – уже напечатанная по журналам – почти вся разошлась! Пишите же – и

скорей; схваченные наблюдения тотчас записывайте, а то простынут, и тут обдeldывайте путевую записку из всякой стоянки, даже двухдневной! А говорить об Италии, о Греции – все это не цель такого путешествия! Море и берега – Ваша поэма, а прочее – роскошь.

Насчет Обломова Вы упрекнули меня напрасно, то есть что я читал его при Григоровиче, а Вам не читал. В Вас я заметил давно нерасположение к слушанию длинных вещей; еще при чтении моих путевых записок Вы как-то уклонялись более ко сну; мне просто было совестно звать Вас на чтение, да и самолюбие шептало: «Придет он, пожалуй придет, да внутренне будет ругаться, а в другой вечер еще и вовсе не придет, тогда станет досадно». Григорович же подвернулся тогда, и я в другой вечер его не пригласил. А кстати: что он? Про него здесь носятся какие-то сомнительные слухи; от одного, от другого сановника морского министерства слышишь: «Ох, скверная штука, как-то уладится: скверно, очень скверно!» Что он наделал? Признаюсь, я с унынием услышал о назначении его к великому князю: он огадит перед

великим князем не только литераторов, но и всю литературу, во 1-х, уронит своей особой, а во 2-х, наврет, насплетничает. Хоть бы предупредили там, что здесь он потерял всякую веру и давно слывет за шута.

Заключу сказание об «Обломове» известием, которому, знаю, Вы дружески порадуетесь: доселе вышли три части (4-я выходит завтра) и встречены были, особенно 2-я часть, с неожиданным для меня благоволением. Успех, если не больше, так равный успеху «Обыкновенной истории». Особенно утешительные вести получаются из Москвы. Не знаю, что скажет печатная критика: я думаю, не много хорошего. Во-первых, меня не любят за... характер, то есть что у меня есть какой-нибудь характер, не искательный, не подлашливый; угрюмость мою, охлаждение от лет принимают за гордость и не прощают мне этого, не прощают резкости; притом я цензор, лицо не популярное. Редакции, кроме «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» да отчасти «Современника», меня не жалуют, московские в особенности. Тургенев, независимо от сильного таланта, мягок, готов

сидеть со всяким, всюду идет – и в салон Кушелева и к Плещееву<sup>5</sup>, во всех редакциях – идол. Я не умею и не могу, потому, между прочим, что у меня вся жизнь пронизана каким-нибудь самостоятельным – может быть и уродливым, – но своим взглядом, идеею, воззрением, притом упорным, последовательным и верным себе воззрением. От этого я для всех почти, за исключением немногих друзей, «неприятный господин». Но пусть! Я, между прочим, имею кое-что общее с Вами в искреннем и горячем служении своему призванию и в этом служении не опираюсь ни на какие посторонние ему столбы. Пойдемте же по нашей дороге, не смущаясь ничем.

Старик и Старушка едут в Киссинген<sup>6</sup>, Вы это, конечно, знаете; я тоже прошусь в Мариенбад, и если все устроится по нашему желанию, то мы отправимся в одном мальпосте до Варшавы.

А отчего Вы не написали ничего об Анне Ивановне? Где она и здорова ли? Поцелуйте у ней ручку. Что дети? А куда к Вам писать: ведь Вы теперь на волкане – и буквально и фигурально.

Вы спрашивали меня, что́ новый Комитет? Не знаю, право. Мне предложена была честь принять в нем участие в качестве управляющего канцелярией и, кажется, совещателя, но – гожусь ли я? Я поблагодарил и уклонился, указав им на Никитенко, который знает и любит литературу. Вследствие этого Комитет, как я слышал, благосклонен к литературе и, кажется, затевает отличное дело – издавать газету, орган правительства, в которой оно будет действовать против печатных недоразумений (я не говорю *злоупотреблений*, как некоторые называют: при ценсуре их быть не может) также путем печати и литературы: дай бог! Авось тогда уймутся те господа, которые, чуя за собой грешки и боясь огласки, кричат: разбой, пожар! и бегут жаловаться и пугают чуть не преставлением света, оттого что ругают взятки или робкий и почтительный голос осмелится указать недостатки какого-нибудь административного распоряжения.

О ценсуре что сказать: прибавлено два ценсора. Фрейганг – о чудо! – говорят, выходит в отставку. Все литераторы наши разье-

хались: целую зиму был ряд обедов то у того, то у другого. Тургенев уехал с большим триумфом. Повесть его произвела огромный успех<sup>8</sup>. Писемский тоже продолжает собирать дань<sup>9</sup>; роман его разобран печатно, и везде хорошо. Стихов нет; Фет мало печатал. Островский написал прелестнейшую комедию<sup>10</sup> «Воспитанница». Мне предлагали опять преподавать словесность, но, по совести, я не мог, при моих занятиях, взять на себя такой важный труд – и дело разошлось. Прощайте, милый друг, будьте здоровы, пишите и не забывайте стариннейшего из Ваших друзей

И. Гончаров.

## Письмо Толстому Л. Н., 13 мая 1859\*

2<sup>8</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

13 мая 1859 года. <Петербург>.

Давно я собирался, граф Лев Николаевич, сказать Вам душевное спасибо за ласковое слово об «Обломове», адресованное ко мне рикшетом через письмо Александра Васильевича<sup>1</sup>. Но, поверите ли, едва выискал свободные полчаса, и то ночью, написать эти строки, чтобы вместе и проститься перед отъездом за границу. Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостью; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в Вас доброжелателя новому моему труду. Еще бы приятнее мне было, если б Вы не рикшетом, а прямо сказали и о моих промахах,

о том, что подействовало невыгодно. Особенно полезно бы было мне это теперь, когда я желал бы попробовать<sup>2</sup> еще раз перо свое над одной давно задуманной штукой. И если время, расположение духа и разные обстоятельства позволят, я и попробую. Я желал бы указания не на случайные какие-нибудь промахи, ошибки, которые уже случились и, следовательно, неисправимы, а указания каких-нибудь постоянных дурных свойств, сторон, замашек, аллюр и т. п. моего авторства, — чтобы (если буду писать) остеречься от них. Ибо, как ни опытен автор (а я признаю за собой это одно качество, то есть некоторую опытность), а все же ему одному не оглядеть и не осудить кругом и с полнотой самого себя. Но, может быть, такое домогательство с моей стороны превышает меру Вашего доброго ко мне расположения, и потому я позволяю себе только выразить это желание, а домогаться не решаюсь.

Еду я 22-го мая<sup>3</sup>, то есть через неделю с небольшим, и сам вижу, как с каждым днем розовая перспектива поездки все бледнеет. Война<sup>4</sup>, затруднение с переводом денег, неиз-

вестность, что будет, – все это отравляет путешествие, но еду, потому что давно задумал ехать, а я, между прочим, бываю иногда упорен, чуть ли не как Тарас Скотинин, – что задумаю, то, кряхтя и охая, и несую, как тяжкий крест, хотя бывает иногда нужно только шевельнуть пальцем, чтоб сбросить его с себя. Притом оставаться здесь еще летом – наказание, которого никому не желаю испытать. Если это письмо застанет у Вас Александра Васильевича, поклонитесь ему.

Если бы Вы вздумали сказать мне слово в ответ, то я только до пятницы (22 мая) проживу здесь. Дня через три надеюсь, несмотря на все хлопоты, прочесть начало Вашего романа<sup>5</sup>, о котором мне уже говорили с нескольких сторон. Но жаль, что не узнаю долго продолжения.

Прощайте, Лев Николаевич, желаю доброго здоровья и скорого по возможности свидания с Вами здесь. Искренно преданный

И. Гончаров.

Живу я на Моховой улице, в доме Устинова.

## Письмо Льховскому И. И., 20 мая 1859\*

2<sup>9</sup> И. И. ЛЬХОВСКОМУ

20 мая 1859 года. С.-Петербург

Не хочется уехать за границу, не простясь с Вами, любезнейший друг Иван Иванович. Мы, то есть Старик со Старушкой, я и Катя, едем в почтовой карете 22 мая, то есть через три дня, в Варшаву. Они в – Эмс, я в Мариенбад, а если не пустят туда по случаю войны и подозрительности австрийского правительства относительно России и славянских земель – то в Виши (Южную Францию). В конце сентября мы должны возвратиться. Старушка стала пободрее от одной мысли ехать за границу и видеть новое. Но не знаю, как она вынесет путь до Варшавы, когда и я, проехав туда пятеро суток в карете, три ночи сряду кричал благим матом от судорог в ногах. Но довольно об этом: что бог даст! А вы что? Скоро ли назад? Дружинин на-днях справлялся очень заботливо о Вас и говорит, что лишь только приедете, он отдаст Вам в заведыва-

ние весь критический отдел в «Библиотеке для чтения». Перед этим я писал Вам еще письмо тоже в Николаевск, от марта или апреля, не помню. Евгения Петровна все хворает поносом и желчью: это бы давно прошло, если б она не была в постоянном ужасе, что это у нее холера. Она с Николаем Аполлоновичем и с детьми наняли на шестнадцатой версте Петергофской дороги дачу, Кошкаровы там же. Аполлон, кажется, удрал с корвета под предлогом болезни, и, соединясь в Дрездене с Анной Ивановной, приедут сюда. Он говорит, что написал одну дрянную статью<sup>1</sup> о Неаполе, а Григорович напечатал статью в Морском сборнике<sup>3</sup>, но, говорят, плохую. Я читал две первые страницы, и мне показалось бойко написано.

В Ваши именины мы, то есть Юния Дмитриевна, Анна Романовна и я (еще Солоницын), собрались у Старика, поели и выпили бутылку шампанского. Ждем Вас нетерпеливо и встретим торжественно. Юния Дмитриевна едет на Безбородкинскую дачу.

Тургенев недавно уехал за границу на лето. У нас было с ним крупное объяснение по

поводу двух моих неласковых писем к нему. Но кончилось прочным, кажется, миром. Он даже предложил и усиленно просил меня взять от него письмо, в котором говорит, что план нового моего романа был пересказан мною ему года четыре тому назад, прежде нежели он задумал о своей повести, даже сознался, что сходство есть и что, вероятно, у него многое бессознательно осталось в памяти. Конечно, если я напишу роман, то такое письмо может оградить меня от подозрения.

«Обломов», по выходе всех частей, произвел такое действие, какого ни Вы, ни я не ожидали. Увлечение Ваше повторилось, но гораздо сильнее, в публике. Даже люди, мало расположенные ко мне, и те разделили впечатление. Оно огромно и единодушно. Добролюбов написал в «Современнике»<sup>4</sup> отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину. Мне приятно сказать Вам, что ничьи отзывы, ни изустные, ни печатные, не выходят из круга Вашей оценки. Все вертятся на ней или около нее. Какая потеря для меня, что Вас нет здесь. Теперь Вы могли бы дать полную волю Вашему перу, не опасаясь уко-

ризыны в пристрастии. Словом, я теперь именинник. Одно только неудобно: многие хотят познакомиться, и потом то, что с кем я ни встречусь, непременно заговорят об этом. Конечно, когда жар спадет, начнут и ругаться, особенно в Москве, хотя там же страстно приветствовали первые две части. Но там живут славянофилы, а Штольц – немец. Кстати, один из главных славянофилов, старик Аксаков, умер<sup>5</sup>.

Пишите ко мне на мою квартиру, в дом Устинова. Виктор Михайлович поселяется в ней, и я дам ему адрес, куда посылать ко мне письма. По ценсуре – важное обстоятельство<sup>2</sup> – Фрейганг вышел в отставку: его заменил Ярославцев<sup>6</sup>, секретарь.

Еду я и беру программу романа<sup>7</sup>, но надежды писать у меня мало: потому что герой труден и не обдуман и притом надо начинать. Если напишу начало, то когда будет конец? Здесь, в службе, и думать нельзя. И так приливы одолели. Пишете ли Вы? Пишите, ради бога, больше, вольнее и произведете эффект. Что Вы не прислали ничего из Сингапура или Гон-Конга? Хоть бы записочку о себе! Пишите

больше и чаще к нам. Вы не можете представить себе, сколько дружбы, симпатии, всякого единомыслия и единочувствия бережется, конечно, в тесном, но истинно любящем Вас кружке. Да и прочие, не такие близкие к Вам люди, вспоминают Вас с завидным чувством расположения. Будьте здоровы, друг, счастливы и верьте никогда и ни от чего неизменной дружбе Вашего

И. Гончарова.

Извините, что письмо беспорядочно и отрывочно: я в лихорадке хлопот и сборов.

Кланяйтесь Вашему командиру.

Великий князь Константин Николаевич возвращается на-днях из путешествия своего в Петербург. В Европе – суматоха, все ждут чего-то важного. Екатерина Павловна все спрашивает, не опасно ли ехать туда.

## Письмо Анненкову П. В., 20 мая 1859\*

З<sup>0</sup> П. В. АННЕНКОВУ

20 мая 1859. Петербург.

Пишу к Вам, любезнейший Павел Васильевич, не потому только, что обещал написать, прощаясь, а потому еще, что явилось желание сказать слова два, которое как будто заменяет отчасти удовольствие повидаться. — Осталось только два дня до моего отъезда, и я не могу сладить с лихорадкой ожидания, сборов, прощаний: все это проходит, лишь сядешь в экипаж.

Без Вас здесь ничего особенного не случилось, кроме того, что все разъехались по разным местам. Дружинин в Туле у Толстого, Некрасов и Панаев на даче, Тургенев... проводили и Тургенева<sup>1</sup>, этого милого, всеобщего изменника и баловня. Теперь, вероятно, он забыл всех здешних друзей, до Ореста включительно, и радуется тамошних, которые с появлением его, конечно, убедились, что, кроме их, у него никогда других не было в уме: в такой степени обладает он этою мягкою, маги-

ческой привлекательностью. Но Вы знаете это лучше меня, Вы, пользующиеся его в самом деле особенною симпатиею, насколько он только способен *обособиться* в этом отношении. Мы с ним<sup>2</sup> как будто немного кое о чем с живостью поспорили, потом перестали спорить, поговорили покойно и расстались, напутствовав друг друга самыми дружескими благословениями у Дюпон и у Дюсо.

Сегодня я должен был обедать в Петергофе «у Современников<sup>3</sup>», но хлопоты одолели, и я попал вечером к Писемскому на Безбородкину дачу. Он пишет драму<sup>4</sup>, один акт которой читал всем, оставшимся после Вас, между прочим и Тургеневу. Драма из крестьянского быта: мужик уезжает в Питер торговать, а жена без него принесла ему паренька – от барина. А мужик самолюбивый, с душком, объясняется с барином, шумит; жена его не любит, но боится.

Силы и природы прѣпасть: сцены между бабами, разговор мужиков – все это так живо и верно, что лучше у него из этого быта ничего не было. Конечно, местами резко и не без цинизма, но это будет, вероятно, сглажено, если

не им, то ценсурою<sup>5</sup>. А рггггг о ценсуре: теперь, надеюсь, Вы мне за ужином у Писемского не будете делать сцен<sup>6</sup>: Фрейганг вышел в отставку, вместо его назначен секретарь Комитета Ярославцев.

А вот Вам нечто свеженькое и любопытное о Некрасове<sup>7</sup>. Дюма в своих записках рассказал содержание того стихотворения Некрасова, где описана история Воронцовой-Дашковой, и, должно быть, не очень ловко выразился о французе, который был в связи с графиней, да еще, может быть, сослался на Некрасова. Я сам не читал и не знаю, но знаю только, что француз этот счел себя обиженным и *нарочно приехал сюда* требовать у Некрасова удовлетворения. Но прежде он, кажется, хочет дать тему, как написать оправдание в «Современнике» или, может быть, в другом журнале его поступка с графиней и вызвать Некрасова тогда только, когда он откажется это сделать. Не знаю, что из этого выйдет.

Получаете ли Вы журналы? Взгляните, пожалуйста, статью Добролюбова об «Обломове»: мне кажется, об обломовщине, то есть о том, что она такое, уже сказать после этого

ничего нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя замечаниями своими он меня поразило: это проникновением того, что делается в представлении художника. Да как же он, не художник, знает это? Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском. После этой статьи критику остается – чтоб не повториться – или задаться порицанием, или, оставя собственно обломовщину в стороне, говорить о женщинах. Такого сочувствия и эстетического анализа я от него не ожидал, воображая его гораздо суше. Впрочем, может быть, я пристрастен к нему, потому что статья вся – очень в мою пользу. А несмотря на это, все-таки я бы желал Вашей статьи в «Атенее» или где-нибудь, потому что Вы или у Вас есть своя тонкая манера подходить к предмету, и притом Ваши статьи не имеют форменного журнального характера. Впрочем, судя по Вашей лени, а может быть, и по другим причинам, это так и останется желанием, но желанием, спешу прибавить, бескорыстным, потому что на большое одобрение с Вашей

стороны я бы не рассчитывал, ибо Вы были самым холодным из тех слушателей, которым я читал роман. А если желаю Вашего разбора<sup>8</sup>, так только потому, что Вы скажете всегда нечто, что ускользает от другого, и, кроме того, я жадно слушаю все отзывы, какие бы они ни были, в пользу и не в пользу, потому что сам не имею еще ясного понятия о своем сочинении.

Андрей Александрович трудится над новым произведением своей музы: надстраивает четвертый этаж над своим домом.

## **Письмо Писемскому А. Ф., 28 августа/9 сентября 1859\***

**З**<sup>1</sup>

А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

28 августа / 9 сентября 1859.

Булонь.

Я только что из моря вылез, любезнейший Алексей Феофилактович, и дрожащей от холода рукой спешу отвечать на Ваше приятное послание. Давно бы я и сам написал к Вам, если б нынешнее странствие мое представляло хотя малейший интерес. Но нет ничего: в Ма-

риенбаде я прожил пять недель, потом воротился в Дрезден, наскучило там – поехал на Рейн, там нашел Майковых и оттуда отправился в место злачное и покойное, в Париж, ибо мариенбадский доктор уверил меня, что после мариенбадской воды, расслабляющей желудочные нервы, нужно укреплять их или железными водами, или морем, или, наконец, веселым житьем в большом городе, с хорошей едой, с хорошим вином: я выбрал было последнее, но схватил в Париже жестокую холерину и должен был приехать вот сюда, к морю<sup>1</sup>. Уж не знаю, против чего укрепляться мне: разве против сплетен известного нашего общего друга, да нет, ни море, ни расстояние не спасают. Читая некоторые статейки в одном издании<sup>2</sup>, направленные против *людей, звуков и форм*, и узнавши, что друг побывал в Лондоне, я сейчас понял, откуда подул ветер.

В Париже я встретил – никак не угадаете кого – Григоровича! Мне хотелось знать, что с ним случилось на корабле, и я потащил его в нашу отель обедать. Он мне рассказывал странную и подробную историю, но так рассыпался в подробностях, что я никак не мог

сделать общего вывода о том, почему он удалился оттуда: по смыслу его рассказа выходит, что он якобы был очень либерален.

О поручении писать для матросов он мне что-то рассказывал, но я забыл. Живет он там у Дюма и в настоящее время уехал тоже к морю купаться, и не один, а с какой-то девочкой; у него завелся там роман, который он сейчас же за столом и рассказал нам всем троим, в том числе и Е. П. Майковой. Потом мы хотели показать ей, как бесятся французы, и возили ее в Елисейские поля, куда он нам сопровождал. Потом я отдал ему визит, но не застал дома. Но о нем поговорим поподробнее при свидании, а теперь бог с ним! Есть нужнее кое-что сказать Вам.

Я виделся в Париже с Деляво<sup>3</sup> и беседовал с ним часа два. Он поручил мне передать Вам, что он «давно изготовил статью о Вас и отдал в редакцию „Journal des deux mondes“ [76], также не раз напоминал, что пора бы ее пустить в ход, но сам хорошенько не знает причины, почему они ее держат, а догадывается, что редакторы, встретивши там сильные и резкие описания русской администрации,

правов и проч., должно быть, не решаются печатать ее по нынешним отношениям Франции с Россией, чтобы не навлечь на себя замечания своего правительства». Вот приблизительно смысл его слов, и я передаю их сколько могу точно. «Il parait, que les rédacteurs sont gagnés ce moment-ci par le même esprit d'autorité de censure»[77], – прибавил он. Так ли это, или нет, не знаю я; слушая это, думал было сначала, нет ли и тут немножко вашего *общего друга*, однако из дальнейших слов его видел, что он понимает его как следует. Я рассказал Деляво, сколько Вы нам прочли Вашей новой драмы, и сильно задел его за живое<sup>4</sup>, равно как и рассказом «Воспитанницы» Островского. Последнюю он, как уже вышедшую в свет, хотел бы уже перевести, но у него нет «Библиотеки для чтения». Между прочим, я возбудил его жажду познакомиться покороче с Островским, благо он весь появился теперь в печати, и он весьма просил меня прислать ему экземпляр, что я и обещал сделать чрез Николая Петровича Боткина, который едет туда в конце сентября из Москвы. Но как я не знаю, застану ли я Боткина в России, ибо буду

там не прежде 20-х чисел сентября, то не возьмете ли Вы на себя труд, Алексей Феофилактович, с поклоном от меня передать просьбу Деляво прямо Островскому, который мог бы лично передать Боткину экземпляр своих комедий для доставки в Париж, и особенно если б присоединил и оттиск, с «Воспитанницы». Особенно Деляво понравилась сама мысль о *воспитанницах* и о благодеяниях Уланбековой<sup>5</sup>.

Что касается до Вашей драмы<sup>6</sup>, то не судить собираюсь ее, а наслаждаться ею; до сих пор она ведена удивительно по силе и по естественности; мне кто-то тогда же сказывал, что в конце у Вас будто бы предположено разбить голову ребенку взбешенным отцом: не переиначено ли это как-нибудь? Если же это в самом деле так, то извините мою откровенность, если скажу, что это сильное и, пожалуй, весьма быть могущее и, конечно, бывалое окончание подобного дела все-таки не может быть допущено иначе и в натуре как исключение (примите в соображение общий характер отношений наших крестьян к господам: этого не надо отнюдь выпускать из вида,

особенно в искусстве), а искусство непременно задумается и оробеет перед этим. Но опять-таки поспешу прибавить, это не будет чересчур противно и даже, может быть, примется одобрительно при последнем современном направлении литературы. Я, как старый литератор, может быть, гляжу на это очень робко, но это мое личное мнение, и я за него не стою горой. Однако я боюсь цензуры – за драму, разве Вы сделаете уступки.

Сам я сначала принялся было писать, но повредил так леченью, что у меня и в Петербурге не было такого зелено-желтого лица, как там, я и бросил в самом начале. И добро бы была коротенькая вещь, а то опять махина: да уж и пора мне бросить, не то теперь требуется, это я понимаю и умолкаю. Кланяйтесь Дружинину, скажите, что в Италию ни за что не поеду; жажду видеться с ним.

Екатерина Павловна Писемская, верно, велела кланяться мне, а Вы ни слова: поручил бы Вам поцеловать ее за меня, да нет, Вас на это не уломаешь! Здоровы ли разбойники? Что рука Павла? До свидания!

Ваш *И. Гончаров.*

## Письмо Тургеневу И. С., 3 марта 1860\*

З<sup>2</sup> И. С. ТУРГЕНЕВУ

3 марта 1860. <Петербург>

Спешу, по обещанию, возвратить Вам, Иван Сергеевич, повесть «Накануне», из которой я прочел всего страниц сорок. Дочитаю когда-нибудь после, а теперь боюсь задержать: у меня есть другое дело.

На обе эти повести, то есть «Дворянское гнездо» и «Накануне», я смотрю как-то в связи, потому, может быть, что ими начался новый период Вашей литературной деятельности. Я даже беру смелость, судя и по тем сорока страницам, которые я прочел, заключить, каким чувством руководствовались Вы, когда писали и ту и другую вещь.

Извините, если скажу, что, не читая «Накануне», я считал Вас слабее, и всего того значения не придавал Вам, какое Вы приобретаете этою повестью, по крайней мере в моих глазах и некоторых других, может быть. Мне очень весело признать в Вас смелого и колоссального... артиста. Желая, чтоб Вы продол-

жали и кончили литературную карьеру тем путем, на который недавно так блистательно вступили.

Я помню, что Вы однажды было приуныли и как будто опустили крылья, но талант, к всеобщей радости, не дал Вам покоя, и благородные стремления расшевелились.

По прежним Вашим сочинениям я и многие тоже не могли составить себе определенного понятия о роде Вашего таланта, но по этим двум повестям я разглядел и оценил окончательно Вас как писателя и как человека.

Как в человеке ценю в Вас одну благородную черту: это то радушие и снисходительное, пристальное внимание, с которым Вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок<sup>1</sup> все из того же романа<sup>2</sup>, который был Вам рассказан уже давно в программе.

Ваш искренний и усердный ценитель  
И. Гончаров.

Не забудьте как-нибудь прислать мой носовой платок: извините, что напоминаю; Вы

такой рассеянный и забывчивый.

Читать в Пассаже<sup>3</sup> решительно не буду, потому что нездоров.

## Письмо Добролюбову Н. А., <26 апреля 1860><sup>\*</sup>

З<sup>3</sup>

Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ  
<26 апреля 1860 г. Петербург>

Что делает моя *Бабушка*<sup>1</sup>, почтеннейший Николай Александрович, где она загостилась так долго? Если она уже не нужна, то не благоволите ли прислать? Я сначала хотел распорядиться так: если она понравится редакции, то оставить отрывок до осени в ее руках: я заходил к Николаю Алексеевичу<sup>2</sup>, но он болен и не принимал; теперь я хочу взять его с собой – ибо, может быть, сделаю перемены. Если бы паче чаяния я остался осень и зиму за границею, то в отрывках уже ничего поместить не придется.

Ваш *И. Гончаров*.

26 апреля.

# Письмо Никитенко Е. А. и др., 3/15 июня 1860\*

З<sup>4</sup> Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО  
Мариенбад, 3/15 июня 1860.

Вчера только, то есть на третий день, добрался я до места: хотел вчера же обегать каждый знакомый уголок, но помешала гроза и дождь, хотел воспользоваться этим временем и написать к Вам, но та же гроза помешала и в этом: среди белого дня сделалось так темно, что нельзя было видеть строк. Давно не видал я таких черных туч. Зачем Вас нет здесь, Софья Александровна? К ночи собралась и разразилась другая гроза: с гор точно катились громадные камни, и эхо раза по три повторяло каждый раскат. Вот как встретил меня вождеденный уголок!

Но оставляю его и переселяюсь мысленно в Pragerstrasse. Прежде всего благодарю вас обеих за милое, дружеское сопутничество и сообщество, за то, что вытерпели меня, что так благосклонно и кротко глядели на мою хандру и даже улыбались моему шальному

веселью. Что касается до меня, мне давно не было так покойно и хорошо, как с Вами. Вас, Екатерина Александровна, благодарю за личное участие ко мне самому (Вы выразили его сожалением о моем одиночестве и скуке), а Вас, Софья Александровна, за горячее участие – не ко мне, нет, от этого Вы отrekliсь, а к моему делу, и то не к моему, а к делу литературы. Не одну острую иглу вонзили Вы в мою дремлющую совесть вдобавок к тем иглам, которые я вонзал сам, но вонзал осторожно, почти без боли. Не будь я такой безнадежный больной, со мной благодаря Вашей дружбе могло бы совершиться благотворное превращение. Но ожесточение духа, старость, недуги... А прогос о недугах: когда я въезжал вчера сюда, меня вдруг одолел припадок совести, потому что никогда я не чувствовал себя так здоровым – и вообще вчерашнее утро принадлежит к лучшим утрам моей жизни. Я чувствовал бодрость, молодость, свежесть, был в таком необыкновенном настроении, чувствовал такой прилив производительной силы, такую страсть выразиться, какого не чувствовал с 57 года. Разумеется, это не про-

пало даром для будущего<sup>1</sup> (если только будет) романа: он весь развернулся передо мной часа на два готовый, и я увидел там много такого, чего мне и не грезилось никогда. Для меня теперь только понятно стало значение второго героя<sup>2</sup>, любовника Веры; к нему вдруг приросла целая половина, и фигура выходит живая, яркая и популярная; явилось еще тоже живое лицо; все прочие фигуры прошли передо мной в этом двухчасовом поэтическом сне, точно на смотре, все они чисто народные, со всеми чертами, красками, с плотью и кровью славянскими. Нет намеков, загадок, тумана, как в фигуре, например, Штольца, о котором не знаешь, откуда и зачем он?

Конечно, все это дело не одного лета, даже не одного года, но если сон в руку, то я могу и потерпеть, лишь бы стало меня. Это удивительное, благотворное утро! Я бросил в Франценсбаде почту, взял коляску и ехал один, при отличной погоде, ясной, жаркой и тихой, на душе было еще яснее. Что, если б почаще нисходили на душу такие утра! Зато сегодня сеет дождь, как сквозь сито, после грозы – и на сердце тоже пасмурно. Но на всякий слу-

чай я купил бумаги: посмотрю, что будет; может быть, и того... Русских же здесь мало, знакомых нет; слепой генерал здесь, но завтра уезжает, и если я сам не помешаю себе или если судьба не будет против, то сколько-нибудь и напишу. Как мне помогает чернильный прибор, если б Вы знали, Софья Александровна! Великая умница Вы, да наградит Вас небо! Обещаний давать я теперь ни за что не решусь, даже себе самому. Помните, садясь в вагон, я при Вас обещал отречься, чуть ли не на всю жизнь, от всяких колбас и других подобных яств и питий и начать новую жизнь, а не прошло полудня, как мы в Лейпциге пили уже шампанское (все Александр Васильевич<sup>3</sup>), а потом пиво (все Казимира Казимировна). Но если можно объяснить и оправдать приятностью пить что-нибудь вместе, то как объяснить, зачем я третьего дня, уже один, только и делал что пил кофе и допился до одурения, до смертельной головной боли и до решительного отвращения к жизни? А все подавали мне пагубный пример две немки, ехавшие со мной в дилижансе; зато, когда старуха попросила меня на станции «вынуть

ее из кареты» и ринулась на меня, не дождавшись ответа с значительной высоты, я вдруг струсил и отступил. Вся бывшая кругом публика и внука самой старухи предались необузданному смеху.

Скажите, Екатерина Александровна<sup>4</sup>, начали ли Вы лечиться и купаться? Если я еще чему-нибудь верю на свете, так это купанью. Делайте, что доктор велит. Молодые люди, если Вы сами не бросите луча, не дадите Leitfaden [78], чтобы проникнуть в глубину заманчивой бездны, не поможет ли Вам хрустальное перо? Молчаливость назвали Вы недостатком: позвольте согласиться с Вами. Если она остерегает от многого, то она же замедляет процесс обмена мыслей и чувств и сверх того лишает Вас самих и Ваших собеседников выгоды и прелести изустного и непосредственного сообщения ума с умом и – когда понадобится – сердца с сердцем. Мне кажется, тут просто много непривычки, и если Вы когда-нибудь переломите себя, то уже переломите навсегда, а это может случиться, лишь только Вы выйдете из омута сомнений, найдете точку опоры и ощутите почву под собой, то есть

когда уверитесь в себе, станете авторитетом, по крайней мере для себя. Неуверенность в себе такой же недостаток, как излишняя самоуверенность. Вы, кажется, из тех, у которых силы слагаются медленно и трудно, зато когда, сложатся, то уже прочно.

Буду ждать ответа и, между прочим, Вашего приговора обо мне. Не щадите меня, и, если скажете правду, я не только не запрусь, но доскажу и остальное.

Я дня три еще не подумаю приняться за работу, потому что очень дурно помещен. Я раб своих симпатий и привычек: прямо приехал туда, где останавливался три раза; все занято, кроме одной маленькой комнаты, куда меня и запрятали до понедельника, когда должны очиститься две комнаты с балконом на сады – но за сорок талеров в месяц: дорого. Доктор посылает меня в Вильдбад «для успокоения нерв»; чорт знает, что выдумал: разумеется, не поеду, а поеду прямо к морю через Дрезден.

Здесь все меня встретили, как земляка: куда ни пойду, в лавки, на гулянье, продавцы, домохозяйева, прислуга – рады до неприличия

в ожидании гульденов.

Усердно Вам кланяюсь, обнимаю «беспримернейшего шалуна»<sup>5</sup> и остаюсь в надежде на скорый ответ

усердно преданный и искренний Ваш читатель

И. Гончаров.

Повторяю адрес: Boehmen *Marienbad*. Poste restante. An dem Herrn Johann von Gontscharoff.

В которой колбасной покупаете Вы ветчину? Не изменяйте прежней: хозяйка так трогательно просила не оставлять ее.

Кажется, вчерашнее утро было только — луч единый, за которым опять настали потемки. Не казните, Софья Александровна, не лень, нет, а ожесточение и холод ко всему делают и самые цели, к которым надо стремиться, бесцветными. Не выплыть мне, а разве только *сплыть* полегче!

Вы не поймете меня, потому что ничего подобного тому, что я испытываю, Вам не придется испытать, то есть скуку

Письмо Никитенко С. А., 8/20 июня  
1860\*

З<sup>5</sup> С. А. НИКИТЕНКО

8/20 июня 1860.

Мариенбад.

Нет, много правды в Ваших словах, Софья Александровна; если припомните, я во многом, что Вы теперь так тонко развиваете, сознался добровольно и сам. Пресыщение, обломовщина, небрежение данных дарований и человеческого назначения и печальные последствия: *«угасшие силы и подавленная энергия»*. Да, сто раз да: но что же делать с этим? Сказать: *совершишася* и затем умереть.

Но ведь можно много сказать и в защиту или в оправдание этого печального состояния – *не из ребяческого тщеславия*, на которое намекает Жорж Занд, а с точки зрения зрелого анализа, для объяснения самого дела. Ведь для исполнения долга, даже для уразумения важности и достоинства человеческого назначения – нужно сообразное этому приготовление, воспитание, – среда, в которой, на-

пример, жили и воспитывались Вы. А вы представьте себе обломовское воспитание, тучу предрассудков, всеобщее растление понятий и нравов, среди которого мы выросли и воспитались и из которого как из летаргического сна только что просыпается наше общество; если б Вы могли представить себе всю грубость и грязь, которая таится в глубине наших обломовок, потом в недрах казенных и частных училищ, потом в пустоте и разврате общественной жизни, где мелкое тщеславие заменяло всякие разумные стремления, за отсутствием их, где молодой человек задумывался над вопросом, что ему делать, или, не задумываясь, пил, ел, волочился, одевался франтом, потом женился и потом направлял детей своих по тому же пути, уча служить (то есть занимать выгодные места и брать чины) и наслаждаться – в ущерб чести, нравственности и тому подобное. Если б Вы представили себе все это, говорю я, если б видели собственными глазами и не только видели, а окунулись сами в этом болоте, как я, так Вы сами бы хоть немного оправдали меня и, может быть, удивились бы, что я еще не пото-

нул совсем. Меня спасла живая, горячая натура, сила воображения, стремление к идеалу и та честность, о которой Вы так благосклонно отзываетесь.

Лень, обломовщина и эпикуреизм едва ли на третью долю помешали мне делать свое дело. Да позвольте: ведь творчество – своего рода эпикуреизм; наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения – как Вы ни оспаривайте: творчество – это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма, следовательно – лениться почти нельзя, тем более что с успехом связано торжество самолюбия, многие материальные выгоды и т. п. И я ленился, повторяю, мало, а прежде всего я долго не видел в этом своего призвания и не признавал обязанности за собой; и как в нашем обществе, при наших обстоятельствах, было признавать и стремиться к тому, что в смысле серьезной цели никогда не существовало? У нас литератор не был растением, рождающимся на общественной почве, из общественных потребностей; это было какое-то одинокое, отдельное, случайное растение, роскошь,

а отнюдь не потребность, и притом роскошь, признававшаяся долго вредной, как табак в старину. Его топтали, давили, истребляли – и он почти всегда был контрабандой. Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное. Мог ли я задаться мыслью, что это мой долг и призвание – особенно пять, шесть лет тому назад?

«А теперь?» – говорите Вы. «А угасшие силы, а подавленная энергия?» – отвечаю я. «Пустое, вздор! как не иметь силы», – вопиет Ваша молодость и сила. «Не могу, устал!» – говорят мои лета, недуги и душевная истома. «Отчего же?» – спросите Вы. «А вот, между прочим, отчего. Вы подозреваете во мне „честность и благородство“: да, смею сказать – они есть. Представьте себе теперь донкихотскую борьбу лет тридцать с жизнью, представьте при этом и идеальное, ничем несокрушимое направление, представьте непрерывное падение, обман за обманом, охлаждение за охлаждением, антиидеальные столкновения в внешней жизни и такое же отчаянное ни в чем удовлетворение в жизни внутренней... и

в этой борьбе вся жизнь. Другие называют все это романтизмом, мирятся с жизнью, как она есть – и чем же мирятся? Если б они мирились на основаниях религиозных, высоко-нравственных, если б признавали все: зло, ве-тошь, жалкие заблуждения, падения и прочее неизбежными элементами жизни – и веровали или в другой, следующий волюм[79] этого сочинения (людского бытия), или верили бы в ее непреложное улучшение – тогда бы я тотчас же согласился с ними (и соглашаюсь, когда встречаю таких, но почти не встречаю), а то они мирятся с ее маленькими, пошленькими благами – и вне сферы этих благ ничего не признают и никогда из нее не выглядывают, а кто выглянет, того называют романтиком и мечтателем. Вот что составляет и будет составлять вечную мою тоску. Если я романтик, то уже неизлечимый романтик, идеалист. Даже те из не романтиков, которые, повидимому, идут и ведут других вперед, делают это не из благородного увлечения к прекрасному, к идеалу усовершенствования, к благу, а по побуждению маленьких своих страстей, то есть в сущности они те же чиновники, так же хо-

тят чина, конечно не титулярного асессора и не звезды, а громкого имени агитатора, передового человека etc. Иногда тут вмешается и поэт, но нет и не может быть у него в таком деле строгости и честности, когда он не воспринимает из жизни и своею жизнью явления, не переносит их на творческую почву своей фантазии и души, а хватает на лету, со слов – чтоб упиться фальшивым и непрочным, но на минуту одуряющим рукоплесканием, быть идолом минуты, а там – все равно!»

Вы справедливо ссылаетесь на Бельтовых, Печориных и т. п. У них горизонт был широк, натура богата, а пищи не было, и они затерялись. У меня пища явилась поздно, и я изнемог еще прежде, пережевать – нет зубов. Впрочем, я обвиняю и себя: я принадлежу к числу тех натур, которые никогда и ни с чем не примирятся: разве идеал, то есть олицетворение его, возможно? Да если б и возможно было – то не дай бог! Теперь стремление сменяется стремлением, и человек идет дальше и, следовательно, живет; а можете ли вы представить себе человека вполне удовлетво-

ренного, остановившегося? Нет, это не в нашей натуре, это не цель природы и жизни? Следовательно, мой удел – или живое, страстное чувство, или мертвый покой, хандра. Вы не так поняли мою скуку: скука теперь смешна; надо взяться, если фантазия увяла, за топор, за пилу, и я возьмусь, то есть буду опять служить и, отказавшись от творческих забот, за старостию и болезнями, выйду в отставку из сочинителей.

А право, не шутя, я болен: не называю болезни, Вы ее знаете. Ею болен и Ваш папа и многие другие: кто от сидячей жизни, кто от тоски, от вечных волнений. Я теперь живу в двух комнатах, и ничто не мешает, а сегодня и вчера чувствовал такую тягость, что на свет божий не гляжу. Вредят ли мне железные ванны, которые я начал принимать, или утомил я себя прогулками, только я не знаю, куда деться. Перо сегодня вывалилось из рук, и надежды подвинуть роман нет. В голове вяжетя все лениво, и ничто не толкает вперед. Это чисто физическое состояние, действующее, конечно, и на моральное.

Защитив себя, сколько мог, я, однакож, ис-

полную обещание, то есть доскажу и все, чего не сказали Вы, не в мою пользу. По страстной натуре своей, я искал наслаждений, хотя сознавал, что они не цель жизни (следовательно, вдвойне виноват); но я уже сказал, что уродливо воспитан, где *fatuité*[80], мелочное тщеславие, хвастовство, деспотизм общественный, семейный, всякий (и все это в грубой форме) – являлись во всей наготе, а когда пришло сознание и я взглянул в зеркало на себя, я мог только закрыть глаза от ужаса и онеметь, и это онемение – теперь мое нормальное состояние и моя кара. Воротить прошлого нельзя, исправить некогда, итти вперед – нет сил: все увяло. Все, что я мог сделать – это изобразить обломовщину – и эту заслугу я оказал.

Не браните же меня: Вы видите, мне делать больше нечего. Одно еще могу: *итти в монахи*.

Но довольно: до следующего раза. В письме своем Вы выразили нечто вроде раскаяния, что «были со мной более откровенны, высказались больше, чем нужно было, и наказаны». Это не очень лестно: но бог с Вами! В

Вас так много благородного, прекрасного, что мне как *падшему духу, духу отрицанья и сомненья* приходится испытывать почти новое, бескорыстное чувство *умиления* (вспомните Пушкина стихотворение)<sup>1</sup>, какое испытал демон, увидя в *вратах Эдема нежного ангела*. А сколько раз умилялся я корыстно и перед кем, перед чем? Боже мой! О поэзия, о воображение, о идеал: куда они заводили меня? – Итак, я не сетую на Ваше раскаяние в откровенности, тем более – что прав за собой никаких на нее не признаю, а вопрос мой...[81]

Глубоко преданный Вам

И. Гончаров.

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 14/26  
июня 1860\***

**З<sup>6</sup>** Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО

14/26 июня 1860.

Мариенбад.

Mesdames![82] Крепко целую ваши руки за милые и скорые ответы на мои беспорядочные письма. Я тоже получаю их только от вас, и дружеская речь, от которой я почти совсем отвык, производит на меня свое обаятельное действие. Я поддаюсь ему тихо, кротко и совершенно беспечно, потому что не грозят мне эти строки никакими затаенными (*argièrepensée*)[83] мыслями, никакими мудреными соображениями, опасениями, сомнениями, всем тем, чего так остерегаешься, боишься, оглядываешься, после опыта или многих опытов, на каждом шагу, в каждой встрече. Словом, я чувствую себя совершенно в своей тарелке, когда бываю с вами и когда пишу к вам или получаю письма. От этого, лишь только получу, сейчас же берусь за перо и буквально наслаждаюсь этой беседою. Благо-

дарю вас за советы меньше ходить. Слабость моя прошла: это было двухдневное расстройство, не то от ванн, не то от большой и утомительной прогулки на гору. Мне вредно ходить по горам: у меня делается одышка и изнеможение. Теперь другой вред угрожает мне: я много... пишу. Но об этом после. Мне очень весело, что вы помните обо мне в прогулках и собираетесь повести меня в поле. Я сам жду, как праздника, когда надо будет возвратиться в Дрезден.

Что это вы так обе напали на стихи в «Искре»<sup>1</sup>? Или вы побранили их так, из дружеского приличия, потому что они направлены против меня? Они очень забавны, и я, посылая их, думал, что вы рассмеетесь вместе со мною. отошлите их, пожалуйста, в Киссинген: пусть ваши посмеются! Ведь это везде такой обычай посмеяться над всем, что сделалось гласно, а наша история с Тургеневым огласилась, следовательно подлежит публичному суду и смеху. У нас нет еще привычки к гласности, от этого подобные истории нас пугают или сердят. Наша история смешна, она перешла в публику, и смех должен быть об-

щий.

Вы, Софья Александровна, слишком живо, глубоко и серьезно принимаете к сердцу всякое, иногда неумышленное слово, суждение, это переходит в Ваш ум, падает на сердце и поступает в жизнь. Как бы и кому бы Вы ни доверяли, но я умоляю Вас подвергать все, исходящее из чужого ума и опыта, строжайшей собственной ценсуре, не торопясь, не огорчаясь, ни от чего не отказываясь и ни во что слепо не вдаваясь. Я заметил в Вас, кроме ума, наблюдательности, задатки характера и, как казалось мне, глубокой рассудительности. Ей-то я приписывал источник Вашей скрытности и недоверчивость. Оно бы хорошо, но не надо простираť ее до излишества, а иногда смело идти и на ошибки (конечно, по возможности легкие): ими купишь что-нибудь, во всяком случае больше, нежели всегдашнею и стеснительною осторожностью и скрытностью; последняя с годами может обратиться в систему и у одних образовать хитро искривленный путь (за которым исчезнет прямой), у других одичалость и нелюдность.

Напрасно Вы приняли на свой счет мой

афоризм, что иногда долг состоит в том, чтоб отказаться от того, «что нам улыбается, и быть полезною исполнением иногда строгих, скучных, но полезных обязанностей»: я разумел себя, говоря это, хотя не отрицаю, что это правило может (не всегда, однакоже) быть принято, как правило общее. На это мне могут справедливо возразить, что, только при несовершенстве нашего общественного устройства и воспитания мы становимся в положение заниматься нелюбимым и скучным делом, что прогресс воспитания должен именно состоять, между прочим, и в том, чтоб следить и распознавать способности ребенка и готовить его к тому, к чему он склонен, а кто к чему склонен, тот в том труде найдет и счастье. А всякое дело, как бы оно *ни улыбалось*, будет иметь, как труд, свою долю скуки, потому что потребует терпения, одоления и борьбы. Говоря этот афоризм, я вспомнил Гоголя: как он, с христианской точки зрения, отказался от дальнейшей славы, познал в своей поэтической деятельности мирскую суету и умер. Иногда я верю ему, а иногда думаю, что он не умел смириться в своих за-

мыслах, захотел, как Александр Македонский, покорить луну, то есть неудовольствовался одною, выпавшею ему на долю ролью – разрушителя старого, гнилого здания, захотел быть творцом, создателем нового, но не сладил, не одолел, увидал, что создать не может, не знает, что надо создать, что это дело других, – и умер! Следовательно, Вы видите, что это дело спорное. Я применял этот афоризм к себе, то есть что не есть ли писанье романов и вообще изящное творчество – роскошь, а не долг? что не лучше ли выбрать что-нибудь посуровее: например, служить? Это я говорил потому, что Вы очень строго указывали мне на это, как на непрременную обязанность. Может быть, оно и так.

Что касается до Вас, то если я иногда и брал на себя смелость про себя судить Вас, то судил только за то, что Вы несколько мечтательны, хотя благородно и умно, деятельно мечтательны, что Вы уклоняетесь от первого, естественного и прекрасного назначения, что Вы – недовольно женщина, то есть пренебрегаете Вашим полом и теми дарами, теми радостями и скорбями, которое оно приносит, а

уклоняться от этого Вы не вправе. Мне кажется как-то противоестественным, когда девушка отталкивает от себя надежды и обязанности жены и матери семейства, тем более что они решительно не мешают и другому призванию, даже дают ему больше жизни, отнимают...[84]

## **Письмо Никитенко Е. А. и др., 23 июня/4 июля 1860\***

**З<sup>7</sup>** Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО

Мариенбад, 23 июня / 4 июля 1860.

Благодарю вас, Mesdames, за ваши добрые и милые письма. Отвечаю немедленно, потому что приятно писать к вам и потому еще, что заботливость (при всей моей наружной беззаботности) – черта моего характера. Давайте философствовать.

Вы очень строги, Софья Александровна, то есть взгляд Ваш на жизнь, на обязанности, на себя и на других – строг до суровости, почти аскетической, пуританской. Можно, пожалуй, согласиться с Вами, что главная тема жизни – не наслаждение, но, однако, нельзя и даже не

должно, выкидывать из нее наслаждений, очевидною целию которых было смягчить нам суровость долга, соблазнить нас жизнью и заставить желать жить. А Вы так равнодушно отталкиваете их, или если сулите себе радости, то радости – почти нечеловеческие, Вы вся – религия, но какая религия, чему поклоняетесь – я не знаю. Богу ли живому: но в той религии – не одно созерцание, там есть страстность чувства, а как скоро есть страстность, есть и борьба с искушениями; нет, у Вас идеал – долг, и Вы поклоняетесь долгу. Хорошо, но уверены ли Вы, что угадали *Ваш* долг? У Вас пока еще обнаруживаются благие стремления, и когда придет время прилагать их к делу, не явится ли Вам долг в лице мужа, детей, в виде семьи, где, может быть, понадобится и то самоотвержение, которое Вы кладете в основание долга, и если оно явится так, как я говорю, то ведь понадобится и Ваш ум, и знания, и женственность, и мужественность, и *подавание помощи*, и *отираание слез*, и *поддержание несчастных*, – словом, те доспехи, в которые Вы облакаете долг; но понадобятся также и чувство, сердце, радости, Ваше сча-

стве, чтоб дать счастье другим, ибо, как я сказал выше, суровость долга смягчена, разбавлена наслаждениями – и если неразумно поставить целью жизни последние, то так же неразумно и неестественно нести только тягость долга и уклоняться от приятной его стороны – и для чего, если можно это умно и по-человечески согласить и примирить так, чтоб ни то, ни другое не перевешивало. В этом, кажется, и вся задача человека – и если Вы справедливо (в чем и сознаюсь) упрекаете меня за частые уклонения на животную половину, то я не менее справедливо упрекну Вас в уклонении на противоположную сторону – и мы будем квиты. Сознайтесь, что это так. Конечно, наслаждение ведет к материализму, заставляет человека забывать, что он нечто выше животного, но ведь и аскетическое направление тоже мешает ему быть человеком, а другим ничем на сей земле он быть не может и не должен. Вы хотите «поддерживать несчастных, отирать слезы, помогать, быть полезной» и проч. – да ведь это надо все делать любя, а не с высоты какой-то евангельской гордости (там нужно смирение), а чуть захотите

смириться, сейчас же упадете с облаков и делаетесь человеком или человецицей, то есть будете любить и любя наслаждаться, любя творить доброе, и, творя доброе, все-таки будете наслаждаться. Если Вы мне на это скажете: «Я непрочь и от этих обязанностей, я готова взять их на себя, но не всегда все от меня зависит, не могу я располагать обстоятельствами» и т. д., тогда я вдруг замолчу, ибо Вы будете правы и я не буду знать, что сказать на это.

Если же Вы возразите, что Вы не исключаете из долга любви и что будете исполнять его *любя*, но любя вот эдак или так, а не так... Всячески *любя*, отвечу я: и так и эдак – любовь ведь первый долг – Вы знаете это, тут и любовь матери, сына, мужа, жены и просто вообще любовь к ближнему. Но пока довольно.

Благодарю Вас за внимание и приветствия к моей работе: но вот она и кончилась, я застыл на шестнадцатом листе. Вы опять за упреки в лени, в хорошем аппетите и прочих несуществующих препятствиях. Нет, я не ленился, сидел по 6 часов, писал до дурноты

третьего дня, а потом вдруг будто оборвалось, и вместо охоты явилось уныние, тяжесть, хандра, – словом, та болезнь, которую не называю и которая не давала мне покоя в Петербурге и от которой, может быть, нужны не мариенбадские, а другие воды. Напрасно я в Дрездене не посоветовался с Вальтером<sup>1</sup>. Впрочем, и то сказать, как ни советуйся, а наступления старости и ее признаков и недугов – не отворишь. Бог знает, что делается со мной: в иные дни встаешь бодро, весело, свежо, трепещешь от удовольствия, принимаясь за работу, видишь впереди отличную перспективу, и эти дни плодотворны, много делаешь, придумываешь. В другое время, вот как дня три – тяжесть, скука, уныние и отвращение к труду, к людям, к себе самому и более всего к жизни! И погода (может быть, это все от нее) совершенно располагает к хандре: холодно, дождливо – и везде, говорят, то же самое.

Потом вторая, но чуть ли не главная причина: *я не знаю, что писать, я не умею писать*, я не знаю, о чем хочу писать. Кто такой герой, что он такое, как его выразить – я стал в ту-

пик. Вчера я попал на след новой, смелой мысли или способа, как провести героя через весь роман, но для этого надо бросить все написанное и начать снова: пожалуй, я бы непрочь, как это ни тяжело, ну, а если эта новая выдумка – нелепость, вздор? Не трудно рисовать, по крайней мере для меня: начни чертить, и выходит рисунок, сцена, фигура, это и весело; но проводить смысл, выяснять цель создания, *необходимость*, по которой должно держаться все создание, это и скучно и невыразимо трудно. Вон Тургенев страдает тем, что ему не из чего создавать, а если заведется у него материалец, даже черпнет его откуда-нибудь – он уже не затрудняется строить. А я наоборот: страдаю от богатства материала и от неумения распорядиться им. – Вы, Софья Александровна, не преминули, с обычной против меня ядовитостью, упрекнуть заботливостью о здоровье: «надо-де принести его в жертву роману», ибо «так много делали для тела (пиво, шампанское etc.), надо же пожертвовать им для духа». А выходит, что нельзя: раза два я работал часов по шести и на другой день не мог приняться за перо, как

ни старался, хотел принудить себя и насидел головную боль, уничтожил действие вод, а то, что в это время написал, надо было бросить. Видите!

Нет, видно надо мне исполнить неизбежный *долг*: отказаться от бесполезных попыток и взяться за другое, более практическое и существенное творчество, за работу не поэтическую, но более нужную и мне и себе. Я помню, что я годился и на другое и работами моими не пренебрегали. Смирюсь и сознаюсь, что судьба справедливо поступила, наказав меня лишением энергии и сил за долговременную праздность и излишние стремления к наслаждениям. Вы правы, надо было посвятить себя всего тому, к чему был призван, а не дилетантствовать, а если прозевал, да еще притом другой перебил дорогу, то – сам виноват.

Поэтому с нетерпением жду конца лечения: еще недели две с половиной, и я надеюсь увидеться с Вами и погулять по дрезденским окрестностям вообще, а по тому полю, куда Вы хотели вести меня, Екатерина Александровна, – в особенности. Так как переписывать Вам нечего, то, вероятно, у нас не будет

недостатка в досуге. Теперь уж меня ничто не интересует, и потому поездка во Францию, в Булонь, представляется в виде скучного подвига, необходимости. Как бы охотно уступил я эту поездку Вам, Екатерина Александровна: она бы помогла Вам, я уверен, и Вы бы воспользовались ею не даром и не втуне, как я. Мне теперь, после этого последнего и неудачного опыта, заняться, беречь себя и заботиться о здоровье – не для чего.

Вчера я писал к Александру Васильевичу в ответ на его веселое письмо и вчера же отвечал Екатерине Павловне Майковой на ее дружеское, милое, возбуждающее к труду письмо. Она пишет, что «молится о моем спокойствии, предвидит победу, которую я одержу» – и бог знает, какие сны видит ее дружба обо мне. Я было подтвердил ей, а теперь надо все взять назад.

Русские то и дело наезжают сюда, но я почти ни с кем не вижусь. Приехал прошлогодний беспутный князь Голицын, какие-то Хилковы и много, много других.

Если Вам, Екатерина Александровна, не наскучило, а Вам, Софья Александровна, не

опротивело, то не лишайте меня удовольствия читать ваши письма и отвечать на них. К вам пишется легко, скоро и свободно. Мне теперь же больше нечего делать, как писать письма. И лечиться-то нет охоты. Зачем это иногда рождается человек, мучается и мучает других – понять нельзя! Да еще на нем взыскивается, что жить не умеет! А кто просил жизни?

Однако, Екатерина Александровна, берегите себя, купайтесь; слабость от вод пройдет – и Вы укрепитесь потом. А Вы, Софья Александровна, когда выходите гулять, поглядывайте иногда на небо, потому что иногда оттуда идет дождь, по временам даже с громом и молниєю и промачивает насквозь платье, добирается до плеч, ног, отчего люди простуживаются. Но как нет худа без добра, то, конечно, если в это время случится у Вас в руках роза или другой цветок, то ему такое орошение может быть полезно, а Вам, равно и книге, если б таковая случилась у Вас в руках, вовсе нет.

А кстати о розах: сколько цветов здесь, и как жаль, что Вас нет здесь и розы украшают

не Ваш, а мой стол! – Завтра, в мои именины, буду думать, что Вы у меня обедаете, и так как Вы, Екатерина Александровна, любите шампанское, то велю подать и шампанского, а Вам, Софья Александровна, поставлю вишен и земляники и украсу стол букетом белых роз.

Я жадно прочел Jane Eyre<sup>2</sup>: взгляните-ка, Софья Александровна, как там разъясняется, в чем долг состоит. Как ни подзывал пастор Джанну в Африку, как ни убеждал, что она создана для этой жертвы, однако она нашла, что долг ее – *любя* – остаться у Рочестера, слепого, больного. Прощайте. Искренно преданный

И. Гончаров.

Представьте положение человека, которому не велят сидеть, или – не только ничего не сделаешь, но насидишь еще серьезную болезнь!

**Письмо Никитенко С. А., 28 июня/10  
июля 1860\***

**З<sup>8</sup>** С. А. НИКИТЕНКО  
28 июня / 10 июля 1860.

Мариенбад.

Вы, Софья Александровна, с свойственной Вам кротостью, стараетесь унять сумасшедшие порывы, которые ворвались в два мои письма и наполнили их темнотой, бессмыслицей, желчью и тоской: что́ было во мне в те минуты, то и вылилось. Вот он, Райский, вот живой тут. А на другой, на третий день ничего не было: *сто тысяч чертей* вдруг завыли, заметались, но тихий ангел пролетел, и все умолкло и опять я – *сонный, вялый, с тусклым взглядом* (Вы не можете себе представить, как это удачно!) – и опять ничего. Представьте теперь мое затруднение уловить все эти свойства, выразить в образе художника<sup>1</sup>, сделать живым лицом, которому бы верили, существование которого согласились бы признать. Я пишу много и пишу вздор, тороплюсь, чтоб мне скорее написать, кончить бас-

ни, пишу – не творю, а сочиняю, и оттого выходит дурно, бледно, слабо, потому что хорошего нельзя выдумать и сочинять: оно приходит как-то нечаянно, само, и этого нечаянного, то есть поэзии, нет как нет. Написано уже много, а роман собственно почти не начался; я все вожусь с второстепенными лицами, чувствую, что начал скверно, не так, что надо бы сызнова начать, и писать не торопясь, обдумать основательно весь план, как он теперь мне представляется, и потом продумывать каждую главу. А я пишу зря, что на ум взбредет, и оттого выходит вздор, путаница, повторения. Нет, это не труд художника, а маранье какого-то борзописца, будто по заказу. А Вы сулите мне торжество к осени: бог знает, когда это будет, и будет ли! Пишу, чтоб успокоить свою совесть, думаю, что, когда намараю все вчерне, так, может быть, можно будет кое-как отделать, возвратиться опять к началу, переделать его и провести героя. Утешаюсь этим, но в то же время сознаю и нелепость такой затеи. Нет, если б план был обдуман, ясен, тогда бы роман шел правильно, слитно и стройно; потом легко бы было и отделы-

вать. Но что об этом: пропащее дело! И не такие мыльные пузыри лопаются, как я!

Вы правы, я часто возвращаюсь к своему *bête noire*[85], к Тургеневу. Это нехорошо, но что же мне делать: пока не выживет во мне какое-нибудь чувство свой срок и свой период, я киплю желчью, я непримирим, зато когда оно отыграет свою роль, тогда и следа ему нет. Это и с враждебными и с приятными чувствами – одна история. Опять черты Райского! Нет, Софья Александровна, не *зернышко* взял он у меня<sup>2</sup>, а взял лучшие места, перлы и сыграл на своей лире; если б он взял содержание, тогда бы ничего, а он взял подробности, искры поэзии, например, восходы новой жизни на развалинах старой, историю предков, местность сада, черты моей старушки – нельзя не кипеть. Да еще вдобавок устроил комедию, зрелище, дуэль, зная, что доказать нельзя, созвал свидетелей – все это возмущает мою душу, нагоняет глубокую хандру и прибавляет холоду к жизни, к людям – и не хочется их видеть, знать, слышать, не хочется впутываться в дела; паралич нравственный мешает жить и делать. Вот отчего это так бе-

сит меня иногда, хотя сознаюсь, что надо бы все это сделать иначе, то есть не доверять бархатной мягкости, в которую иногда одевается пустота, хлестаковщина, наружная, умиленная простота, добродушие и скрытое, систематическое плутовство. Больше никогда и ничего не стану говорить об этом. Здесь доктор мой познакомил меня с княгиней Хилковой и ее двумя дочерями. Младшая – умная и бойкая девушка, бредит Тургеневым, на третьем слове – он; она с ним в переписке. Меня она не читала, потому, говорит, что не может слышать имени Обломова. Тут много навеянного... Они спросили, нет ли чего нового, я сказал им о Беловодовой<sup>3</sup>, и хотелось мне посмотреть, как действует на них ссора за предков: они остались на стороне Софьи, и я теперь воюю с ними. Другая девица (дочь, кажется, начальницы Павловского института) читала, напротив, четыре раза Обломова и – по словам княжен, боится меня!!

Здоровью своему я, конечно, врежу тем, что много пишу, но я умею иногда и не щадить себя. Теперь Вы, надеюсь, убедились, что я не ленив, толщина моя уходит в тетрадь, но,

как выше сказано, бестолку. В субботу я хочу кончить свое лечение и в воскресенье или понедельник выехать в Дрезден, следовательно написать Вы мне едва ли успеете. Может быть, я и останусь, но это не наверное. Если останусь, то на неделю какую-нибудь. – Благодарю Екатерину Александровну за письмо, но она говорит, что занята приездом какой-то приятельницы – а потому не пишу ответа. Вспомните мою покорнейшую просьбу не показывать никому моих писем: они такие безобразные.

Кланяюсь Вам усердно и в надежде Вас видеть остаюсь Вам искренно преданный

И. Гончаров.

Десять часов ночи: пора спать. Погода здесь поправляется, впрочем сегодня – trübe [86].

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 6/18  
августа, 1860\***

**З<sup>9</sup>** Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО

6/18 августа, 1860.

Boulogne-sur-mer.

Mesdames! Полно вам все бранить меня! И Вы, кроткая Екатерина Александровна, тоже упрекаете за лень, хотя Вы браните и за дело – отчасти, но будьте же и снисходительны ко мне, старику! Помните, что я не молод, что есть у меня и недуги: еще не решено, ленюсь ли я из любви к лени, или, напротив, неправильное обращение крови, приливы ее, наконец лимфатическое, тучное, завещанное мне родителями сложение производят лень? А скука? И ее происхождение не кроется ли в обстоятельствах всей жизни? Да мало ли что можно сказать в свою защиту и в защиту неписания романа? А роман не пишется. Я набросал было маленькую главу о Марфеньке и даже был доволен ею, а потом увидел, что это вздор, что к Маркушке и приступить не умею, не знаю, что из него должно выйти<sup>1</sup>, да и са-

мого героя не поймал нисколько за хвост, что, наконец, все это требует зрелой обдуманности и неторопливости. От этого я и не сержусь на свое бездействие в надежде на лучшую отделку впереди. Но не скрою, что иногда меня берет и отчаяние, что я не справлюсь с героем, что я взял на себя непреодолимую задачу, и мне хочется бросить все и отстать. Вот дня три, как я ничего не пишу, садился всякий раз с утра и ничего не выходило. Вы справедливо упрекаете меня за привередничанье, хотя оно очень естественно. Ваше расположение духа, большая или меньшая ясность головы зависят иногда от мелочей: например, понятно, отчего я охотно пишу в Мариенбаде: там вода волнует, там диета, там совершенное уединение, тень и взгляд из окошка тонет в зелени; там я как дома и располагаю свои тетради на месяц и более. А в Дрездене, согласитесь, живешь летом в душной улице, в трактире, при стуке и треске: можно ли думать о поэзии? Здесь ей раздолье: но опять-таки в трактире, где ежеминутное *va et vient*[87] долетает до Вашего слуха, вместе с ревом океана – что же мудреного, что я замечтал о каком-нибудь за-

тишье, о месте злачном и покойном, где ни стона морского, ни печалей житейских! Это бы все ничего, все можно преодолеть: есть препятствия важнее и неодолимее: это то равнодушие ко всему и ко всем на свете, которое дают лета, и лета не молодые, как мои (летá – c'est moi[88]), а еще более лет – это анализ, разъедающий все, как уксус. Признаюсь, когда я загляну себе в душу, то не умею представить себе, как я буду жить еще дальше. От этого мне подчас, по крайней мере мысленно, бывает все равно, успею ли я, или нет, выйдет ли что-нибудь из моего труда, или ничего не выйдет; есть у меня упорство в характере, вот я и хочу окончить, для очищения как будто совести. С *летами* и с *опытом* мне даже стало все равно, что у меня нет друзей, нет симпатий, что никто не любит меня. Вот теперь и побраните меня, если поворотится язык! За что? Что я равнодушен, апатичен, «с тусклым взглядом»? Да разве я хотел и хочу этого, разве я нарочно? А зато, дескать, что жил не так, что эта апатия есть следствие беспорядочной, глупой жизни и т. д. Ну, пусть бранят за прошлое – только к чему это поведет? полезно

ли?

Довольно. Больше не будет Вам труда переписывать мои листы. В Париж, да, в Париж спешу: ah Paris! Comme on s'amuse là-bas! Comme on y mange bien![89] Пишите Вашим, чтобы торопились сюда, несмотря на погоду! Вода в море тепла, и от морских купаний не простуживаются, примеров не бывает! Я бы с папашей Вашим сам ходил в море и помогал бы бороться с валами!

Я встретил здесь Я. К. Грота<sup>2</sup>: знаете ли Вы его? Это очень добрый, честный, неглупый, но совершенно мертвый человек и вместе профессор словесности в лицее и бывший чем-то при наследнике. Я переехал из великолепной гостиницы в english boarding house [90] или chambres garnies[91], где за 45 франков в неделю получаю комнату, два чая и два обеда в день (один в час, а другой в 6 часов). С этим Гротом мы гуляем вместе, купаемся, обедаем – разумеется, молча. Только сегодня он ворчал, идучи купаться, что холодно, а выкупавшись, нашел, что вода тепла. Он во всем и со всем соглашается: куда ни позовешь, что ни скажешь, со всем согласен; даже сегодня,

по моему приглашению, поел устриц, которых не ест. Погода здесь дождлива, но мягкая и для купанья превосходная. Было здесь два жарких дня, море было совершенно тихо и купанье ничтожно, почти бесполезно.

Если Ваши собираются сюда, то я прожил бы с ними несколько дней лишних, но пора; позже будет холодно. Напишите им мой адрес, чтоб они могли тотчас найти меня по приезде: rue tant-perd-tant-paie[92] (не подумайте, что я шучу), № 59, boarding house – номер комнаты 6. Пусть даже едут прямо сюда: дешевле и удобнее квартиры не найдут.

Если они не будут, я пробуду еще здесь десять дней, чтоб вышло 20 ванн: это полный курс. На это письмо Вы можете отвечать сюда, если Ваши поедут в Булонь, а если нет, то напишите в Париж. Там я пробуду не более четырех или пяти дней – в Париж: Paris, rue de Richelieu, 22, A madam Maugée pour remettre à M-r Gontcharov[93]. Эта Можэ знает меня, я у ней часто бываю, заказываю белье, а может быть, и остановлюсь в том же доме: там есть маленький отель. На почту итти далеко.

Прощайте, ревет буря, и дождь хлещет. Что

шалунище?

Ваш *И. Гончаров*.

**Письмо Майкову В. Н. и др., 9/21  
августа <1860>\***

**4<sup>0</sup>** В. Н. и Е. П. МАЙКОВЫМ  
Булонь, 9/21 августа <1860>

Сейчас только получил ваше письмо, милые Старик и Старушка<sup>1</sup>, и сию же минуту сажусь отвечать, ибо мне приятно побеседовать с вами. Знаю, что Вы, маленький ангел-чертенок, постоянны в любви – «и в дружбе», говорите Вы: казалось бы, так, а иногда на Вас находит каприз разочарования, и Вы внезапно разлюбливаете человека, если он чуть-чуть, на волос, не достанет головой или ногами до Вашего прокрустова ложа, то есть не отвечает идеалу, какой Вы о нем творите. Сколько раз Вы разлюбили и опять полюбили Льховского во время его отсутствия! Утешаюсь только тем, что при личном появлении его (и моем, надеюсь, тоже) *Vous redeviendrez ce que Vous êtes*[94], то есть любезность, доброта и дружеское кокетство возьмут опять свое.

В Вашем молчании я подозревал гнев: «Вот-де не пишет ничего в „Подснежник“, а еще друг! Накажем же его, замолчим, забудем!» Но ведь Вы знаете, я человек подозрительный – таков уродился. В «Подснежник» я точно, что не пишу, хотя в то же время пламенно желал бы наполнить его весь своими сочинениями. Но я пробовал, принимался два раза – и, представьте, что это оказалось морально невозможным. Письма о Дрездене, Берлине etc. оказались мечтой: Берлин и Дрезден не занимают, не шевелят меня, и, как я ни старался сказать о них что-нибудь, выходит пошлость и общие места. Это, конечно, происходит отчасти и оттого, что воображение, от лет, не играет попрежнему над всякой мелочью и в пере нет резвости, остроты и силы. А пустить вялые, сонные строки под своим именем совестно. Это одна причина. Вторая, и главная: как скоро садишься писать с мыслию, что это для детей, не пишется да и только. Надо забыть это обстоятельство, а как его забудешь? Можно писать для них ненарочно, не думая о том. Например, Тургенев, не стараясь и не подозревая ничего, написал

свой «Бежин луг» и некоторые другие вещи – для детей; я тоже нечаянно написал книгу для юношества – «Палладу»; Григорович весь (за исключением какого-нибудь Накатова) детский писатель, и тоже ненарочно. Дети не любят, чтоб их считали детьми, и это весьма справедливая мысль, что для детей литература уже готова и что ее надо выбирать из взрослой литературы. Вы мне, Старушка, возразили однажды, что вот-де будто Диккенс и Теккерея пишут для детей: так ли это? и что они пишут? их имена есть там, в детских музеях: да ведь и наши имена есть в «Подснежнике». Не выбор ли это? А наконец, если и правда, и они точно что-нибудь написали, то что же это доказывает? Они гении, они вон по два романа в год пишут, следовательно им, может быть, легко написать статейку или две в год. А вот другие большие писатели: Гете, Шиллер, Жан-Поль<sup>3</sup>, Ламартин<sup>2</sup> – и многие, многие, а наши: Пушкин, Лермонтов, Гоголь etc. – писали ли для детей? Нет, не слышать. Словом, это – если не невозможно, то очень трудно, и я полагаю, что писать для детей собственно нельзя, а можно помещать в журнал

детский что-нибудь уже готовое, что написано и лежит в портфеле, путешествие, рассказ, история – все, что годится и для взрослых и что не имеет в себе ничего, что бы только могло повредить детскому уму и воображению.

Все это пишу и прописываю на случай, если б Вы в самом деле на меня сердились за неписание в «Подснежник». Не думайте, что б я хотел доказывать, что писать и работать для детей – вздор и что «Подснежник» издавать не нужно: напротив. Есть люди, хорошо умеющие приспособиться к юному возрасту, к вкусу, потребностям, склонностям детей и юношей, есть созданные для этого умы и перья. Притом я говорю про одну изящную часть, а остается еще практическая часть, науки, художества – словом, это почва богатая, на которой поэзия занимает небольшой участок. Притом, наконец, я не только не отчаиваюсь, но даже не сомневаюсь, что со временем явлюсь там с чем-нибудь.

Меня в Дрездене спрашивала одна из девиц Никитенко<sup>4</sup>, не хотите ли Вы, Старик, перевода из какой-то превосходной английской

книги, для юношей рассказ: я сказал, что спрошу об этом Вас. Довольны?

Сам я иногда пописывал, но все это, вместе с написанным прежде, представляет такой хаос, что если и удастся кончить кое-как в нынешнем году, то года два надо обрабатывать. Герой решительно не выходит<sup>5</sup> или выходит что-то дико, необразно, неполно. Кажется, я взял на себя невозможную задачу: изобразить внутренность, потрохи, кулисы художника и искусства. Есть сцены, есть фигуры, но в целом ничего нет.

Здесь что-то не пишется: непременно нужно уединение, а Булонь, Вы знаете, милый город: увяжешься за толпой англичан и англичанок *sur la jetée*[95] или зафланируешься в городе; то Наполеон именинник, в саду общественные игры, иллюминация, то начались *régates* (речные и морские гонки), то море пойдешь смотреть, как оно подошло к самым домам (*haute marée*)[96] – и время уходит. Я приехал прямо в наше прежнее жилище, но милой Джорджаны нет, она уехала в Англию; меня встретила ее *belle-soeur*[97] с длинными *repentir*[98] и предложила ту комнату, кото-

рую Вы прежде занимали вверху. Но я отказался и поселился в огромной отели du grand pavillon (помните, крайняя к выезду); за комнату брали с меня 5 фр. в сутки – да 4 за обед. Это бы ничего, но прачка перемешала у меня платки: мои отличные, новые батистовые взяла, а мне дала дырявые. И это бы ничего, но я встретил Я. К. Грота, который живет очень дешево в английском *chambres garnies* [99] при начале улицы l'Escu. Я там и поселился и взял уже 13 ванн; мне остается еще 8. Но если приедет сюда из Швейцарии Никитенко с женой, то я проживу еще с неделю. Мне все равно, здесь ли, в Париже, или Дрездене. Paris! ah Paris! ce haut, magnifique Paris! Cette belle France! Paris! Comme on y s'amuse, comme on y mange bien! ah, fichtre – que c'est gentil! [100]

Море освежает и, вероятно, укрепляет меня: жидовка в начале моего приезда сказала, что я стал гадкий, *vilain*, а теперь говорит, что я поправляюсь. Уже более недели, как я купил у ней 6 пар *riche à l'anglaise*, для Вас, Старушка; я помню, что обещал Вам еще в Петербурге. Полотенец привезти не заказывайте:

нет возможности сунуть; столько набралось всякой всячины. Я даже, против обыкновения, не заказываю рубашек этот раз. Но Вам куплены две маленькие миленькие вазочки в Богемии, которые я вверил попечению милых барышень Никитенко. Больше никому и ничего не везу – да не прогневаются! Нынче я как-то глупо распорядился деньгами: взял столько же, а уж их почти нет.

Сигар я таких нашел здесь у гарсона в hôtel Ravillon, каких едва ли когда куривал; чистейшие гаванские, Старик! Поздравляю и Вас с прошедшими именинами.

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 16/28  
августа <1860>\***

**4<sup>1</sup>** Е. А. и С. А. НИКИТЕНКО  
Булонь, 16/28 августа <1860>.

Вторник.

Сию минуту мы, целой колонией, то есть ваши родители, Грот и я, ходили гулять и зашли на почту, где и нашли ваши письма, то есть к ним и ко мне. Письмо Ваше, Софья Александровна, навело меня и на серьезные мысли и рассмешило. Рассмешило теми противоречиями, которые Вы так мастерски извлекли, сгруппировали и так беспощадно поставили передо мной, как в зеркале. Эта часть письма Вашего (две первые страницы) так увлекательны, что я взял смелость прочесть несколько строк Александру Васильевичу, и это сделало на него чрезвычайно приятное впечатление. Здесь кстати замечу, что из нескольких его слов, сказанных при этом случае, я увидал, что Вы, несмотря на Вашу скрытность, не скрылись от его зоркости: он Вас понимает более, нежели Вы думаете. Ока-

зывается, что он верит в Ваши способности и силы ума и характера и что как будто ожидает, по Вашей натуре, что Ваше назначение будет соответствовать Вашим дарованиям и что Вы его исполните. Нельзя жать, не дождав-шись, чтобы зной коснулся колосьев, чтобы они налились, созрели; а ведь они иногда очень рано поднимутся высоко, но в зернах еще соку нет. Опыт и жизнь укажут Вам, как распорядиться с тем, что Вы теперь соберете. Собирайте, не уставайте, но не забывайте... Прежде напому Вам совет, который Вы часто повторяли: «Не забывайте; что мы люди». Не забывайте же и Вы хоть иногда, что Вы принадлежите (простите) к классу... животных. «Спасибо ей, – говорил сегодня Ваш отец, выслушав некоторые Ваши строки и вообще говоря о Вас, – умная девочка (его слова), но (он с прискорбием вздохнул) жаль, что... ест мало». Тут он постарался доказать, как это вредно, как питание тела, то есть физическая жизнь организма, имеет влияние на наши моральные силы, и заключил, что Вы этого «не хотите или не умеете разуметь». Вам бы непременно нужно прочесть курс физиоло-

гии – я в Петербурге устрою это.

Теперь скажу слова два о Ваших волнениях: ожидание, что звезды попадают, потом внезапное опьянение, восторги, тоска и проч. Это силы играют! Помните, я намекнул на это в Ольге: там они играли от другой причины – (но все же от сильного возбуждения организма), от рождающегося чувства любви; натура в известный период просыпается, обожженная жизнью, просит движения, жаждет деятельности и наслаждения (да, да: ведь деятельность, счастливое удовлетворение ее – тоже наслаждение!). Это припадки жизненной лихорадки, и надо только уразуметь эту истину, то есть усвоить своему ведению это наблюдение над собой, овладеть им, знать, что оно такое (Ольга у меня говорит: я знаю, это нервы, силы играют!), и человек остается хозяином и наблюдения, и впечатления, и того чувства, которое производит его, следовательно остается хозяином самого себя, следовательно сохраняет сознание и знает, что ему делать и как быть. А наши бабушки, и даже матушки, не знали этого, называли *vagusement*[101] экзальтацией, терялись, ду-

мая, что это какая-нибудь лихая болезнь, мечтали, глядели на луну, плакали и тем отделивались, а иные даже свихивались с ума. Вот где бывает полезен анализ. А это больше ничего, как только то, что силы природы высказываются, это своего рода пар, который требует не того, чтоб выбрасывали его беспорядочно или задыхались от него, а чтоб применяли его к делу, к рельсам и колесам, пользовались им и садились читать, писать или делали что кому назначено. Кажется, я верно разумею и объясняю эти порывы. Я основываюсь на опыте: со мной тоже бывало, и я, подобно бабушкам, терялся в мечтаниях, парениях, тогда как натура говорила мне: делай, работай, думай! А я лез на стену, глядел на луну – и если б был не так толст, то, пожалуй, плакал бы, а чего доброго и свихнулся бы. Но страстишка к жизненным наслаждениям и отчасти сметливость спасли меня. Не торопитесь, ради бога, и не бойтесь, деятельность придет, а когда одолеют порывы чересчур, не гнушайтесь смирить их на время тем, чем смиряют нервы. Не у всех ведь они бывают: это хороший залог, только долго его не угадывали и

не пользовались им те, кому они давались, а принимали, как выше сказано, за болезнь. Это признак живой, симпатичной, страстной и поэтической натуры.

Теперь о противоречиях в себе, которые ставят Вас в такое недоумение на мой счет. Не удивляйтесь этим противоречиям во мне: я сам их не понимаю и вот отчего прихожу в отчаяние, что не могу схватить за хвост своего героя. Благодарю Вас за доброе мнение о моих добрых сторонах: принимая столько дурного, беспорядочного, я не отрекись от некоторых и из них. Я не рисуюсь отжитостью, упадком сил – нет, есть моменты, когда я ничего не чувствую, кроме упадка и бессилия; потом, в редкие минуты теперь, нервы (все нервы, да) поднимутся, и тогда, конечно, высказывается страстная и живая натура во мне. С годами последние минуты становятся реже, а минуты упадка чаще – и я только верно выражаю все, что во мне делается. Если б я был *скрытен*, тогда бы, конечно, никто ничего этого не видал, а я, к сожалению, *expansif* [102] (излиятелен, что ли, в переводе), а натура довольно разнообразна и впечатлитель-

на – и я обнаруживаюсь, как я есть. Что касается до «холода, эгоизма, равнодушия, жесткости», то я уже, кажется, писал однажды, что все эти прекрасные плоды принадлежат не натуре моей, чересчур симпатичной, а они привиты мне опытом и теперь поддерживаются недоверчивостью и совершенною потерю надежды на человека вообще: все верования, надежды, чувства, за неудовлетворением их, и мало того за неудовлетворением, за постоянным оскорблением их – отнесены мною к области прекрасных, но невозможных мечтаний. Говорят, надо довольствоваться миром и людьми, как они есть: с этим я согласиться не могу. Можно снисходить ко всему этому, пожалуй, с христианской и гуманной точки зрения, даже любить все-таки, несмотря ни на что, но быть покойным и принимать, что это так и должно быть, довольствоваться – я не могу, по тем самым причинам, кои и Вы благоволили заметить во мне. Если нечего уважать или некого, то все-таки во мне этим не уничтожается способность уважения, и если эта способность в человеке есть, если она врожденна, нужна ему, значит есть что-ни-

будь, что должно быть уважаемо. Но если я не лезу на стену оттого, что все так жалко на сем свете, то по крайней мере считаю себя вправе чувствовать ту невольную тоску, холод и немые страдания, переходящие в равнодушные. Есть скотская апатия, происходящая от отсутствия понимания, видения и чувства, и есть апатия, достающаяся в удел после глубокого знакомства с жизнью, после упорной борьбы с ней: это не апатия, а усталость души, утрата вер, надежд и любвей, это человеческое раздумье, уныние и резигнация[103], может быть – даже ожидание чего-нибудь лучшего. Есть, надеюсь, разница между апатией разъевшегося и избалованного господина и апатией человека, которому в жизни сопутствовали мысль, чувства и нужда. Нужно еще сказать, что у меня врывается шутка везде: и это живет в моей натуре. Юмор иногда сопутствовал мне в такие минуты, где другие очень серьезны. Часто я, по юмору, по духу противоположности, беру на себя чего нет: не знающие меня коротко, иногда не различают, где я искренен, где противоречу себе *pour taquiner*[104].

Я точно упорен, от этого и преследую свои цели постоянно, от этого слабеющей уже рукой пишу и роман, хотя чувствую, что пишу уже не то и не так, как бы нужно, как бы писал прежде. Папа Ваш спорит, говорит, что я и молод, и силы много у меня, и даже хочет уверить, что будто бы творческая способность не увядает. Да если увядает охота к жизни, если холод и апатия вольют свинцу в жилы, то разве фантазия будет так же послушно подавать свою палитру, разве те же краски, та же живость и страсть водит пером? Между прочим, он говорит, что я не увяну никогда, потому что «в самом языке моем есть жизнь, свежесть, образы и искусство» и т. д. Было, да, но без содержания и без страсти – нет ничего.

Но глупо так долго писать о себе. Бросимте этот разговор: надоешь Вам. В воскресенье я послал Вам письмо.

Если б Вы знали, чего мне стоило приготовить Вашего родителя итти купаться! Он начал было кутаться от морского воздуха, морской сырости ветра, но я доказал ему, что этот воздух и ветер благородный воздух и ветер и не простуживают. Наконец мы повели его ку-

пать, и он только сел на воду и вообразил, что уж и окунулся и хотел было бежать и ужасно походил на Сашеньку, когда тот кричал на лошади: «Genug»[105], но мы с Гротом не пустили его и заставили, наконец, окунуться. Он чувствовал себя отлично и был рад, что выкупался. Вчера мы выкупали опять его, а потом и мамашу. Но худо сделали, что купались после завтрака, а не до завтрака. От этого у всех сделалось волнение, и мы худо спали ночь. Александр Васильевич поговаривал было не купаться сегодня, но был силою отведен мною в будку и выкупан. Завтра надеюсь склонить его выкупаться до завтрака: он там ссылается на какую-то испарину ночью, на ветер и прочие неосновательные причины. Я, ничего не говоря, указываю ему на толпы англичанок и веду на берег. Какой позорный и необстоятельный мужчина!

Грот завтра уезжает в Париж (ah, est-il heureux![106]); я дней шесть пробуду здесь, а потом, я думаю, удеру, потому что Ваши располагают пробыть в Париже дня четыре, а потом родитель мечтает остановиться в Ахене, где жил, спал, ел и пил Карл Великий – но я к

этому совершенно равнодушен. Впрочем, и он больше одержим желанием видеть Вас, чем историческими воспоминаниями, и оттого Вы можете получить его скорее, нежели как он рассчитывает; особенно если ветер подует с моря, и притом сильный. Я полагаю, что он бросит купанье и я не в состоянии буду удержать его. Он уж было мечтал и сегодня отдохнуть, переждать день, не купаться: но я его устыдил. К 30 же августу Вы едва ли его узрите.

Ужели Вы не купаетесь, Екатерина Александровна? А что же Вы делали те два теплых дня, после которых была сильная гроза? Родители сильно расспрашивали меня, что́ и как Вы? Я про болезнь Сашеньки ничего не сказал, а про Вас, Екатерина Александровна, не скрыл, что у Вас болела голова. До свидания.

И. Гончаров.

Если Вы не замешкаете ответом, то, вероятно, застанет письмо Ваше меня еще здесь. А то так уже в Париж (ah!), rue de Richelieu, 22, à M-me Maugée pour remettre à M-r Gontcharov [107].

# Письмо неизвестному лицу, <11 ноября 1861>\*

4<sup>2</sup> НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ  
<11 ноября 1861 г. Петербург>

На памятнике России<sup>1</sup>, сколько мне известно, помещены: Ломоносов, Карамзин, Пушкин, из которых каждый дал новое содержание и характер своей эпохе. Оттого и периоды новейшей литературы названы их именами, ломоносовским, карамзинским, пушкинским. Державин был поэт с огромным талантом, но новых и сильных элементов в литературу не внес и такой жизни, как те, в ней не возбудил, оттого, я полагаю, на памятник и не попал.

После этого объяснения Вы вправе спросить, отчего попал туда малороссийский поэт Шевченко? На это я не берусь ответить: про то знают малороссияне.

Посылая при этом обещанную книгу, имею честь кланяться.

И. Гончаров.

11 ноября

1861.

**Письмо Никитенко А. В., <21 января  
1862>\***

**4<sup>3</sup>** А. В. НИКИТЕНКО

<21 января 1862 г. Петербург>

На рецензию «Обломова» в «Северной почте» рассчитывать не дерзаю, но на несколько строк, на краткий отзыв, который бы напомнил публике о втором издании<sup>1</sup>, надеяться буду, любезнейший друг Александр Васильевич!

И как теперь дело идет не столько о моей литературной репутации, сколько о сбыте этого второго издания, то если Вы благоволите вставить как-нибудь слова: *что в первой части местами сделаны сокращения длиннот и кое-где сглажен слог, словом роман тщательно автором просмотрен* (что совершенно справедливо), то это много поможет сбыту книги, о чем я теперь сладостно мечтаю. — Сим обяжете великого Вашего почитателя

И. Гончарова.

Ужé, надеюсь, оба свидимся в белых гал-

стуках.

21 января

1862.

## **Письмо Никитенко С. А., 28 июля/9 августа 1865\***

**4**<sup>4</sup> С. А. НИКИТЕНКО

Boulogne-sur-mer. 28 июля / 9 августа 1865.

Я получил Ваше письмо в Париже, Софья Александровна, и спешу отвечать Вам, потому что не знаю, буду ли свободен после. Я полагаю, что буду – к великому моему горю, Я был так весел, почти счастлив до вчерашнего дня в надежде, что уединение и тишина, пуще всего тишина, дадут мне возможность заняться еще 15, 18 дней – и довести мое дело до той точки, с которой я мог бы предвидеть вблизи конец. Тогда бы возможно было и в Петербурге, урывками, дополнять, поправлять и заканчивать. С этой надеждой я бросился сюда, и, конечно, прямо в старый, развалившийся, хорошо известный Вам домишко у моста, к m-r Valbin, где так гадко, сыро, где нечего есть: я все презрел ради одного,

необходимого мне блага для работы – ради тишины! и вдруг какое разочарование: ни самого Valbin, ни жены его нет, ни даже тот дом не существует; он сломан, и на его месте устроен рыбный рынок. Пьяный комиссионер повел меня по городу, по отелям. «Tout est plein[108], all is full»[109] – только и слышал я в ответ – и, наконец, нашел было угол в Bedford hôtel, но это гнусные щели, почти на чердаке, где нельзя поворотиться, где я очутился буквально в чаду кухни и всего трактирного va et vient[110]! Я сейчас же вон – то есть сегодня утром; поиски мои туда, к морю, по отелям и домам были напрасны: теперь сезон купанья, и из каждого окна глядят рыжие и других мастей рожи англичан и англичанок. Наконец с помощью своей жидовки-перчаточницы я нашел очень недурной и немногочисленный boarding-house, содержимый будто бы англичанином, а в самом-то деле, кажется, английским жидом. Комната недурна, светла, просторна, при самом начале улицы de l'Escu (теперь Napoléon), во втором (по нашему в 3-м) этаже, за 8 франков в день с полным содержанием: оно бы хорошо, но – с утра до ночи

раздается неумолкаемый треск экипажей – и моя надежда пропала! Тишина – для меня необходимый элемент: можно снести не совсем чистый воздух, даже отчасти вонь, можно затворить окна, проработать часа четыре и потом бежать на берег освежиться: но куда спрятаться от этой адской трескотни? хозяин предлагал мне комнаты на двор окнами, но там – опять шум другого рода: кухня и говор людей ежеминутно, так что до меня долетает каждое слово, а мне нужно безмолвие могилы, тогда только я сосредоточиваюсь, ухожу в себя и вижу ясно мои создания, смотрю на них, слушаю их разговор и спешу, как спешу, чертить бумагу. Я *написал добрый том* в Мариенбаде<sup>2</sup> (вот где тишина!), прочел его Льховскому в Париже, и как он ни болен, как ни был озабочен сборами в Эмс, но горячо отозвался на эти сцены, явления, чувства, которые так свободно вылились у меня! Еще бы полтома, полтома, то есть огромных моих 15–16 листов, – и я дома, то есть роман кончен! Пожалейте обо мне, я знаю, что Вы пожалеете, если не обо мне, то о *неоконченном романе*<sup>1</sup> (так я дал ему заглавие) – Вы любите и

понимаете это дело. Вы, я предвижу, скажете уехать отсюда; да куда? В Гоар или другую подобную щель! Там с тоски пропадешь! При том мне все-таки нужны морские ванны, и всего остается недели три отпуска. Вот и посудите сами: и огонь и страсть явились, лени в эту минуту не понимаю, прошу одного – тихого угла, жертвуя и хорошими видами, и хорошим столом, даже отчасти хорошим воздухом: и в этом даже встречаю препятствие! Бороться – я готов, и борюсь, как видите. Мне житье и писанье – не то что Тургеневу, Островскому, людям свободным и обеспеченным: я похитил три месяца свободы, хотел выкроить из них всего недель шесть на работу – судьба помазала по губам, да и отказала теперь; боже мой, опять хандра и скука! А как было я был весел, почти счастлив, как хорошо отдохнул в Париже дней десять, чтобы собраться с новыми силами, – и вот! Представьте, что в эту минуту едва могу писать это письмо: и коляски, и телеги со звонками – и чорт знает что еще прыгает и скачет по мостовой! Врагу только злему посоветую я ехать в эту гнусную щель – Булонь! Многие звали

меня в Остенде, но там толпа знакомых – покоя не дадут! За что же и зачем такие препятствия, или зачем они не пришли раньше, когда я только принимался в Мариенбаде за труд: тогда у меня надежд не было и я был равнодушен! Хоть плакать так в ту же пору! Боже мой: тишины, тишины, тишины пошли – и нет надежды – это ужасно!

Извините, что занимаю Вас собой и своими препятствиями! Но что делать – не могу помириться с своим положением. Мне становиться на борьбу нравственную, с обстоятельствами, службой и прочее, но нехватает на борьбу с колесами и мостовой – нервы не выносят; ведь это все равно, что молотком бить по голове.

Благодарю Вас, что Вы приписываете некоторую цену моим *похвалам* и моей *правде*. Да, я не стану лгать вообще, Вам в особенности (кроме пустяков каких-нибудь и еще в шутках): остановите же внимание на том предостережении, которое я откровенно изложил в прошлом письме: оно пригодится.

Оставляю на Вашу волю: писать или нет ко мне; если буду (увы) свободен, то буду отве-

чать, а то так нет, да уже и некогда будет. Извините, что не франкирую письма: лень итти на почту.

Сердечный поклон Александру Васильевичу: я получил его письмо в Париже; теперь я в хандре и потому отвечать не стану; а напишу после – если не буду занят своим делом; впрочем, этой последней причины ему не говорите.

## **Письмо Никитенко С. А., 21 августа/2 сентября 1866\***

**4<sup>5</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Boulogne-sur-mer. 21 августа / 2 сентября  
<1866>

Наконец я получил Ваше письмо, которого так давно ждал, Софья Александровна, и сейчас буду отвечать. А теперь только скажу, что я кисну здесь до сих пор потому, во-первых, что были жары и ехать в Париж рано, там душно. А я ждал все ветров и волн для купанья, а их не было. Во-вторых, я надеялся хоть сколько-нибудь двинуть роман вперед, забыв, что сидячая жизнь и морские купанья не ла-

дят между собою, и я нажил жестокие приливы крови к голове, так что серьезно боюсь удара. Я вспомнил, что и в прежние года мне тяжелее всего было заниматься здесь, нежели где-нибудь. – Жары кончились было на три дня, разрешившись один раз такой грозой, которая перепугала всю Булонь и какую я видал в тропиках, и через день опять грозой, если не страшной, то странной, и таким шквалом, какие я помню только в Восточном океане. – Сегодня опять духота – и опять дождь. Через три дня, то есть в четверг или пятницу (сегодня воскресенье), я еду в Париж, где намерен поселиться на месяц (Rue veuve St. Augustin, 48, Hôtel d'Orient), если... Если не случилось чего-нибудь особенного в России, так что мне пришлось бы тотчас воротиться домой. Я это вот почему думаю: вчера, когда уснул (или уснула) вся Булонь, кроме меня, часов в 12 ко мне постучалась мамзель Carolino – с телеграфной депешей из Петербурга, адресованной не ко мне, а в hôtel du Petit Pavillon, где я живу, с вопросом, тут ли я еще? Депеша подписана m-me Лукьяновой<sup>1</sup> (классной дамой, о которой Вы, кажется, знаете и которая наблю-

дает за моей квартирой и платит людям жалованье). У хозяйки отели, которую ночью разбудили этой депешей, от страха чуть не сделался удар, и она поставила ноги в воду, а я долго не мог заснуть, ломая себе голову, зачем понадобилось m-me Лукьяновой знать, тут ли я, когда она знает, куда адресовать письма.

Перед тем она спрашивала меня письмом, не обить ли кабинет мой новыми обоями: я согласился и просил обить и весь пол ковром. Ужели такая глупость могла ее заставить посылать телеграмму, думал я; обивка и окраска квартиры не стоят того, чтоб посылать телеграмму, и я предположил что-нибудь более важное, то есть или случился пожар, или умер кто-нибудь из моих людей – или, наконец, требуют в министерстве сведения о том, где я. Я послал ответ, а сам до сих пор нахожусь в крайнем сомнении о том, что там делается.

Если Вам случится быть в городе и в Моховой, не заглянете ли из любопытства на сад и на келью мою, которую Вам покажет старик Савелий или девушка Елена, если только они

(судя по депеше) живы или если моя келья не сторела. Впрочем, это предложение, может быть, нескромно или нелепо.

Что же такое, ради бога, с Вами? Вы в тоске, Вам тяжело, скучно, Вы даже *обессилели*, Вы, так чисто, хорошо понимающая жизнь! Не труд, конечно, а жизненная теснота мучает Вас – я чувствую справедливость Вашего ропота и молчу, не зная, что сказать на эти основательные жалобы! Долго еще нравственная и социальная неурядица будет мучить людей, и много жертв принесется будущему, стройному порядку. Мы все – более или менее, сами грешим то неведением, как выйти из хаоса, то злой и корыстной волей, и все – жертвы неурядицы. Это, конечно, Вас не утешает, хотя и справедливо – и потому, если мое пожатие (на этот раз праведное) руки Вашей может хоть искру тепла дать Вашему сердцу – я жму Вам руку.

Вы оспариваете мою теорию о дружбе и любви. Вы свято и возвышенно, по-шиллеровски, смотрите, по Вашей прекрасной и неиспорченной натуре, на человеческую природу – и дай Вам бог до конца донести Ваши ве-

рования. Но Вы правы, подозревая меня тоже в вере в всеобщую, всеобъемлющую любовь и в то, что только эта сила может двигать миром, управлять волей людской и направлять ее к деятельности и прочее. Может быть, я и сознательно и бессознательно, а стремился к этому огню, которым греется вся природа, да не дался и не дается он мне никогда. Или я не так создан, или изуродован, то есть развращен до крайности, или, наконец – страсти... Ведь каждая страсть есть только неумеренное влечение к тому идеалу любви – и если это стремление не удовлетворяется, так это от ошибок и уродливости и с той и с другой стороны.

Вы говорите, что я только знаю *безобразие* страсти, а не *красоту* ее: это не совсем так. Страсть всегда безобразна, красоты в ней быть не может, или она – не страсть. Судя по нескольким фразам, которыми Вы старались определить страсть, я вижу, что Вы разумеете не страсть, то есть борьбу, драму, а лирическое настроение, которое остается замкнутым, которое лишено драмы, а питается самосозерцанием. *Кто, ради другого, отрекался*

от самого себя, дышал, мыслил, жил для него. Кто, не прихорашиваясь, стремился к хорошему, чтоб этим хорошим охватить любимое существо и, склоняясь перед ним, служить ступенью, соединяющей его с божеством.

Тут нет ничего живого, человеческого: это как будто отрывок из «Мессиады» Клопштока<sup>2</sup>. Это не страсть – а религиозное настроение, молитва. Средневековая монахиня может у подножия Распятия склоняться с такой мыслию и с таким чувством, но не живой, трепещущий, чувствующий организм. – Бывают в любви моменты такого лирического настроения, которые в романах называются *немым обожанием*, но это очень в ранней молодости или в зародыше страсти, на ее заре. Это первые лучи, предвещающие жаркий полдень и грозы. Вы думаете, что это чувство, или, лучше сказать, такая мечта выходит из сердца, а не из воображения: нет, из воображения, и притом юного и неопытного. Все это разлетится вдребезги, лишь только такое *немое обожание* уверится во взаимности и перейдет в дальнейший фазис, то есть в любовь, в ти-

хое, мирное, глубокое и прочное счастье, если обе натуры неиспорчены и симпатичны – и тогда это разрешается в постоянный покой, в дружбу, в согласие, в *совет* и *любовь* – и все заснет. Поэзия и иллюзии в самых поэтических натурах не могут продлить обаяния первых минут этой зари, лучей *немого обожанья* – навсегда; воображение самый неутомимый деятель: он или будет дразнить новизной, или надо обманывать, усыплять его, сдерживая умеренно себя, то есть гомеопатически лакомясь этим счастьем, иначе оно заснет и утонет в ежедневной, безразличной жизни и смешается с ежедневными явлениями. Настает привычка и скука. (Я здесь, однако, делаю оговорку. У меня впечатлительная натура и много поэзии: может быть, холодные, рассудочные натуры подлежат другим законам.) Если же *немое обожание* (как бывает большею частью) обманется и, вступив в борьбу, бросится в пучину, сначала облопается счастьем, и чем больше облопается, тем сильнее потом страдает от разочарования и иногда даже гибнет.

Страсть только тогда наступает, когда она

разделена, или когда польщена надеждой на взаимность и обманута, или когда она опять-таки разделена и встречает препятствия к удовлетворению, ибо борьба тогда и возникает, когда у Вас отнимают то, что Вам принадлежало, что Вам дали, что Вы считали своим. А без борьбы – страсти нет.

Вы говорите, что я не знал страстей, а *играл в любовь*, а если б-де знал любовь, то знал бы, что она *проста и истинна без приудариваний и прихорашиваний*.

Так-с. Почему же Вы знаете мои страсти? Почему Вы знаете, что именно отчаяние не найти *истины и простоты*, а все ложь и ложь – и не заставляет меня с гримасой смотреть на все и вся?[111]

...Значит, человек – пока человек – он все прихорашивается, украшается: дело все в том, как, с какою целью делает он это: только для *прихорашиванья*, или это прихорашиванье служит ему одним из средств для какой-нибудь цели.

Да, в любви *обман* невозможен, и оттого влечение друг к другу и сближение редко доходит до любви, а оканчивается – у кого стра-

стью (у людей серьезных), у кого страстишкой (у пустых людей), или, наконец, капризом, прихотью, польдекоковским романчиком или так называемой интрижкой, в которой много виноватых и из того и из другого разряда благодаря распущенному воспитанию и развращению нравов. «Зачем не идти прямо к истине, а неосторожно, на каждом шагу попадать в ложь? Надо искать добра, честного, умного» и т. д., говорите Вы часто.

В любви ничего *не ищут*, если не разумеют под любовью какую-нибудь абстрактную идею, а не человеческое, живое, органическое чувство и отправление этого чувства, совершающееся в нашем организме, а не превыше облаков.

Как скоро Вы допустите, что мы люди и носим тела, имеем пять чувств и что этими чувствами формируется и передается душе впечатление, так Вы должны тотчас же допустить, что всякое представление, идея – должны быть воплощены в какой-нибудь форме. Отсюда идея о красоте – и потребность красоты: эта потребность высокая, свойственная только человеческой природе и которой у

животных нет. А допустивши это – позвольте спросить – как Вы перейдете к Вашему страстному настроению иначе, как не через воображение, которое одно заведывает и управляет всеми впечатлениями? Стало быть, только одним холодным сознанием, что вот, мол, это хорошо, честно, умно, следовательно и надо любить это! Нет, извините: это честное, умное является Вам в образах, которые Вы и любите в их плоти, а идей любить нельзя, их можно сознавать.

Оно же, то есть воображение, и виновато, что обманывает красотой внешней на каждом шагу, заставляя нас, слепцов, предположить за нею и внутреннюю красоту. От этого разлада и – страсти, обман, разочарования.

Можно ли любить одну внутреннюю красоту, одну идею ее? Мы и любим совершенство нравственное – на этом основана наша любовь к богу, как к идеалу этого совершенства. Но это уже любовь нечеловеческая, это – благоговение – и такую любовь христианину только и позволительно любить одного бога, даже этой любви надо принести в жертву все другие. Да и сам бог воплотился – и только

с появлением спасителя и явилась заповедь *любви* – к богу.

Мыслящий, наблюдательный ум и человек с глубокой душой, даже не будучи христианином, непременно должен притти вследствие жизненного опыта к этой мысли и убеждению, то есть к непрочности всех земных привязанностей, в их призрачности, и непременно воспитает в себе сильное подозрение, что в нас есть что-то, что нас привязывает и призывает к чему-то невидимому, что мы, несмотря ни на какой разврат мысли и сердца, не потеряем никогда этого таинственного влечения, связующего нас с мировой силой.

А затем уже – извините – следует наша земная, все-таки прекрасная, честная любовь, где взаимная симпатия дает жизни свет и тепло.

Ее надо и понимать проще, органически, по-земному: иначе впадешь в романтизм. Вы, сказавши правду, что любовь – *проста* и *истинна*, сами и смотрите на нее вовсе не просто, а стараетесь угадать ее, потому что у вас не было опыта, и оттого ошибаетесь. Да опыт и не допустит до этого. До опыта можно ря-

дить во что угодно любовь, как дети рьят куклу, заставляя ее ездить в гости, сажая в карету, даже делая маменькой. Это уже игра – не в любовь, а в лиризм. Даже и *играть в любовь* (в чем Вы упрекнули меня) можно вдвоем только, а не в одиночку. Иначе это будет пустая трата времени и никакого опыта не даст.

*Служить ступеней* (любимому существу?) для соединения с божеством, говорите Вы: самоулучшение, и без любви есть наш долг – и кто мыслит, чувствует по-человечески, тот не может не страдать и от своего и чужого несовершенства – и ему не надо помощника или помощницы, чтобы делаться лучше. Для этого у верующих есть религия, а у неверующих философия, а у иных и то и другое вместе.

Я Вам цитировал Райского шутя. Как же Вы, разве не заметили, что весь роман идет к тому, чтоб не осмеять, а представить его во всей уродливости. Вы думаете, что я отношусь к нему сердечно, с участием? Да, пожалуй: потому, что я ни к кому, даже к врагу своему по зрелом размышлении и в покойном состоянии (а не в минуту раздражения)

иначе не могу отнестись, как с участием, а не с холодной злобой – это моя натура. Но не отношусь я к нему одобрительно, а с иронией (разве Вы не заметили из разговоров с Марком и с Верой?) – и цель моя именно та, как Вы и говорите (потому что, *malgré Vous*[112], Вы ее угадали из хода романа), чтоб представить русскую даровитую натуру, пропадающую даром бестолку – от разных обстоятельств. Это своего рода артистическая обломовщина.

Из этого Вы должны заключить, что если я знаю, что такое Райский, если умею создать его, значит у меня есть и критика ему, значит сам я – не могу быть Райским, или если во мне и есть что-нибудь от него, так столько же, сколько во множестве русских людей есть из Обломова; и что, может быть, я имею верное понятие о человеческой любви и страстях.

Скажу Вам, наконец, вот что, чего никому не говорил: с той самой минуты, когда я начал писать для печати (мне уж было за 30 лет и были опыты), у меня был один артистический идеал: это – изображение честной, доб-

рой, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабости своей и чужой, то есть вообще человеческой натуры. Та же была идея у меня, когда я задумывал и Райского, и если б я мог исполнить ее, тогда бы увидели в Райском и мои серьезные стороны. Но тема эта слишком обширна, я бы не совладел с нею, и притом отрицательное направление до того охватило все общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направлению и вместо серьезной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны. Не только моего, но и никакого таланта нехватило бы на это. Один Шекспир создал Гамлета – да Сервантес – Дон Кихота – и эти два гиганта поглотили в себе почти все, что есть комического и трагического в человеческой природе. А мы, пигмеи, не сладим с своими идеями – и оттого у нас есть только намеки. Вот отчего у меня Рай-

ский – в тумане.

Еще слово о волнениях и стремлениях: *идеалы* и *идеализация*, то есть неумеренное и иногда бесплодное стремление к ним всегда заставляло больше страдать людей, нежели действительные страдания. Между тем предостережения против бесплодной идеализации явились очень рано, чуть ли не в одно время с самими идеалами. Природа, судьба, все требует идеала или, лучше сказать, все ставит нам идеал, по и природа и судьба делают также и уступки, ибо принята во внимание слабость человека, его хрупкость, крайнее несовершенство. Законы всякие, и религиозные и гражданские, начертаны на скрыжалях суровый идеал бытия, да тут же где-нибудь вставят, как будто постороннее, милосердие и обязанность прощать трижды 70 раз. Так и во всем, когда еще люди встали на ходули. Герои, цари в мантиях, с фразами Гомера, Софокла, Расина расхаживали по сцене, рыцари с своими добродетелями, и каких, каких высоких стремлений не было? А тут же явились Езопы, Аристофаны, Плавты, Сервантесы и Мольеры и показали заносчивую гордость

людей в настоящем свете. Не забывайся, человек, и не надевай божескую рясу на себя! Если не будешь очень скверен – и то слава богу!

Зачем я написал это – не знаю: Вы не понимаете, конечно, ничего – и я тоже. Прощайте. Но, может быть, на что-нибудь и годится: ведь Коробочка думала же, что и мертвые души годятся на что-нибудь в хозяйстве.

## Письмо Тургеневу И. С., 15/29 сентября 1866\*

4<sup>6</sup> И. С. ТУРГЕНЕВУ

Париж, 15/29 сентября <1866>

Не могу уехать *из-за границы*, не простившись несколькими строками с Вами, любезнейший Иван Сергеевич. Мы с Боткиным надули Вас, обещавшись приехать провести последние недели сезона в Баден-Баден: я – от лени передвигаться взад и вперед с своим чемоданом, а он, я думаю, от лени – вообще. Я, пробыв месяц в Булони, прошатался бестолку еще недели три здесь, изучая Пале-Рояль, потому что, по причине непрерывных дождей, некуда было больше деться. Наконец после-

завтра я уезжаю домой, уехал бы и раньше, если б в Берлине не было на-днях военного шабаша, приема войск, и, следовательно, толпы, и, следовательно, недостатка угла в отелях. Боткин остается до 15 октября в улице *Mura* (как переводит Ханыков<sup>1</sup>), № 22, *Aux Iles britanniques*[113].

Хотел было я в Булони, от крайней скуки, пописать, чтоб обмануть время и себя, но это не удалось по причине той же скуки. Да еще от купанья и от осеннего равноденствия у меня делались приливы крови к голове. – Была там и холера, и в иные дни умирало человек 12, а большею частью – не более 6 и 4-х человек в день. Я слышал что-то об этом, но не обращал внимания, пока в моей отели у горничной не умерла мать. А до тех пор я никак понять не мог, отчего на меня с таким ужасом смотрят прохожие, когда я возвращаюсь с рынка с ежедневной своей порцией винограда и двух больших груш, несомых мною в руках открыто. Я думал, что им странно, что *барин* сам ходит с фруктами по улицам. Узнавши о холере, я стал завертывать груши в бумагу, совестно стало. Погода была такая, что

по утрам три-четыре человека только приходило купаться – конечно, англичане и я. А в одно утро – один я, ей-богу.

С нашей общей знакомой<sup>2</sup>, которую Вы от-лично характеризовали с ее *суею* за *толстыми щеками*, я поругался в письме. Суея – со всеми познакомиться, со всеми и обо всем говорить, со всеми переписываться – без внутреннего живого интереса – это своего рода моральное блудовство в женщине: как публичная женщина всем служит... не чувствуя ни любви, ни даже побуждений темперамента, так и подобная госпожа морально относится к обществу, к толпе. Я это ей и вырази, конечно, не в виде такого сравнения – а вот, мол, Вы и пишете ко всем, и знакомитесь со всеми, и требуете писем от тех или других без всякой надобности, а так только, чтоб поговорить, и сами любуетесь каким-нибудь своим же выражением или ищете удачной фразы у других – и носитесь с этим, и что, мол, в этом нет ничего простого, натурального; любите, мол, всякого рода известности, какие бы они ни были, лишь бы известности, и наивно удивляетесь им, как москвичи Катко-

ву. А писать-де собственно и не о чем и незачем. Она мне написала, что я наговорил ей *кучу дерзостей*, – а я ей опять, что мне некогда писать, что я теперь занят-де, *пишу*, – она поверила и уже не писала больше.

Надеюсь, Иван Сергеевич, что Вы за всех нас расквитаетесь с русской публикой, то есть дадите ей осенью новый роман; вероятно, Толстой кончил другую свою драму<sup>3</sup>, да если еще Островский написал своего «Самозванца»<sup>4</sup>, так вот Россия и спасена, то есть утлая литературная ладья принесет достойный груз, а не балласт журнальный и не социальные, не принимающиеся на нашей почве и всем надоевшие тенденции.

Встретил я здесь у Боткина Григоровича: боже мой, какая злоба, какое раздражение наполняет эту тщедушную фигурку! – *Взять бы, говорит, весь литературный круг, загнать в глухой переулок, да и жарить из пушек* – за сплетни будто бы, за злое ко всему презрение и я не знаю еще за что. Я на это довольно покойно заметил ему только, что если надо кого-нибудь жарить за этот *оттенок* характера, так это именно – его.

Он мне особенно гадок показался в этот раз. Не прощает ли он малого своего значения в литературе, или того, что литературный круг (кто же это: ведь это Белинский, Дружинин, Вы, Анненков, Боткин, Писемский, Островский, я) осмелились разгадать его и отнесли к нему – или относились всегда – равнодушно, говоря учтиво? Он же сам всегда лгал, сплетничал, ругал и поносил и друга и недруга, да он же нас из пушек жарить хочет!

Теперь он здесь живет по поручению Художественно-промышленного московского общества (нечто вроде Кенсингтонского музея) по поводу выставки и имеет поручение собирать образцы для этого музея. Он там приютился и силится доказать, что России нет спасения без этого музея, без керамики, без уменья делать эмаль, чеканку и бог знает что, что на это надо тратить огромные суммы, забывая, что у нас еще не умеют порядочных кирпичей делать, что изделия из своей кожи мы получаем из Англии, точно так же как и рельсы дома не делаем, а посылаем для этого железо в Англию.

Узкая и злая голова! Хлопочет об искусстве XIII и XIV веков, а просто суетится, ютится у богачей. – Ну его!

Будем ждать Вашего романа, о чем я и возвещу в Петербурге. Приехал сюда Малеин, или Мальвин, как мы его прозвали с Боткин-ным, и счастлив тем, что Вы ему почитали, только никак не сможет сформулировать толково своего отзыва.

Дружески жму Вам руку.

*И. Гончаров.*

## **Письмо Тургеневу И. С., 10/22 февраль 1868\***

4<sup>7</sup>

И. С. ТУРГЕНЕВУ

10/22 февраль 1868. <Петербург>

Моховая, дом Устинова.

Вы обратились ко мне, как к члену Совета по делам книгопечатания, любезнейший Иван Сергеевич, по Вашему делу, а вот я с 29 декабря<sup>1</sup> не член больше: вышел в отставку, о которой давно помышлял, как об отрицательном и неизбежном благе. Застой крови и особенно слабость глаз, все увеличивающаяся от

чтения при огне – буквально выгнали меня из службы. Боязнь за глаза – серьезная боязнь, а служба моя вся состояла в чтении. Прослужив 30 лет, я счел себя и вправе успокоиться и отдохнуть, – все, что мне теперь остается, так как свобода теперь для меня – мертвое благо, которым я не могу воспользоваться производительно. К тому же могу сказать про себя: «Но не всегда мила свобода Тому, кто к неге (то есть к жалованью) приучен» – понеже пенсия, благодаря богу и царю мне назначенная, дает средства – существовать, но без всякой неги, даже без хороших сигар, которые, если пожелаю курить – должен выкидывать какие-нибудь литературные штуки, а между тем не чувствую к таковым ни охоты, ни сил.

Нужды нет, что я не член: это не помешало мне на другой же день по получении Вашего письма объясниться по оному с начальником Главного управления по делам печати Михаилом Николаевичем Похвисневым<sup>2</sup>, человеком умным и просвещенным другом литературы. Я передал ему письмо с своей запиской – и он при мне отправлялся в Совет, взяв

все это с собой, и сказал, что будут употреблены все меры к тому, чтобы Ваш «Дым» не распространялся по России без Вашей воли, о чем также подал прошение и Салаев.

В то же время я написал записку к Ф. И. Тютчеву, начальнику иностранного цензурного комитета, препятствующего всякой книжной контрабанде. Мне сказывали, что там не могло храниться тюков русских книг в заграничных изданиях, конфискованных по просьбе авторов или их издателей, и в том числе и Гоголя.

М. Н. Похвиснев сказал, что довольно Вашего письма ко мне (которое я отдал ему без возврата) и просьбы Салаева и что другой формальности с Вашей стороны не нужно, а если бы понадобилось, то он даст мне о том знать и вообще о том, что будет сделано, а я Вам напишу.

Вот и все – по этому делу.

Вы спрашиваете, пишу ли я: да нет; может быть, попробовал бы, если б не задался давно известной Вам неудобоисполнимой задачей, которая, как жернов, висит у меня на шее и мешает поворотиться. Да и какое писанье те-

перь, в мои лета. Боткин называет все написанное в этих тетрадах разбитым барельефом и советует так и напечатать: так, но ведь надо бы кончить, а у меня моральная невралгия в пальцах. Читал я Феоктистовым, буду на-днях читать Толстым; многое хвалят, а все остальное возбуждает вопросы и объяснения как материал.

Да что об этом – лучше о другом и о других. Мы часто видимся с Алексеем Толстым: он с женой живет недалеко от меня, на набережной, и имеет четверги. У него приятно, потому что не похоже на другие салоны. Гости разнообразные: музыка, чтения – все его любят, все едут к нему, и даже Василий Петрович говорит, что это лучший салон здесь, что там разговор вяжется и т. д. Толстой перевел отлично две баллады Гете, между прочим «Коринфскую невесту», и медленно оканчивает «Феодора Иоанновича». Островский, очевидно тронутый успехом «Грозного», написал было известного Вам своего Шуйского, но неудачно. К счастью, ему предложил готовую тему для драмы новый директор театра Гедеонов – и они вдвоем написали «Василису Ме-

лентьеву», шестую жену Грозного. Это положительно хорошо, хотя Василиса смахивает немного на леди Макбет. Стихи отличные, а встрое пиесы, в некоторых лицах и сценах есть что-то напоминающее Толстого Иоанна.

Главное известие берегу pour la bonne bouche:[114] это появление романа «Мир и война»<sup>3</sup>, графа Льва Толстого. Он, то есть граф, сделался настоящим львом литературы. Я не читал (к сожалению, не могу – потерял всякий вкус и возможность читать), но все читавшие и, между прочим, люди компетентные, говорят, что автор проявил колоссальную силу и что у нас (эту фразу почти всегда употребляют) «ничего подобного в литературе не было». На этот раз, кажется, однако, судя по общему впечатлению и по тому еще, что оно проняло людей и невпечатлительных, фраза эта применена с большею основательностью, нежели когда-нибудь. Вероятно, Вы получите, а может быть, и получили уже экземпляр «Мира и войны» и лучше всякого оцените, сколько во всех этих толках правды.

Вы обещаете приехать в апреле: да правда ли, полно? Эй, отвыкните, Иван Сергеевич,

манить напрасными надеждами приятелей, рассчитывающих на приятное свидание с Вами, – и уж – или не дразните, или приезжайте в самом деле.

Как бы я желал опять совершить свое обычное путешествие на воды, потом походить в Лихтентале и покупаться в море, но боюсь, что и эта нега кончилась для меня навсегда, разве... долеплю как-нибудь «барельеф» – да нет надежды.

Чуть не забыл: я читал Вашего «Бригадира» и оценил его очень дорого (а прочел потому – что немного, что это картинка, а не повесть). Я почувствовал, что и во мне есть немного художника; художник и оценит больше всего эту маленькую вещь, напоминающую Ваше лучшее (не во гнев Вам), чем Вы воздвигли себе прочный памятник – то есть «Записки охотника». Большинство ценит это мало, а некоторые вовсе не понимают. «Бригадир», по-моему, гораздо выше той, несколько натянутой и заметно сочиненной повести, которую Вы нам читали в Баден-Бадене<sup>4</sup> (не знаю заглавия), – здесь деревня так свободно и ярко нарисовалась: что за прелесть – поле,

питье квасу из ковша etc...

Дайте руку – и напишите мне еще, чем много меня обрадуете.

Ваш *И. Гончаров*.

Не франкируйте, пожалуйста, Ваших писем: я своих не могу франкировать, потому что за этим надо ехать в почтамт, от меня далеко, или посылать человека.

## **Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 мая 1868\***

**4**<sup>8</sup> М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ<sup>1</sup>

СПБург, 7/19 мая <1868>. Вторник.

И я и Райский оба кланяемся и благодарим Вас за память, почтеннейший и любезнейший Михайло Матвеевич. Он несколько смущен названием «вампира» и сближением его с положением арестанта, хотя и сознается, что это справедливо. Он бодрится, охорашивается, притопывает ногой, бравирует, скрывая тем свою старость, которой дождался в заключении. А сам хромает на обе ноги, чувствует, что давно утратил всякий образ, и даже некогда модный пиджак его обратился в

Тришкин кафтан. Словом – он неудачник вполне, а Вы тащите его на свет! Какой он вампир и куда ему сосать кровь, когда его давно высосали самого!

Мы с ним пока здесь – и не знаю, поедем ли. А если и поедем, так не за тем, чтоб рассеяться, набраться здоровья, силы, поработать, а потому, что некуда деться. На меня находит, особенно в дурную погоду, такое тяжелое раздумье, что я готов уехать один, без него и ожесточенно проколесить месяца три по разным государствам, не останавливаясь более трех дней ни в одном. Зовут меня и внутрь России, между прочим общие наши знакомые Алексей Константинович и соседи их Бобринские, зовет меня и сестра в Москву, наконец советуют жить в Царском Селе, а Ваш журнальный собрат Николай Алексеевич Некрасов предлагает поселиться в Лигове, где он нанял дачу, – прочесть ему все написанное и доканчивать.

Между тем он придумал было еще комбинацию – по 250 руб. с листа, так что за 30 листов, говорит он, выйдет 7 тысяч, а если 40 – то 10 тысяч. И опять спрашивал, окончательно ли я решил с Вами, сказав, что и его и со-

трудников его уговор мой с Вами очень печалит, хотя в то же время, надо отдать ему справедливость, он бескорыстно побуждает меня заканчивать мой труд, хотя бы и для другого, то есть Вашего журнала, чтоб только дать что-нибудь *свежее* при нынешнем застое. Хорошо свежее! лежалое десять лет!

Мне приходит в голову другое обстоятельство, и я очень жалею, что мы не поговорили с Вами об этом. Тургенев писал<sup>2</sup> мне и – кажется – Анненкову и Боткину, что он готовит к новому году что-то большое – *воспоминания* или другое что – не знаю, а Вы – помнится мне – сказали вскользь, что он обещал, или Вы надеетесь поместить это у себя. Как же Вы это сделаете: Вы будете между двух огней. Поместить две большие вещи невыгодно в один раз во всех отношениях – и, между прочим, в экономическом, а откладывать неудобно для Тургенева, и для меня тоже, если б я успел приготовить хоть написанное к печати. Разве отпустите кого-нибудь на волю: конечно, скорее меня, нежели Ивана Сергеевича. Разве не ошибся ли я, или не вообразил ли только, что Вы мне говорили о Тургеневе? Может быть, со

мною и затруднения не будет; если я не успею «подшить тетрадей», хотя и просматриваю их лениво, вычеркивая местами то одну, то две страницы; так что этим способом, пожалуй, немного останется к осени, и Николай Алексеевич не разорился бы на полистную плату.

Вот об этой встрече с Тургеневым на страницах Вашего журнала я желал бы поговорить, но не знаю, когда и где. Вы предполагали вернуться сюда 15-го числа, а теперь пишете, что 16-го или 17-го будете близко, то есть в Берлине или в дороге сюда. А я до 15-го едва ли выеду, так же точно не знаю, останусь ли долее 15-го. Очень может быть, что мы разъедемся на пути, если поеду. Во всяком случае Вы бы недурно сделали, если б в Берлине спросили обо мне в *Britisch hôtel, Unter den Linden*. А не то, по получении этого письма, потрудитесь написать мне несколько строк (письмо застанет меня наверное) о том, как Вы располагаете распорядиться, если б Тургенев предложил Вам свой труд, и было ли у Вас в виду это обстоятельство?

Ехать или не ехать, *to be or not to be*[115] – спрашиваю я себя и утром и вечером – и уто-

паю в пассивном ожидании чего-то, глядя, как у меня зеленеет двор, как сирень буквально лезет в окна, как дикий виноград гирляндами заслоняет солнце от окон. Доктор соблазнительно рекомендует искусственную мариенбадскую воду, говоря, что она лучше привозной. Чего же еще? Разве местная хандра погонит вон, как погнала когда-то меня далеко, чуть не на луну, с Райским, тогда еще молодым и действительно «свежим».

До свидания – или до письма. Крепко жму Вам руку и желаю, чтоб наши обоюдные планы исполнились, хотя откровенно сознаюсь, что не надеюсь на себя, и потому опять повторяю: не возлагайте решительных надежд на мою деятельность и ведите себя так, как будто бы меня не было на свете.

Извиняюсь, что не франкирую письма (не франкируйте и Вы своего): за этим мне надо бы ехать на почту – и тогда бы Вы долго не дождались моего ответа, а ящик для писем рядом со мной.

Алексей Константинович уезжает дней через пять, а вскоре после него и графиня. Он собирается писать к Вам, и оба пока вместе со

мною усердно Вам кланяются.

Искренно преданный Вам

*И. Гончаров.*

## **Письмо Некрасову Н. А., <22 мая 1868>\***

**4<sup>9</sup>** Н. А. НЕКРАСОВУ

Среда. <22 мая 1868 г. Петербург>

Я думал, что Вы уже давно на даче, любезнейший Николай Алексеевич, и только что хотел писать к Вам, как пришла девушка от Вашей хозяйки спросить, буду ли я жить в Лигове, или еду за границу. Я решил ехать и на днях уеду – а Вас и обеих хозяек Ваших – не знаю, как и благодарить за гостеприимное предложение и за хлебосольство вообще. Но это сожителство было бы крайне непрактично собственно для моей цели: то есть для писания. У меня было несколько планов: хотел я жить и в Царском Селе, но это все равно что город; думал было ехать и в Москву к сестре – опять-таки в город – и конец концов – придется ехать за границу, тем более что здоровье мое настоятельно этого требует.

Но тем не менее я очень ценю Ваше любезное и притом бескорыстное предложение, потому что я писал бы, живя у Вас, вещь, которую уже отдал в другой журнал<sup>1</sup>. Стало быть, Вы хлопотали не о выгоде журнала, побуждая меня оканчивать и *развязаться* с этим романом, который, как камень, мешает мне, а собственно из приязни ко мне и к литературе тоже, потому что кое-что слышали из этого романа. Я и постараюсь или кончить его, или, если не удастся, уже брошу его. Об этом Вашем бескорыстном отношении к моему труду я писал за границу к Стасюлевичу и буду также долго помнить это, как Вы помните, что я когда-то служил Вам переводчиком в Дрездене.

Я не думаю, чтобы роман мог годиться для Вас, хотя я не оскорблю в нем ни старого, ни молодого поколения, но общее направление его, даже самая идея, если не противоречит прямо, то не совпадает вполне с теми, даже некрайними, началами, которым будет следовать Ваш журнал. Словом, будет натяжка. Если бы он и дал несколько новых подписчиков, то *Вы сами – сила*, говорит Стасюлевич, и

в состоянии вложить в трюм журнала ту вескую гирию, которая дает ему устойчивость. Притом у Вас есть еще талант – отыскивать и приманивать таланты: Вы щедры и знаток дела. Гг. Елисеев, Успенский, Слепцов и другие работали вместе с Вами и остаются при Вас, кроме, кажется, Успенского, а это тоже – рекомендация.

Что касается до житья на даче, то оно непрактично для меня потому, что мне нужно совершенное уединение, чтобы работать, а у Вас все-таки людно – и притом еще такие добрые и ласковые хозяйки – и я впал бы не в писание, а в болтливость с ними и надоел бы им и потерял бы время.

Вашу хозяйку поблагодарите за внимание – я просил у ней карточки, а она дала мне портретик – это уже роскошь, за что, однако, очень ей благодарен. Видно, что она добрая и балует стариков, хотя, конечно, не без того, чтобы и посмеяться над ними. И поделом, особенно за то, что я дразнил ее Виктором Яковлевичем. Теперь уж не буду, потому что еду, а ему кланяйтесь и скажите, что я, вероятно, уже в последний раз поспорил с ним у

Вас за обедом так же злобно и так же ненадолго, как бывало в Совете. Теперь негде видеться.

Спасибо Вам за то, что помогли мне привести в ясность экономическую сторону вопроса: я воспользовался и для себя и для Стасюлевича, который тоже рассчитывать не мастер, Вашей опытностью, чтоб только знать, на какой корме остановиться, чтоб было как можно выгоднее для меня (это теперь мой хлеб) и для него также. Мы пришли очень к удовлетворительному соглашению и для него и для меня, Я дешево отдал «Обломова» и еще дешевле «Фрегат „Палладу“» – на которые мог бы приобрести тысяч пять больше – вот почему я и колебался. А теперь это дело кончено.

Но я до отъезда на минуту забегу к Вам: девушка сказывала, что Вы переезжаете послезавтра, а теперь страшно голова болит – и я пойду в сад и на Неву подышать немного воздухом, а письмо мимоходом брошу в ящик.

Ваш *Гончаров*.

Я собираюсь выехать или в воскресенье, или в понедельник, и если бы не успел забежать, то уж извините и прощайте. Но Вы за

это не посетуете на меня. Боюсь, что захоплюсь.

## Письмо Стасюлевичу М. М., <30 мая 1868><sup>\*</sup>

5<sup>0</sup> М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

<30 мая 1868 г.> Берлин, четверг. British hôtel.

Милый, добрый, несравненный Михайло Матвеевич, протягиваю Вам обе руки издали и кричу – *благодарю, благодарю*, хотя в то же время потихоньку думаю: да не смеется ли он надо мною – как будто все стоворились жечь меня крапивою беспощадного смеха! Но потом успокаиваюсь – Вы не посмеетесь над тем, что бог мне дал – это бы значило бить меня по самому больному или (как в «Федоре Иоанновиче» сказано) *смертельному* месту. Райский – это моя *подложечка*. И я успокаиваюсь.

Я докатился, как будто не выходя из своей комнаты – благодаря прежде всего Вам, потом В. В. Кистеру<sup>1</sup> (которому пишу сегодня же), благодаря всей этой внезапно, как теплые

волны, окружившей меня ласке, доброте, вниманию добрых людей. И я сам становлюсь добрее, лучше. – Причина этого улучшения, кроме того, лежит и в надежде на довершение моего труда, – в этом вся тайна! – Даже прусские кондукторы и те показались мне добрее обыкновенного: мое желтое, бессонное усталое лицо было, должно быть, красноречиво – едва я сказал, что мне нездоровится и нужен покой, нет ли, мол, местечка в пустом вагоне – он довольно апатично вывел свиту или лакеев герцога Осецка из купе, а меня пустил туда – и всего-то за два талера. И я хотя едва подремал, но был покоен до самого Берлина и что, Вы думаете, делал? А то, что Ваш подарок, книжечка, уже вся исписана заметками на память – и что́ еще после того, что я Вам говорил, прибавилось – я и сказать не могу, дух замирает. Задача становится все глубже, значение ее растет – и мне делается страшно самому – дай боже сил выполнить, и я умру покойно, хоть тотчас, после своей подписи – нет, неправда: прежде хочу прочитать Вам, Толстым, Тютчеву, Боткину (обещано Бобринским – и им) – пусть бы и Анненков и Турге-

нев – да, и он, тонкий знаток и ценитель, и еще кое-кто, теперь еще не могу припомнить кого – (это пока все мечты, надо прежде выполнить) – кружок небольшой, тесный, но избранный, сливки ума и вкуса. – А потом, если все благословят, поднести торжественно Вам, моему литературному пестуну. Но прежде просить умную и добрую С. А. Никитенко взять чадо на свои руки, пересмотреть, водворить внешний порядок – она знает мой уродливый почерк и все мои привычки...

Что это за мечты лезут, – да, лезут: фантазия – это своего рода такой паровик, что дай бог только, чтоб котел не лопнул! Вон тут вчера за обедом сидел Здекауер – доктор (а кельнер сначала назвал его Цикауер) – я незнаком с ним, а то бы попросил какого-нибудь *calmant*[116]. – А то я своею рассеянностью (то есть сосредоточенностью) похожу немного на сумасшедшего – и на меня глядя – улыбаются, а я просто поглощен теперь вполне передо мной развившейся задачей до самого конца: перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы *Райского*, с железным крестом, обвитым тернием. Молчите пока

перед всеми о моих откровениях Вам и о рыданиях тоже: над последними не смейтесь, мне уж и самому совестно их, а первые спрячьте под замок Вашего слова. Бог даст – отопрем под красной – или, точнее, *пре-красной* – оберткой «Вестника» и вторую половину.

Я еду в Киссинген в воскресенье – и вот что намерен сделать: прежде всего заняться тщательно первой половиной, то есть прочесть, просмотреть, переправить, чтобы сдать Вам по условию в сентябре. Теперь, кажется, я могу это сделать, потому что знаю, что должно быть во второй половине, и, следовательно, знаю – что оставить, что исключить.

Между тем это немного успокоит раздражение и на время отведет в сторону напор фантазии. А потом примусь и за вторую половину, сдав первую на попечение Ваше и Софьи Александровны. – Принудьте ее, ради бога (Вы умеете принуждать – я это знаю), взять у Вас хоть рублей 300 из моих *будущих* денег за ее прошлую и будущую возню с моими тетрадями. Ведь у нее нет ни работы теперь, ни гроша денег – а она молчит и страдает. Мож-

но быть и должно – ревнительницей долга, но зачем же, во имя только абстрактной идеи, быть его жертвой без всякой надобности? Орлеанская девственница прекрасна только тогда, когда она необходима, а без надобности она была бы – Дон Кихот в юбке. Я полагаюсь на Ваше уменье, Михаиле Матвеевич, и Вы окажете мне этим истинное благодеяние. Я у ней в долгу как в шелку, – во всех отношениях (как и у многих). – Дружба ее ко мне – это неоплатный долг, о нем я и не говорю. Но он не должен ее лишать *права на вознаграждение за труд*, а труд не в одной только переписке, а в постоянной возне с тетрадями. Я уже писал ей, что она моя – литературная Агафья Матвеевна (вдова в «Обломове»; у меня много разных Агафий Матвеевн, каждая по своей части – я ей писал это).

Вам нет возможности и некогда, как и мне самому (если я буду писать 2-ю половину), возиться с тетрадями первой половины, то есть водворять в них порядок. До этого никому, кроме ее, и поручить нельзя: никакие писцы, ни чиновники этого не сделают – дело тут не в переписке (переписывать может для печати

под ее руководством писец – но непременно под ее руководством), а важно то, что она знает местность – и все, решительно все, что касается до романа. И пусть с этого и начнется ее сотрудничество у Вас: а Вам останется только изредка руководить ее крупными советами, а самому много не беспокоиться и от журнала не отвлекаться. Но только пригласите ее под одним условием, чтобы она за прошлое или будущее – как хочет, но немедленно, *вместе с этим предложением*, взяла бы 300 рублей, о которых говорю выше, и – второе условие – чтобы это делалось между Вами так, чтоб Александр Васильевич и ее домашние не знали, что она копается с моими тетрадями. Скажите просто, что переводит что-нибудь для Вас. Вы все это умеете – и я полагаюсь на Вас. Хотя это ее занятие начнется, может быть, с сентября, но деньги она должна взять сейчас – иначе оскорбит меня, и я с великою печалью должен поручить эту работу кому-нибудь другому.

Так и потрудитесь решительно объявить ей – и даже я уполномочиваю Вас (как делают дипломаты) «прочсть ей эту мою ноту к

Вам».

Я не знаю, будет ли двор в Киссинген – и перестал уже этого бояться: боялся я толпы русских, от которых некуда будет деться. В Мариенбаде в 1857 году – я написал много, потому что мало было знакомых, а в следующие годы – очень мало, так много было знакомых. Все люди добрые, внимательные, и внимание свое доказывали тем, что – мешали. Да я и сам увлекаюсь желанием поговорить то с тем, то с другим – и сосредоточенность пропадает. Я даже, может быть, вот что сделаю – полечусь в Киссингене, переправлю и сдам Вам первую половину, а писать вторую уеду куда-нибудь в Швейцарию или иное место, но в уединение – и если найду одного-двух добрых людей, этого и довольно, чтоб не соскучиться и не одичать, поговорить вечером, а утро – писать. Впрочем, еще не знаю, как оно выйдет.

Я думал, думал – чего же мне бояться в Киссингене: записаться можно и в сюртуке; я и в Петербурге делал так визиты к важным людям: гуляя в сюртуке (а сверху пальто), притворюсь перед швейцаром, что будто я во

фраке, распишусь, да как заяц от крыльца и удеру, чтоб не воротили. И изловчился в этом искусстве. А в Киссингене, может быть, даже придворный этикет и не позволит мне даже и записаться: на это, кажется, нужно иметь известный чин, звание или положение, а у меня этого нет. Стало быть, авось мне можно затеряться в толпе – и оттуда украдкой поглядеть на эту первую русскую женщину, и по месту и по многому другому – как мы с Вами знаем. Вы больше, я мало – потому что Вы позднее меня занимались с Николаем Александровичем и знаете больше.

Сочинение мое, которое Вы теперь знаете не по одним только тетрадям, но и по новой программе, должно носить посвящение (Вы угадываете, конечно, какое) – *русским женщинам*, стало быть и ей... первой. Но прошу Вас, таите это про себя и никому ни слова: я осмелюсь выставить это посвящение женщинам – только когда готова будет и вторая половина и когда Вы и другие (Толстые, Тютчев, Боткин, князь Вяземский) скажут, что претензия моя оправдывается удовлетворительным исполнением моей идеи, а то – если ничего не

выйдет, а я заранее объявлю эту претензию и не сделаю или не доделаю дела – я умру со стыда. Не погубите же меня, мой новый, но более дорогой многих старых друзей друг, и ни слова никому до тех пор.

Вкладываю записочку к В. В. Кистеру в Ваше письмо (а Вы возьмите труд передать или переслать ему) вот по какой причине: я посылаю зараз три или четыре письма, не франкируя (чтобы вернее дошло и чтобы не тащить-ся мне за марками на почту, потому что в гостинице я не поверю писем – пожалуй, бросят) – но не франкировать я могу с знакомыми моими, а г-на Кистера я видел мельком, я одолжен им, выражаю ему благодарность, да еще и заставляю платить – положим, всего двугривенный – да тут невежливости на 100 рублей.

А если дотащусь до почты (дождь идет), то и отдельно пошлю.

До свидания, до свидания. Пишите мне теперь же в Киссинген – *poste restante*, скажите о получении письма, а также и о том, все ли Вы так же охотно и радушно расположены к моим тетрадам, эта охота греет меня – и я ей

начинаю верить. Не давайте мне остывать.

Всегда Ваш

И. Гончаров.

Мысленно роман дописан весь до конца: ах, если б и не мысленно – и так, как он снится во мне, – боже, какое счастье!

Сегодня не могу, а завтра буду писать в Карлсбад к графу Алексею Константиновичу Толстому и к Валуеву – мне нужно писать последнему.

## **Письмо Стасюлевичу М. М., 6/18 июня 1868\***

**5<sup>1</sup>** М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

Kissingen, 6/18 июня <1868>

Barrikaden-Strasse, 93, Haus Büdel.

Давно ли – кажется, вчера, писал я Вам, драгоценный Михайло Матвеевич – и вот опять посылаю несколько строк. Переписка с Вами только подстрекает меня работать: Вы подгоняете меня Вашей бодростью, как кнутиком подгоняют кубарь – и я не дремлю. Отправив к Вам вчера или третьего дня письмо, я разобрал, наконец, и разложил по ящикам

свои тетради, листки, листочки, клочки и carnets[117] – и сунул в них нос. Потом прочел последние две главы, чтобы напомнить себе, где остановился (помните, выстрел и Марк), и вдруг вижу, какие-то еще два-три листа (огромные, в виде простынь) лежат тут же, написанные моей рукой и не переписанные! Что за история, думаю я: и вдруг, что же! Прошлого года, в Мариенбаде, когда я неистово хандрил, точно убитый, напрасно стараясь приняться за труд, я успел нацарапать два-три листа огромных и потом бросил их, как никуда не годные, потому что еще не знал, как разрешится мой узел, остановивший меня. А теперь, когда вспомнил весь свой план (к которому приросло многое, что отчасти сказал Вам в вагоне и чего еще не говорил), вдруг по прочтении этих трех больших листов нашел, что листы эти для меня драгоценны, что в них Марк весь, как вылитый – и Вера тут же и что без этого дальше даже и писать нельзя. «Да как же это, думал я, так кстати приходится то, что я, сонный и вялый, нацарапал прошлого года и бросил?» Да, я не пишу роман – Вы правы: он пишется и кем-то

диктуется мне. Я уже не стал читать старых тетрадей, как хотел было сначала, а бросился дальше и в то же утро, то есть вчера, написал еще два-три листика небольших, но уписистых, и вот опять, стало быть, царапаю. Что будет дальше – не знаю, а писать хочется. В голове оно стоит все готовое, до точки, до моей подписи. Дай бог, чтоб написалось, как оно стоит, – тогда, может быть, Ваш журнал, ученый и строгий, дружески улыбнется мне, а я – когда подпишу свое имя, освобожусь немного от своих сомнений и недоверчивости. Но тогда, не прежде. Погода, слава богу, стоит хорошая, а это необходимо, чтобы работать. Я даже привык к уличному шуму колес, мальчишек, но не могу выносить фортепиан и пения *vis-à-vis*. А соседка поет, завывает с 10 часов и за полдень, именно когда я прихожу с водободрый и сильный. Я скрежещу зубами, закрываю ставни и сижу без воздуха – и пишу – как и сегодня было! Ах, если б я перемог и музыку – да нет, нет тишины на земле! Но если б я и немного написал здесь, все же я по отъезде отсюда усядусь где-нибудь на Рейне, не то так в окрестностях Парило, а потом на мо-

ре – и постараюсь кончить. Дай бог, чтоб нам можно было напечатать весь роман, то есть и до выстрела и *после оного*, не прерывая. «Убыток будет, скажете Вы – когда наберется еще десять или 12 или, наконец, 15 листов: ведь за каждый, мол, по условию, надо платить сверх выстрела 250 р.». Э! Михаил Матвеевич (Вы этого, я теперь уверен, и не подумаете; Вам в голову не придет, потому что для Вас Ваш журнал то же, что для меня – мой роман, я уже знаю Вас и это): не от нас ли зависит изменить эти некрасовские условия и перейти на другие, более скромные? И Вы узнаете меня поближе. Но совсем другое значение получил бы роман, будучи напечатан весь (если напишется), нежели как половина в одном году, да половина в другом. Нет, мы поговорим об этом – и уважение и любовь к делу обоих нас поставит выше всяких расчетов, и мы исполним прежде всего свое призвание как литераторы. Но до всего до этого еще далеко, и я не об этом, а вот о чем хотел поговорить с Вами.

Вы были сто раз правы, советуя мне в Петербурге захватить фрак: но я тогда не послу-

шал, чтоб не набивать лишним чемодан, так как тогда говорили, что двор не поедет. Стало быть, и я был прав, что не взял этого платья. Но теперь, когда наверное известно, что государь и государыня приедут и что русские собираются все представляться им, я, конечно, не могу и не хочу лишиться себя этого счастья – но как и в чем?

И потому спешу спросить Вас: ведь Вы собирались за границу – и даже хотели заехать сюда – скажите, прежде ли их величеств выедете Вы – или после? Если прежде, то – большая просьба – не захватите ли пару черного платья с жилетом у людей моих (надо спросить у девушки, потому что Савелий сослепа или спьяна не то отпустит)? Оно хотя и не новое, но, кажется, еще годится? Или же, наконец, если не годится, я бы заказал в Петербурге у Клеменца (против Думы), не то так в Берлине у Геймана, под Липами, 28, у которого есть и мерка: он давно шьет мне – и попросил бы Вас захватить с собою сюда и заплатить ему что будет стоить.

Жду от Вас благосклонного ответа о том, как Вы разрешите эти мои сомнения и возь-

мете ли на себя труд захватить с собой, если не шутя хотите заглянуть и в Киссинген? Наконец простите ли мне дерзость этой новой моей просьбы?

Ваш *И. Гончаров*.

## **Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 июня 1868\***

**5<sup>2</sup>** М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

Киссинген 7/19 июня <1868>

Barrikaden-Strasse, 93, Haus Büdel.

Я уже писал Вам отсюда, дорогой Михайло Матвеевич, но, получив Ваши живительные строки, немедленно пишу опять.

Прежде всего скажу, что я отыскал доктора Дируфа настоящего, то есть Вашего знакомого (он же и senior[118], а junior[119] – юноша, его племянник, начинающий свою карьеру). Он очень хорошо помнит Вас и радуется, что Вы, может быть, заедете сюда. В сущности мне бы не нужно никакого доктора, потому что употребление вод, режим и проч. – все то же, что и в Мариенбаде. Но я хотел только спросить о ваннах. Он меня осмотрел, аускультировал и

сказал, что во мне все обстоит благополучно, и обещал, что нервы мои поправятся.

Роман (перехожу к тому, что нас обоих едва ли не одинаково занимает) действительно в голове кончен, и если б я так же выразил его, как он досказался у меня в голове, я бы, кажется, был счастлив – хоть тем, что кончил свою задачу.

Но, к сожалению, здесь я немного обманулся в своих надеждах: во-первых, тем, что забыл о расслаблении (временном), которое производят воды и при котором перо валится из рук и голова клонится к подушке. Во-вторых – я писал Вам, что, наравне с другими идеалами, ищу идеала безусловной, почти могильной тишины и нигде не нахожу. Комнатки (две) (дорого – 20 гульденов в неделю) мои уютны, дали мне и письменный стол, и хозяйева ходят за мной усердно – но беда та, что окна выходят на улицу, Откуда доносится треск колес, беготня и крик ребятишек, наконец фортепиано и пение какой-нибудь Матильды Кашперовны, которая в доме vis-à-vis [120] или рядом разливаается в звуках пиано и пении, а сама никак не может сладить с валь-

сом Гуно. Нервы мои раздражаются, я бросаю перо, хожу, пережидаю, не кончится ли? Кончилось – только сажусь, мальчишка играет в дудку и т. д.

А мне необходима тишина, чтоб чутко вслушиваться в музыку, играющую внутри меня, и поспешно класть ее на ноты. Не тут-то было! Будь это, Вы не получили бы от меня такого подробного письма с жалобами. Три таких письма с такими же жалобами уж я послал в Карлсбад, к милому графу<sup>1</sup> – «сыроядцу и убийце», как я называю его; писал и к Валуеву<sup>2</sup> – и в Петербург. Письма, за невозможностью писать другое, есть единственный путь, которым я разрешаюсь своею литературною силою и облегчаю напор фантазии. Это моя другая жизнь – мир фантазии, и Вы правы, говоря, что во мне два человека и что они часто резко противоречат друг другу и что их смешивать одного с другим надо осторожно. Иначе оскорбишь напрасно того или другого – и сделаешь промах, даже почти преступление, сплеча, ничего не понявши, колотя то, что заслуживало бы только нежной, дружеской руки и всевозможной пощады, даже некоторо-

го баловства. Тогда только эта сила и могла быть направлена в свое настоящее русло. Вы угадали все это, как угадываете законы и тайны творчества, будто сами только и делали, что писали драмы, романы и т. д.

Напрасно я ждал, чтоб кто-нибудь понял, успокоил, обласкал меня; напрасно обращался к женщинам – они не понимали этого и наносили беспощадные удары, не подозревая, что это все равно, что бить слепого или ребенка. От этих ударов и злобного, грубого смеха у меня останутся неизгладимые следы. Жду утешения только от своего труда: если кончу его, этим и успокоюсь и больше ничем – и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни *дворянского*, ни *птичьего*, и я сам не знаю, куда я денусь. Жить постоянно вне России, как делает Тургенев, я не могу: может быть, прожил бы год, а на другой, пожалуй, потянуло бы домой, хотя у меня и нет так называемого *homa*[121].

Но довольно об этом. Итак, я еще не начал ни новых глав, ни просматривал и ста-

рых, а вот пока пишу письма да поневоле слушаю уличный шум. Если б началось писать-ся, я бы примолк или написал бы Вам всего два слова – и это был бы хороший знак. Я, повторяю, в голове кончил все – и к тому, что я Вам рассказал, прибавилось многое, но такое смелое и оригинальное, что если напишется, то я буду бояться прочесть и Вам, чтоб Вы не засмеялись моей смелости. Такая смелость может оправдаться только под пером перво-классного писателя – как Пушкин, Гоголь – и как никто больше: разве граф Алексей Толстой, которому дано много пафоса. У меня *мечты, желания и молитвы* Райского кончатся, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины России, наконец Божества и Любви... Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов – и художественно-религиозных настроений... Но бог даст – Вера спасет меня! Как бы только от вод и после вод не прошло раздражение!

А Вы спрячьте и поберегите это мое письмо: если и не кончу, так по нем вспомню, что

я хотел сделать – и доскажу хоть на словах, если не письменно.

Думаю иногда тайком удрать отсюда, бросив воды, и сесть где-нибудь в тишине, рядом с большим городом, Франкфуртом, что ли, или другим, хоть самым Парижем, чтобы из тишины освежаться в толпе – и опять в угол – писать – до тех пор, пока нужно к морю ехать купаться, что для моих нерв, и отчасти ревматизмов – необходимо. Это освежает и укрепляет меня.

Здесь уже, наверное, известно, что царская фамилия будет сюда: как быть? Русские готовятся представляться, следовательно необходимо и мне. Да оно бы и очень приятно и лестно было, но *одежды не имам*, то есть фрака, которого никогда не беру с собой. Если б я знал наверное, что я доживу здесь до тех пор, то послал бы сейчас в Берлин, где у портного есть моя мерка, а если я уеду раньше или если нас не примут, тогда напрасно навяжешь себе еще амуницию, которую надо таскать с собой.

Говорят, Тургенев хотел быть в Петербурге. Не там ли уже он? Поклонитесь ему от меня,

но по уговору – не только не передавайте ему, что говорил я Вам о содержании второй половины романа, но даже не говорите, прошу Вас, и о том, что я хочу ее писать, а просто скажите, что поправляю старые тетради и хочу их у Вас печатать. Вот и все.

Благодарю за исполнение моего поручения к Софии Александровне: уведоьте, прошу, что она: успели ли Вы, только правду скажите оба.

Всегда Ваш  
И. Гончаров.

P. S. Надеюсь, что Вы дадите мне знать, когда будете уезжать за границу, чтобы я не посылал Вам писем в Россию.

До свидания же, милый, милый и добрый  
М. М.

Ваш *Гончаров*.

Извините, что я уже попросил у Вас немного денег вперед для С. А. Извините, если бы случилось и опять – немного же, конечно.

Не будем франкировать письма, а просто кидать в ящик – это легче.

**Письмо Никитенко С. А., 4/16 июля –  
четверг <1868>\***

**5<sup>3</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Bad Schwalbach.

Preussen

Nassau

Coblenzer-Strasse,

№ 16. Zum Adler.

4/16 июля – четверг <1868>

Я получил Ваше хорошее, коротенькое письмо, добрая Софья Александровна, на которое почти нечего и отвечать. Но мне все-таки хочется поговорить с Вами – и я краду даже времени у своих тетрадей. Сегодня был чудесный день, и я написал почти печатный лист, так что утомился и хотел отдыхать остальное время. Но гроза, которая играет в сию минуту на дворе, разогнала всех по домам: ложиться спать рано – и вот я поскорей принимаюсь за перо. Мне нужно много кое-что Вам сказать.

Во-первых, повторяю, что недавно писал – что просьбы Вашей я не исполнил и не сказал

Стасюлевичу, что Вы не хотите переводить Ауербаха<sup>1</sup>. И Вам не советую делать этого, если не хотите произвести на него какое-то странное впечатление. Он и так удивляется Вашим затруднениям взять следующие Вам деньги. Это никакой дружбе не мешает, если только не грошовая дружба. Притом роман так велик, что ему нужно будет два-три переводчика, и он отдает его в разные руки, следовательно Вам придется перевести не очень много. Вы переводите лучше всех – это мое убеждение, то есть очень литературно и добросовестно. Кстати о переводах. Стасюлевич вчера указал мне в окне книжной лавки немецкий перевод Обломова<sup>2</sup>, только что вышедшей в свет. Я терпеть не могу видеть себя переведенным: я пишу для русских и меня все не льстит внимание иностранцев. С Германией нет конвенции, а то бы я не позволил [122].

...Во-вторых – я к Вам с большим поклоном: я сдал Стасюлевичу первую часть, кое-как приведя ее в порядок. Но печатный отрывок (Софья Николаевна) до того перечеркнут и до того некоторые тетради испещрены мои-

ми поправками, что никакая типография не взялась бы набирать по такому оригиналу. Поэтому, за исключением двух последних печатных глав («Бабушка» и «Портрет»), все остальное надо переписать – к ноябрю месяцу. Это ужасная работа – и если б Вы знали, как мне жаль и больно обременять Вас ею, потому что время Ваше, никогда не пропадающее даром, может быть употреблено гораздо лучше. Он через две недели уезжает: видите, я не совещаюсь или хотя и совещаюсь, а все же лезу к Вам, как Вы меня ни бьете, и все по моим делам! А Вы церемонитесь со мной по-китайски!

Теперь не угодно ли Вам представить себе вот что: сегодня, например, я хожу по тенистой аллее (против квартиры моей и Стасюлевича) и готовлю урок себе после завтрака, то есть обдумываю главу, а под деревьями расставлены столы, за которыми сидят группы дам за кофе – и так по всей аллее[123].

...Если Вы не до конца прогневались на меня, то: когда Стасюлевич отдаст Вам переписывать первую часть, то, из предосторожности от огня или вообще пропажи, отдайте ему

черновую мою рукопись, чтобы он хранил ее запечатанною у себя. Таким образом, два экземпляра будут в разных местах: один пропадет, другой уцелеет. И это хорошо бы сделать тотчас же. Черновую рукопись припечатайте еще, отдавая ему, Вашей печаткой, чтоб у него не рылись в моих бумагах какие-нибудь сотрудники. Я терпеть не могу, пока рукопись не напечатана, чтобы о ней знали в публике: после читатель встречает равнодушнее, зная заранее что́ будет. Да и перевирают. Вон А. Н. и покровители<sup>3</sup> ее думали же, что я с нее пишу, а о ней я даже и не вспоминаю никогда, когда пишу свои тетради, а вспоминаю только впечатления, ощущения и страстишки, которые в разные времена жизни посещали меня самого, и вспоминаю это затем, чтоб вложить в разных героев и героинь, никогда ни с кого не срисованных. А. Н. всем воспользовалась, чтоб обрушить на мою голову всевозможные обвинения, только чтоб ее покровители разлучили с мужем и доставили возможность быть недалеко от Владимирской, близ *него*. Она, кажется, с этой целью и отца Вашего затрогивала. «Господи! – восклицает

какой-то малороссиянин у Гоголя, – и так много всякой дряни на свете, а ты еще жинок наплодил!»

Если же приезд сюда А. Н. – не есть случайность и опять чья-то штучка, то, право, кому-нибудь тошно оттого, что я жив, и все хочется как будто сбыть меня со света, не давать покоя и мешать работать.

Ведь Вам мое длинное письмо ни в чем не помешает, а потому не отвечайте на него длинным же, а то я опять увлекусь желанием отвечать и отвлекусь от работы. А пишу по привычке поверять Вам все вообще и между прочим об А. Н., о которой только и могу говорить с Вами да с отцом Гавриилом. Не забудьте прочесть ему это мое письмо: пусть он не поскучает выслушать. Я спешу написать это все Вам затем, чтобы и он и Вы, услышавши от кого-нибудь, что и А. Н. и я – в Швальбахе, не подумали, что я поехал сюда, зная о ней что-нибудь, и не обвинили бы меня, как ее покровители, с ее слов и жалоб – и по наружным признакам. Боже меня сохрани! Я бы тогда ни ногой сюда! И теперь ничего: не подходи она ко мне, не останавливай, словом не за-

трогивай – и я не только не заговорю с ней, даже лишнего взгляда не кину – и мне ни-сколько не мешает работать то, что она тут близко. Прощайте. Дайте руку. Если будете в городе, возьмите на себя труд заглянуть ко мне и в двух словах когда-нибудь дайте знать, все ли благополучно. От Варвары Лук. Лукьяновой я что-то давно, то есть с неделю, не получал письма: у ней какие-то десять дней каникул выходит – не уехала ли она на дачу.

Вашим всем – глубокий поклон. Скажите, чтобы извинили за неписание, что я *привожу тетради старые в порядок*: так и другим говорите – не больше. Между тем у меня уж написано 25 листов – и, пожалуй, выйдет столько же, если не больше.

Ваш всегда *И. Гончаров*.

## Письмо Стасюлевичу М. М., <4 декабря 1868>\*

5<sup>4</sup> М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

<4 декабря 1868 г.> Четверг. <Петербург>

При этом прилагаю сверстанный лист и одну только 9-ю форму третьей корректуры, а остальные позвольте удержатъ. Они, я полагаю, будут готовы в субботу утром.

Вы говорите, что тема *разговора Веры с Марком одна и та же и во 2-м свидании*: оно иначе и быть не может. Дело не в тождестве темы, а в нестерпимой болтовне. Я полагаю, что этот разговор – самое слабое место в романе, и потому сделаю что́ только можно, то есть сокращу.

На это употреблю весь завтрашний день и даже, может быть, вечер. *Поэтому и не могу обедать у Вас* (в чем извиняюсь и о чем жалею): я усну после обеда, чтобы заняться ночью, а в субботу рано утром все три остальные формы будут лежать за дверью и Ваш посланный получит их.

Ваше замечание о *точках* совершенно

справедливо. Их тут так много, как в прейскуранте, и я их уничтожу.

Теперь еще начало месяца, и я полагаю, что от меня задержки не будет. Завтра же (в пятницу), может быть, я зайду около обеда или после обеда на минуту к Похвисневу и покажу ему то место, где Марк говорит, что он *терпеть не может попов*, чтоб потом сомнений и придирок не было.

Я было раздумал делать это, но сегодня узнал, что «Вестник Европы» в Совете поручен наблюдению Фукса<sup>1</sup>, а тот господин меня не жалует – и потому воспользуется всяким случаем, чтобы мне нагадить.

Прощайте до свидания.

Ваш И. Г.

# Письмо Стасюлевичу М. М., <31 января 1869>\*

5<sup>5</sup> М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

<31 января 1869 г.> Четверг. <Петербург>

Посылаю Вам, любезнейший Михайло Матвеевич, не все: остальное – в субботу утром, если успею, потому что, кажется, завтра мне нельзя, хоть на полчаса, не появиться на вечере у Троицкого<sup>1</sup>.

Если типографии ничего не значит в десять рук набрать в три дня десять листов, то автору, притом еще такому старому, как я, не под силу просмотреть и исправить эти десять листов в такой короткий срок. Вообще эта почтовая гоньба мне кажется не только неразумным и бесполезным делом, но положительно вредным делом как для авторов, так и для самой редакции. Я, воля Ваша, никак не могу, по крайней мере относительно себя, признать необходимости жертвовать первостепенными и важными интересами, то есть добросовестностью и тщательностью художественной отделки, такому мелкому интересу,

как появление книжки в 12 часов 1-го числа!

Все это говорю я по поводу того, что сегодня, когда я сказал, что мне необходимо сделать еще сокращения (и неоцененные для меня поправки) в третий раз, Вы опять сильно восстали против этого (и даже в лице изменились): такое равнодушное отношение Ваше к произведениям беллетристики вообще, и к моему в особенности, удивляет, огорчает меня и сильно противоречит тому вниманию и уважению, которое Вы оказывали моему труду. Стало быть, оно было неискренно, иначе бы Вы не решились обнаружить, что ставите художественный интерес романа ниже такой мелочной причины, как появление книжки непременно 1-го числа!

Было бы совестно такой пустой причиной стеснять автора, которому оказали такой почетный и радушный прием.

У Вас иногда вырывались уже готовые возражения в ответ на это: «Если поправки будут делать в сверстанных листах, то типография вместо 1-го марта приготовит книжку 20-го апреля»; далее: «это значит становиться на скользкий путь» (то есть опаздывать книжка-

ми).

«Вместо 1 марта – 20 апреля»: говоря серьезно, оставим гиперболы. Я знаю отчасти типографское дело, я не в первый раз печатаюсь, и ни в «Отечественных записках», ни в «Современнике» никаких страданий и стеснений – им от меня, а мне от них – не было. И оба они, особенно «Отечественные записки», выходили в свой срок и считались аккуратными журналами.

Что касается до *скользкого пути*, то позвольте заметить, что скользкий путь для журнала заключается не в том, в чем Вы полагаете.

Укажу на «Русский вестник»: он дошел до крайнего безобразия в опаздывании книжек, однако авторитет его остается все тот же и уважение к нему не уменьшается, даже едва ли уменьшаются и подписчики.

А вот «Библиотека для чтения», например, погибла не оттого, что опаздывала (она когда-то тоже была на аккуратность – выходить непременно 1-го числа), а потому, что вместо даровитого Сенковского<sup>2</sup> и его прежних сотрудников налезли туда Старчевский и К<sup>оз</sup>.

Следовательно, как ни будьте аккуратны, а не этим приобретете и уважение и фортуны.

*Скользкий путь* начнется для «Вестника Европы» с той самой минуты, когда возникнет и обратится в городской слух такое, например, мнение, что «в „Вестнике Европы“ помещается-де такой гнусный перевод романа, что читать нельзя», или что «так в переводе искажено капитальное немецкое произведение, что – и батюшки мои!» А таких довольно двух-трех городских слухов, чтобы поколебать добрый кредит журнала! А укажите пример, не принимая крайностей в соображение, чтобы одно опаздывание книжек погубило журнал? Нет его! Даже издания Кони<sup>4</sup>, выходявшие в числе двух книжек в начале года и потом прекращавшиеся, на следующий год, при новом объявлении, опять находили подписчиков! Да, публика снисходительна к мелочам и терпеливо ждет книжек, лишь бы это были книжки, наполненные достойного содержания, с *достойной обработкой*, а не труха! На-днях еще я слышал великие похвалы «Вестнику Европы», а особенно за то время, когда он выходил *четырьмя книжками* в

год: что этому за причина, как Вы думаете? Уж, конечно, не то, что они появлялись 1-го числа! За это нынешний «Вестник Европы», кроме легкой, пожалуй одобрительной улыбки, ничего больше от читателя не стяжает!

Из всего сказанного явствует, что Вам, почтеннейший Михайло Матвеевич, следует не пугаться и не делать мне свирепое лицо, когда я Вам говорю, что надо еще кое-что поправить, сократить или изменить, хотя бы то и в сверстке было, а всячески этому помогать и устранять препятствия, пускай с некоторыми пожертвованиями времени или денег, потому что это одинаково усугубляет достоинство как и романа, так и журнала!

Я никогда не забуду того, что по милости этих каких-то соображений печатного станка у меня во 2-й части «Обрыва» вкрались в печать холодные и зевото-возбудительные столбцы длиннот, которых бы не было, если бы я видел их не в столбцах только, но и в страницах! Привычка читать страницы во всех нас укореняет привычку видеть яснее и ошибки в страницах, а не в столбцах! И притом спех – плохой товарищ прочному делу!

А к этому еще адский спех, потом неудовольствие и нежелание даже поправить ошибку или длину – и с чьей же стороны? Со стороны редактора, которого интерес в этом отношении солидарен с интересом автора! Я никак не могу допустить, чтобы Вы рассуждали так: «Мне бы лишь был его роман, а каков он выйдет – за это отвечаю не я, а автор».

Если это так, то тем менее я могу стесняться Вашими соображениями насчет 1-го числа. Я могу думать в свою очередь так: «Мне лишь бы обработать мой роман, а там мне дела нет, выйдет ли книжкой 1-го или 10-го числа!»

Нехорошо такое рассуждение с обеих сторон.

Нехорошо, если Вы про себя даже воскликнете: «Вот еще, стану я *для него* останавливать всю книгу и тянуть за 1-е число» и т. д. Если дело само по себе требует этого, то и должны затягивать *и для меня* (Вы мне сами подали повод задирать высоко нос, выразив мне, наравне с гр. Алексеем Константиновичем и графиней и со многими другими, прибавлю, Ваше одобрение и уважение) и для

всякого другого, кто будет на моем месте, то есть в 1-м отделе «Вестника Европы», в беллетристике. Сами же Вы говорили, что Тургенев из-за границы присылал по несколько слов переменить или добавить в своей рукописи («Бригадир»), которая была уже в Ваших руках. И объясняли это правильно и отлично тонко – тем, что художник заботливо до последней возможности отделяет свое произведение.

Отчего же Вы мне отказываете в этом моем праве – и не только не хотите помогать мне в этом, но сажаете меня буквально самого под пресс Вашего станка, тогда как моя добросовестность в отделке (по мнению многих других) делает мне честь, и стесняете меня не стоящими в моих глазах никакой цены причинами срока и т. п.!

Вы более других способны понять различие между художественным произведением и компилятивной статьею или переводом, следовательно от Вас (и именно я лично – от Вас) должно ожидать и более пощады и кон siderации к труду такого рода.

Если Вы признали за Тургеневым право и

поняли его побуждения менять (даже из-за границы) слова и выражения коротенького рассказа, то Вы должны понять еще более мои затруднения и беспокойства относительно поправок в *пятом* романе, на тысяче с лишком страницах, и оценить мою тщательность в обработке, так как от этой тщательности выигрывает и Ваш журнал! А Вы – сердитесь на то, что я серьезно и строго отношусь к своему произведению и отказываете мне дать взглянуть в Ваши сверстанные листы, «потому-де и потому»... и т. д.

Этих *потому* для эстетических произведений существовать не должно – если они в самом деле эстетические: пусть опоздает хоть месяц, а произведение должно явиться не в оборванном, недоконченном виде или с наростами, длиннотами и т. д. За эти последние полетят камни и в автора и в Вас, а за то, что опоздаете и потом дадите выработанное произведение, Вам скажут только спасибо.

«Мало разве времени было», – заговорите Вы и т. д. Мало! отвечу я: художнику всегда мало времени! И потому редактор с ним должен многое изменять из своих «непоколеби-

мых» правил, иначе он – не редактор, а так, гнусность!

Помните, что у меня не пять страниц, а пять частей! И потому не тесните меня и не гоните, как почтовую лошадь, потом не удивляйтесь, если я попрошу вставить или убавить что-нибудь даже и в сверстке. Поступить иначе – было бы варварство.

Кончаю просьбой и вопросом: так как 3-я часть (то есть мартовская книжка) у меня в романе – лучшая и я *дорожу ее обработкой и тщательным отпечатанием*, то и прошу Вас покорнейше, кроме двух обычных корректур, присылать мне и сверстанные листы, *по мере того как они у Вас верстаются*, то есть по два листа разом, начиная с первого же листа: я желаю видеть, как типография исправляет мои изменения, иногда довольно важные, делаемые нередко в 3-й корректуре. В сверстанных листах Вам больших поправок опасаться нельзя, так как до того времени я уже поправлю по двум корректурам, да Софья Александровна следит особо по дублету.

От тщательной обработки и отчетливого отпечатания 3-й части зависит участь впечат-

ления всего романа, которого она составляет главное звено.

Вопрос: можете ли Вы и угодно ли Вам будет исполнить эту мою справедливую просьбу? Буду ждать ответа, а в ожидании дружески кланяюсь Вам

И. Гончаров.

Хотеть в три дня отмахать десять листов, рвать и метать – невозможно: даже и Поль де Кока жалко бы было так печатать!

## **Письмо Майковой Е. П., <январь – февраль 1869>\***

**5<sup>6</sup>** Е. П. МАЙКОВОЙ

<Январь – февраль 1869 г.> Пятница. <Петербург>

Не в первый раз, милая Старушка Екатерина Павловна, Вы дружески сочувствуете моим трудам. Вчерашняя записка Ваша напомнила мне, с каким приятным волнением Вы слушали «Обломова», какое горячее письмо написали мне после чтения. А помните, как усердно и радушно переписывали мне, лет десять тому назад, программу нынешнего моего рома-

на «Обрыв»? Во второй части этого романа у меня еще цела переписанная Вашей рукой тетрадь (и если бы мне почему-нибудь понадобилось вспоминать, как давно родилась и обрабатывалась у меня мысль этого романа, я смело могу обратиться к Вам и к Вашему свидетельству, вместе с немногими другими лицами, как к участнице моих литературных замыслов. Я тогда все поверял Вам их, Вы переписывали, следили с участием и, конечно, при случае припомните это. Но такого случая я не предвижу: разве когда умру, и тогда понадобится спросить кого-нибудь, когда у меня готова была программа до самого конца).

Мне очень приятно, что Вы отдаете мне справедливость за то, что «я остался тверд и не искал популярности в литературе»: с удовольствием принимаю Ваше одобрение и смею прибавить, что оно не незаслуженное и не преувеличенное. В мои лета мне можно предвидеть, и даже должно, что есть прочного, глубокого, истинного и разумного в том или другом движении умственном, социальном и т. д., и, следовательно, удержаться от увлечения, которого исход я приблизительно

угадывал.

Что касается до Вас, то скажу Вам, что я знал, что Вы скажете мне когда-нибудь то, что сказали теперь, то есть что я прав, что остался при своих убеждениях и не поддался временному движению в литературе. В пылу охватившей всех какой-то суматохи Вы могли счесть меня отсталым, отупевшим, но я был покоен, предвидя, что и Вы и некоторые другие замените со временем эти эпитеты другими. Вашему уму, часто уступающему воображению и, следовательно, поминутно увлекающемуся, свойственно, однако, сознание, а всей Вашей натуре – чувство правды. Оттого я и был в Вас так уверен.

Погодите предсказывать успех моему новому труду (для Вас и некоторых других давно не новому) по крайней мере до мартовской книжки «Вестника Европы»: первые две части залежались, страшно растянуты: это длинная и скучная экспозиция, вроде Пролога, которую я уничтожил бы совсем, если бы она не была тесно слита с остальными частями. Если что и может сделать впечатление, так это разве несколько женских лиц, да и са-

мый *Обрыв*, то есть драма, разыгрывающаяся в конце романа. А Райский сам – ничто: он играет роль проволоки, на которую навязаны марионетки. Вот когда все кончу (если ничто не помешает) и впечатление будет благоприятное, тогда оброните еще несколько ласковых слов на мою плешивую голову.

А может быть, Вы и побраните меня за одну личность: это за *Марка*. Он имеет в себе кое-что современное, и то несовременное, потому что во все времена и везде были люди, не сочувствующие господствующему порядку. Я его не оскорбляю, он у меня честен и только верен себе до конца.

Весь роман похож на громоздкий омнибус, тяжело переваливающийся по тряской мостовой.

Получив Ваше письмо, я сейчас пошел было в дом Бутурлиной, но там Вас нет, а адреса Вы мне не дали, и потому я пишу через Владимира Николаевича.

Я теперь весь ушел в свои тетради: марая, исключая и т. п. Живу ночью, а днем сплю, потому что страдаю бессонницею и крайним раздражением нерв и приливами. Не знаю,

доживу ли до конца работы. Никуда не хожу, и никто не ходит ко мне.

Прощайте, милая Старушка – дайте мне в двух словах знать, дошло ли это письмо до Вас.

Весь Ваш *И. Гончаров.*

## **Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869>\***

**5<sup>7</sup>** Е. П. МАЙКОВОЙ  
<Апрель 1869 г.>

...[124] и если б у меня была одна только эта задача (то есть если б не Обломов и не Райский были главной моей заботой), я и разработал бы ее как следует. Но я кинул только вопрос, оставив его решение другим. У меня первоначальная мысль была та, что Вера, увлеченная героем, следует после, на его призыв, за ним, бросив все свое гнездо, и с девушкой пробирается через всю Сибирь. Но это уже бывало сто раз – и меня поглотил другой вопрос, который и поставлен мною в 5-й части. Это анализ так называемого *падения*. Притом меня увлекла художественная сторо-

на драмы, и я здесь чисто отдался своему художническому инстинкту – и, может быть, сделал хорошо, оставив в стороне тенденцию. Впрочем, Вы увидите. Надеюсь, что Вы еще до отъезда успеете прочесть пятую часть.

Ваши похвалы всегда были для меня дороги – и оттого моя боязнь и недоверчивость относительно Ваших похвал была более чутка, нежели относительно других.

Дальше Вере итти некуда – сами Вы признаетесь, что *ничего еще не выработалось*. Следовательно, романисту остается выдумать и узаконить еще небывалое положение для женщины – или если и бывалое, то терпимое, с значительным снисхождением, и прежде и теперь: Жорж Занд в своей «Лукреции Флориани» захватила много – и конечно, кое-что завоевала, но едва ли победа пойдет дальше того, где она остановилась теперь. Следовательно, и я не знал бы, что им дальше делать из Веры, или если и знал бы, и – пожалуй – знаю, то все не вышло бы ничего нового. Она последовала бы за своим героем, разделила бы его участь, была бы полна безупречно страстной преданности ему – и если б не было у ней де-

тей, то искала бы сделаться полезной, необходимой другим – конечно, разделяла бы и его убеждения. – Но все это будет делать и теперь, может быть, с другим, которого оценила поздно. Словом, будущность женщины (для меня, впрочем, она ясна), той женщины, о которой Вы говорите, еще в тумане, и я не знаю ее.

Я повторю опять, что и Вас я знаю мало, да Вы и не позволяете вникать ни в Ваши мысли и убеждения, ни в обстоятельства, только что Вы правы, сказавши, что между нами что-то есть: *ложь*, говорите Вы: *розница* или *неизвестность*, назову я. Кто же виноват в том, что я не знаю Вас.

Возвращения Вашего в прежнее Ваше семейство я жду – совсем не в видах какой-нибудь добродетели, идеалов романа или тупой покорности долгу, когда ему препятствуют какие-нибудь сильные преграды.

Но я полагал, что какие бы противные и неприятные ни были стороны в Вашем прежнем быту, но все же – ...[125]

Извините, что, любя Вас, возлагая так много надежд на Вашу богатую натуру, я ждал и мечтал для Вас того, что оказывается Вам

невозможно. – Потом я желал этого и для Вас самих, для Вашего здоровья, для Вашего будущего, с летами покоя и благосостояния среди собственного семейства. Я серьезно думаю и убежден, что женщина и в браке и вне брака должна быть свободна, то есть пусть делает что хочет, лишь бы не обманывала и не унижала себя ложью. Вас мне жаль видеть в бродячем положении и по слабости Вашего здоровья – и потому (мне кажется), что на прежнем месте Вы более сделали бы добра.

В Вашем письме меня радует прежде всего, что оно на двух листах – значит, как Вы не сердитесь, а все же Вам не неприятно поговорить со мной. А потом то, что Вы строго отделяете художника от человека: то есть, не соглашаясь с моими убеждениями, Вы, однако, тонко и даже раздражительно сочувствуете поэзии, искусству. Это драгоценное раздражение было и в Белинском, вначале и в Добролюбова, пока это влечение к красотам искусства он не подчинил слепо другим стремлениям. У последующих критиков стремления возобладали уже совсем над всяким эстетическим раздражением – и в Писареве эта струя

совсем исчезла, у него уже чисто одна головная критика.

Все это я понимаю, то есть несочувствие к искусству, но зачем и вражда к нему – этого не понимаю.

Итак, я верю искренности Вашего одобрения, дорожу им и протягиваю Вам дружески обе руки, нужды нет, что не знаю Вас теперь, а все же старая дружба (как и старая любовь) не портится. – Прощайте.

Ваш *И. Гончаров*.

## **Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869>2\***

**5<sup>8</sup>** Е. П. МАЙКОВОЙ

Воскресенье <апрель 1869 г.>

Ваши письма делают мне большое удовольствие, милая Екатерина Павловна, по многим причинам. Они прежде всего умны, хотя часто и парадоксальны, но в них есть жар, фантазия. Потом они переносят меня к старому времени, в которое мне жилось легче, моложе, лучше и т. д. Я всегда рад Вас видеть, и напрасно Вы «бывши, по словам Ва-

шим, два раза около моих дверей», не зашли. Если письма Ваши приятны, то личная беседа – еще приятнее.

Вы немножко нападаете на меня за роман, то есть за Марка Волохова. Не Вы – первая: были и другие нападки, и я уже выдержал не один спор, хотя спорить тут не о чем, с Вами в особенности, потому что Вы знаете, как давно задуман этот роман. У меня от конца пятидесятых годов осталась переписанная Вашей рукой копия с той самой главы, где действует этот Марк. А сказать ли, когда задуман этот роман? В 1849 году, когда я сам был на Волге – и хотя я там родился, но тут как будто в первый раз увидел этот край и людей. Там задумана была и Вера, никогда не существовавшая, – это мой тогдашний идеал. Марфеньки никакой я не знал никогда, а в бабушке воплотились некоторые черты характера моей матери – и как я замечаю теперь сам (когда вся она вылилась у меня) – еще другой старухи, которую знал студентом в Москве.

В Райском угнездились многие мои сверстники (вроде, например, В. П. Боткина, самого Тургенева и многих, многих даровитых рус-

ских людей, прошатавшихся праздно и ничего не сделавших, за недостатком удобренной почвы и по многим причинам), но Вы напрасно обвиняете их в одном будто бы разврате. Они развратны не более новых людей, только разврат их утонченнее, он брал больше места в их жизни – это правда, но он граничил с поклонением не одной только женской, но и всякой красоте, что теперь значительно утратилось за недостатком эстетического воспитания в молодом обществе. Причина этому – отвлечение молодых людей к социальной и ученой (стало быть, конечно, серьезной) стороне жизни, но это тоже узкость и односторонность своего рода – жертвовать известной стороне всеми остальными и, между прочим, эстетической стороной, отвергая ее вовсе, как и печатно и изустно делали это вожди молодых людей, глумясь над искусством, ругая на повал, например, Пушкина (я собственными ушами слышал ругань из уст одного из вождей) и т. д. Очень понятно, что воспитание и деятельность молодого поколения ушла в одну сторону и не дала ни одного художника своему времени. А между тем не от нас, ста-

риков, а от этих новых художников она только и могла ожидать создания лучших типов новых людей, которых мы, старики, не можем ни знать хорошо, ни быть их адвокатами и певцами, по свойственному человеку влечению любить свое время, быть верными своим взглядам, убеждениям и принципам, по которым жилось так долго.

Я совершенно согласен с Вами, что это лишнее в Марке, что он занимает деньги, надевает чужое пальто и т. д. Но это такие внешние и поверхностные черты, что рисуют не характер, а только привычки небрежного воспитания. Но ведь Марк во 2-й части – не то, что он в 3-й, 4-й и 5-й: он у меня вышел сшитым из двух половин, из которых одна относится к глубокой древности, до 50-х годов, а другая – позднее, когда стали нарождаться новые люди. Первоначальный Марк задуман был как враг старого порядка – это правда, но таким пока врагом, который протест свой против старой дури, своеволия и прочее выражает, рисуя карикатуры, травя собаками полицию и вообще преследуя грубо и цинически, что ему не нравится.

А после уже он является немного иначе, но тоже нехорошо. Эти крайности, повредившие серьезному направлению молодых людей, проявлялись не в двух-трех нигилистах, как вы говорите, а в целом легионе, который вдруг явился в семействах, на улицах – всюду, наводнил города – и я сам видел (не двух и трех, а десятки) их в 1862 году и в Москве и на Волге, а не на «племяннике» моем, по Вашим словам.

«Это пародия на молодых новых людей», – пишете Вы, и юное поколение их не любит – согласен. Отчего же и не писать пародию, если она попала под руку? Почему я должен писать непременно то или другое, а не то, что пишется?

Если это не верно, не годится, то критика и скажет, что не годится. А оно не годится только тогда, когда не похоже. Но критика не может требовать, чтобы автор писал не то и не так, как указывает ему его дарование, если оно есть. Судя меня строго, не выпускайте из вида одно обстоятельство, что моя главная и почти единственная цель в романе – есть рисовка жизни, простой, вседневной, как она

есть или была, и Марк попал туда случайно. Доказывать, натягивать – я ничего не хотел, а хотел прежде всего рисовать. Произведение искусства – не есть ни защитительная, ни обвинительная речь и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает. И если образ верен, он что-нибудь сам собою и докажет, если не верен – то он не художественное произведение и, следовательно, не годится.

Я так охотно говорю только потому, Екатерина Павловна, что я говорю с Вами. Мое влечение к Вам не есть влечение к хорошенькой женщине – Вы это знаете. И Райский у меня – не одной красотой лица увлекается (как это будет дальше). Вы помните, как охотно я спешил к Вам и предпочитал Вашу комнату в Вашей семье *аристократическим бударам* (как Вы говорите) и Вашу беседу беседе с *раздушенными барынями* – отчего же? Ведь у меня «любовных» видов на Вас не было и никакой такой благодати я от Вас не ждал? Следовательно, в женском Вашем уме и честном характере находил больше красоты, нежели на красивых лицах и плечах «раздушенных ба-

рынь».

И от этого же и теперь пишу это письмо и говорю о романе, а он старый-престарый – и говорить о нем много нечего[126]... –

## **Письмо Никитенко С. А., 15/27 мая 1869\***

**5<sup>9</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Берлин, четверг, 15/27 мая <1869>  
Britisch hôtel.

Кланяюсь Вам отсюда, из моей летней резиденции, или одной из летних резиденций, добрый друг Софья Александровна. Получили ли Вы «Отечественные записки» от Вашего швейцара, которому я мимоездом сам отдал майскую книжку? Я ехал и приехал сюда с необыкновенною кротостью сердца и тупоумием. Всех ближних люблю, врагов обнимаю мысленно (в том числе и А. Н.: ведь она враг мне, следовательно и ее надо любить) – но только бы мне никого из них, или по крайней мере некоторых – не видеть! А гнева у меня ни на кого нет: одна сладость и скука в сердце!

Так пара лошадей и коляска привезли меня в ту же отель, только и перемены, что обер-кельнер другой. Прежний жил долго в России – и вывез оттуда, с умением говорить по-русски, пьянство – и спился, как мой Савелий! – Нам в России, кстати замечу при этом, предстоит решить свою особенную экономическую задачу, какой на Западе нет: это – изобрести или создать другую большую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питейный доход, а затем уже начать великое дело – отучать народ от пьянства. Это будет вместе и нравственная задача. Авось бог даст нам какого-нибудь финансиста и моралиста с светлой головой и великим сердцем между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино морально убивает бóльшую часть, что есть лучшего в народном духе, в силах и дарованиях. Это не ново, но требует непрерывного повторения, чтобы народ проникся идеею воздержания, как одиннадцатою заповедью.

Пишите мне в Киссинген (Kissingen, Bayern, Poste restante), куда я полагаю отправиться в понедельник вечером. Не хочется

мне забиваться в угол от большой дороги, то есть в Мариенбад, и боюсь тамошних холодов, раздражающих нервы. Лучше выдержу недель шесть в одном месте, а там здоровье – как себе хочет!

«Обрыв» дошел и сюда. На самой границе я, по поводу его, встретил самый радушный прием и проводы. Директор таможни русской бросился мне в объятия, и все члены ее окружили меня, благодаря за удовольствие! Я заикнулся о том, что на обратном пути желал бы доехать также отдельно, покойно, один в особом помещении. «Что хотите, что хотите! – сказали они. – Только дайте знать, когда будете возвращаться». И в Петербурге начальник и помощник станции были любезны и посадили меня в особый уголок, а на окне написали мою фамилию, с надписью *занято*. Все это глубоко трогает меня. Сочувствие, доброта и внимательность одних понемногу мирят меня, хотя медленно, с злостью других. – Здесь тоже прибежали ко мне прошлогодние молодые люди (я познакомился с ними через Стасюлевича и Утина<sup>1</sup>) и не знали, как выразить свое впечатление, и выразили прекрасно,

именно тем, что затруднялись, что сказать, а говорили клочками, скачками, указывая то на ту сцену, то на другую, на характеры, и смотрели на меня сияющими глазами и до сих пор не знают, чем услужить мне, куда повести. А я немного боялся встречи с ними, думал, что они прихватили здесь немного нигилизма, и вчера уклонился итти с ними куда-то обедать, где собираются русские молодые люди. А оказалось, что они смеются над нигилизмом за то самое именно, что нигилисты находят неприятного себе в романе. Эти, напротив, за то самое хвалят. Смеются они тоже и над маленьким Утиным, который берется разобрать меня печатно. «Где ему – он не даровит и не довольно умен для этого, – говорят они. – Любит он сам жуировать, а идеализирует все какие-то высокие стремления», – словом, считают его за ребенка.

Я удивляюсь в этом случае Михаилу Матвеевичу, что он, дорожа так внешнею аккуратностью выхода журнала, типографскою исправностью, мало проникнут моральным достоинством журналиста. Я его остерегал от слишком юных сотрудников. Они напустят

ему воды – или *слюней*, как неизящно выразился я, прямо указывая ему на его родственника. Сколько он наговорил об Островском, например, и местами недурно, а в целом вышла болтовня. Вот он недоволен направлением моего романа, а собирается, как я вижу из его слов, выразить недовольство и художественную сторону.

Ужели Стасюлевич даст ему? Я передал им обоим мнение одного очень умного человека, который сказал, что молодой человек, даже даровитый, не может разбирать этого романа. Для этого нужна зрелость: чтоб человек пожил и узнал опытом жизнь. – Я не требую похвал себе, но желал бы, конечно, чтобы к труду моему отнеслись серьезно и зрело, притом искренно, а не давали на жертву грудным младенцам. – Если Михаил Матвеевич даст это сделать – у него в журнале моя рука, а в доме нога никогда не будет. – Ему бы подешевле, да еще близкому лицу дать, а там отвечает ли это строгости сочинения – все равно. Он, как мы с Вами очень хорошо знаем, тонок, ловок и изворотлив на мелочи – и весь устроен из этих тонкостей, но – как я вижу –

он не стоит на высоте строгого понятия журнальной обязанности. – Все это я высказывал ему и выскажу опять при свидании. Он, кажется, тоже едет в Киссинген. Я охотно буду видеться с ними обоими (то есть с ним и женой его – она лучше его, проще и добрее), потому что привык их часто видеть в последнее время. – Туда же приедут другие знакомые, Тепловы, – тоже приятные люди, с которыми я буду менее скучать. – А оттуда уж я не знаю, куда денусь. У меня на паспорте есть и итальянская *visa* Пинто, но это только так, потешить воображение, потому что Стасюлевич однажды сказал, что, может быть, проедут в Венецию. Куда мне в Италию! Ленъ-то какая! А чемодан?

Мне показалось в последний раз, что Вы были как будто сердиты или скучны, или недовольны: что с Вами? Уж не я ли виноват? Напишите и об этом.

Весь Ваш *И. Гончаров*.

Это письмо придет к Вам через m-me Лукьянову по городской почте – будто не от меня. В противном случае надо бы было написать и к Вашим, а мне не хочется и нечего.

В одном поезде со мной ехал брат Ахшарумова, которому кланяюсь.

Вчера успел уже увидеть Бисмарка – вот проворно бегают, как лошадь! А еще будто болен! Он имеет вид прездорового полкового командира и ходит в военной форме.

## **Письмо Никитенко С. А., 25 мая/6 июня <1869>\***

**6<sup>0</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Bayern, Kissingen, 25 мая / 6 июня, воскресенье <1869>

Barrikaden-Strasse, Haus Büdel.

Письмо Ваше, добрая и милая Софья Александровна, застало меня за книгой, которую Евгений Утин, а также и Вы настойчиво рекомендовали мне прочесть – еще пока не знаю зачем, хотя прочел уже 2 / 3 книги (380 стр.). Барыня эта, то есть Андре Лео<sup>1</sup>, пишет скучно и вяло – это прежде всего, так что наша Хвоцинская заткнет ее за пояс<sup>2</sup>. Я понимаю, что Утин горячо рекомендует ее из пристрастия, как личный ее приятель, а Вы-то что? Но пока брошу это: если, дочитавши книгу, найду, что

Вы правы, что стоило читать, сейчас же в следующем письме сознаюсь. Можно бы, конечно, прежде дочитать книгу, а потом и написать к Вам: но терпенья нет, писать к Вам – приятнее, нежели читать что бы ни было. Вы же вон говорите, что Вам нужны мои письма. А мне Ваши!

Вы переехали на дачу – наконец-то! Я рад за Екатерину Александровну (скажите это ей, с поклоном от меня) и за Вас: Вам обеим дача, то есть воздух и немного простора, нужнее, нежели другим: ей для здоровья, Вам – тоже для здоровья, потом для занятия, потом для всего прочего! Вам нужна бы еще говядина к этому, да Вы презираете ее: это жаль! А оно здорово: от воздуха и от ростбифа – мысль крепче, плодотворнее, чувство возвышеннее!

Я до ростбифа тоже неохотник и от этого, особенно теперь, при водах, чувствую себя несколько в курином расположении духа, но более кротко-курином, никакого петушьего мужества ни к занятиям, ни к возвышенным парениям не ощущаю. Я стал прост и добродетелен, как агнец – и не только ни к кому и ни на кого никакого задора не имею, но даже, гу-

ляя по дорожкам, смотрю, как бы не раздавить червяка или букашку – и как только замечу такую тварь, поперек ползущую под ногами гуляющих, то устраняю ее прочь рукой или палкой, преимущественно рукой (не ленясь нагибаться), ибо заметил, что некоторые из нежесткокрылых от палки умирают.

Здесь теперь пока хорошо. И солнце есть, и нет удушливого жара, а зелени, зелени – стало бы на веники на всю гвардию париться в бане. Здесь пока еще лечится теперь бедный немецкий люд, пользующийся ранним сезоном до приезда богатых больных. Разные саксонские, швабские и прочие старухи, с вывороченными наизнанку мужскими физиономиями, да разные *Херры*[127] с старушечьими лицами – гуляют под каштанами, – и тщетно Г. Б., наш русский, отыскивает, как потерянную иголку, между ними хорошенького лица и туалета. Лица – все цвета соленых огурцов, а костюмы на всех – как будто кто-нибудь в бане перемешал все платья и всякий взял, что ему попало. – Г. Б. недоволен, скучает, а мне это ничего, даже не скучно. Я лечусь, хожу много – и к сожалению – много ем не отто-

го, чтоб стол был привлекателен, а, напротив, оттого, что дурен: ищешь, выбираешь всего, да и наешься. Я намерен выдержать курс по-строже, сбить с себя жир, тяжесть – и не делать злоупотреблений, то есть не писать до изнеможения (занятия здесь запрещают), курить немного, но вот чаем не могу пожертвовать. Кофе вреден мне: когда напьюсь его, все хочется наложить на себя руки: такая тоска делается от него.

Живу я больше в диком состоянии: один-одинехонек – и кажется – *почти* ничего не хочу. Под этим *почти* очень немного кроется: и именно выздороветь, быть вполне покойным и довольным собою и другими, кушать хорошо, спать здорово и – веселиться – и еще – начать какую-нибудь серьезную работу...

Нет, неправда. Это бы все хорошо, конечно, но я не даю себе труда желать ни этого, ничего другого.

В диком состоянии я – потому, что ничего не знаю, что делается на белом свете. Как уехал, с тех пор не читал газет.

А прогос о газетах. Благодарю Вас за доб-

рую весть, что «Голос» отозвался беспристрастно<sup>3</sup> об «Обрыве». Я повторяю, что не жду похвал, а честности, то есть беспристрастия. «СПБ ведомости» не могли отозваться иначе<sup>4</sup>, как тенденциозно: роман направлением своим противен их взглядам, вот они, эти критики, и давай жужжать в уши публике, что он и с художественной стороны никуда не годится, потому что прямо нападать на его направление неудобно в печати. Нигилизм всячески хлопочет подорвать кредит противного ему романа, чтобы он не вредил ему а не распространялся. – Нужно было, чтобы в публике появилось и другое мнение, так чтоб большинство читателей могло, прочитав книгу, видеть, где правда и где – лукавство. Теперь маленький жидок изучает меня всего, начиная с первых сочинений, и, кажется, готовит к осени большой разбор, в котором, конечно, тайно будет присутствовать *arrière-pensée*: [128] «ты-де против материализма, ты идеалист, ты держишься старых, отсталых идеалов того, сего, другого, третьего – так мы же тебя побьем и с художественной стороны, докажем, что твой роман невер-

но задуман и создан» и т. д. – Он уже высказал мне эту мысль<sup>5</sup>. Но я надеюсь, что публика будет немножко за меня и что явится и другая критика где-нибудь, да, наконец, и сам ловкий редактор<sup>6</sup> увидит, что ему не совсем ловко помещать у себя же критику, с тонко и ловко запряганным ядом, против сочинения, которое принесло ему до 25 тысяч рублей. А впрочем – бог его ведает!

А что он: выехал ли, и приедет ли сюда, или в иное место?

У Вас очень мудрое намерение – наживать-ся и прятать деньги на черный день. Это должен делать каждый – не только благоразумный, не только гордый, дорожащий своею моральною свободою, но и каждый честный человек, чтобы, *aux prises avec la vie*[129], как-нибудь нехотя и случайно не отяготить чьей-нибудь чужой жизни, чужого кармана. – От этого (с глубоким прискорбием говорю это); и в деле помощи, в послугах, в добре – нужен *своего рода* экономический расчет – для *самого же добра*, чтоб оказать его больше, тоньше и действительнее. Стало быть, нельзя зря следовать каждому биению сердца, а надо ждать,

когда оно забьется сильнее, смотря по своим средствам. Но Вы клеветеете на меня, говоря, что я издевался над Вашим нарядом: вероятно, так же издевался, как тогда, когда упрекал, что Вы много кушаете, то есть когда Вы не кушаете совсем.

Прощайте же – до следующего письма. – Дай бог Вам такой же дружбы от всех и каждого, какая у меня к Вам.

И. Гончаров.

## **Письмо Никитенко С. А., 4/16 июня 1869\***

**6<sup>1</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Bayern, Kissingen, среда, 4/16 июня <1869>  
Barrikaden-Strasse, Haus Büdel.

Я получил от Вас одно небольшое письмо, Софья Александровна, в ответ на мои три или четыре письма – и потом ни строки. А между тем Вы говорите, что письма мои будто бы необходимы Вам: если это так, то, чтоб вызвать эту необходимость, надо иногда и отвечать. Причина Вашего молчания, впрочем, понятна мне: Вам некогда, Вы обременены

скучным трудом, который, не принося Вам никакого морального удовлетворения, приносит одно денежное вознаграждение, следовательно труд тяжелый. И Стасюлевич (который теперь здесь) подтвердил, что Вы должны быть очень заняты теперь. Стало быть, от Вас и нельзя ожидать частых и скорых ответов. Но это не лишает меня самого права писать, а писать, то есть говорить с кем-нибудь, кого хорошо знаешь и кому сам известен хорошо, хочется, даже иногда нужно. Вы одна – в целом свете – не только знаете, но и понимаете меня почти вполне (*почти* – потому что есть кое-что и Вам, отчасти и мне самому, не вполне понятное в моей натуре), поэтому естественно, что мне ни с кем так не необходимо беседовать, как с Вами. Я пробовал было заговаривать о своих *внутренних* делах с В. Л. Лукьяновой, но она озабочена своей собственной политикой, у ней пара детей на руках, ей не до меня, и притом она женщина совершенно положительная и практическая, следовательно во многих вопросах не может сделать и сказать ничего, разве пожать плечами.

Я очень приуныл здесь, но с приходом Стасюлевичей у меня стало как-то немного поживее на душе, просто потому, что я с ними в этот год коротко познакомился и у меня с ними нет никаких даже намеков на все те обстоятельства, которые отравили мне жизнь<sup>1</sup>. Кроме того, хотя они очень привязаны друг к другу (особенно она к нему), но между ними нет, как у некоторых других супругов, сосредоточенной и эгоистической замкнутости, так чтобы присутствие третьего, постороннего лица, тяготило их. Напротив, они сами постоянно ищут моего сообщества и никогда мое присутствие ни в чем не мешает им. Я и не употребляю, впрочем, их приязни во зло и не только не надоедаю им собой, но еще постоянно слышу упреки, что чуждаюсь их. Мы вместе обедаем и гуляем – словом, я теперь не один. А то было скучно и жутко. – Я очень рад также видеть и первый сознаться, когда в чем-нибудь ошибусь. Мнительность – это мой природный и наследственный недуг (мать моя была мнительна) – развилась благодаря моим ближним и всем тем фантазмагорическим обстоятельствам, которыми они окру-

жали и казнили меня много лет, развилась во мне до такой болезненной степени, что я серьезно боюсь иногда за свой рассудок. Теперь пока она часто вводит меня в заблуждение, хотя основания моих заблуждений всегда существуют, но мнительность только преувеличивает их. Вот бы хоть Стасюлевич чуть не злодеем показался мне, а он, по несчастью, одарен значительною дозой тонкости и употребляет ее иногда, где вовсе не нужно. А в том и вся его вина. Мне казалось, что и он в заговоре с разными (Бурениными и другими) сотрудниками нигилистических газет, допуская их беспрепятственно лаять на «Обрыв» и вообще на нас, стариков: а оказывается, что он сам – *souffre-douleur*[130], жертва их. Делать выбор между сотрудниками, то есть спрашивать, кто какой веры и убеждений, и допускать к участию в статьях только православных – нет возможности, а между тем и прогнать их совсем тоже нет возможности, потому что между ними есть даровитые и трудолюбивые люди. Стало быть, одно средство: надо смотреть за ними в оба глаза, быть их цензором, руководителем и бороться на

каждом шагу, когда они захотят подпустить в статью чего-нибудь непутного. От этого роль его трудна и шатка. Молодой его родственник<sup>2</sup> не есть нигилист в дурном смысле этого слова, он даже за это ненавидит моего Марка Волохова и даже отрицает, что будто бы такой есть, но он искренен, честен, горяч и смел в своих убеждениях, притом неумеренно самолюбив. Ему кажется, что он разберет не только Островского, Тургенева, меня, но и самого чорта. И вот Стасюлевичу опять задача унимать его от этого самолюбивого многописания – и тут-то ловкость и тонкость небесплезна ему. Но зачем он иногда хочет пустить эту тонкость в ход с Вами или со мною, и притом где вовсе не нужно, я не понимаю. Просто привычка! А тут же рядом у него вдруг неожиданно явится и прямота и добродушие. Кажется, у него слаб характер – вот и все его пороки.

Здесь четвертый день – скверная погода, такая же, какая бывает и в Мариенбаде, и я начинаю жалеть, что не поехал туда. Там воды сильнее и сделали бы в 4 недели то, что здешние воды сделают в шесть.

Впрочем, я жалею вообще, что поехал за границу – и на этот раз меня просто выгнали мои люди. Вы знаете по моим рассказам, что это за зверинец и сколько мне было беспокойства с ними по случаю пьянства старика и глупости старухи. Варвара Лукьяновна настоятельно посоветовала мне убраться, обещаюсь, по дружбе ко мне, помочь им уладить эту свадьбу и найти мне благонадежного, женатого человека. Дай бог!

Я бы непрочь и воротиться после курса вод, вместе с Стасюлевичем, который хочет, после Киссингена, отвезти жену куда-нибудь в Швейцарию или в Париж, и приехать 25-го июля в Петербург. Сначала и я располагал пожить с ними где-нибудь, потом в Париже и, наконец, покупаться в море.

Но мне что-то ни лечиться, ни заниматься не хочется, я болен, серьезно – и кажется – неизлечимо болен. У меня нет спокойствия и едва ли может быть. Я сделал страшное усилие над собой, дописал в прошлом году свою книгу и упал духом и силами, чувствуя, что я весь изранен и что вылечить меня невозможно.

Да и самое лечение только тогда возможно, когда во мне улягутся все сомнения и примирятся все недобрые мысли и чувства, а они могут примириться только тогда, когда получатся успокоительные ответы на некоторые вопросы, а ответов на них нет, и я не знаю, откуда их взять.

Наш общий знакомый отец Гавриил все твердил и в прошлом и в нынешнем году: «Простите всем, смиритесь, и вам простится». – «Очень рад, от всей души – но кому простить, перед кем и как смириться – скажите только, – отвечал я, – и я первый протяну руки, и во мне не останется ничего злого и недоброго, и дайте мне какую-нибудь гарантию, что ничего подобного не повторится!» Он на это никакого ответа не давал, и меня окружала прежняя таинственность, я видел, из некоторых обращаемых на меня взглядов, из доходивших до меня слухов и слов, какие-то зловещие признаки зла и самое зло видел и вижу еще теперь все впереди. Мне кажется, другие больше меня нуждались бы также и в моем прощении, но они о нем не думают и не заботятся, а требуют только от

меня. Смирение ведь нужно и для других, меч равно над всеми головами висит – отчего же другие не заботятся о смирении и побуждают к нему меня? Разве они правее меня?

Какая же возможность успокоиться и примириться? «Да Вас никто не трогает, никто Вам теперь ничего не говорит, к Вам не пишет, даже не играют сцен из Ваших книг». Так, пока нет, или я не замечаю, но, однако, хвост от прошлого тянется. Например, мне ясно и памятно, что мне, под видом приятеля, постоянно сопутствовал сорокалетний кадет, шутник граф Апраксин, примазывалась иногда барынька Θ. и супруг ее: все они суетились около меня, подбирая и записывая (как я видел) мои слова и содержание первых моих трех частей, которые я им читал.

Зачем это? Делали это также и другие кое-кто. Зачем? – спрашиваю я, конечно не из любопытства, а от испытываемых мною мук и горя. Для меня отчасти уже обнаружилось, что из всего собранного около меня и из меня материала – передано было много одному писателю, который и сделал из этого материала две карикатуры-повести, из которых одну чи-

тал мне сам. Тогда я спрашиваю себя и тех, кто знает – «за что?» Ответа тоже нет. Стало быть, меня считают в чем-то очень виновным и стоящим публичной казни, потому что в этих повестях автор старался намекнуть на меня? Преступление, должно быть, важное, тяжелое: по я таких за собой не знаю и могу только догадываться, что поверили жалобе какой-нибудь госпожи, вроде А. Н. и т. п., или дали веру приговору обо мне какого-нибудь Фукса и тому подобных господ и госпож. Но как же мои судьи (кто взял на себя казнить меня) не узнали прежде, что это за личности, которых посылали узнавать меня и которые чуть не силой вкрадывались ко мне и говорили, что им нужно было говорить для той или другой цели?

«Простите, смиритесь!» – говорят мне – и о. Гавриил и собственное мое желание. От всей души, повторяю я: но забыть и смириться, наконец успокоиться (на что я, кажется, имею право) можно тогда, когда есть гарантия, что все кончилось, миновалось. Между тем – меня все преследовали именем того писателя (которому была, как сапожнику, заказана па-

ра повестей-карикатур на меня) – намекали, что и он пишет *большой роман*, а Гр. сообщил мне<sup>3</sup> в двух словах и форму романа, похожую на мой... и т. д. И все эти намеки, задиранья – все это сопровождалось странными взглядами, шептаньем, таинственностью, суетливостью господина и госпожи Θ., А. и других. А ближние приятели этого писателя, не посвященные в эту интригу, ничего ни о каком большом романе не знали, не слыхали никогда. Если услышите что-нибудь о новом романе Тургенева, дайте мне знать, что это такое.

Что же это значит? Стало быть, история не кончилась? шевелится во мне вопрос: стало быть, мне приходилось бы простить за две повести-карикатуры, а большой роман еще впереди?

И что же это за роман? Собственное произведение автора? Но он не может сочинять больших романов: это и он сам говорит, и все знают, и нельзя в себе вдруг создать такое свойство, когда природа отказала в нем: значит, ему дан какой-нибудь готовый материал.

Мне и приходит в голову, что это или материалы из собранных около меня, или что-ни-

будь подобное... Теперь я слышу и в газетах читал, что роман этот опять всплывает...

Дай бог, чтоб я ошибался, чтоб это была моя мнительность: но я не виноват в этой мнительности, потому что ей были основательные поводы<sup>4</sup>.

Итак, чтобы примириться с своими сомнениями, мне надо иметь успокоительные ответы на эти вопросы, а ответов нет, как нет и гарантии в том, что меня не казнят более ни тайно, ни публично – следовательно, где же покой и возможно ли выздоровление?

Скажут, что у тебя иногда вырывались (у раздраженного, поневоле или по доверию) севания и упреки на присвоение другим твоих мыслей, твоей собственности – и вот за это кто-то взял на себя решить, что ты виноват, а не он, и за это наказать тебя, отдав все ему...

Ну, а подумал ли мой судья о том, что он мог впасть тут в ужасную ошибку и поступить наоборот, – тогда что?

Велика беда: что за важность – ну, шутка, больше ничего! – скажут мне. Ведь делать-то тебе нечего, вынесешь.

Едва ли, кажется, вынесу все эти сомнения,

вопросы, а между тем желаю мира и себе и другим, всем и каждому. Но как это сделать, научите, Софья Александровна, – и не посетуйте, что я весь дождь, который льет здесь, вылил в это письмо. Да не поленитесь писать: теперь не то, что в прошлом году; тогда я был занят, теперь ничего не делаю – и буду рад Вашему письму, и если некогда – то напишите пять строк.

Четверг.

Дочитал я, наконец, до конца рекомендованный Вами роман г-жи André Leo – «Mariage scandaleux»[131] – ах, какая это посредственность!

Талант у ней маленький, да еще она вздумала идти по следам George Sand! Любовь к мужику – в каком бы выгодном идилическом или пасторальном свете ни была представлена – всегда будет натяжкой! – Он честен, прямодушен, близок к природе, но ведь есть много таких и не между мужиками, скорее между последними это – исключение!

Я понимаю, что можно иметь каприз, так называемую страсть к такой личности, так как страсть не разбирает чинов и разрядов,

хотя и страсть попятится от грубых рук, *лопатою раскапывающих навоз*: но я понимаю такую страсть как случайность, а ведь эти госпожи хотят возвести это в принцип. И посмотрите, какие фокусы употребляет эта барыня, чтоб как-нибудь оправдать свою натяжку: беспрестанно упоминает, что *он моет руки да смотрит в книги* – в уста его красавицы вложила наставительную фразу, что надо учиться и *говорить языком получше*.

Решила бы дело просто, что вот, мол, барышни обе дошли до того, что им с родителями нечего было есть, не во что было одеться и некуда было носа высунуть и что, весь век в крестьянской среде, одной из них приглянулся красивый мужичок (от которого и другие были в восторге), и она не погнушалась выйти за него замуж. «Что ж, может случиться», – скажет снисходительный читатель: это не беда, что она выбрала честного крестьянина, когда около нее не было порядочного человека из круга повыше. Дядя у ней – кулак-помещик, жена его тоже жадная барыня, кузина – кукла, дура-барышня, а жених ее – кроме волокитства, ничего не умеет делать. Пять чело-

век никуда не годных из круга повыше, конечно, не устоят в сравнении с целым селом мужиков, между которыми один нашелся честный. Авторша набрала из порядочного круга пятерых дрянней, неразвитых, далеко отстоящих от вершин образования и воспитания, – что же она хотела доказать? Я даже не понимаю.

У ней одно хорошо – это уважение к семейным узам и домашней жизни, а остальное все нестерпимо скучно. За что же это Вы осудили меня читать эту фальшивую идиллию? «Для каких-то соображений!» – сказали Вы.

Уж не урок ли какой-нибудь хотели дать мне этой книгой: нет, это было бы наивно для Вас, слишком похоже на мою бабушку, с ее книгой.

А вот в больной сестре героини, в Клариссе, я нашел какое-то отдаленное сходство с другой больной, близкой Вам девушкой.

Как бы желал я побеседовать с Вами теперь изустно, погулять здесь где-нибудь: может быть, мне было бы легче. Но я не отчаиваюсь погулять с Вами и в Павловске – вероятно, я скоро ворочусь в Россию. – Мне скучно

странствовать – и цели нет, лечение не может  
итти успешно при моем расположении духа.  
«Обрыва» я не читаю и не поправляю и пото-  
му, между прочим, что, кажется, не буду печат-  
ать его отдельно. Вообще я очень болен. Про-  
щайте – всегда Ваш

И. Гончаров.

Прилагаемое письмо прошу передать  
Александру Васильевичу, а Екатерине Алек-  
сандровне передайте мой отдельный, друже-  
ский поклон. Что Саша? занимается ли де-  
лом? учится ли?

## **Письмо Никитенко С. А., 26 июня/8 июля 1869\***

**6<sup>2</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Четверг, 26 июня / 8 июля. Киссинген  
<1869>

Я получил доброе письмо Александра Ва-  
сильевича с приложением Ваших милых  
строк, дорогая Софья Александровна, и отсю-  
да еще спешу сказать Вам несколько слов,  
привязываясь просто к случаю сказать их.

Мне жаль, что я написал Вам несколько

глупо-раздражительных писем, этих продуктов водяного лечения, расстроенных нерв и характера, дурного отчасти по природе, отчасти в высшей степени *эгрированного*[132]. Покой не приходит еще: я жду его, как друга, а он, показавшись на минуту, изменяет опять, посылая вместо себя какие-то призраки, дурные предчувствия, зловещие мысли, недобрые чувства. Боже мой! За что и зачем ближние, для вздорной и праздной потехи, испортили мягкую и добрую натуру, вместо того чтобы *par les bons procedés*[133] исправить и возвысить ее и дать ей возможность до конца быть полезной, плодотворной, дав ей права – не проклинать, а благословлять! Не умели, не поняли, ошибались: нет, довольно проница-нья, тонкости, человечности (хотя там и женщины были, слывающие умными и тонкими); не было довольно духовного, интеллигентного и морального материала, чтобы стоять на высоте своей материальной силы и нравственно – и вот все утонуло в водевильных попытках разыграть комедию с переодеваньями – оно бы, пожалуй, было и смешно, если б не было глубоко и серьезно зло и без-

нравственно. Разыграть злую комедию – легко, но человеческая комедия, комедия добра, тонкости – для нее мало одних рук, одних денег и одной мышшиной изобретательности головы, нужны – прямая сила человеческая – ум в союзе с сердцем и с высокой человеческой обработанностью, нужны такие тонкие потребности ума и души, такая жажда игры в ум и в то же время в добро, в честность, какие и в голову не придут тем, у кого этого нет.

Я мысленно не раз протягивал руки к своим невидимым противникам, вызывая их показаться и, имея все тщательно собранные против меня оружия, обрушить окончательно на меня и уничтожить. Они предпочитают делать это втихомолку, опираясь, кажется, на мнимую справедливость, воображая, как я вижу, что казнят виновного! Несчастные! Как внутренне смеются над ними те, кто в самом деле виноват, настоящие актеры и актрисы, прошедшие за нос эту силу, эти средства!

Я в душе мирюсь со всеми ими, со всеми, даже с Агр. Ник., хотя она больше всех надула их всех, но она, по кошачьей своей природе, и подозрительна, как ни лжет. Вероятно, ей не

доверяют самой – и она сама более жалка. Но есть один господин – с тем уже я не могу примириться, не то, чтобы я был зол на него, но моя натура не может переварить этой фальши, которою он пропитан до ногтей, покрыт ею и снаружи, как лаком, и красуется в этом лоске, непроницаемом для толпы, но заметном для немногих зорких глаз.

Долгие годы эта личность носит в себе и на себе ложь, притворство, начиная с фальшивого взгляда, голоса, до всякой ноты в жизни – все фальшиво! И все почти красиво – на вид, все обманывает грубый глаз, и мягкость, ласка, наружное спокойствие невинности, наружная ласка с внутренним равнодушием ко всему на свете; даже ум притворный, с некоторым блеском, но непрочный, несильный, неглубокий, нахальство и смелость прикидываться чистым и безукоризненным.

Вот одна личность, которой я никогда не пожму руку искренно, никогда, потому что эта рука, пожатая в самую торжественную минуту, в забвение всего прошлого, с этой же минуты начала изменять опять, и даже сама вызвала эту минуту, чтобы удобнее хитрить и

обманывать!

Вам все это темно, добрый друг – и мне самому неясно, как может это существовать, а существует между тем.

Но я забываю, слава богу, об этом – и забуду совсем, даю слово, если не будут меня тревожить со стороны какими-нибудь воспоминаниями этой истории. Пусть поймут один раз навсегда, что если я кому-нибудь был чем-нибудь неприятен, то это *неумышленно*, никогда не играл, не шутил и не притворялся, доказательством чему могу привести то, что я и до сих пор не совсем еще отделался от пристрастия к хорошенькой, но бессовестной русалке с мочальными волосами, хотя вижу насквозь ее ложь и беспутство, следовательно я не лгал и ей. Следовательно, мне делали зло – чисто за натуру, за избыток впечатлительности, за нервозность, мстили за что-то больному, ничего не разобрав, не поняв, не проникнув. Пусть же и злое все останется у них, на их стороне и не коснется меня!

После вод я надеюсь успокоиться, если меня не станут раздражать, тревожить, делать неприятности, и ничего более говорить не

стану.

Меня просто в отчаяние приводит Ваше неудачное соседство! Как, и там нет покоя! Лакеи, кучера – словом, приходящая богатой барыни посягает на Ваш покой, на Ваше уединение!

Видно, барыня – сама есть холопка своего богатства, которое делает грубые натуры наглыми! Тонкая натура, чем обширнее ее материальные средства – становится тем мягче, кротче, человечнее, как будто стыдясь своего богатства и влияния перед теми, у кого их нет. Грубость, напротив, и мужичество любят колоть ими глаза бедности, как, бывало, блаженной памяти, откупщики, разбогатевшие кулаки и т. п. Уже ли же Вы промучаетесь все лето! И там покоя нет!

Я остался здесь еще на неделю, то есть до воскресенья или до понедельника, по просьбе Стасюлевича и других знакомых, которые обедали у меня в именины и захотели, чтоб я обедал у них в воскресенье. Я и остался; здесь же теперь тепло, воздух свежий, я буду брать холодные ванны, а в Париже еще успею быть: ведь мне не к спеху туда. Другого места нет

для отдыха, везде будет скучнее одному, а там я – и один и не один, около огромная толпа, кругом все ресурсы – и если погода будет хороша, то и гулять можно много. А мне надо немного.

Сюда приехал Некрасов: так как у меня с ним никогда никаких стычек не было, то и неприятные его стороны от меня скрыты, а так он всегда любезен, наружно – добродушен и покоем. К тому же мы и молчим большею частью, между тем я привык прежде часто его видеть – и присутствие его не тяготит меня.

Я сейчас же спросил его о ругательной статье против меня в «Отечественных записках»<sup>1</sup> – он как будто удивился, взял у меня 5-ю часть романа, прочел, прибежал ко мне с восторженными восклицаниями, сказав, что я *ничего* подобного не писал, что вся драма 5-й части – *chef-d'oeuvre* и т. д., и выразил удивление, как могли принять это за войну новому поколению, когда я изобразил только нелепые крайности самозванных новых людей, сказал, что меня не поняли, что я должен непременно печатать отдельно и написать

предисловие и растолковать мысль и цель романа.

Я остановил его, сказав, что я равнодушнее к толкам самозванцев-критиков, которые ревут с досады, как будто узнав в Волохове себя, что отдельное издание едва ли я буду печатать по разным причинам.

Он говорит, что Щедрин писал ему<sup>2</sup>, что я уже кончил свой роман, и *кончил*, по его мнению, *скверно* (то есть не согласно с его тенденцией) и что он намерен писать статью – и т. д. А потом мы более об этом не говорили. Он выпросил у меня все 5 частей, чтобы прочесть своей сестре. Теперь она читает – и перед отъездом я возьму у них книги, хотя и не прирмусь за них и в Париже.

Стасюлевичи тоже приедут к морю, но не знаю куда. Если в Остенде, я поехал бы, пожалуй, с ними, потому что – хотя я и удаляюсь многолюдства, от многих знакомых, но совершенно одному сидеть в Булони тоже скучно. Может быть, не приедут ли туда они.

Пишите мне в Париж, где я, вероятно, пробуду около месяца и куда намерен ехать в понедельник, следовательно, если не встретит-

ся препятствий, то в среду или четверг можно быть уже там.

В предыдущих письмах я Вам дал адрес, да Вы сами прежде знали.

Вы спрашиваете, не рассердился ли Михаил Матвеевич на какие-то выражения Вашего письма к нему. Конечно, нет, он слишком покоем, да если б и рассердился, то не покажет этого – по своей тонкости. Он сказал только, что отвечал уже Вам.

К Александру Васильевичу я не пишу ответа, полагая, что он уже в Малороссии: надолго ли он поехал? Я напишу ему опять, когда узнаю, что он вернется. – Кланяюсь сто раз всем Вашим. – Напрасно я беспокоил Вас просьбой побывать у меня на квартире: m-me Лукьянова теперь написала мне, что все там идет своим порядком, только ничего не пишет о том, когда будут у меня новые люди и куда денется Елена с мужем?

Но все равно, Вам и без того нужно было зайти ко мне, чтоб взять журнал.

Теперь погода хороша, и во мне все покойнее – никакой злости нет, и не уживается это во мне – я чувствую и мягкость и желание

всем простить и верю, что если б, наконец, поняли меня и другие вполне, то и мне извинили бы всю мою желчь, наружную жесткость и холодность, и даже устыдились бы немного всех своих злых штук против меня. Да тем, я думаю, и должны кончиться все эти инквизиционные пытки – и я надеюсь дожить свой век мирно, в уединенном углу, никуда не показываясь. Иначе нельзя – после всего, что со мной сделали. Тут мне жаль больше всего, что у меня отняли дух и самолюбие – работать вновь. Не подниму я больше головы. Прощайте – вероятно, до Парижа.

Ваш *И. Гончаров.*

Письмо Фету А. А., 6/18 августа  
<1869>\*

6<sup>3</sup> А. А. ФЕТУ

Boulogne-sur-mer, 6/18 августа <1869>

«Это, должно быть, от Фета письмо, с ласковым словом об „Обрыве“!» – сказал я, прочитавши послание со станции *Змеевки*, на *Московско-Курской железной дороге*, – и сейчас же сел откликнуться на дружеско-поэтическое приветствие, хотя в то же самое время и мучаюсь сомнением: «Ну, как не от него, а от кого-нибудь другого? Тогда что? Подпись А. Фе – может значить и „Фет“, и Филиппов, и Филимонов, и просто Фи-фи-фю-фю!»

«А что же за беда, если и не от него», – решаю я: получивший это письмо мое на станции *Змеевке* корреспондент увидит только из него, что мне приятно было получить одобрение от Фета.

Благодарю Вас, почтеннейший и любезнейший Афанасий Афанасьевич, за то, что Вы так проворно поспешили мне заплатить Вашим дорогим сочувствием за мое сочувствие

Вам, выразившееся невидимо для Вас не далее как на прошлой неделе, когда я в Лувре, стоя перед Венерой Милосской, силился припомнить Ваше стихотворение, в котором сжалось и спряталось то, что каждый должен чувствовать перед этой статуей, перед ее *всепобедной красотой, смотрящей вдаль*<sup>1</sup>. К сожалению, помня сам содержание стихов, я не мог складно повторить их наизусть тем, с кем я был в музее. Вы видите из этого факта, que nous nous entendons et nous nous sympatysons [134].

Благодарю за то, что не поленились это выразить, чем много порадовали меня, старика! Поблагодарите и Марию Петровну, Вашу жену, за любезное приветствие, да уж кстати графа и графиню Толстых<sup>2</sup> за то, что утвердили Вас в Вашем намерении написать и дали мой адрес, по которому они, надо заметить, сами не пишут. Спасибо хоть на том, что дают его другим.

Я здесь купаюсь в море: говорят, это полезно, но мне пока вредно, а я продолжаю в надежде, не будет ли хорошо впоследствии.

В конце августа надеюсь быть в Моховой

улице, то есть там, куда Вас адресовали Толстые, и рад бы был, если б Вы не письменно, а лично блеснули осенью или зимой своим присутствием в Петербурге, да привезли бы с собой несколько звуков Вашей, неуловимо тонкой, поэтической и задумчивой лиры. Я, после перевода Горация<sup>3</sup>, Вас, кажется, не читал, – это стыдно! Ужели Ваш Тибур, кроме хозяйства, ничего не внушит Вам, никаких «сладких звуков и молитв»?

Посмотрите на меня, я старше Вас, а вот взял да и спустил «Обрыв»: это дитя моего сердца; я слишком долго (с 1849, когда он зачался, во время моего посещения берегов Волги) носил его под ложечкой, оттого он и вышел большой и неуклюжий. Я его переносил.

Прощайте, будьте здоровы и не забывайте всегда Вам сочувствовавшего и преданного  
И. Гончарова.

# Письмо Стасюлевичу М. М., 5 ноября 1869\*

6<sup>4</sup> М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

5 ноября <1869 г. Петербург>

Кое-как я принудил себя прочесть фельетон Евгения Исааковича («Литературные споры нашего времени»<sup>1</sup>) – и то потому, что книжка «Вестника Европы» постоянно лежит на глазах, а я постоянно не сплю по ночам – и потому перелистывал статейку. А то я ничего не читаю, особенно по-русски, и особенно что́ прямо или косвенно касается меня и «Обрыва»...

Мне казалось, что Вы, любезнейший и почтеннейший Михайло Матвеевич, предупредили меня об этом фельетоне, как о чем-то серьезном, что́ Вас, кажется, сердило самих и Вы едва ли не думали, что это может дурно повлиять и на других. Теперь я удивляюсь, что Вы приписывали важность статье, и скажу Вам, какую она показалась мне. Я хотел сам пойти, да не знаю, когда соберусь и найду ли Вас дома.

Сколько я вижу, молодые критики прежде всего подражают манере Белинского – и, конечно, мысленно становятся на его место, забывая, что манера Белинского возможна только была при его огромном таланте и нужна была в его тогдашнем положении какого-то литературного Марата, которому нужно было сначала посшибать с места некоторые фальшивые или бездарные литературные авторитеты (вроде Греча, Булгарина, Кукольника и некоторых других), чтобы лучи истины и чистого вкуса могли пробиться сквозь толщу всякой грубости понятий и нравов.

Белинскому, в его роли не только эстетического критика, но и универсального публициста, было не до истории, до того была горяча его роль: он и не знал и не любил истории. Его слишком поглощала злоба дня, чтобы он мог становиться в объективную роль покойного наблюдателя-критика. Ему выпало быть вместе и пылким трибуном. Он им и был. Но, однако, он никогда не отказывал в симпатии таланту – даже в людях ему несимпатичных, например – в том же Кукольнике: поражая

его одной рукой, он другой ласково одобрял его за повести из быта времени Петра 1-го; терпеть не мог Каратыгина за ходульность – и в то же время восторгался им в роли Людовика XI<sup>2</sup>. А между тем ему было больше заботы, нежели нынешним публицистам. Ведь ему приходилось еще доказывать почти такие истины – что родители не имеют права убивать детей, а чиновники считать казну за свой карман, помещики смотреть на крестьян, как на собак, и т. п.

Не мудрено, что он был так раздражителен – и вместе так симпатичен и нежен, когда делал оценку таланту.

Итак, критики подражают только его манере, не подражая ему ни в силе, ни в беспристрастии, ни в такте, ни в серьезном отношении к искусству.

Обращаясь к фельетону Евгения Исааковича, я замечу с радостью, что он менее нежели кто-нибудь в современной печати грешит грубостью, раздражением на словах и бранью. Тон его приличен и мягок – и это чуть ли не единственное достоинство фельетона.

Других его статей, кроме анализа сочине-

ний Островского, который я также перелистывал, я не знаю вовсе и – признаюсь откровенно – не читал ничего.

В этом же фельетоне, направленном на Тургенева и на меня (конечно, за Базарова и Волохова), есть много – прежде всего юности, следовательно незрелости и противоречий. Евгений Исаакович, я полагаю, будет писать хорошо критики легкой беллетристики, когда отрешится от донкихотства, то есть когда созреет. Он искренен – и это большой задаток его будущего пера.

Укажу некоторые противоречия. Например, он или они, то есть молодые критики, сколько я слышу, нападают на меня за Волохова, что он – клевета на молодое поколение, что такого лица нет, что оно сочиненное. Тогда за что же так сердиться? Сказать бы, что это выдуманная, фальшивая личность – и обратиться к другим лицам романа и решить, верны ли они – и сделать анализ им (что и сделал бы Белинский). Нет, они выходят из себя за Волохова, как будто все дело в романе в нем!

Это дает повод думать, что эта личность не

совсем неверна и что они сердятся как будто за правду. От этого и пишут две статьи в одном журнале<sup>3</sup> (в «Отечественных записках»), когда роман еще не появился отдельной книгой, значит тревожатся, чтобы книга не имела успеха!

Однако Евгений Исаакович упрекает меня, что я *изобразил только крайности*: значит, эти крайности были. А я скажу в ответ: что же и изображать, когда автор относится к своим героям с отрицанием? Обыкновенно преследуют крайности, то есть уродливости. Добрые, положительные черты не преследуют и почти не изображают. Ведь критики не сердятся на меня, что я изобразил крайности Райского, этого представителя (не скажу *другого поколения*) другого воспитания? Но ведь у меня показаны *крайности* всех лиц, кроме Тушина, лица действительно придуманного. Это пока *rium desiderium*[135], и то неудачный!

Потом в фельетоне и во всей особе милого Евгения Исааковича вообще проглядывает пристрастие до слабости – только к тем произведениям искусства, которые льстят его любимым тенденциям, хотя бы в них и мало

было искусства. Например, как он прославляет Андре Лео, госпожу, почти совсем бездарную, с пером скучным и вялым, за то только, что она предалась вопросу об эмансипации женщин, подбирая жалкие крохи после такого таланта, как Жорж Занд!

Затем в фельетоне повторяется более или менее то, что высказали в свое время Белинский и Добролюбов: это не что иное, как анализ их главных критических положений о некоторых произведениях литературы. Но только они, особенно Белинский, не обрекали искусства, как делают юные критики, на одну только рабскую роль выражать непременно ту или другую современную тенденцию, которая только сегодня поступила на очередь, не определилась, не высказалась, за которую препираются еще сами публицисты, не зная, куда наклонится та или другая чаша весов. Белинский, и в разгаре своей трибунной полемики, умел становиться в положение объективного наблюдателя произведений искусства, наслаждаться его творческими явлениями и сознавался в этом печатно, не скрывая своих увлечений и не проповедуя крестового

похода против этой стихийной силы человеческой природы.

Да и наш юный друг горяч к искусству, увлекается и музыкой, покупает картины, ходит в музеи, но только у него, как у многих или юных, хотя горячих и искренних поклонников, или у не юных и не искренних ревнителей его (для которых искусство есть только цель и которого они не чувствуют), у него, говорю я, есть карбункул, который жжет и мешает относиться к искусству беспристрастно. «Служи, искусство, вот этому вопросу, – говорят они, – или иначе ты – не искусство!»

Ну, это не совсем так – и с таким карбункулом эстетическим критиком быть нельзя.

Я понимаю Ваше затруднение, любезнейший Михаил Матвеевич, при помещении такого фельетона в Вашем журнале, где и Тургенев и я нашли такую приветливую встречу. Вам, конечно, нелегко сказать этим двум авторам, хотя бы и устами юного критика: «Подите к чорту, Вы стары, никуда не годитесь, – как это сказано у Евгения Исааковича, – и ничего не можете писать, нужды нет, что Вас рвут из рук в руки и читают, что у Вас, кроме

Базарова и Волохова – есть и другие лица etc.».

В Вашем журнале, где помещались наши сочинения (и только в нем одном), и можно было надеяться найти более сознательное, серьезное, строгое, зрелое и *беспристрастное* отношение к искусству вообще, а к тем авторам, которые помещали там, в особенности.

Конечно, и Тургенев улыбнется этому фельетонному взгляду, и я с улыбкой пожму руку Евгению Исааковичу за этот его критический фельетонный букет, куда он вставил два-три пахучие цветка в приветствие обоим авторам, но ведь после этого обоим нам уже нельзя и надеяться явиться опять в гости к Вам с новым произведением, если б оно было. Но у меня, к счастью, нет – и потому между Вами и мною поэтому и разлада быть не может. Следовательно, *vogue la gabère*[136]; пусть ратует юный критик, тем более ему простора, что я, кажется, на-днях приступаю к приготовлению отдельного издания к январю или февралю – и, конечно, надежды мои основываю не на благосклонности юных критиков и журналов!

А прогос о журналах. Сейчас прочел я в газетах указ о пересмотре законов печати! Дай бог, чтобы комиссия не сходила с той степени свободы печати, какая была уже дана и какую довольствовалась наша литература и общество и при которой, за исключением мелких и неизбежных волнений во всяком деле, никаких пертурбаций не было! Печать выполняла свое дело замечательно тихо и благородно, сильно помогая правительству в его делах. Состав комиссии, кажется, прекрасный. Про князя Урусова говорят много хорошего; Похвиснева, Турунова я знаю лично – это знающие и опытные люди – и все, кажется, таковы. Но боже мой! Зачем там Капнист? Это ленивый, неспособный человек, друг и сподвижник Фукса, этого законодателя и дипломата из Фонарного переулка, – и Фукс, конечно, косвенно будет тут гадить!

Фуксом запахло – это скверно, ибо сам Капнист без него ничего не сделает. Но авось общая мудрость и благонамеренность комиссии преодолеют всякое зло! Ах, если б какой-нибудь патриот подшепнул им, чтобы они по возможности оставили печать, как она была,

а она была прочно и покойно устроена!

Кланяюсь Вам и Любви Исааковне – и не знаю, когда увижусь – все еще нездоров. Жму Вашу руку.

И. Гончаров.

## **Письмо Анненкову П. В., <начало января 1870>\***

**6**<sup>5</sup> П. В. АННЕНКОВУ

<Начало января 1870 г. Петербург>

Прошу повторительно, почтеннейший Павел Васильевич, обратить внимание на то: 1) то ли у меня в статье<sup>1</sup> Волохов, что он есть в книге? 2) то ли я говорю про Белинского и вообще про тогдашних деятелей? 3) нет ли противоречий, пошлых общих мест и т. д.?

Есть ли что-нибудь недосказанное? Может быть, Вам придет на мысль какая-нибудь благая подробность, что-нибудь нужное, благоволите вставить ее. Ненужное же зачеркнуть бы.

Когда будете сообщать это Алексею Дмитриевичу Галахову<sup>2</sup>, попросите у него извинения, что я не присутствую сам: впрочем, если

б понадобится присутствие мое, я готов. Но, вероятно, без меня ловчее и ругать меня.

Вспомните, что я статью не дорожу, и если она может быть и не быть, то есть ничего не убавит от романа и не прибавит силы, à notre cause commune[137], то есть не в силах защитить правды, искусства и т. д., то лучше ее оставить. Рассудите зрело и беспристрастно. Вы, конечно, даром не заставите меня подставлять лоб, напрашиваясь на напрасную брань в журналах. Раздражение было; нужно ли возобновлять его?

Потрудитесь дать слово par écrit[138] моему человеку о получении рукописи.

Ваш *И. Гончаров*.

**Письмо Анненкову П. В., 19 января  
1870\***

**6<sup>6</sup>** П. В. АННЕНКОВУ

19 января <1870 г. Петербург>

Я все собираюсь к Вам, почтеннейший Павел Васильевич, но не могу управиться вовремя с корректурами, сижу по ночам, поздно встаю утром и не успеваю до двух часов выйти со двора.

Мне хотелось повидаться с Вами и с А. Д. Галаховым и сказать, чтобы Вы не сетовали на меня за то, что напрасно томил Вас чтением статьи. Печатать ее нет возможности при романе, не вредя сильно последнему, как я все более и более убеждаюсь, хотя я, по Вашим верным замечаниям, исключил все, что сказано было о живописи и вообще об искусстве, а по указаниям Алексея Дмитриевича старался согласить противоречия о Марке Волохове, но не только не согласил, а еще больше потерялся в них.

А хуже всего вот что выходит в результате: статья хотя и сильно спорит с «новыми

людьми» в подробностях, но в целом она все-таки выражает какое-то будто оправдание перед ними или объяснение с ними, точно я в чем-нибудь виноват! Зачем: я этого не хочу, или я хотел не этого. Мне со всех сторон говорят, что портрет Волохова просто, без объяснений сильно говорит сам за себя, а гр. Толстой<sup>1</sup> недавно писал, что «кричат против него все те, кто на него более или менее похож». А кричат многие, почти все «новые люди». Нужно ли еще подкреплять его статьей? Против статьи будут более или менее удачно спорить, а против схожего портрета ничего нельзя сделать, как только ругаться и кидать в него камнями, что и делается. «Вы сделали свое дело», – сказал мне недавно Никитенко и, кажется, сказал правду, а один «Талейран» прибавил, и тоже весьма справедливо, что художники очень дурно делают, что «начинают говорить с публикой не „творчеством“» (он намекал на предисловие Тургенева)<sup>2</sup> – это не может не относиться и ко мне, хотя цель моего предисловия совершенно противоположна тургеневской.

Вы одобрили в статье несколько страниц,

которые и мне нравятся самому, но нельзя же для этих страниц уничтожать силу всей книги. Я только и могу подействовать художественным приемом, а то, что сказано на тех страницах, еще лучше и убедительнее меня (и тоньше) может сказать Катков с братией, да разве Вы с Галаховым, а затем более нет никого во всей литературе, кого бы выслушали, прочли и кому бы поверили новые люди. Над прочими из прежних литераторов они просто посмеются и читать не станут. Вы оба принадлежали к прежнему славному кругу литературы – и новые люди это знают.

В статье моей неверно, между прочим, говорится о том, что будто Марк Волохов относится не к новому поколению, а ко многим поколениям: неправда, в нем résumé[139] всего, что исповедует новейшее поколение, изображенное мною в уродливых крайностях, следовательно, отнимая его от нового поколения, я как будто увертываюсь, а вот этого я и не хочу. Может быть, он намекает у меня на крайности и прежних поколений, но мало. Всего более он рисует новейшие типы мальчишек, неучей, с претензией вести общество

вперед, чего в наше время не было.

Уж если я выставил портрет, так нечего скрадывать его сходство, а я именно боюсь, что предисловие мое скрадывает, может быть, и помимо моей воли.

Притом, как ни остерегайся, как ни обрабатывай статью, а непременно найдутся слабые места, и вот на них, обрадовавшись, и бросятся, чтобы подорвать кредит всей книги.

Я переделывал, колебался, начал было писать новое, но вижу, что, кроме вреда себе и книге, ничего не выйдет. Я даже заболел от тоски и отложил в сторону, как такое дело, в котором я не горазд. Если станет сил, лучше для меня, разделавшись с «Обрывом», подумать хорошенько о чем-нибудь новом, то есть о романе же, если старость не помешает.

А Вас с Алексеем Дмитриевичем прошу повторительно на меня не сетовать за напрасное беспокойство.

Всегда Ваш *И. Гончаров.*

Как скоро сбуду корректуры с плеч, приду сам поговорить.

## Письмо Анненкову П. В., 1870\*

6<sup>7</sup> П. В. АННЕНКОВУ

Воскресенье <1870 г. Петербург>

Примите, почтеннейший Павел Васильевич, прилагаемый экземпляр «Обрыва», с моим поклоном.

Не удивляйтесь, что предисловие, с которым я так усердно возился и утруждал Вас, отсутствует. Вы сами выразили некоторое затруднение поместить его при самом романе – я это заметил. Некоторые другие тоже находили, и я сам больше всех, что статья неуместна бы была в книге, ослабляя действие романа. При газете она походила бы на рекламу.

Самое лучшее было поместить ее там, где был помещен «Обрыв»: и многие были того же мнения. С этой целью я прочел статью Михаилу Матвеевичу<sup>1</sup>: он выслушал, не сказал ни да, ни нет, подержал сутки статью у себя – и потом сказал, что нехорошо ее печатать, что она «кроме вреда ничего мне не принесет», что моими «защитниками должны быть

мои произведения (это ведь тоже мое произведение), что публика – мой лучший адвокат» и т. д. И кончил тем, что не взял.

Что мне было делать – сами посудите, как не спрятать статью в стол. Я так и сделал – и книга вышла без предисловия.

Тем не менее я все-таки много благодарен Вам, что Вы приняли в статье участие фактически, и потому, когда будем обедать вместе, я выпью за Ваше здоровье. А это может случиться на первой или второй неделе.

Жму Вам руку. Ваш *Гончаров*.

## **Письмо Никитенко С. А., 26 августа/17 сентября 1870\***

**6<sup>8</sup>** С. А. НИКИТЕНКО

Петербург, 26 августа / 17 сентября 1870.

Я не располагал писать к Вам за границу, Софья Александровна, думая, что Вы скоро возвратитесь, но на-днях встретил Вашу маменьку, и она дала мне Ваш адрес и сказала, что Вы пробудете в Швейцарии октябрь. Ждать Вас долго, а мне хочется узнать о Вашем здоровье: лучше ли Вам, бодрее ли, весе-

лее ли Вы и довольны ли Вашей поездкой? Надеюсь, что Вы меня обстоятельно об этом уведомите. Получили ли Вы мои два письма из Дрездена, писанные Вам во Флоренцию, в ответ на Ваше письмо? Я писал, что собираюсь купаться в Булони, и надеялся съехаться там с Стасюлевичем, а потом в другом письме, после объявления войны<sup>1</sup>, уведомлял, что планы эти рушились.

Я воротился в половине июля, так как без купанья нечего было делать за границей, да и банкиры, по случаю войны, перестали давать деньги по векселям на Париж. Поневоле уедешь. Сунулся было я к Балтийскому морю, хотел добраться до Либавы, но в Ревеле узнал, что в воде всего 10° тепла, я и воротился. И сижу теперь, с ревматизмом, который нажил, кажется в своей квартире, куда проникает подвальная сырость, несмотря на ковры и другие предосторожности.

А скука какая, усталость, нездоровье, упадок духа, раздражение нерв – и удушье по временам, намекающее на аневризм! В хорошую погоду, вот как вчера и сегодня, кое-как живешь, дышишь посвободнее, а в дурную – я

пропащий человек. От ипохондрии, от большого, напуганного воображения у меня развилась мнительность, какие-то ребяческие страхи. Все мне кажется, что меня преследуют, хотят мне зла, ловят меня на словах, на каждом шагу, чтоб сочинить мне неприятность и т. п. Я от всех прячусь, всех боюсь, никому не доверяю. Мысль, что после всех невозможных, происшедших надо мною шуток и историй и самая жизнь невозможна для меня – делает меня все мрачнее и грустнее – это моя *idée fixe*[140].

Многие, как я замечаяю, не понимают моего печального положения – и кажется – в претензии на меня, что я живу так, а не иначе. А ведь иначе и быть не может, после всего... Где мне взять здоровья, сил, охоты жить!

А иные еще спрашивают, не пишу ли я чего-нибудь нового? Господи! этого еще не доставало. Все, кажется, вооружалось несколько лет сряду, чтоб помешать мне быть автором, а потом спрашивают, почему я не пишу? Крепость – каменная (теперь война – и сравнения невольно берешь оттуда) – и то, после ядер и бомб, остаются одни развалины. А от челове-

ка что останется!

Нужно успокоиться, главное – выйти из потемок, в которых я давно живу, забыть все – да и климат нужно другой, чтоб подумать о забытом пере. В прошлом году, в Булони, у моря, я в последний раз почувствовал было охоту начать что-то новое. Погода была великолепная, ничто меня не беспокоило, и у меня начался было развиваться план какого-то романа; стали по обыкновению являться лица, характеры, сцены, даже очертания и эпилог к «Обрыву». Но только лишь я вернулся в нашу осень – тяжесть легла на меня, а к этому прибавились какие-то намеки, угрозы и т. п. Я окончательно упал духом – и с тех пор даже забываю, что я автор. Теперь я больной, измученный инвалид – с *idée fixe*, что мне иначе невозможно прожить жизнь, как взаперти. Да едва ли это и не правда.

Надеюсь, что Вы сообщите мне о себе картину более привлекательную, нежели я даю Вам о себе. Особенно не забудьте сказать о Ваших дальнейших планах, где Вы проведете начало осени.

Здесь нового, то есть своего, ничего нет.

Все новости теперь у Вас, на Западе. Наполеон в плену, во Франции республика, пруссаки торжествуют. Значит, скоро конец человеческой бойне – слава богу!

Наполеон, этот автор Крымской войны и Польского восстания, опротивел не одним нам, и всем, даже своим пуще всего: но теперь едва ли у кого хватит духа бросить в него камень, так он жестоко рассчитывается за свои проделки. Ради этой быстрой, трагической развязки и я прощаю ему, что он помещал мне купаться нынешний год в Булони. Стасюлевичи, я думаю, тоже перестали сердиться.

У нас теперь просто столпотворение: кто за французов, кто за пруссаков. Мне встретился на-днях «утёнок»<sup>2</sup> – тот буквально плачет о французах, а рижские немцы будто бы вслух ликуют по случаю прусских побед, и – как слышно – они заказали огромную круглую колбасу, которая с неделю красуется в формате 12-дюймовой бомбы у Елисеева на окне, чтоб поднести Бисмарку и Мольтке – пополам.

Некоторые у нас побаиваются пруссаков:

«отнимут-де Ригу и весь Балтийский край». А не то так – поднимут, слышь, Венгрию с Польшей, да и на нас! Словом, все по уши ушли в политику.

Неизвестно, что будет впереди: бог даст, Россию никто не тронет, а война эта для нас пока хороша тем, что представляет хороший урок – поучиться и приготовиться, ничего нам не стоивший, и еще тем, что прусский король победил не только Наполеона, но и всех Бакуниных прихлопнул надолго<sup>3</sup>. Погаснут очаги так называемой «всесветной революции» – и, вероятно, потухнет и та польская жаровня, которую раздувал у себя под рукой Наполеон – против нас. Пруссия же наделала себе немало врагов – и дружба с русским государем для нее полезнее, нежели приобретение Риги с круглой колбасой включительно. Так что едва ли эта колбаса не напрасная, хотя и «тучная» жертва.

Бедная Франция возродится, поправится, поумнеет и явится приличною и порядочною в добрых и честных руках – Орлеанов, например, или других прямых и законных наследников, которым не нужно ни «обаяния» бес-

полезных побед, ни мексиканские экспедиции и другие фокусы, «для славы» будто бы Франции, то есть для удержания своей собственной позиции, а не для добра и пользы стране. «Cette belle France!»[141] Вот Вам и belle France! И опять ей приходится начинать свое политическое воспитание с азбуки – теперь вспомнит она Людовика-Филиппа! А Париж? Я думаю, он похож теперь на сумасшедший дом, от которого отлучились сторожа, заперев его на замок. Ужели его разгромят? Авось так возьмут, без драки: немцы умны и умеренно воспользуются своими успехами (вот почему они менее опасны, нежели всякий другой на их месте, и эта умеренность – тоже успех своего рода, лучше военного). – Ведь Париж всеобщий город, всемирный – и наш тоже. Его создавали не одни французы, но и иностранцы – и поддерживали. И мы с Вами тоже, Софья Александровна; один я посадил в него тысяч десять франков в десять лет – и Вы немножко, стало быть и Вам жаль. Но бог с ними – лишь бы не лилась кровь, не трогали бы Россию да не мешали нам купаться в море, а там как хотят!

Так вот что однако: теперь, без Франции, к нам ничего не привозят – ни фруктов, ни вин, ни устриц; гастрономы в отчаянии: одна только вышесказанная колбаса и лежит на окне – это немецкая культура снабдила нас ею. Но и новых книг нет, а сами мы сочиняем мало (что, может быть, и хорошо) – я от скуки машинально взял, наконец, в руки «Дачу на Рейне» Ауэрбаха и недели в полторы едва одолел.

Отчего в предисловии Тургенев так восхищается именно этим романом, говоря, что «он захватывает много»? Это условная похвала: можно много захватить и не одолеть. Стасюлевич мне сказывал, что Тургенев хлопотал и о переводе его и о помещении в «Вестнике Европы». Тургенев, конечно, симпатизирует вообще таланту Ауэрбаха, то есть прочим его сочинениям, которые лучше «Дачи на Рейне». Я постараюсь прочесть «Шварцвальдские рассказы», которые особенно рекомендуются в предисловии. Вероятно, в них есть то, чего нет тут: живой жизни, фантазии, поэзии и т. п., всего того, что должно составлять роман, как художественное произведение.

# Письмо Толстой С. А., 11 ноября 1870

\*

6<sup>9</sup> С. А. ТОЛСТОЙ

11 ноября <1870 г. Петербург>

Ваши добрые, утешительные строки, графиня Софья Андреевна, всегда радуют меня несказанно: и теперь, среди осени, Вы точно бросили сюда луч солнца – так что я едва не выскочил с письмом на улицу, чтобы, как Дон Кихот, останавливать прохожих и заставляя их клясться, что нет добрее, умнее и прекраснее Софьи Андреевны – из «Красного рога»!<sup>1</sup> Будь на Вашем месте другая, например, хоть Ольга Алекс., я не затруднился бы, в *pendant* *Тобозской* поставить «Красно... ужели *рожской*»? Нет, поставил бы «Красно-рожской»: пусть будет грамматически неправильно, но зато рыцарски вежливо! Но ваша бледно-задумчивая красота так не похожа на розу, что я... оставляю всякую галантерейность, за которую так много пострадал, и обращусь к Вашему доброму письму – мысленно только, со вздохом, обратив к «Красному рогу» двусте-

шие: «О Красный рог! Ты мне – дорóг!»

Вы пишете, что «граф здоров, что Вы собираетесь в Италию»: приятно слышать! Радуюсь за Вас и еду вслед за Вами, к Вам – пока мысленно, потому что, потому что, потому что... твержу я бесчисленное множество раз, как дьячки *аллилуйя* в церкви.

Но всего удивительнее известие, что у Вас солнце и тепло! Солнце: разве у Вас есть Иисус Навин? А вот здесь уже наступила шестимесячная ночь – и давит, томит, гонит все хорошее внутрь, а дурное наружу. От этого я никак не могу перенести, что купец Глушков прислал мне кислого винограду и несвежей семги!

Чего бы, кажется, лучше, как спать полгода сряду! А не спится: ворочаешься с боку на бок от темноты вечерней до темноты утренней, и едва-едва заснешь, когда появится солнце – где-нибудь в Италии, да еще у Вас – по словам Вашим! Солнце повсюду с Вами и за Вами!

Вы правы, полагая, что у меня на душе сыро и мрачно! Нет солнца, которое бы осушило эту сырость и разогнало этот мрак! Я точ-

но связанный: надо прежде меня развязать, освободить от мрака – и тогда в Италию! А то у меня даже рот завязан: вот только перо еще бегаёт, и то – лишь вслед за Вами!

От этого мрака и уз, коими опутан, не могу удовлетворительно ответить на Ваши вопросы: «Кого я вижу? Чтó читаю? Что слышу?»

Не *вижу* никого – именно потому, что *темно*. Не *слышу* ничего, потому что никого *не вижу*, а так как *не вижу*, то почти и *не читаю* ничего.

Нет, читаю: читаю, например, указ 4-го ноября<sup>2</sup> – и весь задрожал от радости. Мы все, графиня, будем теперь воевать: несколько простых строк дают России миллионы вечно свежего войска! – И это величайшее событие по обыкновению совершилось тихо, скромно, с той величавой простотой, с которой совершилось на наших глазах столько великих дел в 15 лет, сколько их не совершилось в предыдущие 150 лет! – Мне завидна участь будущего историка!

А нота князя Горчакова<sup>3</sup>! Коротко и ясно! «Грубо!» – кричат за границей, пуще всего в Англии. То есть твердо! «Грубо!» Они забыли

ноты своего Джона Росселя<sup>4</sup>, эти сырые, дипломатические ростбифы!

Вот взяли назад Черное море! Будем ездить в свою Италию, когда ее заселим, обработаем, украсим!

Лишь не дай бог войны! Брань заграничной дипломатии и прессы – чем она сильнее, тем менее грозит войной. Видно, что без Франции и Пруссии боятся затронуть нас! Оттого и ругаются!

Так как теперь и я могу, по указу 4 ноября, вступить в военную службу, то позвольте явиться на защиту к Вам и вместе с графом стать у врат Почепа!

Читаю иногда я, в бессонные ночи, что попадет под руку. Постоянно читаю один журнал – потому что Стасюлевич посылает мне его. Вы, конечно, читали «Степной король Лир». Как живо рассказано – прелесть! Этот рассказ я отношу к «Запискам охотника», в которых Тургенев – истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею – и пишет с натуры, тогда как в повестях своих – он уже не творит, а сочиняет. Эти две головки, дочерей Лира, не правда

ли живые, бежавшие из грёзовских рамок! И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем – они перед глазами. – Да, Тургенев – трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь – в песнях, и отражающий видимую ему жизнь – в легендах, балладах, но не в эпосе.

Еще я читал... Но довольно о литературе: наговоримся о ней в Италии, когда я успею победить свои *потому что*. Там, графиня, как хотите, а я возьму в одну руку Винкельмана<sup>5</sup>, Вазари<sup>6</sup> и других, а другою уцеплюсь, как дитя, за Ваше платье, и Вы поведете меня туда, сюда, покажете все, что надо видеть...

Нет, нет, ничего я этого не сделаю – это бы все испортило, и я бежал бы из Италии. Я пошел бы за Вами – это правда, но шел бы праздно, почти не глядя, но непременно увидел бы то, что мне нужно увидеть, – и в музеях, и в природе, и на улицах.

Да, позвольте – я хотел сказать Вам что-то очень нужное, говоря выше о литературе... Да: вот что! Не знаю, согласитесь ли Вы со мной?

Вообще у нас много какого-то разлада, нет той совокупности, слитности сил и элементов, дающей такую крепость, например, Пруссии. Это все от недоразумений – и от самых неважных обстоятельств.

Указ 4 ноября помирит одно недоразумение: это какой-то антагонизм между военными и гражданскими деятелями в обществе. Привилегия защищать отечество будет принадлежать всем – и тогда исчезнет та бестолковая morgue[142], с одной стороны, и неосновательное пренебрежение – с другой.

Но это не мое дело. Перехожу к литературе. Литература признается у нас многими и очень многими, особенно в высшем классе, не только каким-то будто особенным, то есть отдельным, но и не совсем хорошим, большей частью даже «опасным» делом, которому, пожалуй, лучше бы не быть! Это недоразумение происходит частью от неясного определения значения литературы. Многие разумют у нас еще до сих пор под словом «литература» повести, романы, стихи – словом, беллетристику, другие, напротив, одну журналистику, которая возбуждает постоянное раз-

дражение в публике, то есть постоянно занимает последнюю, в чем и состоит ее назначение. Надо бы сердиться на события, зачем они происходят, а не на язык, то есть на литературу, которая их только передает. И очень немногие защитники литературы понимают под ней вообще *просвещение*, то есть *письменное или печатное выражение духа, ума, фантазии, знаний* – целой страны. Поэтому не желать добра литературе – значит, не желать добра ничему этому, *ибо литература есть только орган*, то есть язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает и что хочет и должна знать и т. д.

Но слава богу – языку дарована хорошая доза свободы: и это великое дело ближе мне к сердцу, нежели Другие.

*Но мы сами продолжаем относиться к своему языку небрежно: в этом состоит громадная наша ошибка, опасная ввиду грядущих обстоятельств!.. Мы сами не признаем силы и влияния языка, а между тем язык, вслед за религией, за преданностью и доверием к высшей власти, решительно занимает третье место, как знамя, около которого тесно*

толпятся все народные силы! «Где же вина наша? в чем я вижу беду?» – спросите Вы, графиня. – В пренебрежении к нему, в равнодушии – вот где!

И именно: наш высший класс, а за ним, в подражание ему, и средние классы – стараются не говорить на нем даже между собою! Это не ново, что я говорю, я знаю: но разве легче, что старое зло не искореняется! Пьянство в народе – тоже старый порок: однако, слава богу, вон в министерстве внутренних дел принимают меры против него.

«А это зло – не такое важное!» – скажут многие. – Нет, важное! Никогда Россия, говоря по-французски и по-английски, не займет следующего ей места, то есть центра и главы славянских народов, как у нас многие надеются (а с ними и я, конечно, и Вы желаем!).

Вон немцы на что надеются, прокладывая себе путь оружием направо и налево: «wo die deutsche Zunge klingt!»[143] Вот что ведет их! Не мудрено, что наши балтийские немцы знать не хотят русской речи: потому что она и в России звучит слабо! Мы сами в обществе от нее отмахиваемся. Поляки тоже не хотят

учиться по-русски, говоря, что у них *литература сильна, наука богата*, язык отлично выработан – потому что, как и в Германии, и во Франции, и в Англии – литература, не как роскошь, не особенное какое-то занятие, а как воздух должна питать все общество – быть его насущной пищей и т. д.

*А пока останутся хоть двое русских, которые будут говорить между собою по-французски или по-английски*, до тех пор мы не приобретем ни за границей, ни между славянами той моральной силы, какую имеют Англия, Франция, Германия, Италия и имели по очереди все старые государства! Ибо это значит, что у нас не заговорила еще своя, русская наука, свое искусство, своя деятельность!

У нас некоторые заглядывают очень далеко вперед – я знаю: говорят, что это неважно, что даже *национальность* есть задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков, следовательно немецкий ли элемент, русский ли возьмет верх, лишь бы было общее благо, и т. д.

И это мнение разделяют не то что нигилисты, не то что Герцен и передовые: я знаю лю-

дей старых, с смелыми умами и бойким взглядом – они думают, что так со временем должно быть!

Со временем, то есть через 10, 20 тысяч лет! Может быть! Спаситель сказал, что будет *едина вера и едино стадо*, но и он ничего не сказал о языке и о народности.

Я не с точки зрения *шовинизма* или *квасного патриотизма* боюсь за язык и, конечно, буду рад через десять тысяч лет говорить одним языком со всеми – и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар!

Но все же, я думаю, все народы должны притти к этому общему идеалу человеческого конечного здания – *через национальность*, то есть каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем его как-то вяло и лениво, да еще упрямымся не говорить по-русски! А другие и подавно не учатся нашему языку – да и не для чего: все говорят у нас на чужих языках.

Даже в Якутске, я сам слышал, в обществе русские говорили по-якутски: выучились от нянек и слуг!

Когда-то это было признаком образования: но Екатерина II заметила опасность, заговорила сама и велела говорить по-русски, даже сама взялась за перо – и одной своей волею создала целую литературу, тогда еще подражательную, но которая дала, однако, между прочим, Фонвизина, потом Карамзина и т. д.

Теперь иностранный говор уже не служит даже признаком образования: зачем же он? Он служит скорее какой-то бездной между классами общества. Зачем, зачем это? – сердито повторяет Кузьма Петрович Прутков.

Я все не спрошу: что делает граф Алексей Константинович? Написал ли он что-нибудь? Пишет ли, готовит ли? (Что Вы поделываете, Ваше сиятельство?)

Я ни о чем подобном *пока* не думаю, то есть чтобы писать. Без солнца жить нельзя, а на дворе слякоть, в окна стучит дождь! В Италию! Да как же это я: ведь говорят, что я Обломов, и даже так меня устроили по-обломовски! И судьба вместо Италии, кажется, готовит мне обломовский конец: вон с осени пальцы на руках пухнут, ноги горят, в голове шум!

Да и презренный металл – не последнее препятствие! Тратить, как я Вам писал, трудовые, отложенные на черный день рубли на роскошь, на пир, на Италию – боюсь: ну, как скорчит, как скорчило В. П. Боткина, что тогда!

А ждать денег неоткуда, да меня замучила бы, как спартанская сила, совесть – протягивать руку, когда деньги лежат в запасе.

Правда, «Обрыв» есть в резерве: его еще тысяч на десять осталось: но я отступился от него, как Вам писал, после того как увидел, *что под него подведена мина!* И какая глубокая! Вот эдакие мины уметь бы нам подводить под немцев – и перещеголять их!

И вот тут главный мрак для меня! Объяснись он откровенно – и, вероятно, я и успокоился бы! А то через час по ложке, я сам мучительно открываю, одну за другой, все изрытые подо мной бездны – и каждый раз на старые удары ложатся новые: на нервы, на здоровье, на покой, на рассудок, на все силы! А солнца нет!

Я отступаюсь и от своих сочинений и от прав своих, думая, что – может быть – их при-

судили передать другим! От этого даже не хожу справляться, продаются ли книги, не зная, могу ли я ими располагать! Мрак, мрак!

Вот если б года два тому назад один добрый, добрый человек (которого я очень люблю, скажите это ему, графиня!), если б он был так добр и справедлив, что сказал бы мне: «Мы вот что наготовили для вас (то есть для меня), вот каких блюд – потому что кое-что иначе в Вас поняли... Так вы сделайте вот что, вот что...» Я сделал бы все – и не было бы *печальных недоразумений, печального зла, ошибок, неловкостей!*

*Прямая линия – кратчайший путь не в одной только математике, но и в такой недогадливой натуре, как моя!*

А теперь вышло вот что: у меня отняли то, что *одно еще живо занимало меня* (то есть отняли у нищего суму): *а без этого все другое – или мало, или вовсе не занимает меня.* Вот и ключ к моему положению! Никакой Штольц не отдаст того, что взяли у бедного Обломова!

От этого меня мало тянет и в Италию, от этого я *ни к кому не хожу, никого не вижу и ничего почти не читаю!*

Но бог с ними! Ни на кого я не сержусь, всем прощаю, и если зол на кого, так это на купца только за несвежую семгу! И то в дурную погоду.

И не только сам не сержусь, но жалею и тревожусь, если кто-нибудь сердится на меня!

Я только иногда, вместе с Прутковым, раздумываю так: если кто казнен по правде, то казненным жить среди людей уже трудно, тяжело – это новая казнь: поэтому они должны прятаться.

А если казнен кто-нибудь неправильно, то опять-таки нужно уединение, чтобы одолеть горечь чувств.

И вот по причине темноты, которую не рассеивает никакое солнце – да и по летам уже, я сижу у себя один, как инвалид, оскудевший силами. – И мы с Кузьмой Петровичем полагаем, что это вовсе не гнусно и никому не противно, ибо мы никому уже теперь, в нашем диком образе и в нашей скудости и слабости, ни полезны, ни приятны быть не можем. Притом мы боязливы, недоверчивы к себе и всегда были довольны своей скромной долей, из которой робели выходить.

А нас не поняли – и за это природное убожество и «нищенство духа» наказали! Бог простит!

А ведь таких старцев очень много: у меня вот есть один такой здесь, в Моховой: он двадцать лет сиднем сидит! Весь оброс мудростью, и от него уже пошел такой же дух, как от тургеневского Лира!

И ничего, живет!

Позвольте, однако, графиня: как же Вы собираетесь в Италию – газеты кричат, что того и гляди – война будет за ноту князя Горчакова! чего боже сохрани! И Италию подбивают! Но, вероятно, князь умиротворит их. Однако, конечно, Вы подождете до тех пор, пока все объяснится и уладится!

Видел я младшего Бахметева, собиравшегося ехать в Китай: не знаю, уехал ли он. Он же сообщил мне, что у Софьи Петровны родилась дочка, но – несмотря на это – уговаривал написать к ней опять. Но я все-таки боюсь, робею – я трус. Пожалуй, покажусь докучливым, ненужным, лишним.

Не казните хоть Вы меня, добрая, прекрасная Софья Андреевна, – за эти мои безобраз-

ные, длинные кузьмо-прутковские письма! Вы знаете, понимаете, что такое эта письменная болтовня: это моя натура, *а гони натуру в дверь – она влетит в окно*, то есть если не в книги, так в письма!

Вы примете это как следует – прочтете или нет, но не употребите эту мою болтовню во вред, *не огласите ее и вместе с нею меня* – не измените моей старчески-детской доверенности к Вам – а просто бросите, потому что прочесть это нельзя (я понимаю это), а можно только написать, и то в бессонную ночь!

Обнимаю графа дружески и целую Вашу руку.

Всегда Ваш

*И. Гончаров.*

12 ноября.

P. S. Боюсь, что я безнадежен и что Вам придется – без гнева (за что?), а с сожалением разве махнуть на меня рукой! Вот вчера и сегодня опять оттепель, грязь, сырость – и у меня на душе такая же слякоть – а, впрочем, слава богу: лишь бы не было еще хуже!

# Письмо Полонскому Я. П., 8 мая 1871\*

7<sup>0</sup> Я. П. ПОЛОНСКОМУ<sup>1</sup>

8 мая <1871 г. Петербург>

Я только что кончил Вашу книгу, любезнейший и почтеннейший Яков Петрович, – а получили ли Вы мою? Я понес было ее сам в дом Лазарева, но швейцар сказал мне, что Вы с этим домом расстались, и я отдал книгу посылному № 31, у Пассажа, чтобы он отнес по адресу, данному мне швейцаром.

Возвращаясь к Вашим двум повестям, скажу, что я, почти не отрываясь, прочел «Снопы», что со мной теперь случается очень редко. Этаким умный, тонкий анализ, в который попался не только фразер вообще, но и новейший фразер в особенности.

Вы так тонко очертили личность «нового» человека, что умели ни польстить никому и ни оскорбить никого и не впали не только в карикатуру, но и ни в какое преувеличение. И притом очертили так легко, без тяжелых приемов романа, и как будто без всякого труда, не раскрывая никаких «глубин», «тайни-

ков» и т. д., а только так, как показалась бы эта личность со стороны всякому умному и чуткому наблюдателю.

«Отрочество Шалыгина»<sup>2</sup> написано с тою же легкостью и мастерством: и очень-очень в немногих местах утомляет мелочью подробностей – вот и все.

Спасибо Вам за подарок книги, а за доставленное ею удовольствие – вдвое.

Если б я мог совокупить в себе всех русских читателей – я бы сказал: «Пишите скорее, Полонский, еще повесть или роман: Вы пишете умно, изящно и занимательно!»

Но одного меня Вы, пожалуй, не послушаетесь. Благодарю и прощайте.

Искренно преданный  
*И. Гончаров.*

**Письмо Хвощинской Н. Д.  
(Заиончковской), <23 января 1872>\***

**7<sup>1</sup>** Н. Д. ХВОЩИНСКОЙ (ЗАИОНЧКОВСКОЙ)<sup>1</sup>  
<23 января 1872 г. Петербург>  
Милостивая государыня  
Надежда Дмитриевна,  
Прежде всего поспешаю оправдаться перед  
Вами в моем молчании – в ответ на присылку  
мне «Большой медведицы».

М. М. Стасюлевич всегда дарил мне отдельные издания из «Вестника Европы», и я думал, что, передавая мне Вашу книгу, он от себя любезно прибавил «от автора». Я даже накануне обеда, во вторник, спросил его, «так ли это и могу ли я поблагодарить Вас при свидании?»

Все это показывает, что я мало привык к личному выражению внимания к себе, как к автору, и мало знаю, как другие, особенно литераторы, относятся к моим сочинениям.

В современной разногласии мнений, понятий и споров об искусстве и вообще о литературе, чему Вы сами отчасти были свиде-

тельницею в среду, и трудно разобрать, кто за что и *против* чего, следовательно трудно и отличить единомышленников от противников.

Молодые не прощают, зачем остаешься человеком своих лет, своей эпохи, воспитания, привычек и т. д., и требуют того, чего не можешь делать, а того, что можешь и что сделал, не ставят в грош. Старые недовольны, зачем не делаешь, чего не умеешь делать, словом – каша!

Среди этого хаоса – я был бы очень рад, если б в присылке книги мне выразалось немного Вашего единомыслия со мною – если не в том, *что* я писал, то хоть бы в том, *как* я писал, то есть тем образом, формам и приемам, какие служили мне для выражения моих сюжетов.

Что касается до Вас, Надежда Дмитриевна, то я – насколько успел – высказал в среду Вам верно, без всяких «фраз» о давнишнем и постоянном моем уважении к Вашему перу. Это я высказывал и высказываю при всяком случае, когда зайдет речь о Вас. Следовательно, подарок книги сделан Вами не совсем недостойному и притом давно равнодушному

почитателю и ценителю Вашего дарования.

Примите же и Вы ласково прилагаемую при этом

книгу – и если почему-нибудь не можете одобрить ее содержания или исполнения, то пусть она напоминает Вам хоть о моей благодарности и уважении.

На этом листке и тесно, и, кроме того, я не считаю себя вправе касаться оценки «Большой медведицы», в чем Вы и не нуждаетесь. Скажу только, что я никогда не соглашаюсь с теми, которые называют вообще Ваши произведения «симпатичными». Это значит лишать их главного и лучшего их характера. Симпатичен талант, как всякий талант, но произведения Ваши действуют не симпатией и не на симпатию, а другой могущественной силой – правдой анализа и неотразимостью логики, без всякой лести и также без преувеличений, в самом отрицании. Правда, правда и правда!

Нельзя нетерпеливо бросаться и рваться к Вашим произведениям, как нельзя бросаться на шею к людям, неумолимо и умно говорящим правду, но нет возможности пройти ми-

мо их, не дослушав до последнего слова и не послушавши их. — Этим, конечно, я определяю свое постоянное впечатление от Ваших сочинений, не отвечая за других.

Я слышал, что Вы скоро уезжаете, а я в эту минуту нездоров и сижу дома; опасаясь, что письмо это и книги мои опоздают, я прошу Софью Александровну взять на себя труд передать Вам и то и другое.

С благодарностию и почтением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугой

*И. Гончаров.*

23 января 1872.

Моховая улица, близ Сергиевской, дом Устинова.

## Письмо Писемскому А. Ф., 20 октября 1872\*

7<sup>2</sup> А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

20 октября 1872 г. <Петербург>

Я виноват, а не Вы, почтеннейший Алексей Феофилактович, что не успел еще раз по-видаться с Вами здесь. Но не браните строго и меня за мой бирючий образ жизни: это от болезни или – вероятнее – от болезней. С нервами ладить не под лета и не под силу. Ложась спать, я никогда не знаю, когда засну: в 2, 3 или 5 часов – чаще всего засыпаю под утро, поэтому день у меня пропадает. Старость и климат.

Я очень рад успеху Вашей комедии<sup>1</sup>, который обеспечивается многими благоприятными условиями, и потому пьеса нравится почти всем, кто ее слышит. Кто-то находил в ней внешний комизм, разумея, вероятно, под этим нервное подергиванье лица Мямлина и тому подобные черты, но и этот кто-то должен был согласиться с художественной типичностью некоторых лиц – и все признают

стройность плана комедии.

Я полагаю, что если бы Вы представили ее на академический суд, то академия не отказала бы в премии. Она, то есть академия, все еще совестится, кажется (и основательно), что не увенчала премией «Смерть Иоанна Грозного», когда общественное мнение высоко поставило драму, – и потому теперь судит другие пьесы строже. Но пора уже ей забыть свой промах и не скупиться слишком на награду!

Не знаю, попадет ли пьеса на сцену, ибо театральная цензура, по чрезмерной осмотрительности своей и часто по неосновательной боязни, смотрит на дело не так, чтобы способствовать тому, что хорошо, а чтоб мешать только тому, что может быть вредно. Но так как хорошее является очень редко, а вред можно подозревать везде, то последствием этого выходит скудость и бесцветность сцены. Между тем все любители театра жалуются (а иногда и сами судьи) на односторонность драматического искусства, например на то, что пьесы из народного быта наводнили сцену.

Но вот Ваша – не из народного быта взята:

тут, пожалуй, станут до поту лица додумываться, не прячется ли тот или другой, та или другая за стеной действующих лиц (как это при появлении всякой пьесы делается, если в ней только не купец или не мужики), – сделают натяжку какую-нибудь, побоятся и не пропустят! А надо бы прежде всего, по прочтении пьесы, спросить: «Какой вред может сделать на зрителей пьеса? кого смутить, кого сбить с толку?» – Ваша комедия, кроме приятного и, пожалуй, поучительного (как всякая картина нравов), никакого другого действия бы не произвела, а сцену бы оживила и освежила. – Но сладят ли с ней актеры, и особенно женские роли, Ольги, например?

Прощайте, дружески кланяюсь Вам, Екатерине Павловне и детям.

И. Гончаров.

# Письмо Писемскому А. Ф., 4 декабря 1872\*

7<sup>3</sup> А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

4 декабря 1872 г. <Петербург>

Известие о приостановлении Вашей комедии<sup>1</sup>, почтеннейший и любезнейший Алексей Феофилактович, немало озадачило меня. Этого я ожидал бы всего менее. Незадолго перед Вашим письмом мне один, прикосновенный к делам прессы, чиновник даже сказывал, что пьеса Ваша, с переменами, которые будто Вы в ней сделали, не невозможна и для сцены.

И вдруг – бац!

По просьбе Вашей я, несмотря на свое нездоровье, третьего дня отправился за справкой – и узнал, что пьеса в комитет министров представлена не будет, что ее отдали князю Мещерскому, а он будто отправил ее к Вам для указанных каких-то переделок и т. п., что Вы теперь уже, вероятно, сами знаете.

И в газетах между объявлениями я прочитал заявление князя Мещерского, что сборник вышел без Вашей пьесы «по не завися-

щим от редакции обстоятельствам», далее, что он отправил пьесу к Вам и – по получении от Вас – разошлет ее подписчикам отдельно.

Стало быть, если все это случилось, Вы уже знаете все больше, нежели я могу Вам сказать.

Я спрашивал о причине задержки и получил в ответ, что единственная причина – это щекотливость высшей администрации, которую Вы затронули в живой картине интриг и взаимного подшибательства. Теперь спрашивается: каким образом Вы можете изменить что-нибудь в пьесе так, чтобы она прошла?

Надо изменить все, то есть, значит, написать другую пьесу.

Вы просите «мудрого совета и помощи». Мудрости у меня никакой не было и нет, всего менее государственной мудрости, и потому я плохо разумею мотив запрещения Вашей комедии, а скорблю только о том, что литература лишается талантливого произведения, а сцена – живой, оригинальной и умной пьесы.

Не выдумка ли этот мотив, будто «высшая администрация так щекотлива» к изображе-

нию в искусстве ее недостатков? Нет ли за этим мотивом какого-нибудь другого, более важного и неизвестного нам, простым людям, повода? Ибо насчет Вашей комедии, да и всякой подобной, мне представляется такая дилемма: если Ваша комедия – выдумка, неправдоподобность, то она ни в печати, ни на сцене никакого действия произвести не может: это аксиома, повторяющаяся со всякой ложью. Если бы тут скрывался пасквиль или какая-нибудь гадкая сплетня, личность, то это, конечно, бросилось бы всем в глаза и произвело бы скандал.

Но Вы слишком уважаете искусство и себя, чтобы уронить себя до личности и пасквиля. Имя и перо Ваше никогда не осрамились этим – и при этом в этой комедии соблюдены строго все литературные и человеческие приличия, а на личности и намека нет! Даже не разберешь, какие именно роды службы или ведомства на сцене, – так искусно умели Вы обойти всякий повод к какому-нибудь определению или указанию.

Наконец (2-я часть дилеммы), если б эта картина интриг и погони за местами была

верна, то жаль, очень жаль, что верхняя сфера общественной деятельности добровольно исключает себя из сферы искусства – и следовательно, прямой и действительной жизни. Это значит лишать искусство огромного значения и богатого содержания и толкать его на ту демократическую дорогу, которую подчас она же сама не вполне одобряет!

Впрочем, как тут ни рассуждай и ни разводи руками, это всегда так было, даже с такими произведениями, как «Ревизор», как «Горе от ума», из которых первого пропустил на сцену очень хороший критик и цензор – это покойный государь, а вторая выждала в рукописи историческую давность.

Следовательно, и Вам роптать не придется!

Помощи моей или «участия» я теперь, Вы сами знаете, не в силах оказать. Вы ссылаетесь на прошлое: что я пропустил «Горькую судьбину» и четвертую часть «Тысячи душ» (и получил тогда выговор, прибавлю кстати), но ведь я тогда служил, был цензором и, бывши моложе и здоровее, посещал общество.

Помните, бывало, в случае Ваших сомне-

ний (например, насчет «Плотничьей артели», «Взбаламученного моря») о том, пропустят ли, я шел к министру А. С. Норову<sup>2</sup>, Е. П. Ковалевскому<sup>3</sup> и потом к П. А. Валуеву и упрашивал их прослушать Вас самих. Они уважали искусство, были добры ко мне – и прослушивали. При этом происходило всегда то, что должно было происходить, то есть они усматривали сами, что для «отечества опасности никакой не было», «доверия ни к кому не колебалось», а только литература приобрела даровитое произведение, репертуар обогащался новой оригинальной пьесой – и все были довольны[144].

...– и вредных следов не было, да и не бывает никогда, когда в произведении есть искусство, художественность: это тоже аксиома. – Вот бездарный, тенденциозный памфлет «Что делать» под фальшивым паспортом романа проскочил же в печать, под эгидой той же узко чиновничьей и осторожной цензуры!

А теперь куда бы я пошел и с какой стати пошел бы с ходатайством о Вашей комедии? Кто послушал бы меня?

Министра я не знаю, а он меня не ведает;

председателя совета Лонгинова знавал лет двадцать тому назад и с тех пор не ведал, – словом, «как ни кинь, все клин!»

Да к тому же я стар стал и нездоров. Болезнь нагнала на меня невольную «мудрость» держаться в стороне от всего, даже от литературы, ибо я человек старого времени и по новейшему течению плыть не умею, в молодой толпе роли мне нет, а своих сверстников и единомышленников и пяти человек не соберешь!

Я и сижу в углу, как зверь; в дурную погоду страдаю бессонницей, приливами крови к голове, а во всякую другую вообще – хандрю по старости.

Вот Вам полный и откровенный ответ на Ваш запрос. – Жалею, что не могу принять участия и поздравить Вас, как бы от души желал.

Сердечно кланяюсь Вам и жене Вашей.  
Ваш *Гончаров*.

# Письмо Некрасову Н. А., <31 января 1873><sup>\*</sup>

7<sup>4</sup> Н. А. НЕКРАСОВУ

<31 января 1873 г. Петербург>

Большое спасибо Вам<sup>1</sup>, любезнейший Николай Алексеевич, за присылку «Отечественных записок»; но всего более за отдельный оттиск поэмы. Благодарю и Зинаиду Николаевну<sup>2</sup>, которая, вероятно, любезно участвовала в этом деле.

Между тем к слову – хочу предупредить Вас насчет некоторых слышанных мною на месте и переданных Вам мелких подробностей о житье-бытье героев и героинь Вашей поэмы<sup>3</sup>. Мне кажется, их надо подвергнуть некоторой ценсуре князя Михаила Сергеевича Волконского<sup>4</sup>, как живого свидетеля, участника и, следовательно, единственный верный источник, потому что я слышал их давно, в толпе, не помню от кого, а о более или менее известных лицах всегда ходит много слухов и анекдотов, проверить которые могут только близкие люди. Поговорите с ним, что-

бы не вкралось в характер каких-нибудь неверностей.

Полагаю также, что и ссылаться – в предисловии или примечаниях – можно только или на печатные источники, или на этих же самых близких лиц, то есть князя Волконского и других, еще живых свидетелей. – Все прочие в этом деле никакого авторитета иметь не могут – и потому, если известие окажется неверно, то могут сказать, что их выдумали нарочно. Вон как Бурнашов<sup>5</sup>, говорят, выдумал много пустяков. Поэтому и на меня (как хотели было) – тоже неловко ссылаться, а также и на других, подобных же неблизких людей.

Намек в нескольких строках в моей книге на этих героинь<sup>6</sup> – такая ничтожная капля, что – ради бога – и не упоминайте о ней. Я привел его на память только как доказательство того, как судьба этих женщин сильно действует на воображение – что я вспомнил о них наряду с другими сильными историческими женщинами, а Вы избрали их судьбу и характеры сюжетом для целой поэмы! Впоследствии другие будут, вероятно, делать из

них статуи, драмы и т. д. Это самый благодарный предмет для искусства, а теперь, пока близко, нужно, к сожалению, соблюдать осторожность. Еще раз спасибо – и до приятного свидания.

Ваш *И. Гончаров.*

31 января.

## **Письмо Писемскому А. Ф., 18 апреля 1873\***

7<sup>5</sup> А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

18 апреля 1873 г. <Петербург>

Я получил письмо и новую драму Вашу «Ваал»<sup>1</sup>, любезнейший и почтеннейший Алексей Феофилактович. Благодарю за то и другое и очень жалею, что не удалось послушать, как вы сами ее читаете<sup>2</sup>.

Полноте смеяться, какой я критик! Если прежде случалось мне судить верно по впечатлениям, то с годами, когда впечатлительность притупела, я перестаю чувствовать достоинства и делаюсь только строг к недостаткам. Поэтому полагаю, что Вы шутя спрашиваете моего мнения, но я не шутя готов бы

был похлопотать, сколько от меня бы зависело, о ценсурных затруднениях, если бы такие и были. Но их вовсе нет: можно предвидеть только (и то едва ли!), что цензура театральная исключит несколько слов против *капитала* и *купцов*, как щекотливый и притом весьма спорный экономический и социальный пункт. Но я думаю, что Вы и сами не погонитесь слишком не только за тем, чтобы остались в драме эти слова о купцах, но и за тем, что и сами купцы останутся на своих местах!

Впрочем, я все-таки справлюсь и уведомя Вас, когда и как решится допущение драмы на сцену, но и Вас в свою очередь прошу сделать мне два одолжения: 1) Одна из Ваших героинь, в первом явлении, упоминает мое имя: я знаю и привык уже, что женщины смеются надо мной, и прощаю им – ибо они, как дети, не ведают сами, что делают, все пытаюсь заглянуть в игрушку, чтоб посмотреть, что в ней и как она играет, – и кончают, конечно, тем, чем дети, то есть ломают ее, – и потом удивляются, что она не играет больше.

Но то женщины; а Вы – за что же в разгово-

ре с ними? Вы же еще – сами такой нервный, мнительный и раздражительный – туда же смеяться? Вы сами по опыту должны знать, что человек – это такая игрушка, у которой, кроме всего другого, есть кровь, нервы, воображение, и что если пошвырять хорошенько эту игрушку, то получишь мало-мало что ипохондрика, а то, пожалуй, и хуже!

Вы скажете, что и у Вас обо мне говорит женщина в драме: да, но это такая же женщина, как те мужики, которых Собакевич продавал Чичикову, то есть «мечта», «не от мира сего», плод Вашего воображения!

Поэтому прошу Вас убедительно – исключите это место, когда будете опять издавать, и особенно не допускайте на сцену. – Положим, если бы Вы и не для смеха, а так, попросту упомянули обо мне, то в таком случае посмеются над Вами (это бы мне, пожалуй, ничего), но и надо мною тоже, – а мне, право, не до смеха: я давно на тот свет хочу!

2) Еще вот что – в том же роде. Вместе с Вашим письмом пришло ко мне письмо какого-то литографа г. Чередеева, живущего у Пречистенских ворот, в доме Петровского. Этот

просит у меня карточки моей или портрета для каких-то альбомов, где хочет поместить «дорогие сердцу лица» (как он пишет) русских литераторов – для детей.

Сначала мне показалось, что и его научили посмеяться над моим наивным самолюбием, но я вспомнил, что действительно этот г. Чередеев делал на обертке альманаха «Литературные вечера» (Бефани издатель) десяток голов литераторов, среди которых, по его словам, он подозревает несходство в портрете графа Льва Толстого и в моем – и потому хочет сделать их сам. «Il n'est pas difficile celui-là»[145] – можно сказать про него – ибо, стало быть, в остальных видит сходство! Поздравляю всех: Пушкин похож на чиновника, у которого вычли месячное жалованье; Лермонтов – на писаря, насквозь зараженного сифилисом; Вы, Островский и я – оборотни, а вся группа вместе – на собачью выставку. У нас есть и политехнические музеи, и хлопчем мы *о керамике* и *о мозаике* и т. п., а до сих пор еще литография, гравирование – такие настоящие популярности – в младенчестве, и без Берлина, Лондона и Парижа спасенья нет! Ко-

гда же придет оно к нам?

Потрудитесь узнать, чего хочет этот г. Чередеев. Обращался ли он к вам, или к другим и в самом ли деле предпринимает общее издание каких-то альбомов? Если так, то мне нет причины отказать ему в просьбе – и я тогда пришлю к Вам карточку, а Вы вместе с своей передайте ему. Но это еще условно: я поищу, нет ли у меня старой порядочной карточки. А новой делать не стану, как потому, что я скупой и денег на это тратить не хочу, так и по причине великой скуки, которую приходится претерпевать, сидя целое утро у фотографа. А идти к нему в качестве литературной известности и сниматься даром – это свинство; поэтому к фотографу меня надо тащить на веревке.

Теперь дружески простите меня или за грубость моего понимания Вашей драмы, если я вру, или за откровенность, если есть в моих словах немного правды. Мне кажется, Вы напрасно поторопились и не оставили драмы до осени; тогда, почитав ее в Москве, в тамошних кругах, потом здесь, Вы собрали бы богатый запас впечатлений и сами могли

быть лучшим критиком и знали бы, что делать!

Предмет глубже «Подкопов», рамка шире, замысел у Вас был (как почти всегда) громадный – стоило бы положить на него столько труда и отделки, сколько потрачено, например, на «Плотничью артель», и тогда Вы вернулись бы к лучшим дням Вашего творчества! *Жрать Ваалу* – это, конечно, вечная тема со времен *Золотого тельца* до наших концессий и доморощенных *Миресов* и *Перейра*<sup>3</sup> – и на фоне этой задачи, с Вашим могучим талантом, можно бы и необходимо вывести более сильные, резкие, то есть типичные фигуры, а не эти, едва намеченные, бледные, почти никому не известные личности. По исполнению – драма «Ваал» ниже «Подкопов», хотя и та страдает от торопливости.

Если же Вы не гонялись за широтою такого допотопного сюжета, как *Ваал*, более или менее исчерпанного, а хотели несколькими широкими взмахами очертить характеристику и лиц и спекулятивной лихорадки, то это положительно не удалось по не зависящей от Вас причине: *по новизне дела у нас*. Это дело пло-

хо клеится (славу богу) у нас, или если установится, то не скоро – и художнику долго пришлось бы ждать, пока все сложится в типические черты лиц и быта. У Вас в виду были не характеры, а два-три случайных анекдота, две-три личности (Фейг..., Алаев... – и кто еще – право, не знаю).

Правда, Скриб писал и хватал на лету эфемерные явления французской жизни тридцатых годов, что было возможно при совершенной свободе печати и при необыкновенном знании сцены. Но и то – что осталось нам от Скриба? Никто не помнит ни одного лица его, ни одного события.

Современную, текущую жизнь и нельзя уложить в такой прочной и серьезной форме, как драма, даже трудно и в романе, чему служит доказательством Ваше же «Взбаламученное море»<sup>4</sup>. Это возможно в простой хронике, или, наконец, в таких блестящих, даровитых сатирах, как Салтыкова, не подчиняющихся никаким стеснениям формы и бьющих живым ключом злого, необыкновенного юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка.

А все же, я думаю, если бы Вы подождали до осени, то – с Вашим талантом и умом – Вы сумели бы из всей этой толпы действующих лиц, бледных и неясных, сделать более определенные образы, похожие на характеры. Не торопитесь отдавать на сцену – авось к зиме отделается. Впрочем, я сегодня же пущусь на справки, а теперь простите меня и прощайте.

Кланяюсь дружески Екатерине Павловне<sup>5</sup>, радуюсь искренно Вашей семейной радости, успеху Ваших милых и ученых детей и поздравляю их.

Благодарю за вопрос о моем здоровье: оно значительно зависит от погоды, а как погода больше дурная, то и я дурен. – На вопрос Ваш: еду ли за границу – не знаю, что отвечать; не хочется, наскучило ездить и незачем; пробовал работать, принимался раза три, – нейдет, стар, а здоровье поправляется там только на время, а потом – опять!

Ваш *И. Гончаров.*

# Письмо Гаевскому В. П., <16 декабря 1873><sup>\*</sup>

7<sup>6</sup>

В. П. ГАЕВСКОМУ<sup>1</sup>

<16 декабря 1873 г. Петербург>

Милостивый государь Виктор Павлович,

Вчера я наглядно убедился, что в многолюдном и однократном собрании<sup>2</sup>, притом со-  
званном наскоро, случайно, почти ничего отчетливо, и особенно окончательно, решить нельзя. Оставляя некоторые, едва затронутые, но важные пункты дела, обращусь к избранию меня редактором<sup>3</sup> предполагаемого альманаха или сборника. В меня общим и лестным выбором выпалили, как из пушки, и я не имел времени даже ознакомиться с обязанностью моей роли и скромно уклониться от нее, как все взялись за шляпы и разошлись. Но я *поспешаю* по крайней необходимости *сложит с себя эту роль*, к которой не гожусь – по болезненности, по неумению и по характеру. Тут нужен человек общительный, подвижной и к делу привычный. Во мне этих качеств нет. Являясь в собрание, я думал, что

буду вместе с другими приглашен внести литературную лепту в сборник или же *помочь кому-нибудь* рассматривать *отчасти* доставляемые материалы: например – повести и рассказы в прозе – и возвращать их с моим мнением редактору или издателю – и больше ничего.

Мне кажется, что выбору редактора должен предшествовать выбор комитета из всего собрания, в числе четырех, пяти или шести лиц, которые в свою очередь могли бы уже выбрать из себя председателя, секретаря, казначея и редактора или редакторов – и вести все дело издания, не беспокоя общего собрания, и, между прочим, решать такие капитальные вопросы, как, например, вопрос о бумаге, о художественном альбоме (с приглашением в комитет художников, бумажных фабрикантов и типографщиков), далее об обеспечении уплаты за бумагу, о чем, на заявление М. Е. Салтыкова, вчера не принято никакого решения, наконец и о самом капитальном вопросе, о котором было вскользь кем-то случайно, уже на пороге, спрошено и на который не последовало никакого общего ответа, и

именно о том, какого содержания должен быть сборник: чисто беллетристического или же с допущением ученых, критических и других статей?

Собственно беллетристов, поэтов (и вообще вкладчиков) от практической стороны дела нужно бы устранить для пользы самого дела: они или непривычны к нему (как я, например), или заняты приготовлением литературного вклада и потому могут быть практическими хлопотами отвлечены от своей работы, о чем я вчера и намекнул вскользь.

Если б мне выпало на долю внести предложение в собрание, я предложил бы – смею думать, может быть, и Вы разделите мою мысль – такой состав комитета: председатель – *Вы, Виктор Павлович*; редактор – *А. А. Краевский* или *М. М. Стасюлевич*, соединяющие в себе, с знанием литературного и издательского дела, и знание типографской части. В помощь к ним необходимо назначить двух-трех лиц, которые занимались бы разбором и классификациею материала – и могли бы, по требованию редактора, являться в комитет, которого и были бы членом de

facto. В этом деле – вместе, например, с гг. Некрасовым, Островским, Полонским, Майковым, Салтыковым – мог бы быть полезен и я: то есть брать читать часть материала и возвращать к редактору или председателю с своим мнением. Секретарь и казначей уже выбраны весьма удачно.

Может быть, такое предложение было бы принято и утверждено общим собранием – и тогда дело пошло бы скоро и аккуратно.

Во всяком случае, как бы ни решило собрание, я прибегаю к Вам с всепокорнейшей просьбой заявить при первом случае в общем собрании о моем решительном уклонении, по вышесказанным причинам, от обязанности редактора сборника – и принять уверение в моем искреннем почтении и преданности.

И. Гончаров.

16 декабря 1873.

# Письмо Полонскому Я. П., 15 января 1874\*

7<sup>7</sup> Я. П. ПОЛОНСКОМУ

15 января 1874. <Петербург>

Я очень жалею, что мы не виделись вчера, почтеннейший и любезнейший Яков Петрович, – я бы в двух словах рассказал Вам все, что хотел сказать о Вашей поэме<sup>1</sup> «Келиот». Я уже несколько дней назад тому прочел – и, конечно, с большим удовольствием. Есть восхитительные страницы, напоминающие Байрона, в тоне и жанре которого написана поэма. От этого самого многие критики современные найдут ее, может быть, несвоевременною по содержанию. Но это бы ничего, бог с ними, а я боюсь другого упрека с их стороны, в котором может оказаться некоторая доза правды: это – упрек в длинноте. Действительно, по легкости фабулы – поэма немного растянута, хотя, впрочем, это выкупается славными, по большей части, стихами, между которыми гораздо менее встречается небрежных, неотделанных, нежели в «Мими»<sup>2</sup>. Но Вы

сказали, что уже многие из них Вы про себя изменили, следовательно этот недостаток устранен. Длиннота же – и отчасти неясность, туманность – есть в начале, при описании судна и встречи с монахом на море и, может быть, кое-где еще. Я полагаю, что при повторительном чтении Вы сами кое-что заметите и сладите с этим легко. А может быть еще, мне и показалось только так – и я ошибся.

Я располагал прочесть ее у М. М. Стасюлевича<sup>3</sup> – и он и жена его приняли это с удовольствием, но на-днях он заехал ко мне, увидел рукопись и нашел ее очень волюминёзною. Он насчитал около 2½ печатных листов и находит, что ему нельзя теперь опять предлагать читателям своим сочинение такого объема в стихах, вслед за тем, как он только что дал им уже большую вещь в стихах гр. Толстого. «Это обилие стихов, говорит он, не гармонирует с серьезным характером его журнала». Вот его слова.

После этого я уже не решился читать у него, когда жена его напомнила мне мое обещание, и ждал случая увидеться с Вами – я или сам заеду, или Вы будете так добры и по-

вторите свое посещение.

К прискорбию моему, я никогда не могу заранее определить часа, когда я непременно бываю дома – по своей хилости. Иногда, как вчера, например, я не сомкнул глаз всю ночь напролет от метели, от сырости в воздухе – и должен был спать с 9 часов утра до 2-х дня. А если выдается свободный и здоровый часок, то я спешу поцарапать что-нибудь для сборника в пользу самарцев или прочитать то, что мне пришлют из комитета чужого материала для этого же сборника.

Наконец в иной вечер, устав от всего этого, бегу немного рассеяться по улицам и иногда загляну к кому-нибудь из немногих знакомых, где привык бывать.

До свидания же.

Преданный *И. Гончаров.*

## Письмо Достоевскому Ф. М., <11 февраля 1874>\*

7<sup>8</sup>

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

<11 февраля 1874 г. Петербург>

Я не утерпел и прочел Ваш очерк<sup>1</sup> вчера, глубокоуважаемый Федор Михайлович, и спешу сообщить Вам свое личное впечатление и мнение, прежде нежели представлю рукопись в комитет.

Вы, конечно, без моей критики очень хорошо знаете, как своеобразны, умны и верны характеристические заметки о наших путешественниках, служащие интродукцией к Вашим «Маленьким картинкам». Они одни могли бы сами по себе составить капитальное приношение в «Складчину».

Но чему Вы, кажется, сами мало придаете цены, так это тонкому и меткому очерку «приживальщика» больших домов, «таланту», как Вы назвали его, который вдруг овладевает общим вниманием в вагоне. Говорю – мало придаете цены ему, потому что Вы бросили его небрежно, вроде какого-то аксессуа-

ра к «картинкам», тогда как он и есть сам первая картинка. А у вас он явился, как общее место: «есть или бывают такие» – Вы дали ему это безличное значение, и между тем незаметно будто, водя карандашом по бумаге и не думая, Вы нарисовали, или, лучше сказать – сама рука художника, сильная и привычная, нарисовала полный, законченный очерк.

Если б Вы тут захотели и остаться – Вы и тогда уже дали бы щедрый вклад, без продолжения. Например, М. Е. Салтыков начинает свою статейку<sup>2</sup> также интродукцией, в которой есть несколько штрихов полей, ведущих к городу, и только въехал в город – тут и простился с читателем, дальше не пошел. У него, в интродукции, звучит какой-то задумчивый, серьезный мотив – и только. И все это составляет шесть, семь страниц.

А у Вас (или скорее у нас, у «Складчины») есть в перспективе еще «картинки». Это клад.

Простите меня за эту, так сказать, невольную критику. Я не позволил бы ее себе, если б меня не побуждала к тому обязанность члена комитета, и я хочу выразить только Вам, как важно для «Складчины» приобретение такого

приношения, чтобы и Вам самим сообщить тот взгляд, каким мы руководствуемся относительно авторских вкладов – для Вашего соображения о значении, объеме etc. etc.

Теперь перехожу к другой скучной обязанности: это цензора – и вместе ко второй половине рукописи – к священнику. После нескольких Ваших слов вчера об этом я как будто предчувствовал и отчасти предсказал о затруднении, которое может встретиться. Я Вам говорил, с каким сожалением мы должны были отказаться от статьи Авдеева – по причине священника же.

Ваш же священник-ухарь очерчен так резко и зло, что впадает как будто в шарж, кажется неправдоподобен, хотя, может быть, такие и есть (я никого почти из них не знаю). Вы сами говорите, что «зарождается такой тип»; простите, если я позволю заметить здесь противоречие: если зарождается, то еще это не *тип*. Вам лучше меня известно, что тип слагается из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц, где подобия тех и других учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются

знакомыми наблюдателю. Творчество (я разумею творчество объективного художника, как Вы, например) может являться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится; с новой, нарождающеюся жизнью оно не ладит: для нее нужны другого рода таланты, например Щедрина. Вы священника изображали уже не *sine ira*: [146] здесь художник уступил место публицисту.

Опять тысячу раз извиняюсь, что сбиваюсь с прямой дороги в сторону.

Вы давно пишете и, конечно, помните, какими недотрогами в ценсурном смысле были духовные и военные лица у нас: такими в значительной степени остаются они еще и теперь, при отсутствии предварительной цензуры. Я не говорю уже о том, что на Вас возопиет все духовенство «за мараль», по выражению купцов Островского, взводимую на духовенство, и, конечно, спросят: «Где Вы видели такого попа» – и т. д. и т. д. – мало ли к чему привяжутся! – и про себя не простят Вам даже за проклятие табакокурения.

Но это бы неважно, если бы они критически отнеслись к Вам: на всякое чихание не

наздравствуешься! Но привяжутся к нашему комитету, пожалуй, и т. д. и т. д., всего предвидеть нельзя, но можно многого ожидать.

Вы вчера на мои опасения довольно благодушно и равнодушно заметили: «Ну, так вон его!» Я этого не смею предлагать Вам, а буду только ожидать – буквально, как Вы прикажете.

Я предупреждаю, что это мое личное мнение – и если Вы не разделяете моих опасений, то прикажите или разрешите мне внести послезавтра очерк Ваш в комитет с *попом*. Если же Вы найдете мол предвидения несколько основательными, то благоволите дать мне знать по городской почте в двух словах о том: могу ли я внести то, что Вы мне дали, в среду в комитет (чего бы мне очень хотелось) и обещать, что Вы подарите еще не одну «картинку» – или же сказать, что тут и конец (чего бы не хотелось), так как и данное Вами уже составляет нечто целое.

Если Вы завтра, во вторник, вечером бросите письмо в ящик, я получу его в среду утром до комитета (заседание в два часа) – и исполню, что Вы скажете. Если пожелаете до-

ставить для поправок рукопись опять к Вам, я ее или сам привезу, или пришлю с человеком.

Отдаю себя в полное Ваше распоряжение и прошу верить моему искреннему уважению и преданности.

И. Гончаров.

11 февраля 1874.

Моховая улица, близ Сергиевской, дом № 3.

## **Письмо Достоевскому Ф. М., 14 февраля 1874\***

7<sup>9</sup> Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
14 февраля <18>74 г. <Петербург>

Должно быть, я не совсем ясно выразился в письме моем, что вызвал Вас, многоуважаемый Федор Михайлович, на серьезное возражение по поводу типа *попа*. Я никак не хотел сказать, что я не видал этого типа и потому он не существует или неверно написан у Вас. Я не видал и не знаю единственно потому, что нигде не бываю, никого не вижу и вообще с современными типами русского общества вовсе незнаком.

Я полагал, что его могут принять за шарж потому единственно, что он один зараз носит на себе все рубцы, которые нахлестал нигилизм, с одной стороны – (он и курит непомерно, и чертей призывает, и хвалит гражданский брак), он же – с другой стороны – и фронт, весь в брелоках, цепочках, опрыскан духами и напоминает французского модного аббата бурбоновских времен.

Вы говорите, что он не шарж и не выдумка, а снят Вами с действительности, как фотография. Может быть, в этом именно и заключается причина, что из него не вышло (на мои, впрочем, глаза) типа. Вы знаете, как большею частью в *действительности* мало бывает художественной правды и как (это Вам лучше других известно) значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из природы те или другие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, то есть добиваться своей художественной истины.

Вы говорите, что тип этот, может быть, и существовал, да мы его не замечали. А если мы, скажу на это, то есть *все*, не замечали, то

он и не тип. Тип, я разумею, с той поры и становится типом, когда он повторился много раз или много раз *был замечен*, пригляделся и стал всем знаком. В этом смысле можно про него сказать то же самое, что про звук. Звук тогда только становится звуком, когда звучит кому-нибудь, то есть когда есть ухо, которое его слышит, а дотоле оно есть только сотрясение или колебание воздуха.

Оставлю эту метафизику и физику и скажу, что я собственно разумел его, то есть *попа*, типом от нигилизма, следовательно и недавним, не успевшим наслоиться, так как нигилизм явление тоже весьма нестарое, начинающееся уже и разлагаться.

Под типами я разумею нечто очень коренное – долго и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений. Например, Островский изобразил все типы купцов-самодуров и вообще самодурских старых людей, чиновников, иногда бар, барынь – и также типы молодых кутил. Но и эти молодые типы уже не молоды, они давно наплодились в русской жизни – и Островский взял их, а других, новейших, которые уже народи-

лись, не пишет потому именно, мне кажется, что они еще не типы, а молодые месяцы – из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним, как к определенным и ясным, следовательно и доступным творчеству образам.

И я знал попа, если не атеиста, какого Вы знали, то уже вовсе не православного, но он не только не составлял типа – но ни елика подобия не имел, – а был каким-то Хлестаковым, которому из тщеславия хотелось вертеться между умными людьми. И это очень давно, когда еще едва прорезывался нигилизм.

*Учитель* Ваш, о котором я забыл упомянуть, едва задет, но уже представляет мягкую симпатичную фигуру.

Извините, почтеннейший Федор Михайлович, что я опять заговорил с Вами о типах и попах – но, право, это (поверьте искренности) – лишь от удовольствия обменяться с Вами несколькими живыми мыслями, как бы мы обменялись ими на словах.

Сегодня я торжественно внес Вашу первую половину в комитет, что принято было с большим сочувствием, и имя Ваше внесено в список участвующих, а рукопись я взял назад, чтобы представить в будущее заседание вместе со второю половиною. Заседание будет в *понедельник*, 18 февраля в 2 часа.

Так как Вы сочувствуете этому предприятию не одними словами, а и делом, то считаю особым удовольствием уведомить Вас, что книжка уже собрана вся, за исключением двух-трех ожидаемых статей (Островского, Кохановской<sup>1</sup> и еще кого-то) – бумага в начале будущей недели будет готова, и, следовательно, приступлено уже к набору. – Судя по составу и по авторам, книжка будет, кажется, смеем сказать, не одною только спекуляциею, но и действительно замечательною книгою.

Я исполнил, как Вы указали, то есть отобрал листки с девятнадцатого по двадцать шестой, именно с той строчки, которая начинается: «Однажды в июле» и до конца – и оставил их у себя, чтобы вручить Вам при свидании в надежде получить от Вас вторую половину – и обе вместе, если можно, в поне-

дельник доставить в комитет.

Прошу Вас верить моему искреннему почтению и преданности.

И. Гончаров.

## Письмо Кавелину К. Д., 25 марта 1874\*

8<sup>0</sup> К. Д. КАВЕЛИНУ<sup>1</sup>

25 марта 1874. <Петербург>

Моховая, дом № 3.

Многоуважаемый Константин Дмитрич!

То, что Вы прочитали нам у Михаила Матвеевича о Белинском, сделало на меня в целом самое благоприятное впечатление, разделенное, конечно, всеми слушателями: так много хорошего и так хорошо сказали Вы, что Ваши замечания сами по себе составляют миниатюрную характеристику известных периодов в жизни этой замечательной личности.

Все, что сообщаем мы, близко знавшие и любившие Белинского, его биографу, А. Н. Пыпину, имеет один общий недостаток, или, пожалуй, достоинство: мы пишем панегирики.

Но иначе, я полагаю, и быть не может. Сам Белинский относился к одним людям симпатично, иногда до слабости, до пристрастия, даже нередко в ущерб некоторым своим взглядам на то или другое, – к другим, напротив, антипатично, и тоже до крайности. Точно так же все относятся, даже и до сих пор, и к нему: одни – крайне симпатично, как будто умышленно закрывая глаза на его слабые стороны. Другие же (я говорю про его современников) отзываються о нем враждебно, тоже закрывая глаза на его достоинства. Средины ни у тех, ни у других нет, как не было ее и у Белинского в его отношениях к людям, и не к одним, впрочем, людям. Может быть, еще и не наступило время для этой «средины», не устоялась ни вражда, ни привязанность к нему до той степени хладнокровия, которое необходимо для правого суда и оценки.

Все мы, знавшие его, конечно, принадлежим к первой категории и в наших отзывах платим ему горячею защитою его против враждебной ему стороны за его горячие пристрастия к друзьям – и немудрено, что впадаем в пристрастие. Вы не избегли этого и явля-

етесь панегиристом, оставаясь притом верны Вашим наблюдениям и заметкам о нем.

Но между тем у Вас проскользнуло одно замечание, которое задело мое внимание, и я хотел поговорить с Вами, даже написать Вам, не для того, чтобы полемизировать с Вами, хоть это само по себе большое удовольствие для меня – а чтобы постараться уяснить этот пункт в характеристике Белинского, с Вашею помощью и с помощью других, более близких к нему, нежели я, – и установиться на чем-нибудь прочном и определенном. Это необходимо всего более для биографа. Я говорил об этом с А. Н. Пыпиным – и он утверждает меня в мысли поговорить с Вами, даже письменно, чтобы затронуть этот вопрос, и потом, что окажется, сообщить ему.

Вопрос этот довольно важный: именно об образованности или необразованности, или, вернее, об учености и неучености Белинского. Я не помню в точности редакции Вашего отзыва об этом пункте, но помню только, что и Вы упоминаете о недостатке подготовки или знания, или учености у Белинского. – У Вас это приводится, как простое свидетельство, в

руках же противников его, как Вам известно, это был упрек, которым они, как Архимедовым рычагом, старались столкнуть его с места, и стараются даже до сих пор (недавно, кажется, Погодин)<sup>2</sup>. Мне кажется, если это мнение, приведенное у Вас, например, с Вашим авторитетом, повторится еще раз-другой в виде ли простого показания, как у Вас, с примесью даже сожаления – о недостатке «учености» у Белинского – у некоторых других, то противники его уже смело составят Белинскому репутацию «неуча», «недоучки» и т. д. – и с этим паспортом передадут его внукам нашего поколения. А враги его, особенно в свое время, не скупилась на эти клички: журналисты, профессора, разные ученые по профессии, с патентами, дипломами и пр.

Всем этим я хочу сказать, что отзывы о «неучености» Белинского должны быть так же строго обусловлены и определены, как и нравственная сторона его характера.

Сколько я наблюдал его (не надо забывать, что я знал его в конце его поприща, года за два или за три до кончины), – я нередко удивлялся голословным отзывам о его у неучено-

сти, недостатке подготовки. Может быть, в начале своей деятельности он, по застенчивости и нервозности характера, полностью еще неполной зрелости (которая, как Вы приводите его слова, позднее приготовила его для философии) – или, наконец, потому, что он не заглянул еще в ту или другую область знания, он и казался недостаточно подготовленным. Но когда я знал его – и видел рядом с тогдашними передовыми, самыми образованными и, наконец, учеными (и официальными и неофициальными) людьми и в изустных беседах, и в журнальных схватках, и, наконец, в непрерывном и бесконечно плодovitом развитии на каждом шагу его идей, взглядов, убеждений – я видел массу знаний: и фактических положительных сведений по части множества даже посторонних его деятельности предметов, а понятий, идей – решительно обо всем, что только входит в круг знания. Часто он не знал, но как-то непостижимо для простого наблюдателя постигал самые процессы какого-нибудь специального дела.

«Не учен», «не подготовлен» – слышал я и удивлялся. Как не учен и для чего не приго-

товлен: чтоб быть профессором, академиком? Читать публичные лекции? Или излагать по тому или другому методу, по той или другой системе ту или другую науку, писать трактат? Конечно, не приговорен для этого. Профессия ученого была не его профессия, да он никогда и не брал ее на себя. Отчего же его называют неученым, а массу других, у которых сотой доли не было его знаний (не говоря о развитии, об идеях, понятиях), никто и не трогает и не говорит об их образовании?

А если б он был и учен *по-ихнему*, как они, его противники официальные ученые и другие, годился ли бы он для ученой деятельности на кафедре или в сочинениях, то есть могли бы спокойно относиться к науке, углубляться, зарываться в архивах, обдумывать, соображать, строить систему и т. п.? Конечно, нет. Не усидел бы он ни в академии, ни на кафедре, ни даже у себя в кабинете, если бы туда не врывалась к нему свежая струя текущей жизни и шумная толпа симпатичных ему людей. Он жил, учась за пером и в живых схватках с противниками или разливаясь в импровизациях, и печатно и изустно, – и туда ухо-

дили его силы.

Следовательно, говоря о его знаниях, необходимо обуславливать в точности: *какой уче-ности не доставало ему*, и за этим ставить во-прос: *«Довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на долю?»*, то есть *для роли не эстетического критика собственно, не для публициста только, а для того и другого вместе* и еще для чего-то третьего тогда, чего-то вроде трибуна?

Разбирая строго, ведь и от Гумбольдта, от Гете или Вольтера и от прочих можно пожелать большей подготовки, нежели какую они имели. Следовательно, от Белинского можно пожелать ее и подавно. Но тут опять надо спросить – *отвечала ли эта степень подготовки эпохе и моменту его деятельности и его среде, и много ли он сделал для своего времени и современного ему поколения?* И вот только в совокупности на все эти вопросы и следует и можно давать по возможности покойный, то есть отрешенный и от вражды и от пристрастия к нему, ответ.

Сначала надо спрашивать, *что сделал Белинский*, потом уже, пожалуй, как он сделал?

Тут же кстати можно бы спросить, *много ли сделали те «ученые»*, которые громили его за неученость, и назвать их по именам.

Вы помните, Константин Дмитриевич, как искренен и нехвастлив был Белинский. С посторонним, малознакомым лицом он почти совсем не говорил или говорил мало, несвязно и, конечно, не блистал ни умом, ни знанием. Только с близкими он распоясывался, так сказать, не остерегался ошибок и давал волю всем своим силам. И вот в таких именно импровизациях, спорах, против воли, как-то ненарочно и нечаянно, он обнаруживал массу сведений, которых нельзя было подозревать в нем, если бы речь прямо зашла об них. Но он ронял и сыпал их нечаянно, как часто нечаянно в печатных статьях сверкал остроумием, удачными сравнениями, ссылками на те или другие авторитеты и т. д. Следовательно, знания, собранные им медленно, иногда по клочкам, *служили его прямой цели, его делу, то есть его перу*. Он не держал на ученой конюшне оседланного, готового коня с серебряной сбруей, не выезжал в цирк показывать езду *Haute école*, а ловил из табуна любимую

лошадь и мчался куда нужно, перескакавши ученых коней. Это ему и было нужно, и строгая, глубокая или систематическая ученость сделала бы из него, конечно, другую, все крупную же фигуру, но не такую, может быть, какая нужна была именно для той публики и для того момента, когда пришлось ему действовать как партизану. И выходит, что он «неученый», потому что не кончил курса, не получил патента. А вот нас, сотни полторы в одно время с ним было в университете, никто не называет неучеными, а из нас ученый вышел, кажется, один: Бодянский. А прочие – так себе, ничего. Но нас неучами не называют, потому что у нас есть патент. А много ли мы сделали? Например, называют ученым Строева (Скромненко), Станкевича, юношу, только подававшего еще надежды, – и что же сделали все современники Белинского сравнительно с ним?

Ученостью могли подавлять его, например, Герцен: это так. Но ведь и он не ученостью сделал все в литературе и жизни, что сделал, хотя ученость или, лучше, всестороннее образование было только подспорьем его

таланту и блестящему остроумию. – Вот Сенковский был и настоящий ученый: и тот, если произвел какое-нибудь движение (новизны, некоторой смелости), то ведь тоже не ученостью, а кое-каким талантом. А ведь и Греч и Булгарин обзывали Белинского неученым: хороши ученые!

Но Белинский никогда не влезал в кожу Хлестакова и никогда не сказал «знаю то или другое», даже когда и знал что-нибудь. И эта искренность и скромность принималась за незнание. Тогда как кругом его никто, я думаю, ни один не отрешался от самолюбия, чтобы сознаться в неведении чего-нибудь.

Общество кишело невеждами, всезнайками около него. Сколько академиков, профессоров, литераторов притворялось и притворяется ежедневно классиками, знатоками древних и новых языков, химиками, математиками и т. д. и т. д.!

Он – никогда, а посмотришь, знает или имеет понятие, наконец, *живое и верное представление о предмете*. Я помню, в спорах, бывало, вдруг окажется, что он имеет довольно основательные понятия о небесной механике

или вдруг в разговоре с медиком откуда-то являются у него сведения о некоторых процессах химических или заговорит о физиологических функциях (в то время, когда книг и публичных лекций не было об этом). Сами Вы сказали в Вашей статье, что он верно определил некоторые положения Гегеля – вперед и т. д.

Как назовешь такого человека «неученым» *без строгой оговорки, не обусловив этого приговора множеством разных определений и отношений – времени, среды, роли, не сравнив со всем прочим и прочими?* Вспомним то, что мы все, учившиеся в университетах, получаем там только, так сказать, напутственную программу для учения и развития, но программу более или менее правильную, систематическую, полную, чем так и дорого университетское образование, которое охотнику учиться помогает только не сбиваться с прямой дороги, не терять нити, а которая сама не учит.

А собственно как еще все кандидаты прав, математики etc. далеки от учености! И сколько их, бросив эту нить и вообразив, что они с

наукою кончили, гуляет по белу свету – без всякого клейма науки, которое стирается бесследно. Или же, напротив, сама жизнь для таких умов, как Белинский, становится настоящей школой и академией. А у него еще была и академия в его деятельности, открывшаяся ему со школьной скамьи: это редакционная работа и непрерывное чтение десятки лет – и серьезного, путного, и хламу.

Следовательно, забыть ничего было нельзя, а набрать и усвоить своему уму (Белинского) в океане книг, журналов, во встречах с лучшими людьми, умами – можно было много.

Извините, Константин Дмитрич, что я пишу это беспорядочное письмо. Непростительно его отдавать Вам, и я бы не отдал, если бы только дело шло о желании моем поговорить с Вами. Можно ведь и не поговорить: Вы бы ничего от этого не потеряли, а я не писал бы этих страниц. Но я думаю, что в этом вопросе, касающемся Белинского, есть неясность и что эту неясность гораздо лучше меня проясните Вы с помощью некоторых других. А такое прояснение Ваше послужит А. Н. Пыпину – и

поможет оговорить или обусловить и в самой биографии Белинского вопрос неучености последнего так, что следующие поколения будут знать, насколько он был выше в этом отношении множества современных ему присяжных ученых, умея служить *клочками* учености живому делу, тогда как их «ученость» лежала мертвым капиталом.

Мне кажется, мы с Вами оба правы: Вы, находя также пробелы в подготовке Белинского, а я не находя почти никаких именно по той причине, о которой я упомянул выше: *Вы знали его в начале, а я в конце его деятельности.* При Вас он расцветал, при мне разрушался – пережив даже пору зрелости. Следовательно, мы – относительно степени подготовки видели почти двух разных людей, и между той и другой порой – большой промежуток и большая разница, хотя мне кажется, что в последний период его деятельности в нем уже и печатно заметно проявляется и начитанность и некоторая уверенность в достаточности своей подготовки.

О недостатках Белинского, я знаю, будет большая речь впереди. Ему не простят так

снисходительно, как прощаем мы, его почитатели, пристрастия его к друзьям, где у него строгость сознания и суда уступала сердцу (он хвалил преувеличенно Панаева, Брянского и почти всех, кто был ему близок) – ибо мы знаем, что это были уступки, мягкость сердца и что других уступок он не сделал бы за миллионы – и подкупить или обмануть его можно было только симпатией: более ничем он не подкупался.

Если уже этой слабости нельзя скрыть (и не надо) или защищать от следующих поколений – то нужно по крайней мере нам не давать его в обиду там, где он гораздо меньше виноват своих quasi-ученых противников, и стараться прояснить всякие по этому вопросу недоразумения, чтобы после не было поздно, когда нас не будет, и чтобы кличка неуча не осталась за ним.

Простите и примите мой глубокий поклон с уважением.

И. Гончаров.

P. S. Письмо это, как и все, что написано и отдано мною А. Н. Пыпину о Белинском, – отнюдь для печати целиком не предназначает-

ся. А если бы оказалось нужным, можно приводить цитаты или делать ссылки и т. п.

И. Гончаров.

## **Письмо Пыпину А. Н., <10 мая 1874>\***

**8**<sup>1</sup> А. Н. ПЫПИНУ<sup>1</sup>

<10 мая 1874 г. Петербург>

Я получил через Михаила Матвеевича отдельный оттиск II главы биографии Белинского под заглавием «Университетская жизнь» и, пробегая эту главу, вспомнил Ваше желание, многоуважаемый Александр Николаевич, чтобы все современники, и вообще знавшие лично Белинского, сообщали Вам о нем или о его времени свои замечания. Вследствие этого я отметил кое-какие, впрочем мелкие, неточности, о которых, однако, считаю не лишним сообщить Вам на случай, если б Вы захотели принять их в соображение при отдельном издании биографии. Конечно, Вы дорожите более всего верностью, а в серьезном и строгом труде, как Ваш, было бы жаль видеть искажение даже пустых иногда деталей.

Я, кажется, говорил Вам, что я вступил в университет в 1831 году (тотчас после холерного года) на первый курс, но ни Белинского, ни Герцена, ни Чистякова там никогда не видал, хотя, как вижу из Вашей биографии, Белинский и прочие были еще там<sup>2</sup>. Этому – простая причина та, что эти господа были, вероятно, на втором курсе, а я вступил в первый, называвшийся тогда *приготовительным*. Курс был три года: у нас, то есть у первого курса, аудитория была небольшая, обращенная окнами на малый двор, откуда, сбоку, в углу был и вход в нее. Аудитория же второго и третьего курсов была огромная зала в бельэтаже, окнами и входом обращенная на большой двор и улицу. Таким образом, студенты 1-го не сходились никогда с студентами 2-го и 3-го курсов. От этого я, перейдя в 1832 году на второй курс, не застал там ни Белинского, ни Герцена, ни Чистякова, но застал, однако, Станкевича, Ефремова, Строева, Аксакова (Константина) – и теперь не помню, кончили с ними вместе курс, или они вышли годом раньше меня. Но с нами их на первом курсе не было, а были там Бодянский, Лермонтов

(не перешедший на второй курс, а уехавший в Петербург) и т. д.

Во всем том, что я Вам здесь сообщаю, о Белинском нет ничего, потому что я не только не видал его, но и не слышал о нем в Москве ничего до приезда в Петербург. Но, как я выше сказал, я полагаю, что Вы дорожите верностью и мелочей, относящихся вообще до той эпохи, и потому скажу, что заметил и что мне кажется неверно.

Неточности или неверности эти, впрочем, касаются больше анекдотической стороны в характеристике некоторых профессоров, особенно Победоносцева, и потому упомяну о них после всего. А теперь замечу по поводу оценки лекций Надеждина, что его никак нельзя упрекнуть в *безучастии к собственному предмету, в сухости слов и в недостатке серьезных занятий*, как сказано в биографии.

Сухость неизбежна во всяком предмете, где есть какая-нибудь догматика: конечно, ее меньше, нежели где-нибудь в *Теории изящных искусств и археологии*, – но в последней нельзя было избежать сухости в истории египетских, римских и прочих древностей, в исто-

рии школ искусств – наконец, в философском воззрении на искусство и прочее и прочее.

И в этом во всем, то есть в неизбежной сухости, сквозило почти никогда не остывавшее собственное постоянное увлечение профессора к предмету, поддерживавшее и постоянное увлечение в слушателях. Надеждину можно сделать другой упрек: не в недостатке серьезных занятий, как сказано в биографии. Занятия у него были: одна эта кафедра требовала постоянных занятий и огромной подготовки, – и она у него была, серьезная и глубокая. Это был строгий и основательный ученый по части гуманитарных наук. Древние языки и вообще древность дались ему в духовной академии и были подкладкою всего того, что потом нужно было приобрести ему по изучению новейших языков и литератур, философии и т. п. Все это тогда было *серьезными занятиями* – особенно при кафедре. Он потом, говорят, пристрастился к светской рассеянной жизни, но связь с университетом и издание журналов и сношения с ученым кругом того времени не давали ему опуститься и заглохнуть совсем. А упрекать его можно было

в том, в чем он почти не был виноват, именно: он читал, например, о скульптуре, архитектуре у древних, о школах живописи, о знаменитых произведениях всех трех искусств, — *сам никогда не видав ни одного здания, ни одной знаменитой статуи, ни одной порядочной картины.* Сколько помню, он, до профессуры своей, едва ли был даже в Петербурге и, следовательно, не видал музеев. Отсутствие живого, личного впечатления, наглядности было заметно в его лекциях — и это могло быть принято за сухость. Он прочитал и изучил все, что есть у других по этой части, и передавал всегда с увлечением, — но и сам должен был довольствоваться тем, что воображением создавал идеалы знаменитых произведений и предлагал их слушателям. А слушатели большею частью и в произведениях слова должны были полагаться на слова профессора и вооружаться готовым анализом и критикою на произведения, о которых имели понятие понаслышке.

Например, тот же Надеждин, потом Шевырев и Давыдов — да еще Ивашковский со Снегиревым в пять труб трубили и о Гомере, о Ге-

зиоде (а Шевырев даже о Саади<sup>5</sup>, Гафице<sup>6</sup> и об индийских поэмах, и очень пространно), о Горации, потом о Данте, Виргилии (даже Камозэнсе<sup>3</sup>) и т. д., до Хераскова включительно. Между тем из ста пятидесяти студентов сто двадцать, наверное, ничего этого не читали. Одни по молодости и ветрености, другим негде было взять, третьи не могли прочесть не только в подлинниках, но и во французском или немецком переводах. А все более или менее уже судили и рядили, что именно в Гомере прекрасно и что в Тассе<sup>7</sup> не прекрасно, и делали заключения о той или другой эпохе, литературе и т. д. Те немногие, кто хотел заниматься, конечно, тогда уже старались ознакомиться с тем, чего не знали, а другие прошли мимо, не заботясь о многом. Иное, когда уже юноши посозрели и вкусили – кто Вальтера Скотта, кто Жорж Занд и т. п., потом и в горло не пошло. После же Пушкина отослали к чорту всякого Гезиода<sup>4</sup> и Горация. Я помню, что я (я много читал еще с детства и по-русски и по-французски, а позднее по-немецки, по-английски) все хотел добыть поэму Камозэнса – и не добыл, а в Петербурге, ко-

гда было возможно, никак не мог одолеть, – и до сих пор не знаю, что там такое. Об истории и философии – еще хуже. Книг по этим предметам вовсе не было – немногие были запрещены.

Вот в чем был главный недостаток Надеждина – недостаток в личном, так сказать, знакомстве с знаменитыми произведениями пластических искусств, о которых он подробно читал.

Зато как богато вознаграждался этот недостаток в истории и анализе литератур русской и иностранных. Здесь два профессора наперерыв – Шевырев и Надеждин, – как справедливо сказано у Вас в биографии и как засвидетельствуют, конечно, все тогдашние студенты, – оказали громадное и благодетельное влияние на всех юношей, – и это влияние ярче всего отразилось на Белинском. Про себя я могу сказать, что развитием моим и моего дарования я обязан прежде всего влиянию Карамзина, которого тогда только еще *начинали переставать* читать, но я и сверстники мои успели еще попасть под этот конец, но, конечно, с появлением Пушкина скоро отрезвля-

лись от манерности и сентиментальности французской школы (я говорю об искусстве), которой Карамзин был представителем. Но тем не менее моральное влияние Карамзина было огромно и благотельно на все юношество, затем началось влияние Пушкина, а потом мы, студенты, обязаны уже вышесказанным профессорам – и отчасти Давыдову, который, впрочем, оказывал услугу только тем, что знакомил нас так же (как и те двое) с историей философии – в кратких, сжатых очерках. Что касается собственно до *Теории словесности* и *Истории литературы* (его кафедра), то никакой теории у него, конечно, не вышло (так как ее не существует); помню только, что он все ссылался на Баттё<sup>8</sup> и Блэра<sup>9</sup> и разводил глубокомысленно руками. Дар слова у него был скудный: вот он был действительно *безучастен* и холоден к своему предмету – и *сух, крайне сух*. Но зато величав, церемонен и педантлив.

Все трое еще приносили пользу тем, что читали не по готовым тетрадям, а наизусть. Давыдов задавал даже двоим студентам по очереди составлять из каждой его лекции так

называемый перечень, то есть написать и обработать ее, а у Надеждина и Шевырева (у Каченовского тоже) неизбежно было записывать, когда они читали: иначе не по чем было готовиться к экзаменам и вообще следить за лекциями. Этот способ записывать чрезвычайно помогал свыкаться с изложением и практически учил хорошему русскому языку. Тогда как в юридическом факультете все профессора давали студентам готовые лекции – и оттого там лучшие студенты были те, у кого память была хороша, и случалось так, что выпущенные оттуда кандидаты иногда на письме плохо ладили с грамматикой.

Оба первые, то есть Надеждин и Шевырев, первый в горячей, всегда вдохновенной речи, второй – в методическом, искусном, обдуманном изложении, – оба твердили об идеалах красоты, изящества, правды, добра, совершенства и т. д. – оба держали юношество на известной высоте умственного и нравственного настроения. Это главная их заслуга, как Станкевич это оригинально выразил (у Вас в биографии Белинского). Потом оба, а с Давыдовым и все трое, пожалуй, первые нарушили

рутинный ход официальной критики и внесли в последнюю разум, свежесть, чистый воздух, простоту и т. д.

До тех пор в училищах, а потом на первом курсе, у Победоносцева, всех классиков ставили в одну шеренгу – с Гомера до Хераскова – и читали им нечто вроде литературного надгробного похвального слова.

Все это, конечно, ниспровергнуто новыми профессорами, после Мерзлякова, которого кафедра только что закрылась в 1830 году. Гомер остался на своем месте с Дантом и Шекспиром, с Тасса отчасти сбили венок, а Хераскова отправили с Клопштоком и с кое-кем еще на литературный чердак. Имя Пушкина, которого запрещали в школах, засияло первой звездой на кафедре – и т. д. Словом, совершился критический поворот, явилась новая школа, во главе которой и стал, Надеждин, Полевой, а после Белинский.

Все, что следует затем, у Вас сказано и вы знаете все лучше меня. Я только по поводу Надеждина и Шевырева хотел высказать свое о них воспоминание, в дополнение к сказанному в *Биографии*.

Теперь обращаюсь к анекдотам о профессорах и т. п.

На странице 607 *Биографии Белинского* говорится, что студенты встречали Победоносцева вечером с пением: *се жених грядет в полнощи*. Это было, но отнюдь не с Победоносцевым, а с Гавриловым, профессором славянского языка. Победоносцев по вечерам никогда не читал лекций. Я не застал его: кафедру эту закрыли, но студенты, по свежему преданию, рассказывали мне, что они неоднократно встречали его таким образом, то есть славянской песнью. Он был тоже чужак: не любил, например, чтоб на его лекции приходили студенты других факультетов, и когда это случалось – студенты ему скажут: «Чужак есть!» – «Где, где?» – он вскакивал с кафедры и выгонял вон.

Потом на той же 607 стр. приводится, что будто *едва ли не на каждой лекции Победоносцева раздавался свист*.

Это положительно неправда. Это случилось всего один раз: я был тут и помню, как будто вчера случилось. Было тихо – вдруг за дверями аудитории раздается тихий свист на

голос: *Милый друг, сердечный друг.* Профессор остановился в изумлении, и мы все были озадачены (из этого видно, что это было в первый раз). «Господа, это недостойно, – сказал Победоносцев, – я на вашем месте сам выгнал бы такого товарища из аудитории!» Мы все закричали, что это не в аудитории, а за дверями, в коридоре. Профессор зазвонил в колокольчик и закричал: «Стóрожа!» Бросились за сторожем, но его не было. Наконец минут через пять прибегает маленький старенький сторож (как теперь его помню) в поношенном до белых ниток синем форменном сюртуке. «Кто свистал в коридоре?» – спрашивает Победоносцев. «Не могу знать, Ваше высококородие». – «Как не можешь знать – ты тут был!» – «Никак нет, Ваше высококородие – я отлучился помочиться!..»

Взрыв хохота, рукоплесканий – словом, невообразимое ликование охватило всю аудиторию при этих последних словах. «Господа! Господа!» – пытался умиловить профессор слушателей, но не мог, и лекция кончилась под этим впечатлением. После того ни разу это не повторилось, да и не могло: аудитория

была мала, и видно бы было сейчас, кто свищет, а сторож, конечно, смотрел в оба.

Петр Васильевич Победоносцев не был ни грубоват, ни злопамятен, как у Вас выходит в биографии. Это был кроткий, благодушный человек, но старого века. Сам он страх как боялся начальства, чтил его беспрекословно, и когда, бывало, входил в аудиторию ректор Двигубский, такой же профессор, как и он, Победоносцев стоял перед ним, как солдат перед генералом, руки по швам, с робостью в голосе. И сам требовал себе почтения от студентов, как должного. Студенты отвечали профессорам сидя (тогда это стало уже входить), но он этого не терпел. И только тогда (помню даже имя студента Цвецинского) скажет: «Встань, братец, встань!» А обыкновенно он из *Вы* не выходил в обращениях к студентам.

Поэтому я никак не могу допустить, чтобы он способствовал удалению Белинского из университета за слова: «Сидишь точно на шиле». Не в характере это было такого человека: помню, что при начале второго курса, когда нас собрали всех в ту же аудиторию, Победоносцев пришел объявить нам, кого перевели

на второй курс, кого нет. Между прочим, не перевели одного студента Иванова. Вдруг этот Иванов при всех нас залился слезами. Победоносцев был и озадачен и тронут. У него упал голос, и он с добротой стал утешать Иванова.

Нет, – я поручусь, что он не повинен в удалении Белинского.

На стр. 621, в выноске 2-й, у Вас замечено, что «нехождение на лекции и неудовлетворительные экзамены были небольшой бедой для студентов и что один студент пробыл в университете 9 лет».

Это было так до 1831 года, до моего вступления, но с тех пор стало строго. Некоторые профессора завели даже перекличку, и у кого накапливалось известное число abs (absens), то это имело влияние на перевод из курса в курс и на выпуск. Был и в нашем словесном факультете такой студент Аршеневский, который пробыл девять лет, но когда я перешел на второй курс и когда начались строгости – его не стало.

Вот все, что я заметил во II главе Биографии – и рад буду, если что-нибудь пригодится в моих летучих заметках.

Искренно Вам преданный  
И. Гончаров.  
10 мая 1874.

**Письмо Семевскому М. И., 11  
декабря 1874\***

8<sup>2</sup> М. И. СЕМЕВСКОМУ

11 декабря 1874 г. <Петербург>

Возвращаю при этом Вам, многоуважаемый Михаил Иванович, три томика «Российского Жилблаза»<sup>1</sup>. Нельзя не отдать полной справедливости и уму и необыкновенному по тогдашнему времени уменью Нарезного отделяться от старого и создавать новое. Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его, как первого русского по времени романиста. Он школы Фонвизина, его последователь и предтеча Гоголя. Я не хочу преувеличивать, прочитайте внимательно, и Вы увидите в нем намеки, конечно слабые, туманные, часто в изуродованной форме, но типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем. Он часто впадает в манеру и тон Фонвизина и как будто предсказывает

Гоголя. Естественно у него не могли идеи выработаться в характеры по отсутствию явившихся у нас впоследствии новых форм и приемов искусства; но эти идеи носят в туманных образах – и скупого, и старых помещиков, и всего того быта, который потом ожил так реально у наших художников, – но он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фонвизиним и возведенной на высшую ступень Гоголем. И тут у него в этом «Жилблязе», а еще более в «Бурсаке» и «Двух Иванях», там, где нехватало образа, характер досказывается умом, часто с сатирической или юмористической приправой.

В современной литературе это была бы сильная фигура.

Замечательны также его удачные усилия в борьбе с старым языком, с шишковской школой, с педантизмом и вообще со всем устаревшим – в формах суда, например, и т. п.

Эта борьба, в которой он еще не успел, как почти и все тогда (в 1814 г.), отделаться вполне от старой школы, делает его язык тяжелым, шероховатым, смешением шишковского с карамзинским. Но очень часто он успева-

ет, как будто из чащи леса, выходить на дорожку и тогда говорит легко, свободно, иногда приятно, а затем опять впадает в архаизмы и тяжелые обороты.

И. Г.

Р. С. В этих беспорядочных строках я, конечно, не успел выразить того, что считаю Фонвизина, Нарезного и Гоголя главными представителями чисто реальной школы, стоящими как будто отдельно в литературе до нашего времени, когда почти вся литература приняла этот характер, с немногими исключениями.

# Письмо Писемскому А. Ф., 5 февраля 1875\*

8<sup>3</sup> А. Ф. ПИСЕМСКОМУ

5 февраля 1875. <Петербург>

Я получил Вашу пьесу<sup>1</sup>, почтеннейший Алексей Феофилактович – и благодарю за присылку.

При этом не могу не поделиться с Вами впечатлением, которое она произвела на меня, тем более что это впечатление идет в разрез всему тому, что о пьесе говорили мне другие. Я только и слышал и слышу каждый день от всех, что пьеса плоха, некоторые говорили даже, что она ниже всякой критики.

Поэтому я вчера с большим предубеждением принялся читать ее, но, к изумлению моему, пьеса подействовала на меня совсем иначе. Она мне показалась умна, жива, искусно задумана и чрезвычайно удачно ведена, как будто вылитая сразу из одного куска металла. И притом очень сценична. Но что в ней лучше всего – это обе героини. Дарьялова и Надя – обе женственны. Это настоящие женщины.

ны: очерк горничной Нади – сделан мастерски.

Откуда же, думаю я с удивлением, эти еди-нодушные порицания? Или – неужели я сам так грубо ошибаюсь, что не умею отличить из рук вон слабой пьесы, как ее называют все, от положительно хорошей, как я ее нахожу? Или это от пристрастия к Вам: но у меня его нет – доказательство тому мое невысокое мнение о «Ваале»<sup>2</sup>.

Кроме героев, в драме живо и искусно начертана карикатура мошеннических акционерных обществ – и особенно удачно введен азиатский элемент, армяне, татары etc., играющие большую роль в торговле от Астрахани до Петербурга. – Все это метит не в бровь, а прямо в глаз – следовательно, с этой стороны – это большая услуга обществу – ткнуть пальцем в разных Дарьяловых и тому подобный народ!

Кроме того, пьеса нравственна – обнажая грубые понятия о правах и жалкие отношения обоих полов друг к другу – в *просвещенное время!* – Последняя сцена в саду этой новой «Травиаты» – глубоко трогательна, даже без

пистолетного выстрела!

И вдруг эта пьеса не нравится, а нравится, например, «Sphinx», *Сфинкс*, играемая на Михайловском театре, где содержание скудно, конец натянут (я ее читал, но не видал на сцене) – и всё бессилие идеи и характеров прикрито красивым, выработанным языком!

Кажется, я не ошибусь, если предположу причины нерасположения к Вашей пьесе в следующем:

1) Сфера Ваших героев отчасти надоела: это танцклассы или кафе-chantants, где герои – плуты, кокотки, а у Вас тут примешались дворники и будочники и т. д.

Но что же делать, если эта сфера с каждым днем все распространяется и захватывает более и более простора и народу? А кокотки? Они положительно господствуют в обществе – и вместе с разными акционерными и концессионерами ворочают машиной почти всей спекулятивной и промышленной деятельности, следовательно большая часть общественной арены, общественных сил и денег – во власти у них! «Зачем же трогать их?» Как зачем писателю трогать их? Кому же и

трогать и указывать на них, как не сатирику, не комику там, где законы и полиция бес- сильны?

Ведь *они* и *оне* затрагивают все наши ин- тересы, чувства, будят и даже создают гадкие, неестественные страсти и т. д. и т. д. – словом, будоражат все общество!

Вы берете на свою долю то, что сами види- те. Пусть другие комики берут то же самое в другой сфере повыше, в классе развитых и опрятных плутов и кокоток – в бархате, шел- ку, в больших салонах! *Suum cuique!*[147]

2) Другая причина злой критики против «Просвещенного времени» – это противоре- чие, вкравшееся в характер героини Дарьяло- вой.

В последнем акте она возбуждает глубокое участие к себе своею женственностью: она там жертва ошибки, она не поняла сама Ама- турова и не понята им. Выходит, что она иска- ла не чувственной страсти, а глубокой, созна- тельной любви, на которой сердце ее могло бы отдохнуть от мерзкой сферы и гадостей ее мужа?

И этим пьесе сообщен в конце глубокий

интерес.

Но так ли это? Посмотрите, что делает эта госпожа вначале? Она вешается на шею к Аматурову, целует ему руки, не спускает с него глаз, ревнует его на каждом шагу и в каждом слове и, наконец, раздражается (стр. 71) монологом, с такими выражениями: «Ты бог какой-то для меня! Идол!» – так что ему становится даже неловко.

«За ум, говорит, за твое доброе сердце люблю тебя – (и тут же прибавляет) и за чудные глаза!»

В чем эта женщина успела разглядеть его «доброе сердце» – это неизвестно, но только ясно одно, что язык этот *есть язык половой страсти и что она отнюдь не имела права называть его чувственником*, когда вся пьеса до последнего акта наполнена горячечными и страстными излияниями ее ревнивой половой любви.

Сознательная и глубокая любовь, проповедницею которой она является в последней сцене, так не выражается или выражается не так.

Даже первый разговор ее с Аматуровым в

начале пьесы, где она добивается от него, за что он ее любит, и как будто обижается ответом, что за ее красоту, очевидно, сочинен, чтоб сделать из нее в конце идеальную непошлую женщину. Но и эта прелюдия не спасает ее, а только как будто прикрывает искусно ее нервную и раздражительно-чувственную натуру. Далее и в этой сцене она как будто добивается узнать только, одну ли ее и страстно ли он ее любит? Нет, кроме конца, во всей пьесе она является уже готовою кокеткой – если не по принципу не продажной, то по темпераменту.

Вот это-то противоречие, которое, вероятно, заметит Вам и серьезная, а не фельетонная критика, конечно и служит оружием против пьесы многочисленным ее порицателям.

Что касается до меня, я радуюсь Вашему успеху и нахожу его вполне заслуженным. Если актеры сумеют сыграть – пьеса очень сценична и будет смотреться с удовольствием.

Дружески кланяюсь Вам и Екатерине Павловне.

Ив. Гончаров.

## Письмо Полонскому Я. П., <около 25 марта 1876>\*

8<sup>4</sup> Я. П. ПОЛОНСКОМУ

<Около 25 марта 1876 г. Петербург>

Благодарю Вас, многоуважаемый Яков Петрович, за дорогой подарок, за который на днях, когда будет посветлее и потеплее, зайду поблагодарить Вас лично.

Хотя в «Озимях» мне мало незнакомого<sup>1</sup>, однако я вчера и утро и вечер перечитывал то то, то другое место в обеих книгах. Прочел опять и «Келиота» и несколько помирился с ним (Вы помните, что я спорил с Вами за него?), перечел и «Мими».

Но не эти две поэмы поглотили меня, а все вместе взятое в обеих книгах. Пробегая их и припоминая все написанное Вами прежде, я видел яснее и яснее весь Ваш образ, как поэта и как человека. Значение этого образа, для меня по крайней мере, определилось и закончилось этой книгою вместе с прежним.

«Закончилось», – говорю я, но отнюдь не окончилось. Я верю, что Вы будете писать, по-

ка будете мыслить и чувствовать. Но этою книгою Вы, так сказать, вступили в полнолуние, досказали себя вполне, досказали Вашу душу, нравственную натуру. Ума своего Вы долго, может быть никогда, не доскажете.

Не знаю, вполне ли Вы сознаете сами, какую хорошую книгу Вы дали русскому обществу. Не обижайтесь, пожалуйста, за это мое сомнение в Вашей сознательности насчет себя. С авторами это часто бывает, то есть что, будучи иногда тонкими и верными критиками чужих трудов, они не знают, что думать о себе. Это я говорю про даровитых людей: бездарные скромностью и сомнениями насчет себя не страдают и почти всегда довольны собой – и это собственное довольство и есть некоторое вознаграждение им за бездарность.

Обращаюсь к «Озимям». Вы, конечно, знаете, что Вы поэт и мыслитель, что известно всем, но не все знают, или не все признают в наше время, еще капитальное, драгоценное качество Ваших произведений (в старину сказал бы «Вашей музыки»). Это вашу искренность, теплое душевное отношение к каждой Вашей

строке, стиху, звуку. Даже Ваши идеи, мысли, думы кажутся плодами не столько ума, сколько чувства, у которого, то есть у чувства, у души, ум Ваш будто просит позволения высказываться. Вот это присутствие души повсюду и дорого у Вас.

В поэтичности и мыслительности Вы имеете соперников – в последнем; в искренности, в благородстве и прямоте чувств и убеждений – очень немногих. Припомнишь Тютчева, графа А. Толстого – и задумаешься.

Новое время мало дорожит этим качеством, без которого всякий поэт – не полон (как ни будь талантлив), а лирический просто невозможен. У иных оно кроется за объективностью формы, другие, стыдясь, подавляют его или силой фантазии, или остроумием. – Но подделаться под него, как делают некоторые, невозможно, когда его нет. Никакой ум, никакая ирония не помогут. Точно так же и отделаться от него трудно, когда оно есть, да и не нужно.

В Вашей книге или во всех книгах, и прежних и новых – все та же честность, те же искренние радости и скорби, то же неподдель-

ное негодование к тому, против чего Вы восстаете. Нет никакой лжи в этом – и поэтическом и вместе природном говоре души.

Каким Вас все знают и любят в натуре, таковы Вы и в книгах Ваших! А этим весьма и весьма немногие могут похвастаться!

Я полагаю, что и те, против кого Вы ратуете, не могут не уважать этой книги, и следовательно, и автора!

Иногда Вы ратуете (заключу маленькой злостью), впрочем, старым дедовским оружием, например «Келиотом». Это старый бердыш или секира, взятая из арсенального музея: трудно воевать ею в век шасспо и крупновских пушек!

И Байрон, если б явился с «Гяуром», «Абидосской невестой» и тому подобным – мало бы успел. Я полагаю, что он и не написал бы их теперь!

Все-таки, повторяю, я немного помирился с «Келиотом»: не знаю, почему поэма показалась мне на этот раз сжатее и стройнее. Может быть, от хорошей погоды!

Везде в остальном рассеяна щедрою рукой бездна драгоценностей – ума, поэзии – и ду-

ши, души!

При свидании скажу, чего не досказал, а теперь жму Вам руки и благодарю за память обо мне.

Ваш *Гончаров*.

## **Письмо Боборыкину П. Д., 7 октября 1876\***

8<sup>5</sup> П. Д. БОБОРЫКИНУ<sup>1</sup>

7 октября 1876. <Петербург>

Меня живо заинтересовало, многоуважаемый Петр Дмитриевич, вчерашнее чтение Ваше – вступления или программы предлагаемого Вами слушателям курса «О театральном искусстве». У меня тут же, при слушании первой лекции, рождались – и по невозможности сосредоточиться сейчас же исчезали – мысли, вопросы, заметки, возражения и т. д. Но некоторые из этих мыслей и заметок остались в памяти, и я сообщу их Вам, для сведения, как след моего личного впечатления от Вашего чтения и *единственно как доказательство моего сочувствия делу, которому Вы взялись помочь, а также и важности, какую я припи-*

сываю Вашему намерению. Других целей, как побеседовать с Вами об интересном для нас обоих предмете, у меня нет, что доказывается беспорядочностью этих начерно набросанных заметок.

На меня прежде всего сделало впечатление то, что Вы отделяете резко (и, конечно, Вы правы) – «театральное искусство» от драматического искусства вообще, становясь, как мне показалось, посредником между артистом и способами выражения искусства и ставя артиста лицом к лицу с материальной стороной, то есть мимикой и звуковыми средствами. В этом все дело, конечно, – и Вы взялись преподавать курс собственно «театрального искусства» – и теоретически, до новых ученых результатов включительно, и практически – рядом спектаклей в исторической последовательности.

Мне показалось, что, исчерпав предмет с замечательной ясностью, отчетливостью и полнотой, от азбучных понятий почти до философских обобщений, относительно способов выражения – мимических и голосовых средств, Вы мало настаивали на важности

первой и главной половины, именно *отношения артиста к выражаемому*. А из этого отношения к выражаемому и рождается в артисте та психо-эстетическая сила, которая уже разрешается в физиологических функциях организма, то есть в движениях и голосе.

Но этому научить нельзя, заметят мне: это зависит от совокупности многих как природных, так и случайных причин, между прочим от степени впечатлительности субъекта, наблюдательности, ума и... подготовки.

Именно – подготовки. Вот на ней я и хотел остановиться.

Говоря о недостаточности и заграничных и наших театральных училищ вообще, Вы заметили, между прочим, о французской консерватории, что туда принимают молодых людей, почти не требуя образования. «Кто мало-мальски сносно прочтет тираду прозы или несколько стихов и обладает приятно наружностью, тот и принят».

В нашей театральной школе, сколько мне известно, все внимание обращено на танцы – и оттого наши балетные корифейки блестят и на заграничных сценах. Все же прочее, что

входит в область так называемого *éducation littéraire*[148], находится в крайнем запущении, как я слышал.

Мудрено ли, при таком легком отношении общества к подготовке драматического артиста, что на сцену идут, по приведенному Вами сравнению Дидро, «как в солдаты»?

Но солдат в известный, непродолжительный срок научится своему делу и из неуклюжего, степного мужика большею частью обращается в бравого молодца. Артист же или не научится никогда, раз вступив на сцену, или ему понадобится особенно благоприятное стечение обстоятельств, чтобы найти в своей среде способы, людей и время, чтобы пополнить свое образование – и доразвиться до восприятия и усвоения своему разумению и критике тех произведений, которые он вызвался исполнять.

Одна техника – теория мимики и звуковая – может дать ему одно внешнее, *автоматическое образование*, которое многих и приводит к той «рутине» и к тому «разобцению с живой жизнью», о котором Вы вчера упомянули в чтении. И от того и от другого может

спасать и спасала великая только природная сила, талант и ум, как она спасала Щепкиных, Мочаловых, Львову-Синецкую, Сабуровых и других. Я упомянул об этих старых артистах, потому что знал их в их лучшей поре, и могу засвидетельствовать, что и их спасала не одна их собственная природная сила, а еще целая школа, можно сказать, драматическая академия, где с Кокошкиным<sup>2</sup> во главе усердно трудились на литературно-драматическом поприще и писатели (князь Шаховской, Загоскин, Писарев) и целый огромный тогда круг московских любителей и знатоков театра, где толпились, учились, играли, формировались и сами любители и артисты. Кокошкин с утра до вечера был, почти жил, в театре, которого был директором, имел сцену и дома и возился сам с артистами. Здесь литература и театр подавали друг другу руки; тогда и старый классический репертуар был еще в ходу, тогда являлась и романтическая школа, приведшая, между прочим, и мелодраму – и все это несли на своих плечах питомцы той школы – Щепкин, Синецкая и другие, которые дожили и до Грибоедова, до Гоголя и до

Островского и умели ужиться и с их произведениями, создав их типы на сцене и завещав их последующим артистам.

Теперь нет этого более, то есть школы в том смысле, как она была, ни старого репертуара. На вопросы, отчего артисты ищут для бенефисов новых пьес и не обратятся к отцам и дедам драмы и комедии, почти все отвечают, что «некому играть», хотя персонал драматической труппы обширен. А если нет классического репертуара, то нет и *традиции*, на важное значение которой Вы так основательно указали. С чего, с кого, с каких образов и образцов стали бы списывать теперь живописцы действия? Где типы Скупых, Тартюфов, не говоря уже о Лирах, Гамлетах и других? А нужны живые типы, то есть живые люди: на них только, то есть ими одними может выражаться сценическое предание или традиция о той или другой роли, лице, фразе или позе великого актера. Знаменитые художественные моменты должны передаваться живыми людьми от поколения к поколению – их нельзя ни записать, ни нарисовать.

Пожалуй, от некоторых равнодушных лю-

дей нового времени рискуешь получить в ответ, что с прошлым закончены счёты, что новая жизнь взяла такой крутой поворот во всем, между прочим и в искусстве, что старые основы жизни сильно поколеблены и требуют замены, что на смену являются другие условия, законы, обычаи, что под старый механизм не подходит новое, следовательно и в искусстве старые двигатели меняются на новые, как меняются и мотивы страстей и самые страсти, и нравы, и дух, следовательно нужны и новые типы, новые формы, новый дух – словом, новые мехи и для нового вина.

Не коснусь этого слишком важного и тяжёлого вопроса. Решение его так далеко впереди, что отсюда и мыслию не достигнешь до приблизительного итога о том, что создало новое время на смену старого, что должно устояться, поступить в плоть и кровь жизни и принять определенный образ и что должно быть извергнуто как заблуждение. Вопросов на очереди так много, а времени новой жизни протекло так мало, что не образовалось еще никакого прошедшего – и исход встречи и борьбы старого с новым далеко-далеко впе-

реди.

Обращусь к тому, что я сказал об *автоматичности* технического образования. Вы предлагаете Ваш курс о театральном искусстве более всего, как я понял, желающим посвятить себя сцене.

А что, если большинство Ваших учеников и учениц явятся слушать Вас, зная только (может быть, еще и не вполне правильно) грамоте, то есть читать, писать, именно таких, какие являются, по Вашим словам, и во французскую консерваторию и, конечно, в другие школы, и даже прямо на сцену? Достанет ли у Вас охоты, терпения и – смею сказать – силы совладать с массой неразвитых понятий не только о драматическом искусстве, но, может быть, – и вероятно – о простых элементарных предметах знания вообще?

А таких будет, конечно, много. Сравнение Дидро весьма верно: действительно, многие прорываются на сцену – или как в солдаты идут, или обольщаются кажущеюся легкостью дела, как ремесла, дающего хлеб. Ведь просил же, говорят, какой-то чудаки у Потемкина места капельмейстера, находя, что нет

ничего легче, как махать палочкой над головой. И таких, конечно, немало, которым кажется и легко, и почетно, и выгодно разговаривать на сцене.

Будет ли полезен всем таким кандидатам в актеры Ваш бесподобный курс, который, как видно по всему, должен довершать внешнее артистическое образование Вашего слушателя, сблизить и слить его артистическое понимание с формой выражения, мысль с исполнением?

Ваш курс – вторая половина; первая – мысль, то есть подготовка, образование ума, вкуса. Ведь от умения прочесть тираду прозы или несколько стихов до понимания Мольера, его эпохи, истории, нравов (о Шекспире уже и не говорю) или нашего пушкинского Годунова, Гоголя, Грибоедова, Островского и их тонких художественных красот – какая бездна!

К Вашим чтениям слушатели должны притти более или менее готовые: кроме артистической чуткости, нервной впечатлительности, свойственной артистам, они должны принести значительный запас общих знаний

и литературное образование.

Я понимаю, что живописец и скульптор могут плохо ладить с образованием вообще: они вольны ограничиться какою-нибудь крайнею специальностью своего искусства, сосредоточиться на мелком жанре, деталях и т. п. Но актер, как бы ни мелок и ни важен был род его амплуа, обязывается условиями ансамбля к критическому уразумению всей пьесы.

Я не совсем верю анекдоту, который вы, как знаток истории искусства, конечно, знаете лучше меня, о певце прошлого столетия (имя забыл), которого учитель мучал несколько лет, заставляя петь только сольфеджио. «Не буду больше петь их!» – сказал он наконец, потеряв терпение. «И не надо! – заметил учитель, – ты теперь первый певец мира!»

«Певец – машина, певец – автомат!» – мог бы прибавить он. Я полагаю, что вместе с голосовыми средствами развивался и зрел в нем и внутренний, то есть сознательный, артист.

Странно: на какое бы поприще общественной деятельности ни поступал молодой чело-

век, от него требуют приготовительных, общих знаний для успешного усвоения той или другой избираемой им специальности. В военной, гражданской, инженерной службах для поступления в технические заведения и прочее – всюду требуют аттестата, удостоверяющего в большей или меньшей степени знаний общих, необходимых для образованного человека предметов: только артисты освобождаются от этого как будто лишнего для них груза, конечно, на том основании, что искусства свободны, или «вольные», как их называли когда-то, следовательно и артисты, дескать, свободны играть, как хотят, как и зрители свободны слушать или не слушать их!

Свободны, пожалуй, но нельзя же заметить под этим, что они свободны от грамматики, географии, истории, от знакомства с литературой, то есть того, без чего не может развиться в нем ни вкус, ни понимание образцов своего искусства!

Не знаю, случалось ли Вам, а мне (и многим, я слышал толки в публике) доводилось нередко слышать со сцены до крайности

неумелое чтение, то есть неумелое от незнания своего родного языка (а не от неведения «театрального искусства»), не только стихов, но и прозы, от неправильных, раздирающих ухо ударений на словах и слогах (особенно в женском персонале), очевидно происшедших от *неточного понимания смысла произносимых стихов или прозы*, не говоря уже о художественной выразительности, которой требует, например, стих Пушкина, графа Толстого или диалоги Гоголя и Островского. Последнее может зависеть от таланта, а первое уже, конечно, только от необходимой степени литературной подготовки, то есть образования.

В частных беседах тоже бывало (я говорю не о современном моменте: теперь я почти никого не знаю лично в нашем театральном персонале, кроме прежних известных, отлично образованных артистов) – как трудно было навести и поддержать разговор по общедоступным вопросам о литературно-драматических вопросах, о критической оценке произведений и исполнения их – словом, о предметах, интересующих литератора, актера и вся-

кого образованного человека.

«Некому играть!» – говорят вам в ответ, когда речь идет о старых творцах в искусстве.

Не потому ли, что не учили и не учат ничему, что нет такой школы, такого круга, фойе [149], где бы преподавалось, читалось, говорилось – не о театральном только, но о драматическом и о всяком искусстве и о всякой литературе вообще – исторически и критически, где занятие книгой и пером считалось бы неизбежным приготовлением к сцене, где не один только яркий талант, но и образование ума и развитой вкус ставили бы артиста в подобающее ему уважительное положение?

Вы справедливо указали на тот недостаток полного уважения, который еще и в наше время не совсем исчез в обществе относительно артистов. Но все ли *предрассудок*, о котором Вы упомянули, виною этого? Предрассудок этот завелся в старое время, и тяжесть его несли на себе не одни актеры: в старину и писатели считались в низшем ранге в общественной иерархии. В наше время это кончилось – не только в отношении к писателям, занявшим следующее им почетное место в

обществе, но и все лучшие представители и прочих искусств приняты всюду, между прочим и драматические артисты, если они... образованные люди. Мы все видим это на каждом шагу.

Мне кажется, не лицам, а самому сценическому искусству отводят второе за другими искусствами место: понятно почему. Оно не самостоятельно, оно играет зависимую исполнительную роль другого искусства, драматического творчества. Актер воплощает образ действия, созданный другим. И только тогда, когда сила таланта ставит его наравне с творцом, а иногда и выше, так же высоко ценится и исполнитель. Но это бывает не часто – великие актеры все наперечет.

Итак, мне показалось, что Вы не положили краеугольного камня во главе Вашего здания, не поставили неизбежным условием к слушанию Вашего курса необходимой подготовки, известной, даже определенной (положим, хоть размером гимназического), степени образования, этой первой и важной половины пути, которая только одна и может привести и ко второй, то есть к уразумению и усвоению

Вашего курса.

Но, может быть, я грешу против Вас, не имея текста речи под рукой, а только припоминая ее главные мотивы: может быть, Вы и указали где-нибудь настоятельно эту необходимость, а я пропустил мимо ушей. В таком случае – простите. Если же я прав и Вы вскользь упомянули об этом, то Вы и всякий можете возразить: «Что же делать! Нельзя же подвергать экзамену вольноприходящих слушателей, указывать им нужную степень классной и классической подготовки, критической оценки красот и т. п.».

Знаю, что нельзя – и сам бы я не делал этого, если б был на Вашем месте. Я только делюсь с Вами моими мыслями о необходимости поднять прежде всего и больше всего уровень общего образования драматических артистов (то есть большинства, а не отдельных, большею частью образованных известных личностей), чтобы из них сформировалась своего рода корпорация образованных, развитых людей, в которую не решались бы соваться неучи, живущие со дня на день, перебивающиеся кое-как всем и, между прочим, лег-

ким, на их взгляд, и почти даровым хлебом от сценической трапезы, без всяких прав, то есть и без таланта и без всякого образования, составляя из себя тот безобразный слой в обществе, который носит на Западе нелестное имя *bohême*[150], *sabotins*[151] и т. п.! С поднятием уровня образования в массе артистов должно, без сомнения, подняться и звание актера.

Как же это сделать?

Не знаю как, но глубоко и давно сожалею, что у нас нет такой консерватории, куда могли бы являться призванные к сцене и находить радикальное приготовление к ней – не для балета и оперы только, но больше для драмы и комедии, чтобы они могли проходить там серьезно подобие гимназического, приспособленного к драматическому искусству, курса по необходимым предметам знания и поступали бы на сцену по выдержании испытания и в этих занятиях и в своем искусстве.

Так же можно бы было поступать и с новыми, еще неизвестными публике молодыми претендентами на поступление прямо на сце-

ну, если бы они не имели бы ниоткуда аттестата о своем образовании.

Вот там особенно Ваш курс приносил бы слушателям сугубую, необходимую помощь, окончательно формируя, то есть отливая, так сказать, артиста в форму актера.

Все это, без сомнения, подняло бы высоко русскую драматическую сцену и ее персонал и создало бы образцовый, классический театр, где встал бы из праха и прежний репертуар, ожили бы и традиции и с новою силою воцарились бы гении Шекспира, Мольера, Шиллера etc.!

Ведь таким образцовым театром и служит во Франции *Comédie française*[152] (и кажется, есть в Вене, если не ошибаюсь, что-то подобное), и служба в нем, независимо от степени таланта, есть уже своего рода патент для артиста и в кругу своих собратий по искусству и в обществе, и попасть на эту сцену, сколько мне известно, не легко.

«Но там, при вступлении молодых людей (как вы указали в речи), заметят мне, так же как и у нас, не требуют испытания в знаниях, а довольствуются сносным прочтением сти-

хов и прозы».

Так: но этого не требуют от учеников, поступающих в консерваторию, к профессору, то есть к одному из актеров Comédie française, но с минуты поступления он проходит с профессором и с товарищами целую школу, в кругу артистов, с практической школой сцены первого театра. При этом надо принять во внимание и степень образования и развитие вкуса в обществе драматических артистов во Франции! А у нас где пока все это?

Будем надеяться, что и мы дойдем до того! то есть что у нас создастся свой образцовый театр с образцовым художественным репертуаром, с рассадником для искусства, что мелкий жанр, фарсы и исполнители их найдут себе приют в других, низшего разряда сценах и т. д. и т. д.! Авось!

Извините за эти мои непрошенные размышления, внушенные мне ревностью к искусству вообще и к Вашему доброму намерению проповедовать его особенно, и примите выражения моего искреннего сочувствия и к Вам и к Вашему делу.

И. Гончаров.

# Письмо Салтыкову М. Е., 30 декабря 1876\*

8<sup>6</sup> М. Е. САЛТЫКОВУ

30 декабря 1876. <Петербург>

Сами Вы, пожалуйста, не утруждайте себя ответом ко мне, многоуважаемый Михаиле Евграфович, а мне позвольте досказать Вам еще два-три слова по поводу созданного Вами типа Иудушки: у меня это очень на сердце лежит – и притом мне теперь почти никогда не приходится говорить об этих вещах – и по старости и потому, что не с кем. Я очень рад, что мое первое письмо не рассердило Вас, чего я крайне боялся. Я, гуляя, занес его сам, чтобы оставить, если не застану Вас дома, но, узнавши, что Вы больны, не решился войти. Мне кажется, что, неся на себе двойное бремя, то есть и «Отечественные записки» и свою собственную часть, Вы долго не оправитесь вполне так, как я видел Вас в первый раз по возвращении из-за границы.

Обращаюсь к Иудушке. Вы правы, говоря, что у него должен быть свой *Седан*, именно

Седан – в смысле только конца. Настоящий герой Седана, тоже безутробный<sup>1</sup>, не бросился под пули и штыки (как один из его генералов, кажется Дуэ), когда увидел, что все кончено, а положил шпагу к ногам Вильгельма и закурил папироску. В Вильгельмسخее он катался на коньках и пал только от разрыва мочевого пузыря.

И в Вашего Иудушку упадет молния, попадет в нем все, но на спаленной почве ничего нового, кроме прежнего же, если б он ожил, взойти не может.

Вы, работая над ним, сами, может быть, бессознательно чувствовали объективное величие этого типа, ибо Вы обыкновенно сами бьете по щекам горячо Ваших героев, к нему обращаетесь только с язвительной, чуть не почтительной иронией! Да иначе и нельзя: что можно прибавить, какую дать пощечину – вдобавок к ужасающей детали о *тарантасе*!

Поэтому *он и не удавится никогда*, как Вы это сами увидите, когда подойдете к концу. Он может видоизмениться во что хотите, то есть делаться все хуже и хуже: потерять все

нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренне восстать – нет, нет и нет! Катастрофа может его кончить, но сам он на себя руки не поднимет! Разве сопьется – это еще один возможный, чисто русский выход из петли!

Я следил за одной такой, близко знакомой мне натурой, замкнувшейся в своем углу. Такой же любостыжатель, как Ваш Иудушка, и прелюбодей, не случайный, как Ваш герой, а всецельный и неудержимый. Доведший до отчаяния и оттолкнувший жену, смотревший на своих детей, как на поросят, он только и делал, что отрезывал земельные клочки у мужиков да прохаживался по их женам и дочерям, переводя мужей и отцов, чтоб не мешали, в другие свои дальние деревни. Все от него отступились, и чужие и свои, но он крепко и несмущаемо жил в своем захолустье, и сам *мне* говорил (я провел два дня случайно в его углу), что на него очень злобны мужики и дворня – и, пожалуй, непрочь «сбыть» его, «да я им покажу!!» – заключил он.

И показал бы действительно, если б те не

поторопились. Месяца через два после моего визита два оскорбленные им мужа и третий, обиженный отрезком земли, подкарауля его вечером на прогулке, буквально выпотрошили его, то есть разрезали живот и выпустили кишки.

Вот какие *Седаны* возможны для таких натур!

Ведь нанести себе удар ножом, пустить пулю в лоб – это значит все-таки сознать какой-нибудь ужас своего положения, безотрадность падения, значит почувствовать в себе утробу – нет, в такой натуре – ни силы на это нехватит, ни материалу этого вовсе нет! Один куриный страх мог бы заставить покуситься его на это (как бывает с слабонервными), но и для этого надо иметь избыток воображения – и он может загнать его только в темный угол, чтобы спрятать голову.

Так я разумею его натуру! Буду ждать с нетерпением появления его особой книгой: мне кажется, это уже одно поможет читателю выделить его из массы других Ваших чисто субъективных и посвященных быстротекущей злобе дня произведений!

Простите мне мои мнения – и прощайте – до свидания, с повторением просьбы не утруждать себя ответом.

Преданный Вам

И. Гончаров.

Прежде и больше всего желаю Вам скорее выздороветь. – В бессоннице, кроме болезни, участвует много и гнусная оттепель.

## **Письмо Островскому А. Н., <12 февраля 1882>\***

8<sup>7</sup> А. Н. ОСТРОВСКОМУ

<12 февраля 1882 г. Петербург>

Многоуважаемый Александр Николаевич.

К приветственным речам, которые раздадутся послезавтра около Вас в Москве, в день Вашего и общего литературного торжества, присоединяю и свой скромный голос. Жалею, что не могу быть лично в многочисленной толпе Ваших почитателей, пожать Вашу руку и пожелать долгой жизни для Вас самих и для близких Вам лиц, для Ваших друзей и ценителей, не говорю для искусства: для него Вы со-

вершили все, что подобало свершить великому таланту. Дальше, кажется, итти нельзя и некуда!

Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».

Вам остается наслаждаться заслуженным отдыхом, оглядываясь с торжеством на пройденное со славою поприще, а нам, писателям, горячо любящим родное искусство, следует торжествовать, имея среди нас такого великого мастера, и гордиться Вашими подвигами, как будто мы сами участвовали в них. В этой благородной гордости кроется зерно того духовного братства, которое, помимо всяких международных литературных конгрессов, невидимо связует между собою искренних писателей по призванию.

Во имя этого братства приветствую Вас, как бессмертного творца бесконечного строя поэтических созданий, от «Снегурочки», «Сна Воеводы» до «Талантов и поклонников» включительно, где мы воочию видим и слышим исконную, истинную русскую жизнь в бесчисленных, животрепещущих образах, с ее верным обличьем, складом и говором.

Живите же, великий художник, долгие годы, наслаждаясь своею славою: не прибавлю к этому обычной фразы «и подарите нас еще» и т. д. Это был бы эгоизм и неблагодарность.

Примите благосклонно этот привет от стариннейшего, искреннейшего Вашего почитателя и глубоко уважающего Вас

И. Гончарова.

12 февр<аля> 1882.

Моховая, д. № 3.

# Письмо Толстому Л. Н., 22 июля 1887\*

8<sup>8</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

22 июля 1887 г.

Усть-Нарва. Гунгербург,  
Эстляндс<кой> губернии.

Дача Притвиц.

Многоуважаемый граф Лев Николаевич.

А. Ф. Кони<sup>1</sup>, прогостивший у Вас несколько дней в деревне, привез мне поклон от Вас и сказал, что Вы сохранили добрую память обо мне. Вы, конечно, не подозреваете, как это тронуло меня и как мне дорога Ваша память – помимо всяких литературных причин. Как писателя Вас ценят высоко и свои, русские, в том числе, конечно, и я, и чужие, нерусские люди. Но в те еще дни, когда я был моложе, а Вы были просто молоды, и когда Вы появились в Петербурге, в литературном кругу, я видел и признавал в Вас человека, каких мало знал там, почти никого, и каким хотел быть всегда сам. Теперь я уже полуослепший и пологоглохший старик, но не только не изменил тогдашнего своего взгляда на Вашу личность,

но еще более утвердился в нем. Если этот взгляд мой не превратился во мне в живое дружеское чувство, то это с моей стороны только потому, что между Вами и мною легла бездна расстояния и постоянной разлуки. Вы только однажды мельком заглянули в Петербург<sup>2</sup>, о чем я узнал от графини Александры Андреевны Толстой, и я пожалел глубоко, что узнал поздно и не успел повидаться с Вами. Теперь, на присланный мне с А. Ф. Кони поклон, я не могу не отозваться этими немногими строками, которыми хочу сердечно поблагодарить Вас за добрую, дорогую память обо мне, не навязываясь ни с своей дружбой, ни с своим admiration[153] к Вашему «высокому таланту», ни с чем таким, чего Вам вовсе не нужно. Я просто хочу пожать Вашу руку – от всего сердца, от всей души и от всего помышления. Несмотря на мою старость, на многие годы, протекшие со времени наших последних свиданий, я сохранил в памяти много приятных воспоминаний о Вас и о нашем тогдашнем времяпровождении. Помню, например, Ваши иронические споры всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и

Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом, их поклонении разным литературным авторитетам; помню комическое негодование их на Вас за непризнание за «гениями» установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск. Всё помню.

Между прочим, помню и вечер, проведенный мною с Вами в спектакле. Давали «Завтрак у предводителя»<sup>3</sup> Тургенева. Мы сидели рядом и дружно хохотали, глядя на Линскую, Мартынова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому бледному произведению.

Протяните заочно Вы мне Вашу добрую руку, многоуважаемый Лев Николаевич, и если когда-нибудь вспомните обо мне, напишите два слова, чем много утешите искренно и постоянно преданного Вам старика

И. Гончарова.

Я здесь располагаю пробить на даче до двадцатых чисел августа. В Петербурге мой адрес: Моховая, дом № 3.

P. S. Кони говорит, что он вынес от Вас и о

Вас «трогательное и глубокое впечатление»: так оно и должно быть.

## Письмо Толстому Л. Н., 2 августа 1887\*

8<sup>9</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

2 августа 1887.

Усть-Нарва.

Гунгербург.

Добрый, милый, глубокоуважаемый граф  
Лев Николаевич.

Меня несказанно порадовало Ваше письмо<sup>1</sup>, достигшее сюда рикошетом, через Петербург, откуда мне его прислали.

Я счастлив тем, что наши взаимные добрые воспоминания не вытравлены из нас обоим всепожирающим временем, а таились под горяченькой золой и не остыли. Благодарю Вас душевно и сердечно.

А. Ф. Кони (который еще не уехал, но скоро уедет отсюда) сказал Вам правду о том, что я не «пишу», а начиркал весной в четырнадцать дней три-четыре эскиза<sup>2</sup> и отдал издателю иллюстрированного журнала «Нива»

для помещения в январь.

Я пришлю Вам «Ниву» – только прошу, даже умоляю, не читать эти эскизы поодиночке, а подождать, когда выйдут все три и тогда прочитать их вместе. А они выйдут в течение января в трех номерах. Их будет три: четвертый, вовсе негодный, я выброшу за борт.

Я вовсе не затем пришлю их Вам, чтоб усладить Вас чтением, на что никак не уповаю, хотя Кони и еще два-три «сведущих человека», которым я читал их, и хвалят, даже превозносят, но я сам уже старый воробей и надежный, верный оценщик, даже эксперт, и на свой счет не обольщаюсь.

Я желаю только, чтобы Вы обратили внимание на маленькое предисловие, которое я им «предпосылаю».

Из этого предисловия Вы ясно, сразу, усмотрите, почему я никак не мог бы, обладая даже таким талантом, как Ваш, итти вслед за Вами работать в тот рудник, куда Вы меня так ласково зовете, говоря, что «если б я захотел, то мог бы написать и для этого читателя», то есть для обширного круга читателей, «явившихся к Вам на смену прежних».

Я немного впал было в недоумение. У Вас с некоторых пор явилось два новых круга читателей: один круг – это вся Европа, или весь заграничный мир; другой – это простой русский народ. Которому из них Вы приписываете «более широкий и разнообразный взгляд»? Тому ли, который верною, беспристрастною критикою умел взвесить и оценить все Ваши достоинства как художника и как мыслителя (за границею), или народному кругу, на котором надо «чертить радиус плугом»?!

Вспоминая Ваши последние произведения – «Чем люди живут», «Два старика» и «Три старца», также и «Власть тьмы», – я окончательно остановился на последнем мнении и полагаю, что Вы в письме Вашем говорите о нем, то есть о круге читателей из народа. Эти Ваши вещи проникнуты глубокой любовью к нему и учат *любить ближнего*. Их и не простой народ прочтет сквозь слезы: так прочел их я – и точно так же прочли их, как я видел, женщины и дети. Между теми и другими, то есть женщинами и детьми, и в высшем кругу много «простого народа». Такие любовью писанные страницы есть лучшая, живая

и практическая проповедь и толкование главной евангельской заповеди.

«Власть тьмы» – сильное произведение: художественную сторону его ценят немногие, тонко развитые люди, большинство же читателей не понимают, многие даже отвращаются, как от напитанной слишком сильным спиртом склянки. Они не выносят крепкого духа. Я высоко ценю эту вещь. Как смотрит на это народ – вовсе не знаю и не умею решить.

Вы правы – это надо делать. Но я не могу: не потому только, что у меня нет Вашего таланта, но у меня нет и других Ваших сил: простоты, смелости или отваги, а может быть, и Вашей любви к народу. Вы унесли смолоду все это далеко от городских куч в Ваше уединение, в народную толпу. А я весь уже разбросан, растаскан, так сказать, по клочкам и только разве сохранил некоторые дорогие принципы и убеждения, сторонясь, и то к старости, от толпы, от шума и гама. Теперь я уже умирающий понемногу, никуда не годный старик, да еще с бородой, к которой Вы «не можете привыкнуть». Я могу в этом немного поквитаться с Вами: мне тоже трудно пред-

ставить Вас себе – не в артиллерийском мундире. Как, однако, давно мы расстались!

Вашего милого семнадцатилетнего юношу сына обнимите от моего имени за его симпатию к моим скромным литературным чадам. Это трогает меня. Да еще он хотел «просветить Вас на мой счет»: каков! Это он вздумал открывать глаза – кому: Льву Толстому на Гончарова! Скажи-ка он это вслух – его бы газеты заклевали. Отважен же он: по батюшке пошел.

Вы подарили меня дорогими словами: что будто я мог «иметь большое влияние на Вашу писательскую деятельность». Понять это буквально было бы дерзновенно с моей стороны, и я понимаю это так: Тургенев, Григорович, наконец и я, выступили прежде Вас; Вы, конечно, читали нас и, сидя в Севастопольских бастионах, думали: «Вон они пишут, кто во что горазд, дай-ка и я попробую». И попробовали, а потом приехали в Петербург, посмотрели на нас, послушали – и принялись: и вон где нас всех оставили, далеко позади!

То есть мы, в том числе, пожалуй, и я, заразили Вас охотой, пробудили и желание в Вас,

а с ними и «силу львину». В этом смысле, может быть, и я подталкивал Вас.

Обнимаю Вас мысленно от всей души и благодарю, благодарю, благодарю.

Искренно преданный

И. Гончаров.

P. S. Вы правы: писать надо для народа – так, как Вы пишете: но многие ли это могут? Мне, однако, жаль, если Вы этому писанию пожертвуете и другим, то есть образованным кругом читателей. Ведь и Вы сами пожалели бы, если б Микель-Анджело бросил строить храм и стал бы *только* строить крестьянские избы, которые могли бы строить и другие. Пожалели бы Вы также, если б Диккенс писал *только* свои «Святочные рассказы», бросив писать великие картины жизни для всех.

Если захотите порадовать меня, старика, еще Вашей дружеской беседой, то до 20-го августа я еще пробуду здесь, а потом вернусь к себе, в Моховую, № 3.

# Письмо Толстому Л. Н., 27 декабря 1887\*

9<sup>0</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

27 декабря 1887. <Петербург>

Добрый, прекрасный, многоуважаемый граф Лев Николаевич.

Может быть, Вы припомните, что я летом в письме с дачи из Усть-Нарвы писал Вам, что я от нечего делать написал несколько неважных шуточных очерков для журнала «Нива», которые и появятся в первых трех номерах в январе месяце.

Я тогда просил Вас прочесть не самые очерки, не имеющие особого интереса, а страницу предисловия к ним, в которой высказана причина, почему я не мог бы следовать Вашему прекрасному примеру – писать о народе и для народа, о чем Вы отчасти намекнули мне в Вашем письме.

Я хотел прислать Вам отдельный оттиск этих очерков, но как таких оттисков в «Ниве» не существует, то я и поручил издателю выслать на Ваше имя журнал за весь будущий

год – прямо в Тулу, в Ясную Поляну.

Примите мой этот маленький авторский подарок, который наглядно напомнит Вам меня, так как издатель к очеркам в 1-м № приложил и мой портрет, снятый с отличной фотографической карточки и прескверно вырезанный на дереве.

Боюсь только, что в отсутствие Ваше из Тулы журнал как-нибудь затеряют или зачитают на почте.

Я недавно только узнал от А. Ф. Кони Ваш московский адрес, по которому и пишу.

Не сетуйте на меня, добрый Лев Николаевич, если я пустяками хоть на минуту оторвал Вас от какого-нибудь серьезного труда.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и прошу сохранить ко мне Ваше старинное, дорогое дружелюбие, чем порадуете на исходе лет больного, истинно преданного Вам старика.

И. Гончаров.

Петербург.

Моховая, № 3.

# Письмо Толстому Л. Н., 9 марта 1888\*

9<sup>1</sup> Л. Н. ТОЛСТОМУ

9 марта 1888. <Петербург>

Моховая, № 3.

Я получил Ваше милое письмо, добрый, многоуважаемый граф Лев Николаевич, и очень обрадовался ему. Я беспокоился мыслю, что мое послание в декабре пришло некстати и, может быть, оторвало Вас от занятий. Но из ответа Вашего ничего этого не видно, а видна только ласка и старое дружелюбие, чем я несказанно доволен.

Я просил Вас в письме прочесть только мое предисловие к «Слугам» (в «Ниве»), которое откровенно объясняет, почему я не мог ничего писать о народе и для народа, которого быт, нравы, нужды, дела и страсти известны мне только понаслышке. Не знаю, пробежали ли Вы это предисловие и показался ли я Вам прав или же нет.

Но Вы, неожиданно для меня, прочли в «Вестнике Европы» и мои воспоминания «На родине» – и одобряете их. Мне все думается,

не по доброте ли, и не по снисхождению ли к старику делают это. И многие другие тоже хвалят, а я сам немного совестился показать-ся в печать с такими бледными и бессодержательными рассказами. Ан, вышло ничего. Старьем немного отзывается: как будто сидел-сидел дед на месте, глядя на пляску молодежи, да вдруг не утерпел, вспомнил старину и проплясал гросфатер. Конечно, ему хлопают.

В «Journal de St. Petersburg» среди комплиментов замечено<sup>1</sup>, что «так уже не пишут теперь»: это обоюдоострый комплимент: пожалуй, значит, и не надо-де так писать.

Вы говорите, чтобы я продолжал свои воспоминания: спасибо Вам за доброе слово. Но продолжать трудно, потому что далее следуют более свежие, близкие к нашему времени воспоминания. Пришлось бы затрогивать, что еще не отжило, не умерло. Есть еще живые свидетели недавнего минувшего. Трогать все это неудобно. Но посмотрю, не найду ли чего, и если будет охота и сила – попробую. Да дряхлею очень – куда уж мне!

Я, читая мартовскую книжку «Вестника

Европы», статью Щедрина «Тетенька Анфиса»<sup>2</sup>, вспомнил о Вас. Там есть помещик, муж этой тетеньки, варвар, зверь. Он засек женщину до смерти и попал под уголовный суд. Ему грозит каторга, но жена советует ему умереть, то есть схоронить под своим именем умершего мужика, а самому кончать век мужиком. Он исполнил это и попал в настоящую каторгу. Жена вымещает на нем всю злобу за его прежние над ней истязания, держит его в черном теле, мучает, потешается. Ужасно! Какую бы потрясающую, шекспировскую, но чисто русскую драму сделали бы Вы, Лев Николаевич, из этой пытки: пожалуй, превзошли бы «Власть тьмы».

Благодарю Вас за добрые, ласковые слова и дружески, крепко обнимаю Вас.

И. Гончаров.

# Письмо Майкову А Н., 30 апреля 1888

9<sup>2</sup> А. Н. МАЙКОВУ

30 апреля 1888. <Петербург>

Дорогой наш поэт Аполлон Николаевич.

Приветствуя Вас в день совершившегося пятидесятилетия блистательного служения Вашего русской поэзии, глубоко радуюсь, что дожил до апогея Вашей славы – я, едва ли не единственный оставшийся в живых, близкий свидетель, с ранних лет Вашей юности, постепенного развития и созревания в Вас поэтического дара, которым утешалась и гордилась Ваша семья и круг друзей и которым гордится теперь русская поэзия.

Вместе с этим юбилеем праздную про себя и другой, параллельный юбилей – нашей полувековой с Вами и со всем домом Вашим, отцов до детей Ваших, дружбы, которая никогда ничем не омрачалась, не охлаждалась и была всегда тепла, чиста и светла, как... Ваша поэзия.

Жалея, что по летам и слабости здоровья

не могу ныне сам явиться среди многолюдного собрания друзей Вашей Музы, обнимаю Вас заочно и горячо желаю, чтобы Вы унаследовали, нередкий в Вашем фамильном роду, дар долголетия и достигли, по примеру отца и деда Ваших, глубоких пределов жизни, оставаясь «вечно юным» и «славным певцом», ярким светилом русской поэзии.

Примите привет и эти добрые, искренние пожелания от глубоко и неизменно преданного Вам почитателя Вашей личности, Вашего таланта и старого верного друга

И. Гончарова.

**Письмо Стасову В. В., 27 октября  
1888\***

9<sup>3</sup>

В. В. СТАСОВУ

27 октября 1888. <Петербург>

Многоуважаемый Владимир Васильевич,

Вы так категорически заявили желание получить от меня, для хранения в Императорской публичной библиотеке, какие-нибудь черновые рукописи моих уже напечатанных сочинений, что я, после довольно энергичского возражения, наконец уступил. «*Не спорь с В. Стасовым*»<sup>1</sup>, – завещал Тургенев, и «злу не противься», – поучает граф Лев Толстой. Я и не спорю более, между прочим, потому, что я – слишком слабый противник для Вас – и у Вас, конечно, на «беззащитные седины не поднялася бы рука». Не «противлюсь и злу» – потому что особенного зла в Вашем требовании не вижу, кроме только того, что не совсем понимаю причину этого требования. Не исполнить последнее даже довольно трудно: это все равно, если б Вы попросили у меня старого, изношенного платья – и я бы

отказал, а старая рукопись – не то же ли самое, что изношенное платье? Когда-то давно покойный профессор Никитенко предложил мне представить в Публичную библиотеку одну из моих рукописей – и на мое удивление и на мой вопрос «зачем», не мог отвечать определенно.

Другое дело рукописи Крылова, Пушкина, Грибоедова, Лермонтова и подобных им просветителей и пролагателей новых путей в литературе, могучих пионеров русского слова – их рукописи и любопытны и иногда нужны для сличения вариантов и т. д. У Пушкина – этого отца русского искусства в слове – было два прямых наследника: Лермонтов и Гоголь, породившие целую плеяду нас, деятелей 40-х, 60-х годов, с Островским, Тургеневым, Писемским, Салтыковым и т. д. А затем уже начался (говоря астрономически) млечный путь, целый бесконечный хвост, который тянется и доднесь. «Что, думается мне, если бы все эти деятели слова нанесли свои черновые рукописи в Публичную библиотеку – стены ее не вместили бы такого архива» – и пришлось бы строить здание за зданием. Этому «злу», ка-

жется мне, можно и должно воспротивиться.

Как бы то ни было, но я исполняю, как видите, Ваше требование и даже, по выраженному Вами же желанию, прилагаю и мою *карточку-портрет* к моим рукописям – все это под одним непременным условием, и именно: чтобы вместе с рукописями хранилось и это мое письмо к Вам, как *свидетельство, что я не сам, самолюбиво, с претензией постучался в двери библиотеки и принес свои рукописи, а побужден был к тому Вашим желанием*, стало быть желанием отчасти самой библиотеки, ибо Вы составляете ее часть, будучи библиотекарем. Если со временем появление в ней моих рукописей будет сочтено неуместным, я желал бы, чтобы ответственность за то пала не на меня.

Прилагаю при этом:

1. Черновую собственноручную мою рукопись «Обломова», всю, за исключением главы «Сон Обломова». Эта глава была напечатана в виде отрывка в «Литературном сборнике», изданном при «Современнике», в 1848 или 1849 году – не помню, и оттого, вероятно, была вынута из черновой рукописи. Вся рукопись, ко-

нечно, подверглась коренным изменениям в печати, как видно из поправок и бесчисленных изменений в тексте. Между прочим, тут в черновой 1-й части есть какое-то вводное лицо *Почаев*, которое во 2-й части исчезает; его нет и в печатном романе.

«Обломов» начат был в 1846 году, когда я сдал в редакцию «Современника» первый роман «Обыкновенную историю». Написав первую часть, я отложил ее в сторону и не касался продолжения до 1857 года. В промежуток этот я плавал вокруг света, возил и 1-ю часть «Обломова» с собой, но не писал, а обрабатывал в голове и параллельно обдумывал и другой роман, «Обрыв», план которого родился у меня в 1849 году на Волге, где я провел лето.

Уже в 1857 году, когда я поехал на воды, я кончил 2-ю, 3-ю и 4-ю части «Обломова» за один присест, в *Мариенбаде*, где оставался, против правил, около двух месяцев, и только последние главы окончил зимой в Петербурге. – Вот вся история писания «Обломова».

2. «Литературный вечер». Прилагается тоже черновая моя рукопись этого рассказа, ко-

торый был напечатан в журнале «Русская речь» – не помню в котором году. А потом помещен в полном собрании моих сочинений.

3. Прилагаю также несколько глав из «Обрыва». Но, откровенно говоря, я желал бы, чтоб это не оставалось в библиотеке: эта рукопись *подлежит уничтожению*. Я посылаю ее *на всякий случай, на Ваше усмотрение*. Это сбор переписанных другими лицами и исправленных мною глав из разных мест романа; есть тут, между прочим, и лишние, не вошедшие в печатный текст главы; есть и один печатный вырезок из «Современника», где была в виде отрывка напечатана одна из глав романа задолго до появления (кажется, в 60-х годах) целого в «Вестнике Европы» 1869 года.

Вот все, чем могу ответить на Ваше приглашение, многоуважаемый Владимир Васильевич, представить в библиотеку, мои черновые рукописи. Да не осудят меня в самомнении и нескромности. У меня их нет.

Примите выражение моего искреннего к Вам уважения и преданности.

Иван Гончаров.

# Комментарии

**В** настоящем томе публикуются литературно-критические статьи и заметки, автобиографии и избранные письма, написанные И. А. Гончаровым в течение более чем четырех десятилетий, с сороковых по восьмидесятые годы.

Эта часть литературного наследия писателя показывает И. А. Гончарова глубоким литературным критиком, большим знатоком искусства, прекрасным мастером эпистолярного стиля.

В первый раздел восьмого тома входят литературно-критические работы, опубликованные при жизни Гончарова: «Мильон терзаний» (1872), «Заметки о личности Белинского» (1874), «Лучше поздно, чем никогда» (1879) и «Нарушение воли» (1889).

Во второй раздел включены статьи, которые не были опубликованы при жизни писателя: «Предисловие к роману „Обрыв“», «Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском», «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“», а также заметки и ре-

цензии, написанные Гончаровым для журналов и газет: «Отзыв о драме „Гроза“ Островского», «Заметка по поводу юбилея Карамзина», «Христос в пустыне. Картина г. Крамского», «Опять „Гамлет“ на русской сцене».

В третий раздел вошли автобиографии И. А. Гончарова, написанные им в разное время.

Четвертый раздел содержит избранные письма периода 1843–1888 годов, ярко рисующие личность писателя, его эпоху, его подвижнический творческий труд, его неустанную борьбу за реализм в искусстве. Историко-литературная ценность писем Гончарова, насыщенность литературно-эстетическими проблемами, их тонкое художественное мастерство делают их естественным дополнением к его художественным произведениям и литературно-критическим статьям.

Переписка Гончарова с крупнейшими русскими писателями: Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, И. С. Тургеневым, А. Ф. Писемским, Ф. М. Достоевским, М. Е. Салтыковым и другими, его письма к семье Майковых, И. И. Льховскому, Языковым, С. А. и А. В. Ни-

китенко – раскрывают перед нами широкие литературные связи автора.

Письма в настоящем издании публикуются по автографам, хранящимся в Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ЛБ), Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (ИРЛИ), Центральном Государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), Музее Л. Н. Толстого, Центральном государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина (ЦГТМ). При отсутствии автографов письма даются по их первой публикации.

Письма располагаются в хронологическом порядке. Публикации каждого письма предшествует указание адресата. Даты и место написания писем, принадлежащие Гончарову, воспроизводятся там, где поставил их автор. В начале письма в ломаных скобках даны число, год и место написания, определенные по содержанию, если эти данные отсутствовали у Гончарова, а так же и в случае, если дата ставилась автором в конце письма. Явные описки исправлены, недописанные слова рас-

крыты без всяких оговорок.

### **«Мильон терзаний»\***

Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы», 1872, № 3. В настоящем издании печатается по тексту второго прижизненного Полного собрания сочинений И. А. Гончарова, т. 8, 1886, с проверкой и исправлением опечаток по предыдущим изданиям.

В ноябре 1871 года Гончаров присутствовал на бенефисе известного артиста И. В. Монова, который выступал в комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова в роли Чацкого на сцене Александринского (ныне им. Пушкина) театра.

«После спектакля, – вспоминал редактор-издатель „Вестника Европы“ М. М. Стасюлевич, – Гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: „А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу – ведь это все очень интересно“. Гончаров в начале 1872 года сообщал Ф. И. Тютчеву, что он „на-

бросал заметки об этой комедии и об игре актеров, хотел оставить так, но актер Монахов (Чацкий) упросил меня сделать из этого фельетон. Фельетон не вышел, а вышла целая тетрадь“».

Эта «тетрадь» и была отдана Гончаровым Стасюлевичу для напечатания в «Вестнике Европы». Интерес Гончарова к «Горе от ума» относится еще к студенческим годам романиста, когда он знакомился с нею в бесцензурных списках, а позже видел в исполнении крупнейших актеров Малого театра во главе с М. С. Щепкиным.

«Мильон терзаний» является одной из лучших критических работ о грибоедовской комедии.

(1) *Тартюф* – сатирический образ ханжи, лицемера и развратника в одноименной комедии Мольера (1622–1673).

(2) *Фальстаф* – комический персонаж Шекспира («Генрих IV», «Виндзорские кумушки»).

(3) *Как картина современных нравов комедия «Горе от ума» была отчасти анахронизмом и тогда, когда в 30-х годах появилась на*

московской сцене. – Это мнение Гончарова аналогично мнению А. С. Пушкина. В 1833 году («Горе от ума» создавалось в 1822–1823 гг.) Пушкин писал, что нарисованная в комедии картина старой «грибоедовской Москвы» есть уже «картина обветшала, печальный анахронизм». Говоря это, Пушкин и Гончаров, конечно, имели в виду то, что в 30-х годах в Москве уже не встречалось живых и полных подобий «портретов», данных в «Горе от ума».

Успеху «Горя от ума» на сцене в 30-х годах, по мнению Гончарова, содействовало «поражавшее тогда новизною и смелостью открытое нападение со сцены на многое, что еще не успело отойти, до чего боялись дотрагиваться даже в печати. Потом Щепкин, Орлов, Сабуров выражали типично еще живые подобия запоздавших Фамусовых, кое-где уцелевших Молчаливых или прятавшихся в партере за спину соседа Загорецких».

(4) *Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863) – великий русский артист, основоположник сценического реализма. Одна из лучших ролей Щепкина, сыгранных на сцене Малого театра, – Фамусов в «Горе от ума» Гри-

боедова.

(5) *Мочалов Павел Степанович* (1800–1848) – известный артист-трагик Московского Малого театра. В комедии «Горе от ума» выступал в роли Чацкого.

(6) *Львова-Синецкая Мария Дмитриевна* (1795–1875) – артистка Московского Малого театра, исполнительница комических ролей. В университетские годы Гончаров часто посещал ее дом, где собирались видные деятели литературы и сцены.

(7) *Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич* (1805–1860) – водевилист, переводчик Беранже и артист. В «Горе от ума» Грибоедова играл Молчалина.

(8) *Орлов* – артист Московского Малого театра. Исполнял роль Скалозуба.

(9) *Сабуров Александр Матвеевич* (1800–1831) – артист Московского Малого театра. Выступал в роли Репетилова.

(10) *...когда писалась комедия, а она писалась между 1815 и 1820 годами.* – Предполагается, что писать комедию Грибоедов начал в конце 1821 или в начале 1822 года и закончил в 1823–1824 годах.

(11) *Как посмотреть да посмотреть* – так во всех прижизненных изданиях (И. А. Гончаров, Четыре очерка, Спб. 1881; И. А. Гончаров, Полн. собр. соч., т. VIII, изд. 1-е, 1884, и изд. 2-е, 1886). У Грибоедова – «Как посравнить да посмотреть» (дейст. 2, явл. 2). Это разночтение можно объяснить тем, что Гончаров цитировал «Горе от ума», видимо, на память по одной из недостаточно точных рукописных копий так называемой «Жандровской рукописи». Далее будут оговорены лишь наиболее существенные разночтения Расхождения в пунктуации не оговариваются.

(12) *...Пушкин отказал ему вовсе в уме.* – Имеется в виду замечание Пушкина о Чацком в письме к П. А. Вяземскому от 28 января 1825 г. «Чацкий совсем не умный человек... но Грибоедов очень умен» (См. А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., М., изд. АН СССР, 1949, т. X).

(13) – *За дряхлостию лет...* – У Грибоедова: «За древностию лет...» (дейст. 2, явл. 5).

(14) *...Новейшие натуралисты.* – Гончаров имеет в виду Дарвина и его последователей.

(15) «*А между прочим*». – У Грибоедова: «И между прочим» (дейст. 3, явл. 1).

(16) *Он наконец; уступчив, скромн, тих,  
И на душе проступков никаких. –*

Здесь между 1 и 2 строкой пропущены слова: «В лице ни тени беспокойства» (дейст. 3, явл. 1).

(17)

*Она его не уважает!  
Шалит, она его не любит.  
Она не ставит в грош его! –*

произвольно соединенные строки из монологов Чацкого (дейст. 3, явл. 1).

(18) «Здесь у меня душа...» – У Грибоедова: «Душа здесь у меня...» (дейст. 3, явл. 22).

(19) *...все бьются в поединках, как Горации и Куриации.* – По древнеримскому преданию три брата-близнеца из патрицианского рода Горациев вступили в поединок с тремя братьями-близнецами Куриациями из Альба-Лонги и победили последних.

(20) *...он умер... убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь – уже не грезы больше.* – Говоря об исполнении «грез» Белинского, Гончаров имеет в виду проведение либеральных

реформ 60-х годов. Гончаров глубоко ошибался, видя в Белинском провозвестника этих реформ.

(21) *Оставляя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого...* – Гончаров неверно оценивал идейные взгляды Герцена. В нем он видел деятеля либерального направления, вследствие чего его революционную пропаганду считал «политическими заблуждениями».

(22) *Монахов* Ипполит Иванович (1841–1877) – артист Александринского театра. Гончаров длительное время находился в дружеских отношениях с Монаховым, талант которого высоко ценил.

*Самойлов* Василий Васильевич (1813–1887) – артист Александринского театра в Петербурге.

(23) *Каратыгин* Василий Андреевич (1802–1853) – крупнейший русский артист-трагик.

(24) *Садовский* Пров Михайлович (1818–1872) – артист Московского Малого театра. В «Горе от ума» исполнял роли Фамусова и

Скалозуба.

(25) «Лир» – имеется в виду трагедия Шекспира «Король Лир» (1605–1606).

(26) «Скупой» (1668) – пьеса Мольера.

(27) «Смерть Иоанна Грозного» (1865) – историческая драма А. К. Толстого (1817–1875).

(28) «Шуйский» – имеется в виду историческая пьеса А. Н. Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1867).

(29) «Василиса Мелентьева» (1868) – историческая пьеса А. Н. Островского.

(30) Сосницкий Иван Иванович (1794–1871),

(31) Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860),

(32) Максимов Алексей Михайлович (1813–1861) – артисты Александринского театра.

В «Горе от ума» Сосницкий играл в начале 30-х годов роль Загорецкого, затем – Репетилова; Мартынов исполнял роль Загорецкого; Максимов – Чацкого.

### **Заметки о личности Белинского\***

Впервые опубликовано в сборнике «Четыре очерка» И. А. Гончарова (Спб. 1881), куда

вошли: «Литературный вечер», «Мильон терзаний», «Заметки о личности Белинского» и «Лучше поздно, чем никогда». В настоящем издании печатается по тексту второго Полного собрания сочинений И. А. Гончарова, т. 8, 1886, с проверкой и исправлением опечаток по предыдущим изданиям.

Начало работы над заметками относится к 1873 году, когда А. Н. Пыпин обратился ко всем лицам, близко знавшим Белинского, с просьбой поделиться своими воспоминаниями и всеми сохранившимися у них материалами о великом критике. Ответом Гончарова, на эту просьбу явилась статья в форме письма «Как я понимаю личность Белинского». При этом Гончаров писал А. Н. Пыпину: «По обещанию, на которое я вызвался после случайного разговора с Вами о Белинском, многуважаемый Александр Николаевич, я набросал на бумаге все, что упомянул о нем и как я понимал его лично. Полагаю, что, по скудости фактов и по поверхности моих замечаний о нем, листки эти самостоятельного значения не имеют».

Эта первоначальная редакция заметок не

удовлетворила самого автора и опубликована не была.

Гончаров существенно доработал их после того, как присутствовал у Стасюлевича на чтении К. Д. Кавелиным своих воспоминаний о Белинском (март, 1874 г.). Либерал Кавелин в них искажил образ великого критика, вслед за реакционером Погодиным, твердя о его «неучености», «необразованности». Эта реакционно-либеральная клевета на Белинского вызвала горячий протест Гончарова в его большом письме к Кавелину от 25 марта 1874 года. Это письмо почти дословно было включено в последние страницы окончательной редакции «Заметок о личности Белинского».

Воспоминания Гончарова о Белинском – это правдивая и яркая характеристика личности Белинского как общественного деятеля, «не литератора только, а трибуна», человека передовых и страстных убеждений, как бесстрашного борца с «умственной и нравственной тьмой» крепостнической эпохи.

«Заметки о личности Белинского» с большим интересом были встречены читателями. Реакционная печать, избегая открытых напа-

док на Гончарова, высказалась в преднамеренно объективистской форме. Например, «Московские ведомости» (1880, № 354), пространно (но без какой-либо критики и споров) изложив содержание статьи, заявляли, что «Очерк заключает в себе много любопытных подробностей о характере Белинского, как деятеля и человека». Журнал умеренно-либерального направления «Вестник Европы» (1881, № 2, «Библиографический листок») отмечал: «Психологическая характеристика очень любопытная и после всего того, что было писано о знаменитом критике его современниками и биографами».

В современной Гончарову демократической критике статья по существу не получила оценки. В этот период демократическая критика главное внимание сосредоточила на полемике с Гончаровым по поводу его статьи «Лучше поздно, чем никогда» и его очерка «Литературный вечер», которые были напечатаны с «Заметками о личности Белинского» в одном и том же сборнике.

(1) *Он только слышал о коммунизме: книг негде было взять...*— На самом деле Белинско-

му были известны не только сочинения социалистов-утопистов Фурье, Сен-Симона и других, но и некоторые ранние труды Маркса и Энгельса. Так, например, в 1845 году Белинский прочитал в журнале «Немецко-французские ежегодники» статьи Маркса «К еврейскому вопросу» и «Критика гегелевской философии права» и статью Энгельса «Очерки критики политической экономии».

(2) ...мечтал иногда... о независимом положении от подневольного срочного труда. – Речь идет о намерении Белинского уйти из «Отечественных записок» Краевского, который жестоко эксплуатировал великого критика, загружая его непосильной и малозначительной работой. Глубокие идейные расхождения революционера-демократа Белинского с беспринципным дельцом Краевским послужили главной причиной ухода критика из «Отечественных записок».

(3) Он, с кружком близких приятелей, перешел от одного журнала к другому... – Весной 1846 года Белинский прекратил работу в «Отечественных записках». Одновременно с ним отказались от сотрудничества в журнале

Некрасов и Панаев. Осенью 1846 года Некрасов и Панаев приобрели у Плетнева право на издание «Современника», идейным руководителем которого стал Белинский. Благодаря участию Белинского журнал превратился в боевой орган революционно-демократического направления.

(4) ...я помню, что вы прежде писали о С... – По всей вероятности имеется в виду В. А. Соллогуб (1814–1882), автор повести «Тарантас» (1845).

(5) Он, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направлению... но... отстоял бы его от тех, чересчур утилитарных условий, в которые так тесно и узко хотят вогнать его некоторые слишком исключительные ревнителю утилитаризма. – Здесь выразилась ошибочная тенденция Гончарова, стремившегося отделить Белинского от Чернышевского, от революционных демократов 60-70-х годов. Под «ревнителями утилитаризма» Гончаров понимает сторонников революционно-демократического искусства.

(6) ...эта же самая горячность, то есть способность увлечься, и поставила его во

главе критики художественных произведений и создала даже школу этой критики, первым удачным последователем которой был Добролюбов и менее удачным Аполлон Григорьев. – Во главе русской критики, как и всего революционного движения 40-х годов, Белинского «поставили», конечно, не «горячность» и «способность увлекаться», а его передовые революционно-демократические убеждения. Аполлон Григорьев никогда не был «последователем» Белинского. Взгляды Аполлона Григорьева были враждебны литературно-эстетическим принципам революционной демократии.

(7) ...итти навстречу тем реформам, мысль о которых уже зрела в высших правительственных сферах и приближение которых чуяли и предсказывали некоторые умы, в том числе и Белинского. – Белинский никогда и нигде не предсказывал реформы. Он был сторонником революционного преобразования России.

(8) Кукольник и Бенедиктов, оба с значительными талантами... – В своем отношении и к поэту Бенедиктову В. Г. (1807–1873) и к ре-

акционному писателю Кукольнику Н. В. (1809–1868) Гончаров расходился с Белинским.

(9) *Кудрявцев из московского кружка, большой приятель Белинского, написал недурную повесть: Белинский отозвался о ней восторженно.* – Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858) – историк, профессор Московского университета, печатавший свои статьи и повести под псевдонимом «А. Нестроев» в журналах «Современник» и «Отечественные записки». Повесть, о которой положительно отозвался Белинский, – «Последний визит» (см. статьи В. Белинского «Русская литература в 1844 г.», «Ответ Москвитянину» и «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»).

(10) «*Теверино*» и «*Лукреция Флориани*» – романы Жорж Санд (1804–1876), пропагандировавшие идеи женской эмансипации, широко обсуждались в русской печати.

(11) *В. П. Б...* – В. П. Боткин (1811–1869) – см. прим. к письму 24.

**Лучше поздно, чем никогда\***

Впервые опубликовано в журнале «Рус-

ская речь», 1879, № 6. В настоящем издании печатается по тексту прижизненного Полного собрания сочинений И. А. Гончарова, т. 8, 1886, с проверкой по предыдущим изданиям.

О причинах и намерениях, которые побудили Гончарова написать «Лучше поздно, чем никогда», рассказано им самим в начале статьи.

«Этот критический анализ моих книг, – писал Гончаров, – возник из предисловия, которое я заготовил было к отдельному изданию „Обрыва“ в 1870 году, но тогда, по сказанным в этом очерке причинам, не напечатал. Потом в 1875 году я опять возвратился к нему, кое-что прибавил и опять отложил в сторону». Таким образом, первоисточник статьи восходит к 1869–1870 годам, когда Гончаров решил предпослать отдельному изданию романа свое предисловие. В нем Гончаров стремился высказаться не только относительно общего значения своих авторских задач, но и вступить в острую полемику с неблагоприятной к его «Обрыву» критикой. Работая над статьей «Лучше поздно, чем никогда»,

Гончаров взял для нее многое из прежнего «Предисловия», а также из своей критической статьи «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“» (1876).

Основное значение статьи «Лучше поздно, чем никогда» определяется тем, что в ней нашли наиболее полное и яркое отражение прогрессивные эстетические взгляды Гончарова. Осуждая формализм и натурализм, Гончаров дал глубокое теоретическое обоснование реализма в искусстве, подчеркнул его основной принцип – связь художника с изображаемой действительностью. В статье поднимается ряд важных проблем творчества писателя – о типичности, о фантазии, о языке.

Но вместе с тем в ней сказались и существенные расхождения Гончарова с революционно-демократической эстетикой.

На критических оценках «Лучше поздно, чем никогда» в известной степени отразилась борьба мнений, полемика, которая происходила в литературе и общественной жизни 70-80-х годов.

Журнал реакционного направления «Русский вестник» (1879, № 9) в статье, подписан-

ной инициалами И. П., умолчав о прогрессивной, реалистической стороне эстетических взглядов писателя, использовал ошибочный тезис Гончарова о бессознательности творчества. Трактую этот вопрос с реакционно-идеалистических позиций, журнал утверждал, что именно в бессознательности и заключается вся «тайна творчества», которую раскрыл Гончаров. Критик «Русского вестника» выразил также свое полное согласие с мнением Гончарова о «новейших русских реалистах», которых он обвинял, как и французских натуралистов, в «копировке» действительности.

С отрицательной оценкой «Лучше поздно, чем никогда» выступил демократический журнал «Слово» (1881, № 4). Критик А. Горшков (Протопопов) в статье «Неожиданные признания», полемизируя с Гончаровым, справедливо указал на ряд спорных и ошибочных положений, в особенности на его тезис о «бессознательности творчества», носящий идеалистический характер.

Благожелательно (но касаясь главным образом чисто литературных достоинств ста-

тьи) отозвался о «Критических заметках» Гончарова либеральный «Голос» (1879, № 192). «Литературная исповедь И. А. Гончарова проникнута глубокой искренностью», – писал критик Г. Данилевский: Ценность статьи Гончарова «Голос» видит и в том, что «...Молодые деятели родной литературы почерпнут для себя в авторских признаниях И. А. Гончарова немало драгоценных указаний на то, с какой строгостью истинные таланты относятся к исполнению своих художественных задач».

(1) *...рассказывал все до подробности... более всего одному, еще живому литератору...* – Имеется в виду И. С. Тургенев, с которым Гончаров откровенно делился своими «творческими замыслами» («Обрыв») и которого впоследствии несправедливо обвинял в заимствовании у него ряда образов и методов.

(2) *От 1849–1862 годов...* – во всех прижизненных изданиях «1840–1862 годов», что является, видимо, опечаткой, прошедшей через все издания. Замысел «Обрыва» возник у Гончарова в 1849 году.

(3) *«Восхищаясь вашей красотой...»* – Гончаров цитирует «Посвящение» из романа Рай-

ского не по печатному, а по первоначальному рукописному тексту (см. ч. V, гл. XXIII «Обрыва»).).

### **Нарушение воли\***

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1889, № 3 (с подписью: «И. Гончаров», и датой: 14 января 1889), по тексту которого и печатается.

Статья была написана Гончаровым в 1888 году, что подтверждается его письмами А. А. Фету от 19 ноября (1 декабря) и от 23 ноября (5 декабря) 1888 года.

В первоначальном виде (1888) статья называлась «Насилие воли». В рукописном отделе института Русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР сохранилась небольшая часть этого варианта, переписанного рукою С. А. Никитенко, с правкой и дополнениями рукою автора.

Разночтения (по сравнению с печатным текстом) не существенны. Там же имеется небольшая часть черновой рукописи: «Гончаров Иван Александрович, „Нарушение воли“. Статья. Черновой набросок». В начале наброс-

ка – крупный вычерк. Далее текст – за исключением мелких разночтений – совпадает с печатным текстом.

### **Отзыв о драме «Гроза» Островского\***

Впервые напечатано в сборнике «Отчет о 4-м присуждении Уваровской премии», Спб. 1860. Отзыв (в форме письма) был написан Гончаровым по предложению Академии наук на предмет присуждения Островскому академической премии. Гончаров высоко оценил драму, как «широкую картину национально-го быта и нравов», ее типы, язык, «взятый из действительности, как и сами лица, им говорящие», и поставил «Грозу» на «первое место в драматической литературе». В той острой полемике, которая развернулась в 60-х годах вокруг «Грозы» Островского, Гончаров был солидарен с Добролюбовым (см. статью последнего «Луч света в темном царстве»).

### **Заметка о поводе юбилея Карамзина\***

Впервые напечатано в газете «Голос» от 23 ноября 1866 года, № 321, с подписью: «Любитель литературы» и датой: 22 ноября.

Высокая оценка Карамзина, как «двигателя просвещения», «проводника знания, возвышенных идей, благородных, нравственных, гуманных начал в массу общества», имеется и в письмах Гончарова (см., напр., письмо к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 г.).

### **Предисловие к роману «Обрыв»\***

Впервые опубликовано в сборнике «И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма», Л. 1938. В Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР хранится копия рукописи, по тексту которой предисловие и печатается в настоящем издании. В начале статьи имеется приписка автора: «Уничтожить (ноябрь 1869 года). Было написано это предисловие к отдельному изданию „Обрыва“, но осталось ненапечатанным.

Его следует дополнить и вообще переделать».

И далее под заголовком статьи вторично в скобках: «(Надо дополнить и совсем иначе переделать)».

В рукописи много вычерков; наиболее существенные из них воспроизведены в настоя-

цем примечанияи.

Предисловие к отдельному изданию романа «Обрыв» явилось по существу первоначальным вариантом большой статьи «Лучше поздно, чем никогда», которая была напечатана в 1879 году.

Со времени появления в свет романа «Обрыв» писателю, по его собственному признанию, «пришлось прочесть немало суровых, даже раздражительных приговоров печати». К роману отрицательно отнеслась как реакционная, так и прогрессивная критика того времени (см. прим. к т. 6 наст. изд.).

Особенное недовольство Гончарова вызвала статья Е. Утина «Литературные споры нашего времени» в «Вестнике Европы», 1869 (кн. XI), где печатался «Обрыв». Критик причислил Гончарова к писателям «старого направления», которые порвали связь «с живою частью русского общества», стали чужды «стремлениям людей новых идей», «значительно потеряли чутье».

Издатель «Вестника Европы» Стасюлевич поместил статью Утина, которая в известной степени охраняла журнал от нападков демо-

кратической критики. Раздражение, охватившее Гончарова вначале, не дало ему возможности оценить действительные цели утинской статьи, но впоследствии он признал, что она «написана приличным тоном».

В связи с выступлением Утина у Гончарова возникла переписка с редактором «Вестника Европы» (см. письма к Стасюлевичу в настоящем издании и «Стасюлевич и его современники...», СПб. 1912, т. IV). О своем намерении написать и опубликовать предисловие к «Обрыву» Гончаров советовался со Стасюлевичем и Никитенко. Вероятно, считаясь с их мнением не печатать статьи, он основательно переработал предисловие и использовал его только через десять лет.

В Предисловии к «Обрыву» проявились противоречия и ограниченность, присущие общественным взглядам Гончарова. С одной стороны, Гончаров отрицательно относится к революционно-демократическим настроениям в русском обществе, к передовой революционно мыслящей молодежи 60-х годов. Главная цель статьи – доказать, что «новым поколением» является не та часть русского обще-

ства, типично отображенная, по его мнению, в «Обрыве» в лице Волохова; а люди, которые пойдут «уже открытым путем развития и упрочения новых форм жизни», то есть по пути осуществления правительственных реформ. Что касается Волохова, то в нем, по замечанию Гончарова, «выразились крайности нового времени или поколения». Гончаров резко полемизирует по ряду вопросов с революционно-демократической и радикальной литературной критикой. С другой стороны, в этой же статье он остается убежденным противником крепостного права, призывает к борьбе с остатками крепостничества, отсталыми формами русской жизни, горячо ратует за прогресс и просвещение. Он убежден, что будущим поколениям русских людей «выпадет на долю достраивать здание русской жизни по какому-нибудь, еще теперь не видному плану, в самобытном русском, и не другом, чуждом нашей жизни стиле».

(1) ...что доказывает злоупотребление прудоновского афоризма...— Имеется в виду афоризм одного из основоположников мелкобуржуазного социализма и анархизма Прудона

(1809–1865) «Собственность – кража», на который ссылается Волохов в споре с Верой («Обрыв», ч. III, гл. XXIII).

(2) *...поняли волю по «золотым грамотам»* ...– Апокрифические грамоты (манифесты), в которых от имени царя народниками объявлялось о передаче крестьянам помещичьей земли. После слова «грамотам» в статье имеется вычерк: «таким образом, что воля значит вламываться в дома помещиков и грабить их».

(3) *...вопреки опасениям и дурным предвещаниям алармистов...*– Алармист – распространитель тревожных слухов. Эти слова Гончарова направлены против реакционеров, боявшихся реформ.

(4) *...«Лелия»* (1833) – роман Жорж Санд, пропагандировавший идею женской эмансипации, свободу чувства.

(5) *...Бокль и подобные ему мыслители...*– Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк, автор «Истории цивилизации в Англии». Гончаров отрицательно относился к радикализму и рационализму философских взглядов Бокля и считал Писарева его послед-

дователем.

(6) ...современному расширению прав...– Далее зачеркнуто слово: «свободы».

(7) ...из любви к процессу собственного своего искусства. – Далее в тексте зачеркнуто: «Художественная верность изображаемой действительности, то есть „правда“ – есть основной закон искусства – и этой эстетики не переделает никто. Имея за себя „правду“, истинный художник всегда следует целям жизни, – более близко или отдаленно. И чем он объективнее, то есть чем покойнее и беспристрастнее относится к своему предмету, тем он больше художник и тем ближе к жизни, откуда бы ни черпал свои сюжеты».

(8) ...Картина такого крупного таланта, как Иванов...– Имеется в виду картина знаменитого русского художника Иванова Александра Андреевича (1806–1858) «Явление месии народу» (находится в Третьяковской галерее).

(9) Картин г. Ге – картина «Тайная вечеря» (1863). Ге Николай Николаевич (1831–1894) – выдающийся русский художник, близкий по своим творческим стремлениям и принци-

пам к реализму «передвижников». Принимал активное участие к организации Товарищества передвижных выставок.

(10) *...проповедь литературных Савонарол.* – Савонарола (1452–1498) – католический монах и проповедник, отличавшийся крайним фанатизмом своих убеждений. Литературными Савонаролами Гончаров называет критиков радикального и революционно-демократического лагеря, которых он обвинял в проповеди «утилитаризма», якобы фантастическом отрицании истинного искусства, в частности поэзии Пушкина.

(11) *Одни, ригористы, упрекают меня...* – Под ригористами Гончаров понимает реакционных критиков, обвинявших его в том, что он в «Обрыве» будто бы «не пощадил седин бабушки». Ригоризм – формально-строгое проведение каких-либо принципов, особенно нравственных.

### **Материалы, заготавливаемые для критической статьи об Островском\***

Впервые опубликовано в сборнике «Памяти А. Н. Островского», П. 1923. В настоящем из-

дании печатается по рукописи, хранящейся в Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

Статья Гончаровым не датирована. Работа над ней относится к началу или середине 1874 года. В этом убеждает тот факт, что пьеса «Поздняя любовь», появившаяся в № 1 «Отечественных записок» 1874 года, названа в статье как «самая последняя пьеса Островского».

Насколько высоко оценивал Гончаров талант Островского, видно из материалов, включенных в настоящий том. Существенно в этом смысле также и замечание, высказанное Гончаровым в «Необыкновенной истории» (1878): «Я давно перестал читать русские романы и повести: выучив наизусть Пушкина, Лермонтова, Гоголя, конечно, я не мог удовлетвориться вполне даже Тургеневым, Достоевским, потом Писемским, таланты которых были ниже первых трех образцов. Только юмор и объективность Островского, приближавшие его к Гоголю, удовлетворяли меня до значительной степени» (см. «Сборник Российской публичной библиотеки», вып. I, П. 1924, стр. 44–45).

В Островском Гончаров видел талантливо-го обличителя старых нравов и быта, или, как он выразился в статье, писателя «исторического», продолжателя гоголевской школы в литературе.

(1) *...героев вроде Велисария...* – Имеется в виду герой мелодрамы Э. Шенка «Велизарий» (1839) из репертуара трагика Каратыгина. *Велизарий* (506–565) – полководец византийского императора Юстиниана, отличившийся в африканских походах, но к концу жизни подвергшийся опале.

(2) *...от Гостомысла* – то есть со времени глубокой русской древности.

**«Христос в пустыне». Картина г. Крамского\***

Впервые опубликовано в журнале «Начала», 1921, № 1. Печатается по рукописи, хранящейся в Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. На полях рукописи имеется приписка: «Надо пересмотреть на досуге. Кажется – из этого материала можно сделать полный этюд». Критический этюд о картине И. Н. Крамского (1837–1887), знаме-

нитого русского художника-реалиста второй половины XIX века, был написан Гончаровым в связи с посещением мм третьей «передвижной» выставки 1874 года, на которой была экспонирована картина Крамского «Христос в пустыне». Картину Крамского «Христос в пустыне» Гончаров оценивает как величайшее достижение реализма. Несмотря на условность сюжета, в картине, по мнению Гончарова, нет «никакой выдумки». Перед зрителем, по словам автора, – не сверхъестественный образ, а образ живого человека, охваченного силою внутренних переживаний.

Сам Крамской, говоря о создании этой картины, писал: «Вдруг я увидел фигуру, сидящую в глубоком раздумье. Я очень осторожно начал всматриваться... я только старался скопировать. И, когда кончил, – дал дерзкое название. Христос ли это? – Не знаю».

### **Опять «Гамлет» на русской сцене\***

Статья была написана Гончаровым в связи с выступлением актера Нильского в роли Гамлета в 1875 году. Рукопись статьи – в числе других материалов – Гончаров передал

С. А. Никитенко. Впоследствии, с разрешения последней, часть этой рукописи, со слов «Гамлет не типичная роль» и кончая словами: «Это последнее, конечно, только и могли сделать артисты, прославившиеся исполнением Гамлета», была опубликована в издании «В. Шекспир. Трагедия о Гамлете, принце Датском», перевод К. Р., 1900, т. II, а затем – в газете «Новое время», 1902, № 9361, и в сборнике «И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма», Гослитиздат, 1938. Полностью статья была напечатана в восьмом томе собрания сочинений Гончарова, Библиотека «Огонек», 1952, по рукописи, хранящейся в архиве Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. В настоящем издании воспроизводится по тексту рукописи. Автограф статьи представляет собою черную рукопись с многочисленными поправками и вычерками.

Гончаров в оценке образа Гамлета идет вслед за Гёте и Белинским; Белинский говорил, что «Гамлет, такой, каким мы его представляем, есть только соединение прекрасных элементов, из которых должно некогда

образоваться нечто определенное и действительное; есть только прекрасная душа, но еще не действительный, не конкретный человек». Это высказывание Белинского созвучно мнению Гончарова о Гамлете. По мнению Белинского, «от природы Гамлет человек сильный», воля же его зависела от обстоятельств (см. В. Г. Белинский «Гамлет, драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета», т. I, М. 1948). Эту же мысль в своей заметке проводит и Гончаров.

Ценность статьи Гончарова – не только в прогрессивной трактовке существа образа Гамлета, но и в постановке ряда важных проблем театрального искусства.

(1) К стр. 200. *Нильский* (Нилус) Александр Александрович (1841–1899) – артист Александринского и других петербургских театров.

Гончаров положительно оценил исполнение Нильским роли Гамлета. Однако в печати об игре Нильского появились резко отрицательные отзывы (напр., в газете «Голос» от 2 февраля 1875 г.), что отчасти и побудило его написать статью.

## Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»\*

Впервые напечатано в журнале «Русский вестник», 1895, № 1, по тексту которого и воспроизводится. Время написания статьи, вероятнее всего, относится к 1876 году, что подтверждают следующие строки в ней: «Реформам всего 15, а иным 10 лет от роду». Первая реформа, как известно (отмена крепостного права), была произведена в 1861 году, а последние – в 1866. При публикации статье была предпослана заметка «От издательницы» (М. Волконской) и письмо И. А. Гончарова к ней. Приводим эту заметку:

«Печатаемая нами ныне рукопись Ив. Ал. Гончарова была написана им для выяснения основной идеи романа „Обрыв“ одной высокой особе, покровительствовавшей даровитому писателю, которая еще до прочтения романа, услышав об его содержании, сказала, что она глубоко сожалеет, что „Гончаров не пощадил святые седины бабушки...“»

Объясняя в своем «критическом очерке» основные идеи «Обрыва», Гончаров одновре-

менно высказывает свою точку зрения на задачи и принципы реалистического романа вообще, полемизируя с романистами демократического направления.

(1) *М. Ю. В.* – М. Ю. Виельгорский (1788–1856) – русский музыкальный деятель 30-х годов.

(2) *...кн. О.* – князь В. Ф. Одоевский (1803–1869), писатель, музыкальный критик, композитор.

**«По желанию редакции „Художественного листка“...»\***

Впервые напечатана в журнале «Русский художественный листок», 1859, № 14, в сокращении и с небольшими изменениями, сделанными редакцией. Полностью опубликована в журнале «Русская старина», 1911, № 10. Датирована автором: 16 декабря 1858 г.

Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

(1) *...родился в 1813 или в 1814 году.* – Гончаров родился 6(18) июня 1812 года.

(2) *«Обыкновенная история».* – Роман был

напечатан в мартовском и апрельском номерах «Современника» 1847 года.

**«Родился в Симбирске в 1812 году»\***

Написана в конце 1867 года. Впервые напечатана в «Сборнике исторических и статистических материалов о Симбирской губернии», Симбирск, 1868 года, по тексту которого и воспроизводится.

**«И. А. Гончаров родился в 1814 году»\***

Впервые опубликована в сборнике «Огни», кн. I, П. 1916.

(1) *И. А. Гончаров родился в 1814 году...* – См. прим. к стр. 221.

(2) *«Мильон терзаний»*. – Статья была опубликована в 1872 году.

**Письмо Майкову А. Н., 2 марта 1843\***

Впервые опубликовано с сокращениями: И. А. Гончаров, *Собрание сочинений*, т. 8, б-ка «Огонек», М. 1952, стр. 265. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Майков Аполлон Николаевич* (1821–1897) – поэт, представитель реакцион-

ной школы «чистого искусства». За шестьдесят лет литературной деятельности Майков прошел сложный путь от либерально-демократических увлечений в сороковых годах к окончательному переходу на реакционные позиции в шестидесятые годы. А. Майков был воспитанником и другом И. А. Гончарова.

По свидетельству Гончарова он, приехав в Петербург, «...был введен в семейство живописца Н. А. Майкова. Сыновьям его, А. Н. Майкову... и брату его, Валериану, Гончаров давал уроки латинского языка, риторики и пиитики, а из словесности знакомил с Ломоносовым, Державиным, Озеровым и пр.». Современник Гончарова писатель Д. В. Григорович отмечал, что «Гончаров считался у Майковых „своим“, их связь была давнишняя, она началась еще в тридцатых годах» (Д. Григорович, Литературные воспоминания, Л. 1928, стр. 187). Гончаров сыграл большую роль в формировании литературных вкусов Майковых.

(2) *...Владимир Андреевич получил ваше письмо.* – Солоницын В. А. (1804–1844) – близкий друг Гончарова, видный чиновник и жур-

налист. Был правителем канцелярии департамента внешней торговли по Министерству финансов и начальником И. А. Гончарова, служившего там в должности переводчика. Солоницын ввел в дом Майковых Гончарова в качестве наставника. До нас дошли письма Солоницына к Гончарову. По воспоминаниям современников, прототипом Адуева-дяди в «Обыкновенной истории» послужил его (Гончарова) покойный начальник Владимир Андреевич Солоницын (см. А. В. Старчевский, Один из забытых журналистов, «Исторический вестник», 1886, № 2, стр. 377, и А. И. Груздев, В. А. Солоницын о неизвестном романе Гончарова «Учен. записки Ленинград. Госуд. педагог. инст. им. Герцена», т. 67, Л. 1948, стр. 108–113).

(3) *Майков Николай Аполлонович* (1794–1873) – глава семьи Майковых, художник, академик живописи, друг Гончарова. Дом Майковых представлял собой один из известных литературных салонов Петербурга. В нем бывали И. И. Панаев, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и др. По свидетельству Д. В. Григоровича, «...раз в неделю, вечером, в неболь-

шой, но изящно убранной гостиной Майковых можно было всегда встретить тогдашних корифеев литературы; многие являлись с рукописями и читали свои произведения» («Литературные воспоминания», Л. 1928, стр. 192).

(4) *Вероятно он... теперь уже в пути.* – Н. А. Майков вместе с сыном Аполлоном находился за границей и вернулся в Россию в конце 1843 года.

(5) *...я пошел к Евгении Петровне.* – Майкова Е. П. (урожденная Гусятникова (1803–1880) – жена Н. А. Майкова, писательница и поэтесса.

(6) *Все три стихотворения.* – Речь идет о стихотворениях А. Майкова из цикла «Очерки Рима», печатавшихся в «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения» (отдельным изданием вышли в 1847 г.). В этом цикле нашли отражение итальянские впечатления Майкова.

(7) Первое стихотворение – «Колизей»; стихотворение было переработано Майковым и напечатано под названием «Игры» (см. А. Майков, Очерки Рима, СПб. 1847, стр. 36).

(8) *...в 3-м...* – Речь, вероятно, идет о стихо-

творении «Древний Рим».

(9) *Бибиков* Матвей Павлович (1812–1856) – писатель и художник.

(10) *Валериан* – Майков В. Н. (1823–1847) – критик журнала «Отечественные записки», близкий к кружку Петрашевского, воспитанник Гончарова.

**Письмо Белинскому В. Г. и др., <24 июня 1847>\***

Впервые: В. Г. Белинский, Письма, СПб. 1914, т. III, стр. 375. Печатается по автографу ЛБ.

Небольшое письмо является припиской к письму Н. А. Некрасова.

(1) *Ваша последняя статья, Иван Сергеевич.* – Так как письмо написано в июне и речь идет о «последней статье» Тургенева, высказывалось предположение, что Гончаров имел в виду один из рассказов («Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсянников», «Льгов» и «Ермолай и мельничиха») из цикла «Записок охотника», напечатанных в майской книжке «Современника» за 1847 год.

## **Письмо Ефремовой Ю. Д., 25 октября – 6 ноября 1847\***

Частично опубликовано у Е. Ляцкого «И. А. Гончаров», Стокгольм, 1920. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Юния Дмитриевна (Юнинька) Ефремова* – племянница Е. П. Майковой, близкая приятельница Гончарова, с которой он находился в длительной переписке (с 1847 по 1874 г.). Письма Гончарова к Ефремовой опубликованы Б. Л. Модзалевским в статьях «Из переписки И. А. Гончарова», «Временник Пушкинского дома 1914 г.», П. 1915, стр. 94-130, и «Тридцать четыре письма Гончарова к Ю. Д. Ефремовой» – «Невский альманах», вып. 2, «Из прошлого», П. 1917, стр. 8-43.

(2) *...письмо Герцена из Парижа.* – Речь идет о первом письме А. И. Герцена из цикла «Письма из Avenue Marigny», напечатанном в «Современнике» (1847, № 10).

(3) *...много хорошего от Белинского.* – Белинский вернулся в конце сентября 1847 года в Петербург. В первые дни он производил впечатление человека, находящегося на пути к выздоровлению. В. П. Боткин писал 12 октяб-

ря 1847 года: «Белинский уже в Петербурге и, говорят, свеж и бодр и с ревностью принимается за журнал. Но надолго ли станет этой свежести и бодрости?» («П. В. Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 553).

(4) *...небольшой рассказ...*— Речь идет об очерке Гончарова «Иван Савич Поджабрин» (написан в 1842 г., напечатан в «Современнике», № 1, 1848; см. т. 7 наст. изд.).

(5) *Степан Семенович Дудышкин начинает входить в моду.* — Дудышкин С. С. (1820–1866) — критик либерального направления, после Майкова заведовал критическим отделом в «Отечественных записках». В письмах к Боткину от 4–8 ноября 1847 года и Анненкову от 20 ноября 1847 года Белинский, отметив молодого критика, сообщал, что собирается привлечь его в «Современник». «Я пришел от нее, — писал Белинский о статье Дудышкина, — в восторг» (Белинский, Письма, СПб. 1914, т. III, стр. 270–271).

(6) *...памяти умершего...*— Речь идет о Валериане Майкове. В письме к Ю. Д. Ефремовой от 22 июля – 3 августа 1847 г. Гончаров описывал трагическую смерть В. Майкова и сооб-

щал, что 18 июля на похоронах были «Панаев, Некрасов, Языков и все мы...» Характерно и дальнейшее его сообщение: «Краевский побледнел, узнавши о смерти Валериана: он потерял единственную поддержку своего журнала. Некрасов, Панаев и другие глубоко жалеют о нем не как о сотруднике, они успели полюбить его независимо от статей». В «Современнике» (1847, № 8) Гончаров опубликовал некролог на смерть Майкова.

(7) *Николай Аполлонович* – Майков.

(8) «*Норма*» (1831) – опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).

(9) *Брессан... не воротится.* – Брессан – французский актер Михайловского театра в Петербурге. Белинский писал о «благородной, исполненной глубины и нежности чувства игре г. Брессана».

(10) *Монжоз* – актер того же театра.

(11) *Анжи, Сальви* – певцы Итальянской оперы в Петербурге.

(12) *Фреццолини* (р. в 1818 г.) – итальянская оперная артистка, выступавшая в Петербурге. В зиму 1848/1849 г. Фреццолини хотела поставить в свой бенефис оперу Глинки «Иван Су-

санин» («Жизнь за царя»).

(13) *Борси* – Джулия Борзи, певица Итальянской оперы в Петербурге. В сороковых годах в передовых кругах русской интеллигенции шел спор между поклонниками Борзи и Фреэццолини.

**Письмо Краевскому А. А., <12 мая 1848>\***

Впервые: «Русская старина», 1911, № 10, стр. 45–46. Печатается по автографу ГПБ.

(1) *Краевский Андрей Александрович* (1810–1889) – редактор-издатель журнала «Отечественные записки» (до 1868) и умеренно-либеральной газеты «Голос» (1863–1884).

(2) *...роман мисс Инчбольд*. – *Инчбольд* (Elisabeth Simpson Inchbald – 1753–1821) – драматург, писательница, актриса, автор многочисленных драм, повестей («Простая история», 1791, «Природа и искусство», 1796).

(3) *...я бы покорнейше просил вас заменить заглавие «Обыкновенная история»*. – А. А. Краевский принял предложение Гончарова, и роман *Инчбольд* появился под заглавием «Простая история» («Отечественные записки», 1843, т. LVIII и LIX).

## **Письмо Майкову Н. А. и его семье, 13 июля 1849\***

Частично опубликовано в книге А. Г. Цейтлина «И. А. Гончаров», М. 1950, стр. 456–458. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

Письмо это, содержащее яркое описание поездки Гончарова на родину, во многом перекликается с его воспоминаниями «На родине», написанными в 1888 году и опубликованными в «Вестнике Европы», 1888, №№ 1 и 2 (см. т. 7 наст. изд.).

(1) *Вот скоро месяц, как я оставил вас.* – Гончаров получил с 15 июля 1849 г. отпуск на двадцать девять дней и отправился к себе на родину, в Симбирск. Вслед за тем он получил отсрочку еще на три месяца (см. А. Мазон, Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова, «Русская старина», 1911, № 10, стр. 46).

(2) *...благословенного богом уголка.* – Гончаров цитирует только что появившийся «Сон Обломова»: «В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова?»

(3) *Первое лицо, которое попало мне, был Анненков.* – Анненков Павел Васильевич (1812–1887) – литературный критик, умеренный либерал, издатель сочинений и биограф А. С. Пушкина.

(4) *...это было бы смешно, если б не было очень скучно.* – Перефразированные строчки стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой».

(5) *...кланяюсь усердно Марье Федоровне...* – М. Ф. Пасовысева, экономка в доме Майковых.

(6) *Аполлон* – А. Н. Майков.

(7) *Старик* – дружеская кличка Владимира Николаевича Майкова (1826–1885) – детского писателя, издателя журнала для юношества «Подснежник».

(8) *Бурька* – младший сын Майковых, Леонид Николаевич (1839–1901), впоследствии академик, пушкинист, историк литературы.

(9) *Льховскому* – см. прим. к письму 9.

**Письмо Краевскому А. А., <25 сентября 1849>\***

Впервые: «Русская старина», 1911, № 10, стр. 47–49. Печатается по автографу ГПБ.

(1) *Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжать начатый и известный Вам труд.* – Гончаров начал работать над «Обломовым» в 1847 году. Уехав в 1849 году на родину, он надеялся написать там роман для «Отечественных записок», которые уже анонсировали его новое произведение. Однако в Симбирске он написан не был. Только через десять лет Гончарову удалось закончить роман.

(2) *Моя поездка и все приобретенные в ней впечатления.* – Гончаров имеет в виду впечатления, которые были использованы им много позже в «Обрыве». «Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминанья детства – все это залегло мне в голову и почти мешало кончить Обломова...» (см. т. 8, стр. 71 наст. изд.).

(3) *Вот в каком печальном положении нахожусь я теперь.* – В письме к Ю. Д. Ефремовой от 20 августа 1849 года Гончаров писал: «Здесь я ожил, отдохнул душой и даже помолодел немного, но только поддельною, фальшивою молодостью... Мне и не смутно пока, и не болен я, и нет отвращения к жизни, но все

это на три месяца Уже чувствую я над головой свист вечного бича своего – скуки: того и гляди пойдет свистать. Прав Байрон, сказавши, что порядочному человеку далее 35 лет жить не следует. За 35 лет живут хорошо только чиновники, как понаворуют порядком, да накупят себе домов, экипажей и прочих благ. Чего же еще, рожна что ли? спросят. Чего? Чего? Что отвечать на такой странный вопрос? Отсылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подобным им» («Невский альманах», вып. 2, «Из прошлого», П., стр. 9).

(4) *...мой усердный поклон Елизавете Яковлевне.* – Краевской Е. Я., жене А. А. Краевского.

(5) *...один молодой автор.* – Речь идет об А. Н. Островском и его комедии «Банкрот» («Свои люди – сочтемся»). Зимой 1849 года драматург читал комедию в московских литературных салонах. К этому времени, очевидно, и относится знакомство двух писателей.

**Письмо Языковой Е. А. и др., 23 августа 1852\***

Впервые: «Литературное наследство»,

№ 22–24, М. 1935, стр. 344–345. Печатается по автографу ИРЛИ.

Письма №№ 7–10 связаны с путешествием Гончарова на фрегате «Паллада» вокруг света (октябрь 1852 – февраль 1855 гг.) (см. тт. 2–3 и прим. к т. 3 наст. изд.).

Письма Гончарова, написанные во время путешествия его друзьям – Майковым, Языковым, Льховскому и другим, являются как бы путевыми дневниками Гончарова, первоначальными набросками его будущей книги. На это он впоследствии указывал сам. Так, летом 1855 года он просил Ю. Д. Ефремову: «Приготовьте мне письмо, которое я писал вам из Англии. Мне крайняя надобность, я сегодня статью пишу об этом» («Невский альманах», вып. 2, стр. 15). Письма дают интересный материал для суждения о характере работы Гончарова над путевыми очерками. Публикацию писем И. А. Гончарова этого периода см. у Б. Энгельгардта, «Путевые письма И. А. Гончарова из кругосветного плавания» («Литературное наследство», № 22–24, стр. 309–426).

(1) *Михаил Александрович Языков* (1811–1885) – друг Гончарова, участник петер-

бургского кружка В. Г. Белинского, был близок к «Современнику» и многим русским писателям, группировавшимся вокруг журнала. В конце 40-х годов создал для распространения «Современника» «Комиссионерскую контору для провинциальных жителей», помогавшую в выписке и рассылке журналов и книг (письма Гончарова к Языкову и его жене см. «Литературное наследство», № 22–24, стр. 344–412).

(2) *Екатерина Александровна* – Языкова Е. А., жена М. А. Языкова.

(3) *Эликонида Александровна* Белавина – сестра Е. А. Языковой.

(4) ...получил письмо к начальнику экспедиции. – Начальником экспедиции был известный адмирал и дипломат Е. В. Путятин (1803–1883). Письмо было дано близким другом Путятинна министром просвещения А. С. Норовым, у которого Ап. Н. Майков служил чиновником особых поручений.

(5) ...на заводе. – На Государственном стеклянном заводе, которым управлял М. А. Языков.

(6) *Корш* Валентин Федорович (1828–1883) –

журналист либерального направления. В 1850–1863 годах был помощником редактора газеты «Московские ведомости».

**Письмо Майкову Н. А. и его семье, 17/29 марта 1853\***

Впервые: «Литературное наследство», № 22–24, стр. 370–373. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...старший штурман.* – Известный русский мореплаватель, участник многих кругосветных походов А. А. Халезов (в очерках Гончарова «дед»). В 1848–1849, годах участвовал в экспедициях выдающегося русского географа Г. И. Невельского (1813–1876).

(2) *Филиппов* – вероятно, художник Н. Н. Филиппов.

(3) *Я вел и веду общий журнал.* – Судовый журнал, где велись подробные поденные записи, регистрировавшие морские данные, приказы и распоряжения.

(4) *...перо, например, Боткина, Анненков и других.* – Боткин в 1847 году печатал в «Современнике» «Письма об Испании», Анненков в 1843–1848 годы опубликовал в «Отечествен-

ных записках» и «Современнике» серию писем из Парижа.

(5) *Барон Криднер – Н. Криднер* был лейтенантом на фрегате «Паллада».

(6) ...*капитан.* – К. А. Майков, брат Н. А. Майкова, служивший в Главном штабе.

(7) *Александр Павлович* – муж Юнии Дмитриевны, Ефремов.

(8) *Кланяйтесь Бенедиктову: скажите, что южный крест – так себе.* – Поэт Бенедиктов В. Г. (1807–1873), друг Гончарова и семьи Майковых, писал в послании Гончарову:

*И ты свершишь пловучие заезды  
В те древние и новые места,  
Где в небесах другие блещут звезды,  
Где свет лиет созвездие Креста...*

(см. В. Г. Бенедиктов, Стихотворения, Л. 1939, стр. 227).

(9) *Я писал еще... и Кореневу.* – Коренев А. П., сослуживец Гончарова.

### **Письмо Льховскому И. И., июль 1853\***

Впервые: «Литературное наследство», № 22–24, стр. 390–394. Печатается по автогра-

фу ИРЛИ.

(1) *Льховский* Иван Иванович (1829–1867) – близкий друг Гончарова, чиновник и литературный критик либерального направления. Учился в Петербургском университете с Владимиром Майковым и входил в литературно-художественный кружок Майковых. По окончании университета Льховский служил вместе с Гончаровым в Министерстве финансов. Гончаров постоянно делился с Льховским своими творческими замыслами.

В 1859 году Льховский совершил путешествие на корвете «Рында». По возвращении из плавания в 1861–1862 годах он опубликовал несколько очерков: «Сан-Франциско» и «Сандвичевы острова» (см. «Морской сборник», 1861, №№ 1, 2 и 11, и 1862, № 2). Письма Гончарова к Льховскому печатались в книге Л. Утевского «Жизнь Гончарова», М. 1931; «Литературное наследство», № 22–24. (О Льховском см. «Литературный архив», т. III, стр. 91–96.)

(2) *Добрый Михаил Парфенович* – Заблоцкий М. П., чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

(3) ...завещаю мысль свою о художнике. – «Художник» – так Гончаров первоначально предполагал назвать роман «Обрыв».

**Письмо Языковой Е. А. и др., 15/27 декабря 1853\***

Впервые: «Временник Пушкинского дома на 1914 г.», П. 1915, стр. 98-103.

(1) ...писал к Вам с Бутаковым. – Бутаков Иван Иванович (ум. в 1882 г.), старший офицер «Паллады». Из Сингапура Путятин отправил его в конце мая 1853 года с депешами и письмами в Петербург с просьбой прислать на замену одряхлевшей «Паллады» фрегат «Диану».

(2) ...Бодиско Федор Николаевич – служащий русского посольства в Вашингтоне, посланный с почтой к Путятину.

(3) Колзаков Андрей Андреевич (ум. в 1854 г.) – генерал-майор, был женат на сестре М. А. Языкова.

(4) ...редакторы ожидают от меня статейки. – Гончаров имеет в виду редакторов «Современника» Некрасова и Панаева.

(5) Книжку Ивана Сергеевича. – «Записки

охотника» И. С. Тургенева (вышли в свет отдельным изданием в августе 1852 г.).

(6) *И Павлу Васильевичу кланяйтесь: так он издает Пушкина!* – Речь идет об Анненкове и предпринятом им в 1853 году издании сочинений Пушкина. В 1855 году Анненков выпустил фундаментальные «Сочинения А. С. Пушкина с приложением материалов для его биографии...» в шести томах; том седьмой, дополнительный, вышел в 1857 году. Гончаров способствовал разрешению этого дополнительного тома сочинений Пушкина. Издание Анненкова являлось первым критическим собранием сочинений великого поэта. Анненковское издание было положительно встречено современниками. Н. Г. Чернышевский отмечал его большое значение для изучения творчества Пушкина.

(7) *Мне жаль Николая Ивановича.* – Н. И. Надеждин, редактор журнала Министерства внутренних дел, был в 1853 году разбит параличом. Корш В. Ф. его преемником не стал.

**Письмо Краевскому А. А., <между 14 и**

## 20> сентябрь 1854\*

Впервые: «Русская старина», 1911, № 10, стр. 51–56. Печатается по автографу ГПБ.

Дата написания письма определяется следующими фактами: Гончаров ссылается на свое письмо к Майковым от 14 сентября 1854 года из Якутска. В нем он пишет: «Краевскому не кланяйтесь, я сам напишу к нему» («Литературное наследство», № 22–24, стр. 417). Таким образом, письмо Краевскому не могло быть написано ранее 14 сентября. Далее в письме Краевскому Гончаров сообщает, что «если не поленится», то вышлет в письме к Майковым страницы о том, «как мы изловили акулу», для передачи в «Отечественные записки». Между тем в письме к Майковым от 19 января 1855 года он сообщает, что они уже давно должны были получить письмо с этим отрывком (там же, стр. 421). Таким образом, письмо Краевскому было написано вскоре после письма Майковым, в пределах двадцатых чисел.

(1) *Губернатор* – К. Н. Григорьев, с 1850 по 1856 год якутский губернатор.

(2) ...я из путешественника вдруг обратил-

ся только в проезжего. – В письме к Майковым от 14 сентября 1854 года Гончаров писал: «Едва я ступил на родную почву, как перестал быть путешественником; я вдруг стал *проезжим*. Ведь в России нет путешественников, все *проезжие*. И я вдруг почувствовал, как уменьшилось достоинство моего звания, когда мне вручили подорожную по казенной надобности...» («Литературное наследство», № 22–24, стр. 413).

(3) ...*Якутском Монблане*. – О восхождении Гончарова на Джукджур см. «Фрегат „Паллада“», т. II, гл. VII (т. 3 наст. изд.) и «Литературное наследство», № 22–24, стр. 414.

(4) ...*преосвященным Иннокентием*. – Алетский и курильский архиепископ Иннокентий (И. Е. Вениаминов, 1797–1879).

(5) ...*немецкий булочник Каратыгина*. – Гончаров имеет в виду водевиль П. А. Каратыгина (1805–1879) «Булочная, или Петербургский немец», СПб. 1843, стр. 20 («Он человек здорового ума», – говорит герой этой пьесы).

(6) ...*так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу*. – В письме к Майковым от 19 января 1855 года он писал: «Если Бене-

диктов получил уже мое письмо, то вы должны получить огромных два письма... В одном письме – морскую идиллию, ловлю акулы, отрывок из своих записок для напечатания в „Отечественных записках“ (только там) в смеси, но без имени моего» («Литературное наследство», № 22–24, стр. 420–421).

(7) *...Елизавете Яковлевне* – жене А. А. Краевского.

(8) *..Евгений, который Александр...*– Речь идет о сыновьях Краевского.

(9) *Если у вас попрежнему бывают Заблочки, Милютины, Арапетов...*– Гончаров имеет в виду кружок «Отечественных записок», в который входил видный экономист А. П. Заблоцкий и его брат М. П. Заблоцкий, либеральный чиновник И. П. Арапетов (1811–1877), талантливый русский экономист 40-х годов, представитель передовой общественной мысли В. А. Милютин (1826–1855) и его братья, а также Никитенко и Боткин.

(10) *Тепляков* Алексей Григорьевич – русский беллетрист, брат поэта В. Г. Теплякова.

(11) *Элькан* Алексей Львович – журналист и переводчик.

**Письмо Толстой Е. В., <19 сентября 1855>\***

Впервые: «Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 221–222. Автограф не найден, печатается по этому изданию.

Письма к Елизавете Васильевне

(1) *Толстой* (1829–1877), по мужу Мусиной-Пушкиной, представляют большой биографический интерес. Гончаров познакомился с Е. В. Толстой в начале 40-х годов (около 1843). По возвращении из путешествия, осенью 1855 года он снова встретился с нею в доме Майковых. Красота и ум Е. В. Толстой вызвали нежную и преданную любовь Гончарова к молодой женщине. Гончаров заботится о ее литературном воспитании, снабжает ее произведениями Тургенева, Писемского, «Отечественными записками» и т. п. Делится с нею своими мыслями и творческими планами (Публикацию писем Гончарова к Е. В. Толстой см. П. Сакулин, Новая глава из биографии Гончарова – «Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 45–65, 215–235; № 12, стр. 222–252).

(2) *М-те Якубинской...* – компаньонка Е. В. Толстой.

(3) *Татьяна говорила, и с одушевлением, с няней...* – Гончаров имеет в виду сцену из романа Пушкина «Евгений Онегин».

(4) *...со всюю милой глупостью любви.* – Слова взяты Гончаровым из повести в стихах А. Н. Майкова «Машенька», гл. IV, стр. 1 (повесть напечатана была в «Петербургском сборнике», 1846).

(5) *...после Рубини* – Джованни Батиста Рубини (1795–1854) – итальянский певец (тенор).

(6) «*Лючия*» – «Лючия ди Ламермур» (1835), опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848).

### **Письмо Толстой Е. В., 25 октября 1855\***

Впервые: «Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 229–232. Автограф не найден. Печатается по этому изданию.

(1) *...не того романа, который должен быть готов через полтора года.* – План романа «Обломов».

(2) *...были Кошевский и Михайлов.* – Речь идет, очевидно, о пианисте и учителе музыки Н. А. Кошевском (р. в 1820 г.), участнике вече-

ров у петрашевца Дурова (см. А. Милюков, Литературные встречи и знакомства, СПб. 1890, стр. 185), и П. М. Михайлове-Остроумове (ум. в 1856 г.), певце (тенор), ученике Глинки.

(3) *Аполлон опять читал «Подражание Данту»*. – В письме к Е. В. Толстой от 20 октября 1855 года Гончаров рассказывал: «В день Вашего отъезда вечером я был у Некрасова, где собралось человек пятнадцать литераторов; пришел Аполлон Майков и прочел свое стихотворение „Подражание Данту“. Вы помните это прекрасное стихотворение, но только тогда была одна половина, он прибавил другую, где сильно говорит о злоупотреблениях, ворах и невежестве в нашей родной стране и о том, что внешний вид порядка и строгости прикрывает все это. Сказанное в дантовском тоне – это выходит величаво – мрачно и правдиво» («Голос минувшего», 1913, № 11, стр. 228).

(4) *Кладбищев* – друг детства Е. В. Толстой.

**Письмо Некрасову Н. А., <10 января 1856>\***

Впервые: «Современник», 1912, № 6, стр. 175. Печатается по автографу ИРЛИ.

Датируется примерно 10 января 1856 года на основании упоминания статьи Дружинина об очерке Гончарова («Современник», 1856, т. V, № 1, стр. 1-26, ценз. разр. 31 декабря 1855 г.) и корректуры очерка «Острова Бонин-Сима».

(1) *Статью о себе я третьего дня проглядел.* – Речь идет, видимо, о статье Дружинина, опубликованной в № 1 «Современника» за 1850 год.

(2) *Вы... посылаете корректуру* – корректуру очерка «Острова Бонин-Сима», появившегося в «Современнике», 1856, № 2 (ценз. разр. 31 января 1856 г.).

### **Письмо Некрасову Н. А., <30 января 1856>\***

Впервые: «Современник», 1912, № 6, стр. 173. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Рассказ сам по себе ничего бы.* – Речь идет, невидимому, о сюжете стихотворения «Филантроп», напечатанного в «Современнике» (1856, № 2).

(2) *Ковалевский Павел Михайлович* (1823–1904) – романист и поэт, сотрудник некрасовского «Современника».

**Письмо Льховскому И. И., 25/13 июня 1857\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, Л. 1951, стр. 97-102. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Он назвал себя Радецким.* – Случайный спутник Гончарова, однофамилец австрийского реакционного фельдмаршала Иосифа Радецкого. Наместник Польши генерал-фельдмаршал Паскевич умер 20 января 1856 года.

(2) *...сочинил книгу «Альманах гастронома».* – «Альманах гастрономов, содержащий в себе девяносто полных обедов... составлен И. М. Радецким», СПб. 1857, действительно вызвал анекдотические придирки одного из самых реакционных цензоров 50-х годов Н. В. Елагина (1817–1891). Добролюбов записал в дневнике: «Составитель какой-то поваренной книги, говоря об одном кушанье, сказал, что нужно с ним делать то и то, замесить, помаслить, помазать, дать взойти и пр. и пр. и, наконец, поставить в печку – в вольный дух. Цензор ужаснулся, увидя это, и чуть не остановил печатания всей книги; наконец, ре-

шился пропустить, заменив „вольный дух“ словами „умеренное тепло“» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. 6, М. 1939, стр. 398).

(3) *...да и там есть Торцовы. – Любим Торцов* – один из персонажей комедии А. Н. Островского «Бедность не порок».

(4) *Написал программу для Старика* – речь идет о неосуществленном произведении Гончарова для детского журнала Вл. Майкова.

(5) *...не отправлять фотографии А. А.* – Очевидно Августе Андреевне Колзаковой, которую одно время увлекался Гончаров.

(6) *Федор* – слуга Гончарова.

(7) *Все любите горестно и трудно?* – Гончаров перефразирует слова из поэмы Пушкина «Цыгане»:

*Твое унынье безрассудно,  
Ты любишь горестно и трудно...*

(8) *Барышев Ефрем Ефремович* – школьный товарищ Гончарова, писатель, поэт, переводчик, некролог о нем Гончаров (за подписью «Н. Н.») поместил в газете «Порядок», 1881, № 284.

(9) *...рекомендую вашему вниманию кор-*

ректурь. – Корректурa второго издания «Обыкновенной истории» и первого отдельного издания «Фрегата „Паллада“».

**Письмо Лъховскому И. И., 15/27 июля 1857\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, 1951, стр. 111–115. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Мне все это напоминает анекдот, рассказанный Пушкиным в его статье об американцах.* – Гончаров имеет в виду статью Пушкина «Джон Теннер» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1949, т. XII, стр. 117).

(2) *Глазунов И. И.* – издатель, выпустил первое издание «Фрегата „Паллада“» (1858).

(3) *Фаддеев* – вестовой Гончарова на фрегате «Паллада».

(4) *...сильно занят Ольгой Ильинской.* – Гончаров имеет в виду героиню романа «Обломов».

(5) *У меня есть соперник.* – Речь идет об Обломове.

(6) *...Иван Сергееч воротился.* – И. С. Тургенев уехал за границу 21 июля 1856 года и вернулся в начале июня 1858 года.

**Письмо Ефремовой Ю. Д., 29 июля/9 августа 1857\***

Впервые: «Невский альманах», вып. 2, 1917, стр. 24–26. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Можно утвердительно сказать, что Задиг...– Задиг – герой сатирического романа Вольтера «Задиг» (1748).*

(2) *Было два года свободного времени на море, и я написал огромную книгу. – Речь идет о «Фрегате „Паллада“».*

(3) *Средина А. И. – жена чиновника Министерства иностранных дел;*

(4) *Маркелова А. И. – жена вице-директора Почтового департамента;*

(5) *Яновская – жена врача С. Д. Яновского, друга Вал. Майкова и Ф. М. Достоевского, близкого к петрашевцам;*

(6) *Ляля – дочь Ефремовых.*

**Письмо Льховскому И. И., 2/14 августа 1857\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, Л. 1951, стр. 116–123. Печатается по автографу

ИРЛИ.

(1) *Когда же выйдет путешествие в свет?* – Речь идет о «Фрегате „Паллада“».

(2) *Кобылин* – сотрудник типографии Глазунова.

(3) *Безобразов В. П.* (1828–1889) – экономист, сотрудник «Русского вестника», впоследствии академик.

(4) *...познакомился с его женою* – Безобразовой Е. Д., в 70-80-х годах сотрудничала в французских и английских журналах. Ей принадлежат статьи о литературе (в том числе о Тургеневе). Далее идет речь об «Истории французской революции» Луи Блана, вышедшей в 1848–1862 годах.

(5) *Зотов Р. М.* (1795–1871) – реакционный драматург, романист и критик.

(6) *...если будет возможность, можно приехать вторично сюда с художником подмышкой.* – «Художник» – первоначальное название «Обрыва».

(7) *Панфилов А. И.* (1808–1874) – адмирал, ученик П. С. Нахимова, участник Синопского боя, в 1855 году, при обороне Севастополя, занял пост погибшего адмирала Нахимова.

(8) *Он знает меня по Морскому сборнику.* – В «Морском сборнике» печатались очерки «Фрегат „Паллада“».

(9) *Маркелов Д. Д.* (ум. в 1864 г.) – вице-директор почтового департамента.

(10) *Федор Иванович* – Ф. И. Твердомед, чиновник Министерства финансов, знакомый В. Н. Майкова, участник журнала «Подснежник».

### **Письмо Лъховскому И. И., 22/30 августа 1857\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, Л. 1951, стр. 126–129. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *22/30 августа* – так в рукописи, следовало 22 августа/3 сентября.

(2) *...живет много русских, и между прочим Фет, который в тот день женился на сестре Боткина, наконец сам Боткин.* – Поэт А. А. Фет (Шеншин) (1820–1892) был женат на сестре литератора и критика Василия Петровича Боткина – Марье Петровне Боткиной.

(3) *...третьего дня читал им свой роман.* – В своих воспоминаниях Фет рассказал об этом

чтении «Обломова» в Париже ему, Тургеневу и Боткину (А. Фет, Мои воспоминания, М. 1890, ч. 1, стр. 201). И. С. Тургенев, сообщая об этом факте Некрасову, писал: «Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного „Обломова“, есть длинноты, но вещь капитальная и весьма было бы хорошо, если бы можно было приобрести его для „Современника“» («Русская мысль», 1902, № 1, стр. 122).

(4) *...В поместье Виардо.* – Тургенев был связан многолетней дружбой с французской певицей Полиной Виардо (1821–1910) и ее мужем, критиком и переводчиком Луи Виардо (1800–1883).

(5) *Меншиков П. Н.* (1809–1879) – драматург и чиновник, знакомый М. А. Языкова.

### **Письмо Льховскому И. И., 5/17 ноября 1858\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, Л. 1951, стр. 146–151. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Анна Романовна Добровольская* – приятельница Е. П. Майковой и Ю. Д. Ефремовой.

(2) *Виктор Михайлович* – Кирмалов, пле-

мянник Гончарова.

(3) *...если б подписка на «Подснежник».* – «Журнал для детского и юношеского возрастов», издавался В. Н. Майковым с 1858 по 1863 год.

(4) *Валериан* – Валериан Владимирович Майков (ум. в 1899 г.), впоследствии видный педагог.

(5) *Аполлон в Ницце соединился с Анной Ивановной.* – Гончаров имеет в виду жену А. Н. Майкова. Однако Майков встретился с ней не в Ницце, а в Рагузе.

(6) *О «Фрегате Паллада» сейчас прочел я в Атенее весьма благоприятный отзыв.* – Речь идет о статье М. Ф. Де Пуле об отдельном издании «Фрегата „Паллада“» («Атеней», 1858, ч. VI, ноябрь – декабрь).

(7) *Языков хлопочет о Н. Н. Филиппове.* – Очевидно, художнике Н. Н. Филиппове.

(8) *Не забудьте поклониться... А. П. Попову.* – Гончаров имеет, вероятно, в виду одного из тех моряков, которые участвовали в плавании на фрегате «Паллада».

(9) *Любоцинский М. Н.* (ум. в 1889 г.) – обер-прокурор первого департамента Сената.

**Письмо Толстому Л. Н., <4 декабря 1858>\***

Впервые: «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», М. 1951, стр. 701. Печатается по автографу музея Л. Н. Толстого.

Письмо Гончарова является припиской к письму Владимира Майкова, который просил Толстого принять участие в его журнале «Подснежник». Знакомство Гончарова с Л. Н. Толстым относится к середине 50-х годов (24 ноября 1855 г. они встретились на квартире Тургенева). Уже с первого своего произведения Толстой привлек внимание передовых русских писателей, и Гончарова в том числе. А. Ф. Кони рассказывал об исключительном интересе Гончарова к Толстому-художнику («На жизненном пути», П. 1922, т. II, стр. 382). В письмах Гончарова отражено это увлечение могучим художественным гением Толстого. Племянник Гончарова вспоминал: «Он чрезвычайно высоко ставил Пушкина, Белинского и Льва Толстого. В Толстом его особенно поражала наблюдательность...» («Вестник Европы», 1911, № 11, стр. 38). В свою очередь Толстой высоко ценил романы Гончарова. 4 де-

кабря 1856 г. Толстой отметил в дневнике: «Читаю прелестную „Обыкновенную историю“» (Полн. собр. соч., юбил. изд., т. 47, стр. 103).

Для Толстого оказалась крайне важной критика романтизма в быту и литературе, данная в «Обыкновенной истории». «С прошедшей почтой, – писал он В. В. Арсеньевой 7 декабря 1856 года, – послал Вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее» (там же, т. 60, стр. 140). Высоко ценил Толстой «Обломова». 16 апреля 1859 года он писал А. В. Дружинину: «„Обломов“ – капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от „Обломова“ и перечитываю его еще раз» (там же, т. 60, стр. 290). Переписка с Толстым началась в 50-е годы и возобновилась в 1887 году.

(1) ...от вас ждут многого, между прочим Кавказского романа. – Гончаров имеет в виду повесть Толстого «Казаки» (начата в 1853 г.).

## **Письмо Анненкову П. В., <8 декабря 1858>**

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, М. 1952, б-ка «Огонек», стр. 308. Печатается по автографу ИРЛИ.

Цензорская деятельность Гончарова (с февраля 1856 г.) была отрицательно воспринята передовыми кругами того времени. Резко отзывался о «цензурном членовредительстве» А. И. Герцен («Колокол», 1 декабря 1857 г.). Поэт Н. Ф. Щербина в сатирических стихах молил бога избавить русскую литературу от «цензуры Гончарова». Гончаров, несомненно, знал об этих отзывах литераторов и порою болезненно на них реагировал. В этом смысле характерно и публикуемое письмо к Анненкову.

(1) *Фрейганг* А. И. – цензор Петербургского комитета.

## **Письмо Боткину В. П., 30 января 1859\***

Впервые: «Голос минувшего», 1923, № 2, стр. 170–171. Печатается по этому изданию.

(1) *Боткин* Василий Петрович (1811–1869) –

либерально-буржуазный писатель, публицист и критик. В 40-е и 50-е годы, отрицательно относясь к крепостному праву, был близок с Т. Н. Грановским и В. Г. Белинским. В 60-е годы стал приверженцем теории «чистого искусства».

Знакомство и литературные отношения Гончарова с В. П. Боткиным относятся к концу 40-х годов, когда Гончаров вошел в кружок Белинского. Гончаров в письме к Боткину от 26 сентября 1852 года вспоминал: «...я увезу с собой воспоминание о вашем дружеском слове, которым вы приветствовали мое появление на литературном поприще и однажды даже письменно. Я помню, что это мне сделало большое удовольствие. Ваше одобрение чего-нибудь да стоит» («Голос минувшего», М. 1923, № 2, стр. 170). Гончаров высоко ценил литературный талант Боткина, особенно его книгу «Письма об Испании».

(2) *Владимир Петрович* – брат В. П. Боткина.

(3) *А вы-таки не можете не читать Обломова: что бы подождал до апреля.* – «Обломов» печатался в четырех книжках (№№ 1–4)

«Отечественных записок» за 1859 год.

(4) *Тургеневская повесть* делает фурор. – Гончаров имеет в виду «Дворянское гнездо», в первой публикации называвшееся повестью («Современник», 1859, № 1).

### **Письмо Тургеневу И. С., 28 марта 1859\***

Впервые: «Русская старина», 1900, № 1, стр. 13–17. Печатается по этому изданию.

Дошедшие до нас двенадцать писем И. А. Гончарова к И. С. Тургеневу рисуют картину их сложных и неровных отношений. Знакомство их состоялось в начале 40-х годов и особенно окрепло в 1846 году, когда Белинский дал высокую оценку «Обыкновенной истории». Гончаров восторженно, в свою очередь, встретил «Записки охотника» Тургенева, которые начали появляться в 1847 году. В трактате «Что такое искусство» Толстой писал: «Помню, как писатель Гончаров... говорил мне, что из народной жизни после „Записок охотника“ Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., юбил. изд., т. 30, стр. 86). Борьба против реакционного романтизма, утверждение реали-

стического романа сближали Тургенева и Гончарова. Известную общность литературно-эстетической позиции отметил сам Тургенев в письме к Гончарову в 1864 году: «...я со своей стороны не менее Вас порадовался возобновлению дружеских отношений с человеком, к которому – не говоря уже об уважении к его таланту – я стою очень близко – в силу общего прошедшего, односторонности стремлений и многих других причин...» («И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 42).

Отношения Гончарова к Тургеневу осложнились болезненными подозрениями Гончарова, вначале глухо, а затем и открыто обвинявшего Тургенева в заимствовании у него идей и образов «Обрыва». В «Необыкновенной истории» Гончаров изложил «печальную летопись», «жалкую историю» своих подозрений и обвинений. Дело кончилось третейским судом, вынесшим решение не в пользу Гончарова (см. «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 9-27).

(1) *И знает бог, и видит свет* – цитата из поэмы Пушкина «Полтава».

(2) *Сообщаю Вам эту рецензию учителя.* – 7

апреля 1859 г. Тургенев писал Гончарову в ответ на это письмо: «Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил „учитель“ о моем „Дворянском гнезде“. Но что же прикажете мне делать? Не могу я повторять „Записки охотника“ ad infinitum! (до бесконечности). А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я мог бы сказать, что мне приходит в голову» («И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», стр. 35).

(3) *Нет ли тут еще гнезда... приправленного болгаром.* – Речь идет о «Дворянском гнезде» и замысле «Накануне».

(4) *Разбор и переписку моих ветхих лоскутков... взяла на себя милая больная.* – С. А. Никитенко – друг Гончарова, усердно помогавшая ему в работе над «Обрывом» (см. письма к ней).

**Письмо Льховскому И. И., 2/14 апреля 1859\***

Впервые: «Литературное наследство»,

№ 22–24, стр. 425–426. Печатается по автографу ИРЛИ.

Письмо адресовано Лъховскому во время его кругосветного путешествия на корвете «Рында», который плыл по следам фрегата «Паллада».

(1) ...одно имя Стелленбош. – Стелленбош – местечко в Африке (см. «Фрегат „Паллада“», т. 1, гл. IV).

(2) ...известие о смерти Каролины. – Каролина – девушка из Капштадта (см. «Фрегат „Паллада“», т. 1, гл. IV).

(3) ...редактор – А. В. Дружинин был редактором «Библиотеки для чтения» с 1856 до ноября 1860 года.

(4) ...хуже записок Лакиера. – Записки Александра Борисовича Лакиера (1825–1870) о его путешествиях вышли в 1859 году отдельной книгой.

(5) Краббе Николай Карлович (1814–1876) – адмирал.

**Письмо Майкову А. Н., 11(23) апреля 1859\***

Частично опубликовано: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», М.

1952, стр. 316. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Недавно давали Мартынову обед.* – Обед в честь известного русского артиста А. Е. Мартынова был устроен 10 марта 1859 года. В организационный комитет входили Гончаров, Тургенев, Григорович и Дружинин. По свидетельству П. И. Вейнберга, обед был дан «Современником» («Россия», 1901, № 946 от 12 декабря). Тургенев и Салтыков увенчали артиста лавровым венком, ленты которого поддерживали Л. Толстой и Гончаров.

(2) *...Вы были истинный поэт в ней.* – Речь идет о поэме Майкова «Странник».

(3) *Жалею очень, что вы не пишете Записок вояжа.* – В 1858 году Ап. Майков и Д. Григорович отправились в экспедицию в Средиземное море. И. И. Панаев писал И. С. Тургеневу: «Григорович и Майков идут на кораблях 2 августа» («Тургенев и круг „Современника“», 1930, стр. 108; ср. «Современник», 1858, т. 69, отд. II, стр. 226). А. Н. Майков на корвете «Баян» отправился в путешествие 5 августа 1858 года (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М.-Л. 1934, стр. 212–213, 509).

(4) ...зять Плетнева, Лакиер, выписал все из *Банкрофта*. – *Банкрофт* Джордж (1800–1891) – историк и реакционный американский политический деятель.

(5) ...и в салон Кушелева и к Плещееву. – Гончаров имеет в виду редакционные кружки журналов «Русское слово» и «Московский вестник». «Русское слово» издавалось в 1859 году под редакцией Я. П. Полонского графом Г. А. Кушелевым-Безбородко (ум. в 1876 г.). Тургенев писал о Кушелеве очень резко: «Кушелев мне кажется д....., но он богат, и потому может быть полезен» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 32). В том же 1859 году А. Н. Плещеев задумал выпускать «Московский вестник». Тургенев принимал участие в хлопотах о разрешении этого журнала. 30 декабря 1858 года он извещал издателя о разрешении «Московского вестника» «после упорной и кровопролитной битвы в комитете (цензуры)».

(6) *Старик и Старушка едут в Киссинген*. – Вл. Н. Майков и Е. П. Майкова в мае 1859 года отправились за границу, с ними поехал и Гончаров (см. письмо к Ю. Д. Ефремовой от 28 мая

1859 г. – «Невский альманах», № 2, стр. 34, 37 и др.).

(7) *...что новый комитет.* – Речь идет о цензурном комитете.

(8) *Повесть его произвела огромный успех.* – «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева.

(9) *Писемский тоже продолжает собирать дань...* – Роман Писемского «Тысяча душ» (1858) после выхода в свет получил широкий отклик в критике.

(10) *Островский написал прелестнейшую комедию.* – Пьеса Островского «Воспитанница» была напечатана в «Библиотеке для чтения», 1859, № 1.

### **Письмо Толстому Л. Н., 13 мая 1859\***

Впервые: «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», М. 1951, стр. 702–703. Печатается по автографу музея Л. Н. Толстого.

(1) *...через письмо Александра Васильевича* – Дружинина А. В.

(2) *...желал бы попробовать... перо свое над одной давно задуманной штукой.* – Речь идет о романе «Обрыв».

(3) *Еду я 22 мая.* – Гончаров уехал 22 мая 1859 года в Мариенбад (см. письмо 29).

(4) *Война.* – В 1859 году началась война между Австрией и Францией.

(5) *...надеюсь... прочесть начало Вашего романа.* – Гончаров имеет в виду роман Л. Н. Толстого «Семейное счастье», напечатанный в «Русском вестнике» за 1859 год, апрель, кн. 1 и 2.

### **Письмо Льховскому И. И., 20 мая 1859\***

Впервые: «Литературный архив», т. 3, Л. 1951, стр. 157–159. Печатается по автографу, ИРЛИ.

(1) *...написал одну дрянную статью.* – Статья Ап. Майкова напечатана не была.

(2) *По цензуре – важное обстоятельство...* – К реакционному цензору Фрейгангу было резко отрицательное отношение в кругу друзей Гончарова.

(3) *...Григорович напечатал статью в Морском сборнике.* – Вторая глава очерков Григоровича «Корабль Ретвизан (Год в Европе и на европейских морях)» («Морской сборник» за 1859, т. 41, № 5).

(4) *Добролюбов написал в «Современнике» отличную статью.* – Статья «Что такое обломовщина?» была напечатана в «Современнике», 1859, кн. 5.

(5) *...один из главных славянофилов, старик Аксаков, умер.* – С. Т. Аксаков умер 30 апреля 1859 года.

(6) *Ярославцев А. К. (1815–1844) – писатель и цензор.*

(7) *Еду и я беру программу романа.* – Речь идет о программе романа «Обрыв».

### **Письмо Анненкову П. В., 20 мая 1859\***

Частично опубликовано: И. А. Гончаров, *Собрание сочинений*, т. 8, изд. «Огонек», 1952, стр. 319–320. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *...проводили и Тургенева* – 29 апреля (11 мая) 1859 года. Тургенев выехал с М. Маркович из Петербурга в Берлин (Клеман, *Летопись жизни и творчества Тургенева*, 1934, стр. 105).

(2) *Мы с ним... поспорили.* – Гончаров намекает на свои необоснованные обвинения против Тургенева (см. письмо 25 и прим. к

нему). Тургенев отвечал Гончарову на его обвинения 7 (19) апреля 1859 года («Русская старина», 1900, кн. 1, стр. 18).

(3) ...у современников – то есть у издателей «Современника» Панаева и Некрасова.

(4) Он пишет драму. – Речь идет о драме А. Ф. Писемского «Горькая судьбина».

(5) ...это будет, вероятно, сглажено, если не им, то цензурю – Цензурная история «Горькой судьбины» сложна. Уже одобренная к печати, она была затребована обратно (см. Никитенко, Записки и дневник, СПб. 1905, т. I, стр. 576). Переработанная автором, она была разрешена 12 ноября 1859 года по особому рапорту Гончарова (см. А. Ф. Писемский, Письма, М.-Л. 1936, стр. 634–635).

(6) Вы мне за ужином у Писемского не будете делать сцен. – См. письмо 23.

(7) Свеженькое и любопытное о Некрасове. – В 1858 году Александр Дюма (отец) гостил на даче у Кушелева-Безбородко и посетил Некрасова и Панаева. В своих записках «Впечатления от поездки в Россию» (Paris, 1859) он рассказал о русских писателях и привел стихотворение Некрасова «Княгиня». В коммен-

тариях Дюма сообщил, что в основу этого произведения положена история недавно умершей графини Воронцовой-Дашковой (см. Александр Дюма (отец), Впечатления от поездки в Россию, Приложение к «Литературным воспоминаниям» Д. Григоровича, Л. 1928, стр. 483). Муж графини, французский доктор барон де Пойли, который в стихотворении «Княгиня» косвенно обвинялся в смерти жены, вызвал Некрасова на дуэль. Дуэль не состоялась (см. А. Панаева, Воспоминания, М. 1948, стр. 253).

(8) *Желаю вашего разбора.* – П. В. Анненков сообщал по поводу этого письма И. С. Тургеневу 1 октября 1859 года: «Я получил от Гончарова милейшую цидулу, в которой он требует разбора Обломова и намекает, что „Современник“ в отношении общественного значения этого романа сказал все, что можно сказать. Остается, говорит, отдать справедливость постройке самого романа и указать достоинство женских лиц, в нем участвующих. На что я им и избран. А как вы думаете? Ведь Иван Александрович мог бы управлять департаментом!» («Труды Публичной библиотеки

СССР имени Ленина», М. 1934, вып. III, стр. 85).

## **Письмо Писемскому А. Ф., 28 августа/9 сентября 1859\***

Впервые: «Неизданные письма к А. Н. Островскому» (Из архива А. Н. Островского), М.-Л. 1932, стр. 687–689. Печатается по автографу ЦГТМ.

Гончаров с большим вниманием относился к творчеству А. Ф. Писемского, много содействовал напечатанию его произведений. 21 января 1875 года Писемский писал Гончарову: «Вы знаете, как я высоко всегда ценил ваши литературные мнения и как часто и много пользовался вашими эстетическими советами и замечаниями. Но и помимо этого вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть „Тысячи душ“ и получили за то выговор. Вы „Горькой судьбине“ дали возможность увидеть свет божий...» (А. Ф. Писемский, Письма, М.-Л. 1936, стр. 284–285). «Сочувствие» как к писателю и «уважение и приязнь как к человеку» выражал Гончаров по случаю двадцатипятилетнего юбилея Писемскому.

(1) ...должен был приехать вот сюда, к морю. – В. П. Боткин сообщал И. С. Тургеневу в сентябре 1859 года: «Деляво мне писал, что Гончаров был в Париже и уехал с Майковым в Булонь» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев», М.-Л. 1930, стр. 160).

(2) Читая некоторые статейки в одном издании, направленные против людей, звуков и форм, и узнавши, что друг побывал в Лондоне, я сейчас понял, откуда подул ветер. – Речь по всей видимости идет об И. С. Тургеневе, который был в мае 1859 года в Лондоне. Именно в 1859 году обострились отношения между Гончаровым и Тургеневым (см. прим. к письму 25).

7/19 июня 1859 года Гончаров писал Краевскому: «Хотя в лондонском издании („Колоколе“ Герцена) меня царапают, да и не меня, а будто всех русских литераторов, но я этим не смущаюсь, ибо знаю, что если бы я написал черт знает что – и тогда бы пощады мне никакой не было за одно только мое звание и должность» (Мазон. Материалы, стр. 30).

(3) Я виделся в Париже с Деляво. – Деляво Ипполит – французский критик, автор статей

о Некрасове, Писемском, Тургеневе и других. В «Журнале двух миров» им была опубликована в январе 1860 года статья о Писемском.

(4) *...задел его за живое... рассказом «Воспитанницы» Островского.* – «Воспитанница» – пьеса Островского напечатана в «Библиотеке для чтения», 1859, № 1. Писемский 6 сентября 1859 года отправил это письмо Гончарова к Островскому с припискою (см. Писемский, Письма, стр. 131).

(5) *...о благодеяниях Уланбековой* – действующее лицо пьесы «Воспитанница».

(6) *Что касается до Вашей драмы...* – «Горькая судьбина» (см. прим. к письму 30).

### **Письмо Тургеневу И. С., 3 марта 1860\***

Впервые напечатано в сборнике «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 36–37. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок.* – Гончаров читал Тургеневу отрывок из «Обрыва» в феврале 1860 года.

(2) *...отрывок все из того же романа.* – Речь идет, очевидно, об отрывке из романа Гончарова «Обрыв» – «Бабушка» (см. письмо

33).

(3) *...читать в Пассаже.* – С 1859 года со времени организации Литературного фонда начались литературные чтения в Пассаже в Петербурге (см. Л. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, М. 1934, стр.152). Чтения в Пассаже превратились в своеобразную форму пропаганды прогрессивных и освободительных идей. Здесь выступали Тургенев, Некрасов, Чернышевский, Шевченко, Курочкин и другие.

**Письмо Добролюбову Н. А., <26 апреля 1860>\***

Впервые: журнал «Заветы», 1913, № 2, стр. 83. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Что делает моя Бабушка.* – Отрывок из первой части «Обрыва», озаглавленный «Бабушка», Гончаров отдал в «Современник». Редакция вернула ему отрывок.

(2) *Николаю Алексеевичу – Некрасову.*

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 3/15 июня 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, Л.

1953, стр. 110–113. Печатается по автографу ИРЛИ.

С семьей Никитенко Александра Васильевича (1804–1877) – историка русской литературы, цензора, академика, оставившего интересные «Дневники» («Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был». Записки и дневник 1826–1877, Спб. 1893), у Гончарова начиная с 50-х годов установились прочные дружеские связи. В лице младшей дочери Никитенко Софьи Александровны (1840–1901) – превосходной переводчицы – Гончаров нашел горячую поклонницу его таланта, доверенного близкого друга и неизменную помощницу в его литературной работе.

«Дружба ее ко мне, – писал Гончаров о С. А. Никитенко в письме к М. М. Стасюлевичу (30 мая 1868 года), – это неоплатный долг».

Переписка Гончарова с семьей Никитенко дает богатый материал для изучения творческой истории «Обрыва».

(1) *для будущего... романа.* – Речь идет о романе «Обрыв».

(2) *...второго героя* – Марка Волохова.

(3) *(...все Александр Васильевич... все Казимира Казимировна).* – А. В. Никитенко и его жена Казимира Казимировна (ум. в 1893 г.).

(4) *...скажите, Екатерина Александровна.* – Никитенко Е. А. (1837–1900) – старшая дочь Никитенко.

(5) *...обнимаю беспримернейшего шалуна.* – Так называл Гончаров младшего брата С. А. Никитенко, Александра (р. в 1850 г.).

### **Письмо Никитенко С. А., 8/20 июня 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, Л. 1953, стр. 114–118. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...(вспомните Пушкина стихотворение)* ... – Гончаров имеет в виду стихотворение А. С. Пушкина «Ангел» (1827).

### **Письмо Никитенко Е. А. и др., 14/26 июня 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, стр. 118–121. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...стихи в «Искре».* – Речь идет о стихотворении Д. Минаева «Парнасский приговор» («Искра», № 19, 20 мая 1860 г.) – сатирическом

отклике на третейский суд в споре Гончарова и Тургенева.

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 23 июня/4 июля 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, Л. 1953, стр. 122–126. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Вальтер* – дрезденский врач.

(2) *...прочел Jane Eyre* – «Джен Эйр» (1847) – роман английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–1855).

**Письмо Никитенко С. А., 28 июня/10 июля 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, стр. 133–136. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...в образе художника* – Райского.

(2) *...не зернышко взял он у меня.* – Это несправедливое обвинение относится к «Дворянскому гнезду» Тургенева (см. прим. к письму 25).

(3) *...я сказал им о Беловодовой.* – Отрывок из «Обрыва», «Софья Николаевна Беловодова», был напечатан в «Современнике» (1860,

№ 2).

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 6/18 августа, 1860\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, Л. 1953, стр. 149–151. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...не знаю, что из него должно выйти.* – Гончаров имеет в виду «Обрыв» и его героя, Марка Волохова («Маркушка»).

(2) *Я встретил здесь Я. К. Грота.* – Грот Яков Карлович (1812–1893) – выдающийся русский филолог, академик, вице-президент Петербургской Академии наук (с 1889 г.). С мая и до конца 1860 года Грот находился в заграничной командировке.

**Письмо Майкову В. Н. и др., 9/21 августа <1860>\***

Впервые: «Начала», 1922, № 2, стр. 231–232. Полностью печатается впервые по автографу ГЛБ.

(1) *Старик и Старушка* – Вл. Н. и Ек. П. Майковы.

(2) *Ламартин* (1790–1869) – французский

поэт, историк, политический деятель. Представитель реакционного французского романтизма.

(3) *Жан-Поль* (псевдоним Рихтера) (1763–1825) – немецкий писатель. Выступал в литературе против господства немецкого реакционного романтизма.

(4) *...одна из девиц Никитенко* – очевидно С. А. Никитенко, занимавшаяся переводами.

(5) *Герой решительно не выходит.* – Речь идет о Райском.

**Письмо Никитенко Е. А. и др., 16/28 августа <1860>\***

Впервые: «Литературный архив», т. 4, Л. 1953, стр. 158–162. Печатается по автографу ИРЛИ.

**Письмо неизвестному лицу, <11 ноября 1861>\***

Печатается впервые по автографу ГПБ.

(1) *На памятнике России.* – По всей вероятности Гончаров имел в виду проект памятника на тысячелетие России, созданный М. О. Микешиным (1836–1896). В 1859 году

этот проект был принят на конкурсе и впоследствии сооружен в Новгороде. Шевченко среди фигур этого официального памятника нет и не могло быть. Очевидно, слух об этом возник в связи с тем, что Микешин находился в приятельских отношениях с Шевченко.

**Письмо Никитенко А. В., <21 января 1862>**

Впервые: «Русская старина», 1914, № 2, стр. 431. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...*напомним публике о втором издании* . – Речь идет о рецензии на второе издание «Обломова» (1861) в газете «Северная почта», которую редактировал А. В. Никитенко. «Северная почта», официальный орган Министерства внутренних дел, начал выходить с 1 января 1862 года. С 5 октября 1862 года (с № 215) главным редактором стал Гончаров (см. «Всемирный вестник», 1903, кн. 2, стр. 81–83; «Русская старина», 1898, кн. VII, стр. 232).

**Письмо Никитенко С. А., 28 июля/9 августа 1865\***

Частично было напечатано в книге Утевского «Жизнь Гончарова», М. 1931, стр. 171–173. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *...неоконченном романе. – «Обрыве».*

(2) *...я написал добрый том в Мариенбаде. – Гончаров имеет в виду «Обломова».*

### **Письмо Никитенко С. А., 21 августа/2 сентября 1866\***

Частично опубликовано: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 353–357. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Лукьянова В. Л. – До нас дошло одно письмо Гончарова к ней (см. «Огонек», 1926, № 20).*

(2) *Тут нет ничего живого, человеческого: это как будто отрывок из «Мессиады» Клопштока. – Клопшток Фридрих Готтлиб (1724–1803) – немецкий писатель, один из зачинателей национальной литературы Германии. Религиозной поэме «Мессиада» присуща абстрактность стиля.*

**Письмо Тургеневу И. С., 15/29 сентября  
1866\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 54–57. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Ханыков Н. В. (1822–1878)* – известный путешественник и ориенталист.

(2) *С нашей общей знакомой.* – Вероятно, Новиковой О. А.

(3) *...вероятно, Толстой кончил другую свою драму.* – Речь идет о драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (напечатана в 1868 г.).

(4) *Островский написал своего Самозванца.* – Пьеса Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» написана в 1866 году и принадлежит к лучшим образцам народной исторической трагедии. Островский сам писал, что она составляет «эпоху» в его жизни (Островский, Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 133).

**Письмо Тургеневу И. С., 10/22 февраль  
1868\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 60–63. Печатается по автографу

ИРЛИ.

(1) ...я с 29 декабря вышел в отставку. – Гончаров был назначен членом Совета по делам книгопечатания 21 июля 1863 года; 30 августа 1865 года – членом вновь утвержденного совета Главного управления по делам печати. Уволен из Главного управления по делам печати 29 декабря 1867 года (см. «Формулярный список», «Огни», вып. I, стр. 177–178).

(2) *Похвиснев* М. Н. (1811–1882) – с 1866 года начальник Главного управления по делам печати.

(3) ...появление романа «*Мир и война*». – «Война и мир» Толстого вышла отдельным изданием в 1868 году.

(4) ...повести, которые вы нам читали в Баден-Бадене. – Речь идет, видимо, о повести Тургенева «История лейтенанта Ергунова».

### **Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 мая 1868\***

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», СПб. 1912, т. IV, стр. 4–6. Печатаются по автографу ИРЛИ.

(1) *Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, редактор-издатель ли-

берального журнала «Вестник Европы», находился в семидесятых годах в дружеских отношениях с Гончаровым. В его журнале печатались «Обрыв» и воспоминания Гончарова «На родине» и «В университете» (см. т. 7 наст. изд.).

(2) ...Тургенев писал... что он готовит к новому году что-то большое. – Осенью 1867 года Тургенев приступил к работе над своими «Литературными и житейскими воспоминаниями». Внешним поводом к их написанию было требование издателя Ф. И. Салаева включить в новое собрание сочинений Тургенева новые произведения. 24 октября – 12 ноября 1867 года Тургенев писал М. М. Стасюлевичу о своем согласии на публикацию отрывков из воспоминаний в «Вестнике Европы» («М. М. Стасюлевич и его современники», т. 3, стр. 2). О том же Тургенев писал к П. Анненкову, 8 декабря 1867 года («Русское обозрение», 1894, № 1, стр. 27). Однако только 29 сентября 1868 года Тургенев обещал Стасюлевичу прислать «Воспоминания о Белинском» к первым числам декабря. Воспоминания впервые появились в первом томе сочинений И. С. Тургенева.

**Письмо Некрасову Н. А., <22 мая 1868>\***

Впервые: Евгеньев-Максимов, Н. А. Некрасов и его современники, «Красная новь», 1928, стр. 187–188. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...отдал в другой журнал. – «Обрыв» был напечатан в «Вестнике Европы».

**Письмо Стасюлевичу М. М., <30 мая 1868>**

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 6–7. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...потом В. В. Кистеру – преподаватель немецкого языка в университете.

**Письмо Стасюлевичу М. М., 6/18 июня 1868\***

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 13. Печатается по автографу ИРЛИ.

**Письмо Стасюлевичу М. М., 7/19 июня 1868\***

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 13. Печатается по автографу ИРЛИ.

менники в их переписке», т. IV, стр. 15. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...к милому графу – А. К. Толстому.

(2) ...Валуеву. – Валуев Петр Александрович (1814–1890) – русский государственный деятель в царствование Александра II, консерватор и монархист. В 60-е годы министр внутренних дел, последние годы жизни занимался литературной деятельностью. До нас дошла переписка его с Гончаровым, см. «И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву», Спб. 1906.

**Письмо Никитенко С. А., 4/16 июля – четверг <1868>\***

Частично опубликовано: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, стр. 379, б-ка «Огонек». Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) ...что вы не хотите переводить Ауэрбаха. – Ауэрбах Бертольд (1812–1882) – известный немецкий писатель, автор «Шварцвальдских деревенских рассказов», романа «Дача на Рейне» и др. Об Ауэрбахе Гончаров писал Стасюлевичу 19 июня (1 июля) 1868 года: «Кто

меня уверит и чем успокоит, что эти тетради „Обрыва“ не передали... Ауэрбаху, новый роман которого с русским выведенным писателем, как вы сказывали, будет напечатан у вас в переводе прежде моего да еще с предисловием Тургенева». Гончаров высказывал необоснованные подозрения в заимствовании Ауэрбахом сюжета «Обрыва».

(2) *...немецкий перевод Обломова.* – «Обломов» вышел на немецком языке в 1868 году в Лейпциге в переводе Горского.

(3) *Вон А. Н. и ее покровители.* – Установить, кто такая А. Н. (в дальнейших письмах Агр. Ник.), не удалось.

**Письмо Стасюлевичу М. М., <4 декабря 1868>\***

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...в совете поручен наблюдению Фукса.* – Фукс – реакционный цензор, «поганый Фуksiшка», по выражению Щедрина.

**Письмо Стасюлевичу М. М., <31 января**

**1869>\***

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 61–64. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Тройницкий А. Г.* (1807–1871) – статистик, товарищ министра внутренних дел.

(2) *...даровитого Сеньковского – Сенковский О. И.* (1800–1858) – реакционный журналист, беллетрист; с 1834 по 1847 год редактор «Библиотеки для чтения».

(3) *Налезли туда Старчевский и К°.* – *Старчевский А. В.* (1818–1900) – редактор «Библиотеки для чтения».

(4) *...издания Кони.* – *Кони Федор Алексеевич* (1809–1879) – русский писатель-водевиллист и театральный критик, редактировал «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840–1841), «Литературную газету» (1841–1843) и «Репертуар русской сцены» (1852–1856).

**Письмо Майковой Е. П., <январь – февраль 1869>\***

Впервые: «Начала», 1922, № 2, стр. 233–235. Печатается полностью по автографу ГПБ. Да-

тируется по упоминанию мартовской книги «Вестника Европы».

**Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869>\***

Впервые: «Начала», 1922, № 2, стр. 234–235.

Полностью печатается впервые по автографу ГПБ.

Датируется временем окончания корректуры последней части «Обрыва» (7 апреля).

**Письмо Майковой Е. П., <апрель 1869>2\***

Впервые: «Начала», 1922, № 2. Полностью печатается впервые по автографу ГПБ.

Датируется по связи с предыдущим письмом. Весьма возможно, что это две части одного письма.

**Письмо Никитенко С. А., 15/27 мая 1869\***

Впервые: частично у Л. С. Утевского, Жизнь Гончарова, М. 1931, стр. 208. Полностью печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...я познакомился с ними через Стасюлевича и Утина. – Утин Е. И. (1843–1894) – сотрудник «Вестника Европы», автор статьи об «Обрыве».

**Письмо Никитенко С. А., 25 мая/6 июня  
<1869>\***

Впервые: Л. Утевский, *Жизнь Гончарова*, М. 1931, стр. 208–209. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Барыня эта, то есть Андре Лео. – Андре Лео* – псевдоним французской писательницы и публицистки Л. Шансе (1829–1900), участницы Парижской коммуны. Роман «Скандалный брак», разоблачающий буржуазную семью, был переведен на русский язык и получил положительную оценку Д. Писарева (см. Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., СПб. 1897, т. 6, стр. 346).

(2) *...наша Хвоцинская заткнет ее за пояс*. – О Хвоцинской см. письмо 71.

(3) *...«Голос» отозвался беспристрастно.* – В умеренно-либеральном «Голосе» за 1869 год, № 77, появилась рецензия на «Обрыв».

(4) *«СПБ ведомости» не могли отозваться иначе.* – В «Санкт-Петербургских ведомостях» (1869, № 42) резко указывалось на непоследовательность освещения «старой» и «новой» морали, на идейную несовершенство рома-

на, при которой читателю «не до художественных красот». Это заявление и вызвало раздражение Гончарова.

(5) *Он уже высказал мне эту мысль.* – Речь идет о критике Е. И. Утине.

(6) *...ловкий редактор.* – Намек на М. М. Стасюлевича. А. К. Толстой писал Стасюлевичу 22 декабря 1869 года: «Я получил письмо от Гончарова, в котором, между прочим, он говорит мне, что перестал к вам ездить, чтобы не поставить вас в фальшивое положение к вашим молодым сотрудникам, которые косились бы на вас за вашу к нему дружбу» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. II, стр. 344);

### **Письмо Никитенко С. А., 4/16 июня 1869\***

Впервые частично опубликовано: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 379. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *...обстоятельства, которые отравили мне жизнь.* – Речь идет об условиях печатания «Обрыва» (Гончарова раздражали требования Стасюлевича и материальная сторона

дела).

(2) *Молодой его родственник* – Е. И. Утин.

(3) *...а Гр. сообщил мне* – возможно, Д. В. Григорович.

(4) *...Я не виноват в этой мнительности, потому что ей были основательные поводы.* – Все эти рассуждения – результат болезненного состояния Гончарова, несправедливо упрекавшего Тургенева в плагиате.

### **Письмо Никитенко С. А., 26 июня/8 июля 1869\***

Впервые: частично Л. С. Утевский, *Жизнь Гончарова*, М. 1931, стр. 212. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *...о ругательной статье против меня в «Отечественных записках».* – Речь идет о статье Салтыкова-Щедрина «Уличная философия» («Отечественные записки», 1869, № 6).

(2) *...Щедрин писал ему.* – Щедрин писал 14 мая 1869 года в Париж Некрасову: «Я написал... статью по поводу „Обрыва“, то есть не касаясь собственно романа, а философии Гончарова...» (Щедрин, Полн. собр. соч., М. 1937, т. 18, стр. 217).

**Письмо Фету А. А., 6/18 августа <1869>\***

Впервые: «Русский архив», 1900, № 5, стр. 68–69. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

(1) *...всепобедной красотой, смотрящей вдаль.* – Гончаров имеет в виду стихотворение Фета «Венера Милосская» (1856).

*И, всепобедной вея властью,  
Ты смотришь в вечность пред со-  
бой.*

(А. Фет, Стихотворения. Л. 1953, стр. 157).

(2) *...графа и графиню Толстых.* – Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые.

(3) *...перевода Горация.* – Перевод Фета «Од Квинта Горация Флакка» в четырех книгах напечатан в «Отечественных записках», 1856, №№ 1, 3, 5 и 7, и в том же году отдельным изданием.

**Письмо Стасюлевичу М. М., 5 ноября 1869**

Впервые: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, стр. 84–88. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...«Литературные споры нашего времени». – Статья Е. И. Утина была опубликована в «Вестнике Европы», 1869, № 11.

(2) ...восторгался им в роли Людовика XI. – Речь идет о статье «Московский театр» (1839) Белинского.

(3) ...и пишут две статьи в одном журнале. – Гончаров имеет в виду, что в «Отечественных записках» были напечатаны статьи Салтыкова (1869, № 6) и А. Скабичевского (1869, кн. 10).

### **Письмо Анненкову П. В., <начало января 1870>\***

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 404–405. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...у меня в статье. – Статья Гончарова, которая должна была быть предисловием к новому изданию романа «Обрыв», написана в ноябре 1869 г. (см. наст. том, стр. 141). В январе 1870 г. Гончаров известил об этой статье также М. Стасюлевича.

(2) Галахов А. Д. (1807–1892) – русский историк литературы и педагог, составил несколь-

ко хрестоматий и учебных пособий по литературе («Русская хрестоматия», 1842, Учебник русской словесности, 1879).

### **Письмо Анненкову П. В., 19 января 1870\***

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 405–406. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) ...*а гр. Толстой* – писатель А. К. Толстой.

(2) ...*(он намекал на предисловие Тургенева)*. – Анненков, очевидно, имел в виду сообщение Тургенева, что «Литературные воспоминания» в виде четырех или пяти отрывков составляют нечто вроде предисловия к изданию «Сочинений» («Боткин и Тургенев», М.-Л. 1930, стр. 275–276).

### **Письмо Анненкову П. В., 1870\***

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 407. Печатается по автографу ИРЛИ. Датируется выходом в свет отдельного издания «Обрыва».

(1) ...*я прочел статью Михаилу Матвеевичу* – М. М. Стасюлевичу.

**Письмо Никитенко С. А., 26 августа/17 сентября 1870\***

Частично опубликовано: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 408–410. Полностью печатается впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *...после объявления войны.* – Имеется в виду франко-прусская война (1870–1871).

(2) «Утенок» – Утин Е. И.

(3) *...всех Бакуниных прихлопнул надолго.* – Имеется в виду арест М. А. Бакунина и передача его русскому правительству.

**Письмо Толстой С. А., 11 ноября 1870\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 89–92. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...Софьи Андреевны – из «Красного рога».* – А. К. Толстой и С. А. Толстая находились в эту пору в своем имении Красный Рог (Черниговской губ.).

(2) *...4-го ноября.* – 1870 года было опубликовано высочайшее повеление о распространении воинской повинности на все сословия.

(3) *...нота князя Горчакова.* – Депеша госу-

дарственного канцлера Горчакова от 3 ноября 1870 года об отказе от обязательств, вытекающих из парижского трактата, поскольку они ограничивают суверенные права России в Черном море.

(4) *Ноты своего Джона Росселя – Джон Россель* с 1859 г. министр иностранных дел Англии. Дипломатические ноты Джона Росселя связаны с польским восстанием 1863 г.

(5) *Винкельман (1717–1768)* – немецкий историк античного искусства, отражавший в своем творчестве прогрессивные тенденции буржуазного просвещения XVIII века.

(6) *Вазари Джорджо (1512–1574)* – итальянский художник и историк искусства.

### **Письмо Полонскому Я. П., 8 мая 1871\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 80. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Полонский Яков Петрович (1819–1898)* – известный русский поэт.

(2) *Я только что кончил Вашу книгу...* – Речь идет о сборнике Я. П. Полонского «Снопы», СПб. 1871. Письмо Гончарова имеет несо-

мненно полемический смысл и направлено против рецензии Салтыкова-Щедрина на «Снопы» (см. «Отечественные записки», 1871, № 2). Салтыков в своей рецензии подвергает резкой критике либеральные тенденции творчества Полонского в особенности в его повестях «Признания Сергея Чалыгина» и «Ночь в Летнем саду». Против оценок Салтыкова и направлено письмо Гончарова (см. «Н. Щедрин о литературе», М. 1952, стр. 477–479).

*«Отрочество Шалыгина».* – Так называет Гончаров «Признания Сергея Чалыгина», рассказывающие о детстве дворянского мальчика.

**Письмо Хвощинской Н. Д. (Зайончковской), <23 января 1872>\***

Публикуется впервые по автографу ИРЛИ.

(1) *Хвощинская* (Зайончковская) Надежда Дмитриевна (1824–1889) – русская писательница-демократка (литературный псевдоним – Крестовский В.), сотрудничала в «Современнике» и «Отечественных записках». Наиболее значительные произведения – романы: «В

ожидании лучшего» (1860), «Большая медведица» (1870–1877) и повесть «Первая борьба» (1869). Первое собрание ее сочинений было издано в 1859–1867 годах в восьми томах.

**Письмо Писемскому А. Ф., 20 октября 1872\***

Впервые: «Новь», № 13–14, стр. 39–40. Автограф утрачен. Печатается по этому изданию.

(1) *Я очень рад успеху вашей комедии.* – Еще в начале октября 1872 года Краевский, чтобы облегчить прохождение пьесы А. Ф. Писемского «Подкопы» через цензуру, устроил в Петербурге ее чтение. А. В. Никитенко в «Дневнике» от 5 октября занес: «Писемский читал свою новую комедию у Краевского. Комедия эта лучшее произведение его. Не знаю только, как он сладит с цензурою. Он хочет напечатать ее в „Гражданине“ кн. Мещерского» («Записки и дневник», СПб. 1905, т. 11, стр. 464).

**Письмо Писемскому А. Ф., 4 декабря 1872\***

Впервые: «Новь», 1891, № 13–14, стр. 40–41. Автограф утрачен. Печатается по этому изданию.

(1) *Известие о приостановлении Вашей комедии...* – Речь идет о комедии Писемского «Подкопы». В 1872 году она была запрещена цензурой и появилась только в 1873 году (см. А. Ф. Писемский, Письма, 1936, стр. 697–699).

(2) *Норов А. С.* (1795–1869) – министр народного просвещения в 50-х годах.

(3) *Ковалевский* Евг. П. (1790–1867) – министр народного просвещения с 1858 по 1861 год.

**Письмо Некрасову Н. А., <31 января 1873>\***

Впервые: «Красная новь», 1928, № 1, стр. 189–190. Печатается по автографу ИРЛИ.

Датируется упоминанием о присылке Некрасовым оттиска поэмы «Русские женщины» («Отечественные записки», 1873, т. ССVI, № 1, вышли 22 января 1873 г.; см. Ашукин Н. С., Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова, 1935, стр. 409).

(1) *Большое спасибо Вам... за присылку «Отечественных записок»; но всего более за отдельный оттиск поэмы.* – Речь идет о поэме Некрасова «Русские женщины, Княгиня М. Н. Волконская. Бабушкины записки» (были

опубликованы в «Отечественных записках», 1873, кн. 1; часть первая поэмы «Княгиня Трубецкая» в «Отечественных записках», 1872, кн. IV).

28 января 1873 года Гончаров писал Н. А. Некрасову: «У Вас, верно, есть отдельные оттиски Вашей новой, чудесной поэмы „Русские женщины“, любезнейший Николай Алексеевич; подарите мне, пожалуйста, один и если можно 1-ю часть так же... я не имею „Отечественных записок“ и читал ее мимоходом у других... На меня и на всех поэма производит сильное впечатление» («Литературное наследство» № 51–52, стр. 221).

(2) *Зинаида Николаевна Некрасова* (Викторова) – гражданская жена Н. А. Некрасова.

(3) *...о житье-бытье героев и героинь Вашей поэмы.* – Гончаров, очевидно, делился с Некрасовым подробностями о подневольной жизни декабристов, с которыми он познакомился со слов очевидцев во время проезда через Сибирь в 1854 году.

(4) *Волконский* Михаил Сергеевич (1832–1907) – сын известного декабриста С. Г. Волконского, хороший знакомый Некра-

сова.

(5) *Бурнашов В. П.* (1809–1888) – сотрудничал в «Отечественных записках», автор интересных «Воспоминаний петербургского старожилы» («Русский вестник», 1872) и др.

(6) *Намек в нескольких строках в моей книге на этих героинь.* – «Намек» этот сделан Гончаровым в «Обрыве», в главе VII, пятой части (см. наст. изд., т. 6, стр. 325): «С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собою они сами, не знали за ними и другие и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям-князьям и неся и их, и свою „беду“.

И мужья, преклоня колена перед этой новой для них красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и сняли, среди испытания, нетленной красотой, как великие статуи...»

**Письмо Писемскому А. Ф., 18 апреля 1873\***

Впервые: «Новь», 1891, № 13–14, стр. 42–44.

Автограф утрачен. Печатается по этому изданию.

(1) *...новую драму Вашу «Ваал».* – Драма Писемского в четырех действиях впервые напечатана в «Русском вестнике» (1873, апрель).

(2) *...очень жалею, что не удалось послушать, как вы сами ее читаете.* – А. В. Никитенко записал в «Дневнике»: «Писемский превосходно читает, и мне кажется, что, кто слышал его комедию из его уст, тому не следует идти в театр на ее представление: она, наверное, будет сыграна там гораздо хуже, чем в чтении автора» («Записки и дневник», СПб. 1905, т. II, стр. 464).

(3) *Братья Перейра* – французские банкиры, экономисты, организаторы железнодорожного строительства.

(4) *«Взбаламученное море»* – реакционный роман Писемского, направленный против революционной демократии, печатался впервые в «Русском вестнике» (1863, т.т. III–VIII).

(5) *Кланяюсь дружески Екатерине Павловне...* – жена Писемского, дочь основателя «Оте-

**Письмо Гаевскому В. П., <16 декабря 1873>\***

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 425–427. Печатается по автографу ГПБ.

(1) *Гаевский* Виктор Павлович (1826–1888) – историк литературы, критик, один из основателей Литературного фонда. Участвовал в организации «Складчины».

«Складчина» – литературный сборник, весь доход которого должен был поступить на нужды голодающим крестьянам Самарской губернии. Некрасов, приняв участие в подготовке сборника, попытался изъять организацию помощи русских писателей голодающим из рук реакционеров – Победоносцева, Мещерского, Маркевича. Реакционный лагерь оказал упорное сопротивление. Гончаров писал М. М. Стасюлевичу 4 февраля 1874 года: «...Во сне тоже хорошего ничего не видел; нет видел, что Болеслав Маркевич впопыхах бежит и с напускным амфазом кричит, что

„Складчина“ есть треклятое дело, что там все красные – и даже князь Мещерский – и что самарцы не станут есть хлеба, купленного на деньги от нее, а если наедятся, то по ним пойдут красные пятна» («М. М. Стасюлевич и его современник...», т. IV, стр. 130). «Складчина» вышла в 1874 году (подробнее см. «Литературное наследство», № 51–52, стр. 385–389).

(2) *...в многолюдном и однократном собрании.* – 15 декабря 1873 года состоялось организационное собрание писателей. «На этом собрании был избран редактор сборника, секретарь редакции и казначей» («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 348).

(3) *Обращусь к избранию меня редактором.* – В сообщении «Санкт-Петербургских ведомостей» говорилось: «Сегодня мы узнали, что редактор сборника, весьма известный и любимый беллетрист, стоящий вне всяких литературных партий, отказался от возложенных на него обязанностей...» А. В. Никитенко записал 19 декабря: «Собрание литераторов в квартире В. П. Гаевского по поводу издания литературного сборника в пользу голодающих самарцев. Назначен, между прочим, из-

дательский комитет, членами которого большинством голосов избраны: Краевский, Гончаров, Некрасов и я...» (А. Никитенко, «Записки и дневник», Спб. 1893, стр. 503). Таким образом, предложение Гончарова о замене единоличного редактора комитетом было принято.

**Письмо Полонскому Я. П., 15 января 1874\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 81. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *...хотел сказать о Вашей поэме «Келиот».* – «Келиот» предназначалась Полонским для «Отечественных записок», но Некрасов отказался печатать ее (см. Полонский, Стихотворения и поэмы, Л. 1937, стр. 722–723).

(2) *«Мими»* – поэма Полонского, напечатана в «Отечественных записках», № 9-10 за 1873 год.

(3) *...прочеть ее у М. М. Стасюлевича.* – Полонский хотел, по совету Некрасова, обратиться к Стасюлевичу с предложением напечатать «Келиота», но опасался, что Стасюлевич поймет, что в «Отечественных записках»

он (то есть Полонский) «уже потерпел поражение» (Полонский, Стихотворения и поэмы, стр. 722). Тургенев обещал по приезде «сблизить» Стасюлевича и Полонского («Первое собрание писем И. С. Тургенева», стр. 229). Очевидно, с этой же целью предпринял чтение и Гончаров.

### **Письмо Достоевскому Ф. М., <11 февраля 1874>\***

Впервые: «Из архива Достоевского. Письма русских писателей», 1923, стр. 15–18. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

Знакомство Гончарова с Достоевским относится к середине 1840 годов, когда они встречались в кружке Майкова и Белинского. Еще 1 апреля 1846 года Ф. М. Достоевский писал брату: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров» (Ф. Достоевский, Письма, 1928, т. 1, стр. 89). После возвращения Достоевского из ссылки в Петербург эти отношения возобновились. В 1867 году Достоевский и Гончаров встречались в Баден-Бадене. Публикуемые письма

связаны с редактированием Гончаровым материалов для сборника «Складчина».

(1) *Я... прочел Ваш очерк...*— Речь идет о «Маленьких картинках (в дороге)» Достоевского, напечатанных в «Складчине» (1874, СПб.).

(2) *М. Е. Салтыков – начинает свою статью...*— Салтыков-Щедрин напечатал в «Складчине» очерк «Город».

### **Письмо Достоевскому Ф. М., 14 февраля 1874\***

Впервые: «Из архива Ф. М. Достоевского», 1923, стр. 19–21. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

(1) *...книжка уже собрана вся, за исключением двух-трех ожидаемых статей (Островского, Кохановской).*— Островский поместил в «Складчине» отрывок «Трудовой хлеб. Сцена из жизни захолустья»; Кохановская (Н. С. Соханская, 1823–1884) – «Словесную корку хлеба».

### **Письмо Кавелину К. Д., 25 марта 1874\***

Впервые: «Литературное наследстве»,

№ 56, М. 1951, стр. 259–264. Печатается по копии, хранящейся в ИРЛИ.

(1) *Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885) – историк и юрист, профессор, ярый противник революционно-демократического движения. По характеристике В. И. Ленина – один из «отвратительнейших типов либерального хамства».

Настоящее письмо и следующее за ним письмо к А. Н. Пыпину (№ 80) связаны с работой последнего над монографией о Белинском.

(2) ...(*недавно, кажется, Погодин*). – Погодин напечатал в «Гражданине» клеветническую статью «К характеристике Белинского» («Гражданин», 1873) (См. «Литературное наследство», № 56, стр. 303–304 и 410).

### **Письмо Пыпину А. Н., <10 мая 1874>\***

Впервые: «Литературное наследство», № 56, стр. 264–269. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Пыпин* Александр Николаевич (1833–1904) – историк литературы, умеренный либерал, профессор Петербургского универси-

тета, позже академик, с 1863 по 1866 год член редакции «Современника».

(2) *Белинский и прочие были еще там.* – В. Г. Белинский был исключен из университета в 1832 году. А. И. Герцен и М. Б. Чистяков окончили университет в 1833 году (см. «Литературное наследство», № 56, стр. 436).

(3) *Камоэнс Луис* (1525–1580) – национальный поэт Португалии. Поэма «Луизиады» посвящена путешествию Васко де Гама в Индию.

(4) *Гезиод* (VIII–VII в. до н. э.) – греческий поэт. Наиболее известно произведение – дидактическая поэма «Работа и дни».

(5) *Саади* (1184–1292) – великий таджикский и иранский поэт.

(6) *Гафиц* – Хавиз (ум. в 1389 г.) – таджикский и иранский поэт.

(7) *Тассо* – Торквато (1544–1596) – итальянский поэт эпохи Возрождения. Известен своей поэмой «Освобожденный Иерусалим» (1575).

(8) *Батте Шарль* (1713–1780) – французский философ, автор ряда трудов по эстетике, написанных в духе литературной теории классицизма.

(9) *Блер Гуч* (1718–1800) – шотландский профессор, автор курса лекций по риторике и «изящной словесности».

О профессорах Московского университета см. настоящее издание, т. 7, стр. 514–517.

### **Письмо Семевскому М. И., 11 декабря 1874\***

Впервые: «Русская старина», 1891, № 8, стр. 236–237. Печатается по этому изданию.

(1) ...*три тома* «*Российского Жильблаза*» – «*Российский Жильблаз, или Похождения князя Гавриилы Симоновича Чистякова*», Нарезного В. Т., ч. 1–3, вышла в 1814 году, дальнейшее издание было запрещено. Рукопись романа в 1884 году приобрел М. И. Семевский и передал на отзыв Гончарову, ответом на это и явилось данное письмо («*Российский Жильблаз...*» полностью был издан в 1939 г.).

Гончаров дает в своем письме необычайно тонкую и глубокую характеристику творчества В. Т. Нарезного (1780–1825). Его романы – «*Российский Жильблаз*» (СПб. 1814), «*Аристион*» (СПб. 1822), «*Бурсак*» (1824), «*Два Ивана*» (М. 1825), «*Черный год*» (СПб. 1829) – отлича-

ются реалистической направленностью. Бытописательные и сатирические тенденции его творчества во многом предвзяли Гоголя.

### **Письмо Писемскому А. Ф., 5 февраля 1875**

Впервые: А. Ф. Писемский, Письма, 1936, стр. 724–726. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Я получил Вашу пьесу...* – 2 февраля 1875 года. Писемский послал Гончарову оттиски из январской книжки «Русского вестника» за 1875 год с драмой «Просвещенное время» и небольшим письмом (см. Писемский, Письма, стр. 294–295).

(2) *...мнение о «Ваале»...* – см. письмо 74.

### **Письмо Полонскому Я. П., <около 25 марта 1876>\***

Впервые: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев», П. 1923, стр. 82. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Хотя в «Озимях» мне мало незнакомого ... – «Озимии»* – сборник стихов «Я. П. Полонского», ч. I–II, СПб. 1876.

**Письмо Боборыкину П. Д., 7 октября 1876\***

Впервые: И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, Л. 1938, стр. 282–290. Печатается по автографу ИРЛИ.

(1) *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836–1921) – русский писатель, автор многочисленных повестей и романов по преимуществу из быта русской буржуазии конца XIX и начала XX веков, драматург и критик.

На первой странице автографа надпись: «Письмо к П. Д. Боборыкину, написанное по прослушании первой его лекции о драматическом искусстве».

(2) *Кокошкин* Ф. Ф. (1773–1833) – актер и драматург; с 1823 по 1831 год – директор Московского театра.

**Письмо Салтыкову М. Е., 30 декабря 1876\***

Впервые: «Литературное наследство», М. 1934, № 13–14, стр. 350–355. Печатается по автографу ИРЛИ.

Очерки Щедрина, вошедшие в роман «Господа Головлевы», первоначально печатались в «Отечественных записках» (1875–1876) в составе «Благонамеренных речей». Гончаров

впервые познакомился с этими очерками по «Отечественным запискам». Особенно заинтересовал его образ Иудушки. Гончаров зашел к Салтыкову, но узнав, что он болен, передал ему письмо (до нас не дошло). Тогда же написал он и публикуемое письмо с великолепной характеристикой Иудушки, в котором увидел черты не только помещика-крепостника, но и «пустоутробие» буржуазного мира (сравнение с Наполеоном III).

(1) *Настоящий герой Седана также безутробный.* – Гончаров имеет в виду Наполеона III (1808–1873), «карикатуру старого Наполеона», как называл его Маркс. В начале 1870 года он ввязался в авантюристическую войну с Пруссией. Гнилостный режим бонапартистской монархии не выдержал военного испытания. 2 сентября 1870 года французская армия во главе с Наполеоном III сдалась в плен немцам при Седане. Наполеон был отвезен в крепость Вильгельмзее.

**Письмо Островскому А. Н., <12 февраля 1882>\***

Впервые: «Неизданные письма к А. Н. Ост-

ровскому. Из архива А. Н. Островского», М.-Л. 1932, стр. 69–71. Печатается по автографу ЦГТМ.

Письмо написано по случаю тридцатипятилетия драматургической деятельности Островского.

### **Письмо Толстому Л. Н., 22 июля 1887\***

Впервые: «Толстой и о Толстом», т. III, М. 1927, стр. 44–45. Автограф не найден. Печатается по настоящему изданию.

(1) *А. Ф. Кони... привез мне поклон от Вас.* – В июне 1887 года у Толстого в Ясной Поляне гостил видный либеральный судебный деятель А. Ф. Кони (1844–1927). Толстой просил Кони передать Гончарову «сердечный привет и выражение особой симпатии».

(2) *Вы только однажды мельком заглянули в Петербург.* – В 1878 году Толстой приезжал на несколько дней в Петербург. «Гончаров неутешен, – писала Толстому А. А. Толстая, – и сердится на меня, что не видал Вас» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. С. А. Толстой», СПб. 1911, стр. 301).

(3) *Давали «Завтрак у предводителя».* –

Гончаров вспоминает посещение с Толстым представления комедии Тургенева «Завтрак у предводителя» (1849), которая была возобновлена в сезон 1855/1856 г. Главные роли исполнили: Сосницкий, Мартынов, Линская. А. Я. Панаева вспоминала: «Пьеса разыграна была очень хорошо. Сосницкий и Линская были превосходны в своих ролях...» (А. Панаева, Воспоминания, 1948, стр. 232).

### **Письмо Толстому Л. Н., 2 августа 1887\***

Впервые: «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», М. 1951, стр. 703–706. Печатается по автографу Музея Л. Н. Толстого.

(1) *...Порадовало ваше письмо.* – Письмо не дошло до нас.

(2) *...начиркал весной в четырнадцать дней три-четыре эскиза...* – Речь идет об очерках Гончарова «Слуги старого века» («Нива», 1888, № 1–3).

### **Письмо Толстому Л. Н., 27 декабря 1887\***

Впервые: «Лев Николаевич Толстой», М. 1951, стр. 706–707. Печатается по автографу

Музея Л. Н. Толстого.

**Письмо Толстому Л. Н., 9 марта 1888\***

Впервые: «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», М. 1951, стр. 707–708. Печатается по автографу Музея Л. Н. Толстого.

(1) В *«Journal de St.-Petersbourg»* среди комплиментов замечено...– Речь идет о появившейся в газете от 14 февраля 1888 года (№ 43) заметке об очерках Гончарова «На родине».

(2) ...статью Щедрина «Тетенька Анфиса». – Очерк «Тетенька Анфиса Порфирьевна» входит в цикл «Пошехонской старины». Впервые был напечатан в «Вестнике Европы», 1888, № 3.

**Письмо Майкову А. Н., 30 апреля 1888\***

Впервые: И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. 8, б-ка «Огонек», стр. 505–506. Печатается по автографу ИРЛИ.

**Письмо Стасову В. В., 27 октября 1888\***

Впервые: «Русская старина», 1912, № 6, стр. 525. Печатается по автографу ГПБ.

(1) *«Не спорь только с Владимиром Стасовым!»* – так оканчивается стихотворение в прозе Тургенева «С кем спорить?», написанное в июне 1878 года и опубликованное Стасовым в журнале «Северный вестник», 1888, № 10.

# Выходные данные

Редактор В. Волина.  
Оформление художника М. Серегина  
Худож. редактор Н. Мухин.  
Технич. редактор Д. Ермоленко  
Корректоры В. Знаменская и З. Жигур

Сдано в набор 6/X 1954 г. Подписано к печати 14/XII 1954 г.

А 08365. Бумага 84 × 108 1/32 – 36 печ. л. = 29,52 условн. печ. л. 29,44 уч. – изд. л.

Тираж 150 000 экз. Заказ № 3545. Цена 9 руб.

Гослитиздат.  
Москва, Ново-Басманная, 19  
3-я типография «Красный пролетарий»  
Главполиграфпрома Министерства культуры  
СССР.

Москва, Краснопролетарская, 16

# Примечания

Нарастая (фр.).

[^^^]

Он мелет чушь! (фр.)

[^^^]

# 3

Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает! (фр.)

[^^^]

# 4

Первых любовников (фр.).

[^^^]

# 5

В высшем свете (*англ.*).

[^^^]

Хорошего тона (фр.).

[^^^]

Фатовство (фр.).

[^^^]

В зародыше (фр.).

[^^^]

Эти заметки извлечены из письма, писанного в 1874 году к А. Н. Пышину, по случаю собиранья им сведений от знавших лично Белинского, для биографии последнего.

[^^^]

Том III, стр. 376 (изд. 1862).

[^^^]

Были ему до крайности противны (фр.).

[^^^]

Почтительность (фр.).

[^^^]

Всего знать нельзя, нужно довольствоваться пониманием (фр.).

[^^^]

Высшей школы (фр.).

[^^^]

Ни чрезмерных восхвалений, ни чрезмерных поношений (фр.).

[^^^]

Внешний вид (*лат.*).

[^^^]

Настойчивость (фр.).

[^^^]

Существующее положение (*лат.*).

[^^^]

Соответственно (фр.).

[^^^]

Ложный шаг (фр.).

[^^^]

К несчастью, это оказалось «возможным» в известной степени и у нас, как это подтвердилось с тех пор, то есть с 1875 года, когда были писаны эти строки.

[^^^]

Без гнева (*лат.*).

[^^^]

Пункт обвинения (*лат.*).

[^^^]

Гигантскими шагами (фр.).

[^^^]

Так же трудно, как выпить море! (фр.)

[^^^]

Смело (фр.).

[^^^]

Уважаема (фр.).

[^^^]

Во что бы то ни стало (фр.).

[^^^]

Здравые умы сходятся (фр.).

[^^^]

Стыдливость (фр.).

[^^^]

Кружка (фр.).

[^^^]

Манера держать себя (фр.).

[^^^]

Прошедшие времена! (*итал.*)

[^^^]

Буфф (фр.).

[^^^]

Крайности сходятся (фр.).

[^^^]

Только-то (фр.).

[^^^]

Самоотречение, покорность судьбе (фр.).

[^^^]

Христос с монетой (фр.).

[^^^]

Первых любовников (фр.).

[^^^]

Светских людей (фр.).

[^^^]

Ложного шага (фр.).

[^^^]

Приличиям (фр.).

[^^^]

Какой ужас! (фр.)

[^^^]

Доброе старое время (фр.).

[^^^]

Соблюдать видимость приличия (фр.).

[^^^]

Последовательностью (лат.).

[^^^]

Мягком корсете; от *франц.* ленивая.

[^^^]

Кстати (фр.).

[^^^]

Итог (фр.).

[^^^]

Дорожный мешок (фр.).

[^^^]

Вы говорите по-якутски? (фр.)

[^^^]

Нет, господин (фр.).

[^^^]

Вы говорите по-французски? (фр.)

[^^^]

Обязательное условие (*лат.*).

[^^^]

Признаний (фр.).

[^^^]

Мои поклоны госпоже (фр.).

[^^^]

Весъ Ваш (фр.).

[^^^]

Нужно ли ставить точки над и (фр.).

[^^^]

О вещах наиболее верных и т. д. (фр.).

[^^^]

Матушка (фр.).

[^^^]

Возрастание (фр.).

[^^^]

Будь что будет (фр.).

[^^^]

Двоюродный брат (фр.).

[^^^]

Письмо от вашей супруги! (нем.)

[^^^]

Светлое мгновение (фр.).

[^^^]

До крайней степени (*лат.*).

[^^^]

Подарок друзей (*исп.*).

[^^^]

Собора Парижской богородицы (фр.).

[^^^]

Предуведомление читателю! (фр.)

[^^^]

Глупое самодовольство (фр.).

[^^^]

Скачке с препятствиями (фр.).

[^^^]

Рогоносец (фр.).

[^^^]

Цветочница (фр.).

[^^^]

Непринужденность (фр.).

[^^^]

Окончание письма утрачено.

[^^^]

Журнал двух миров (фр.).

[^^^]

Похоже на то, что редакторы сейчас одержимы духом преклонения перед цензурой (фр.).

[^^^]

Путеводную нить (нем.).

[^^^]

Том (фр.).

[^^^]

Глупое самодовольство, самомнение, чванство (фр.).

[^^^]

Далее зачеркнуто.

[^^^]

Сударыни (фр.).

[^^^]

Задняя мысль (фр.).

[^^^]

Конец писъма утрачен.

[^^^]

Противный, ненавистный человек (фр.).

[^^^]

Пасмурно (нем.).

[^^^]

Туда и сюда (фр.).

[^^^]

Гончаров каламбурно пользуется знаменитым выражением Людовика XIV: «L'état c'est moi» (Государство – это я).

[^^^]

О Париж! Как там веселятся! Как там хорошо  
едят! (фр.)

[^^^]

Английские меблированные комнаты (*англ.*).

[^^^]

Меблированные комнаты (фр.).

[^^^]

Улица столько теряет, сколько платит (фр.).

[^^^]

Париж, улица Ришелье, 22, м-м Можэ для передачи г. Гончарову (фр.).

[^^^]

Вы снова сделаетесь собою (фр.).

[^^^]

На плотине (фр.).

[^^^]

Прилив (фр.).

[^^^]

Невестка (фр.).

[^^^]

Локоны (фр.).

[^^^]

Меблированные комнаты (фр.).

[^^^]

Париж! ах, Париж! этот возвышенный, великолепный Париж! эта прекрасная Франция! Париж! как там веселятся, как там хорошо едят! ах, чорт возьми, как это славно! (фр.)

[^^^]

Неясно, неопределенно (фр.).

[^^^]

Экспансивен, несдержан в проявлении своих чувств (фр.).

[^^^]

Покорность необходимости (фр.).

[^^^]

Чтобы дразнить, задирать (фр.).

[^^^]

ДОВОЛЬНО (*нем.*).

[^^^]

Ах, счастливец! (фр.).

[^^^]

Улица Ришелье, 22, м-м Можэ, для передачи г.  
Гончарову (фр.).

[^^^]

Все полно (фр.).

[^^^]

Все полно (*англ.*).

[^^^]

Суматоха (фр.).

[^^^]

Далее зачеркнута значительная часть письма, которая опущена.

[^^^]

Вопреки Вам (фр.).

[^^^]

В Британских островах (фр.).

[^^^]

На закуску (фр.).

[^^^]

Быть или не быть (*англ.*).

[^^^]

Успокоительное средство (фр.).

[^^^]

Записные книжки (фр.).

[^^^]

Старший (*лат.*).

[^^^]

Младший (*лат.*).

[^^^]

Напротив (фр.).

[^^^]

Жилище, дом (*англ.*).

[^^^]

Далее значительная часть письма зачеркнута.

[^^^]

**123**

Часть письма утрачена.

[^^^]

Первая половина письма утрачена.

[^^^]

Далее зачеркнута значительная часть письма.

[^^^]

Окончание письма утрачено.

[^^^]

Господа (*нем.*).

[^^^]

Задняя мысль (фр.).

[^^^]

В схватке с жизнью (фр.).

[^^^]

«Козел отпущения» (фр.).

[^^^]

Скандалное замужество (фр.).

[^^^]

От французского слова *aigrir* – ожесточать.

[^^^]

Благими примерами (фр.).

[^^^]

Что мы друг друга понимаем и друг другу со-  
чувствуем (фр.).

[^^^]

Благое, благочестивое желание (*лат.*).

[^^^]

Была не была (поговорка, *франц.*).

[^^^]

Нашему общему делу (фр.).

[^^^]

Письменно (фр.).

[^^^]

Итог (фр.).

[^^^]

Навязчивая идея (фр.).

[^^^]

Эта прекрасная Франция! (фр.).

[^^^]

Спесь (фр.).

[^^^]

Где немецкий язык звучит! (нем.)

[^^^]

Часть письма утрачена.

[^^^]

Он не требователен (фр.).

[^^^]

Без гнева (*лат.*).

[^^^]

Всякому свое! (*лат.*).

[^^^]

Литературное воспитание (фр.).

[^^^]

Очаг (фр.).

[^^^]

Богема; беспутная жизнь (фр.).

[^^^]

Плохие, странствующие актеры (фр.).

[^^^]

Французская комедия (фр.).

[^^^]

Восхищение (фр.).

[^^^]